В.А.
ЖУКОВСКИЙ

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

В.А. ЖУКОВСКИЙ

Советский
писатель

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ

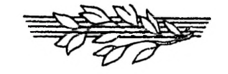
Большая серия

Второе издание

ЛЕНИНГРАД • 1956

В. А. ЖУКОВСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
Н. В. Измайлова

В. А. ЖУКОВСКИЙ

Василий Андреевич Жуковский родился 29 января (9 февраля) 1783 года в селе Мишенском Белёвского уезда Тульской губернии. Отцом его был богатый помещик Афанасий Иванович Бунин, матерью — пленная турчанка Сальха, названная в России Елизаветой Дементьевной. «Незаконный» сын А. И. Бунина получил отчество и фамилию от своего крестного отца, мелкопоместного дворянина Андрея Жуковского, жившего в доме Буниных.

В 1791 году Бунин умер, и его 8-летний «воспитанник» остался у его вдовы, а позднее — в семье дочери Буниных Екатерины Афанасьевны Протасовой.

Положение мальчика между полукрепостной матерью и семейством Буниных было двойственно и тяжело; он болезненно ощущал свое одиночество, внутреннюю отчужденность от семьи, в которой он рос, свое неравенство по отношению к сводным сестрам и особенно — неравенство своей матери. В позднейшем дневнике 1805 года, вспоминая свои ранние годы, он с горечью писал: «Как прошла моя молодость?.. Не имея своего семейства, в котором бы я что-нибудь значил, я видел вокруг себя людей, мне коротко знакомых, потому что я был перед ними выращен, но не видал родных, мне принадлежащих по праву; я привыкал отделять себя ото всех, потому что никто не принимал во мне особливого участия и потому что всякое участие ко мне казалось мне милостию. Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем, не чувствовал ничьей любови; следовательно, не мог платить любовью за любовь,

не мог быть благодарным по чувству, а был только благодарным по должности. . .»[1]

В этой трудной и безрадостной обстановке формировался характер будущего поэта. Умному и впечатлительному юноше были свойственны с ранних лет склонность к самоанализу, повышенное внимание к личным переживаниям, к душевной жизни с ее тайными страданиями и горестями. Мечтательность и меланхоличность сочетались в нем с очень развитым, живым и мягким юмором. Сложный и противоречивый характер Жуковского, несомненно, отразился в его лирическом творчестве, отмеченном большой искренностью и глубоким раскрытием внутреннего мира поэта.

В Московском Университетском Благородном пансионе, где Жуковский пробыл около четырех лет (с 1797 по 1800), он получил хорошее по тому времени общее, гуманитарное и преимущественно литературное образование. В пансионском преподавании сочетались разнородные начала — морализирование религиозного характера и элементы рационалистической философии эпохи Просвещения, с некоторыми гражданскими тенденциями в понятиях о добродетели, о любви к родине, об общественном долге и т. д. Здесь же, повидимому, были заложены и основы религиозности Жуковского, его твердой веры в мудрость и благость «провидения». В пансионе он сделал и первые шаги в литературе, выступая как автор торжественных и философских од, посланий и моралистических рассуждений в прозе («Мысли при гробнице», 1797, «Мир и война», 1798, и др.). В самом начале пансионского курса было напечатано в университетском журнале «Приятное и полезное препровождение времени» (1797) первое из известных стихотворений Жуковского — «Майское утро».

Период формирования и развития Жуковского как поэта приходится на десятилетие между 1797 и 1808 годами. Это — время, когда в русском обществе возникают и всё усиливаются споры о путях развития русской литературы (и в особенности русской поэзии), об основных вопросах литературного языка и поэтического стиля. Эти споры выражают антагонистические взгляды двух основных направлений господствовавшей тогда дворянской литературы — классицизма, в первые годы XIX века возглавленного А. С. Шишковым, и сентиментализма, опирающегося на принципы литературной деятельности Н. М. Карамзина. Скрещивающиеся воздействия обоих на-

---

[1] Дневники В. А. Жуковского, с примечаниями И. А. Бычкова. СПб., 1901, стр. 27. Те же мысли, почти в тех же словах, повторяются и через десять лет, в дневнике 1814 года, уже после смерти матери (Елизавета Дементьевна умерла в 1811 году).

правлений испытал на себе, в годы исканий своего творческого пути, и молодой Жуковский.

В Университетском Благородном пансионе основою литературно-эстетического воспитания был классицизм, и усвоенные там Жуковским начала классицистической поэтики, закрепленные усиленным чтением французских и немецких теоретиков классицизма, нашли отражение в целом ряде произведений первого десятилетия его литературной деятельности. Оды, написанные им в пансионе и читавшиеся на годичных пансионских актах, показывают несомненную зависимость их стиля и языка от одической поэзии Ломоносова и Державина. Что касается их тематики и идейного содержания, то они интересны как еще очень несовершенное, но искреннее и патетическое выражение некоторых гражданских мотивов классицистической оды XVIII века: молодой поэт осуждает войну и кровавую славу завоевателей (и это — в годы непрерывных войн России и всей Европы!), восхваляет мир, человечность и добродетель (скорей в общественном, чем в моральном смысле), утверждает достоинство человека.

И в дальнейшем, после окончания пансиона, черты классицизма еще долго живут в поэзии Жуковского. В первые годы XIX века он переводит ряд произведений в стихах и в прозе одного из характерных представителей французского позднего классицизма, Флориана, включая его переделку «Дон-Кихота» Сервантеса в духе галантно-пасторального романа; в 1806 году он выбирает для вольных переводов ряд басен Лафонтена и Флориана и ряд эпиграмм из французских антологических сборников XVIII века. Многие из переведенных им басен содержат заметную социальную направленность, иногда очень острую и даже смелую; таковы басни «Мартышки и лев» (из Флориана), «Похороны львицы» (из Лафонтена); злободневна в политическом смысле антинаполеоновская эпиграмма «Новопожалованный». При этом и басни и эпиграммы замечательны своим легким разговорным языком, живым диалогом, чувством юмора, выпуклостью образов — чертами, не уступающими современным им басням Крылова и несомненно превосходящими по простоте и выразительности басни И. И. Дмитриева. В том же 1806 году Жуковский написал «Песнь барда над гробом славян-победителей» — торжественный патриотический гимн доблести русских воинов, в высоком стиле, близко напоминающем поздние оды Державина. Среди переводов Жуковского конца 1800-х годов мы видим и несколько стихотворений из поэтов французского и английского классицизма — Делиля, Попа и других.

Классицистическая струя, хотя и слабее, проходит и через твор-

чество Жуковского следующего десятилетия: даже в 1812 году, уже будучи автором многих прославленных романтических баллад и непримиримым противником «шишковистов», он переводит оду одного из крупнейших английских классицистов, Драйдена, «Пиршество Александра, или Сила гармонии». Элементы классицистического стиля входят, естественно, и в его собственные оды — «Императору Александру» (1814) и другие.

Все сказанное о классицизме в ранней поэзии Жуковского приводит нас к заключению, что молодой поэт был далек от реакционной идеологии эпигонской школы, возглавляемой Шишковым, для которой классицизм являлся орудием возвеличивания и укрепления самодержавия и крепостничества. Чужд был Жуковскому и грубый, примитивный национализм «шишковистов» и их пристрастие к старине в языке и стиле. Жуковский, следуя высоким художественным образцам Державина и отчасти Ломоносова, лишь очень умеренно пользуется даже в одах архаизмами и церковнославянизмами. Классицизм является для него формой, наиболее подходящей и необходимой для выражения общественной тематики. Там же, где нужно выразить свои личные, интимные чувства и размышления, свое отношение к человеку и к природе, он, естественно, переходит к другому, органически ему близкому направлению — сентиментализму, со всеми свойственными последнему идеологическими и стилистическими принципами.

Если пансионское преподавание направляло литературное развитие Жуковского в сторону классицизма, то вместе с тем дружеские связи и общественный круг, в который он вошел по окончании пансиона, вели его в ином направлении — к сентиментализму.

Уже в самом первом известном нам стихотворении Жуковского — «Майское утро» — чувствуется влияние сентиментальной поэзии — «песен» Карамзина, И. И. Дмитриева, Ю. А. Нелединского-Мелецкого и других: несколько изысканные, чувствительные и меланхолические картины природы, размышления о том, что жизнь — «бездна слез и страданий» и что счастье — в смерти. Эти мотивы впоследствии разовьются у Жуковского в целую систему воззрений и чувств. В пансионе он сблизился с братьями Тургеневыми, Андреем и Александром, — сыновьями И. П. Тургенева, директора Московского университета, писателя-масона, в прошлом близкого Н. И. Новикову. По окончании пансиона братья Тургеневы, Жуковский и несколько других молодых людей из культурных дворянских семейств образовали «Дружеское литературное общество», существовавшее недолго (1801—1802), но оказавшее значительное влияние на поэтическое развитие Жуковского в духе сентиментализма.

Участие Жуковского в тургеневском кружке представляет собою не биографическую случайность, но закономерно выражает тяготение его к литературному кругу, наиболее передовому, живому и культурному в московском дворянском обществе, наиболее вместе с тем соответствующему личным наклонностям и направлению мыслей молодого поэта. Происшедшее в те же годы сближение Жуковского с главою сентименталистов Н. М. Карамзиным, издателем журнала «Вестник Европы», уже авторитетным и известным тогда писателем, закрепило его принадлежность к «карамзинизму». Вспоминая много лет спустя, в 1830 году, свой литературный путь, Жуковский утверждал: «Как писатель я был учеником Карамзина. . .», и это утверждение имеет серьезные основания. Но, разделяя во многом литературные убеждения Карамзина, следуя за ним во взглядах на смысл и назначение поэзии, на литературную критику и т. д., Жуковский быстро перерастает «карамзинизм» и уже к концу 1800-х годов находит свой собственный путь.

С Дружеским обществом и «Вестником Европы» Карамзина связаны создание и публикация «Сельского кладбища», широко известной элегии, переведенной Жуковским из Томаса Грея — одного из виднейших представителей английского сентиментализма. Перевод этот, сделанный впервые в 1801 году и переработанный затем по совету Карамзина, Жуковский считал впоследствии подлинным началом своей поэтической деятельности. В элегии, действительно, впервые сказались в полной мере некоторые характерные черты его лирической поэзии, сохранявшиеся в значительной степени и в позднейшее время. Вся она представляет собою размышления поэта, навеянные ему видом сельского кладбища с его простыми, безвестными могилами в тихий летний вечер. Пейзаж, открывающий стихотворение, сливается с внутренним миром поэта, дает тон всему стихотворению, делает его задушевным и интимным. Размышления поэта идут по двум линиям. С одной стороны, в элегии звучит философская тема — тема равенства всех людей перед лицом смерти; представлены преимущества мирной и простой жизни «селянина» перед жизнью знатных людей, надменных и суетных деятелей; представлен идеал человека, заключенный в нежной чувствительности, меланхолии, развитии внутренней, душевной жизни. Эти мысли являются своего рода программой сентиментализма. С другой стороны, размышления поэта принимают в элегии социально-политический оттенок: они выражают потребность мыслящего человека того времени выразить свое отношение к недавно минувшим и еще продолжающимся политическим событиям. Упоминания Грея, писавшего элегию в 1751 году, о деятелях английской революции XVII века

могли сопоставляться читателями 1802 года с недавними событиями французской буржуазной революции; Жуковский здесь широко пользуется стилистическими формулами и фразеологией гражданской лирики его времени. Он осуждает революцию (Кромвеля, обагренного «кровью граждан»), но вместе с тем осуждает и социальное неравенство, противопоставляя «наперсникам фортуны ослепленным», презирающим тех, кто стоит ниже их, простых людей, для которых «просвещенья храм, воздвигнутый веками, угрюмою судьбой... был затворен»; этих людей «рок обременил убожества цепями», их «гений строгою нуждою умерщвлен»; его сочувствие вызывает «Гампден надменный, защитник сограждан, тиранства смелый враг», — и он видит многих возможных Кромвелей, Гемпденов и Мильтонов (все деятелей революции), безвестно погибающих в народе... Наконец, необходимо отметить, что «Сельское кладбище» явилось *первым* переводом Жуковского из западноевропейской поэзии, положившим начало его огромной переводческой деятельности. Подготовленная предшествующими опытами Карамзина и его единомышленников, элегия была первым в русской поэзии законченным выражением сентиментализма, т. е. поэзии внутреннего мира, душевных переживаний и размышлений частного человека, противопоставленных его общественному бытию. Все это придает ей особое значение как в творческом пути Жуковского, так и в истории русской лирической поэзии.

Настроения и мысли, выраженные в «Сельском кладбище», нашли себе продолжение и развитие в другой элегии — «Вечер», написанной в 1805 году. Ее основная тема — любование поэта прекрасной, простой, мирной сельской природой, под влиянием которой возникают размышления и воспоминания о дружбе, об умерших друзьях, о счастье в поэтическом творчестве — и все это приводит его к мысли о близкой, может быть, смерти. Простой, безыскусственный стиль, почти разговорный язык элегии представляют значительный шаг вперед по сравнению с «Сельским кладбищем»; живое чувство природы, присущее поэту, делает его описания конкретными и выразительными.

Столь же конкретны, но даны в другом, патетическом и негодующем стиле, описания сельской природы в элегии «Опустевшая деревня», переведенной в 1805 году из Гольдсмита — одного из ранних английских поэтов реалистического направления. Описания служат здесь основой для развития социальной темы, выраженной в противопоставлении картин прошедшей мирной и счастливой сельской жизни — картине разрушения и запустения, вызванного корыстолюбием и жестокостью «вельможей и князей», отнимающих земли

у их законных владельцев. Перевод остался незаконченным и не был напечатан — быть может, именно вследствие остроты социальной идеи стихотворения, — но он характерен для гуманистических тенденций, наблюдаемых в сентименталистском творчестве раннего Жуковского.

II

Литературно-общественное развитие Жуковского, начатое под скрещивающимися влияниями позднего классицизма и карамзинистского сентиментализма, проходило сложным и во многом противоречивым путем. В 1808 году Жуковский печатает свою первую балладу — «Людмилу», и это событие становится важной вехой на его творческом пути и в истории русской литературы: с «Людмилой» входит в русскую поэзию новое, романтическое направление; можно считать, что отсюда начинается и новый, центральный, важнейший период в творческом развитии Жуковского — период господства в его поэзии романтических идей, тем и образов в формах элегической, медитативной и любовной лирики, баллад, поэм и повестей. Этот период обнимает около 25 лет — до 1833 года, когда были написаны последние баллады — и, соответственно развитию общественной жизни и жизни самого поэта, распадается на ряд этапов. Необходимо остановиться на важнейших из них, чтобы затем перейти к анализу поэтического творчества Жуковского по основным жанрам.

Тесная связь Жуковского с журналом Карамзина «Вестник Европы», установившаяся еще в 1802 году, продолжалась и в позднейшие годы, после отхода Карамзина от журнальной деятельности. В 1808—1809 годах Жуковский сам был редактором «Вестника Европы», продолжал сотрудничать и позднее. В «Вестнике Европы» 1808—1811 годов он напечатал ряд критических и публицистических статей, имеющих большое значение для анализа его воззрений в годы, когда он вполне определился как поэт и литературно-общественный деятель.

Некоторые высказывания Жуковского в его статьях повторяют и развивают мысли Карамзина — его влияние как «учителя» чувствуется здесь еще очень сильно. Но многое выражает и самостоятельную мысль Жуковского, обогащенную его наблюдениями и личным опытом. Назначением литературы является, по утверждению Жуковского, распространение просвещения и улучшение нравов. Просвещение же, т. е. «искусство жить, искусство действовать и совершенствоваться в том круге, в который заключила нас рука

промысла», призвано устранить — в моральном смысле — общественные различия: «С успехами образованности состояния должны прийти в равновесие», потому что тогда «одинакие понятия о наслаждениях жизнию соединят чертоги и хижину! ..» («Письмо из уезда к издателю» — «Вестник Европы», 1808). В этой концепции социально-политические критерии подменяются морально-этическими, и такая подмена характерна для большей части суждений Жуковского по общественным вопросам.

Жуковский горячо отстаивал общественное положение и права́ писателя, не имеющего служебного или имущественного ранга. Этому вопросу посвящена статья «Писатель в обществе» («Вестник Европы», 1808), написанная очень темпераментно и тем более взволнованно, что, подымая проблему большого общественного значения, Жуковский выражал и собственное свое самочувствие — человека без имени и без состояния, утверждающего литературным трудом свое положение в дворянском обществе.

Видя, вслед за Карамзиным, назначение литературы в просвещении и улучшении нравов, Жуковский считал, что и «критика, распространяя истинные понятия вкуса, образует в то же время и самое моральное чувство»; отсюда главным требованием к «истинному критику» выдвигается нравственность и расположение к добру, потому что «доброта моральная... служит основанием чувству изящного» («О критике» — «Вестник Европы», 1809). Здесь в самом общем, зачаточном виде содержится тезис о внутреннем единстве эстетической и этической категорий, — тезис несомненно прогрессивный, а для Жуковского — один из руководящих принципов всего его творчества.

Соответственно своим требованиям к литературе и литературной критике, Жуковский посвятил две своих наиболее значительных критических (в собственном смысле) статьи двум жанрам, всего прямее выполняющим функции морального просвещения, — сатире и басне, творчеству Кантемира и Крылова. Примечательна сама по себе такая тематика его критических статей: поэт-романтик, автор «Сельского кладбища» и «Людмилы» проявляет горячий интерес к сатире — жанру, казалось бы, очень далекому от его сентиментально-романтической музы. Но Жуковский видел назначение сатирика не только в том, что он ополчается на порок и зло, но и в том, что он воодушевлен приверженностью к добру, т. е. борется против зла во имя некоего морального идеала. «Критический разбор Кантемировых сатир с предварительным рассуждением о сатире вообще» («Вестник Европы», 1810) замечателен уже тем, что Жуковский извлек из забвения одного из первых русских сатириков, полу-

забытого тогда, сочувственно и внимательно разобрал его сатиры, приведя из них обширные выдержки, и попытался показать его значение в истории русской литературы и просвещения. Кантемир, в толковании Жуковского, сочетает в себе черты Горация и Ювенала, и критик, проводя параллель между двумя римскими сатириками, по существу отдает предпочтение «пламенному» Ювеналу: последний «был свидетелем, с одной стороны, неограниченного деспотизма, с другой — самой отвратительной низости, самого отвратительного разврата, и в душе его мало-помалу скоплялось сокровище негодования, которое усиливалось в тишине принужденного безмолвия. Сатиры его можно наименовать мщением пламенной души...» Такая характеристика Ювенала в устах Жуковского очень показательна для либерального образа мыслей, свойственного ему в молодые годы. Столь же замечательна и статья «О басне и баснях Крылова» («Вестник Европы», 1809), где сделано немало тонких замечаний о живости, выразительности и меткости басенного стиля Крылова. Правда, имея перед собою лишь первый сборник его басен (1809), критик увидел в авторе прежде всего переводчика; самобытность и народность русского баснописца были ему еще неясны. Но, при всей ее неполноте, статья о Крылове свидетельствует о большом критическом чутье Жуковского, сумевшего оценить гений Крылова и поставить его в некоторых отношениях выше Лафонтена, чем предвосхищался позднейший отзыв о Крылове Пушкина. Характерно, однако, что приверженность Жуковского к сентиментализму сказалась в преувеличенной оценке басенного творчества И. И. Дмитриева.

Глубоко отрицательное отношение Жуковского к современным эпигонам классицизма, группирующимся около Шишкова, со всею резкостью сказалось в его статьях о драматургических упражнениях Ст. Висковатова, переводчика трагедии Кребильона «Радамист и Зенобия» («Вестник Европы», 1810), и А. Н. Грузинцева, автора трагедии «Электра и Орест» («Вестник Европы», 1811). Но вместе с тем, рецензируя игру знаменитой французской актрисы m-lle Жорж в ролях классического репертуара («Московские записки» — «Вестник Европы», 1809), Жуковский с уважением и восторгом говорит о трагедиях Корнеля, Расина и Вольтера — великих национальных поэтов Франции, и, что характерно, ставит в упрек «девице Жорж» недостаток в некоторых сценах простоты и естественности, считая психологическую правду необходимым свойством подлинного искусства.

В годы участия Жуковского в «Вестнике Европы» он касался в своих статьях и самого острого, самого волнующего социального

вопроса современности — крепостного права. Его суждения о крепостничестве, связанные с мыслями о просвещении, о которых упоминалось выше, говорят, с одной стороны, о пользе для «поселян» «таких книг, которые, не отвлекая их от ограниченного их состояния... открывали им способ находить в нем счастие, им возможное» («О новой книге: Училище бедных, сочинение госпожи Ле Пренс де Бомон...» — «Вестник Европы», 1808) — и в этом консервативном взгляде нельзя не видеть влияния Карамзина; но иначе подходит Жуковский к тому же вопросу в другой статье — «Печальное происшествие, случившееся в начале 1809 года» («Вестник Европы», 1809). Здесь, в форме письма от неизвестного к издателю журнала, рассказывается о трагической судьбе двух любящих — благородного юноши Лиодора и дворовой девушки Лизы, получившей барское воспитание и образование по капризу своей госпожи. Лиза понравилась полковнику Z*** — грубому и жестокому человеку; он обманом увез ее, «и с тех самых пор участь ее покрыта... ужасною неизвестностью», а Лиодор сошел с ума. Сочувствие «неизвестного» автора письма направлено всецело в сторону Лиодора; но «издатель» обращает внимание читателей на другую жертву — Лизу, которой дали просвещение, но оставили в рабстве: «Человек *зависимый*, знакомый с чувствами и понятиями людей *независимых*, несчастлив навеки, если не будет дано ему благо, все превышающее, — свобода!» И далее замечает: «Просвещение должно возвышать человека в собственных его глазах — а что унизительнее рабства! Вы замечаете в своем <крепостном> человеке дарования и ум необыкновенный — итак, прежде нежели решитесь открыть ему тайну его сокровища, возвратите ему свободу!..» Приведя в пример крепостного живописца, обращенного новым его господином в лакея и спившегося от горя, Жуковский приходит к выводу, что «благотворители», дающие образование своим рабам, не давая им свободы, являются их губителями. Решение вопроса, таким образом, половинчатое, моральное, а не социальное; общего вопроса о крепостничестве Жуковский не касается; но его статьи показывают, как глубоко чувствовал Жуковский, романтический поэт, казалось бы, далекий от действительности, вполне реальное, трагическое и бесчеловечное существо рабства, как живо интересовался он современной общественной жизнью.

Отечественная война 1812 года заставила Жуковского принять и непосредственное, практическое участие в великих и грозных событиях его времени. Чувство любви к родине, воспитанное в нем еще с пансионских лет, было сильно возбуждено нашествием врага. Как и многие другие современники-литераторы — Грибоедов, Вязем-

ский, Батюшков, — он пошел в армию, вступив в августе 1812 года офицером в московское ополчение. С ним он был в Бородинском бою — правда, в резерве, за линией огня, как и все ополченцы, зато стал как поэт одним из виднейших участников событий, и его горячее поэтическое слово было как бы «взято на вооружение», вдохновляло на подвиги и поднимало патриотический дух защитников родины.

В рядах отечественной рати,
Певец, по слуху знавший бой,
Стоял я с лирой боевой
И мщенье пел для ратных братий —

так вспоминал он впоследствии эти дни.[1] Прославлением подвигов русских войск и призывом к мщению был его патриотический гимн — «Певец во стане русских воинов», написанный в октябре 1812 года в Тарутине, в штабе М. И. Кутузова, куда Жуковский перешел после оставления Москвы. Это стихотворение, наряду с баснями Крылова, несомненно самое значительное из произведений русской поэзии, вызванных Отечественной войной. Художественная форма «Певца» подготовлена была отчасти поэзией Ден. Давыдова, отчасти балладами самого Жуковского (ср. «Громобоя»); стиль «Певца» характерен для его переходной эпохи: с одной стороны — классические образы условного значения — мечи и шлемы, стрелы и кольчуги, гражданский пафос и яркие противопоставления, свойственные оде; с другой — романтический пейзаж и искренний, волнующий лиризм, которым проникнуты обращения к родине и к любимой, слова о погибшем «витязе» и его подруге («И где же твой, о витязь, прах? . .»). Эти лирические пассажи вносят в торжественный и героический тон стихотворения теплую, задушевную интонацию. Вместе с тем замечательная ясность мысли, сжатость формулировок, стремительная энергия стиха в «Певце» показывают такие стороны поэтического дарования Жуковского, какие вовсе несвойственны сентиментализму.

«Певец во стане» носит ярко выраженный гражданский характер. О царе — лишь краткое упоминание, несравненно более бледное, чем обращения к «ратным и вождям», к родине, к мщению, к любви и к поэзии. Поэт говорит прежде всего об известнейших и прославленных полководцах, обращается к офицерству, которое слушает певца и будет его читать; но за этим непосредственным обращением чувствуется и весь народ, вставший на защиту родины, понимаемый

---

[1] «Подробный отчет о луне», 1820.

пусть и отвлеченно, вне всяких социальных определений, но тем не менее представляющийся активной и сознательно-патриотической силой. Чувство родины в «Певце» живо и реально, патриотическое воодушевление сильно и искренно, оно обосновано благородным, оборонительным и освободительным характером войны против «хищника», «пришлеца» и его «царей-рабов». Отсюда понятен огромный успех «Певца» в массе молодых офицеров, во всем читающем русском обществе, создавший Жуковскому славу первого поэта нового времени, на смену уходящему Державину.

Победоносное окончание войны с Наполеоном, освобождение Европы, взятие Парижа русскими войсками и возвращение их на родину — все эти события вызвали послание Жуковского «Императору Александру». Послание, написанное в конце 1814 года, явилось очень значительным общественным выступлением поэта: некоторыми своими идейными мотивами оно перекликалось со взглядами, распространенными в тот момент в передовой части дворянского общества. Александр I казался тогда носителем идеи национальной свободы, освободителем Европы, и его роль главы европейской реакции еще не определилась; первые тайные вольнолюбивые организации едва зарождались и носили конституционный характер. В этой обстановке Жуковский выступил не столько как человек, искренно убежденный в святости монархической власти, сколько как гражданин и патриот, дающий царю «урок», показывая ему идеальный образ монарха, сильного любовью народа; в ответ на эту заслуженную делами любовь поэт требовал и от Александра человечности и уважения к народу. А. С. Пушкин был прав, когда в письме к Рылееву 1825 года приводил послание Жуковского как образец благородства и независимости «наших талантов»: «вот как русский поэт говорит русскому царю!»

Жуковский в своем послании дал широкую поэтическую картину событий современной истории — французской революции конца XVIII века, установления Наполеоновской империи и борьбы России против нее. Ни в одном из произведений Жуковского нет такого живого восприятия, такого яркого, образного выражения современного исторического процесса, как в этом стихотворении.

Жуковский навсегда сохранил свои монархические иллюзии, наивную веру в возможность существования идеального монарха. Он был убежденным противником революционной борьбы, верил в незыблемость монархического принципа, однако требовал от царя — «Да на чреде высокой не забудет Святейшего из званий — *человек!*» («Вел. кн. Александре Федоровне», 1818) и глубоко страдал от бесчеловечности и жестокости русского самодержавия, проявляв-

шихся постоянно во всех отношениях, и тем для него явственнее, чем ближе он сам стоял к носителям власти.

Оживление литературно-общественной жизни, вызванное окончанием европейских войн, сказалось в обострении борьбы между группами «карамзинистов» и «шишковистов». Последние, как известно, с 1811 года объединились в «Беседе любителей русского слова», ставшей оплотом литературно-общественной реакции и ее орудия — вырождающегося классицизма, призванного стоять на страже интересов самодержавно-крепостнического строя. Их противники, так называемые «карамзинисты», неоднородные по общественно-политическим и литературно-эстетическим взглядам, но объединенные отрицательным отношением к закоснелым защитникам старины, после ряда отдельных сатирических и критических выступлений К. Н. Батюшкова, В. Л. Пушкина, Д. В. Дашкова, Д. Н. Блудова и других, образовали в конце 1815 года литературное общество «Арзамас» с основным назначением — разоблачать и преследовать сатирами и пародиями членов «Беседы». В «Арзамас», одним из его учредителей, вошел и Жуковский.

Как поэт карамзинского круга и сторонник новых, свободных начал в поэзии, Жуковский с ранних пор заявил себя противником устарелых и безжизненных форм, за которые держались «шишковисты». Его критические статьи в «Вестнике Европы» были заметным шагом в борьбе против эпигонов классицизма. В конце 1814 года, живя в селе Долбине, он написал ряд юмористических стихотворений, пародий и сатирических посланий, получивших название «Долбинских стихотворений», и среди них такие острые литературные сатиры, направленные против «Беседы», как послание к А. Ф. Воейкову («О Воейков, видно нам. . .») и «Плач о Пиндаре». Естественным поэтому явилось вступление Жуковского в «Арзамас», а его авторитет как поэта нового направления, наклонность к юмору, присущая ему легкость версификации обеспечили ему видное место среди арзамасцев и роль постоянного секретаря общества. Имя Жуковского — крупнейшего поэта младшего поколения, автора всем известных баллад, «Певца во стане русских воинов», послания к Александру — стало к этому времени знаменем новой поэзии, почти наряду с именем Карамзина; значение Жуковского видно хотя бы из того, что все члены «Арзамаса» получили прозвища, взятые из текста его баллад, и многие из этих прозвищ были в употреблении в дружеском кругу еще до основания общества; сам он носил имя «Светланы». Памятником его деятельности в «Арзамасе» остались протоколы заседаний, написанные своеобразным гекзаметром, близким к ритмической прозе.

«Долбинские» и «арзамасские» стихотворения Жуковского составляют заметную страницу в истории русской литературной сатиры начала XIX века. Не имея политической направленности в собственном смысле, они, однако, остроумно высмеивают устарелые, пережиточные явления современной литературной жизни, где литературная реакция была тесно связана с общественно-политической. В своих сатирах Жуковский использует разнообразные стилистические средства: бурлескные сочетания классических понятий (Феб, музы, амуры, Пегас и т. п.) и церковнославянских оборотов с просторечными и бытовыми («В сапогах амуры там и хариты в черевиках», кадушка, «расписные с квасом фляги» и пр. — в послании к Воейкову); сочетание высокого слога в торжественных гекзаметрах с комическим содержанием (речь о «пузе» и его содержимом; «старые шутки — старые девки» и тому подобные выражения в арзамасском «Протоколе»). Мастерски пародируются речи «староверов», тяжелые и пустые; в ряде карикатурных и пародийных фигур сатирически изображаются важнейшие члены «Беседы»; речь — в особенности в арзамасском «Протоколе» — звучит с разговорной легкостью, полна юмористических афоризмов и метких изречений, сочных выражений и острого юмора. В «Протоколе» чувствуется связь с русской ироикомической поэмой Вас. Майкова, с шутливой повестью типа «Опасного соседа» В. Л. Пушкина, представлявшей собою, как известно, также выпад против «шишковистов». И вместе с тем мы видим в «Протоколе» понятия и фразеологию политической поэзии («В свежем гражданском венке божество: *Просвещенье*, дав руку грозной и мирной богине *Свободе»)*, приведенные не в пародийном, а в прямом их смысле.

Однако внесенный в 1817 году новыми членами «Арзамаса» — будущими декабристами Н. И. Тургеневым, М. Ф. Орловым и Н. М. Муравьевым — проект издания обществом политического журнала вольнолюбивого направления (о чем и идет речь в гекзаметрическом «Протоколе») не встретил сочувствия в Жуковском, и в этом он был согласен с консервативными членами — Блудовым, Уваровым, Вигелем. Жуковский считал назначением «Арзамаса» и его будущего журнала лишь чисто литературные вопросы, т. е. вопросы эстетики, языка и стиля, и не хотел превращать «Арзамас» в политическую организацию, хотя бы и с умеренно-конституционной программой. Его стихотворная арзамасская речь, написанная в начале 1818 года, была последней попыткой сохранить прежний, дружеский и литературный характер общества. Но в это время уже формировались первые тайные общества с революционными целями — Союз Спасения и, с 1818 года, Союз Благоденствия. В них складывались

новые принципы декабристской поэтики и литературной критики, чуждые Жуковскому. К весне 1818 года «Арзамас» прекратил существование, и с тем вместе окончилось участие Жуковского в общественно-литературной борьбе; в течение всей остальной своей жизни (исключая, быть может, одного момента в 1831 году) он уже не выступал ни как критик, ни как полемист и сатирик, держась в стороне от столкновений литературных партий.

Объяснение этой индиферентности Жуковского нужно искать прежде всего в том положении придворного преподавателя, близкого к царской семье, которое он занял в последние месяцы существования «Арзамаса». «Певец во стане русских воинов» и послание к Александру I сделали поэта известным при дворе; он стал чтецом вдовы Павла I имп. Марии Федоровны, затем — преподавателем немецкой принцессы Шарлотты, ставшей, под именем Александры Федоровны, женою в. кн. Николая Павловича (позднее Николая I); наконец, ему было поручено руководство воспитанием и образованием наследника, будущего Александра II, и эта последняя обязанность настолько поглощала его время и силы, что бывали годы, когда он ничего или почти ничего не писал, кроме педагогических планов и руководств. Придворно-преподавательская служба заняла — с перерывами, посвященными поездкам за границу, — свыше 20 лет жизни поэта, и только в 1839 году, по окончании большого путешествия с наследником по Европейской России, Западной Сибири и Западной Европе, он расстался со своим учеником и с двором.

Близость ко двору не осталась без влияния на воззрения и творчество Жуковского. Волей-неволей он был вовлечен в мелочные интересы придворного быта и посвятил им немало стихотворений шутливого, лирического, описательного характера, посланий к молодым фрейлинам и т. п. Его литературная деятельность принимала порою камерный характер; участие в журналах сократилось; в 1818 году, по желанию своей ученицы Александры Федоровны, он выпустил шесть книжек стихов под выразительным, почти демонстративным названием «Für Wenige» («Для немногих»), где поместил ряд стихотворений немецких авторов, от Гете и Шиллера до безвестных песенников, с параллельными переводами их. Сборники были рассчитаны на «избранных» читателей, и лишь выпущенное в том же году второе издание «Стихотворений В. Жуковского» сделало содержание «Для немногих» доступным широкой публике. Предпринятые им позднее издания журналов «Собиратель» (1829) и «Муравейник» (1831) преследовали также педагогические цели и стояли в стороне от современной журналистики.

Влиянием атмосферы придворного кружка Александры Федоровны следует в значительной мере объяснить углубление религиозно-моралистических и даже мистических элементов во взглядах и творчестве Жуковского на рубеже 10-х и 20-х годов. Усиливаются и мотивы резиньяции, покорности воле божией, отречения от земного счастья во имя потустороннего. Эти настроения поэта, дававшие о себе знать и раньше, теперь становятся заметнее.

Наконец, близость к царской семье и пребывание в кругу придворной аристократии способствовали возрастанию политического консерватизма Жуковского, укреплению его монархических убеждений, что заставляло его все более отрицательно смотреть на революционные методы политической и национальной освободительной борьбы и в особенности осуждать выступление русских дворянских революционеров—декабристов.

Все это с конца 1810-х годов создает вокруг Жуковского сложную обстановку литературно-общественной борьбы, в которой он сам не принимает участия, но которая, по существу, является борьбой за него и его дарование. Жуковский после 1815 года (когда вышло первое собрание его стихотворений) становится бесспорно первым по значению и популярности русским поэтом, «идолом девственных сердец», как назвал его Пушкин, и таким остается до появления в начале 20-х годов первых поэм Пушкина. Тем бо́льшую тревогу испытывают его ближайшие и прогрессивно настроенные друзья — А. И. Тургенев, П. А. Вяземский, наблюдая вредное влияние на него придворной жизни, усиление в его стихах туманной мечтательности и религиозности. Переписка Тургенева с Вяземским живо свидетельствует об этой тревоге.

Было бы, однако, очень ошибочным рассматривать мировоззрение и творчество Жуковского в конце 10-х и в 20-х годах лишь в консервативном и религиозном аспектах: дело обстояло гораздо сложнее. Мировоззрение поэта было исполнено противоречий; несмотря на свои монархические иллюзии, Жуковский не стал идеологом самодержавия. Весьма примечательно, что, написав в 1814 году послание Александру I, он потом ни разу к нему не обращался с поэтическими речами и ничем не откликнулся на его смерть. Пушкин справедливо видел в молчании Жуковского осуждение реакционной и антинародной политики Александра в последние 10 лет его царствования. [1]

---

[1] См. письмо Пушкина к Жуковскому от 20-х чисел января 1826 года, где он пишет: «Говорят, ты написал стихи на смерть Александра — предмет богатый! — Но в течение десяти лет его царствования лира твоя молчала. Это лучший упрек ему. Никто более

В зрелые свои годы Жуковский не выступал активно против крепостничества, но всегда относился к нему отрицательно, видя в нем моральное зло, несовместимое с гуманностью. Поэтому он в 1823 году отпустил на волю немногих принадлежавших ему дворовых, и никогда больше не имел крепостных «душ». Он деятельно участвовал в выкупе из крепостной неволи Тараса Шевченко, ценя и почитая его дарования поэта и живописца; он один из первых разгадал поэтический дар скромного воронежского прасола А. В. Кольцова и оказал ему дружескую поддержку. Он любил изображать в своей поэзии простую жизнь людей из народа, тружеников, обладающих высокими человеческими чувствами: таковы его поэтические переложения из Гебеля «Неожиданное свидание», «Овсяный кисель», «Деревенский сторож в полночь», таковы «Нормандский обычай» и в особенности «Ундина».

Противник революции, он через несколько лет после 14 декабря сумел увидеть в осужденных и сосланных декабристах несправедливо угнетенных и страдающих людей, благородных и высоких духом, и, во время путешествия с наследником по Сибири в 1837—1838 годах, смело встал, несмотря на запрещение мстительного царя, на защиту ссыльных декабристов, добиваясь облегчения их положения и побуждая к тому же своего воспитанника. Благодаря Жуковскому смог вырваться из далекой Вятки Герцен, переведенный в 1837 году во Владимир.

Немалое значение для понимания личности Жуковского имеет та сердечная и доверчивая дружба, та почти сыновняя любовь, которую питал к нему Пушкин от лицейских лет до своей смерти. Многое в их воззрениях было различно и даже противоположно; Пушкин решительно отвергал попытки Жуковского примирить и сблизить его с царем, и тем не менее он видел в Жуковском высокий образ человека и поэта. И после гибели Пушкина глубоко потрясенный Жуковский вдохновенно выразил впечатления, испытанные им, когда он стоял над телом только что умершего поэта, в задушевном и прочувствованном стихотворении, удивительном по своей простоте и строгой сосредоточенности мысли:

Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза.

тебя не имел права сказать: глас лиры — глас народа» (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, изд. Акад. наук СССР, т. X. М.—Л., 1949, стр. 199. В дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно).

Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем, — в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилося мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось:
что видишь?

Жуковский сделал все возможное, чтобы оградить имя поэта от клеветы и злословия, уберечь от жандармов его драгоценные рукописи, обеспечить его семью и издать посмертное собрание его сочинений. Взволнованные письма его к Николаю I, полные возмущения наглыми действиями Бенкендорфа и Дубельта при разборе бумаг Пушкина,[1] прекрасно характеризуют высокий моральный облик и твердое сознание своего гражданского и личного достоинства, которыми обладал этот, по выражению Пушкина, «всего прекрасного певец».

Если обратиться к придворно-служебным отношениям Жуковского, то и здесь присущие ему идеально-абстрактные представления о «просвещенном монархе» подчас сочетаются с резкой критикой русского двора. В этом смысле весьма показательно письмо его к Александре Федоровне от 2/14 октября 1826 года, посвященное проблеме воспитания наследника.[2] Жуковский с тревогой говорит здесь о солдафонских пристрастиях царя, о «воинственных игрушках», которыми окружают наследника престола. «Должен ли он быть только военным, — с горечью спрашивает поэт, — существовать только в ограниченном кругозоре генерала? Когда же будут у нас законодатели? Когда же мы будем смотреть с уважением на то, что составляет истинные нужды народа, — законы, просвещение, нравы?» Наследника приучают «видеть в народе только полк, а в своем отечестве — казарму. Мы видели плоды такого взгляда...» В эпоху

[1] См. в книге П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», изд. 3-е, М.—Л., 1928, «Документы и материалы», разд. I, III, IV, особенно стр. 231—232.

[2] Письмо написано из Дрездена, куда Жуковский уехал лечиться. Оно напечатано по черновому подлиннику (отправленный беловой текст неизвестен) в «Русском архиве», 1873, кн. I, стлб. I—XII, но большой отрывок, из которого ниже приводятся нами цитаты, был изъят цензурой министерства двора. Цитируем его по копии из бумаг П. И. Бартенева (ИРЛИ, ф. 18, № 22), в переводе с французского.

расцвета военных поселений и палочной муштры мысль Жуковского, обращенная с упреком к минувшему царствованию и с тревогой к наступившему, была достаточно смелой и злободневной. Письмо его не возымело, конечно, никакого действия, но оно проливает некоторый свет на общественные взгляды автора.

Мечтательный романтик, созерцательный поэт, Жуковский вместе с тем не только не отстранялся от волнений русской общественной жизни, но активно вмешивался в них, когда считал это своим нравственным долгом. То же сочетание мечтательного, даже мистического романтизма с глубоким интересом к реальной жизни, к человеку и обществу видим мы и в его поэзии.

III

Жуковский развивался и сложился как поэт в эпоху, когда в русской поэзии еще очень прочно сохранялась строгая классификация лирических жанров. Формально он и следовал жанровому делению в композиции своих изданий. Но по существу границы жанров в его лирической поэзии, представляющей собою наиболее оригинальную часть его наследия, уже с очень ранних пор начинают стираться. Лирику Жуковского 10—20-х годов нужно рассматривать как единый ряд, в котором, несмотря на разнообразие тематики, господствует элегия — лирический жанр большой содержательности, способный выражать разнообразные переживания, чувства и мысли человека (преимущественно, однако, чисто личного, индивидуального, даже интимного порядка). Элегия в творчестве Жуковского становится поэтическим размышлением, медитацией, широкой по своей тематике и содержанию, свободной по формам.

В период полной поэтической зрелости, к середине 10-х годов, складывается у Жуковского романтическая теория художественного творчества. В романтические формы он облекал ощущавшуюся им неудовлетворенность окружающей действительностью. Жуковский, по словам Белинского, «. . .первый на Руси выговорил элегическим языком жалобы человека на жизнь»,[1] но эти жалобы никогда не переходят в протест. Во многих своих произведениях поэт призывает не к практической деятельности, а к пассивному созерцанию, в котором человек может обрести удовлетворение, даже радость бытия, ибо созерцание сочетается у него с воспоминаниями о минувшем счастье и упованиями на будущее, потустороннее возвращение

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Изд. Акад. наук СССР, т. VII. М., 1955, стр. 190. В дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно.

счастья. Характерной в этом смысле является элегия «Теон и Эсхин» (1814), которую Белинский рассматривал как «программу» и «изложение основных принципов содержания» поэзии Жуковского-романтика.[1] Здесь поэт устами Теона утверждает покорность судьбе, возможность для человека спокойно переносить жестокие испытания в надежде на загробное блаженство и на свидание с теми, кого он утратил:

Сей сладкой надеждою мир озарен,
Как небо сияньем Авроры.

Жуковский противопоставляет разочарованному, мятущемуся Эсхину — Теона, наделенного своеобразным аскетическим оптимизмом. Теон воздает хвалу «жизнедавцу Зевесу» за земные блага, созданные им:

Я взором смотрю благодарным
На землю, где столько рассыпано благ.

Но земная жизнь сама по себе для него не что иное, как временный этап перед переходом в другой, несравненно более прекрасный мир, где царствует ничем не нарушимая гармония. Характерно, что эта чисто христианская идея облечена Жуковским в античную форму: здесь сказалось влияние «позднего» Шиллера, видевшего в античности средство эстетизации «душного гнета жизни».

Тема христианского самоотречения, заложенная в «Теоне и Эсхине», органична для поэзии Жуковского; ею проникнуты многие его произведения — такие, как послание «К Филалету» (1808), «Путешественник» (1809), послание «Тургеневу в ответ на его письмо» (1813), «Голос с того света» (1815), «На кончину королевы Виртембергской» и «Цвет завета» (1819), «Лалла Рук» (1820) и другие.

Но в той же элегии «Теон и Эсхин» ярко звучит и другая тема — тема *человека* с его неискоренимым стремлением к счастью, любви, красоте и идеалу:

Я верил, что путь мой лежит по земле
К прекрасной, возвышенной цели.

. . . .

При мысли великой, что я *человек,*
Всегда возвышаюсь душою.

---

[1] В. Г. Белинский, т. VII, М., 1955, стр. 194.

И интерес к человеку, к его душевной жизни, к его переживаниям, скорбям и мимолетным радостям составляет подлинный пафос поэзии Жуковского. Не случайно Белинский говорил, что «Жуковский был первым поэтом на Руси, которого поэзия вышла из жизни»,[1] понимая под *жизнью* прежде всего душевную жизнь, внутренний мир человека.

Жуковский стремился к поэтизации реальной действительности, к установлению некоего тождества между поэзией и жизнью. В стихотворении «Я музу юную бывало», созданном между 1822 и 1824 годами, он писал о посещавшем его вдохновении:

На всё земное наводило
Животворящий луч оно —
И для меня в то время было
Жизнь и поэзия — одно.

Лирический герой Жуковского — живой человек, реальная личность своего времени. В изображении его поэт проявляет особый, преимущественный интерес к его эмоциональной жизни, к его ощущениям и чувствам, ибо он видит в чувстве самый могущественный инструмент для художественного постижения мира. И в этом Жуковский следовал Шиллеру, утверждавшему, что «гений может творить, лишь обратившись к чувству».

В художественном воплощении душевной жизни, исполненной скорби и страдания, Жуковский достигает большой силы, тонкости, глубины и драматизма. Особенно характерна в этом отношении элегия «На кончину королевы Виртембергской», высоко ценимая Белинским, которая воспринимается как величественный и скорбный реквием, выражение глубокого человеческого горя.

Но лирический герой Жуковского — человек в полном смысле этого слова — знает не только скорби, но и моменты счастья и полноты жизни, в любви и в общении с природой.

Любовная лирика Жуковского носит элегический и «идеальный» характер. Необходимо отметить, что анакреонтические и эпикурейские мотивы, столь сильные в любовной лирике Батюшкова, Вяземского, Ден. Давыдова, молодого Пушкина, — у Жуковского почти отсутствуют. Это объясняется как общим направлением его романтической поэзии, так и — в немалой степени — его личным опытом, длительной и неудачной, романтически-идеальной любовью к племяннице по отцу Марии Андреевне (Маше) Протасовой, брак с которой, несмотря на взаимную привязанность, оказался невозможным

---

[1] В. Г. Белинский, т. VII. М., 1955, стр. 190.

из-за сопротивления ее матери, Е. А. Протасовой. Большая часть стихотворений 1810-х годов, посвященных любви, вплоть до обращения «Певца во стане русских воинов» — «Любви сей полный кубок в дар!» и т. д., навеяны этим чувством. Написанное в начале его любви короткое стихотворение «К ней» («Имя где для тебя?», 1810—1811) в своеобразном, меняющемся, взволнованном ритме передает восторженное чувство поэта, полное радости и надежды на будущее. Смертью М. А. Мойер (Протасовой) вызвано столь же короткое и столь же своеобразное по форме стихотворение, заканчивающее этот ряд и озаглавленное датой «19 марта 1823» («Ты предо мною — стояла тихо. . .»), в немногих словах, в отрывочных, внешне не связанных и как бы случайных образах оно прекрасно выражает всю глубину скорби, все душевное смятение поэта. Обращением к Е. А. Протасовой и ее двум дочерям (Маше и Александре — «Светлане») является и стихотворение «Пловец» (1812), интересное, однако, не этим биографическим мотивом и не своей религиозной идеей спасительного провидения, но той энергией, с какой выражено состояние человека, измученного непосильной борьбою с жизнью и все же полного решимости бороться до конца. Это — одно из тех произведений Жуковского, где раскрываются необычные стороны его поэзии и обнаруживается все богатство его творческих сил и возможностей.

Многие стихотворения Жуковского, относящиеся к зрелому, вершинному периоду его творчества (1815—1824), с большим мастерством, тонкостью и поэтической силой передают скрытые в глубине души, часто неосознанные чувства и стремления человека, смятенного и неудовлетворенного окружающей действительностью. В этом — одно из важнейших достижений его поэзии, то новое, что она внесла в развитие русской литературы; Жуковский, продолжая путь, лишь намеченный его предшественниками, включая Карамзина, довел психологизм лирической поэзии до большой глубины и высокого совершенства и нашел для выражения тончайших, почти неуловимых переживаний новые слова, новые образы и стилистические средства. Эти переживания человека нередко связываются с впечатлениями от картин природы, и на этом построены многие стихотворения Жуковского. Чувства и мысли человека отражаются в созерцаемой им природе, и она окрашивается его психологией. Но воспринимаемая и изображаемая сквозь призму сознания поэта, природа сохраняет в его поэзии реально-конкретные черты и красоту, а порою и наделяется самостоятельной душевной жизнью.

Так, в элегии «Славянка» (1815) основной темой является описание задумчивого парка над берегами тихой речки и сельской при-

роды вокруг него, данной в совершенно реалистических чертах и конкретных образах:

Там слышен на току согласный стук цепов;
Там песня пастуха и шум от стад бегущих;
Там медленно, скрыпя, тащится ряд возов,
Тяжелый груз снопов везущих.

Картина эта напоминает и «Жизнь Званскую» Державина (тем более что оба стихотворения написаны одним размером и одной строфою). Но Жуковский вносит в пейзаж лирическую эмоцию, свои мысли и переживания, потому что

Всё к размышленью здесь влечет невольно нас;
Всё в душу томное уныние вселяет...

И «томное уныние» поэта становится лейтмотивом элегии.

В элегии «Море» (1822) конкретность изображения сочетается с лирическим воодушевлением поэта, оживляющим и одухотворяющим величавый, красочный морской пейзаж. Море как бы наделяется сознательной волей, тайными невысказанными мыслями и желаниями. Этим романтическим приемом, наряду с Жуковским, пользовались крупнейшие его современники — и Байрон, и Пушкин. Ритм стихотворения, в котором совершенно не замечается отсутствие рифм, великолепно передает движение волн — и это одно из замечательных художественных достижений Жуковского.

Гимном «дивной природе» является «отрывок» «Невыразимое» (1818), где поэт, покоренный красотою мира, пытается осознать, осмыслить таинственные и невыразимые словами ощущения «души смятенной». Это романтическое и философское стихотворение можно понимать и как мистическое ощущение «присутствия создателя в созданье», — ощущение, недоступное человеческому слову. Но прямой его смысл — в восторге человека перед миром, бесконечное многообразие и величие которого очень трудно постигнуть, а еще труднее воплотить в художественном слове, адекватном могущественной силе впечатления.

Безотчетные, неопределенные и невыразимые переживания человека являются излюбленной темой лирики Жуковского. Таково стихотворение «К мимопролетевшему знакомому гению» (1819), где в ряде вопросов поэта выражается стремление к идеалу, присущее человеку, находит ли оно себе воплощение в художественном творчестве или в иных чувствах, свойственных мыслящей личности. Ту же мысль, в очень близкой форме, выражает и стихотворение «Таинственный посетитель» (1824), где самая неопределенность и туманность служит определением «томления духа» (Sehnsucht), соста-

вляющего характерную черту романтической поэзии. О подобном же состоянии томления по неизвестному говорит и «Привидение» (1823). Наконец, в одном из наиболее романтических и философских стихотворений Жуковского, «Мотылек и цветы» (1824), нашла яркое поэтическое воплощение одна из центральных тем романтизма — разлад между мечтой и действительностью. Характерно, что Пушкин, прочитав стихотворение, сочувственно отметил строфы, изображающие этот разлад: «Кстати, — писал он, — что прелестнее строфы Жуковского *Он мнил, что вы с ним однородные* и следующей?» — но отрицательно отнесся к двум последним строфам, выражающим религиозно-моралистическое заключение, коротко заметив о них: «конца не люблю».[1] Пушкин верно подметил двойственность стихотворения, являющуюся здесь, как и во многих других случаях, выражением противоречий в мировоззрении Жуковского: поэт-романтик остро чувствует разлад между земным бытием и мечтою об идеале, но пытается примирить этот разлад религиозным морализированием. И вместе с тем он чувствует глубокую привязанность к земному миру, к живому, мыслящему и чувствующему человеку. Есть в его творчестве произведения, которые проникнуты целиком любовью к жизни и к простым людям, без всякого оттенка мистического романтизма. В бумагах Жуковского осталось не напечатанным при его жизни небольшое стихотворение «Приход весны», написанное, по-видимому, в марте 1831 года; оно полно радости жизни, светлой и страстной любви к пробуждающейся природе:

Зелень нивы, рощи лепет,
В небе жаворонка трепет,
Теплый дождь, сверканье вод, —
Вас назвавши, что прибавить?
Чем иным тебя прославить,
Жизнь души, весны приход?

Любовь Жуковского к простой трудовой жизни простых людей, близких к земле, особенно полно выражается в некоторых переводах его из немецко-швейцарского поэта Гебеля, певца крестьянской жизни, одного из ранних реалистов немецкой литературы. Здоровое народное миропонимание, исполненное веры в творящие силы природы и в благодетельное значение труда, представлено в двух его переводах из Гебеля — «Овсяный кисель» и «Деревенский сторож в полночь» (оба — 1816). В обоих — особенно в первом — природа и человек живут одной жизнью; нет здесь ничего призрачного, ни

[1] Письмо к Л. С. Пушкину и П. А. Плетневу от 15 марта 1825 года (А. С. Пушкин, т. X. М.—Л., 1949, стр. 130).

потустороннего; все обыденно, и все поэтично, потому что поэт и в самом обыденном умеет найти прекрасное. Переводя «Овсяный кисель», Жуковский перенес место действия из окрестностей Базеля в русскую деревню, изобразив крестьянский труд в условиях русского земледельческого севера, дав крестьянским детям русские имена и т. д. Крестьянский быт, выписанный с большой задушевностью и полнотой, «языческое» одухотворение природы придают этому стихотворению светлый и радостный колорит, жизнеутверждающую силу. Однако таких явлений в творчестве Жуковского очень немного: основная линия его поэзии была элегической, и Жуковский-лирик был верен этой интонации на всем протяжении своего творческого пути.

Особый раздел в творчестве Жуковского, характерный и значительный, составляют баллады. По свидетельству Белинского, «этот род поэзии им начат, создан и утвержден на Руси: современники юности Жуковского смотрели на него преимущественно как на автора баллад. . .»[1] И сам поэт имел в виду именно баллады, когда, уже на склоне лет, говорил о себе, что он «во время оно родитель на Руси немецкого романтизма и поэтический дядька чертей и ведьм немецких и английских».[2]

«В балладе, — говорит Белинский, — поэт берет какое-нибудь фантастическое и народное предание или сам изобретает событие в этом роде. Но в ней главное не событие, а ощущение, которое оно возбуждает, дума, на которую оно наводит читателя. . . Превосходные переводы Жуковского познакомили нас с балладами Шиллера, Гете, Вальтера Скотта и других германских и английских певцов».[3] Это определение баллады как лироэпического рода, основанного на средневековом народном предании, следует дополнить и расширить тем, что в основе многих баллад Шиллера, а за ним и Жуковского, лежит не средневековое рыцарско-католическое предание, а античный миф и античное мировоззрение; с другой стороны, Жуковский использовал балладу для внесения в поэзию русского национального колорита в его романтическом понимании.

Первым выступлением Жуковского в балладном жанре была «Людмила», вольно переложенная в 1808 году из Бюргера и напечатанная тогда же в «Вестнике Европы». «Людмила» явилась круп-

---

[1] В. Г. Белинский, т. VII. М., 1955, стр. 167.

[2] В. А. Жуковский. Сочинения, изд. 7-е, т. VI. СПб., 1878, стр. 541.

[3] В. Г. Белинский, т. V. М., 1954, стр. 51.

ным событием в истории русской поэзии. Если на родине, в Германии, Бюргерова «Ленора» была лишь преддверием романтизма и еще не означала его наступления, то переложение Жуковского явилось первым выражением нового для русских читателей романтического направления. «Людмила» решительно порывала с традициями сказочно-богатырских поэм; черты этих традиций очень явственны в произведениях конца XVIII — начала XIX века, подобных «Громвалу» Г. П. Каменева (1802), несмотря на то, что современники склонны были считать «Громвала» романтической балладой. Чисто внешняя, сказочная фантастичность богатырской поэмы, без психологических или иных мотивировок, без раскрытия внутреннего мира героев, сменилась в балладе Жуковского лирическим, быстрым рассказом, в котором переживания героев играли существенную роль и мотивировали введение фантастического элемента; последний же понимался как вмешательство «потусторонних», таинственных сил в жизнь человека. С лирическим характером баллады связан и ее разговорный и одновременно напряженный, эмоциональный стиль, и стих ее — стремительный и вместе певучий, такой музыкальности, какой не бывало еще в русской поэзии. Эти черты, полностью и сразу развернувшиеся в «Людмиле», воспринимались как совершенно новое явление в литературе, хотя, в сущности, в стиле «Людмилы» было немало элементов сентиментализма, и его связь с карамзинской школой сильно чувствуется.

Вместе с тем в «Людмиле» воплотилось стремление Жуковского к народности, понимаемой им в чисто романтическом аспекте. Мысль о народности уже выдвигалась критикой, но еще не получила тогда осуществления в поэзии. Жуковский решал проблему народности лишь как изображение некоторых красочных, живописных русских национальных черт — бытовых, пейзажных, фольклорных; он не мог прийти к решениям, несвойственным ему и невозможным в тот момент, когда он выступил с «Людмилой»; мы не видим у него и позднее ни декабристской романтической героизации народа как носителя начал освободительной и патриотической борьбы, ни пушкинского глубокого и широкого проникновения в народную жизнь и выдвинутого им понимания народа как активного деятеля истории. Тем не менее «Людмила» явилась в свое время шагом вперед в вопросе народности: русское литературно-поэтическое имя героини, указания на Ливонские войны допетровского времени, черты пейзажа говорили читателям о национальной принадлежности баллады, делали ее оригинальным русским произведением, несмотря на сохранившиеся в ней элементы немецкой легенды. Все это определило успех «Людмилы» в широком кругу читателей и способствовало

утверждению нового направления. Характерно, что много позднее, в 1816 году, когда нарождающейся декабристской литературной мыслью была поставлена перед русской поэзией задача — преодолеть сентиментально-романтическое направление, данное русской поэзии Жуковским, и ввести в балладу, представляющую народное предание, русский «простонародный» стиль, — П. А. Катенин выбрал для поэтического состязания с Жуковским именно «Людмилу» и написал в противовес ей на тот же бюргеровский сюжет свою балладу «Ольга». Спор, завязавшийся тогда, в котором на стороне Жуковского выступил Гнедич, а на стороне Катенина — Грибоедов, не мог решить вопроса. Время показало (и это подтвердил в 1833 году своим отзывом Пушкин), что Катенин стоял на верном пути, ведшем в будущее русской реалистической поэзии.[1] Но, при большом неравенстве дарований между Катениным и Жуковским, опыт Катенина остался тогда одиноким, а поэтическая прелесть «Людмилы» надолго стала образцом языка и стиля для русской поэзии.

Вслед за «Людмилой» Жуковский в 1809 году написал «Кассандру» — перевод баллады Шиллера на античный гомеровский сюжет. Античный миф был переработан Шиллером в сторону его психологизации, но древнегреческая идея рока, тяготеющего над людьми, была сохранена и стала основой баллады. И эта идея и психологизм в образе Кассандры, мучающейся посланным ей от богов проклятием — напрасным и бедственным даром всеведения, — были близки воззрениям Жуковского и прекрасно им переданы в переводе баллады. Черты романтизма, свойственные балладам Шиллера, были полностью восприняты переводчиком: «Кассандра» явилась первой в русской поэзии романтической балладой на античную тему, как «Людмила» — на тему из русского средневековья. По этим двум главным линиям и развивается далее балладное творчество Жуковского.

---

[1] «Ленора, — писал Пушкин в статье о сочинениях Катенина, — была уже известна у нас по неверному и прелестному подражанию Жуковского, который сделал из нее то же, что Байрон в своем «Манфреде» сделал из «Фауста»: ослабил дух и формы своего образца. Катенин это чувствовал и вздумал показать нам «Ленору» в энергической красоте ее первобытного создания; он написал «Ольгу». Но сия простота и даже грубость выражений, сия *сволочь,* заменившая *воздушную цепь теней,* сия виселица вместо сельских картин, озаренных летнею луною, неприятно поразили непривычных читателей, и Гнедич взялся высказать их мнения в статье, коей несправедливость обличена была Грибоедовым» (А. С. Пушкин, т. VII. М.—Л., 1949, стр. 266—267).

Линия баллад на античные темы связана у Жуковского с творчеством Шиллера. «Античные» баллады немецкого поэта Жуковский переводил на всем протяжении своего балладного творчества, до 1833 года, когда написаны его последние баллады. Но интерес его к античности был шире и глубже. Возможно, что на многократные его обращения к античности влиял общий интерес к ней, к гомеровскому эпосу, в связи с переводом «Илиады», над которым два десятилетия трудился Гнедич, выпустивший его в 1829 году; переводить «Илиаду» пробовал и Жуковский, состязаясь с Гнедичем, и в 20-х годах перевел из нее, а также и из «Энеиды» несколько больших отрывков. Оригинальным произведением Жуковского явилась баллада «Ахилл», написанная в 1814 году под влиянием Шиллера, но на материале гомеровских и киклических поэм, — произведение, выдающееся по своему строго античному колориту, обстановке и фактическим деталям, а вместе с тем современное по своему психологизму и характерному для Жуковского задумчиво-меланхолическому тону.

Линия средневековых баллад на сюжеты, почерпнутые из народных преданий, проходит, так же как и линия «античных» баллад, через весь центральный период творчества Жуковского. В 1812 году он заканчивает начатую еще в 1808-м балладу «Светлана», где использован тот же сюжет «Леноры» Бюргера, что и в «Людмиле». «Светлана» занимает в творчестве Жуковского особое место. В ней русский национальный колорит присутствует в несравненно большей степени, чем в «Людмиле»: святочные гаданья описаны со всей бытовой точностью; в лексике и стиле баллады слышатся русские народные песни; в обстановке и пейзаже нет уже ничего от немецкого оригинала, даже призрачный конь жениха Леноры — Людмилы заменен русской тройкой с санями. Конечно, в народности «Светланы» есть известная доля условности и внешней живописности; но в обстановке национального подъема эпохи Отечественной войны баллада воспринималась как подлинно народное, русское произведение и вызывала восторг читателей, искавших в поэзии изображений русской национальной жизни. Вместе с тем «Светлана» была явным переосмыслением канонов баллады, установленных первыми выступлениями Жуковского в этом жанре. В противоположность своему прототипу, «Светлана» кончается счастливой развязкой; ее фантастика снимается тем, что вмешательство потусторонних сил — явление мертвеца-жениха — оказывается сном; концовка баллады («О, не знай сих страшных снов Ты, моя Светлана!») утверждает право человека на счастье и уверенность в светлом будущем. Творчество Жуковского не знает более оптимистического произведения. Но это

одна из немногих баллад подобного характера, особенно среди ранних его баллад.

Русскую народную трактовку балладных сюжетов, начатую «Людмилой» и «Светланой», Жуковский продолжал в поэме-балладе «Двенадцать спящих дев», почерпнутой, как и «Людмила», из западноевропейской литературы. Жуковский, воспользовавшись основными моментами фабулы прозаического романа Шписса, обработал ее вполне самостоятельно. Он перенес действие в древнюю Русь, изображенную, впрочем, очень общими и условными чертами; развил психологические элементы сюжета, в особенности — мучительные страдания грешника, который чувствует приближение своей гибели, цепляется за жизнь и отчаивается в спасении; усилил религиозно-моралистическую сторону баллады. Последняя — в виде идеи искупления греха через подвиг, напоминающей средневековые католические легенды о рыцарях Грааля, — была особенно подчеркнута во второй части поэмы — в балладе «Вадим», которая первоначально (как видно из переписки Жуковского) носила название «Искупление»; баллада, посвященная подвигам юного новгородского витязя Вадима, прославляла в его лице идеальную любовь к неведомой и далекой возлюбленной — безотчетное стремление человека к неясному идеалу. В 1817 году, когда «Двенадцать спящих дев» вышли полностью, в составе двух баллад, размером равных поэме, они, несмотря на высокую поэтичность и совершенство стиха, были встречены критически вольнолюбивой молодежью, связанной с тайными обществами. Ироническое отношение к мистическому и морализирующему характеру «Вадима» выразил Пушкин, дав в начале IV песни «Руслана и Людмилы» известную пародию на балладу Жуковского: «Певец таинственных видений, Любви, мечтаний и чертей» — Жуковский обличался Пушкиным «во лжи прелестной», вместо которой «вещалась истина» совсем другого рода. Пародия Пушкина имела скрытый политический смысл и была частью той борьбы, которая велась прогрессивно настроенными кругами против придворного ханжеского мистицизма; борьба велась, таким образом, через голову Жуковского, но это была борьба и за него самого, за его творчество, против вредных влияний двора. Пародия Пушкина тем более естественно использовала в этой борьбе «Двенадцать спящих дев», что это произведение явилось одним из самых характерных и полных выражений мечтательного и мистического романтизма в поэзии Жуковского этих лет.

«Вадим» был последней балладой Жуковского на средневековую тему, изображающей древнюю Русь. Предшествующие ему и следующие за ним баллады на темы средневековых народных и исто-

рических преданий почерпнуты из западноевропейской литературы и изображают феодальную Европу. Источниками их являются немецкие баллады Шиллера и Гете, к которым с 1816 года присоединяется Уланд, английские баллады Саути, Вальтера Скотта, а также Гольдсмита, Кемпбела и некоторых других. Эти баллады, в особенности те, которые были написаны в первый период балладного творчества Жуковского, до 1822 года, открывали русским читателям целый мир мрачного и опоэтизированного средневековья, с его феодальным рыцарством, культом дамы, народными верованиями в духов, мертвецов и колдуний, суровым католицизмом и верою в борьбу между небесными и адскими силами за человеческие души. Одною из наиболее типических является в этом смысле переведенная из Саути «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди». Написанная в конце 1814 года, баллада была напечатана лишь в 1831-м из-за цензурных препятствий, вызванных тем, что дьявол представлен в ней торжествующим над церковью. Но она была широко известна в рукописях и, вместе с «Людмилою» и «Двенадцатью спящими девами», воспринималась читателями-современниками как самое яркое выражение «средневековой» романтики ужасов. Сложную цензурную историю испытала и переведенная в 1822 году из В. Скотта баллада «Иванов вечер» («Замок Смальгольм»), в которой, невзирая на благонамеренность Жуковского, было усмотрено цензурою оскорбление церкви. Но демоническая фантастика далеко не исчерпывает содержания балладного творчества Жуковского 1810-х годов. В нем звучат и иные, лирические мотивы — тема неравной, запрещенной, трагически гибнущей любви, близкая Жуковскому по личным его переживаниям; эта тема воплощена в «Эоловой арфе» (1814), оригинальной балладе Жуковского, одной из наиболее лирических и художественно совершенных в его творчестве. Ряд переводов из Уланда, прогрессивного и демократического поэта, представляет реалистическое и народное, даже критическое отношение к феодализму, на материале подлинно народных преданий, и фантастика в них, в отличие от баллад Саути, имеет подчас иронический характер.

Во второй период балладного творчества, в 1831—1833 годах, Жуковский возвращается к религиозно-фантастическим средневековым темам и пишет ряд баллад, которые Белинский вправе был назвать «католическими легендами средних веков» («Доника», «Покаяние», «Королева Урака и пять мучеников» и др.). Но эти баллады в 30-х годах уже не могли иметь той популярности и того значения, какие принадлежали балладам 1810-х годов, оказавшим

значительное влияние на русскую поэзию в момент становления романтизма. Между этими двумя периодами, в 20-х годах, были созданы «Думы» Рылеева — романтические стихотворения, близкие к балладам, но исторические (без всякой фантастики) по темам и проникнутые декабристской гражданской идеологией; были созданы баллады Пушкина — исторические и народно-бытовые, где фантастика являлась естественно, как народное поверье, не имеющее в себе ничего религиозно-мистического. В этих условиях средневековая и католическая фантастика поздних баллад Жуковского оказывалась анахронизмом.

Но наряду с этими «католическими» балладами Жуковский пишет в 1828—1833 годах свои лучшие, почерпнутые из Шиллера баллады на античные темы: удивительное по проникновению в древнегреческое миросозерцание и по отточенности лапидарных речевых характеристик «Торжество победителей»; глубоко человечную и лирическую «Жалобу Цереры»; величественный гимн человеческому разуму, труду и гражданственности, исполненный оптимизма и сочувствия людям — «Элевзинский праздник». Некоторые средневековые баллады, переведенные тогда же из Уланда, звучат также жизнерадостно и проникнуты юмором, в особенности «Роланд-оруженосец» и «Плавание Карла Великого».

Тридцать девять баллад, созданных Жуковским между 1808 и 1833 годами, представляют великое множество сюжетов и образов, почерпнутых из разных эпох и от разных народов, великое разнообразие метрических форм, ритмов и строф, стиля и поэтического языка. Вместе с тем его балладное творчество теснейшим образом связано с его лирикой и в смысле формально-художественном и в смысле содержания и настроений, что особенно заметно в ранних балладах, созданных до 1822 года: во многих балладах и в значительной части лирики этого времени мы видим то же «томление духа», тоску по неведомым идеалам, ощущение присутствия роковых сил, тяготеющих над человеком, ту же идеальную, «неземную» любовь, иногда — ту же тематику. Характерно, что иные стихотворения 1818—1822 годов вполне балладного типа («Верность до гроба», «Три путника», «Победитель») не включались Жуковским в число баллад; с другой стороны, крупное повествовательное произведение «Двенадцать спящих дев» определяется автором как «повесть в двух *балладах*» и печатается в разделе баллад; а Пушкин, в одном из писем 1822 года, говорил о «прелестных *элегиях* первой части «Спящих дев»: настолько близко соприкасались в его представлении баллада Жуковского и романтическая элегия.

Современная критика вполне понимала единство направления

Жуковского как «балладника» и как лирика, элегического поэта. В годы углубления и развития декабристской идеологии и литературной критики стало определяться и достигло большой остроты расхождение между системой гражданской романтической поэзии декабристов и индивидуалистическим, мечтательным романтизмом Жуковского. В программной статье В. Кюхельбекера в «Мнемозине»,[1] в критических обзорах А. А. Бестужева в «Полярной звезде» критики-декабристы отмечали положительные качества поэзии Жуковского — его художественное мастерство, унылый, но приятный лиризм, выражающий переживания юности, искусство перевода, черты народности в «Светлане» и в послании к Воейкову; но вместе с тем упрекали его в том, что он «дал многим из своих творений германский колорит, сходящий иногда в мистику и вообще наклонный к чудесному»,[2] что его влиянию обязана русская поэзия вредным увлечением унылой, узко личной и туманной элегией. Особенно ясно высказана декабристская точка зрения на Жуковского в том обмене мнений, который произошел в начале 1825 года между Рылеевым и Бестужевым с одной стороны и Пушкиным — с другой. Отвечая на несохранившееся письмо Бестужева, Пушкин писал Рылееву:[3] «. . .не совсем соглашаюсь с строгим приговором <Бестужева> о Жуковском. Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводный слог его останется всегда образцовым». Пушкин, таким образом, рассматривал Жуковского в его историческом значении, и его положительная роль в развитии русской поэзии была для него несомненна, несмотря на то что черты мистики в творчестве Жуковского были ему так же чужды, как и критикам-декабристам. Но Рылеев не мог принять такой точки зрения: «Не совсем прав ты и во мнении о Жуковском, — отвечал он Пушкину 12 февраля 1825 года.[4] — Бесспорно, что Жуковский принес важные пользы языку нашему; он имел решительное влияние на стихотворный слог наш — и мы за это навсегда должны оставаться ему благодарными, но отнюдь не за *влияние его на дух нашей словесности,* как пишешь ты. К несчастью, влияние это было слишком пагубно: мистицизм,

---

[1] «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». — «Мнемозина», ч. II, 1824.

[2] «Полярная звезда на 1823 год», стр. 21—23.

[3] Письмо от 25 января 1825 года (А. С. Пушкин, т. X. М.—Л., 1949, стр. 118).

[4] Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XIII. М.—Л., 1937, стр. 141—142.

которым проникнута большая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность, которые в нем иногда даже прелестны, растлили многих и много зла наделали. . .» Декабристская идеологическая позиция выразилась здесь со всей остротой, и Рылеев был прав со своей точки зрения. Но исторически был прав и Пушкин, устанавливая значение Жуковского для общего развития русской поэзии, когда, с некоторым преувеличением, писал про себя, что он «не следствие, а точно ученик его» (Жуковского), что «никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его» и что «слог его еще мужает».[1] Слог Жуковского в 20-х годах действительно «мужал», поэзия его крепла, теряла черты неопределенности и мечтательности, но этот процесс совершался под несомненным и все усиливающимся влиянием на него «победителя-ученика» — Пушкина.

Большие формы эпических, повествовательных произведений позднее других жанров развиваются в поэзии Жуковского. Первый эпический замысел явился у него в 1814 году в виде сказочно-богатырской поэмы на исторической и былинной основе о Владимире киевском и его богатырях. Однако, проведя два-три года над собиранием материалов и составлением планов своей поэмы «Владимир», Жуковский так и не приступил к ней: сказочно-богатырский род поэмы не был ему сроден, баллады увлекали в сторону других форм и других сюжетов. Притом Жуковский избегал вымышлять свои повествовательные произведения, предпочитая обращаться к материалу мировой литературы.

Вместо вымышленной богатырской поэмы, Жуковский стал в 1817—1819 годах работать над переложением на современный русский язык «Слова о полку Игореве». Переложение осталось неизданным, так как, очевидно, поэт не считал его законченным и отделанным. Оно, естественно, отражает уровень знаний того времени о древнерусском памятнике, и многие толкования его устарели. Но Жуковский, как большой поэт, многое сумел верно почувствовать и угадать; он уловил своеобразие формы «Слова» и передал его ритмизованной прозой, очень свободной, плавной и звучной, разделенной не на стихи, но на смысловые и синтаксические отрезки разной длины. Переложение Жуковского до сих пор, несмотря на многие другие, позднейшие, остается одним из лучших в русской

---

[1] Письмо к П. А. Вяземскому от 25 июня 1825 года (А. С. Пушкин, т. X. М.—Л., 1949, стр. 149).

поэзии, и это показатель глубины и тонкости понимания им русского народно-поэтического языка, которое помогло ему довести до высокого совершенства, гибкости и разнообразия поэтический язык своих произведений.

Другим направлением эпических опытов Жуковского были его уже упоминавшиеся переводы народных рассказов Гебеля. Печатая в 1817 году перевод его сказочной повести в гекзаметрах «Красный карбункул», Жуковский писал в предисловии: «Переводчик сказки его желал испытать: 1-е, может ли сия привлекательная простота, столь драгоценная для поэзии, быть свойственна поэзии русской? 2-е, прилично ли будет в простом рассказе употребить гексаметр, который доселе был посвящен единственно важному и высокому? Не считая опыта своего удачным, он думает, что и то и другое возможно. . .»[1] Перевод повести Гебеля имел, таким образом, для Жуковского принципиальное значение. Он утверждал *простоту,* безыскусственность, сниженность стиля необходимыми условиями повествования, и это был удар по напыщенности эпической поэзии эпигонов классицизма — участников «Беседы». В эпоху споров о русском гекзаметре и его возможностях Жуковский показывал, что этот эпический стих способен одинаково служить и для самых высоких, философских или героических тем (таковы «Аббадона», перевод отрывка из «Мессиады» Клопштока, 1814, «Цеикс и Гальциона», перевод из «Превращений» Овидия, 1819), и для изображения народной жизни в «сельских стихотворениях» и «дедушкиных рассказах» (как были названы в изданиях 1824 и 1835 годов некоторые переводы из Гебеля), и для юмористических протоколов «Арзамаса». Разнообразие гекзаметров в творчестве Жуковского — одно из больших его достижений в работе над русским повествовательным стихом.

В 1821—1822 годах Жуковский перевел поэму Байрона «Шильонский узник», и этот первый русский стихотворный перевод крупного произведения великого английского поэта явился значительным событием в литературной жизни того времени: он ввел поэзию Байрона в ее подлинной художественной форме в круг чтения русского общества, мало знакомого тогда с английским языком. Обращение Жуковского к поэме Байрона было не случайным. Байрон недавно перед тем стал известен русским читателям, не столько, однако, в подлиннике, сколько во французских переводах, с которых были сделаны первые русские прозаические переводы, тяжелые и искажен-

---

[1] «Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете», ч. IX, 1817, кн. XIV, стр. 49—50.

ные. Друзья Жуковского — А. И. Тургенев, П. А. Вяземский, И. И. Козлов, читавшие Байрона в подлиннике, — были увлечены его поэзией, и вместе с ними увлекся ею Жуковский. В «Шильонском узнике» его поразило мощное изображение страданий человека, безвинно лишенного свободы. Жуковский оставил непереведенным сонет, обращенный Байроном к вольности и составляющий вступление к поэме, придавая ей революционный смысл. Но чувство гуманности, возмущенное бесчеловечной несправедливостью и обостренное личным посещением Шильонского замка, позволило ему передать текст поэмы с огромным поэтическим воодушевлением и с необычайной точностью, таким сильным и энергическим стихом, какого, казалось, трудно было ожидать от «певца тихой скорби и унылого страдания».[1]

Перевод вольнолюбивой и гуманистической поэмы Байрона был восторженно встречен друзьями Жуковского, и прежде всего находившимся тогда в ссылке Пушкиным. Высоко оценил его впоследствии Белинский, писавший, что «здесь в первый раз крепость и мощь русского языка явилась в колоссальном виде. . .»[2] В переводческой деятельности Жуковского «Шильонский узник» — одно из высочайших достижений, действительно новый шаг в истории русской поэзии, поэтического стиля и языка.

Почти одновременно с «Шильонским узником» был закончен и другой крупнейший труд Жуковского: перевод драматической поэмы или трагедии Шиллера «Орлеанская дева» (1817—1821). Трагедия привлекла его своим патетическим тоном, патриотической героикой, постановкой больших моральных вопросов, образом Иоанны, которому Шиллер, вместе с героизмом, преданностью высокой национальной идее, страстным служением своему долгу, придал черты раздвоенности и страдания, построив трагический конфликт на борьбе между долгом и чувством. В «Орлеанской деве» — впервые в творчестве Жуковского — средневековье трактуется не в рыцарском, фантастическом или религиозном аспекте, но в аспекте героики освободительной борьбы народа. Вместе с тем Жуковский мог видеть в трагедии и своего рода «урок царям», совпадающий с его собственными представлениями. Перевод «Орлеанской девы» был первым в русской литературе переводом неклассической трагедии, равным подлиннику. Это была первая в русской драматургии трагедия, свободная от всяких условностей классицизма, где народ показан активным участником исторических событий, — трагедия, написанная белым стихом (пятистопным драматическим ямбом, притом — без

---

[1] В. Г. Белинский, т. VII. М., 1955, стр. 209.
[2] Там же.

цезур, т. е. совершенно свободным). «Орлеанская дева» облегчила Пушкину создание «Бориса Годунова», но уже на иной — чисто реалистической, шекспировской и народной основе.

Отрывки из романтической поэмы Вальтера Скотта «Мармион», переведенные Жуковским в 1831—1832 годах под названием «Суд в подземелье», и небольшая драматическая повесть или сцена Уланда, средневекового содержания, «Нормандский обычай», переведенная в 1832-м, завершают, в смысле крупных повествовательных или драматических произведений, центральный период деятельности поэта.

Особняком от основной, романтической линии его творчества стоят написанные в 1831 году русская народная сказка «О царе Берендее» и основанная на литературных обработках немецкой и французской народных сказок «Спящая царевна».

Обращение Жуковского к народно-сказочному жанру в 1831 году было закономерным. К началу 30-х годов вопрос о народности в литературе, в частности о русском народном творчестве как источнике поэзии, стал одним из основных, центральных вопросов литературно-общественной жизни, занимавших передовых писателей и критиков. Пушкин, дав глубочайшие образцы народности в «Борисе Годунове» и «Евгении Онегине», создает в это время баллады и сказки («Жених», «Утопленник», «Сказка о попе и о работнике его Балде», пролог к «Руслану и Людмиле»), проникнутые народным духом. В том же направлении работал и Гоголь, когда писал «Вечера на хуторе близ Диканьки». Летом 1831 года, живя в Царском селе, Жуковский был в теснейшем общении с Пушкиным, а также и с Гоголем. Пушкин уже и раньше советовал ему, вместо западноевропейских литературных сюжетов, обратиться к русской народной поэзии; он указывал на то, что «предания русские ничуть не уступают в фантастической поэзии преданиям ирландским и германским»,[1] и настойчиво желал направить творчество Жуковского на самостоятельный и национальный путь. Общение поэтов в Царском Селе способствовало новой постановке вопросов народности и вызвало известное «состязание» между ними в сказочном роде: Пушкин написал тогда «Сказку о царе Салтане», Жуковский — «Сказку о царе Берендее», созданную, так же как и сказка Пушкина, по фольклорным материалам, записанным Пушкиным в Михайловском. «Сказка о царе Берендее» воплотила в себе, таким образом, ряд подлинных мотивов русского сказочного народного творчества, лишь с незначительными деталями литературного происхождения. И другая сказка — «Спящая царевна», сюжет которой был найден Жуков-

[1] Письмо к П. А. Плетневу от середины апреля 1831 года (А. С. Пушкин, т. X. М.—Л., 1949, стр. 347).

ским в западноевропейской сказочной литературе, в его обработке приняла вид русской народной сказки.

Эти сказки Жуковского уступают в смысле народности сказкам Пушкина. В сказках Жуковского больше литературности, изысканно подобранных деталей, меньше простоты и непосредственности; но в русской сказочной литературе и в творческом наследии Жуковского они занимают значительное и почетное место и сохраняют доныне живой читательский интерес. Много позднее, в середине 40-х годов, Жуковский вновь вернулся к сказочному жанру и написал «Кота в сапогах» и «Сказку об Иване-царевиче и о сером волке»; в последней он использовал материалы русских народных сказок и создал из них единое и замысловатое повествование: русские сказки органически вошли в эпическое творчество Жуковского 40-х годов.

IV

С 1834 года начинается третий, последний период поэтической деятельности Жуковского. После огромного подъема творческой энергии в 1831 году и во время заграничного путешествия 1832—1833 годов, когда было создано множество баллад, и среди них самые совершенные и зрелые, написаны сказки, ряд повестей в стихах и лирических стихотворений, — творчество Жуковского, вследствие того, что он вновь усиленно занят педагогической работой, на время количественно сокращается, а главное — существенно меняет характер: он навсегда отказывается от баллад (если не считать «Ночного смотра», переведенного в 1836 году из Цедлица) и почти не пишет лирических стихотворений.

Место лирики и баллад занимают крупные повествовательные формы — поэмы и повести в стихах. Оставаясь поэтом-романтиком, Жуковский переходит от лирических и лироэпических произведений к чистому эпосу; от стремительной баллады обращается к спокойно развертывающимся повествованиям, от сложной строфики и прихотливой рифмовки лирических стихотворений и баллад — к белому стиху, стремящемуся приблизиться к ритмизованной прозе в двух излюбленных им формах: гекзаметра и пятистопного ямба. Гекзаметр, разнообразный и гибкий, дает широкие повествовательные возможности — от торжественного и строгого распева гомеровских поэм до интимного и просторечного, даже юмористического рассказа. Пятистопный ямб без цезур, с постоянными смысловыми переносами сознательно вводится Жуковским как переходное звено между поэзией и прозой, сочетающее качества той и другой. Посылая в 1843 году редактору «Современника» П. А. Плетневу повесть в сти-

хах «Маттео Фальконе», он писал ему: «Я совсем раззнакомился с рифмою. Знаю, что... вы любите гармонические формы и звучность рифмы, и я их люблю; но формы без всякого украшения, более совместные с простотою, мне более по сердцу... Я... написал две повести,[1] ямбами без рифм, в которых с размером стихов старался согласить всю простоту прозы так, чтобы вольность непринужденного рассказа нисколько не стеснялась необходимостью улаживать слова в стопы. Посылаю вам одну из этих статей для помещения в *Современнике*. Желаю, чтобы попытка прозы в стихах не показалась вам прозаическими стихами».[2] Таким образом, мысль о возможных новых формах повествовательной поэзии, впервые высказанная в 1816 году в предисловии к «Красному карбункулу», становится руководящим принципом эпического творчества Жуковского в последний период его деятельности.

В обращении Жуковского с середины 30-х годов к большим эпическим формам, в его стремлении сблизить повествовательный стих с прозою нужно видеть не только влияние возраста поэта, на которое он ссылается, но и отражение общей тенденции в развитии русской литературы этого времени — от стиха к прозе, к большим повествовательным формам, роману и повести.

Не вымышляя собственных сюжетов, Жуковский переводит и перерабатывает ряд значительных произведений современной и древней мировой поэзии. Центральным трудом такого рода в 30-х годах явилось переложение в стихах прозаической повести Ламот-Фуке «Ундина». Жуковский познакомился с нею еще в 1816 году и тогда же, привлеченный ее поэтичностью, ее гуманной и светлой идеей, ее народно-фантастическими образами, задумал перевести ее прозой. Но только в 30-х годах он приступил к работе и переложил повесть гекзаметрами того «сказочного» типа, какой до этого применялся им для рассказов Гебеля и некоторых средневековых повестей Шиллера («Сражение с змеем», «Суд божий»).

[1] «Маттео Фальконе» и, вероятно, «Капитан Бопп». — *Н. И.*

[2] В. А. Жуковский. Сочинения, изд. 7-е, т. VI. СПб., 1878, стр. 590—591. О том же Жуковский писал И. В. Киреевскому в конце 1844 года по поводу задуманного им собрания повестей для юношества: «Они все будут писаны или ямбами без рифм, ...или моим сказочным гекзаметром (совершенно отличным от гекзаметра гомерического), и этот должен составлять средину между стихами и прозой, то есть, не быв прозаическими стихами, быть, однако, столь же простыми и ясными, как проза, так, чтобы рассказ, несмотря на затруднение метра, лился бы как простая, непринужденная речь. Я теперь с рифмою простился. Она, я согласен, дает особенную прелесть стихам, но мне она не под лета... Я сделался смирным поэтом-рассказчиком...» (там же, стр. 48).

Издание «Ундины» в 1837 году было встречено восторженно в разных кругах читателей. Гоголь отозвался о ней в одном из писем: «Чудо, что за прелесть!»[1] Живший в вятской ссылке Герцен писал Н. А. Захарьиной: «Сейчас прочел я «Ундину» Жуковского. Как хорош, как юн его гений!»[2] Последнее замечание очень верно: свежая и возвышенная романтика «Ундины», мастерство в передаче народных поверий, чистая гуманность повести показывают, что силы Жуковского с годами не падают, но укрепляются, и его творчество переходит в новый этап.

Окончив работу над «Ундиной», Жуковский начал другой большой труд — переложение гекзаметрами индийской народной повести в стихах «Наль и Дамаянти». Работа была выполнена в 1837—1841 годах. Здесь, как и в «Ундине», Жуковского привлекла яркая романтика, заключенная в народных преданиях и мифах, на которых основана поэма, гуманная идея ее, апофеоз высокой, самоотверженной и верной любви в образе Дамаянти, изображение страданий, пережитых Налем, возвышающих и очищающих его. Но помимо этого, в «Нале и Дамаянти» Жуковский воспроизвел ряд грандиозных картин древнего восточного эпоса, в котором история двух разлученных любящих дана на фоне жизни целого народа с его мировоззрением, мифологией и этикой. Стремление к большим национальным эпическим произведениям, характерное для позднего творчества Жуковского, нашло себе здесь выражение.

В 1839 году Жуковский написал драматическую поэму «Камоэнс», являющуюся вольным переводом произведения немецко-австрийского писателя Фр. Гальма (Ф. Мюнх-Беллингхаузена), но с такими отступлениями от подлинника, которые позволяют видеть в ней в значительной мере самостоятельное произведение и выражение эстетических взглядов самого Жуковского. В «Камоэнсе» нарисован образ великого поэта, создателя национального эпоса, погибающего под тяжестью преследований враждебной ему придворной аристократии. Этот образ, найденный у Гальма, мог стать близким Жуковскому уже потому, что напоминал недавнюю гибель Пушкина. Но вместе с тем он вложил в уста португальского поэта и его последователя Васко те религиозно-моралистические представления о поэзии, какие были свойственны ему самому. Формулы, заключенные в поэме: «Поэзия небесной религии сестра земная» и

---

[1] Письмо В. О. Балабиной от 16/4 июля 1837 года. (Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. Изд. Акад. наук СССР, т. XI, стр. 106).

[2] Письмо от конца июня 1837 года. (А. И. Герцен. Сочинения, изд. под ред. М. Лемке, т. I. Пб., 1919, стр. 435).

«Поэзия есть бог в святых мечтах земли» — являются определяющими для последнего периода жизни Жуковского.

Окончание работы над «Налем и Дамаянти» совпало с большой переменой в личной жизни Жуковского. Покинув после путешествия с наследником по России и Европе свою придворно-педагогическую службу, он выехал в Германию, где в мае 1841 года женился на 20-летней дочери своего старого друга, художника Рейтерна, Елизавете. Женитьба изменила его дальнейшие планы, заставила отложить возвращение в Россию, а затем и остаться жить в Германии. И как он ни стремился вернуться на родину, ему не удалось увидеть ее до конца жизни. Состояние умиротворения и покоя, о котором мечтал в эти годы стареющий поэт, он лирически представил во вступлении к «Налю и Дамаянти», помеченном «Дюссельдорф, 16/28 февраля 1843». На самом деле жизнь его была далеко не так счастлива. Он чувствовал себя одиноким, оторванным от родины и друзей. Войдя в семью Рейтерн, он попал в атмосферу старонемецкой патриархальности с оттенком филистерства, проникнутую пиетизмом и строгим морализированием; эта атмосфера не могла не влиять на мягкого и утомленного жизнью Жуковского, и религиозная дидактика и своего рода аскетизм стали все сильнее проявляться в его литературной работе, в многочисленных повестях и аполагах, философских и публицистических статьях, писавшихся им в 40-е годы.

Несмотря на старость, усиливающиеся болезни, постепенную потерю зрения, он в последнее десятилетие своей жизни работал необычайно много. Последним трудом его, прерванным смертью, была обширная поэма на тему старинной церковной легенды, не раз использованной в литературе, — «Агасвер, вечный жид». В ней Жуковский стремился создать своеобразный христианский эпос, где мировая история христианского периода рассматривалась бы с религиозной точки зрения, как проявление воли божества. Очевидно, что такая поэма, несмотря на отдельные грандиозные поэтические картины, была в середине XIX века явным анахронизмом. . .

Но значение последних лет деятельности Жуковского для русской поэзии заключается, конечно, не в религиозно-моралистических повестях и публицистике и не в «Агасвере»; в эти годы он создал два произведения иного стиля и направления, два крупных эпических полотна: он переложил поэму «Рустем и Зораб» и выполнил величественный труд — перевод «Одиссеи».

Поэма «Рустем и Зораб», написанная в 1844—1847 годах, представляет собою переложение немецкой обработки, сделанной Рюккертом, одной из частей поэмы «Шах-Наме» великого древнетад-

жикского поэта Фирдоуси. Жуковский очень свободно перелагал свой оригинал, опустил некоторые эпизоды и ввел другие. Так, ему всецело принадлежит поэтический и трогательный рассказ о появлении прекрасной девы-воительницы Гурдаферид у тела Зораба, а также сцена прощания коня Зораба с мертвым господином. Несмотря на эти и другие отступления и на то, что форма поэмы Жуковского очень далека от подлинной «Шах-Наме», русский поэт сумел в совершенстве передать древнее сказание о сыне богатыря, воспитанном вдали от отца, который отправляется на завоевание славы, чтобы, став знаменитым героем, явиться к отцу; но, встретясь, сын и отец не узнают друг друга, вступают в бой — и сын погибает от руки отца. Образы обоих героев — могучего защитника Ирана Рустема и пылкого юноши Зораба — даны во всей их эпической полноте, яркости и живости. Примечательно, что всецело сохранены и резко отрицательные изображения обоих царей — хитрого туранца Афразиаба и жестокого, коварного, трусливого и двуличного царя Ирана Кейкавуса. Поэма, начинаясь в светлых и спокойных тонах, описанием любовного эпизода между молодым Рустемом и прекрасной Теминой, продолжается в героическом плане, а затем постепенно, с приближением неотвратимой судьбы — гибели Зораба в бою с отцом — принимает глубоко трагический характер и заканчивается потрясающим изображением великой человеческой скорби отца-убийцы. Каждая деталь поэмы, образы ее героев, даже второстепенных, показывают совершенную свежесть и зрелую силу поэтического мастерства Жуковского. Примечателен и своеобразный стих, которым написана поэма, — нерифмованный вольный ямб, близкий к ритмической прозе и звучащий то эпически спокойно, то мужественно сурово, то лирически нежно и взволнованно. Этот стих — одна из замечательных поэтических находок поэта.

Еще более крупным по величине и по значению трудом был перевод «Одиссеи», выполненный Жуковским в 1842—1848 годах. К этому труду он готовился долго. Не зная греческого языка, он работал с помощью немецкого, специально для него составленного подстрочника. Интуиция поэта и опыт переводчика, много работавшего над эпической поэзией разных народов, знание античного мира, проявленное еще в ранних балладах, опыты 20-х годов в переводе отрывков из «Илиады» и «Энеиды» помогали ему почувствовать и воспроизвести характер древнегреческого подлинника. И Жуковский блестяще справился с труднейшей задачей. Он не мог не считаться с образцом, данным Гнедичем в переводе «Илиады», но и не следовал ему слепо, понимая, что «Одиссея» требует иных стилистических средств, чем величаво-героическая «Илиада», и упорно работал

над созданием нового эпического стиля и гекзаметра, соответствующего задаче перевода. «Я везде старался (писал он о своем переводе) сохранить простой, сказочный язык, избегая всякой натяжки, избегая всякого славянщизма, и по возможности соглашал с формами оригинала (которые все материально сохранились в переводе подстрочном) формы языка русского, так, чтобы гомеровский стих был ощутителен в стихе русском, не заставляя его кривляться по-гречески».[1]

Выполнение перевода «Одиссеи» поэт считал своим священным долгом перед родиной и русской культурой. В его болезненном состоянии это был в полном смысле слова подвиг, тем более замечательный, что он был совершен в очень короткие сроки: все 12 песен второй части переведены «неимоверно скоро — менее нежели во сто дней».[2] Письма поэта к друзьям показывают, с каким жаром и увлечением трудился он над «Одиссеей». И его перевод, выполненный более столетия назад, до сих пор остается классическим и лучшим из переводов поэмы на русский язык.

Закончив «Одиссею», Жуковский мечтал приняться за новый, столь же гигантский труд — за перевод «Илиады», «дабы оставить по себе полного собственного Гомера».[3] Но смерть оборвала его творческие планы. Он умер в Бадене 24(12) апреля 1852 года. Прах его вскоре был перевезен на родину и погребен на кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

Незадолго до смерти он написал замечательное стихотворение «Царскосельский лебедь». Здесь в образе старого лебедя, пережившего ряд поколений, который умирает в одиночестве и перед смертью, в последнем порыве, взлетает к небу, он поэтически представил свою собственную судьбу, свое предсмертное одиночество и последние творческие стремления. В этих вдохновенных стихах полностью выразил себя поэт, который был вправе и накануне смерти сказать о себе, что для него «жизнь и поэзия — одно».

Рассматривая творческий путь Жуковского, мы видим, что, начиная с «Сельского кладбища» и вплоть до «Одиссеи», бо́льшая часть его произведений, и в том числе наиболее значительные, почерпнуты из западноевропейской, античной или восточной поэзии, являются переводами или переложениями. Это относится целиком к его эпике и драматургии, почти ко всем балладам, к очень многим «мелким» стихотворениям. Замечательно, что даже интимные лири-

---

[1] В. А. Жуковский. Сочинения, изд. 7-е, т. VI. СПб., 1878, стр. 185.

[2] Там же, стр. 542.

[3] Там же, стр. 593.

ческие произведения, такие, например, как обращенное к М. А. Протасовой стихотворение «Имя где для тебя», оказываются не самостоятельными, но заимствованными. Он при этом отбирает для переводов такие произведения, которые соответствуют его собственным умонастроениям и переживаниям, или интересны и близки ему по теме. Нередко он вносит в переводы много своего — и в смысле формы (перелагая, например, в стихи прозаическую «Ундину» или в корне меняя размеры баллад) и в смысле содержания — свои настроения и мысли или, по крайней мере, усиливает и подчеркивает то, что в подлиннике ему особенно близко, но высказано недостаточно ясно, и ослабляет, затушевывает то, что противоречит его представлениям. Более того: он нередко строит на основе иноязычного оригинала новое произведение, являющееся не переводом и даже не подражанием, а своего рода вариацией на «чужую» тему; таковы, например, «Двенадцать спящих дев» (и в особенности вторая баллада — «Вадим»), «К мимопролетевшему знакомому гению», в значительной мере «Камоэнс» (в его заключительной части).

Сам Жуковский вполне сознавал этот своеобразный характер своего дарования. Известны его слова в письме к Гоголю от 6(18) февраля 1847 года: «Я часто замечал, что у меня наиболее светлых мыслей тогда, как их надобно импровизировать в выражение или в дополнение чужих мыслей. Мой ум — как огниво, которым надобно ударить об кремень, чтобы из него выскочила искра. Это вообще характер моего авторского творчества; у меня почти всё или чужое или по поводу чужого — и всё, однако, мое».[1] Эта формула очень точно определяет если не характер творчества Жуковского вообще — потому что оно гораздо самостоятельнее и своеобразнее, чем он здесь говорит, — то характер и значение его переводческой деятельности. В самом деле, нельзя изучить творчество Жуковского только по его оригинальным произведениям, не касаясь переводов; и вместе с тем, изучая его, мы должны рассматривать в одном ряду его оригинальные и переводные произведения, не проводя между ними принципиального различия. Это ставит Жуковского на совершенно особое место среди поэтов-переводчиков не только в русской, но и в мировой литературе. Этими чертами его творческого дарования объясняется и то, почему Жуковский не отвечал на настойчивые указания и советы друзей, начиная с Пушкина, — перейти от переводов на путь самостоятельного творчества.

Теоретические представления о том, чем должен быть перевод-

---

[1] В. А. Жуковский. Сочинения, изд. 7-е, т. VI. СПб., 1878, стр. 612.

чик-поэт в отношении к своему оригиналу, сложились у Жуковского уже в ранние годы его деятельности. В статье о баснях Крылова («Вестник Европы», 1809) он высказывает ряд мыслей о сущности художественного стихотворного перевода, или, как он характерно называет его, «подражания»: «Подражатель-стихотворец, — утверждает он, — может быть автором оригинальным, хотя бы он не написал ничего собственного», потому что «переводчик в *прозе* есть раб; переводчик в *стихах* — соперник». И далее он развивает эту мысль: «Поэт оригинальный воспламеняется идеалом, который находит *у себя в воображении;* поэт-подражатель в такой же степени воспламеняется образцом своим, который заступает для него тогда место идеала собственного... Скажу более: подражатель, не будучи изобретателем в *целом,* должен им быть непременно *по частям;* прекрасное редко переходит из одного языка в другой, не утратив нисколько своего совершенства: что же обязан делать переводчик? Находить у себя в воображении такие красоты, которые могли бы служить *заменою,* следовательно производить *собственное,* равно превосходное — не значит ли это быть творцом? ..»

Эти положения, сложившиеся в результате его собственного переводческого опыта, остались для него неизменными на всю жизнь. Задачу свою как переводчика Жуковский всегда видел не в том, чтобы точно передавать малейшие особенности форм, малейшие детали сюжета своего оригинала, — но в том, чтобы постичь его дух, его основную идею и найти в русском поэтическом языке соответствующие выражения; он был убежден, что переводчик-поэт должен сам прочувствовать чужое произведение, стать его вторым творцом, влить в него свои собственные творческие силы: только тогда произведение другого народа, другого времени войдет органически в новую литературную среду, в культуру народа, на языке которого оно передано.

Позднейшие русские переводы многих произведений, переводившихся Жуковским, достигли бо́льшей точности в передаче оригинала. Но тем не менее такие важнейшие его труды, как «Орлеанская дева», «Шильонский узник», баллады Шиллера, Гете, Уланда, Вальтера Скотта, Саути, ряд лирических стихотворений немецких и английских поэтов, наконец «Одиссея», до сих пор не превзойдены никакими другими переводами, хотя бы они были гораздо точнее.

Неустанная переводческая работа на чрезвычайно разнообразном материале имела для Жуковского большое и благотворное значение. Она требовала от него громадного внимания к поэтическому языку и стилю, заставляла отыскивать в русском языке слова и обороты, соответствующие переводимому произведению, передающие с наи-

большей точностью и выразительностью смысловые оттенки чужого языка, формы чужого стиля. Такая работа способствовала развитию в языке Жуковского гибкости, разнообразия, точности, до него бывших недостижимыми даже для крупнейших поэтов, позволила ему широко использовать и раскрыть лексические богатства и выразительные средства русского языка, и тем расширить материал языка литературного. Переводы лирических стихотворений и в особенности баллад с их разнообразием метров и ритмики, сложной строфикой и рифмовкой помогли ему обогатить русскую поэзию формами, незнакомыми ей раньше. Словом, труд Жуковского-переводчика над стихом, поэтическим стилем и языком открыл перед русской поэзией новые пути и новые возможности; Жуковский облегчил молодому Пушкину выработку его собственного стиля, и именно в этом отношении явился учителем будущего создателя реалистической поэзии.

Оценивая значение переводческой деятельности Жуковского, Белинский писал: «Жуковский был переводчиком на русский язык не Шиллера или других каких-нибудь поэтов Германии и Англии, — нет, Жуковский был переводчиком на русский язык романтизма средних веков, воскрешенного в начале XIX века немецкими и английскими поэтами, преимущественно же Шиллером...»[1] «Благодаря ему для русского общества стала не только доступна, но родственна и романтическая поэзия средних веков и романтическая поэзия начала XIX века. А это с его стороны великий подвиг, которому награда — не простое упоминовение в истории отечественной литературы, но вечно славное имя из рода в род...»[2]

Значение Жуковского далеко выходит, однако, за пределы роли передатчика русской культуре произведений многих народов и эпох, представляющих мировую литературу, как бы важна эта роль ни была. Значение поэтической деятельности Жуковского заключается в том, что, явившись в русской поэзии в переходный момент ее развития — условно говоря, на рубеже между XVIII веком и XIX-м, — он стал одним из крупнейших поэтов *нового* века, выразителем многих его стремлений и многих передовых тенденций, и это несмотря на противоречивость в воззрениях и в творчестве, несмотря на общественно-политический консерватизм, на идеи смирения и отречения, выдвигаемые им в ряде произведений. Он первый в русской поэзии осуществил то, что намечалось, но не могло еще быть сде-

---

[1] В. Г. Белинский, т. VII. М., 1955, стр. 167.
[2] Там же, стр. 183.

лано его предшественниками: создал психологическую лирику, выражающую внутренний мир человека, его душевные движения, его настроения и эмоции; создал поэзию, исполненную гуманности, уважения к человеку, сочувствия к его страданиям, стал первым русским поэтом-романтиком, открывшим русской поэзии одну, исторически необходимую сторону раннего романтизма как *«поэт стремления, душевного порыва к неопределенному идеалу»*. Его «великое историческое значение для русской поэзии вообще», по определению критика, заключается в том, что, «одухотворив русскую поэзию романтическими элементами, он сделал ее доступною для общества, дал ей возможность развития, и без Жуковского мы не имели бы Пушкина». [1]

Жуковский ввел в русскую поэзию множество новых тем, новых образов, новое восприятие окружающего мира и новые средства для выражения этого восприятия. Яркие и цельные краски, с такой роскошью разлитые в поэзии Державиным, он заменил небывалыми до тех пор полутонами, оттенками, тонкими переходами цветов. Это свойство его поэзии относится и к изображению душевных движений, неопределенных состояний и настроений человека, и к пейзажной живописи, замечательным мастером которой он показал себя.

То, что было в творчестве Жуковского случайного, подсказанного минутными обстоятельствами, давно устарело и сохранило лишь исторический интерес. Но все лучшее, что он создал, продолжало жить и живет до сих пор. Влияние его поэзии, его психологической и пейзажной живописи, его стиля и образности чувствуется в течение многих десятилетий. Влияние это отразилось в поэзии раннего Лермонтова, Тютчева, Аполлона Григорьева, Фета, Полонского; некоторые элементы его поэтики воспринял столь далекий от него по мировоззрению Некрасов; на рубеже следующего, XX века испытал его воздействие Александр Блок.

Своей многосторонней творческой деятельностью, своей ролью в истории русской поэзии Жуковский вполне оправдал те пророческие слова, которые молодой Пушкин написал о нем еще в 1818 году:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

---

[1] В. Г. Белинский, т. VII. М., 1955, стр. 221.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1797—1851

МАЙСКОЕ УТРО

Белорумяна
Всходит заря
И разгоняет
Блеском своим
Мрачную тьму
Черныя нощи.

Феб златозарной,
Лик свой явивши,
Всё оживил.
Вся уж природа
Светом оделась
И процвела.

Сон встрепенулся
И отлетает
В царство свое.
Грезы, мечтанья,
Рой как пчелиной,
Мчатся за ним.

Смертны, вспряните!
С благоговеньем,
С чистой душой,
Пад пред всевышним,
Пламень сердечный
Мы излием.

Радужны крылья
Распростирая,
Бабочка пестра
Вьется, кружится
И лобызает
Нежно цветки.

Трудолюбива
Пчелка златая
Мчится, жужжит.
Всё, что бесплодно,
То оставляет —
К розе спешит.

Горлица нежна
Лес наполняет
Стоном своим.
Ах! знать, любезна,
Сердцу драгого
С ней уже нет! —

Верна подружка!
Для чего тщетно
В грусти, тоске
Время проводишь?
Рвешь и терзаешь
Сердце свое?

Можно ль о благе
Плакать другого?..
Он ведь заснул
И не страшится
Лука и злобы
Хитра стрелка.

Жизнь, мой друг, бездна
Слез и страданий...
Счастлив стократ
Тот, кто, достигнув
Мирного брега,
Вечным спит сном.

1797

ДОБРОДЕТЕЛЬ

От света светов луч излился,
И добродетель родилась!
В тьме мир дремавший пробудился,
Земля весельем облеклась;
В священном торжестве природа
Объемлет дар для смертных рода;
От горних, светлых стран небес
Златой, блаженный век спустился,
Восторг божественный вселился
Во глубине святых сердец.

На землю дщерь творца предстала,
Творений хор ей гимн воспел;
Пустыня светлым раем стала;
Как крин, повсюду мир процвел;
Любовь, невинность, кротость нравов;
Без строгости и без уставов,
Правдивость, честность всем эгид;
Повсюду дружба водворилась,
Повсюду истина явилась,
Преданность, верность, совесть, стыд.

Дохнула злоба — и родился
Кровавый, яростный раздор;
Вздохнул он — вздох сей повторился
Среди сердец кремнистых гор;
Ужасный яд — его дыханье,
Убийство, смерть — его желанье,
И мрак — блистание очей.
Взглянул — и брани воспылали,
Несчастны жертвы застонали,
Кровь быстрой полилась струей.

Одеян бурей век железный,
Потрясши круг земли, предстал;
Померк натуры вид любезный,
И смертный счастлив быть престал.
С цепей своих Борей сорвался,
В полях небесных гром раздался,
Завыл и лес и сонм морей!

С лугов зефиры улетели,
По рощам птицы онемели,
И светлый не журчит ручей.

Дщерь ада, злоба есть содетель
Бесчисленных, лютейших бед;
Но не исчезла добродетель!
Она еще, еще живет;
Еще ей созидают храмы,
Еще курят ей фимиамы;
Но, ах! златой уж век исчез,
В пучине вечности сокрылся,
Один лишь луч к нам отделился
И добрым мир с собой принес.

Иной гордыни чтит законы,
Идет неправды по стезям;
Иной коварству зиждет троны
И дышит лестию к царям;
Иной за славою стремится;
Тот злата алчностью томится,
Тот ратует с врагом своим,
И всяк путь ложный избирает,
В ночи как будто бы блуждает;
Его дела — ничтожный дым.

И муж, премудростью почтенный,
Во испытаньях поседев,
Муж праведный и просвещенный
Вздохнет, на всё сие воззрев;
В мечтаньях сих он тленность видит,
Порок и зло он ненавидит,
И добродетели кумир
В своей душе он обожает,
Свою всю жизнь ей посвящает,
Его чертог — пространный мир.

Кто правды, честности уставы
В теченье дней своих блюдет,
Тот к счастью обретет путь правый,
Корабль свой в пристань приведет;
Среди он бедствий не погибнет,

В гоненьи рока он возникнет,
Его перун не устрашит.
Когда и смерть к нему явится,
То дух его возвеселится,
К блаженству спешно полетит.

О вы, подобье юных кринов!
В вас пламень бодрости горит,
В вас зрю я доблесть славянинов —
Учитесь добродетель чтить;
В душе ей храм соорудите,
Ей мысли, чувства посвятите,
Стремитесь мудрых по стезям.
Круг жизни вашей совершится,
Но солнце ваших дней затмится,
Зарю оставя по следам.

1798

СТИХИ НА НОВЫЙ, 1800 ГОД

Из недра вечности рожденный,
Парит к нам юный сын веков;
Сотканна из зарей порфира
Струится на плечах его;
Лучи главу его венчают,
Простерт о чреслах Зодиак,
В его деснице зрится чаша,
Где скрыты жребии судьбы,
Из коей вечными струями
Блаженство и беды текут.

Летит — пред ним часы, минуты
Лиются быстрою струей;
Сопутницы, его подруги,
Несут вселенной благодать:
Зима в своей короне льдяной,
В сотканной ризе из снегов,
Весна с цветочными коврами,
С плодами *Осень* для древес,
С снопами *Лето* золотыми
И благотворной теплотой.

Летит — во сретенье вселенна
Ему благословенья шлет;
Желанья, робкие надежды
Несутся сонмами к нему;
К нему стремится глас хвалебный,
К нему летит слеза и вздох;
Монарх с блестящего престола
И нищий с бедного одра
К нему возводят взор молящий,
Благодеяний ждут его...

Лети, сын вечности желанный,
Лети, и по следам своим
Цветы блаженства вожделенны
И кротку радость насаждай...
Пускай полет твой благодатный,
Как зефир, землю освежит;
Любовь, согласие священно
Во всей вселенной утвердит.

Декабрь (?) 1799

К ТИБУЛЛУ

На прошедший век

Он совершил свое теченье
И в бездне вечности исчез...
Могилы пепел, разрушенье,
Пучина бедствий, крови, слез —
Вот путь его и обелиски!

Тибулл! всё под луною тленно!
Давно ль на хо́лме сем стоял
Столетний дуб, густой, надменной,
И дол ветвями осенял?
Ударил гром — и дуб повержен!

Давно ли сей любимец Славы
Народов жребием играл,
Вселенной подавал уставы
И небо к распре вызывал?
Дохнула смерть — что он? — горсть пыли.

Тибулл! нам в мире жить не вечно:
Вся наша жизнь — лишь только миг.
Как молнья, время скоротечно! —
На быстрых крылиях своих
Оно летит, и всё с ним гибнет.

Едва на дневный свет мы взглянем,
Едва себя мы ощутим
И жизнью радоваться станем —
Уже в сырой земле лежим,
Уж мы добыча разрушенья!

Тибулл! нельзя, чтобы Природа
Лишь для червей нас создала;
Чтоб мы, проживши два-три года,
Прешед сквозь мрачны дебри зла,
С лица земли, как тени, скрылись!

На что винить богов напрасно?
Себя мы можем пережить:
Любя добро и мудрость страстно,
Стремясь друзьями миру быть —
Мы живы в самом гробе будем! . .

Январь (?) 1800

МИР

Проснись, Пифийского поэта древня лира,
Вещательница дел геройских, брани, мира!
Проснись — и новый звук от струн своих издай,
И сладкою своей игрою нас пленяй —
Исполни дух святым восторгом!

Как лира дивная небесного Орфея,
Гремишь ли битвы ты — наперсники Арея
Берутся за мечи и взорами грозят;
Их бурные кони ярятся и кипят,
Крутя свои волнисты гривы.

Поешь ли тишину — гром Зевса потухает;
Орел, у ног его сидящий, засыпает,

Вздымая медленно пернатый свой хребет;
Ужасный Марс свой меч убийственный кладет
И кротость в сердце ощущает.

Проснись! и мир воспой блаженный,
благодатный;
Пусть он слетит с небес, как некий бог
крылатый,
Вечнозеленою оливою махнет,
Брань страшную с лица вселенной изженет
И примирит земные роды!

Где он — там вечное веселье обитает,
Там человечество свободно процветает,
Питаясь щедростью природы и богов;
Там звук не слышится невольничьих оков
И слезы горести не льются.

Там нивы жатвою покрыты золотою;
Там в селах царствует довольство с тишиною;
Спокойно грады там в поля бросают тень;
Там счастье навсегда свою воздвигло сень:
Оно лишь с миром сопряженно.

Там мирно старец дней закатом веселится,
Могилы на краю — неволи не страшится;
Ступя ногою в гроб — он смотрит со слезой,
Унылой, горестной, на путь скончанный свой
И жить еще — еще желает!

Там воин, лишь в полях сражаться
приученный,
Смягчается — и меч, к убийству изощренный,
В отеческом дому под миртами кладет;
Блаженство тишины и дружбы познает,
Союз с природой обновляет.

Там музы чистые, увенчанны оливой,
Веселым пением возносят дни счастливы;
Их лиры стройные согласнее звучат;
Они спокойствие, не страшну брань гласят,
Святую добродетель славят!

Слети, блаженный мир! — вселенная взывает. —
Туда, где бранные знамена развевают;
Где мертв природы глас и где ее сыны
На персях матери сражаются как львы;
Где братья братьев поражают.

О страх! .. Как яростно друг на́ друга
стремятся!
Кони в пыли, в поту свирепствуют, ярятся
И топчут всадников, поверженных во прах;
Оружия гремят, кровь льется на мечах,
И стоны к небесам восходят.

Тот сердца не имел, от камня тот родился,
Кто первый с бешенством на брата устремился...
Скажите, кто перун безумцу в руки дал
И жизни моея владыкою назвал,
Над коей я и сам не властен?

А слава? .. Нет! — Ее злодей лишь
в брани ищет;
Лишь он в стенаниях победны гимны слышит;
В кровавых грудах тел трофеи чести зрит;
Потомство извергу проклятие гласит,
И лавр его, поблекши, тлеет.

А твой всегда цветет, о росс великосердый,
В пример земным родам Судьбой
превознесенный!
Но время удержать орлиный твой полет;
Колосс незыблем твой, он вечно не падет;
Чего ж еще желать осталось?

Ты славы путь протек Алкидовой стопою,
Полсвета покорил могучею рукою;
Тебе возможно всё, ни в чем препоны нет:
Но стой, росс! опочий — *се новый век* грядет!
Он мирт, не лавр тебе приносит.

Возьми сей мирт, возьми и снова будь
героем, —
Героем в тишине, не в кроволитном бое.

Будь мира гражданин, венец лавровый свой
Омой сердечною, чувствительной слезой,
Тобою падшим посвященной!

Брось палицу свою и щит необоримый,
Преобрази во плуг свой меч несокрушимый;
Пусть роет он поля отчизны твоея;
Прямая слава в ней, лишь в ней ищи ея;
Лишь в ней ее обресть ты можешь.

На персях тишины, в спокойствии блаженном,
Цвети, с народами земными примиренный!
Цвети, великий росс! — лишь злобу поражай,
Лишь страсти буйные, строптивы побеждай
И будь во брани — только с ними.

1800

ГЕРОЙ

I

На лоне облаков румяных
Явилась скромная заря;
Пред нею резвые зефиры,
А позади блестящий Феб,
Одетый в пышну багряницу,
Летит по синеве небес —
Природу снова оживляет
И щедро теплоту лиет.

II

Явилось зрелище прекрасно
Моим блуждающим очам:
Среди красот неизъяснимых
Мой взор не зрит себе границ,
Мою всё душу восхищает,
В нее восторга чувства льет,
Вдыхает ей благоговенье —
И я блажу светил творца.

III

Но тамо — что пред взор явилось?
Какие солнца там горят?
То славы храм чело вздымает —
Вокруг его венец лучей.
Утес, висящий над валами
Морских бесчисленных пучин,
Веков теченьем поседевший,
Его подъемлет на хребте.

IV

Дерзну ль рукой покров священный,
Молвы богиня, твой поднять?
Дерзну ль святилище проникнуть,
Где лавр с оливою цветет? —
К тебе все смертные стремятся
Путями крови и добра;
Но редко, редко достигают
Под сень престола твоего!

V

Завеса вскрылась — созерцаю:
Се, вижу, сердцу милый Тит,
Се Антонины, Адрианы;
Но Александров — нет нигде.
Главы их лавр не осеняет,
В кровавой пене он погряз,
Он бременем веков подавлен —
Но цвел ли в мире он когда?

VI

О Александр, тщеславный, буйный,
Стремился иго наложить
И тяжки узы ты вселенной!
Твой меч был грозен, как перун;
Твой шаг был шагом исполина;
Твоя мысль — молний скорых бег;
Пределов гордость не имела;
Но цель — была лишь только дым!

VII

К чему мечтою ты прельщался?
Какой ты славе вслед бежал?
Где замысл твой имел пределы?
Где пункт конца желаньям был?
Алкал ты славы — и в безумстве
Себя ты богом чтить дерзал;
Хотел ты бранями быть громок —
Но звук оставил лишь пустой.

VIII

Героя званием священным
Хотел себя украсить ты;
Ах, что герой, когда лишь кровью
Его написаны дела?
Когда лишь звуками сражений
Он в краткий век свой знатен был?
Когда лишь мужеством и силой
Он путь свой к славе отверзал?

IX

Но что герой? Неужто бранью
Единой будет славен он?
Неужто кровию омытый,
Его венец пребудет свеж?
Ах, нет! засохнет и поблекнет,
И обелиск его падет;
Он порастет мхом и травою,
И с ним вся память пропадет.

X

Герои света, вы дерзали
Себе сей титул присвоять;
Но кто, какое сердце скажет,
Что вы достойны были впрямь
Сего названия почтенна?
Никто — ползуща токмо лесть,
Виясь у ног, вас прославляет!
Но что неискрення хвала? . .

XI

Героем тот лишь назовется,
Кто добродетель красну чтит,
Кто лишь из должности бьется,
Не жаждет кровь реками лить;
Кто побеждает — победивши,
Врага лобзает своего
И руку дружбы простирает
К нему, во знак союза с ним.

XII

Кто сирым нежный покровитель;
Кто слез поток спешит отерть
Благодеяния струями;
Кто ближних любит, как себя;
Кто благ в деяньях, непорочен,
Кого и враг во злобе чтит —
Единым словом: кто душою
Так чист и светл, как божество.

XIII

Венцов оливных тот достоин,
И лавр его всегда цветет;
Тот храма славы лишь достигнет,
В потомстве вечно будет жить, —
И человечество воздвигнет
Ему сердечный мавзолей,
И слезы жаркие польются
К нему на милый сердцу прах...

XIV

Я в куще тихой, безмятежной
Героем также быть могу:
Мое тут поле брани будет
Несчастных сонм, гоним судьбой;
И меч мой острый, меч огнистый
Благодеянья будет луч;
Он потечет — и побеждает
Сердца и души всех людей.

XV

Мой обелиск тогда нетленный
Косою время не сразит;
Мой славы храм не сокрушится:
Он будет иссечен в сердцах;
Меня мечтанья не коснутся,
Я теням вслед не побегу,
И солнце дней моих затмится,
Зарю оставя по себе.

1800 (?)

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Элегия

Уже бледнеет день, скрываясь за горою;
Шумящие стада толпятся над рекой;
Усталый селянин медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.

В туманном сумраке окрестность исчезает...
Повсюду тишина; повсюду мертвый сон;
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,
Лишь слышится вдали рогов унылый звон.

Лишь дикая сова, таясь под древним сводом
Той башни, сетует, внимаема луной,
На возмутившего полуночным приходом
Ее безмолвного владычества покой.

Под кровом черных сосн и вязов наклоненных,
Которые окрест, развесившись, стоят,
Здесь праотцы села, в гробах уединенных
Навеки затворясь, сном непробудным спят.

Денницы тихий глас, дня юного дыханье,
Ни крики петуха, ни звучный гул рогов,
Ни ранней ласточки на кровле щебетанье —
Ничто не вызовет почивших из гробов.

На дымном очаге трескучий огнь, сверкая,
Их в зимни вечера не будет веселить,
И дети резвые, встречать их выбегая,
Не будут с жадностью лобзаний их ловить.

Как часто их серпы златую ниву жали,
И плуг их побеждал упорные поля!
Как часто их секир дубравы трепетали,
И по́том их лица кропилася земля!

Пускай рабы сует их жребий унижают,
Смеяся в слепоте полезным их трудам,
Пускай с холодностью презрения внимают
Таящимся во тьме убогого делам:

На всех ярится смерть — царя, любимца славы,
Всех ищет грозная... и некогда найдет;
Всемо́щныя судьбы незыблемы уставы:
И путь величия ко гробу нас ведет.

А вы, наперсники фортуны ослепленны,
Напрасно спящих здесь спешите презирать
За то, что гро́бы их непышны и забвенны,
Что лесть им алтарей не мыслит воздвигать.

Вотще над мертвыми, истлевшими костями
Трофеи зиждутся, надгробия блестят;
Вотще глас почестей гремит перед гробами —
Угасший пепел наш они не воспалят.

Ужель смягчится смерть сплетаемой хвалою
И невозвратную добычу возвратит?
Не слаще мертвых сон под мраморной доскою;
Надменный мавзолей лишь персть их бременит.

Ах! может быть, под сей могилою таится
Прах сердца нежного, умевшего любить,
И гробожитель-червь в сухой главе гнездится,
Рожденной быть в венце иль мыслями парить!

Но просвещенья храм, воздвигнутый веками,
Угрюмою судьбой для них был затворен,

Их рок обременил убожества цепями,
Их гений строгою нуждою умерщвлен.

Как часто редкий перл, волнами сокровенной,
В бездонной пропасти сияет красотой;
Как часто лилия цветет уединенно,
В пустынном воздухе теряя запах свой.

Быть может, пылью сей покрыт Гампден
надменный,
Защитник сограждан, тиранства смелый враг;
Иль кровию граждан Кромвель необагренный,
Или Мильтон немой, без славы скрытый в прах.

Отечество хранить державною рукою,
Сражаться с бурей бед, фортуну презирать,
Дары обилия на смертных лить рекою,
В слезах признательных дела свои читать —

Того им не дал рок; но вместе преступленьям
Он с доблестями их круг тесный положил;
Бежать стезей убийств ко славе, наслажденьям
И быть жестокими к страдальцам запретил;

Таить в душе своей глас совести и чести,
Румянец робкия стыдливости терять
И, раболепствуя, на жертвенниках лести
Дары небесных муз гордыне посвящать.

Скрываясь от мирских погибельных смятений,
Без страха и надежд, в долине жизни сей,
Не зная горести, не зная наслаждений,
Они беспечно шли тропинкою своей.

И здесь спокойно спят под сенью гробовою —
И скромный памятник, в приюте сосн густых,
С непышной надписью и ре́зьбою простою,
Прохожего зовет вздохнуть над прахом их.

Любовь на камне сем их память сохранила,
Их лета, имена потщившись начертать;
Окрест библейскую мораль изобразила,
По коей мы должны учиться умирать.

И кто с сей жизнию без горя расставался?
Кто прах свой по себе забвенью предавал?
Кто в час последний свой сим миром не пленялся
И взора томного назад не обращал?

Ах! нежная душа, природу покидая,
Надеется друзьям оставить пламень свой;
И взоры тусклые, навеки угасая,
Еще стремятся к ним с последнею слезой;

Их сердце милый глас в могиле нашей слышит;
Наш камень гробовой для них одушевлен;
Для них наш мертвый прах в холодной урне дышит,
Еще огнем любви для них воспламенен.

А ты, почивших друг, певец уединенный,
И твой ударит час, последний, роковой;
И к гробу твоему, мечтой сопровожденный,
Чувствительный придет услышать жребий твой.

Быть может, селянин с почтенной сединою
Так будет о тебе пришельцу говорить:
«Он часто по утрам встречался здесь со мною,
Когда спешил на холм зарю предупредить.

Там в полдень он сидел под дремлющею ивой,
Поднявшей из земли косматый корень свой;
Там часто, в горести беспечной, молчаливой,
Лежал задумавшись над светлою рекой;

Нередко ввечеру, скитаясь меж кустами —
Когда мы с поля шли и в роще соловей
Свистал вечерню песнь, — он томными очами
Уныло следовал за тихою зарей.

Прискорбный, сумрачный, с главою наклоненной,
Он часто уходил в дубраву слезы лить,
Как странник, родины, друзей, всего лишенной,
Которому ничем души не усладить.

Взошла заря — но он с зарею не являлся,
Ни к иве, ни на холм, ни в лес не приходил;

Опять заря взошла — нигде он не встречался;
Мой взор его искал — искал — не находил.

Наутро пение мы слышим гробовое...
Несчастного несут в могилу положить.
Приблизься, прочитай надгробие простое,
Чтоб память доброго слезой благословить».

Здесь пепел юноши безвременно сокрыли;
Что слава, счастие, не знал он в мире сем.
Но музы от него лица не отвратили,
И меланхолии печать была на нем.

Он кроток сердцем был, чувствителен душою —
Чувствительным творец награду положил.
Дарил несчастных он чем только мог — слезою;
В награду от творца он друга получил.

Прохожий, помолись над этою могилой;
Он в ней нашел приют от всех земных тревог;
Здесь всё оставил он, что в нем греховно было,
С надеждою, что жив его спаситель — бог.

Май — сентябрь 1802

СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ В ДЕНЬ МОЕГО РОЖДЕНИЯ

К моей лире и к друзьям моим

О лира, друг мой неизменной,
Поверенный души моей!
В часы тоски уединенной
Утешь меня игрой своей!
С тобой всегда я неразлучен,
О лира милая моя!
Для одиноких мир сей скучен,
А в нем *один* скитаюсь я!

Мое младенчество сокрылось;
Уж вянет юности цветок;
Без горя сердце истощилось,
Вперед присудит что-то рок!

Но я пред ним не побледнею:
Пусть будет то, что должно быть!
Судьба ужасна лишь злодею,
Судьба меня не устрашит.

Ненужны мне венцы вселенной,
Мне дорог ваш, друзья, венок!
На что чертог мне позлащенной?
Простой, укромный уголок,
В тени лесов уединенной,
Где бы свободно я дышал,
Всем милым сердцу окруженный,
И лирой дух свой услаждал.

Вот всё — я больше не желаю,
В душе моей цветет *мой* рай.
Я бурный мир сей презираю.
О лира, друг мой! утешай
Меня в моем уединеньи;
А вы, друзья мои, скорей,
Оставя свет сей треволненный,
Сберитесь к хижине моей.

Там, в мире сердца благодатном,
Наш век как ясный день пройдет;
С друзьями и тоска приятна,
Но и тоска нас не найдет.
Когда ж придет нам расставаться,
Не будем слез мы проливать:
Недолго на земле скитаться;
Друзья! увидимся опять.

29 января 1803

К ПОЭЗИИ

Чудесный дар богов!
О пламенных сердец веселье и любовь,
О прелесть тихая, души очарованье —
Поэзия! С тобой
И скорбь, и нищета, и мрачное изгнанье
Теряют ужас свой!

В тени дубравы, над потоком,
Друг Феба, с ясною душей,
В убогой хижине своей,
Забывший рок, забвенный роком, —
Поет, мечтает и — блажен!
И кто, и кто не оживлен
Твоим божественным влияньем?
Цевницы грубыя задумчивым бряцаньем
Лапландец, дикий сын снегов,
Свою туманную отчизну прославляет
И неискусственной гармонией стихов,
Смотря на бурные валы, изображает
И дымный свой шалаш, и хлад, и шум морей,
И быстрый бег саней,
Летящих по снегам с еленем быстроногим.
Счастливый жребием убогим,
Оратай, наклонясь на плуг,
Влекомый медленно усталыми волами,
Поет свой лес, свой мирный луг,
Возы, скрыпящи под снопами,
И сладость зимних вечеров,
Когда, при шуме вьюг, пред очагом блестящим,
В кругу своих сынов,
С напитком пенным и кипящим,
Он радость в сердце льет
И мирно в полночь засыпает,
Забыв на дикие бразды пролитый пот. . .
Но вы, которых луч небесный оживляет,
Певцы, друзья души моей!
В печальном странствии минутной жизни сей
Тернистую стезю цветами усыпайте
И в пылкие сердца свой пламень изливайте!
Да звуком ваших громких лир
Герой, ко славе пробужденный,
Дивит и потрясает мир!
Да юноша воспламененный
От них в восторге слезы льет,
Олтарь отечества лобзает
И смерти за него как блага ожидает!
Да бедный труженик душою расцветет
От ваших песней благодатных!

Но да обрушится ваш гром
На сих жестоких и развратных,
Которые, в стыде, с возвышенным челом,
Невинность, доблести и честь поправ ногами,
Дерзают величать себя полубогами! —
Друзья небесных муз! пленимся ль суетой?
Презрев минутные успехи —
Ничтожный глас похвал, кимвальный звон пустой, —
Презревши роскоши утехи,
Пойдем Великих по следам! —
Стезя к бессмертию судьбой открыта нам!
Не остыдим себя хвалою
Высоких жребием, презрительных душою, —
Дерзнем достойных увенчать!
Любимцу ль Фебову за призраком гоняться?
Любимцу ль Фебову во прахе пресмыкаться
И унижением Фортуну обольщать?
Потомство раздает венцы и посрамленье:
Дерзнем свой мавзолей в олтарь преобратить!
О, слава, сердца восхищенье!
О, жребий сладостный — в любви потомства жить!

Декабрь 1804

ДРУЖБА

Скатившись с горной высоты,
Лежал на прахе дуб, перунами разбитый;
А с ним и гибкий плющ, кругом его обвитый...
О Дружба, это ты!

1805

ОПУСТЕВШАЯ ДЕРЕВНЯ

О родина моя, Обурн благословенный!
Страна, где селянин, трудами утомленный,
Свой тягостный удел обильем услаждал,
Где ранний луч весны приятнее блистал,
Где лето медлило разлукою с полями!

Дубравы тихие с тенистыми главами!
О сени счастия, друзья весны моей, —
Ужель не возвращу блаженства оных дней,
Волшебных, райских дней, когда, судьбой
забвенный,
Я миром почитал сей край уединенный!
О сладостный Обурн! как здесь я счастлив был!
Какие прелести во всем я находил!
Как всё казалось мне всегда во цвете новом!
Рыбачья хижина с соломенным покровом,
Крылатых мельниц ряд, в кустарнике ручей;
Густой, согбенный дуб с дерновою скамьей,
Любимый старцами, любовникам знакомый;
И церковь на холме, и скромны сельски домы —
Всё мой пленяло взор, всё дух питало мой!
Когда ж, в досужный час, шумящею толпой
Все жители села под древний вяз стекались —
Какие тьмы утех очам моим являлись!
Веселый хоровод, звучащая свирель,
Сраженья, спорный бег, стрельба в далеку цель,
Проворства чудеса и силы испытанье,
Всеобщий крик и плеск победы в воздаянье,
Отважные скачки, искусство плясунов,
Свобода, резвость, смех, хор песней, гул рогов,
Красавиц робкий вид и тайное волненье,
Старушек бдительных угрюмость, подозренье,
И шутки юношей над бедным пастухом,
Который весь в пыли, с уродливым лицом,
Стоя в кругу, смешил своею простотою,
И живость стариков за чашей круговою —
Вот прежние твои утехи, мирный край!
Но где они? Где вы, луга, цветущий рай?
Где игры поселян, весельем оживленных?
Где пышность и краса полей одушевленных?
Где счастье? где любовь? Исчезло всё — их нет! ..

О родина моя, о сладость прежних лет!
О нивы, о поля, добычи запустенья!
О виды скорбные развалин, разрушенья!
В пустыню обращен природы пышный сад!
На тучных пажитях не вижу резвых стад!
Унылость на холмах! В окрестности молчанье!

Потока быстрый бег, прозрачность и сверканье
Исчезли в густоте болотных диких трав!
Ни тропки, ни следа под сенями дубрав!
Всё тихо! всё мертво! замолкли песней клики!
Лишь цапли в пустыре пронзительные крики,
Лишь чибиса в глуши печальный, редкий стон,
Лишь тихий вдалеке звонков овечьих звон
Повременно сие молчанье нарушают!
Но где твои сыны, о край утех, блуждают?
Увы! отчуждены от родины своей!
Далеко странствуют! Их путь среди степей!
Их бедственный удел — скитаться без покрова! ..

Погибель той стране конечная готова,
Где злато множится и вянет цвет людей!
Презренно счастие вельможей и князей!
Их миг один творит и миг уничтожает!
Но счастье поселян с веками возрастает;
Разрушившись, оно разрушится навек! ..

Где дни, о Альбион, как сельский человек,
Под сенью твоего могущества почтенный,
Владелец нив своих, в трудах не угнетенный,
Природы гордый сын, взлелеян простотой,
Богатый здравием и чистою душой,
Убожества не знал, не льстился благ стяжаньем,
И был стократ блажен сокровищей незнаньем?
Дни счастия! Их нет! Корыстною рукой
Оратай отчужден от хижины родной!
Где прежде нив моря, блистая, волновались,
Где рощи и холмы стадами оглашались,
Там ныне хищников владычество одно!
Там всё под грудами богатств погребено!
Там муками сует безумие страдает!
Там роскошь посреди сокровищ издыхает!
А вы, часы отрад, невинность, тихий сон!
Желанья скромные! надежды без препон!
Златое здравие, трудов благословенье!
Беспечность! мир души! в заботах наслажденье! —
Где вы, прелестные? Где ваш цветущий след?
В какой далекий край направлен ваш полет?
Ах! с вами сельских благ и доблестей не стало! ..

О родина моя, где счастье процветало!
Прошли, навек прошли твои златые дни!
Смотрю — лишь пустыри заглохшие одни,
Лишь дичь безмолвную, лишь тундры обретаю!
Лишь ветру, в осоке свистящему, внимаю!
Скитаюсь по полям — всё пусто, всё молчит!
К минувшим ли часам душа моя летит?
Ищу ли хижины рыбачьей над рекою,
Иль дуба на холме с дерновою скамьею —
Напрасно! Скрылось всё! Пустыня предо мной!
И вспоминание сменяется тоской!..

Я в свете странник был, пешец уединенный! —
Влача участок бед, творцом мне уделенный,
Я сладкою себя надеждой обольщал
Там кончить мирно век, где жизни дар приял!
В стране моих отцов, под сенью древ знакомых,
Исторгшись из толпы заботами гнетомых,
Свой тусклый пламенник от траты сохранить
И дни отшествия покоем озлатить!
О, гордость!.. Я мечтал, в сих хижинах забвенных,
Слыть чудом посреди оратаев смиренных;
За чарой, у огня, в кругу их толковать
О том, что в долгий век мог слышать и видать!
Так заяц, по полям станицей псов гонимый,
Измученный бежит опять в лесок родимый!
Так мнил я, пережда изгнанничества срок,
Прийти, с остатком дней, в свой отчий уголок!
О, дни преклонные в тени уединенья!
Блажен, кто юных лет заботы и волненья
Венчает в старости беспечной тишиной!..

Декабрь 1805

САФИНА ОДА

Блажен, кто близ тебя одним тобой пылает,
Кто прелестью твоих речей обворожен,
Кого твой ищет взор, улыбка восхищает, —
С богами он сравнен!

Когда ты предо мной — в душе моей волненье!
В крови палящий огнь! в очах померкнул свет!
В трепещущей груди и скорбь и наслажденье!
Ни слов, ни чувства нет!

Лежу у милых ног — горю огнем желанья!
Блаженством страстныя тоски утомлена!
В слезах, вся трепещу без силы, без дыханья!
И жизни лишена!

Май 1806

ИДИЛЛИЯ

Когда она была пастушкою простой,
Цвела невинностью, невинностью блистала,
Когда слыла в селе *девичьей красотой*
И кудри светлые цветами убирала, —
Тогда ей нравились и пенистый ручей,
И луг, и сень лесов, и мир моей долины,
Где я пленял ее свирелию моей,
Где я так счастлив был присутствием Алины.
Теперь... теперь прости, души моей покой!
Алина гордая — столицы украшенье;
Увы! окружена ласкателей толпой,
За лесть их отдала любви боготворенье,
За пышный злата блеск — душистые цветы;
Свирели тихий звук Алину не прельщает;
Алина предпочла блаженству суеты;
Собою занята, меня в лицо не знает.

Май 1806

ВЕЧЕР

Элегия

Ручей, виющийся по светлому песку,
Как тихая твоя гармония приятна!
С каким сверканием катишься ты в реку!
Приди, о Муза благодатна,

В венке из юных роз с цевницею златой;
Склонись задумчиво на пенистые воды
И, звуки оживив, туманный вечер пой
На лоне дремлющей природы.

Как солнца за горой пленителен закат —
Когда поля в тени, а рощи отдаленны
И в зеркале воды колеблющийся град
Багряным блеском озаренны;

Когда с холмов златых стада бегут к реке
И рева гул гремит звучнее над водами;
И, сети склав, рыбак на легком челноке
Плывет у брега меж кустами;

Когда пловцы шумят, скликаясь по стругам,
И веслами струи согласно рассекают;
И, плуги обратив, по глыбистым браздам
С полей оратаи съезжают...

Уж вечер... облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает;
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает.

Всё тихо: рощи спят; в окрестности покой;
Простершись на траве под ивой наклоненной,
Внимаю, как журчит, сливаяся с рекой,
Поток, кустами осененной.

Как слит с прохладою растений фимиам!
Как сладко в тишине у брега струй плесканье!
Как тихо веянье зефира по водам
И гибкой ивы трепетанье!

Чуть слышно над ручьем колышется тростник;
Глас петела вдали уснувши будит селы;
В траве коростеля я слышу дикий крик,
В лесу стенанье филомелы...

Но что?.. Какой вдали мелькнул
волшебный луч?
Восточных облаков хребты воспламенились;

Осыпан искрами во тьме журчащий ключ;
В реке дубравы отразились.

Луны ущербный лик встает из-за холмов...
О тихое небес задумчивых светило,
Как зыблется твой блеск на сумраке лесов!
Как бледно брег ты озлатило!

Сижу задумавшись; в душе моей мечты;
К протекшим временам лечу воспоминаньем...
О дней моих весна, как быстро скрылась ты,
С твоим блаженством и страданьем!

Где вы, мои друзья, вы, спутники мои?
Ужели никогда не зреть соединенья?
Ужель иссякнули всех радостей струи?
О вы, погибши наслажденья!

О братья, о друзья! где наш священный круг?
Где песни пламенны и музам и свободе?
Где Вакховы пиры при шуме зимних вьюг?
Где клятвы, данные природе,

Хранить с огнем души нетленность братских уз?
И где же вы, друзья?.. Иль всяк своей тропою,
Лишенный спутников, влача сомнений груз,
Разочарованный душою,

Тащиться осужден до бездны гробовой?..
Один — минутный цвет — почил, и непробудно,
И гроб безвременный любовь кропит слезой.
Другой... о небо правосудно!..

А мы... ужель дерзнем друг другу чужды быть?
Ужель красавиц взор, иль почестей исканье,
Иль суетная честь приятным в свете слыть
Загладят в сердце вспоминанье

О радостях души, о счастье юных дней,
И дружбе, и любви, и музам посвященных?
Нет, нет! пусть всяк идет вослед судьбе своей,
Но в сердце любит незабвенных...

Мне рок судил брести неведомой стезей,
Быть другом мирных сел, любить красы
природы,
Дышать над сумраком дубравной тишиной
И, взор склонив на пенны воды,

Творца, друзей, любовь и счастье воспевать.
О песни, чистый плод невинности сердечной!
Блажен, кому дано цевницей оживлять
Часы сей жизни скоротечной!

Кто, в тихий утра час, когда туманный дым
Ложится по полям и хо́лмы облачает
И солнце, восходя, по рощам голубым
Спокойно блеск свой разливает,

Спешит, восторженный, оставя сельский кров,
В дубраве упредить пернатых пробужденье
И, лиру соглася с свирелью пастухов,
Поет светила возрожденье!

Так, петь есть мой удел... но долго ль?..
Как узнать?..
Ах! скоро, может быть, с Минваною унылой
Придет сюда Альпин в час вечера мечтать
Над тихой юноши могилой!

Май—июль 1806

МАРТЫШКИ И ЛЕВ

Басня

Мартышки тешились лаптой;
Вот как: одна из них, сидя на пне, держала
В коленях голову другой;
Та, лапки на спину, зажмурясь, узнавала,
Кто бил. — Хлоп! хлоп! «Потап, проворней!
Кто?» — «Мирошка!» —
«Соврал!» — и все, как бесы, врозь!
Прыжки, кувырканье вперед, и взад, и вкось;
Крик, хохот, писк! Одна мяукает, как кошка,
Другая, ноги вверх, повисла на суку,
А третья ну скакать сорокой по песку!

Такого поискать веселья!
Вдруг из лесу на шум выходит лев,
Ученый, смирный принц, брат внучатный царев:
Ботанизировал по роще от безделья.
Мартышкам мат;
Ни пикнут, струсили, дрожат!
«Здесь праздник! — лев сказал. — Что ж тихо?
Забавляйтесь!
Играйте, детушки, не опасайтесь!
Я добр! Хотите ли, и сам в игру войду!» —
«Ах! милостивый князь, какое снисхожденье!
Как вашей светлости быть с нами наряду!
С мартышками играть! ваш сан! наш долг!
почтенье! . .» —
«Пустое! что за долг! я так хочу; смелей!
Не все ли мы равны! Вы б сами то ж сказали,
Когда бы так, как я, философов читали!
Я, детушки, не чван! Вы знатности моей
Не трусьте! Ну, начнем!» Мартышки верть глазами
И, веря (как и все) приветника словам,
Опять играть; гвоздят друг друга по рукам.
Брат царский хлоп! и вдруг под царскими когтями
Из лапки брызжет кровь ключом!
Мартышка — ой! — и прочь, тряся хвостом.
Кто бил — не думав отгадала;
Однако промолчала.
Хохочет князь; другие, рот скривя,
Туда ж за барином смеются,
Хотя от смеха слёзы льются;
И задом, задом в лес! Бегут и про себя
Бормочут: не играй с большими господами!
Добрейшие из них — с когтями!

12 октября 1806

КОТ И ЗЕРКАЛО

Басня

Невежды-мудрецы, которых век проходит
В искании таких вещей,
Каких никто, никак в сем мире не находит,
Последуйте коту, и будьте поумней!

На дамском туалете
Сидел Федотка-кот,
И чистил морду... Вдруг, глядь в зеркало: Федот
И там. Точь-в-точь! сходней двух харей нет на свете.
Шерсть дыбом, прыг к нему, и мордой щелк в стекло,
Мяукнул, фыркнул!.. «Понимаю!
Стекло прозрачное! он там! поймаю!»
Бежит... О чудо! — никого.
Задумался: куда б так скоро провалиться?
Бежит назад! Опять Федотка перед ним!
«Постой, я знаю как! уж быть тебе моим!»
Наш умница верхом на зеркало садится,
Боясь, чтоб, ходя вкруг, кота не упустить,
Или чтоб там и тут в одну минуту быть!
Припал как вор, вертит глазами;
Две лапки здесь, две лапки там;
Весь вытянут, мурчит, глядит по сторонам;
Нагнулся... Вот опять хвост, лапки, нос с усами.
Хвать-хвать! когтями цап-царап!
Дал промах, сорвался и бух на столик с рамы;
Кота же нет как нет. Тогда, жалея лап —
(Заметьте, мудрецы упрямы!) —
И ведать не хотя, чего нельзя понять,
Федот наш зеркалу поклон отвесил низкий;
А сам отправился с мышами воевать,
Мурлыча про себя: «Не все к нам вещи близки!
Что тягостно уму, того не нужно знать!»

13 октября 1806

КАПЛУН И СОКОЛ

Басня

Приветы иногда злых умыслов прикраса.
Один
Московский гражданин,
Пришлец из Арзамаса,
Матюшка-долгохвост, по промыслу каплун,
На кухню должен был явиться,
И там на очаге с кухмистером судиться.

Вся дворня взбегалась: цыпь! цыпь! цыпь! цыпь! —
Шалун
Проворно,
Смекнувши, что беда,
Давай бог ноги! — «Господа,
Слуга покорной!
По мне хотя весь день извольте горло драть,
Меня вам не прельстить учтивыми словами!
Теперь: цыпь! цыпь! а там меня щипать,
Да в печку! да сморчами
Набивши брюхо мне, на стол меня! а там
И поминай как звали!»
Тут сокол-крутонос, которого считали
По всей окружности примером всем бойцам,
Который на жерди, со спесью соколиной,
Раздувши зоб, сидел
И с смехом на гоньбу глядел,
Сказал: «Дурак-каплун! с такой, как ты,
скотиной
Из силы выбился честной народ!
Тебя зовут, а ты, урод,
И нос отворотил, оглох, ко всем спиною!
Смотри пожалуй! я тебе ль чета? но так
Не горд! лечу на свист! глухарь, дурак,
Постой! хозяин ждет! вся дворня за тобою!»
Каплун, кряхтя, пыхтя, советнику в ответ:
«Князь-сокол, я не глух! меня хозяин ждет?
Но знать хочу, зачем? а этот твой приятель,
Который в фартуке, как вор с ножом,
Так чванится своим узорным колпаком,
Конечно каплунов усердный почитатель?
Прогневался, что я не падок к их словам!
Но если б соколам,
Как нашей братьи каплунам,
На кухне заглянуть случилось
В горшок, где б в кипятке их княжество варилось,
Тогда хозяйский свист и их бы не провел;
Тогда б, как скот-каплун, черкнул и князь-сокол!»

27 октября 1806

ПОХОРОНЫ ЛЬВИЦЫ

Басня

В лесу скончалась львица.
Тотчас ко всем зверям повестка. Двор и знать
Стеклись последний долг покойнице отдать.
Усопшая царица
Лежала посреди пещеры на одре,
Покрытом кожею звериной;
В углу, на олтаре
Жгли ладан, и Потап с смиренной образиной —
Потап-мартышка, ваш знакомец, — в нос гнуся,
С запинкой, заунывным тоном,
Молитвы бормотал. Все звери, принося
Царице скорби дань, к одру с земным поклоном
По очереди шли и каждый в лапу чмок,
Потом поклон царю, который, над женою
Как каменный сидя и дав свободный ток
Слезам, кивал лишь молча головою
На все поклонников приветствия в ответ.
Потом и вынос. Царь выл голосом, катался
От горя по земле, а двор за ним вослед
Ревел, и так ревел, что гулом возмущался
Весь дикий и обширный лес;
Еще ж свидетели с божбой нас уверяли,
Что суслик-камергер без чувств упал от слез
И что лисицу с час мартышки оттирали!
Я двор зову страной, где чудный род людей:
Печальны, веселы, приветливы, суровы;
По виду пламенны, как лед в душе своей;
Всегда на всё готовы;
Что царь, то и они; народ — хамелеон,
Монарха обезьяны;
Ты скажешь, что во всех единый дух вселен;
Не люди, сущие органы:
Завел — поют, забыл завесть — молчат.
Итак, за гробом все и воют и мычат.
Не плачет лишь олень. Причина? Львица съела
Жену его и дочь. Он смерть ее считал
Отмщением небес. Короче, он молчал.
Тотчас к царю лиса-лестюха подлетела
И шепчет, что олень, бессовестная тварь,

Смеялся под рукою.
Вам скажет Соломон, каков во гневе царь!
А как был царь и лев, он гривою густою
Затряс, хвостом забил,
«Смеяться, — возопил, —
Тебе, червяк? Тебе! над их стенаньем!
Когтей не посрамлю преступника терзаньем;
К волкам его! к волкам!
Да вмиг расторгнется ругатель по частям,
Да казнь его смирит в обителях Плутона
Царицы оскорбленной тень!»
Олень,
Который не читал пророка Соломона,
Царю в ответ: «Не сетуй, государь,
Часы стенаний миновались!
Да жертву радости положим на олтарь!
Когда в печальный ход все звери собирались,
И я за ними вслед бежал,
Царица пред меня в сияньи вдруг предстала;
Хоть был я ослеплен, но вмиг ее узнал.
— Олень! — святая мне сказала, —
Не плачь, я в области богов
Беседую в кругу зверей преображенных!
Утешь со мною разлученных!
Скажи царю, что там венец ему готов! —
И скрылась.» — «Чудо! откровенье!» —
Воскликнул хором двор.
А царь, осклабя взор,
Сказал: «Оленю в награжденье
Даем два луга, чин и лань!»
Не правда ли, что лесть всегда приятна дань?

6 ноября 1806

ЭПИГРАММЫ

I

— Ты драму, Фефил, написал? —
«Да! как же удалась! как сыграна! не чаешь!
Хотя бы кто-нибудь для смеха просвистал!» —
И! Фефил, Фефил! как свистать, когда зеваешь?

II. ЭПИТАФИЯ ЛИРИЧЕСКОМУ ПОЭТУ

Здесь кончил век Памфил, без толку од певец!
Сей грешный человек — прости ему творец! —
По смерти жить сбирался,
Но заживо скончался!

III

С повязкой на глазах за шалости Фемида! —
Уж наказание! уж подлинно обида!
Когда вам хочется проказницу унять,
Так руки ей связать.

IV

Для Клима всё как дважды два!
Гораций, Ксенофон, Бова,
Лаланд и Гершель астрономы,
И Мирамонд и Мушенброк
Ему, как нос его, знакомы.
О всем кричит, во всем знаток!
Судить о музыке начните —
Наш Клим первейший музыкант!
О торге речь с ним заведите —
Он вмиг торгаш и фабрикант!
Чего в нем нет? Он метафизик,
Платоник, коновал, маляр,
Статистик, журналист, бочар,
Хирургус, проповедник, физик,
Поэт, каретник, то и то,
Клим, словом, всё! и Клим — ничто!

V

Трим счастия искал ползком и тихомолком;
Нашел — и грудь вперед, нос вздернул, весь иной! —
Кто втерся в чин лисой,
Тот в чине будет волком.

VI. НОВОПОЖАЛОВАННЫЙ

— Приятель, отчего присел? —
«Злодей корону на меня надел!»
— Что ж, я не вижу в этом зла! —
«Ох, тяжела!»

VII

Румян французских штукатура;
Шатер, не шляпа на плечах;
Под шалью тощая фигура,
Вихры на лбу и на щеках,
Одежды легкой подозренье;
На перстне в десять крат алмаз —
Всё это, смертным в удивленье,
По свету возят напоказ
В карете модно-золоченой,
И называют — Альцидоной!

VIII

«Скажи, чтоб там потише были! —
Кричал повытчику судья. —
Уже с десяток дел решили,
А ни единого из них не слышал я!»

IX. НОВЫЙ СТИХОТВОРЕЦ И ДРЕВНОСТЬ

Едва лишь что сказать удастся мне счастливо,
Как Древность заворчит с досадой: «Что за диво!
Я то же до тебя сказала, и давно!»
Смешна беззубая! Вольно
Ей после не прийти к невежде!
Тогда б сказал я то же прежде.

X

Барма, нашед Фому чуть жива, на отходе,
— Скорее! — закричал, — изволь мне долг платить!
Уж завтраков теперь не будешь мне сулить! —
«Ох! брат, хоть умереть ты дай мне на свободе!»
— Вот, право, хорошо: хочу я посмотреть,
Как ты, не заплатив, изволишь умереть!

XI

У нас в провинции нарядней нет Любови!
По моде с ног до головы:
Наколки, цвет лица, помаду, зубы, брови —
Всё получает из Москвы!

Октябрь—ноябрь 1806

ТОСКА ПО МИЛОМ

Песня

Дубрава шумит;
Сбираются тучи;
На берег зыбучий
Склонившись, сидит
В слезах, пригорюнясь, девица-краса;
И полночь и буря мрачат небеса;
И черные волны, вздымаясь, бушуют;
И тяжкие вздохи грудь белу волнуют.

«Душа отцвела;
Природа уныла;
Любовь изменила,
Любовь унесла
Надежду, надежду — мой сладкий удел.
Куда ты, мой ангел, куда улетел?
Ах, полно! я счастьем мирским насладилась:
Жила, и любила... и друга лишилась.

Теките струей
Вы, слезы горючи;
Дубравы дремучи,
Тоскуйте со мной.
Уж боле не встретить мне радостных дней;
Простилась, простилась я с жизнью моей:
Мой друг не воскреснет; что было, не будет...
И бывшего сердце вовек не забудет.

Ах! скоро ль пройдут
Унылые годы?
С весною — природы
Красы расцветут...
Но сладкое счастье не дважды цветет.
Пускай же драгое в слезах оживет;
Любовь, ты погибла; ты, радость, умчалась;
Одна о минувшем тоска мне осталась».

18 февраля 1807

К ФИЛАЛЕТУ

Послание

Где ты, далекий друг? Когда прервем разлуку?
Когда прострешь ко мне ласкающую руку?
Когда мне встретить твой душе понятный взгляд
И сердцем отвечать на дружбы глас священной? . .
Где вы, дни радостей? Придешь ли ты назад,
О время прежнее, о время незабвенно?
Или веселие навеки отцвело
И счастие мое с протекшим протекло? . .
Как часто о часах минувших я мечтаю!
Но чаще с сладостью конец воображаю,
    Конец всему — души покой,
Конец желаниям, конец воспоминаньям,
Конец борению и с жизнью и с собой. . .
Ах! время, Филалет, свершиться ожиданьям.
Не знаю. . . но, мой друг, кончины сладкий час
Моей любимою мечтою становится;
Унылость тихая в душе моей хранится;
Во всем внимаю я знакомый смерти глас.
Зовет меня. . . зовет. . . куда зовет? . . не знаю;
Но я зовущему с волнением внимаю;
Я сердцем сопряжен с сей тайною страной,
Куда нас всех влачит судьба неодолима;
Томящейся душе невидимая зрима —
Повсюду вестники могилы предо мной.
Смотрю ли, как заря с закатом угасает —
Так, мнится, юноша цветущий исчезает;
Внимаю ли рогам пастушьим за горой,
Иль ветра горного в дубраве трепетанью,
Иль тихому ручья в кустарнике журчанью,
Смотрю ль в туманну даль вечернею порой,
К клавиру ль приклонясь, гармонии внимаю —
Во всем печальных дней конец воображаю.
Иль предвещание в унынии моем?
Или судил мне рок в весенни жизни годы,
    Сокрывшись в мраке гробовом,
Покинуть и поля, и отческие воды,
И мир, где жизнь моя бесплодно расцвела? . .
Скажу ль? . . Мне ужасов могила не являет;
И сердце с горестным желаньем ожидает,

Чтоб промысла рука обратно то взяла,
Чем я безрадостно в сем мире бременился,
Ту жизнь, в которой я столь мало насладился,
Которую давно надежда не златит.
К младенчеству ль душа прискорбная летит,
Считаю ль радости минувшего — как мало!
Нет! счастье к бытию меня не приучало;
Мой юношеский цвет без запаха отцвел.
Едва в душе своей для дружбы я созрел —
И что же! .. предо мной увядшего могила;
Душа, не воспылав, свой пламень угасила.
Любовь... но я в любви нашел одну мечту,
Безумца тяжкий сон, тоску без разделенья,
И невозвратное надежд уничтоженье.
Иссякшия души наполню ль пустоту?
Какое счастие мне в будущем известно?
Грядущее для нас протекшим лишь прелестно.
Мой друг, о нежный друг, когда нам не дано
В сем мире жить для тех, кем жизнь для нас священна,
Кем добродетель нам и слава драгоценна,
Почто ж, увы! почто судьбой запрещено
За счастье их отдать нам жизнь сию бесплодну?
Почто (дерзну ль спросить?) отъял у нас творец
Им жертвовать собой свободу превосходну?
С каким бы торжеством я встретил мой конец,
Когда б всех благ земных, всей жизни приношеньем
Я мог — о сладкий сон! — той счастье искупить,
С кем жребий не судил мне жизнь мою делить! ..
Когда б стократными и скорбью и мученьем
За каждый миг ее блаженства я платил:
Тогда б, мой друг, я рай в сем мире находил
И дня как дара ждал, к страданью пробуждаясь;
Тогда, надеждою отрадною питаясь,
Что каждый жизни миг погибшия моей
Есть жертва тайная для блага милых дней,
Я б смерти звать не смел, страшился бы могилы.
О незабвенная, друг милый, вечно милый!
Почто, повергнувшись в слезах к твоим ногам,
Почто, лобзая их горящими устами,
От сердца не могу воскликнуть к небесам;

«Всё в жертву за нее! вся жизнь моя пред вами!»
Почто и небеса не могут внять мольбам?
О безрассудного напрасное моленье!
Где тот, кому дано святое наслажденье
За милых слезы лить, страдать и погибать?
Ах! если б мы могли в сей области изгнанья
Столь восхитительно презренну жизнь кончать —
Кто б небо оскорбил безумием роптанья!

Начало (?) 1808

ПЕСНЯ

Мой друг, хранитель-ангел мой,
О ты, с которой нет сравненья,
Люблю тебя, дышу тобой;
Но где для страсти выраженья?
Во всех природы красотах
Твой образ милый я встречаю;
Прелестных вижу — в их чертах
Одну тебя воображаю.

Беру перо — им начертать
Могу лишь имя незабвенной;
Одну тебя лишь прославлять
Могу на лире восхищенной:
С тобой, один, вблизи, вдали.
Тебя любить — одна мне радость;
Ты мне все блага на земли;
Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость.

В пустыне, в шуме городском
Одной тебе внимать мечтаю;
Твой образ, забываясь сном,
С последней мыслию сливаю;
Приятный звук твоих речей
Со мной во сне не расстается;
Проснусь — и ты в душе моей
Скорей, чем день очам коснется.

Ах! мне ль разлуку знать с тобой?
Ты всюду спутник мой незримый;
Молчишь — мне взор понятен твой,
Для всех других неизъяснимый;
Я в сердце твой приемлю глас;
Я пью любовь в твоем дыханье...
Восторги, кто постигнет вас,
Тебя, души очарованье?

Тобой и для одной тебя
Живу и жизнью наслаждаюсь;
Тобою чувствую себя;
В тебе природе удивляюсь.
И с чем мне жребий мой сравнить?
Чего желать в толь сладкой доле?
Любовь мне жизнь — ах! я любить
Еще стократ желал бы боле.

1 апреля 1808

МОЯ БОГИНЯ

Какую бессмертную
Венчать предпочтительно
Пред всеми богинями
Олимпа надзвездного?
Не спорю с питомцами
Разборчивой мудрости,
Учеными, строгими;
Но свежей гирляндою
Венчаю веселую,
Крылатую, милую,
Всегда разновидную,
Всегда животворную,
Любимицу Зевсову,
Богиню Фантазию.
Ей дал он те вымыслы,
Те сны благотворные,
Которыми в области
Олимпа надзвездного
С амврозией, с нектаром

Подчас утешается
Он в скуке бессмертия;
Лелея с усмешкою
На персях родительских,
Ее величает он
Богинею-радостью.
То в утреннем веянье,
С лилейною веткою,
Одетая ризою,
Сотканной из нежного
Денницы сияния,
По долу душистому,
По холмам муравчатым,
По облакам утренним
Малиновкой носится;
На ландыш, на лилию,
На цвет-незабудочку,
На травку дубравную
Спускается пчелкою;
Устами пчелиными
Впиваяся в листики,
Пьет росу медвяную;
То, кудри с небрежностью
По ветру развеявши,
Во взоре уныние,
Тоской отуманена,
Глава наклоненная,
Сидит на крутой скале,
И смотрит в мечтании
На море пустынное,
И любит прислушивать,
Как волны плескаются,
О камни дробимые;
То внемлет, задумавшись,
Как ветер полуночный
Порой подымается,
Шумит над дубравою,
Качает вершинами
Дерев сеннолиственных;
То в сумраке вечера
(Когда златорогая
Луна из-за облака

Над рощею выглянет
И, сливши дрожащий луч
С вечерними тенями,
Оденет и лес и дол
Туманным сиянием)
Играет с наядами
По гладкой поверхности
Потока дубравного
И, струек с журчанием
Мешая гармонию
Волшебного шепота,
Наводит задумчивость,
Дремоту и легкий сон;
Иль, быстро с зефирами
По дремлющим лилиям,
Гвоздикам узорчатым,
Фиалкам и ландышам
Порхая, питается
Душистым дыханием
Цветов, ожемчуженных
Росинками светлыми;
Иль с сонмами гениев,
Воздушною цепию
Виясь, развиваяся,
В мерцании месяца,
Невидима-видима,
По облакам носится
И, к роще спустившися,
Играет листочками
Осины трепещущей.
Прославим создателя
Могущего, древнего,
Зевеса, пославшего
Нам радость-Фантазию;
В сей жизни, где радости
Прямые — луч молнии,
Он дал нам в ней счастие,
Всегда неизменное,
Супругу веселую,
Красой вечно юную,
И с нею нас цепию
Сопряг нераздельною.

«Да будешь, — сказал он ей, —
И в счастье и в горести
Им верная спутница,
Утеха, прибежище».

Другие творения,
С очами незрящими,
В слепых наслаждениях,
С печалями смутными,
Гнетомые бременем
Нужды непреклонныя,
Начавшись, кончаются
В кругу, ограниченном
Чертой настоящего,
Минутною жизнию;
Но мы, отличенные
Зевесовой благостью!..
Он дал нам сопутницу,
Игривую, нежную,
Летунью, искусницу
На милые вымыслы,
Причудницу резвую,
Любимую дщерь свою
Богиню Фантазию!
Ласкайте прелестную;
Кажите внимание
Ко всем ее прихотям,
Невинным, младенческим!
Пускай почитается
Над вами владычицей
И дома хозяйкою;
Чтоб вотчиму старому,
Брюзгливцу суровому,
Рассудку, не вздумалось
Ее переучивать,
Пугать укоризнами
И мучить уроками.
Я знаю сестру ее,
Степенную, тихую...
Мой друг утешительный,
Тогда лишь простись со мной,
Когда из очей моих

Луч жизни сокроется;
Тогда лишь покинь меня,
Причина всех добрых дел,
Источник великого,
Нам твердость, и мужество,
И силу дающая,
Надежда отрадная! ..

Середина (?) 1809

НА СМЕРТЬ ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА КАМЕНСКОГО

Еще великий прах... Неизбежимый рок!
Твоя, твоя рука себя нам здесь явила;
О, сколь разительный смирения урок
    Сия Каменского могила!

Не ты ль, грядущее пред ним окинув мглой,
Открыл его очам стезю побед и чести?
Не ты ль его хранил невидимой рукой,
    Разящего перуном мести?

Пред ним, за ним, окрест зияла смерть и брань;
Сомкнутые мечи на грудь его стремились —
Вотще! твоя над ним горé носилась длань...
    Мечи хранимого страшились.

И мнили мы, что он последний встретит час,
Простертый на щите, в виду победных строев,
И, угасающий, с улыбкой вонмет глас
    О нем рыдающих героев.

Слепцы! .. сей славы блеск лишь бездну украшал;
Сей битвы страшный вид и ратей низложенья
Лишь гибели мечту очам его являл
    И славной смерти привиденье...

Куда ж твой тайный путь Каменского привел?
Куда, могущих вождь, тобой руководимый,

Он быстро посреди победных кликов шел?
Увы! . . предел неотразимый!

В сей та́инственный лес, где страж твой обитал,
Где рыскал в тишине убийца сокровенный,
Где, избранный тобой, добычи грозно ждал
Топор разбойника презренный. . .

Август 1809

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Песня

Дней моих еще весною
Отчий дом покинул я;
Всё забыто было мною —
И семейство и друзья.

В ризе странника убогой,
С детской в сердце простотой,
Я пошел путем-дорогой —
Вера был вожатый мой.

И в надежде, в уверенье
Путь казался недалек,
«Странник, — слышалось, — терпенье!
Прямо, прямо на восток.

Ты увидишь храм чудесной;
Ты в святилище войдешь;
Там в нетленности *небесной*
Всё *земное* обретешь».

Утро вечером сменялось;
Вечер утру уступал;
Неизвестное скрывалось;
Я искал — не обретал.

Там встречались мне пучины;
Здесь высоких гор хребты;

Я взбирался на стремнины;
Чрез потоки стлал мосты.

Вдруг река передо мною —
Вод склоненье на восток;
Вижу зыблемый струею
Подле берега челнок.

Я в надежде, я в смятенье;
Предаю себя волнам;
Счастье вижу в отдаленье;
Всё, что мило — мнится — там!

Ах! в безвестном океане
Очутился мой челнок;
Даль попрежнему в тумане;
Брег невидим и далек.

И вовеки надо мною
Не сольется, как поднесь,
Небо светлое с землею...
Там не будет вечно *здесь*.

1809

ПЕСНЬ АРАБА НАД МОГИЛОЮ КОНЯ

Сей друг, кого и ветр в полях не обгонял,
Он спит — на зыбкий одр песков пустынных пал.

О путник, со мною страданья дели:
Царь быстрого бега простерт на земли;
И воздухом брани уже он не дышит;
И грозного ржанья пустыня не слышит;
В стремленьи погибель его нагнала;
Вонзенная в шею дрожала стрела;
И кровь благородна струею бежала;
И влагу потока струя обагряла.

Сей друг, кого и ветр в полях не обгонял,
Он спит — на зыбкий одр песков пустынных пал.

Убийцу сразила моя булава:
На прах отделенна скатилась глава;
Железо вкусило напиток кровавый,
И труп истлевает в пустыне без славы. . .
Но спит он, со мною летавший на брань;
Трикраты воззвал я: сопутник мой, встань!
Воззвал. . . безответен. . . угаснула сила. . .
И бранные кости одела могила.

Сей друг, кого и ветр в полях не обгонял,
Он спит — на зыбкий одр песков пустынных пал.

С того ненавистного, страшного дня
И солнце не светит с небес для меня;
Забыл о победе, и в мышцах нет силы;
Брожу одинокий, задумчив, унылый;
Иеменя доселе драгие края
Уже не отчизна — могила моя;
И мною дорога верблюда забвенна,
И дерево амвры, и куща священна.

Сей друг, кого и ветр в полях не обгонял,
Он спит — на зыбкий одр песков пустынных пал.

В час зноя и жажды скакал он со мной
Ко древу прохлады, к струе ключевой;
И мавра топтали могучи копыта;
И грудь от противных была мне защита;
Мой верный соратник в бою и трудах,
Он, бодрый, при первых денницы лучах,
Стрелою, покорен велению длани,
Летал на свиданья любови и брани.

О друг! кого и ветр в полях не обгонял,
Ты спишь — на зыбкий одр песков пустынных пал.

Ты видел и Зару — блаженны часы! —
Сокровище сердца и чудо красы;
Уста вероломны тебя величали,
И нежные длани хребет твой ласкали;
Ах! Зара как серна стыдлива была;
Как юная пальма долины цвела;

Но Зара пришельца пленилась красою
И скрылась... ты, спутник, остался со мною.

Сей друг, кого и ветр в полях не обгонял,
Он спит — на зыбкий одр песков пустынных пал.

О спутник! тоскует твой друг над тобой;
Но скоро, покрыты могилой одной,
Мы вкупе воздремлем в жилище отрады;
Над нами повеет дыханье прохлады;
И скоро, при гласе великого дня,
Из пыльного гроба исторгнув меня,
Величествен, гордый, с бессмертной красою,
Ты пламенной солнца помчишься стезею.

Конец 1809 — начало 1810

НА ПРОСЛАВИТЕЛЯ РУССКИХ ГЕРОЕВ, В СОЧИНЕНИЯХ КОТОРОГО НЕТ НИ НАЧАЛА, НИ КОНЦА, НИ СВЯЗИ

Мирон схватил перо, надулся, пишет, пишет,
И под собой земли не слышит!
«Пожарский! Филарет! отечества отец!»
Поставил точку — и конец!

1807—1810 (?)

К НЕЙ

Имя где для тебя?
Не сильно смертных искусство
Выразить прелесть твою!

Лиры нет для тебя!
Что песни? Отзыв неверный
Поздней молвы об тебе!

Если б сердце могло быть
Им слышно, каждое чувство
Было бы гимном тебе!

Прелесть жизни твоей,
Сей образ чистый, священный, —
В сердце — как тайну ношу.

Я могу лишь любить,
Сказать же, как ты любима,
Может лишь вечность одна!

1810—1811 (?)

ПЕСНЯ

О милый друг! теперь с тобою радость!
А я один — и мой печален путь;
Живи, вкушай невинной жизни сладость;
В душе не изменись; достойна счастья будь...
Но не отринь, в толпе пленяемых тобою,
Ты друга прежнего, увядшего душою;
Веселья их дели — ему отрадой будь;
Его, мой друг, не позабудь.

О милый друг, нам рок велел разлуку:
Дни, месяцы и годы пролетят,
Вотще к тебе простру от сердца руку —
Ни голос твой, ни взор меня не усладят.
Но и вдали моя душа с твоей согласна;
Любовь ни времени, ни месту не подвластна;
Всегда, везде ты мой хранитель-ангел будь,
Меня, мой друг, не позабудь.

О милый друг, пусть будет прах холодный
То сердце, где любовь к тебе жила:
Есть лучший мир; там мы любить свободны;
Туда моя душа уж всё перенесла;
Туда всечасное влечет меня желанье;
Там свидимся опять; там наше воздаянье;
Сей верой сладкою полна в разлуке будь —
Меня, мой друг, не позабудь.

29 сентября 1811

ЖЕЛАНИЕ

Романс

Озарися, дол туманный;
Расступися, мрак густой;
Где найду исход желанный?
Где воскресну я душой?
Испещренные цветами,
Красны холмы вижу там...
Ах! зачем я не с крылами?
Полетел бы я к холмам.

Там поют согласны лиры;
Там обитель тишины;
Мчат ко мне оттоль зефиры
Благовония весны;
Там блестят плоды златые
На сенистых деревах;
Там не слышны вихри злые
На пригорках, на лугах.

О, предел очарованья!
Как прелестна там весна!
Как от юных роз дыханья
Там душа оживлена!
Полечу туда... напрасно!
Нет путей к сим берегам;
Предо мной поток ужасной
Грозно мчится по скалам.

Лодку вижу... где ж вожатый?
Едем!.. будь, что суждено...
Паруса ее крылаты,
И весло оживлено.
Верь тому, что сердце скажет;
Нет залогов от небес;
Нам лишь чудо путь укажет
В сей волшебный край чудес.

1811

ПЕВЕЦ

В тени дерев, над чистыми водами
Дерновый холм вы видите ль, друзья?
Чуть слышно там плескает в брег струя;
Чуть ветерок там дышит меж листами;
    На ветвях лира и венец...
    Увы! друзья, сей холм — могила;
    Здесь прах певца земля сокрыла;
        Бедный певец!

Он сердцем прост, он нежен был душою —
Но в мире он минутный странник был;
Едва расцвел — и жизнь уж разлюбил
И ждал конца с волненьем и тоскою;
    И рано встретил он конец,
    Заснул желанным сном могилы...
    Твой век был миг, но миг унылый,
        Бедный певец!

Он дружбу пел, дав другу нежну руку, —
Но верный друг во цвете лет угас;
Он пел любовь — но был печален глас;
Увы! он знал любви одну лишь муку;
    Теперь всему, всему конец;
    Твоя душа покой вкусила;
    Ты спишь; тиха твоя могила,
        Бедный певец!

Здесь у ручья, вечернею порою,
Прощальну песнь он заунывно пел:
«О красный мир, где я вотще расцвел;
Прости навек; с обманутой душою
    Я счастья ждал — мечтам конец;
    Погибло всё; умолкни, лира;
    Скорей, скорей в обитель мира,
        Бедный певец!

Что жизнь, когда в ней нет очарованья?
Блаженство знать, к нему лететь душой,
Но пропасть зреть меж ним и меж собой;
Желать всяк час и трепетать желанья...

О пристань горестных сердец,
Могила, верный путь к покою,
Когда же будет взят тобою
Бедный певец?»

И нет певца... его не слышно лиры...
Его следы исчезли в сих местах;
И скорбно всё в долине, на холмах;
И всё молчит... лишь тихие зефиры,
Колебля вянущий венец,
Порою веют над могилой,
И лира вторит им уныло:
Бедный певец!

1811

ПЛОВЕЦ

Вихрем бедствия гонимый,
Без кормила и весла,
В океан неисходимый
Буря челн мой занесла.
В тучах звездочка светилась;
«Не скрывайся!» — я взывал;
Непреклонная сокрылась;
Якорь был — и тот пропал.

Всё оделось черной мглою;
Всколыхалися валы;
Бездны в мраке предо мною;
Вкруг ужасные скалы.
«Нет надежды на спасенье!» —
Я роптал, уныв душой...
О безумец! Провиденье
Было тайный кормщик твой.

Невидимою рукою,
Сквозь ревущие валы,
Сквозь одеты бездны мглою
И грозящие скалы,
Мощный вел меня хранитель.
Вдруг — всё тихо! мрак исчез;

Вижу райскую обитель...
В ней трех ангелов небес.

О спаситель-провиденье!
Скорбный ропот мой утих;
На коленах, в восхищенье,
Я смотрю на образ их.
О! кто прелесть их опишет?
Кто их силу над душой?
Всё окрест их небом дышит
И невинностью святой.

Неиспытанная радость —
Ими жить, для них дышать;
Их речей, их взоров сладость
В душу, в сердце принимать.
О судьба! одно желанье:
Дай все блага им вкусить;
Пусть им радость — мне страданье;
Но... не дай их пережить.

<Июль> 1812

ПЕСНЯ МАТЕРИ НАД КОЛЫБЕЛЬЮ СЫНА

Засни, дитя, спи, ангел мой!
Мне душу рвет твое стенанье!
Ужель страдать и над тобой?
Ах, тяжко и одно страданье!

Когда отец твой обольстил
Меня любви своей мечтою,
Как ты, пленял он красотою,
Как ты, он прост, невинен был!
Вверялось сердце без защиты,
Но он неверен; мы забыты.

Засни, дитя! спи, ангел мой!
Мне душу рвет твое стенанье!
Ужель страдать и над тобой?
Ах, тяжко и одно страданье!

Когда покинет легкий сон,
Утешь меня улыбкой милой;
Увы, такой же сладкой силой
Повелевал душе и он.
Но сколь он знал, к моей напасти,
Что всё его покорно власти!

Засни, дитя! спи, ангел мой!
Мне душу рвет твое стенанье!
Ужель страдать и над тобой?
Ах, тяжко и одно страданье!

Мое он сердце распалил,
Чтобы сразить его изменой;
Почто с своею переменой
Он и его не изменил?
Моя тоска неутолима;
Люблю, хотя и нелюбима.

Засни, дитя! спи, ангел мой!
Мне душу рвет твое стенанье!
Ужель страдать и над тобой?
Ах, тяжко и одно страданье!

Его краса в твоих чертах;
Открытый вид, живые взоры;
Его услышу разговоры
Я скоро на твоих устах!
Но, ах, красой очарователь,
Мой сын, не будь, как он, предатель!

Засни, дитя! спи, ангел мой!
Мне душу рвет твое стенанье!
Ужель страдать и над тобой?
Ах, тяжко и одно страданье!

В слезах у люльки я твоей —
А ты с улыбкой почиваешь!
О дай, творец, да не узнаешь
Печаль подобную моей!
От милых горе нестерпимо!
Да пройдет страшный жребий мимо!

Засни, дитя! спи, ангел мой!
Мне душу рвет твое стенанье!
Ужель страдать и над тобой?
Ах, тяжко и одно страданье!

Навек для нас пустыня свет,
К надежде нам пути закрыты,
Когда единственным забыты,
Нам сердца здесь родного нет,
Не нам веселие земное;
Во всей природе мы лишь двое!

Засни, дитя! спи, ангел мой!
Мне душу рвет твое стенанье!
Ужель страдать и над тобой?
Ах, тяжко и одно страданье!

Пойдем, мой сын, путем одним,
Две жертвы рока злополучны.
О, будем в мире неразлучны,
Сносней страдание двоим!
Я нежных лет твоих хранитель,
Ты мне на старость утешитель!

Засни, дитя! спи, ангел мой!
Мне душу рвет твое стенанье!
Ужель страдать и над тобой?
Ах, тяжко и одно страданье!

<Июль> 1812

МЕЧТЫ

Песня

Зачем так рано изменила?
С мечтами, радостью, тоской
Куда полет свой устремила?
Неумолимая, постой!
О дней моих весна златая,
Постой... тебе возврата нет...
Летит, молитве не внимая;
И всё за ней помчалось вслед.

О! где ты, луч, путеводитель
Веселых юношеских дней?
Где ты, надежда, обольститель
Неопытной души моей?
Уж нет ее, сей веры милой
К твореньям пламенной мечты...
Добыча истине унылой
Призраков прежних красоты.

Как древле рук своих созданье
Боготворил Пигмалион
И мрамор внял любви стенанье,
И мертвый был одушевлен, —
Так пламенно объята мною
Природа хладная была;
И, полная моей душою,
Она подвиглась, ожила.

И, юноши деля желанье,
Немая обрела язык:
Мне отвечала на лобзанье,
И сердца глас в нее проник.
Тогда и древо жизнь прияло,
И чувство ощутил ручей,
И мертвое отзывом стало
Пылающей души моей.

И неестественным стремленьем
Весь мир в мою теснился грудь;
Картиной, звуком, выраженьем
Во всё я жизнь хотел вдохнуть.
И в нежном семени сокрытой,
Сколь пышным мне казался свет...
Но, ах! сколь мало в нем развито!
И малое — сколь бедный цвет.

Как бодро, следом за мечтою
Волшебным очарован сном,
Забот не связанный уздою,
Я жизни полетел путем.
Желанье было — исполненье;
Успех отвагу пламенил:

Ни высота, ни отдаленье
Не ужасали смелых крыл.

И быстро жизни колесница
Стезею младости текла;
Ее воздушная станица
Веселых призраков влекла:
Любовь с прелестными дарами,
С алмазным Счастие ключом,
И Слава с звездными венцами,
И с ярким Истина лучом.

Но, ах! .. еще с полудороги,
Наскучив резвою игрой,
Вожди отстали быстроноги...
За роем вслед умчался рой.
Украдкой Счастие сокрылось;
Изменой Знание ушло;
Сомненья тучей обложилось
Священной Истины чело.

Я зрел, как дерзкою рукою
Презренный славу похищал;
И быстро с быстрою весною
Прелестный цвет Любви увял.
И всё пустынно, тихо стало
Окрест меня и предо мной!
Едва Надежды лишь сияло
Светило над моей тропой.

Но кто ж из сей толпы крылатой
Один с любовью мне вослед,
Мой до могилы провожатой,
Участник радостей и бед? ..
Ты, уз житейских облегчитель,
В душевном мраке милый свет,
Ты, Дружба, сердца исцелитель,
Мой добрый гений с юных лет.

И ты, товарищ мой любимый,
Души хранитель, как она,
Друг верный, Труд неутомимый,

Кому святая власть дана
Всегда творить не разрушая,
Мирить печального с судьбой
И, силу в сердце водворяя,
Беречь в нем ясность и покой.

1812

ПЕВЕЦ ВО СТАНЕ РУССКИХ ВОИНОВ

Певец

На поле бранном тишина;
Огни между шатрами;
Друзья, здесь светит нам луна,
Здесь кров небес над нами.
Наполним кубок круговой!
Дружнее! руку в руку!
Запьем вином кровавый бой
И с падшими разлуку.
Кто любит видеть в чашах дно,
Тот бодро ищет боя...
О, всемогущее вино,
Веселие героя!

Воины

Кто любит видеть в чашах дно,
Тот бодро ищет боя...
О, всемогущее вино,
Веселие героя!

Певец

Сей кубок чадам древних лет!
Вам слава, наши деды!
Друзья, уже могущих нет;
Уж нет вождей победы;
Их домы вихорь разметал;
Их гробы срыли плуги;
И пламень ржавчины сожрал
Их шлемы и кольчуги;

Но дух отцов воскрес в сынах;
Их поприще пред нами...
Мы там найдем их славный прах
С их славными делами.

Смотрите, в грозной красоте,
Воздушными полками,
Их тени мчатся в высоте
Над нашими шатрами...
О Святослав, бич древних лет,
Се твой полет орлиной.
«Погибнем! мертвым срама нет!» —
Гремит перед дружиной.
И ты, неверных страх, Донской,
С четой двух соименных,
Летишь погибельной грозой
На рать иноплеменных.

И ты, наш Петр, в толпе вождей.
Внимайте клич: Полтава!
Орды пришельца снедь мечей,
И мир взывает: слава!
Давно ль, о хищник, пожирал
Ты взором наши грады?
Беги! твой конь и всадник пал;
Твой след — костей громады;
Беги! и стыд и страх сокрой
В лесу с твоим сарматом;
Отчизны враг сопутник твой;
Злодей владыке братом.

Но кто сей рьяный великан,
Сей витязь полуночи?
Друзья, на спящий вражий стан
Вперил он страшны очи;
Его завидя в облаках,
Шумящим, смутным роем
На снежных Альпов высотах
Взлетели тени с воем;
Бледнеет галл, дрожит сармат
В шатрах от гневных взоров...
О горе! горе, супостат!
То грозный наш Суворов.

Хвала вам, чада прежних лет,
Хвала вам, чада славы!
Дружиной смелой вам вослед
Бежим на пир кровавый;
Да мчится ваш победный строй
Пред нашими орлами;
Да сеет, нам предтеча в бой,
Погибель над врагами;
Наполним кубок! меч во длань!
Внимай нам, вечный мститель!
За гибель — гибель, брань — за брань,
И казнь тебе, губитель!

Воины

Наполним кубок! меч во длань!
Внимай нам, вечный мститель!
За гибель — гибель, брань — за брань,
И казнь тебе, губитель!

Певец

Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Там всё — там родших милый дом;
Там наши жены, чада;
О нас их слезы пред творцом;
Мы жизни их ограда;
Там девы — прелесть наших дней,
И сонм друзей бесценный,
И царский трон, и прах царей,
И предков прах священный.

ПѢВЕЦЪ
ВЪ СТАНѢ
РУСКИХЪ ВОИНОВЪ. (1)

Пѣвецъ.

На полѣ бранномъ тишина!
    Огни между шатрами!
Друзья! здѣсь свѣтитъ намъ луна,
    Здѣсь кровъ небесъ надъ нами!
Наполнимъ кубокъ круговой!
    Дружнѣе руку въ руку!

СТИХОТВОРЕНІЯ

Василія Жуковскаго

Часть II.

Санктпетербургъ
1816

За них, друзья, всю нашу кровь!
На вражьи грянем силы;
Да в чадах к родине любовь
Зажгут отцов могилы.

Воины

За них, за них всю нашу кровь!
На вражьи грянем силы;
Да в чадах к родине любовь
Зажгут отцов могилы.

Певец

Тебе сей кубок, русский царь!
Цвети твоя держава;
Священный трон твой нам алтарь;
Пред ним обет наш: слава.
Не изменим; мы от отцов
Прияли верность с кровью;
О царь, здесь сонм твоих сынов,
К тебе горим любовью;
Наш каждый ратник — славянин;
Все долгу здесь послушны;
Бежит предатель сих дружин,
И чужд им малодушный.

Воины

Не изменим; мы от отцов
Прияли верность с кровью;
О царь, здесь сонм твоих сынов,
К тебе горим любовью.

Певец

Сей кубок ратным и вождям!
В шатрах, на поле чести,
И жизнь и смерть — всё пополам;
Там дружество без лести,
Решимость, правда, простота,
И нравов непритворство,
И смелость — бранных красота,
И твердость, и покорство.
Друзья, мы чужды низких уз;
К венцам стезею правой!

Опасность — твердый наш союз;
Одной пылаем славой.

Тот наш, кто первый в бой летит
На гибель супостата,
Кто слабость падшего щадит
И грозно мстит за брата;
Он взором жизнь дает полкам;
Он махом мощной длани
Их мчит во сретенье врагам,
В средину шумной брани;
Ему веселье битвы глас,
Спокоен под громами:
Он свой последний видит час
Бесстрашными очами.

Хвала тебе, наш бодрый вождь,
Герой под сединами!
Как юный ратник, вихрь, и дождь,
И труд он делит с нами.
О, сколь с израненным челом
Пред строем он прекрасен!
И сколь он хладен пред врагом
И сколь врагу ужасен!
О, диво! се орел пронзил
Над ним небес равнины...
Могущий вождь главу склонил;
Ура! кричат дружины.

Лети ко прадедам, орел,
Пророком славной мести!
Мы тверды: вождь наш перешел
Путь гибели и чести;
С ним опыт, сын труда и лет;
Он бодр и с сединою;
Ему знаком победы след...
Доверенность к герою!
Нет, други, нет! не предана
Москва на расхищенье;
Там стены!.. в россах вся она;
Мы здесь — и бог наш мщенье.

Хвала сподвижникам-вождям!
Ермолов, витязь юный,
Ты ратным брат, ты жизнь полкам,
И страх твои перуны.
Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.
Наш Милорадович, хвала!
Где он промчался с бранью,
Там, мнится, смерть сама прошла
С губительною дланью.

Наш Витгенштеин, вождь-герой,
Петрополя спаситель,
Хвала!.. Он щит стране родной,
Он хищных истребитель.
О, сколь величественный вид,
Когда перед рядами,
Один, склонясь на твердый щит,
Он грозными очами
Блюдет противников полки,
Им гибель устрояет
И вдруг... движением руки
Их сонмы рассыпает.

Хвала тебе, славян любовь,
Наш Коновницын смелый!..
Ничто ему толпы врагов,
Ничто мечи и стрелы;
Пред ним, за ним перун гремит,
И пышет пламень боя...
Он весел, он на гибель зрит
С спокойствием героя;
Себя забыл... одним врагам
Готовит истребленье;
Пример и ратным и вождям
И смелым удивленье.

Хвала, наш Вихорь-Атаман,
Вождь невредимых, Платов!

Твой очарованный аркан
Гроза для супостатов.
Орлом шумишь по облакам,
По полю волком рыщешь,
Летаешь страхом в тыл врагам,
Бедой им в уши свищешь;
Они лишь к лесу — ожил лес,
Деревья сыплют стрелы;
Они лишь к мосту — мост исчез;
Лишь к селам — пышут селы.

Хвала, наш Нестор-Бенингсон!
И вождь и муж совета,
Блюдет врагов не дремля он,
Как змей орел с полета.
Хвала, наш Остерман-герой,
В час битвы ратник смелый!
И Тормасов, летящий в бой,
Как юноша веселый!
И Багговут, среди громов,
Средь копий безмятежный!
И Дохтуров, гроза врагов,
К победе вождь надежный!

Наш твердый Воронцов, хвала!
О други, сколь смутилась
Вся рать славян, когда стрела
В бесстрашного вонзилась,
Когда полмертв, окровавлен,
С потухшими очами,
Он на щите был изнесен
За ратный строй друзьями.
Смотрите... язвой роковой
К постеле пригвожденный,
Он страждет, братскою толпой
Увечных окруженный.

Ему возглавье бранный щит;
Незыблемый в мученье,
Он с ясным взором говорит:
«Друзья, бедам презренье!»
И в их сердцах героя речь
Веселье пробуждает,

И, оживясь, до полы меч
Рука их обнажает.
Спеши ж, о витязь наш! воспрянь;
Уж ангел истребленья
Горе́ подъял ужасну длань,
И близок час отмщенья.

Хвала, Щербатов, вождь младой!
Среди грозы военной,
Друзья, он сетует душой
О трате незабвенной.
О витязь, ободрись... она
Твой спутник невидимый,
И ею свыше знамена
Дружин твоих хранимы.
Любви и скорби оживить
Твои для мщенья силы:
Рази дерзнувших возмутить
Покой ее могилы.

Хвала, наш Пален, чести сын!
Как бурею носимый,
Везде впреди своих дружин
Разит, неотразимый.
Наш смелый Строгонов, хвала!
Он жаждет чистой славы;
Она из мира увлекла
Его на путь кровавый...
О храбрых сонм, хвала и честь!
Свершайте истребленье,
Отчизна к вам взывает: месть!
Вселенная: спасенье!

Хвала бестрепетных вождям!
На конях окрыленных
По долам скачут, по горам
Вослед врагов смятенных;
Днем мчатся строй на строй; в ночи
Страшат, как привиденья;
Блистают смертью их мечи;
От стрел их нет спасенья;
По всем рассыпаны путям,
Невидимы и зримы;

Сломили здесь, сражают там
    И всюду невредимы.

Наш Фигнер старцем в стан врагов
    Идет во мраке ночи;
Как тень прокрался вкруг шатров,
    Всё зрели быстры очи...
И стан еще в глубоком сне,
    День светлый не проглянул —
А он уж, витязь, на коне,
    Уже с дружиной грянул.
Сеславин — где ни пролетит
    С крылатыми полками,
Там брошен в прах и меч и щит,
    И устлан путь врагами.

Давыдов, пламенный боец,
    Он вихрем в бой кровавый;
Он в мире счастливый певец
    Вина, любви и славы.
Кудашев скоком через ров
    И лётом на стремнину;
Бросает взглядом Чернышов
    На меч и гром дружину,
Орлов отважностью орел;
    И мчит грозу ударов
Сквозь дым и огнь, по грудам тел,
    В среду врагов Кайсаров.

Воины

Вожди славян, хвала и честь!
    Свершайте истребленье,
Отчизна к вам взывает: месть!
    Вселенная: спасенье!

Певец

Друзья, кипящий кубок сей
    Вождям, сраженным в бое.
Уже не придут в сонм друзей,
    Не станут в ратном строе,
Уж для врага их грозный лик
    Не будет вестник мщенья,

И не помчит их мощный клик
Дружину в пыл сраженья;
Их празден меч, безмолвен щит,
Их ратники унылы;
И сир могучих конь стоит
Близ тихой их могилы.

Где Кульнев наш, рушитель сил,
Свирепый пламень брани?
Он пал — главу на щит склонил
И стиснул меч во длани.
Где жизнь судьба ему дала,
Там брань его сразила;
Где колыбель его была,
Там днесь его могила.
И тих его последний час:
С молитвою священной
О милой матери угас
Герой наш незабвенной.

А ты, Кутайсов, вождь младой...
Где прелести? где младость?
Увы! он видом и душой
Прекрасен был, как радость;
В броне ли, грозный, выступал —
Бросали смерть перуны;
Во струны ль арфы ударял —
Одушевлялись струны...
О горе! верный конь бежит
Окровавлен из боя;
На нем его разбитый щит...
И нет на нем героя.

И где же твой, о витязь, прах?
Какою взят могилой?..
Пойдет прекрасная в слезах
Искать, где пепел милой...
Там чище ранняя роса,
Там зелень ароматней,
И сладостней цветов краса,
И светлый день приятней;

И тихий дух твой прилетит
Из та́инственной сени;
И трепет сердца возвестит
Ей близость дружней тени.

И ты... и ты, Багратион?
Вотще друзей молитвы,
Вотще их плач... во гробе он,
Добыча лютой битвы.
Еще дружин надежда в нем;
Всё мнит: с одра восстанет;
И робко шепчет враг с врагом:
«Увы нам! скоро грянет».
А он... навеки взор смежил,
Решитель бранных споров,
Он в область храбрых воспарил,
К тебе, Отец-Суворов.

И честь вам, падшие друзья!
Ликуйте в горней сени;
Там ваша верная семья —
Вождей минувших тени.
Хвала вам будет оживлять
И поздних лет беседы.
«От них учитесь умирать!» —
Так скажут внукам деды;
При вашем имени вскипит
В вожде ретивом пламя;
Он на твердыню с ним взлетит
И водрузит там знамя.

Воины

При вашем имени вскипит
В вожде ретивом пламя;
Он на твердыню с ним взлетит
И водрузит там знамя.

Певец

Сей кубок мщенью! други, в строй!
И к небу грозны длани!
Сразить иль пасть! наш роковой
Обет пред богом брани.

Вотще, о враг, из тьмы племен
Ты зиждешь ополченья:
Они бегут твоих знамен
И жаждут низложенья.
Сокровищ нет у нас в домах;
Там стрелы и кольчуги;
Мы села — в пепел; грады — в прах;
В мечи — серпы и плуги.

Злодей! он лестью приманил
К Москве свои дружины;
Он низким миром нам грозил
С Кремлевския вершины.
«Пойду по стогнам с торжеством!
Пойду... и всё восплещет!
И в прах падут с своим царем!..»
Пришел... и сам трепещет;
Подвигло мщение Москву:
Вспылала пред врагами
И грянулась на их главу
Губящими стенами.

Веди ж своих царей-рабов
С их стаей в область хлада;
Пробей тропу среди снегов
Во сретение глада...
Зима, союзник наш, гряди!
Им заперт путь возвратный;
Пустыни в пепле позади;
Пред ними сонмы ратны.
Отведай, хищник, что сильней:
Дух алчности иль мщенье?
Пришлец, мы в родине своей;
За правых провиденье!

Воины

Отведай, хищник, что сильней:
Дух алчности иль мщенье?
Пришлец, мы в родине своей;
За правых провиденье!

Певец

Святому братству сей фиал
    От верных братий круга!
Блажен, кому создатель дал
    Усладу жизни, друга;
С ним счастье вдвое; в скорбный час
    Он сердцу утешенье;
Он наша совесть; он для нас
    Второе провиденье.
О! будь же, други, святость уз
    Закон наш под шатрами;
Написан кровью наш союз:
    И жить и пасть друзьями.

Воины

О! будь же, други, святость уз
    Закон наш под шатрами;
Написан кровью наш союз:
    И жить и пасть друзьями.

Певец

Любви сей полный кубок в дар!
    Среди борьбы кровавой,
Друзья, святой питайте жар:
    Любовь — одно со славой.
Кому здесь жребий уделен
    Знать тайну страсти милой,
Кто сердцем сердцу обручен,
    Тот смело, с бодрой силой
На всё великое летит;
    Нет страха; нет преграды;
Чего-чего не совершит
    Для сладостной награды?

Ах! мысль о той, кто всё для нас,
    Нам спутник неизменный;
Везде знакомый слышим глас,
    Зрим образ незабвенный;
Она на бранных знаменах,
    Она в пылу сраженья;
И в шуме стана и в мечтах
    Веселых сновиденья.

Отведай, враг, исторгнуть щит,
    Рукою данный милой;
Святой обет на нем горит:
    Твоя и за могилой!

О, сладость тайныя мечты!
    Там, там за синей далью
Твой ангел, дева красоты,
    Одна с своей печалью,
Грустит, о друге слезы льет;
    Душа ее в молитве,
Боится вести, вести ждет:
    «Увы! не пал ли в битве?»
И мыслит: «Скоро ль, дружний глас,
    Твои мне слышать звуки?
Лети, лети, свиданья час,
    Сменить тоску разлуки».

Друзья! блаженнейшая часть
    Любезных быть спасеньем.
Когда ж предел наш в битве пасть —
    Погибнем с наслажденьем;
Святое имя призовем
    В минуту смертной муки;
Кем мы дышали в мире сем,
    С той нет и там разлуки:
Туда душа перенесет
    Любовь и образ милой...
О други, смерть не всё возьмет;
    Есть жизнь и за могилой.

Воины

В тот мир душа перенесет
    Любовь и образ милой...
О други, смерть не всё возьмет;
    Есть жизнь и за могилой.

Певец

Сей кубок чистым музам в дар!
    Друзья, они в героя
Вливают бодрость, славы жар,
    И месть, и жажду боя.

Гремят их лиры — стар и млад
Оделись в бранны латы:
Ничто им стрел свистящих град,
Ничто твердынь раскаты.
Певцы — сотрудники вождям;
Их песни — жизнь победам,
И внуки, внемля их струнам,
В слезах дивятся дедам.

О радость древних лет, Боян!
Ты, арфой ополченный,
Летал пред строями славян,
И гимн гремел священный.
Петру возник среди снегов
Певец — податель славы;
Честь Задунайскому Петров;
О камские дубравы,
Гордитесь, ваш Державин сын!
Готовь свои перуны,
Суворов, чудо-исполин, —
Державин грянет в струны.

О старец! да услышим твой
Днесь голос лебединый;
Не тщетной славы пред тобой,
Но мщения дружины;
Простерли не к добычам длань,
Бегут не за венками —
Их подвиг свят: то правых брань
С злодейскими ордами.
Пришло разрушить их мечам
Племен порабощенье;
Самим губителя рабам
Победы их спасенье.

Так, братья, чадам муз хвала!..
Но я, певец ваш юный...
Увы! почто судьба дала
Незвучные мне струны?
Доселе тихим лишь полям
Моя играла лира...

Вдруг жребий выпал: к знаменам!
Прости, и сладость мира,
И отчий край, и круг друзей,
И труд уединенный,
И всё... я там, где стук мечей,
Где ужасы военны.

Но буду ль ваши петь дела
И хищных истребленье?
Быть может, ждет меня стрела
И мне удел — паденье.
Но что ж... навеки ль смертный час
Мой след изгладит в мире?
Останется привычный глас
В осиротевшей лире.
Пускай губителя во прах
Низринет месть кровава —
Родится жизнь в ее струнах,
И звучно грянут: слава!

Воины

Хвала возвышенным певцам!
Их песни — жизнь победам,
И внуки, внемля их струнам,
В слезах дивятся дедам.

Певец

Подымем чашу!.. Богу сил!
О братья, на колена!
Он искони благословил
Славянские знамена.
Бессильным щит его закон
И гибнущим спаситель;
Всегда союзник правых он
И гордых истребитель.
О братья, взоры к небесам!
Там жизни сей награда!
Оттоль отец незримый нам
Гласит: мужайтесь, чада!

Бессмертье, тихий, светлый брег;
Наш путь — к нему стремленье.

Покойся, кто свой кончил бег!
Вы, странники, терпенье!
Блажен, кого постигнул бой!
Пусть долго, с жизнью хилой,
Старик трепещущей ногой
Влачится над могилой;
Сын брани мигом ношу в прах
С могучих плеч свергает
И, бодр, на молнийных крылах
В мир лучший улетает.

А мы? .. Доверенность к творцу!
Что б ни было — незримой
Ведет нас к лучшему концу
Стезей непостижимой.
Ему, друзья, отважно вслед!
Прочь, низкое! прочь, злоба!
Дух бодрый на дороге бед,
До самой двери гроба;
В высокой доле — простота;
Нежадность — в наслажденье;
В союзе с ровным — правота;
В могуществе — смиренье.

Обетам — вечность; чести — честь;
Покорность — правой власти;
Для дружбы — всё, что в мире есть;
Любви — весь пламень страсти;
Утеха — скорби; просьбе — дань,
Погибели — спасенье;
Могущему пороку — брань;
Бессильному — презренье;
Неправде — грозный правды глас;
Заслуге — воздаянье;
Спокойствие — в последний час;
При гробе — упованье.

О! будь же, русский бог, нам щит!
Прострешь твою десницу —
И мститель-гром твой раздробит
Коня и колесницу.

Как воск перед лицом огня,
Растает враг пред нами...
О, страх карающего дня!
Бродя окрест очами,
Речет пришлец: «Врагов я зрел;
И мнил: земли им мало;
И взор их гибелью горел;
Протек — врагов не стало!»

Воины

Речет пришлец: «Врагов я зрел;
И мнил: земли им мало;
И взор их гибелью горел;
Протек — врагов не стало!»

Певец

Но светлых облаков гряда
Уж утро возвещает;
Уже восточная звезда
Над холмами играет;
Редеет сумрак; сквозь туман
Проглянули равнины,
И дальний лес, и тихий стан,
И спящие дружины.
О други, скоро! .. день грядет...
Недвижны рати бурны...
Но... Рок уж жребии берет
Из та́инственной урны.

О новый день, когда твой свет
Исчезнет за холмами,
Сколь многих взор наш не найдет
Меж нашими рядами! ..
И он блеснул! .. Чу! .. вестовой
Перун по холмам грянул;
Внимайте: в поле шум глухой!
Смотрите: стан воспрянул!
И кони ржут, грызя бразды;
И строй сомкнулся с строем;
И вождь летит перед ряды;
И пышет ратник боем.

Друзья, прощанью кубок сей!
И смело в бой кровавой
Под вихорь стрел, на ряд мечей,
За смертью иль за славой...
О вы, которых и вдали
Боготворим сердцами,
Вам, вам все блага на земли!
Щит промысла над вами!..
Всевышний царь, благослови!
А вы, друзья, лобзанье
В завет: *здесь* верныя любви,
Там сладкого свиданья!

Воины

Всевышний царь, благослови!
А вы, друзья, лобзанье
В завет: *здесь* верныя любви,
Там сладкого свиданья!

Сентябрь — начало (до 6) октября 1812

ВОЖДЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Писано после сражения под Красным

Послание

О вождь славян, дерзнут ли робки струны
Тебе хвалу в сей славный час бряцать?
Везде гремят отмщения перуны,
И мчится враг, стыдом покрытый, вспять,
И с россом мир тебе рукоплескает...
Кто пенью струн средь плесков сих
внимает?
Но как молчать? Я сердцем славянин!
Я зрел, как ты, впреди своих дружин,
В кругу вождей, сопутствуем громами,
Как божий гнев, шел грозно за врагами.
Со всех сторон дымились небеса;
Окрест земля от громов колебалась...
Сколь мысль моя тогда воспламенялась!
Сколь дивная являлась мне краса!
О старец-вождь! я мнил, что над тобою

Тогда сам Рок невидимый летел;
Что был сокрыт вселенныя предел
В твоей главе, венчанной сединою.

Закон Судьбы для нас неизъясним.
Надменный сей не ею ль был храним?
Вотще пески Ливийские пылали —
Он путь открыл среди песчаных волн;
Вотще враги пучину осаждали —
Его промчал безвредно легкий челн;
Ступил на брег — в руке его корона;
Уж хищный взор с похищенного трона
Вселенную в неволю оковал;
Уж он царей-рабов своих созвал...
И восстают могущие тевтоны,
Достойные Арминия сыны;
Неаполь, Рим сбирают легионы;
Богемец, венгр, саксон ополчены;
И стали в строй изменники сарматы;
Им нет числа; дружины их крылаты;
И норд и юг поток сей наводнил!
Вождю вослед, а вождь их за звездою,
Идут, летят — уж всё под их стопою,
Уж росс главу под низкий мир склонил...
О, замыслы! о, неба суд ужасной!
О, хищный враг!.. и труд толиких лет,
И трупами устланный путь побед,
И мощь, и злость, и козни — всё напрасно!
Здесь грозная Судьба его ждала;
Она успех на то ему дала,
Чтоб старец наш славней его низринул.
Хвала, наш вождь! Едва дружины двинул —
Уж хищных рать стремглав бежит назад;
Их гонит страх; за ними мчится глад;
И щит и меч бросают с знаменами;
Везде пути покрыты их костями;
Их волны жрут; их губит огнь и хлад;
Вотще свой взор подъемлют ко спасенью...
Не узрят их отчески поля!
Обречены в добычу истребленью,
И будет гроб им русская земля.
И скрылася, наш старец, пред тобою

Сия звезда, сей грозный вождь к бедам;
Посол Судьбы, явился ты полкам —
И пред твоей священной сединою
Безумная гордыня пала в прах.
Лети, неси за ними смерть и страх;
Еще удар — и всей земле свобода,
И нет следов *великого* народа!
О, сколь тебе завидный жребий дан!
Еще вдали трепещет оттоман —
А ты уж здесь! уж родины спаситель!
Уже погнал, как гений-истребитель,
Кичливые разбойников орды;
И ряд побед — полков твоих следы;
И самый враг, неволею гнетомый,
Твоих орлов благословляет громы:
Ты жизнь ему победами даришь...
Когда ж, свершив погибельное мщенье,
Свои полки отчизне возвратишь,
Сколь славное тебе успокоенье!..
Уже в мечтах я вижу твой возврат:
Перед тобой венцы, трофеи брани;
Во сретенье бегут и стар и млад;
К тебе их взор; к тебе подъемлют длани;
«Вот он! вот он! сей грозный вождь, наш щит;
Сколь величав, грядущий пред полками!
Усейте путь спасителя цветами!
Да каждый храм мольбой о нем гремит!
Да слышит он везде благословенье!»
Когда ж, сложив с главы своей шелом
И меч с бедра, ты возвратишься в дом,
Да вкусишь там покоя наслажденье
Пред славными трофеями побед —
Сколь будет ток твоих преклонных лет
В сей тишине величествен и ясен!
О, дней благих закат всегда прекрасен!
С веселием водя окрест свой взор,
Ты будешь зреть ликующие нивы,
И скачущи стада по скатам гор,
И хижины оратая счастливы,
И скажешь: мной дана им тишина.
И старец, в гроб ступивший уж ногою,
Тебя в семье воспомянув с мольбою,

В семействе скажет: «Им сбережена
Мне мирная в отечестве могила».
И скажет мать, любуясь на детей:
«Его рука мне милых сохранила».
На пиршествах, в спокойствии семей,
Пред алтарем, в обители царей,
Везде, о вождь, тебе благословенье;
Тебя предаст потомству песнопенье.

6—10 ноября 1812

УЗНИК К МОТЫЛЬКУ, ВЛЕТЕВШЕМУ В ЕГО ТЕМНИЦУ

Песня

Откуда ты, эфира житель?
Скажи, нежданный гость небес,
Какой зефир тебя занес
В мою печальную обитель?
Увы! денницы милый свет
До сводов сих не достигает;
В сей бездне ужас обитает;
Веселья здесь и следу нет.

Сколь сладостно твое явленье!
Знать, милый гость мой, с высоты
Страдальца вздох услышал ты —
Тебя примчало сожаленье;
Увы! убитая тоской
Душа весь мир в тебе узрела,
Надежда ясная влетела
В темницу к узнику с тобой.

Скажи ж, любимый друг природы,
Все те же ль неба красоты?
Попрежнему ль в лугах цветы?
Душисты ль рощи? ясны ль воды?
Попрежнему ль в тиши ночной
Поет дубравная певица?
Увы! скажи мне, где денница?
Скажи, что сделалось с весной?

Дай весть услышать о свободе;
Слыхал ли песнь ее в горах?
Ее видал ли на лугах
В одушевленном хороводе?
Ах! зрел ли милую страну,
Где я был счастлив в прежни годы?
Всё та же ль там краса природы?
Всё так ли там, как в старину?

Весна сих сводов не видала:
Ты не найдешь на них цветка;
На них затворников рука
Страданий повесть начертала;
Не долетает к сим стенам
Зефира легкое дыханье:
Ты внемлешь здесь одно стенанье,
Ты здесь порхаешь по цепям.

Лети ж, лети к свободе в поле;
Оставь сей бездны глубину;
Спеши прожить твою весну —
Другой весны не будет боле;
Спеши, творения краса!
Тебя зовут луга шелковы:
Там прихоти — твои оковы;
Твоя темница — небеса.

Будь весел, гость мой легкокрылой,
Резвяся в поле по цветам...
Быть может, двух младенцев там
Ты встретишь с матерью унылой.
Ах! если б мог ты усладить
Их муку радости словами;
Сказать: он жив! он дышит вами!
Но... ты не можешь говорить.

Увы! хоть крыльями златыми
Моих младенцев ты прельсти;
По травке тихо полети,
Как бы хотел быть пойман ими;
Тебе помчатся вслед они,
Добычи милыя желая;

Ты их, с цветка на цвет порхая,
К моей темнице примани.

Забав их зритель равнодушной,
Пойдет за ними вслед их мать —
Ты будешь путь их услаждать
Своею резвостью воздушной.
Любовь их — мой последний щит:
Они страдальцу провиденье;
Сирот священное моленье
Тюремных стражей победит.

Падут железные затворы —
Детей, супругу, небеса,
Родимый край, холмы, леса
Опять мои увидят взоры...
Но что?.. я цепью загремел;
Сокрылся призрак-обольститель...
Вспорхнул эфирный посетитель...
Постой!.. но он уж улетел.

Начало 1813

К ФИЛОНУ

Блажен, о Филон, кто харитам-богиням жертвы приносит.
Как светлые дни легкокрылого мая в блеске весеннем,
Как волны ручья, озаренны улыбкой юного утра,
Дни его легким полетом летят.

И полный фиал, освященный устами дев полногрудых,
И лира, в кругу окриляемых пляской Фавнов звеняща,
Да будут от нас, до нисхода в пределы тайного мира,
Грациям, девам стыдливости, дар.

И горе тому, кто харитам противен; низкие мысли
Его от земли не восходят к Олимпу; бог песнопенья
И нежный Эрот с ним враждуют; напрасно лиру он строит;
Жизни в упорных не будет струнах.

Январь—март 1813

ТУРГЕНЕВУ, В ОТВЕТ НА ЕГО ПИСЬМО

Послание

Друг, отчего печален голос твой?
Ответствуй, брат, реши мое сомненье.
Иль он твоей судьбы изображенье?
Иль счастие простилось и с тобой?
С стеснением письмо твое читаю;
Увы! на нем уныния печать;
Чего не смел ты ясно мне сказать,
То всё, мой друг, я чувством понимаю.
Так, и на твой досталося удел;
Разрушен мир фантазии прелестной;
Ты в наготе, друг милый, жизнь узрел;
Что в бездне сей таилось, всё известно —
И для тебя уж здесь обмана нет.
И, испытав, сколь сей изменчив свет,
С пленительным простившись ожиданьем,
На прошлы дни ты обращаешь взгляд
И без надежд живешь воспоминаньем.

О! не бывать минувшему назад!
Сколь весело промчалися те годы,
Когда мы все, товарищи-друзья,
Делили жизнь на лоне у Свободы!
Беспечные, мы в чувстве бытия,
Что было, есть и будет, заключали,
Грядущее надеждой украшали —
И радостным оно являлось нам.
Где время то, когда по вечерам
В веселый круг нас музы собирали?
Нет и следов; исчезло всё — и сад
И ветхий дом, где мы в осенний хлад
Святой союз любви торжествовали
И звоном чаш шум ветров заглушали.
Где время то, когда наш милый брат
Был с нами, был всех радостей душою?
Не он ли нас приятной остротою
И нежностью сердечной привлекал?
Не он ли нас тесней соединял?
Сколь был он прост, нескрытен в разговоре!

Как для друзей всю душу обнажал!
Как взор его во глубь сердец вникал!
Высокий дух пылал в сем быстром взоре.
Бывало он, с отцом рука с рукой,
Входил в наш круг — и радость с ним являлась:
Старик при нем был юноша живой,
Его седин свобода не чуждалась...
О нет! он был милейший нам собрат;
Он отдыхал от жизни между нами,
От сердца дар его был каждый взгляд,
И он друзей не рознил с сыновьями...
Увы! их нет... мы ж каждый по тропам
Незнаемым за счастьем полетели,
Нам прошептал какой-то голос: *там!*
Но что? и где? и кто вожатый к цели?
Вдали сиял пленительный призра́к —
Нас тайное к нему стремленье мчало;
Но опыт вдруг накинул покрывало
На нашу даль — и там один лишь мрак.
И, верою к грядущему убоги,
Задумчиво глядим с полудороги
На спутников, оставших назади,
На милую Фантазию с мечтами...
Изменница! навек простилась с нами,
А всё еще твердит свое: *иди!*
Куда идти? что ждет нас в отдаленье?
Чему еще на свете веру дать?
И можно ль, друг, желание питать,
Когда для нас столь бедно исполненье?
Мы разными дорогами пошли:
Но что ж, куда они нас привели?
Всё к одному, что счастье — заблужденье.
Сравни, сравни себя с самим собой:
Где прежний ты, цветущий, жизни полный?
Бывало всё — и солнце за горой,
И запах лип, и чуть шумящи волны,
И шорох нив, струимых ветерком,
И темный лес, склоненный над ручьем,
И пастыря в долине песнь простая,
Веселием всю душу растворяя,
С прелестною сливалося мечтой:

Вся жизни даль являлась пред тобой;
И ты, восторг предчувствием считая,
В событие надежду обращал.
Природа та ж... но где очарованье?
Ах! с нами, друг, и прежний мир пропал;
Пред опытом умолкло упованье;
Что в *оны дни* будило радость в нас,
То в нас *теперь* унылость пробуждает;
Во всем, во всем прискорбный слышен глас,
Что ничего нам жизнь не обещает.
И мы еще, мой друг, во цвете лет.
О, беден, кто себя переживет!
Пред кем сей мир, столь некогда веселый,
Как отчий дом, ужасно опустелый:
Там в старину всё жило, всё цвело,
Там он играл, младенцем, в колыбели;
Но время всё оттуда унесло,
И с милыми веселья улетели;
Он их зовет... ему ответа нет;
В его глазах развалины унылы;
Один его минувшей жизни след:
Утраченных безмолвные могилы.

Неси ж туда, где наш отец и брат
Спокойным сном в приюте гроба спят,
Венки из роз, вино и ароматы;
Воздвигнем, друг, там памятник простой
Их бытия... и скорбной нашей траты.
Один исчез из области земной
В объятиях веселыя Надежды.
Увы! он зрел лишь юный жизни цвет;
С усилием его смыкались вежды;
Он сетовал, навек теряя свет —
Где милого столь много оставалось, —
Что бытие так рано прекращалось.
Но он и в гроб Мечтой сопровожден.
Другой... старик... сколь был он изумлен
Тогда, как смерть, ошибкою ужасной,
Не над его одряхшей головой,
Над юностью обрушилась прекрасной!
Он не роптал, но с тихою тоской
Смотрел на праг покоя и могилы —

Увы! там ждал его сопутник милый;
Он мыслию, безмолвный пред судьбой,
Взывал к творцу: да пройдет чаша мимо!
Она прошла... и мы в сей край незримой
Летим душой за милыми вослед;
Но к нам от них желанной вести нет;
Лишь тайное живет в нас ожиданье...
Когда ж? когда?.. Друг милый, упованье!
Гробами их рубеж означен тот,
За коим нас свободы гений ждет,
С спокойствием, бесчувствием, забвеньем.
Пришед туда, о друг, с каким презреньем
Мы бросим взор на жизнь, на гнусный свет;
Где милое один минутный цвет;
Где доброму следов ко счастью нет;
Где мнение над совестью властитель;
Где всё, мой друг, иль жертва, иль губитель!..
Дай руку, брат! как знать, куда наш путь
Нас приведет, и скоро ль он свершится,
И что еще во мгле судьбы таится —
Но дружба нам звездой отрады будь;
О прочем здесь останемся беспечны;
Нам счастья нет, зато и мы — не вечны.

Первая половина сентября 1813

СВЕТЛАНЕ

Хочешь видеть жребий свой
В зеркале, Светлана?
Ты спросись с своей душой!
Скажет без обмана
Что тебе здесь суждено!
Нам душа — зерцало!
Всё в ней, всё заключено,
Что нам обещало
Провиденье в жизни сей!
Милый друг, в душе твоей,
Непорочной, ясной,
С восхищеньем вижу я,
Что сходна судьба твоя
С сей душой прекрасной!

Непорочность — спутник твой
И веселость — гений
Всюду будут пред тобой
С чашей наслаждений.
Лишь тому, в ком чувства нет,
Путь земной ужасен!
Счастье в нас, и божий свет
Нами лишь прекрасен.
Милый друг, спокойна будь,
Безопасен твой здесь путь:
Сердце твой хранитель!
Всё судьбою в нем дано:
Будет здесь тебе оно
К счастью предводитель!

1813 (?)

К САМОМУ СЕБЕ

Ты унываешь о днях, невозвратно протекших,
Горестной мыслью, тоской безнадежной их призывая —
Будь настоящее твой утешительный гений!
Веря ему, свой день проводи безмятежно!
Легким полетом несутся дни быстрые жизни!
Только успеем достигнуть до полныя зрелости мыслей,
Только увидим достойную цель пред очами —
Всё уж для нас прошло, как мечта сновиденья,
Призрак фантазии, то представляющей взору
Луг, испещренный цветами, веселые холмы, долины;
То пролетающей в мрачной одежде печали
Дикую степь, леса и ужасные бездны.
Следуй же мудрым! всегда неизменный душою,
Что посылает судьба, принимай и не сетуй! Безумно
Скорбью бесплодной о благе навеки погибшем
То отвергать, что нам предлагает минута!

1813 (?)

К ВОЕЙКОВУ

Послание

Добро пожаловать, певец,
Товарищ-друг, хотя и льстец,
В смиренную обитель брата;
Поставь в мой угол посох свой
И умиленною мольбой
Почти домашнего Пената.
Садись — вот кубок! в честь друзьям!
И сладкому воспоминанью,
И благотворному свиданью,
И нас хранившим небесам!

Ты был под знаменами славы;
Ты видел, друг, следы кровавы
На Русь нахлынувших врагов,
Их казнь и ужас их побега;
Ты, строя свой бивак из снега,
Себя смиренью научал
И, хлеб вслою запивая,
«Хвала, умеренность златая!»
С певцом Тибурским восклицал.
Ты видел Азии пределы;
Ты зрел ордынцев лютых край
И лишь обломки обгорелы
Там, где стоял Шери-Сарай,
Батыя древняя обитель;
Задумчивый развалин зритель,
Во днях минувших созерцал
Ты настоящего картину
И в них ужасную судьбину
Батыя новых дней читал.
В Сарепте зрелище иное:
Там братство христиан простое
Бесстрастием ограждено
От вредных сердцу заблуждений,
От милых сердцу наслаждений.
Там вечно *то же* и *одно;*
Всему свой час: труду, безделью;
И легкокрылому веселью
Порядок крылья там сковал.

Там, видя счастие в покое,
Ты все восторги отдавал
За нестрадание святое;
Ты зрел, как в тишине семей,
Хранимы сердцем матерей,
Там девы простотой счастливы,
А юноши трудолюбивы
От бурных спасены страстей
Рукой занятия целебной;
Ты зрел, как, вшедши в божий храм,
Они смиренно к небесам
Возводят взор с мольбой хвалебной
И служат сердцем божеству,
Отринув мрак предрассужденья...
Что уподобим торжеству,
Которым чудо искупленья
Они в восторге веры чтут?..
Всё тихо... полночь... нет движенья...
И в трепете благоговенья
Все братья той минуты ждут,
Когда им звон-благовеститель
Провозгласит: воскрес спаситель!..
И вдруг... во мгле.. средь тишины,
Как будто с горней вышины
С трубою ангел-пробудитель,
Нисходит глас... алтарь горит,
И братья пали на колени,
И гимн торжественный гремит,
И се, идут в усопших сени,
О, сердце трогающий вид!
Под тенью тополей, ветвистых
Берез, дубов и шелковиц,
Между тюльпанов, роз душистых
Ряды являются гробниц:
Здесь старцев, там детей могила,
Там юношей, там дев младых —
И Вера подле пепла их
Надежды факел воспалила...
Идут к возлюбленных гробам
С отрадной вестью воскресенья;
И всё — отверзтый, светлый храм,
Где, мнится, тайна искупленья

Свершается в сей самый час,
Торжественный поющих глас,
И братий на гробах лобзанье
(Принесших им воспоминанье
И жертву умиленных слез),
И тихое гробов молчанье,
И соприсутственных небес
Незримое с землей слиянье —
Всё живо, полно божества;
И, верных братий торжества
Свидетели, из тайной сени
Исходят дружеские тени,
И их преображенный вид
На сладку песнь: *Воскрес спаситель!*
Сердцам *воистину* гласит,
И самый гроб их говорит:
Воскреснем! жив наш искупитель! —
И, сей оставивши предел,
Ты зрел, как Терек в быстром беге
Меж виноградников шумел,
Где часто, притаясь на бреге,
Чеченец иль черкес сидел
Под буркой, с гибельным арканом;
И вдалеке перед тобой,
Одеты голубым туманом,
Гора вздымалась над горой,
И в сонме их гигант седой,
Как туча, Эльборус двуглавой.
Ужасною и величавой
Там всё блистает красотой:
Утесов мшистые громады,
Бегущи с ревом водопады
Во мрак пучин с гранитных скал;
Леса, которых сна от века
Ни стук секир, ни человека
Веселый глас не возмущал,
В которых сумрачные сени
Еще луч днéвный не проник,
Где изредка одни олени,
Орла послышав грозный крик,
Теснясь в толпу, шумят ветвями,
И козы легкими ногами

Перебегают по скалам.
Там всё является очам
Великолепие творенья!
Но там — среди уединенья
Долин, таящихся в горах, —
Гнездятся и балкар, и бах,
И абазех, и камукинец,
И карбулак, и абазинец,
И чечереец, и шапсук;
Пищаль, кольчуга, сабля, лук
И конь — соратник быстроногий —
Их и сокровища и боги;
Как серны, скачут по горам,
Бросают смерть из-за утеса;
Или, по топким берегам,
В траве высокой, в чаще леса
Рассыпавшись, добычи ждут.
Скалы́ свободы их приют;
Но дни в аулах их бредут
На костылях угрюмой лени;
Там жизнь их — сон; стеснясь в кружок
И в братский с табаком горшок
Вонзивши чубуки, как тени
В дыму клубящемся сидят
И об убийствах говорят
Иль хвалят меткие пищали,
Из коих деды их стреляли;
Иль сабли на кремнях острят,
Готовясь на убийства новы.
Ты видел Дона берега;
Ты зрел, как он поил шелковы
Необозримые луга,
Одушевленны табунами;
Ты зрел, как тихими водами
Меж виноградными садами
Он, зеленея, протекал
И ясной влагой отражал
Брега, покрытые стадами,
Ряды стеснившихся стругов
И на склонении холмов
Донских богатырей станицы;
Ты часто слушал, как певицы

Родимый прославляют Дон,
Спокойствие станиц счастливых,
Вождей и коней их ретивых;
С смиреньем отдал ты поклон
Жилищу Вихря-Атамана
И из заветного стакана
Его здоровье на Цымле
Пил, окруженный стариками,
И витязи под сединами
Соотчичам в чужой земле
Ура! кричали за тобою.
Теперь ты случая рукою
В обитель брата приведен,
С ним вспомнишь призраки златые
Невозвратимых тех времен,
Когда мы — гости молодые
У милой Жизни на пиру —
Из полной чаши радость пили
И *счастье наше!* говорили
В своем пророческом жару...
Мой друг, пророчество прелестно!
Когда же сбудется оно?
Еще вдали и неизвестно
Всё то, что нам здесь суждено...
А время мчится без возврата,
И жизнь-изменница за ним;
Один уходим за другим;
Друг, оглянись... еще нет брата,
Час от часу пустее свет;
Пустей дорога перед нами.

Но так и быть!.. здесь твой поэт
С смиренной музою, с друзьями
В смиренном уголке живет
И у моря погоды ждет.
И ты, мой друг, чтобы мечтою
Грядущее развеселить,
Спешишь волшебных струн игрою
В нем спящий гений пробудить;
И, очарованный тобою,
Как за прозрачной пеленою,
Я вижу древни чудеса:

Вот наше солнышко-краса
Владимир князь с богатырями;
Вот Днепр кипит между скалами;
Вот златоверхий Киев-град;
И бусурманов тьмы, как пруги,
Вокруг зубчатых стен кипят;
Сверкают шлемы и кольчуги;
От кликов, топота коней,
От стука палиц, свиста пращей
Далеко слышен гул дрожащий;
Вот, дивной облечен броней,
Добрыня, богатырь могучий,
И конь его Златокопыт;
Чрез степи и леса дремучи
Не скачет витязь, а летит,
Громя Зилантов и Полканов,
И ведьм, и чуд, и великанов;
И втайне девица-краса
За дальни степи и леса
Вослед ему летит душою;
Склоняся на руку главою,
На путь из терема глядит
И так в раздумье говорит:
«О ветер, ветер! что ты вьешься?
Ты не от милого несешься,
Ты не принес веселья мне;
Играй с касаткой в вышине,
По поднебесью с облаками,
По синю морю с кораблями —
Стрелу пернатую отвей
От друга — радости моей».
Краса-девица ноет, плачет;
А друг по долам, холмам скачет,
Летя за тридевять земель;
Ему сыра земля — постель;
Возглавье — щит; ночлег — дубрава;
Там бьется с Бабою-Ягой;
Там из ручья с живой водой,
Под стражей змея шестиглава,
Кувшином черпает златым;
Там машет дубом перед ним
Косматый людоед Дубыня;

Там заслоняет путь Горыня;
И вот внезапно занесен
В жилище чародеев он;
Пред ним чернеет лес ужасный!
Сияет блеск вдали прекрасный;
Чем ближе он — тем дале свет;
То тяжкий филина полет,
То вранов раздается рокот;
То слышится русалки хохот;
То вдруг из-за седого пня
Выходит леший козлоногий;
И вдруг стоят пред ним чертоги,
Как будто слиты из огня —
Дворец волшебный царь-девицы;
Красою белые колпицы,
Двенадцать дев к нему идут
И песнь приветствия поют;
И он... Но что? куда мечтами
Я залетел тебе вослед —
Ты чародей, а не поэт;
Ты всемогущими струнами
Мой падший гений оживил...
И кто, скажи мне, научил
Тебя предречь осьмью стихами
В сей книге с белыми листами
Весь сокровенный жребий мой?
Признаться ли?.. Смотрю с тоской,
С волнением непобедимым
На белые сии листы,
И мнится, перстом невидимым
Свои невидимы черты
На них судьба уж написала.
Что б ни было... сей дар тебе
Отныне дружба завещала;
Она твоя... молись судьбе,
Чтоб в ней наполнились страницы.
Когда, мой друг, тебе я сам
Ее в веселый час подам
И ты прочтешь в ней небылицы,
За быль рассказанные мной:
То знай, что счастлив жребий мой,
Что под надзором провиденья,

Питаясь жизнью в тишине,
Вблизи всего, что мило мне,
Я на крылах воображенья,
Веселый *здесь,* в *тот* мир летал
И что меня не покидал
Мой верный ангел вдохновенья. . .
Но, друг, быть может. . . как узнать? . .
Она останется пустая,
И некогда рука чужая
Тебе должна ее отдать
В святой залог воспоминанья,
Увы! и в знак, что в жизни сей
Милейшие души моей
Не совершилися желанья.
Прими ее. . . и пожалей.

29 января 1814

ЧТО ТАКОЕ ЗАКОН?

Закон — на улице натянутый канат,
Чтоб останавливать прохожих средь дороги,
Иль их сворачивать назад,
Или им путать ноги.
Но что ж? Напрасный труд! Никто назад нейдет!
Никто и подождать не хочет!
Кто ростом мал — тот вниз проскочит,
А кто велик — перешагнет!

Начало октября 1814

ЭПИТАФИИ

I. МОТУ

Здесь Лакомкин лежит — он вечно жил по моде,
Зато и вечно должен был!
А заплатил
Один лишь долг — природе!

II. ХРОМОМУ

Дамон покинул свет;
На гроб ему два слова:

Был хром и ковылял сто лет!
Довольно для хромова.

III. ПЬЯНИЦЕ

Под камнем сим Бибрис лежит;
Он на земле в таком раздоре был с водою,
Что нам и из земли кричит:
Не плачьте надо мною!

IV. ГРАМОТЕЮ

Здесь Буквин-грамотей. Но что ж об нем сказать?
Был сердцем добр; имел смиренные желанья,
И чести правила старался наблюдать,
Как правила правописанья!

V. ТОЛСТОМУ ЭГОИСТУ

Здесь Никодимову похоронили тушу!
К себе он милостив, а к ближнему был строг;
Зато, когда отдать он вздумал богу душу,
Его души не принял бог!

VI. ЗАВОЕВАТЕЛЯМ

Где всемогущие владыки,
Опустошители земли?
Их повелительные лики
Смирились в гробовой пыли!
И мир надменных забывает!
И время с их гробов стирает
Последний титул их и след:
Слова ничтожные: *их нет!*

8 октября 1814

К КН. ВЯЗЕМСКОМУ И В. Л. ПУШКИНУ

Послание

Друзья, тот стихотворец — горе,
В ком без похвал восторга нет.
Хотеть, чтоб нас хвалил *весь свет,*
Не то же ли, что выпить море?

Презренью бросим тот венец,
Который *всем* дается светом;
Иная слава нам предметом,
Иной награды ждет певец.
Почто на Фебов дар священный
Так безрассудно клеветать?
Могу ль поверить, чтоб страдать
Певец, от музы вдохновенный,
Был должен боле, чем глупец,
Земли бесчувственный жилец,
С глухой и вялою душою,
Чем добровольной слепотою
Убивший всё, чем красен свет,
Завистник гения и славы?
Нет! жалобы твои неправы,
Друг Пушкин; счастлив, кто поэт;
Его блаженство прямо с неба;
Он им не делится с толпой:
Его судьи лишь чада Феба;
Ему ли с пламенной душой
Плоды святого вдохновенья
К ногам холодных повергать
И на коленах ожидать
От недостойных одобренья?
Один, среди песков, Мемнон,
Седя с возвышенной главою,
Молчит — лишь гордою стопою
Касается ко праху он;
Но лишь денницы появленье
Вдали восток воспламенит —
В восторге мрамор песнь гласит.
Таков поэт, друзья; презренье
В пыли таящимся душам!
Оставим их попрать стопам,
А взоры устремим к востоку.
Смотрите: неподвластный року
И находя в себе самом
Покой, и честь, и наслажденья,
Муж праведный прямым путем
Идет — и терпит ли гоненья,
Избавлен ли от них судьбой —
Он сходен там и тут с собой;

Он благ без примеси не просит —
Нет! в лучший мир он переносит
Надежды лучшие свои.
Так и поэт, друзья мои;
Поэзия есть добродетель;
Наш гений лучший нам свидетель.
Здесь славы чистой не найдем —
На что ж искать? Перенесем
Свои надежды в мир потомства...
Увы! Димитрия творец
Не отличил простых сердец
От хитрых, полных вероломства.
Зачем он свой сплетать венец
Давал завистникам с друзьями?
Пусть Дружба нежными перстами
Из лавров сей венец свила —
В них Зависть терния вплела;
И торжествует: растерзали
Их иглы славное чело —
Простым сердцам смертельно зло:
Певец угаснул от печали.
Ах! если б мог достигнуть глас
Участия и удивленья
К душе, не снесшей оскорбленья,
И усладить ее на час!
Чувствительность его сразила;
Чувствительность, которой сила
Моины душу создала,
Певцу погибелью была.
Потомство грозное, отмщенья!..
А нам, друзья, из отдаленья
Рассудок опытный велит
Смотреть на сцену, где гремит
Хвала — гул шумный и невнятный;
Подале от толпы судей!
Пока мы не смешались с ней,
Свобода друг нам благодатный;
Мы независимо, в тиши
Уютного уединенья,
Богаты ясностью души,
Поем для муз, для наслажденья,
Для сердца верного друзей;

Для нас все обольщенья славы!
Рука завистников-судей
Душеубийственной отравы
В ее сосуд не подольет,
И злобы крик к нам не дойдет.
Страшись к той славе прикоснуться,
Которою прельщает Свет —
Обвитый розами скелет;
Любуйся издали, поэт,
Чтобы вблизи не ужаснуться.
Внимай избранным судиям:
Их приговор зерцало нам;
Их одобренье нам награда,
А порицание ограда
От убивающия дар
Надменной мысли совершенства.
Хвала воспламеняет жар;
Но нам не в ней искать блаженства —
В труде... О благотворный труд,
Души печальныя целитель
И счастия животворитель!
Что пред тобой ничтожный суд
Толпы, в решениях пристрастной,
И ветреной, и разногласной?
И тот же Карамзин, друзья,
Разимый злобой, несраженный
И сладким лишь трудом блаженный,
Для нас пример и судия.
Спросите: для одной ли славы
Он вопрошает у веков,
Как были, как прошли державы,
И чадам подвиги отцов
На прахе древности являет?
Нет! он о славе забывает
В минуту славного труда;
Он беззаботно ждет суда
От современников правдивых,
Не замечая и лица
Завистников несправедливых.
И им не разорвать венца,
Который взяло дарованье;
Их злоба — им одним страданье.

Но пусть и очаруют свет —
Собою счастливый поэт,
Твори, будь тверд; их зданья ломки;
А за тебя дадут ответ
Необольстимые потомки.

16 октября 1814

ПОСЛАНИЯ К КН. ВЯЗЕМСКОМУ И В. Л. ПУШКИНУ

1

Милостивый государь Василий Львович и ваше сиятельство князь Петр Андреевич!

Вот прямо одолжили,
Друзья! вы и меня писать стихи взманили.
Посланья ваши — в добрый час сказать,
В худой же помолчать —
Прекрасные, и вам их грации внушили.
Но вы желаете херов,
И я хоть тысячу начеркать их готов,
Но только с тем, чтобы в зоилы
И самозванцы-судии
Меня не завели мои
Перо, бумага и чернилы.
Послушай, Пушкин друг, твой слог
отменно чист;
Грамматика тебя угодником считает,
И никогда твой вкус не ковыляет.
Но кажется, что ты подчас многоречист,
Что стихотворный жар твой мог бы быть живее,
А выражения короче и сильнее;
Еще же есть и то, что ты, мой друг, подчас
Предмет свой забываешь!
Твое «посланье» в том живой пример для нас.
Вначале ты *завистникам* пеняешь:
«Зоилы жить нам не дают! —
Так пишешь ты. — При них немеет дарованье,
От их гонения один певцу приют —
Молчанье!»

Потом ты говоришь: «И я любил писать;
Против нелепости глупцов вооружался;
Но гений мой и гнев напрасно истощался:
Не мог безумцев я унять!
Скорее бороды их оды вырастают,
И бритву критики лишь только притупляют;
Итак, пришлось молчать!»
Теперь скажи ж мне, что причиною молчанья
Должно быть для певца?
Гоненье ль зависти? Или *иносказанья,*
Иль оды пачкунов без смысла, без конца? ..
Но тут и все погрешности посланья;
На нем лишь пятнышко одно,
А не пятно.
Рассказ твой очень мил; он кстати, легок, ясен!
Конец прекрасен!
Воображение мое он так кольнул,
Что я, перед собой уж всех вас видя в сборе,
Разинул рот, чтобы в гремящем вашем хоре
Веселию кричать: *ура!* и протянул
Уж руку, не найду ль волшебного бокала.
Но, ах! моя рука поймала
Лишь *Друга юности и всяких лет!*
А вас, моих друзей, вина и счастья, нет! ..
Теперь ты, Вяземский, бесценный мой поэт,
Перед судилище явись с твоим «посланьем».
Мой друг, твои стихи блистают дарованьем,
Как дневный свет.
Характер в слоге твой есть точность выраженья,
Искусство — простоту с убранством соглашать,
Что должно в *двух словах,* то в двух словах сказать
И красками воображенья
Простую мысль для чувства рисовать!
К чему ж тебя твой дар влечет, еще не знаю,
Но уверяю,
Что Фебова *печать* на всех твоих стихах!
Ты в *песне* с легкостью порхаешь на цветах,
Ты Рифмина убить способен *эпиграммой,*
Но и высокое тебе не высоко,
Воображение с тобою не упрямо,

И для тебя летать за ним легко
По высотам и по лугам Парнаса.
Пиши! тогда скажу точней, какой твой род;
Но сомневаюся, чтоб лень, хромой урод,
Которая живет не для веков, для часа,
Тебе за «песенку» перелететь дала,
А много, много за «посланье».
Но кстати о посланье;
О нем ведь, помнится, в начале речь была.
Послание твое — *малютка,* но прекрасно,
И всё в нем коротко да ясно.
«У каждого свой вкус, свой суд и голос свой!»
Прелестный стих и точно твой.
«Язык их — брань; искусство —
Пристрастьем заглушать священной правды
чувство;
А Демон зависти — их мрачный Аполлон!»
Вот сила с точностью и скромной простотою!
Последний стих — огонь; над трепетной толпою
Глупцов, как метеор, ужасно светит он!
Но, друг, не правда ли, что здесь твое *потомство*
Не к смыслу привело, а к рифме *вероломство!*
Скажи, кто этому словцу отец и мать?
Известно: девственная *вера*
И буйственный глагол — *ломать.*
Смотри же, ни в одних стихах твоих примера
Такой ошибки нет. Вопрос:
О ком ты говоришь в посланье?
О глупых судиях, которых толкованье
Лишь *косо* потому, что их рассудок *кос.*
Где ж *вероломство* тут? Оно лишь там бывает,
Где на доверенность прекрасныя души
Предательством злодей коварный отвечает.
Хоть тысячу зоил пасквилей напиши,
Не *вероломным* свет хулителя признает,
Но злым *завистником* иль попросту глупцом.
Позволь же заклеймить хером
Твое мне *вероломство.*
«Не трогай! (ты кричишь) я вижу, ты хитрец;
Ты в этой тяжбе сам судья и сам истец;
Ты из моих стихов *потомство*
В свои стихи отмежевал,

А в утверждение из Фебова закона
Еще и добрую статейку приискал!
Не тронь! иль к самому престолу Аполлона
Я с апелляцией пойду
И вмиг с тобой процесс за рифму заведу!»
Мой друг, не горячись, отдай мне *вероломство;*
Грабитель ты, не я;
И ум — правдивый судия,
Не на твое, а на мое *потомство*
Ему быть рифмой дал приказ,
А Феб уж подписал и именной указ.
Поверь, я стою не укора,
А похвалы.
Вот доказательство: «как волны от скалы,
Оно несется вспять!» Такой стишок — умора.
А следующий стих, блистательный на взгляд:
«Чтó век зоила — день! век гения — потомство!»
Есть лишь бессмыслицы обманчивый наряд,
Есть настоящее рассудка *вероломство!*
Сначала обольстил и мой рассудок он;
Но... с нами буди Аполлон!
И словом, как глупец надменный,
На высоту честей Фортуной вознесенный,
Забыв свой низкий род,
Дивит других глупцов богатством и чинами,
Так точно этот стих-урод
Дивит невежество парадными словами;
Но мигом может *вкус* обманщика сразить,
Сказав *рассудку* в подтвержденье:
«Нельзя потомству веком быть!»
Но станется и то, что и мое решенье
Своим *«быть по сему»*
Скрепить бог Пинда не решится;
Да, признаюсь, и сам я рад бы ошибиться:
Люблю я этот стих наперекор уму.
Еще одно пустое замечанье:
«Укрывшихся веков» — нам укрываться страх
Велит; а *страха* нет в *веках.*
Итак, «укрывшихся» — в изгнанье;
«Не ведает врагов» — не *знает* о врагах —
Так точность строгая писать повелевает,

И муза точности закон принять должна,
Но лучше самого спроси Карамзина:
Кого не ведает или *о ком* не знает,
То самой точности точней он должен знать.
Вот всё, что о твоем посланье,
Прелестный мой поэт, я мог тебе сказать.
Чур не пенять на доброе желанье;
Когда ж ошибся я, беды в ошибке нет;
При этой критике есть и ответ:
Прочти и сделай замечанье.
А в заключение обоим вам совет:
«Когда завистников свести с ума хотите
И вытащить глупцов из тьмы на белый свет —
Пишите!»

13—16 октября 1814

2

На этой почте всё в стихах,
А низкой прозою ни слова.
Вот два посланья вам — обнова,
Которую для муз скроил я второпях.
Одно из них для вас, а не для света;
В нем просто критика, и запросто одета,
В простой, нестихотворный слог.
Другим я отвечать хотел вам на «посланья»,
В надежде заслужить рукоплесканья
От всех, кому знаком парнасский бог.
Но вижу, что меня попутала поспешность;
В моем послании великая погрешность;
Слог правилен и чист, но в этом славы нет:
При вас, друзья, писать нечистым слогом стыдно,
Но связи в нем не видно,
И видно, что спешил поэт!
Нет в мыслях полноты и нет соединенья,
А кое-где есть повторенья.
Но так и быть,
«Бедой своей ума мы можем прикупить!»
Так Дмитриев, пророк и вкуса и Парнаса,
Сказал давно,
И аксиомой быть для нас теперь должно:

«Что в час сотворено, то не живет и часа.
Лишь то, что писано с трудом, читать легко.
Кто хочет вдруг замчаться далеко,
Тот в хлопотах умчит и глупость за собою!
Спеши не торопясь, а твердою стопою,
И ни на шаг вперед,
Покуда тем, что *есть,* не сделался довольным,
Пока назад смотреть не смеешь с духом вольным,
Иначе от *задов переднее* умрет,
Или напишутся одни *иносказанья!»*
Простите. Ваши же «посланья»
Оставлю у себя, чтобы друзьям прочесть,
У вас их список есть;
К тому же Вяземский велит жить осторожно:
Он у меня свои стихи безбожно,
На время выпросив, на вечность удержал;
Прислать их обещал,
Но всё не присылает;
Когда ж пришлет,
Об этом знает тот,
Кто будущее знает.

Милостивые государи, имею честь пребыть вашим покорнейшим слугою В. Жуковский.

17 октября 1814

ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ

Послание

Когда летящие отвсюду шумны клики,
В один сливаясь глас, тебя зовут: великий!
Что скажет лирою незнаемый певец?
Дерзнет ли свой листок он в тот вплести венец,
Который для тебя вселенная сплетает? . .
О русский царь, прости! невольно увлекает
Могущая рука меня к мольбе в тот храм,
Где благодарностью возженный фимиам
Стеклися в дар принесть тебе народы мира —
И, радости полна, сама играет лира.

Кто славных дел твоих постигнет красоту?
С благоговением смотрю на высоту,
Которой ты достиг по тернам испытанья,
Когда, исполнены любви и упованья,
Мы шумною толпой тот окружали храм,
Где, верным быть царем клянясь творцу и нам,
Ты клал на страшный крест державную десницу
И плечи юные склонял под багряницу, —
Скажи, в сей важный час, где мысль твоя была?
Скажи, когда венец рука твоя брала,
Что мыслил ты, вблизи послышав клики славы,
А в отдалении внимая, как державы
Ниспровергала, враг земных народов, брань,
Как троны падали под хищникову длань?
Ужель при слухе сем душой не возмутился?
Нет! выше бурь земных ты ею возносился,
Очами твердыми сей ужас проницал,
И в сердце промысла судьбу свою читал.
Смиренно приступив к сосуду примиренья,
В себе весь свой народ ты в руку провиденья
С спокойной на него надеждой положил —
И соприсутственный тебя благословил!
Когда ж священный храм при громах растворился —
О, сколь пленителен ты нам тогда явился,
С младым, всех благостей исполненным лицем,
Под прародительским сияющий венцем,
Нам обреченный вождь ко счастию и славе!
Казалось, к пламенной в руке твоей державе
Тогда весь твой народ сердцами полетел;
Казалось, в ней обет души твоей горел,
С которым ты за нас перед алтарь явился —
О царь, благодарим: обет сей совершился...

И призванный тобой тебе не изменил.
Так! и на бедствия земные положил
Он светозарную печать благотворенья;
Ниспосылаемый им ангел разрушенья
Взрывает, как бразды, земные племена,
В них жизни свежие бросает семена —
И, обновленные, пышнее расцветают;
Как бури в зной поля, беды их возрождают;
Давно ль одряхший мир мы зрели в мертвом сне?

Там, в прорицающей паденье тишине,
Стояли царствия, как зданья обветшалы;
К дремоте преклоня главы свои усталы,
Цари сей грозный сон считали за покой;
И невнимательны, с беспечной слепотой,
В любви к отечеству, ко славе, к вере хладны,
Лишь к наслаждениям одной минуты жадны;
Под наклонившихся престолов царских тень,
Как в неприступную для бурь и бедствий сень,
Народы ликовать стекалися толпами...
И первый Лилий трон у галлов над главами
Вспылал, разверзнувшись как гибельный волкан.
С его дымящихся развалин великан,
Питомец ужасов, безвластия и брани,
Воздвигся, положил на скипетр тяжки длани,
И взорами на мир ужасно засверкал —
И пред страшилищем весь мир затрепетал.
Сказав: нет промысла! гигантскою стопою
Шагнул с престола он и следом за звездою
Помчался по земле во блеске и громах;
И промысл, утаясь, послал к нему свой Страх;
Он тенью грозною везде летел с ним рядом;
И, раздробляющий полки и грады взглядом,
Огромною рукой ту бездну покрывал,
К которой гордого путем успеха мчал.
Непобедимости мечтою ослепленный,
Он мыслил: «Мой престол престолом будь вселенны!
Порфиры всех царей земных я раздеру
И все их скипетры в одной руке сберу;
Народов бедствия — ступени мне ко счастью;
Всё, всё в развалины! на них воссяду с властью,
И буду царствовать, и мне соцарствуй Страх;
Исчезни всё опять, когда я буду прах,
Что из развалин брань и власть соорудила —
Бессмертною моя останется могила».
И, к человечеству презреньем ополчен,
На первый свой народ он двинул рабства плен,
Чтобы смелей сковать чужим народам длани, —
И стала Галлия сокровищницей брани;
Там всё, и сам Христов алтарь, взывало: брань!
Всё, раболепствуя мечтам тирана, дань
К его ужасному престолу приносило:

Оратай, на бразды склоняя взор унылой,
Грабителям свой плуг последний отдавал;
Убогий рубище им в жертву раздирал;
И мздой свою постель страданье выкупало;
И беспощадною косою подсекало
Самовластительство прекрасный цвет людей:
Чудовище, склонясь на колыбель детей,
Считало годы их кровавыми перстами;
Сыны в дому отцев минутными гостями
Являлись, чтобы там оставить скорби след —
И юность их была как на могиле цвет.
Всё поколение, для жатвы бранной зрея
И созидать себе грядущего не смея,
Невольно подвигов пленилося мечтой,
И бросилось на брань с отважной слепотой...
И вслед ему всяк час за ратью рать летела;
Стенящая земля в пожарах пламенела,
И, хитростью подрыт, изменой потрясен,
Добитый громами, за троном падал трон.
По ним свободы враг отважною стопою
За всемогуществом шагал от боя к бою;
От Реинских твердынь до Немана валов,
От Сциллы древния до Бельта берегов
Одна ужасная простерлася могила;
Всё смолкло... мрачная, с кровавым взором, Сила
На груде падших царств воссела, страж царей;
Пред сим страшилищем и доблесть прежних дней,
И к просвещенью жар, и помышленья славы,
И непорочные семей смиренных нравы —
Погибло всё; окрест один лишь стук оков
Смущал угрюмое молчание гробов,
Да ратей изредка шумели переходы,
Спешащих истребить еще приют свободы;
Унылость на сердца народов налегла —
Лишь Вера в тишине звезды своей ждала,
С святым терпением тяжелый крест лобзала
И взоры на восток с надеждой обращала...
И грозно возблистал спасенья страшный год!
За сей могилою народов цвел народ —
О царь наш, твой народ, — могущий и смиренный,
Не крепостью твердынь громовых огражденный,
Но верностью к царю и в славе тишиной.

Как юноша-атлет, всегда готовый в бой,
Смотрел на брани он с беспечностию силы...
Так, юные поджав, но опытные крылы,
На поднебесную глядит с гнезда орел...
И злобой на него губитель закипел.
В несметну рать столпя рабов ожесточенных,
И на полях, стопой врага не оскверненных,
Уж в мыслях сгромоздив престол всемирный свой,
Он кинулся на Русь свирепою войной...
О провидение! твоя Россия встала,
Твой ангел полетел, и брань твоя вспылала!
Кто, кто изобразит бессмертный оный час,
Когда, в молчании народном, царский глас
Послышался как весть надежды и спасенья?
О глас царя! о честь народа! пламень мщенья
Ударил молнией по вздрогнувшим сердцам;
Всё бранью вспыхнуло, всё кинулось к мечам,
И грозно в бой пошла с Насилием Свобода!
Тогда явилось всё величие народа,
Спасающего трон и святость алтарей,
И тихий гроб отцев, и колыбель детей,
И старцев седины, и младость дев цветущих,
И славу прежних лет, и славу лет грядущих.
Всё в пепел перед ним! разлей пожары, месть!
Стеною рать! что шаг, то бой! что бой, то честь!
Пред ним развалины и пепельны пустыни;
Кругом пустынь полки и грозные твердыни,
Везде ревущие погибельной грозой —
И старец-вождь средь них с невидимой судьбой!..
Холмы Бородина, дымитесь жертвой славы!..
Уже растерзанный, едва стопы кровавы
Таща по гибельным отмстителей следам,
Грядет, грядет слепец, Москва, к твоим стенам!
О радость!.. он вступил!.. зажгись, костер свободы!
Пылает!.. цепи в прах! воскресните, народы!
Ваш стыд и плен Москва, обрушась, погребла,
И в пепле мщения Свобода ожила,
И при сверкании кремлевского пожара,
С развалин вставшая, призрак ужасный, Кара
Пошла по трепетным губителя полкам,
И, ужас пригвоздив к надменным знаменам,
Над ними жалобно завыла: горе! горе!

И Глад, при клике сем, с отчаяньем во взоре,
Свирепый, бросился на ратных и вождей...
Тогда помчались вспять; и грудами костей,
И брошенными в прах потухшими громами
Означили свой след пред русскими полками;
И Неман льдистый мост для бегства их сковал...
Сколь нам величествен ты, царь, тогда предстал,
Сжимающий вождю, в виду полков, десницу,
И старца на свою ведущий колесницу,
Чтоб вкупе с ним лететь с отмщеньем вслед врагам.
О незабвенный час! За Неман знаменам
Уж отверзаешь путь властительной рукою...
Когда же двинулись дружины пред тобою,
Когда раздался стук помчавшихся громад
И грозно брег покрыл коней и ратных ряд,
Приосеняемых парящими орлами...
Сие величие окинувши очами,
Что ощутил, наш царь, тогда в душе своей?
Перед тобою мир под бременем цепей
Лежал, растерзанный, еще взывать не смея;
И Человечество, из-под стопы злодея
К тебе подъемля взор, молило им: гряди!
И, судия царей, потомство впереди
Вещало, сквозь века явив свой лик священный:
«Дерзай! и нареку тебя: Благословенный».
И в грозный между тем полки слиянны строй,
На всё готовые, с покорной тишиной
На твой смотрели взор и ждали мановенья.
А ты? .. Ты от небес молил благословенья...
И ангел их, гремя, на щит твой низлетел,
И гибелью врагам твой щит запламенел,
И руку ты простер... и двинулися рати.
Как к возвестителю небесной благодати,
Во сретенье тебе народы потекли,
И вайями твой путь смиренный облекли.
Приветственной толпой подвиглись веси, грады;
К тебе желания, к тебе сердца и взгляды;
Тебе несет дары от нивы селянин;
Зря бодрого тебя впреди твоих дружин,
К мечу от костыля безногий воин рвется;
Младая старику во грудь надежда льется:
«Свободен, мнит, сойду в свободный гроб отцов!»

И смотрит, не страшась, на зреющих сынов.
И ты средь плесков сих — не гордый победитель,
Но воли промысла смиренный совершитель —
Шел тихий, благостью великость украшал;
Блеск утешительный окрест тебя сиял,
И лик твой ясен был, как ясный лик надежды.
И вождь наш смертию окованные вежды
Подъял с усилием, чтобы на славный путь,
В который ты вступал уже не с ним, взглянуть,
И, угасая, дать царю благословенье.
Сколь сладостно его с землею разлученье!
Когда, в последний час, он рать тебе вручал
И ослабевшею рукою прижимал
К немеющей груди царя и друга руку —
О! в сей великий час забыл он смерти муку;
Пред ним был тайный свет грядущего открыт;
Он весело приник сединами на щит,
И смерть его крылом надежды осенила.
И чуждый вождь — увы! — судьба его щадила,
Чтоб первой жертвой он на битве правды пал —
Наш царь, узнав тебя, на смерть он не роптал;
Ты руку падшему как брат простер средь боя;
И сердцу верному венчанного героя,
Смягчившего слезой его с концем борьбу,
Он смело завещал отечества судьбу...
И лишь горе́ взлетел орел наш двоеглавый,
Лишь крикнул голосом давно молчавшей славы,
Как всколебалися тевтонов племена!
К ним Герман с норда нес свободы знамена —
И всё помчалось в строй под знамена свободы;
В одну слиялись грудь воскресшие народы,
И всех царей рука, наш царь, в руке твоей
На жизнь, на смерть, на брань, на честь грядущих дней.
О славный Кульмский бой! о доблесть славянина!
Вотще на них рвались все рати исполина,
Вотще за громом гром на строй их налетал —
Всё опрокинуто, и русский устоял.
И строем роковым отмстителей дружины
Уж приближаются к святилищу судьбины;
Уж видят тот рубеж, ту цель, к которой вел
Их неиспытанный по темной бездне зол,

В пылающей грозе носясь над их главою
И тяжкой опыта их бременя рукою;
Се место, где себя во правде он явит;
Се то судилище, где миг один решит:
Не быть иль быть царям; восстать иль пасть
вселенной.
И все в собрании... о час, векам священной!..
Народы всех племен, и всех племен цари,
Под сению знамен святые алтари,
Несметный ряд полков, вожди перед полками,
И громы впереди с подъятыми крылами,
И на холме, в броне, на грозный щит склонен,
Союза мстителей младой Агамемнон,
И тени всех веков внимательной толпою
Над светозарною вождя царей главою...
И в ожидании священном всё молчит...
И тихо мгла еще на небе том лежит,
Отколь с грядущим днем изыдет вседержитель...
И загорелся день... Бог грянул... пал губитель!
Бегут — во прах и гром, и шлем, и меч, и щит,
Впреди, в тылу, с боков и рядом Страх бежит
И жадною рукой Погибель их хватает;
И небо тихое торжественно сияет
Над преклоненною отмстителей главой;
Победная хвала летит из строя в строй,
И Реин восплескал, послышав ликованья...
О старец вод! о ты, с минуты мирозданья
Не зревший на брегу еще лица славян, —
Ликуй и отражай в волнах славянский стан!
И погрузился крест при громах в древни воды;
И Реин, обновлен, потек в брегах свободы,
И заиграл на них веселья звонкий рог;
И быстро ворвались полки в тот страшный лог,
Где, кроясь, хищник царств ковал им цепи плена.
Вотще, вотще воздвиг он черные знамена —
Лишь весть погибели он с ними водрузил;
Гром русский берега Секваны огласил —
И над Парижем стал орел Москвы и мщенья!..
Тогда, внезапного исполнен изумленья,
Узрел величие невиданное свет:
О Русская земля! спасителем грядет
Твой царь к низринувшим царей твоих столицу;

Он распростер на них пощады багряницу;
И мирно, славу скрыв, без блеска, без громов,
По стогнам радостным ряды его полков
Идут — и тишина вослед им прилетает...
Хвала! хвала, наш царь! стыдливо отклоняет
Рука твоя побед торжественный венец!
Ты предстоишь благий семьи врагов отец,
И первый их с землей и с небом примиритель.
О незабвенный день! смотрите — победитель,
С обезоруженным от ужаса челом,
Коленопреклонен, на страшном месте том,
Где царский мученик под острием секиры,
В виду разорванной отцев своих порфиры,
Молил всевышнего за бедный свой народ,
Где на дымящийся убийством эшафот
Злодейство бледную Свободу возводило,
И бога поразить своей хулою мнило, —
На страшном месте том смиренный вождь царей
Пред миротворною святыней алтарей
Велит своим полкам склонить знамена мщенья
И жертву небесам приносит очищенья.
Простерлись все во прах; все вкупе слезы льют;
И се! .. подъемлется спасения сосуд...
И звучно грянуло: воскреснул искупитель!
И побежденному лобзанье победитель,
Как брат по божеству, в виду небес дает...
Свершилось! .. освящен испытанный народ,
И гордо по зыбям потек от Альбиона
Спасительный корабль, несущий кровь Бурбона;
Питомец бедствия на трон отцев грядет,
И старцу братскую десницу подает
Победоносный друг в залог любви и мира,
И Людовикова наброшена порфира
На преступления минувших страшных лет! ..
Свершилось... русский царь! отечество и свет
Уже рекли свой суд делам неизреченным,
И свой дадут ответ потомки современным! ..
Богатый чувством благ, содеянных тобой,
И с неприступною для почестей душой,
Сияние сокрыв, ты в путь летишь желанной —
Отчизна сына ждет! об ней средь бури бранной,
Об ней среди торжеств и плесков ты скорбел,

И ты невидимый чрез земли полетел,
Где во спасение твои промчались громы.
Уж всюду запевал свободы глас знакомый:
На оживающих под плугами полях,
На виноградником украшенных холмах,
На градских торжищах, кипящих от народа,
На самом прахе сел... везде, везде свобода,
Везде обилие, надежда и покой...
И всё сие, наш царь, дано земле тобой.
Но что ж ты ощутил, когда твой взор веселый
Завидел вдалеке отечески пределы
И ветер, веющий из-под родных небес,
Ко слуху твоему глас родины принес?
Что ощутил, когда святого Петрограда
Вдали перед тобой возникнула громада?
Когда пред матерью колено преклонил;
Когда, свершивший всё, ко храму приступил,
Где освященный меч приял на совершенье,
Где, истребителя начавший истребленье,
Предтеча в славе твой, герой спасенья спит?..
Россия, он грядет; уже алтарь горит;
Уже его принять отверзлись двери храма,
Уж благодарное куренье фимиама
С сердцами за него взлетело к небесам!
И се!.. приникнувший к престола ступеням
Во прах пред божеством свою бросает славу!..
О вечный! осени смиренного державу;
Его душа чиста: в ней благость лишь одна,
Лишь пламенем к добру она воспалена...

Отважною вступить дерзаю, царь, мечтою
В чертог священный твой, где ты один с собою,
Один, в тот мирный час, когда лежит покой
Над скромных жребием беспечною главой,
Когда лишь бодрствуют цари и провиденье.
О царь! в сей важный час — когда Нева в теченье
Объемлет пред тобой тот усыпленный храм,
Где свой бессмертный след, свой прах оставил нам
Твой праотец, наш Петр, царей земных учитель, —
Я зрю тебя, племен несметных повелитель,
Сей окруженного всемирной тишиной,
Над полвселенною парящего душой,

Где всё твое, где ты над всех судьбою властен,
Где ты один всех благ, один всех бед причастен,
Уполномоченный от неба судия —
О, сколь божественна в сей час душа твоя!
Сей полный взор любви, сей взор воспламененной —
За нас он возведен к правителю вселенной;
За нас ты предстоишь как жертва перед ним;
Отечество, внимай: «Творец, все блага им!
Не за величие, не за венец ужасный —
За власть благотворить, удел царей прекрасный,
Склоняю, царь земли, колена пред тобой,
Бесстрашный под твоей незримою рукой,
Твоих намерений над ними совершитель! . .
Покойся, мой народ, не дремлет твой хранитель;
Так, *мой* народ! Творец, он весь в душе моей,
На удивление народов и царей,
Его могуществом и счастием прославлю,
И трон свой алтарем любви ему поставлю;
Как небо, над моей простертое главой,
Где звезд бесчисленных ненарушимый строй,
Так стройно будь мое владычество земное.
Правленье божества зерцало мне святое:
Всё здесь для блага будь, как всё для блага там!
А ты, дарующий и трон и власть царям,
Ты, на совете их седящий благодатью,
Ознаменуй твоей дела мои печатью:
Да имя чистое в наследие векам
С примером благости и славы передам,
Отец моей семьи и друг твоей вселенны! . .»
Вонми ж и ты своей семье, Благословенный!
Оставь на время твой великолепный трон —
Хвалой неверною трон царский окружен, —
Сокрой свой царский блеск, втеснись без украшенья,
Один, в толпу, и там внимай благословенья.
В чертоге, в хижине, везде один язык:
На праздниках семей украшенный твой лик —
Ликующих родных родной благотворитель —
Стоит на пиршеском столе веселья зритель,
И чаша первая и первый гимн тебе;
Цветущий юноша благодарит судьбе,
Что в твой прекрасный век он к жизни приступает,
И славой для него грядущее пылает;

Старик свой взор на гроб боится устремить
И смерть поспешную он молит погодить,
Чтоб жизни лучший цвет расцвел перед могилой;
И воин, в тишине, своею гордый силой,
Пенатам посвятив изрубленный свой щит,
Друзьям о битвах тех с весельем говорит,
В которых зрел тебя, всегда в кипящей сече,
Всегда под свистом стрел, везде побед предтечей;
На лиру с гордостью подъемлет взор певец. . .
О дивный век, когда певец царя — не льстец,
Когда хвала — восторг, глас лиры — глас народа,
Когда всё сладкое для сердца: честь, свобода,
Великость, слава, мир, отечество, алтарь —
Всё, всё слилось в одно святое слово: царь.
И кто не закипит восторгом песнопенья,
Когда и Нищета под кровлею забвенья
Последний бедный лепт за лик твой отдает,
И он, как друга тень, отрадный свет лиет
Немым присутствием в обители страданья!
Пусть облечет во власть святой обряд венчанья,
Пусть верности обет, отечество и честь
Велят нам за царя на жертву жизнь принесть —
От подданных царю коленопреклоненье;
Но дань свободная, дань сердца — уваженье,
Не власти, не венцу, но человеку дань.
О царь, не скипетром блистающая длань,
Не прахом праотцев дарованная сила
Тебе любовь твоих народов покорила,
Но трона красота — великая душа.
Бессмертные дела смиренно соверша,
Воззри на твой народ, простертый пред тобою,
Благослови его державною рукою;
Тобою предводим, со славой перешед
Указанный творцом путь опыта и бед,
Преобразованный, исполнен жизни новой,
По манию царя на всё, на всё готовый —
Доверенность, любовь и благодарность он
С надеждой перед твой приносит царский трон.
Предстатель за царей народ у провиденья.
О! наши к небесам дойдут благословенья:
Поверь народу, царь, им будешь счастлив ты.
Поставивший тебя в сем блеске красоты

Перед ужасною погибели пучиной,
Победоносного над грозною судьбиной —
Ужель на краткий миг он нам тебя явил?
О нет! он наших зол печатью утвердил
Завет: хранить в тебе все блага, нам священны —
И не обманет нас от века неизменный.
Прими ж, в виду небес, свободный наш обет:
За благость царскую, краснейшую побед,
За то величие, в каком явил ты миру
Столь древле славную отцев твоих порфиру,
За веру в страшный час к народу твоему,
За имя, данное на все века ему, —
Здесь, окружая твой престол, Благословенной,
Подъемлем руку все к руке твоей священной;
Как пред ужасною святыней алтаря
Обет наш перед ней: всё в жертву за царя.

14—23 ноября 1814

ТЕОН И ЭСХИН

Эсхин возвращался к Пенатам своим,
К брегам благовонным Алфея.
Он долго по свету за счастьем бродил —
Но счастье, как тень, убегало,

И роскошь, и слава, и Вакх, и Эрот —
Лишь сердце они изнурили;
Цвет жизни был сорван; увяла душа;
В ней скука сменила надежду.

Уж взорам его тихоструйный Алфей
В цветущих брегах открывался;
Пред ним оживились минувшие дни,
Давно улетевшая младость. . .

Всё те ж берега, и поля, и холмы,
И то же прекрасное небо;
Но где ж озарявшая некогда их
Волшебным сияньем Надежда?

Жилища Теонова ищет Эсхин.
Теон, при домашних Пенатах,
В желаниях скромный, без пышных надежд,
Остался на бреге Алфея.

Близ места, где в море втекает Алфей,
Под сенью олив и платанов,
Смиренную хижину видит Эсхин —
То было жилище Теона.

С безоблачных солнце сходило небес,
И тихое море горело;
На хижину сыпался розовый блеск,
И мирты окрестны алели.

Из белого мрамора гроб невдали,
Обсаженный миртами, зрелся;
Душистые розы и гибкий ясмин
Ветвями над ним соплетались.

На праге сидел в размышленьи Теон,
Смотря на багряное море, —
Вдруг видит Эсхина и вмиг узнает
Сопутника юныя жизни.

«Да благостно взглянет хранитель Зевес
На мирный возврат твой к Пенатам!» —
С блистающим радостью взором Теон
Сказал, обнимая Эсхина.

И взгляд на него любопытный вперил —
Лицо его скорбно и мрачно.
На друга внимательно смотрит Эсхин —
Взор друга прискорбен, но ясен.

«Когда я с тобой разлучался, Теон,
Надежда сулила мне счастье;
Но опыт иное мне в жизни явил:
Надежда — лукавый предатель.

Скажи, о Теон, твой задумчивый взгляд
Не ту же ль судьбу возвещает?
Ужель и тебя посетила печаль
При мирных домашних Пенатах?»

Теон указал, воздыхая, на гроб. . .
«Эсхин, вот безмолвный свидетель,
Что боги для счастья послали нам жизнь —
Но с нею печаль неразлучна.

О нет, не ропщу на Зевесов закон:
И жизнь и вселенна прекрасны.
Не в радостях быстрых, не в ложных мечтах
Я видел земное блаженство.

Что может разрушить в минуту судьба,
Эсхин, то на свете не наше;
Но сердца нетленные блага: любовь
И сладость возвышенных мыслей —

Вот счастье; о друг мой, оно не мечта.
Эсхин, я любил и был счастлив;
Любовью моя освятилась душа,
И жизнь в красоте мне предстала.

При блеске возвышенных мыслей я зрел
Яснее великость творенья;
Я верил, что путь мой лежит по земле
К прекрасной, возвышенной цели.

Увы! я любил. . . и ее уже нет!
Но счастье, вдвоем столь живое,
Навеки ль исчезло? И прежние дни
Вотще ли столь были прелестны?

О нет, никогда не погибнет их след;
Для сердца прошедшее вечно.
Страданье в разлуке есть та же любовь;
Над сердцем утрата бессильна.

И скорбь о погибшем не есть ли, Эсхин,
Обет неизменной надежды:
Что где-то в знакомой, но тайной стране
Погибшее нам возвратится?

Кто раз полюбил, тот на свете, мой друг,
Уже одиноким не будет...
Ах! свет, где *она* предо мною цвела, —
Он тот же: всё *ею* он полон.

По той же дороге стремлюся один
И к той же возвышенной цели,
К которой так бодро стремился вдвоем, —
Сих уз не разрушит могила.

Сей мыслью высокой украшена жизнь;
Я взором смотрю благодарным
На землю, где столько рассыпано благ,
На полное славы творенье.

Спокойно смотрю я с земли рубежа
На сторону лучшия жизни;
Сей сладкой надеждою мир озарен,
Как небо сияньем Авроры.

С сей сладкой надеждой я выше судьбы,
И жизнь мне земная священна;
При мысли великой, что *я человек,*
Всегда возвышаюсь душою.

А этот безмолвный, таинственный гроб...
О друг мой, он верный свидетель,
Что лучшее в жизни еще впереди,
Что *верно* желанное будет;

Сей гроб — затворенная к счастию дверь;
Отворится... жду и надеюсь!
За ним ожидает сопутник меня,
На миг мне явившийся в жизни.

О друг мой, искав изменяющих благ,
Искав наслаждений минутных,
Ты верные блага утратил свои —
Ты жизнь презирать научился.

С сим гибельным чувством ужасен и свет;
Дай руку: близ верного друга
С природой и жизнью опять примирись;
О! верь мне, прекрасна вселенна.

Всё небо нам дало, мой друг, с бытием:
Всё в жизни к великому средство;
И горесть и радость — всё к цели одной:
Хвала жизнедавцу Зевесу!»

1—11 декабря 1814

ПЛАЧ О ПИНДАРЕ

Быль

Однажды наш поэт Пестов,
Неутомимый ткач стихов
И Аполлонов жрец упрямый,
С какою-то ученой дамой
Сидел, о рифмах рассуждал,
Свои творенья величал,
Лишь древних сравнивал с собою
И вздор свой клюковной водою,
Кобенясь в креслах, запивал.
Коснулось до Пиндара слово.
Друзья! хотя совсем не ново,
Что славный был Пиндар поэт
И что он умер в тридцать лет,
Но им Пиндара жалко стало!
Пиндар великий! Грек! Певец!
Пиндар, высоких од творец!
Пиндар, каких и не бывало,
Который мог бы мало-мало
Еще не том, не три, не пять,
А десять томов написать, —
Зачем так рано он скончался?

Зачем еще он не остался
Пожить, попеть и побренчать?
С печали дама зарыдала,
С печали зарыдал поэт —
За что, за что судьба сослала
Пиндара к Стиксу в тридцать лет!
Лакей с метлою тут случился,
В слезах их видя, прослезился;
И в детской нянька стала выть;
Заплакал с нянькою ребенок;
Заплакал повар, поваренок;
Буфетчик, бросив чашки мыть,
Заголосил при самоваре;
В конюшне конюх зарыдал, —
И, словом, целый дом стенал
О песнопевце, о Пиндаре!
Да признаюся вам, друзья,
Едва и сам не плачу я.
Что ж вышло? Все так громко выли,
Что всё соседство взгомозили!
Один сосед к ним второпях
Бежит и вопит: «Что случилось?
О чем вы все в таких слезах?»
Пред ним всё горе объяснилось
В немногих жалобных словах.
«Да что за человек чудесной?
Откуда родом ваш Пиндар?
Каких он лет был? молод? стар?
И что об нем еще известно?
Какого чину? где служил?
Женат был? вдов? хотел жениться?
Чем умер? кто его лечил?
Имел ли время причаститься,
Иль вдруг свалил его удар?
И словом — кто таков Пиндар?»
Когда ж узнал он из ответа,
Что всё несчастье от поэта,
Который между греков жил,
Который в славны древни годы
Певал на ска́чки греков оды,
Не католи́к, язычник был;
Что одами его пленялся,

Не понимая их, весь свет,
Что более трех тысяч лет,
Как он во младости скончался, —
Поджав бока свои, сосед
Смеяться начал, и смеяться
Так, что от смеха надорваться!
И смотрим: за соседом вслед
Все — кучер, повар, поваренок,
Буфетчик, нянька и ребенок,
Лакей с метлой, и сам поэт,
И дама — взапуски смеяться!
И хоть я рад бы удержаться,
Но признаюся вам, друзья,
Смеюсь за ними вслед и я!

20 декабря 1814

К ВОЕЙКОВУ

О Воейков! Видно, нам
    Помышлять об исправленье!
Если должно верить снам,
    Скоро Пиндо-преставленье,
Скоро должно наступить!
    Скоро, предлетящим громам,
Аполлон придет судить
    По стихам, а не по томам.

Нам известно с древних лет,
    Сны, чудовища, явленья
Грозно-пламенных комет
    Предвещали измененья
В муравейнике земном!
    И всегда бывали правы
Сны в пророчестве своем.
    В мире Феба те ж уставы!

Тьма страшилищ меж стихов!
    Тьма чудес... дрожу от страху!
Зрел оберткой пирогов
    Я недавно Андромаху;

Зрел, как некий Асмодей
Мазал, вид приняв лакея,
Грозной кистию своей
На заклейку окон Грея!

Зрел недавно, как Пиндар,
В воду огнь свой обративший,
Затушил в Москве пожар,
Всю дожечь ее грозивший!
Зрел, как Сафу бил голик,
Как Расин кряхтел под тестом;
Зрел окутанный парик
И Электрой и Орестом!

Зрел в ночи, как в высоте
Кто-то, грозный и унылый,
Избоченясь на коте
Ехал рысью — в шуйце вилы,
А в деснице грозный *Ик;*
По-славянски кот мяукал,
А внимающий старик
В такт с усмешкой Иком стукал!

Сей скакун по небесам
Прокатился метеором;
Вдруг отверзтый вижу храм,
И к нему идут собором
Феб и музы. . . Что ж? О страх!
Феб — в ужасных рукавицах,
В русской шапке и котах;
Кички на его сестрицах!

Старика ввели во храм,
При печальных Смехов ликах
В стихарях Амуры там
И Хариты в черевиках!
На престоле золотом
Старина сидит в овчине:
Одесную Вкус с бельмом,
Простофиля и разиня!

И как будто близ жены,
    Поручив кота Эроту,
Сел старик близ Старины,
    Силясь скрыть свою перхоту.
И в гудок для пришлеца
    Феб ударил с важным тоном,
И пустились *голубца*
    Мельпомена с Купидоном!

Важно бил каданс старик
    И подмигивал старушке́;
И его державный *Ик*
    Перед ним лежал в кадушке.
Тут к престолу подошли
    Стихотворцы для присяги;
Те подмышками несли
    Расписные с квасом фляги;

Тот тащил кису морщин,
    Тот прабабушкину мушку,
Тот старинных слов кувшин,
    Тот *кавык* и *юсов* кружку,
Тот перину из бород,
    Древле бритых в Петрограде;
Тот славянский перевод
    Басен Дмитрева в окладе.

Все, воззрев на Старину,
    Персты вверх и, ставши рядом:
«Брань и смерть Карамзину! —
    Грянули, сверкая взглядом. —
Зубы грешнику порвем,
    Осрамим хребет строптивый!
Зад во утро избием,
    Нам обиды сотворивый!»

Вздрогнул я. Призрак исчез...
    Что ж всё это предвещает?
Ах, мой друг, то глас небес!
    Полно медлить! Наступает
Аполлонов страшный суд,
    Дни последние Парнаса!

Нас богини мщенья ждут!
    Полно мучить нам Пегаса!

Не покаяться ли нам
    В прегрешеньях потаенных?
Если верить старикам,
    Муки Фебом осужденных
Неописанные, друг!
    Поспешим же покаяньем,
Чтоб и нам за рифмы — крюк
    Не был в аде воздаяньем.

Мук там бездна! .. Вот Хлыстов
    Меж огромными ушами,
Как Тантал среди плодов,
    С непрочтенными стихами.
Хочет их читать ушам,
    Но лишь губы шевельнутся,
Чтобы дать пройти стихам, —
    Уши разом все свернутся!

Вот на плечи стих взгрузив,
    На гору его волочит
Пустопузов, как Сизиф;
    Бьется, силится, хлопочет,
На верху горы вдовец —
    Стих другой — торчит маяком;
Вот уж близко! вот конец!
    Вот дополз — и книзу раком! ..

Вот Груздочкин-траголюб
    Убирает лоб в морщины
И хитоном свой тулуп,
    В угожденье Прозерпины,
Величает невпопад.
    Но хвастливость не у места:
Всех смешит его наряд,
    Даже Фурий и Ореста!

Полон треску и огня
    И на смысл весьма убогий,
Вот на чахлого коня
    Лезет Шлих коротконогий.

Лишь уселся, конь распух,
    Ножки врозь — нет сил держаться;
Конь галопом; рыцарь — бух!
    Снова лезет, чтоб сорваться! . .

Ах! покаемся, мой друг!
    Исповедь — пол-исправленья!
Мы достойны этих мук!
    Я за ведьм, за привиденья,
За чертей, за мертвецов;
    Ты ж за то, что в переводе
Очутился из Садов
    Под капустой в огороде! . .

21 декабря 1814

МАКСИМ

Скажу вам сказку в добрый час!
Друзья, извольте все собраться!
Я рассмешу, наверно, вас —
Как скоро станете смеяться.

Жил-был Максим, он был неглуп;
Прекрасен так, что заглядеться!
Всегда он надевал тулуп —
Когда в тулуп хотел одеться.

Имел он очень скромный вид;
Был вежлив, не любил гордиться;
И лишь тогда бывал сердит —
Когда случалось рассердиться.

Максим за пятерых едал,
И более всего окрошку;
И рот уж, верно, раскрывал —
Когда в него совал он ложку.

Он был кухмистер, господа,
Такой, каких на свете мало, —
И без яиц уж никогда
Его яишниц не бывало.

Красавиц восхищал Максим
Губами пухлыми своими;
Они бывало все за ним —
Когда гулял он перед ними.

Максим жениться рассудил,
Чтоб быть при случае рогатым;
Но он до тех пор холост был —
Пока не сделался женатым.

Осьмое чудо был Максим
В оригинале и в портрете;
Никто б не мог сравниться с ним —
Когда б он был один на свете.

Максим талантами блистал
И просвещения дарами;
И вечно прозой сочинял —
Когда не сочинял стихами.

Он жизнь свободную любил,
В деревню часто удалялся;
Когда же он в деревне жил —
То в городе не попадался.

Всегда учтивость сохранял,
Был обхождения простова;
Когда он в обществе молчал —
Тогда не говорил ни слова.

Он бегло по складам читал,
Читая, шевелил губами;
Когда же книгу в руки брал —
То вечно брал ее руками.

Однажды бодро поскакал
Он на коне по карусели,
И тут себя он показал —
Всем тем, кто на него смотрели.

Ни от кого не трепетал,
А к трусости не знал и следу;

И вечно тех он побеждал —
Над кем одерживал победу.

Он жив еще и проживет
На свете, сколько сам рассудит;
Когда ж, друзья, Максим умрет —
Тогда он, верно, жив не будет.

1814

АРЕОПАГУ

С моею музою смиренной
Я преклоняюсь пред тобой,
О мой Ареопаг священной!
Публичный обвинитель твой,
Малютка Батюшков, гигант по дарованью,
Уж суд твой моему Посланью
В Парнасский протокол вписал
За скрепой Аполлона,
И я к подножию божественного трона
С повинной головой предстал,
С поправками Посланья
И парой слов для оправданья!
Прошу, да пред него и Аристарх-певец
С своею критикой предстанет,
И да небесный Феб, по Пинду наш отец,
На наше прение не гневным взором взглянет!
Да что ж о плане ты, мой грозный судия,
Ни слова не сказал? О, страшное молчанье!
Им муза робкая оглушена моя!
И ей теперь мое Посланье
Уродом кажется под маской красоты!
Злодей! молчанием сказал мне больше ты
Один, чем критиков крикливое собранье
Разбора строгого шумящею грозой!
Но так и быть! перед тобой
Все тайные ошибки!
О чем молчишь — о том и я хочу молчать! . .
Чтоб безошибочно, мой милый друг, писать,
На то талант твой нужен гибкий!

Дерзнет ли свой листок он в тот вплести венец?
Ужасный стих! так ты воскликнул, мой певец!
И музы все с тобой согласны!
Да я и сам кричу, наморщившись: *ужасный!*
Вотще жую перо, вотще молюсь богам,
Чтоб от сего стиха очистили Посланье!
Напрасное пера несчастного жеванье,
Напрасные мольбы — поправь его ты сам!
Не можешь? Пусть живет векам на посмеянье!
Кто славы твоея опишет красоту?
Ты прав! *опишет* — вздор, написанный водою,
А *твоея* — урод! Готов одной чертою
Убить сей стих! Но, друг! смиренную чету
Двух добрых рифм кто разлучить решится?
Да, может быть, моя поправка пригодится:
Кто славных дел твоих постигнет красоту? —
Не лучше ли? Прими ж, мой друг, сию поправку,
А прежний вздорный стих в отставку!
Что далее? .. Увы! я слышу не впервой,
Что стих: *Дробила над главой*
Земных народов брань, и что ж еще: *державы!* —
Смешной и темный стих! Быть может, бес
лукавый,
Моих баллад герой,
Сшутил таким стишком коварно надо мной.
Над искусителем себя мы позабавим
Балладой новою, а стих хоть так поправим:
Ниспровергала, враг земных народов, брань! ..
Нет! выше бурь венца... Ты здесь, мой друг,
в сомненье,
Но *бури жизни* есть для всякого певца
Не запрещенное от Феба выраженье!
А *бурь земных,* мой друг, чем лучше *бурь венца?*
Итак, сомнение приняв за одобренье,
Я с *бурями венца* отважно остаюсь —
Спокойно верю твоему сомненью,
Сижу на берегу с моей подругой ленью
И бурям критики смеюсь.
Другой же стих — твоя, а не моя погрешность;
Затмила, кажется, рассудок твой поспешность:
Ведь *невнимательных царей*
В Посланьи нет! лишь ты, по милости своей,

Был невнимательный читатель;
А может быть, и то, что мой переписатель
Царей не отделил
От их народов запятою
И так одной пера чертою
Земной порядок помутил.
Итак — здесь виноват не я, а запятая,
И критика твоя — косая.
Под наклонившихся престолов царских сень
Народы ликовать стекалися толпами.
По мненью твоему, туман.
Прости! но с критикой твоей я несогласен,
И в этих двух стихах смысл, кажется мне, ясен!
Зато другие два, как шумный барабан,
Рассудку чуждые, лишь только над ушами
Господствуют: *мой трон, у Галлов над главами*
Разгрянувшись...
Своими странными кусками
Подобен сухарю и так же сух, как он.
Словечко *вспыхнул* мне своею быстротою
Понравилось — винюсь, смиряясь пред тобою,
И робкою пишу рукою:
Вспылал, разверзнувшись, как гибельный волкан.
Но чем же странен великан,
С развалин пламенных ужасными очами
Сверкающий на бледный свет? —
Тут, право, милый друг, карикатуры нет!
Вот ты б, малютка, был карикатура,
Когда бы мелкая твоя фигура
Задумала с развалин встать
И на вселенну посверкать.
А тень огромная свирепого тирана...
Нет... Я горой за великана!
Зато, мой друг, при сих забавных трех стихах
Пред критикой твоей бросаю лирой в прах
И рад хоть казачка плясать над их могилой:
Там всё...
И вот как этот вздор поправил Феб мой хилой:
Там всё — и весь, и град, и храм — взывало:
брань!
Всё, раболепствуя мечтам тирана, дань
К его ужасному престолу приносило...

Поправка — но вопрос, удачна ли она?
И мздой свою постель страданье выкупало!
Конечно, здесь твой вкус надменный испугало
Словечко бедное: *постель?* Постель бедна
Для пышности стихов — не спорю я нимало;
Но если муза скажет нам:
И мздой свой бедный одр страданье выкупало, —
Такой стишок ее понравится ль ушам?
Как быть! но мой припев: поправь как хочешь сам!
И дай вздохнуть моей смиренной лени —
Тем боле, что твои совсем некстати пени —
За этот добрый стих, в котором смысла нет;
И юность их была как на могиле цвет!
Здесь свежесть юная и блеск цветочка милый
Противоположе́н унынию могилы;
На гробе расцветя, цветок своей красой
Нам о ничтожности сильней напоминает:
Не украшает он, а только обнажает
Пред нами ужас гробовой.
И гроба гость, цветок — симво́л для нас унылый,
Что всё живет здесь миг, и для одной могилы...
И хитростью...
Мой друг, я не коснусь до первых двух стихов!
В них вся политика видна Наполеона!
И всем известно нам, что, неизбежный ков
Измены, хитрости расставивши близ трона,
Лишь только *добивал* его громами он.
Не будь Наполеон —
Разбитый громами охотно б я поставил!
Последние ж стихи смиренно я поправил,
А может быть, еще поправкой и *добил:*
По ним свободы враг, отважною стопою,
За всемогуществом шагал от боя к бою!
Что скажешь? угодил? —
А следующий стих, на *ратей переходы*
Служащий рифмою, я так переменил:
Спешащих раздробить еще престол свободы.
Еще трем карачун; их смуглый мой Зоил
Воейков на смерть приговорил:
И вслед ему всяк час за ратью рать летела —
И по следам его на место: *вслед всяк час*
Поставить рожица мне смуглая велела!

И я исполнил сей приказ!
Уж указуешь путь державною рукою —
Приказано писать: *Уж отверзаешь путь.*
Перед тобой весь мир — писать: *перед тобою*
Мир. Весь же зачеркнуть...
Еще на многие стихи он покосился,
Да я не согласился.

Вторая половина декабря 1814 — январь 1815

МЛАДЕНЕЦ

(В альбом графини О. П.)

В бурю, в легком челноке,
Окруженный тучи мглою,
Плыл младенец по реке,
И несло челнок волною.

Буря вкруг него кипит,
Челн ужасно колыхает —
Беззаботно он сидит
И веслом своим играет.

Волны плещут на челнок —
Он веселыми глазами
Смотрит, бросив в них цветок,
Как цветок кружит волнами.

Челн, ударясь у брегов
Об утесы, развалился,
И на бреге меж цветов
Мореходец очутился.

Челн забыт... а гибель, страх?
Их невинность и не знает.
Улыбаясь, на цветах
Мой младенец засыпает.

Вот пример! Беспечно в свет!
Пусть гроза, пускай волненье;

Нам погибели здесь нет;
Правит челн наш провиденье.

Здесь стезя твоя верна;
Меньше, чем другим, опасна;
Жизнь красой души красна,
А твоя душа прекрасна.

Январь—март 1815

СЛАВЯНКА

Элегия

Славянка тихая, сколь ток приятен твой,
Когда, в осенний день, в твои глядятся воды
Холмы, одетые последнею красой
Полуотцветшия природы.

Спешу к твоим брегам... свод неба тих и чист;
При свете солнечном прохлада повевает;
Последний запах свой осыпавшийся лист
С осенней свежестью сливает.

Иду под рощею излучистой тропой;
Что шаг, то новая в глазах моих картина;
То вдруг, сквозь чащу древ, мелькает предо мной,
Как в дыме, светлая долина;

То вдруг исчезло всё... окрест сгустился лес;
Всё дико вкруг меня, и сумрак и молчанье;
Лишь изредка, струей сквозь темный свод древес
Прокравшись, дне́вное сиянье

Верхи поблеклые и корни золотит;
Лишь, сорван ветерка минутным дуновеньем,
На сумраке листок трепещущий блестит,
Смущая тишину паденьем...

И вдруг пустынный храм в дичи передо мной;
Заглохшая тропа; кругом кусты седые;

Между багряных лип чернеет дуб густой
И дремлют ели гробовые.

Воспоминанье здесь унылое живет;
Здесь, к урне приклонясь задумчивой главою,
Оно беседует о том, чего уж нет,
С неизменяющей Мечтою.

Всё к размышленью здесь влечет невольно нас;
Всё в душу томное уныние вселяет;
Как будто здесь она из гроба важный глас
Давно минувшего внимает.

Сей храм, сей темный свод, сей тихий мавзолей,
Сей факел гаснущий и долу обращенный —
Всё здесь свидетель нам, сколь блага наших дней,
Сколь все величия мгновенны.

И нечувствительно с превратности мечтой
Дружится здесь мечта бессмертия и славы:
Сей витязь, на руку склонившийся главой;
Сей громоносец двоеглавый,

Под шуйцей твердою седящий на щите;
Сия печальная семья кругом царицы;
Сии небесные друзья на высоте,
Младые спутники денницы. . .

О! сколь они, в виду сей урны гробовой,
Для унывающей души красноречивы:
Тоскуя ль полетит она за край земной —
Там все утраченные живы;

К земле ль наклонит взор — великий ряд чудес;
Борьба за честь; народ, покрытый блеском славным;
И мир, воскреснувший по манию небес,
Спокойный под щитом державным.

Но вкруг меня опять светлеет частый лес;
Опять река вдали мелькает средь долины,

То в свете, то в тени, то в ней лазурь небес,
То обращенных древ вершины.

И вдруг открытая равнина предо мной:
Там мыза, блеском дня под рощей озаренна;
Спокойное село над ясною рекой,
Гумно и нива обнаженна.

Всё здесь оживлено: с овинов дым седой,
Клубяся, по браздам ложится и редеет,
И нива под его прозрачной пеленой
То померкает, то светлеет.

Там слышен на току согласный стук цепов;
Там песня пастуха и шум от стад бегущих;
Там медленно, скрыпя, тащится ряд возов,
Тяжелый груз снопов везущих.

Но солнце катится беззнойное с небес;
Окрест него закат спокойно пламенеет;
Завесой огненной подернут дальний лес;
Восток безоблачный синеет.

Спускаюсь в дол к реке: брег темен надо мной,
И на воды легли дерев кудрявых тени;
Противный брег горит, осыпанный зарей;
В волнах блестят прибрежны сени;

То отраженный в них сияет мавзолей;
То холм муравчатый, увенчанный древами;
То ива дряхлая, до свившихся корней
Склонившись гибкими ветвями,

Сенистую главу купает в их струях;
Здесь храм между берез и яворов мелькает;
Там лебедь, притаясь у берега в кустах,
Недвижим в сумраке сияет.

Вдруг гладким озером является река;
Сколь здесь ее брегов пленительна картина;
В лазоревый кристалл слиясь вкруг челнока,
Яснеет вод ее равнина.

Но гаснет день... в тени склонился лес к водам;
Древа облечены вечерней темнотою;
Лишь простирается по тихим их верхам
Заря багряной полосою;

Лишь ярко заревом восточный брег облит,
И пышный дом царей на скате озлащенном,
Как исполин, глядясь в зерцало вод, блестит
В величии уединенном.

Но вечер на него покров накинул свой,
И рощи и брега, смешавшись, побледнели;
Последни облака, блиставшие зарей,
С небес, потухнув, улетели.

И воцарилася повсюду тишина;
Всё спит... лишь изредка в далекой тьме промчится
Невнятный глас... или колыхнется волна...
Иль сонный лист зашевелится.

Я на брегу один... окрестность вся молчит...
Как привидение, в тумане предо мною
Семья младых берез недвижимо стоит
Над усыпленною водою.

Вхожу с волнением под их священный кров;
Мой слух в сей тишине приветный голос слышит;
Как бы эфирное там веет меж листов,
Как бы невидимое дышит;

Как бы сокрытая под юных древ корой,
С сей очарованной мешаясь тишиною,
Душа незримая подъемлет голос свой
С моей беседовать душою.

И некто урне сей безмолвный приседит;
И, мнится, на меня вперил он темны очи;
Без образа лицо, и зрак туманный слит
С туманным мраком полуночи.

Смотрю... и, мнится, всё, что было жертвой лет,
Опять в видении прекрасном воскресает;
И всё, что жизнь сулит, и всё, чего в ней нет,
С надеждой к сердцу прилетает.

Но где он?.. Скрылось всё... лишь только в тишине
Как бы знакомое мне слышится призванье,
Как будто Гений путь указывает мне
На неизвестное свиданье.

О! кто ты, тайный вождь? душа тебе вослед!
Скажи: бессмертный ли пределов сих хранитель
Иль гость минутный их? Скажи: земной ли свет
Иль небеса твоя обитель?..

И ангел от земли в сиянье предо мной
Взлетает; на лице величие смиренья;
Взор к небу устремлен; над юною главой
Горит звезда преображенья.

Помедли улетать, прекрасный сын небес;
Младая Жизнь в слезах простерта пред тобою...
Но где я?.. Всё вокруг молчит... призрак исчез,
И небеса покрыты мглою.

Одна лишь смутная мечта в душе моей:
Как будто мир земной в ничто преобратился;
Как будто та страна знакомей стала ей,
Куда сей чистый ангел скрылся.

Сентябрь — первая половина октября 1815

ГОЛОС С ТОГО СВЕТА

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла...
О друг, я всё земное совершила;
Я на земле любила и жила.

Нашла ли их? Сбылись ли ожиданья?
Без страха верь; обмана сердцу нет;
Сбылося всё; я в стороне свиданья;
И знаю *здесь,* сколь *ваш* прекрасен свет.

Друг, на *земле* великое не тщетно;
Будь тверд, а *здесь* тебе нс изменят;
О милый, *здесь* не будет безответно
Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд.

Не унывай: минувшее с тобою;
Незрима я, но в мире мы одном;
Будь верен мне прекрасною душою;
Сверши *один* начатое *вдвоем.*

1815

ПЕСНЯ

К востоку, всё к востоку
Стремление земли —
К востоку, всё к востоку
Летит моя душа;
Далеко на востоке,
За синевой лесов,
За синими горами
Прекрасная живет.

И мне в разлуке с нею
Всё мнится, что она —
Прекрасное преданье
Чудесной старины,
Что мне она явилась
Когда-то в древни дни,
Что мне об ней остался
Один блаженный сон.

1815

* * *

Кто слез на хлеб свой не ронял,
Кто близ одра, как близ могилы,
В ночи, бессонный, не рыдал, —
Тот вас не знает, вышни силы!

На жизнь мы брошены от вас!
И вы ж, дав знаться нам с виною,
Страданью выдаете нас,
Вину преследуете мздою.

Начало 1816

ПЕСНЯ

Кольцо души-девицы
Я в море уронил;
С моим кольцом я счастье
Земное погубил.

Мне, дав его, сказала:
«Носи! не забывай!
Пока твое колечко,
Меня своей считай!»

Не в добрый час я невод
Стал в море полоскать;
Кольцо юркнуло в воду;
Искал.. но где сыскать!..

С тех пор мы как чужие!
Приду к ней — не глядит!
С тех пор мое веселье
На дне морском лежит!

О ветер полуночный,
Проснися! будь мне друг!
Схвати со дна колечко
И выкати на луг.

Вчера ей жалко стало:
Нашла меня в слезах!

И что-то, как бывало,
Зажглось у ней в глазах!

Ко мне подсела с лаской,
Мне руку подала,
И что-то ей хотелось
Сказать, но не могла!

На что твоя мне ласка!
На что мне твой привет!
Любви, любви хочу я...
Любви-то мне и нет!

Ищи, кто хочет, в море
Богатых янтарей...
А мне мое колечко
С надеждою моей.

Начало (?) 1816

НА ПЕРВОЕ ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРЕСТОЛА БОНАПАРТЕ

Стихи, петые на празднике, данном в С.-Петербурге английским послом лордом Каткартом

Сей день есть день суда и мщенья!
Сей грозный день земле явил
Непобедимость провиденья
И гордых силу пристыдил.

Где тот, пред кем гроза не смела
Валов покорных воздымать,
Когда ладья его летела
С фортуной к берегу пристать?

К стопам рабов бросал он троны,
Срывал с царей красу порфир,
Сдвигал народы в легионы
И мыслил весь заграбить мир.

И где он?.. Мир его не знает!
Забыт разбитый истукан!

Лишь пред изгнанником зияет
Неумолимый океан.

И всё, что рушил он, природа
Уже красою облекла,
И по следам его свобода
С дарами жизни протекла!

И честь тому — кто, верный чести,
Свободе меч свой посвятил,
Кто в грозную минуту мести
Лишь благодатию отмстил.

Так! честь ему: и мир вселенной,
И царские в венцах главы,
И блеск Лютеции спасенной,
И прах низринутой Москвы!

О нем молитва Альбиона
Одна сынов его с мольбой:
«Чтоб долго был красой он трона
И человечества красой!»

Вторая половина (до 28) марта 1816

СОН

Заснув на холме луговом,
Вблизи большой дороги,
Я унесен был легким сном
Туда, где жили боги.

Но я проснулся наконец
И смутно озирался:
Дорогой шел младой певец
И с пеньем удалялся.

Вдали пропал за рощей он —
Но струны всё звенели.
Ах! не они ли дивный сон
Мне на душу напели?

1816

ПЕСНЯ БЕДНЯКА

Куда мне голову склонить?
Покинут я и сир;
Хотел бы весело хоть раз
Взглянуть на божий мир.

И я в семье моих родных
Когда-то счастлив был;
Но горе спутник мой с тех пор,
Как я их схоронил.

Я вижу замки богачей
И их сады кругом...
Моя ж дорога мимо их
С заботой и трудом.

Но я счастливых не дичусь;
Моя печаль в тиши;
Я всем веселым рад сказать:
Бог помочь! от души.

О щедрый бог, не вовсе ж я
Тобою позабыт;
Источник милости твоей
Для всех равно открыт.

В селенье каждом есть твой храм
С сияющим крестом,
С молитвой сладкой и с твоим
Доступным алтарем.

Мне светит солнце и луна;
Любуюсь на зарю;
И, слыша благовест, с тобой,
Создатель, говорю.

И знаю: будет добрым пир
В небесной стороне;
Там буду праздновать и я;
Там место есть и мне.

1816

ВЕСЕННЕЕ ЧУВСТВО

Легкий, легкий ветерок,
Что так сладко, тихо веешь?
Что играешь, что светлеешь,
Очарованный поток?
Чем опять душа полна?
Что опять в ней пробудилось?
Что с тобой к ней возвратилось,
Перелетная весна?
Я смотрю на небеса...
Облака, летя, сияют
И, сияя, улетают
За далекие леса.

Иль опять от вышины
Весть знакомая несется?
Или снова раздается
Милый голос старины?
Или там, куда летит
Птичка, странник поднебесный,
Всё еще сей неизвестный
Край *желанного* сокрыт?..
Кто ж к неведомым брегам
Путь неведомый укажет?
Ах! найдется ль, кто мне скажет,
Очарованное *Там?*

1816

СЧАСТИЕ ВО СНЕ

Дорогой шла девица;
С ней друг ее младой;
Болезненны их лица;
Наполнен взор тоской.

Друг друга лобызают
И в очи и в уста —
И снова расцветают
В них жизнь и красота.

Минутное веселье!
Двух колоколов звон:
Она проснулась в *келье;*
В *тюрьме* проснулся он.

1816

* * *

Там небеса и воды ясны!
Там песни птичек сладкогласны!
О родина! все дни твои прекрасны!
Где б ни был я, но всё с тобой
Душой.

Ты помнишь ли, как под горою,
Осеребряемый росою,
Белелся луч вечернею порою
И тишина слетала в лес
С небес?

Ты помнишь ли наш пруд спокойный,
И тень от ив в час полдня знойный,
И над водой от стада гул нестройный,
И в лоне вод, как сквозь стекло,
Село?

Там на заре пичужка пела;
Даль озарялась и светлела;
Туда, туда душа моя летела:
Казалось сердцу и очам —
Всё там!..

Сентябрь—ноябрь (?) 1816

ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ

Дети, овсяный кисель на столе; читайте молитву;
Смирно сидеть, не марать рукавов и к горшку не соваться;
Кушайте: всякий нам дар совершен и даяние благо;
Кушайте, светы мои, на здоровье; господь вас помилуй.

В поле отец посеял овес и весной заскородил.
Вот господь бог сказал: поди домой, не заботься;
Я не засну; без тебя он взойдет, расцветет и созреет.
Слушайте ж, дети: в каждом зернушке тихо и смирно
Спит невидимкой малютка-зародыш. Долго он, долго
Спит, как в люльке, не ест, и не пьет, и не пикнет, доколе
В рыхлую землю его не положат и в ней не согреют.
Вот он лежит в борозде, и малютке тепло под землею;
Вот тихомолком проснулся, взглянул и сосет, как младенец,
Сок из родного зерна, и растет, и невидимо зреет;
Вот уполз из пелен, молодой корешок пробуравил;
Роется вглубь, и корма ищет в земле, и находит.
Что же? .. Вдруг скучно и тесно в потемках... «Как бы проведать,
Что там, на белом свете, творится? ..» Тайком, боязливо
Выглянул он из земли... Ах! Царь мой небесный, как любо!
Смотришь — господь бог ангела шлет к нему с неба:
«Дай росинку ему и скажи от создателя: здравствуй».
Пьет он... ах! как же малюточке сладко, свежо и свободно.
Рядится красное солнышко; вот нарядилось, умылось,
На горы вышло с своим рукодельем; идет по небесной
Светлой дороге; прилежно работая, смотрит на землю,
Словно как мать на дитя, и малютке с небес улыбнулось,
Так улыбнулось, что все корешки молодые взыграли.
«Доброе солнышко, даром вельможа, а всякому ласка!»
В чем же его рукоделье? Точит облачко дождевое.
Смотришь: посмеркло; вдруг каплет; вдруг полилось, зашумело.
Жадно зародышек пьет; но подул ветерок — он обсохнул.
«Нет (говорит он), теперь уж под землю меня не заманят.
Что мне в потемках? здесь я останусь; пусть будет что будет».
Кушайте, светы мои, на здоровье; господь вас помилуй.
Ждет и малюточку тяжкое время: темные тучи
День и ночь на небе стоят, и прячется солнце;
Снег и метель на горах, и град с гололедицей в поле,

Ах! мой бедный зародышек, как же он зябнет! как
ноет!
Что с ним будет? земля заперлась, и негде взять пищи.
«Где же (он думает) красное солнышко? Что не
выходит?
Или боится замерзнуть? Иль и его нет на свете?
Ах! зачем покидал я родимое зернушко? дома
Было мне лучше; сидеть бы в приютном тепле под
землею».
Детушки, так-то бывает на свете; и вам доведется
Вчуже, меж злыми, чужими людьми, с трудом добывая
Хлеб свой насущный, сквозь слезы сказать в одинокой
печали:
«Худо мне; лучше бы дома сидеть у родимой
за печкой...»
Бог вас утешит, друзья; всему есть конец; веселее
Будет и вам, как былиночке. Слушайте: в ясный день
майский
Свежесть повеяла... солнышко яркое на горы вышло,
Смотрит: где наш зародышек? что с ним? и крошку
целует.
Вот он ожил опять и себя от веселья не помнит.
Мало-помалу оделись поля муравой и цветами;
Вишня в саду зацвела, зеленеет и слива, и в поле
Гуще становится рожь, и ячмень, и пшеница, и просо;
Наша былиночка думает: «Я назади не останусь!»
Кстати ль! листки распустила... кто так прекрасно
соткал их?
Вот стебелек показался... кто из жилочки в жилку
Чистую влагу провел от корня до маковки сочной?
Вот проглянул, налился и качается в воздухе колос...
Добрые люди, скажите: кто так искусно развесил
Почки по гибкому стеблю на тоненьких шелковых нитях?
Ангелы! кто же другой? Они от былинки к былинке
По́ полю взад и вперед с благодатью небесной летают.
Вот уж и цветом нежный, зыбучий колосик осыпан:
Наша былинка стоит, как невеста в уборе венчальном.
Вот налилось и зерно и тихохонько зреет; былинка
Шепчет, качая в раздумье головкой: я знаю, что будет.
Смотришь: слетаются мошки, жучки молодую
поздравить,
Пляшут, толкутся кругом, припевают ей: *многие лета;*

В сумерки ж, только что мошки, жучки позаснут
и замолкнут,
Тащится в травке светляк с фонарем посветить ей
в потемках.
Кушайте, светы мои, на здоровье; господь вас помилуй.
Вот уж и троицын день миновался, и сено скосили;
Собраны вишни; в саду ни одной не осталося сливки;
Вот уж пожали и рожь, и ячмень, и пшеницу, и просо;
Уж и на жниво сбирать босиком ребятишки сходились
Колос оброшенный; им помогла тихомолком и мышка.
Что-то былиночка делает? О! уж давно пополнела;
Много, много в ней зернушек; гнется и думает:
«Полно;
Время мое миновалось; зачем мне одной оставаться
В поле пустом меж картофелем, пухлою репой и
свеклой?»
Вот с серпами пришли и Иван, и Лука, и Дуняша;
Уж и мороз покусал им утром и вечером пальцы;
Вот и снопы уж сушили в овине; уж их молотили
С трех часов поутру до пяти пополудни на риге;
Вот и гнедко потащился на мельницу с возом
тяжелым;
Начал жернов молоть; и зернушки стали мукою;
Вот молочка надоила от пестрой коровки родная
Полный горшочек; сварила кисель, чтоб детушкам
кушать;
Детушки скушали, ложки обтерли, сказали: «спасибо».

1816

ДЕРЕВЕНСКИЙ СТОРОЖ В ПОЛНОЧЬ

Полночь било; в добрый час!
Спите, бог не спит за нас!

Как всё молчит!.. В полночной глубине
Окрестность вся как будто притаилась;
Нет шороха в кустах; тиха дорога;
В пустой дали не простучит телега,
Не скрыпнет дверь; дыханье не провеет,
И коростель замолк в траве болотной.

Всё, всё теперь под занавесом спит;
И легкою ль, неслышною стопою
Прокрался здесь бесплотный дух... не знаю.
Но чу... там пруд шумит; перебираясь
По мельничным колесам неподвижным,
Сонливою струей бежит вода;
И ласточка тайком ползет по бревнам
Под кровлю; и сова перелетела
По небу тихому от колокольни;
И в высоте, фонарь ночной, луна
Висит меж облаков и светит ясно,
И звездочки в дали небесной брезжут...
Не так же ли, когда осенней ночью,
Измокнувший, усталый от дороги,
Придешь домой, еще не видишь кровель,
А огонек уж там и тут сверкает?..
Но что ж во мне так сердце разгорелось?
Что на душе так радостно и смутно?
Как будто в ней по родине тоска!
Я плачу... но о чем? И сам не знаю!

Полночь било; в добрый час!
Спите, бог не спит за нас!

Пускай темно на высоте;
Сияют звезды в темноте.
То свет родимой стороны;
Про нас они там зажжены.

Куда идти мне? В нижнюю деревню,
Через кладбище?.. Дверь отворена.
Подумаешь, что в полночь из могил
Покойники выходят навестить
Свое село, проведать, всё ли там,
Как было в старину. До сей поры,
Мне помнится, еще ни одного
Не встретил я. Не прокричать ли: *полночь!*
Покойникам?.. Нет, лучше по гробам
Пройду я молча, есть у них на башне
Свои часы. К тому же... как узнать!
Прошла ль уже их полночь или нет?
Быть может, что теперь лишь только тьма
Сгущается в могилах... ночь долга;

Быть может также, что струя рассвета
Уже мелькнула и для них... кто знает?
Как смирно здесь! знать, мертвые покойны?
Дай бог!.. Но мне чего-то страшно стало.
Не всё здесь умерло: я слышу, ходит
На башне маятник... ты скажешь, бьется
Пульс времени в его глубоком сне.
И холодом с вершины дует полночь;
В лугу ее дыханье бродит, тихо
Соломою на кровлях шевелит,
И пробирается сквозь тын со свистом,
И сыростью от стен церковных пашет —
Окончины трясутся, и порой
Скрыпит, качаясь, крест — здесь подувает
Оно в открытую могилу... Бедный Фриц!
И для тебя готовят уж постелю,
И каменный покров лежит при ней,
И на нее огни отчизны светят.

Как быть! а всем одно, всех на пути
Застигнет сон... что ж нужды! все мы будем
На милой родине; кто на кладбище
Нашел постель — в час добрый; ведь могила
Последний на земле ночлег; когда же
Проглянет день и мы, проснувшись, выйдем
На новый свет, тогда пути и часу
Не будет нам с ночлега до отчизны.

Полночь било; в добрый час!
Спите, бог не спит за нас!

Сияют звезды с вышины,
То свет родимой стороны:
Туда через могилу путь;
В могиле ж... только отдохнуть.

Где был я? где теперь? Иду деревней;
Прошел через кладбище... Всё покойно
И здесь и там... И что ж деревня в полночь?
Не тихое ль кладбище? Разве там,
Равно как здесь, не спят, не отдыхают
От долгия усталости житейской,

От скорби, радости, под властью бога,
Здесь в хижине, а там в сырой земле,
До ясного, небесного рассвета?

А он уж недалёко... Как бы ночь
Ни длилася и неба ни темнила,
А всё рассвета нам не миновать.
Деревню раз, другой я обойду —
И петухи начнут мне откликаться,
И воздух утренний начнет в лицо
Мне дуть; проснется день в бору, отдернет
Небесный занавес, и утро тихой
Струей прольется в сумрак; наконец
Посмотришь: холм, и дол, и лес сияют;
Всё встрепенулося; там ставень вскрылся,
Там отворилась дверь; и всё очнулось,
И всюду жизнь свободная взыграла.
Ах! царь небесный, что за праздник будет,
Когда последняя промчится ночь!
Когда все звезды, малые, большие,
И месяц, и заря, и солнце вдруг
В небесном пламени растают, свет
До самой глубины могил прольется,
И скажут матери младенцам: *утро!*
И всё от сна пробудится; там дверь
Тяжелая отворится, там ставень;
И выглянут усопшие оттуда!..
О, сколько бед забыто в тихом сне!
И сколько ран глубоких в самом сердце
Исцелено! Встают, здоровы, ясны;
Пьют воздух жизни; он вливает крепость
Им в душу... Но когда ж тому случиться?

Полночь било; в добрый час!
Спите, бог не спит за нас!

Еще лежит на небе тень;
Еще далеко светлый день;
Но жив господь, он знает срок:
Он вышлет утро на восток.

1816

ЯВЛЕНИЕ БОГОВ

Знайте, с Олимпа
Являются боги
К нам не одни;

Только что Бахус придет говорливый,
Мчится Эрот, благодатный младенец;
Следом за ними и сам Аполлон.

Слетелись, слетелись
Все жители неба,
Небесными полно
Земное жилище.

Чем угощу я,
Земли уроженец,
Вечных богов?

Дайте мне вашей, бессмертные, жизни!
Боги! что, смертный, могу поднести вам?
К вашему небу возвысьте меня!

Прекрасная радость
Живет у Зевеса!
Где нектар? налейте,
Налейте мне чашу!

Нектара чашу
Певцу, молодая
Геба, подай!

Очи небесной росой окропите;
Пусть он не зрит ненавистного Стикса,
Быть да мечтает одним из богов!

Шумит, заблистала
Небесная влага,
Спокоилось сердце,
Провидели очи.

1816 (?)

ПРОТОКОЛ
ДВАДЦАТОГО АРЗАМАССКОГО ЗАСЕДАНИЯ

Месяц Травный, нахмурясь, престол свой отдал Изоку;
Пылкий Изок появился, но пасмурен, хладен, насуплен;
Был он отцем посаженым у мрачного Грудня. Грудень,
известно,
Очень давно за Зимой волочился; теперь уж они
обвенчались.
С свадьбы Изок принес два дождя, пять луж, три
тумана
(Рад ли, не рад ли, а надобно было принять их
в подарок).
Он разложил пред собою подарки и фыркал. Меж тем
собирался
Тихо на береге Карповки (славной реки, где не
водятся карпы,
Где, по преданию, Карп-Богатырь кавардак по субботам
Ел, отдыхая от славы), на береге Карповки славной
В семь часов ввечеру Арзамас двадесятый, под сводом
Новосозданного храма, на коем начертано имя
Вещего Штейна, породой германца, душой арзамасца.
Сел Арзамас за стол с величавостью скромной и мудрой
наседки,
Сел Арзамас — и явилось в тот миг небывалое чудо:
Нечто пузообразное, пупом венчанное вздулось,
Громко взбурчало, и вдруг гармонией Арфы стало
бурчанье.
Члены смутились. *Реин* дернул за кофту *Старушку,*
С страшной перхотой *Старушка* бросилась в руки
Варвику,
Журка клюнул *Пустынника,* тот за хвост *Асмодея.*
Начал бодать *Асмодей Громобоя,* а этот облапил,
Сморщась, как дряхлый сморчок, *Светлану.* Одна лишь
Кассандра.
Тихо и ясно, как пень благородный, с своим протоколом,
Ушки сжавши и рыльце подняв к милосердому небу,
В креслах сидела. «Уймись, Арзамас! — возгласила
Кассандра. —
Или гармония пуза Эоловой Арфы тебя изумила?
Тише ль бурчало оно в часы пресыщенья, когда им
Водка, селедка, конфеты, котлеты, клюква и брюква

Быстро, как вечностью годы и жизнь, поглощались?
Знай же, что ныне пузо бурчит и хлебещет недаром;
Мне — Дельфийский треножник оно. Прорицаю,
внимайте!»
Взлезла Кассандра на пузо, села Кассандра на пузе;
Стала с пуза Кассандра, как древле с вершины Синая
Вождь Моисей ко евреям, громко вещать к арзамасцам:
«Братья-друзья арзамасцы! В пузе Эоловой Арфы
Много добра. Не одни в нем кишки и желудок.
Близко пуза, я чувствую, бьется, копышется сердце!
Это сердце, как Весты лампада, горит не сгорая.
Бродит, я чувствую, в темном Дедале поблизости пуза
Честный отшельник — душа; она в своем заточеньи
Все отразила прельщенья бесов и *душиста добротой*
(Так говорит об ней Николай Карамзин, наш историк).
Слушайте ж, вот что душа из пуза инкогнито шепчет:
Полно тебе, Арзамас, слоняться бездельником! Полно
Нам, как портным, сидеть на катке и шить на Халдеев,
Сгорбясь, дурацкие шапки из пестрых лоскутьев
Беседных;
Время проснуться! Я вам пример. Я бурчу, забурчите ж,
Братцы, и вы, и с такой же гармонией сладкою. Время,
Время летит. Нас доселе сбирала беспечная шутка;
Несколько ясных минут украла она у бесплодной
Жизни. Но что же? Она уж устала, иль скоро устанет.
Смех без веселости — только кривлянье! Старые шутки —
Старые девки! Время прошло, когда по следам их
Рой обожателей мчался! теперь позабыты; в морщинах,
Зубы считают, в разладе с собою, мертвы не живши.
Бойся ж и ты, Арзамас, чтоб не сделаться старою девкой.
Слава — твой обожатель; скорее браком законным
С ней сочетайся! иль будешь бездетен, иль, что еще хуже,
Будешь иметь детей незаконных, не признанных ею,
Светом отверженных, жалких, тебе самому
в посрамленье.
О арзамасцы! все мы судьбу испытали; у всех нас
В сердце хранится добра и прекрасного тайна;
но каждый,
Жизнью своей охлажденный, к сей тайне уж веру
теряет;
В каждом душа, как светильник, горящий в пустыне,
Свет одинокий окрестныя мглы не осветит. Напрасно

Нам он горит, он лишь мрачность для наших очей
озаряет.
Что за отрада нам знать, что где-то в такой же
пустыне
Так же тускло и тщетно братский пылает светильник?
Нам от того не светлее! Ближе, друзья, чтоб друг
друга
Видеть в лицо и, сливши пламень души (неприступной
Хладу убийственной жизни), достоинства первое благо
(Если уж счастья нельзя) сохранить посреди
измененья!
Вместе, великое слово! *Вместе,* твердит унывая
Сердце, жадное жизни, томяся бесплодным стремленьем.
Вместе! Оно воскресит нам наши младые надежды.
Что мы розно? Один, увлекаем шумным потоком
Скучной толпы, в мелочных затерялся заботах. Напрасно
Ищет себя, он чужд и себе и другим; каменеет,
К мертвому рабству привыкнув, и, цепи свои презирая,
Их разорвать не стремится. Другой, потеряв
невозвратно
В миг единый всё, что было душою полжизни,
Вдруг меж развалин один очутился и нового зданья
Строить не смеет; и если бы смел, то где ж
ободритель,
Дерзкий создатель—Младость, сестра Вдохновенья? Над
грудой развалин
Молча стоит он и с трепетом смотрит, как Гений
унывший
Свой погашает светильник. Иной самому себе
незнакомец,
Полный жизни мертвец, ссбя и свой дар загвоздивший
В гроб, им самим сотворенный, бьется в своем
заточеньи:
Силен свой гроб разломить, но силе не верит —
и гибнет.
Тот, великим желаньем волнуемый, силой богатый,
Рад бы разлить по вселенной — в сияньи ль,
в пожаре ль — свой пламень;
К смелому делу сзывает дружину, но. . . голос
в пустыне.
Отзыва нет! О братья, пред нами во дни упованья
Жизнь необъятная, полная блеска, вдали расстилалась.

Близким стало далекое! Что же? Пред темной завесой,
Вдруг упавшей меж нами и жизнию, каждый стоит
безнадежен;
Часто трепещет завеса, есть что-то живое за нею,
Но рука и поднять уж ее не стремится. Нет веры!
Будем ли ж, братья, стоять перед нею с ничтожным
покорством?
Вместе, друзья, и она разорвется, и путь нам
свободен.
Вместе — наш Гений-хранитель! при нем благодатная
Бодрость;
Нам оно безопасный приют от судьбы вероломной;
Пусть налетят ее бури, оно для нас уцелеет!
С ним и *Слава* не рабский криков толпы повторитель,
Но свободный судья современных, потомства наставник;
С ним и *Награда* не шумная почесть, гремушка
младенцев,
Но священное чувство достоинства, внятный не многим
Голос души и с голосом избранных, лучших согласный.
С ним жизнодательный *Труд* с бескорыстною
целью — *для пользы;*
С ним и великий Гений — Отечество. Так, арзамасцы!
Там, где во имя Отечества по две руки во едину
Слиты, там и оно соприсутственно. Братья, дайте же
руки!
Всё минувшее, всё, что в честь ему некогда жило,
С славного царского трона, и с тихой обители
сельской
С поля, где жатва на пепеле падших бойцов расцветает,
С гроба певцов, с великанских курганов, свидетелей
чести,
Всё к нам голос знакомый возносит: мы некогда
жили!
Все мы готовили славу, и вы приготовьте потомкам! —
Вместе, друзья! чтоб потомству наш голос был
слышен!»

Так говорила Кассандра, холя десницею пузо.
Вдруг наморщилось пузо, Кассандра умолкла,
и члены,
Ей поклонясь, подошли приложиться с почтеньем
К пузу в том месте, где пуп цветет лесной
сыроежкой.

Тут осанистый Реин разгладил чело, от власов
обнаженно,
Важно жезлом волшебным махнул — и явилося нечто
Пышным вратам подобное, к светлому зданью ведущим.
Звездная надпись сияла на них: *Журнал Арзамасский.*
Мощной рукою врата растворил он; за ними кипели
В светлом хаосе при́зраки веков; как гиганты,
смотрели
Лики славных из сей оживленныя тучи; над нею
С яркой звездой на главе гением тихим неслося
В свежем гражданском венке божество — *Просвещенье,*
дав руку
Грозной и мирной богине *Свободе.* И все арзамасцы,
Пламень почуя в душе, к вратам побежали... Всё
скрылось.
Реин сказал: «Потерпите, голубчики! я еще не
достроил;
Будет вам дом, а теперь и ворот одних вам довольно».
Члены, зная, что Реин искусный строитель,
утихли,
Сели опять по местам, и явился, клюкой подпираясь,
Сам Асмодей. Погонял он бичом мериносов Беседы.
Важен пред стадом тащился старый баран, волочивший
Тяжкий курдюк на скрыпящих колесах, — Шишков
седорунный;
Рядом с ним Шутовской, овца брюхатая, охал.
Важно вез назади осел Голенищев-Кутузов
Тяжкий с притчами воз, а на козлах мартышка
В бурке, граф Дмитрий Хвостов, тряслась; и, качаясь
на дышле,
Скромно висел в чемодане домашний тушканчик
Вздыхалов.
Стадо загнавши, воткнул Асмодей на вилы Шишкова,
Отдал честь Арзамасу и начал китайские тени
Членам показывать. В первом явленьи предстала
С кипой журналов Политика, рот зажимая Цензуре,
Старой кокетке, которую тощий гофмейстер Яценко
Вежливо под руку вел, нестерпимый Дух издавая.
Вслед за Политикой вышла Словесность; платье
богини
Радужным цветом сияло, и следом за ней ее дети:
С лирой, в венке из лавров и роз, Поэзия-дева

Шла впереди; вкруг нее как крылатые звезды летали
Светлые пчелы, мед свой с цветов чужих и домашних
В дар ей собравшие. Об руку с нею поступью важной
Шла благородная Проза в длинной одежде. Смиренно
Хвост ей несла Грамматика, старая нянька (которой,
Сев в углу на словарь, Академия делала рожи).
Свита ее была многочисленна; в ней отличался
Важный маляр Демид-Арзамасец. Он кистью, как древле
Тростью Цирцея, махал, и пред ним, как из дыма, творились
Лица, из видов заемных в свои обращенные виды.
Всё покорялось его всемогуществу, даже Беседа
Вежливой чушкою лезла пыхтя из-под докторской ризы.
Третья дочь Словесности: Критика с плетью, с метелкой
Шла, опираясь на Вкус и смелую Шутку; за нею
Князь Тюфякин нес на закорках Театр, и нещадно
Кошками секли его Пиериды, твердя: не дурачься.
Смесь последняя вышла. Пред нею музы тащили
Чашу большую с ботвиньей; там всё переболтано было:
Пушкина мысли, вести о курах с лицом человечьим,
Письма о бедных к богатым, старое заново с новым.
Быстро тени мелькали пред взорами членов одна за другою.
Вдруг всё исчезло. Члены захлопали. Вилы пред ними
Важно склонил Асмодей и, стряхнув с них Шишкова,
В угол толкнул сего мериноса; он комом свернулся,
К стенке прижался и молча глазами вертел. — Совещанье
Начали члены. Приятно было послушать, как вместе
Все голоса слилися в одну бестолковщину. Бегло
Быстрым своим язычком работáла Кассандра, и Реин
Громко шумел; Асмодей воевал на Светлану; Светлана
Бегала взад и вперед с протоколом; впившись в Старушку,
Криком кричал Громобой, упрямясь родить анекдотец.
Арфа курныкала песни. Пустынник возился с Варвиком.
Чем же сумятица кончилась? Делом: Журнал состоялся.

Июнь 1817

УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ

«Скажи, что так задумчив ты?
Всё весело вокруг;
В твоих глазах печали след;
Ты, верно, плакал, друг?»

«О чем грущу, то в сердце мне
Запало глубоко;
А слезы... слезы в сладость нам;
От них душе легко».

«К тебе ласкаются друзья,
Их ласки не дичись;
И что бы ни утратил ты,
Утратой поделись».

«Как вам, счастливцам, то понять,
Что понял я тоской?
О чем... но нет! оно мое,
Хотя и не со мной».

«Не унывай же, ободрись;
Еще ты в цвете лет;
Ищи — найдешь; отважным, друг,
Несбыточного нет».

«Увы! напрасные слова!
Найдешь — сказать легко;
Мне до него, как до звезды
Небесной, далеко».

«На что ж искать далеких звезд?
Для неба их краса;
Любуйся ими в ясну ночь,
Не мысля в небеса».

«Ах! я любуюсь в ясный день;
Нет сил и глаз отвесть;
А ночью... ночью плакать мне,
Покуда слезы есть».

Декабрь (?) 1817

К МЕСЯЦУ

Снова лес и дол покрыл
    Блеск туманный твой:
Он мне душу растворил
    Сладкой тишиной.

Ты блеснул... и просветлел
    Тихо темный луг, —
Так улыбкой наш удел
    Озаряет друг.

Скорбь и радость давних лет
    Отозвались мне,
И минувшего привет
    Слышу в тишине.

Лейся, мой ручей, стремись!
    Жизнь уж отцвела;
Так надежды пронеслись;
    Так любовь ушла.

Ах! то было и моим,
    Чем так сладко жить;
То, чего, расставшись с ним,
    Вечно не забыть.

Лейся, лейся, мой ручей,
    И журчанье струй
С одинокою моей
    Лирой согласуй.

Счастлив, кто от хлада лет
    Сердце охранил,
Кто без ненависти свет
    Бросил и забыл,

Кто делит с душой родной,
    Втайне от людей,
То, что презрено толпой
    Или чуждо ей.

Декабрь (?) 1817

ЖАЛОБА ПАСТУХА

На ту знакомую гору
Сто раз я в день прихожу;
Стою, склоняся на посох,
И в дол с вершины гляжу.

Вздохнув, медлительным шагом
Иду вослед я овцам
И часто, часто в долину
Схожу, не чувствуя сам.

Весь луг попрежнему полон
Младой цветов красоты;
Я рву их — сам же не знаю,
Кому отдать мне цветы.

Здесь часто в дождик и в гро́зу
Стою, к земле пригвожден:
Всё жду, чтоб дверь отворилась...
Но то обманчивый сон.

Над милой хижинкой светит,
Видаю, радуга мне...
К чему? Она удалилась!
Она в чужой стороне!

Она всё дале! всё дале!
И скоро слух замолчит!
Бегите ж, овцы, бегите!
Здесь горе душу томит!

Декабрь (?) 1817

МИНА

Романс

Я знаю край! там негой дышит лес,
Златой лимон горит во мгле древес,
И ветерок жар неба холодит,
И тихо мирт и гордо лавр стоит...

Там счастье, друг! туда! туда
Мечта зовет! Там сердцем я всегда!

Там светлый дом! на мраморных столбах
Поставлен свод; чертог горит в лучах;
И ликов ряд недвижимых стоит;
И, мнится, их молчанье говорит. . .
Там счастье, друг! туда! туда
Мечта зовет! Там сердцем я всегда!

Гора там есть с заоблачной тропой!
В туманах мул там путь находит свой;
Драконы там мутят ночную мглу;
Летит скала и воды на скалу! . .
О друг, пойдем! туда! туда
Мечта зовет! . . Но быть ли там когда?

Декабрь (?) 1817

‹РЕЧЬ В ЗАСЕДАНИИ „АРЗАМАСА“›

Братья-друзья арзамасцы! Вы протокола послушать,
Верно, надеялись. Нет протокола! О чем протоколить?
Всё позабыл я, что было в прошедшем у нас заседаньи!
Всё! да и нечего помнить! С тех пор, как за ум мы взялися,
Ум от нас отступился! Мы перестали смеяться —
Смех заступила зевота, чума окаянной Беседы!
Даром что эта Беседа давно околела — зараза
Всё еще в книжках Беседы осталась — и нет карантинов!
Кто-нибудь, верно, из нас, не натершись Опасным соседом,
Голой рукой прикоснулся к Чтенью в Беседе иль вытер,
Должной не взяв осторожности, свой анфедрон рассужденьем
Деда седого о слоге седом — я не знаю! а знаю
Только, что мы ошалели! что лень, как короста,
Нас облепила! дело не любим! безделью ж отдались!
Мы написали законы; Зегельхен их переплел и слупил с нас

Восемь рублей и сорок копеек — и всё тут! Законы
Спят в своем переплете, как мощи в окованной раке!
Мы от них ожидаем чудес — но чудес не дождемся.
Между тем Реин усастый, нас взбаламутив, дал тягу
В Киев и там в Днепре утопил любовь к Арзамасу!
Реин давно замолчал, да и мы не очень воркуем!
Я, Светлана, в графах таблиц, как будто в тенетах,
Скорчась сижу; Асмодей, распростившись с халатом свободы,
Лезет в польское платье, поет мазурку и учит
Польскую азбуку; Резвый Кот всех умнее; мурлычет
Нежно *люблю* и просится в церковь к налою; Кассандра,
Сочным бивстексом пленяся, коляску ставит на сани,
Скачет от русских метелей к британским туманам и гонит
Челн Очарованный к квакерам за море; Чу в Цареграде
Стал не Чу, а чума, и молчит; Ахилл, по привычке,
Рыщет и места нигде не согреет; Сверчок, закопавшись
В щелку проказы, оттуда кричит к нам в стихах: я ленюся.
Арфа, всегда неизменная Арфа, молча жиреет!
Только один Вот-я-вас усердствует славе; к бессмертью
Скачет он на рысях; припряг в свою таратайку
Брата Кабуда к Пегасу, и сей осел вот-я-васов
Скачет, свернувшись кольцом, как будто в Опасном соседе!
Вслед за Кабудом, друзья! Перестанем лениться! быть худу!
Быть бычку на веревочке! быть Арзамасу Беседой!
Вы же, почетный наш баснописец, вы, нам доселе
Бывший прямым образцом и учителем русского слога,
Вы, впервой заседающий с нами под знаменем Гуся,
О, помолитесь за нас, погруженных бесстыдно в пакость Беседы!
Да спадет с нас беседная пакость, как с гуся вода!
Да воскреснем.

Конец января (?) 1818

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

Знать, солнышко утомлено:
За горы прячется оно;
Луч погашает за лучом
И, алым тонким облачком
Задернув лик усталый свой,
Уйти готово на покой.

Пора ему и отдохнуть;
Мы знаем, летний долог путь.
Везде ж работа: на горах,
В долинах, в рощах и лугах;
Того согрей; тем свету дай
И всех притом благословляй.

Буди заснувшие цветы
И им расписывай листы;
Потом медвяною росой
Пчелу-работницу напой
И чистых капель меж листов
Оставь про резвых мотыльков.

Зерну скорлупку расколи
И молодую из земли
Былинку выведи на свет;
Пичужкам приготовь обед;
Тех приюти между ветвей;
А тех на гнездышке согрей.

И вишням дай румяный цвет;
Не позабудь горячий свет
Рассыпать на зеленый сад,
И золотистый виноград
От зноя листьями прикрыть,
И колос зрелостью налить.

А если жар для стад жесток,
Смани их к роще в холодок;
И тучку темную скопи,
И травку влагой окропи,
И яркой радугой с небес
Сойди на темный луг и лес,

А где под острою косой
Трава ложится полосой,
Туда безоблачно сияй
И сено в копны собирай,
Чтоб к ночи луг от них пестрел
И с ними ряд возов скрипел.

Итак, совсем не мудрено,
Что разгорелося оно,
Что отдыхает на горах
В полупотухнувших лучах
И нам, сходя за небосклон,
В прохладе шепчет: «добрый сон».

И вот сошло, и свет потух;
Один на башне лишь петух
За ним глядит, сияя, вслед...
Гляди, гляди! в том пользы нет!
Сейчас оно перед тобой
Задернет алый завес свой.

Есть и про солнышко беда:
Нет ладу с сыном никогда.
Оно лишь только в глубину,
А он как раз на вышину;
Того и жди, что заблестит;
Давно за горкой он сидит.

Но что ж так медлит он вставать?
Всё хочет солнце переждать.
Вставай, вставай, уже давно
Заснуло в сумерках оно.
И вот он всходит; в дол глядит
И бледно зелень серебрит.

И ночь уж на небо взошла
И тихо на небе зажгла
Гостеприимные огни;
И всё замолкнуло в тени;
И по долинам, по горам
Всё спит... Пора ко сну и нам.

Январь—март 1818

ВЕРНОСТЬ ДО ГРОБА

Младый Рогер свой острый меч берет:
За веру, честь и родину сразиться!
Готов он в бой... но к милой он идет:
В последний раз с прекрасною проститься.
«Не плачь: над нами щит творца;
Еще нас небо не забыло;
Я буду верен до конца
Свободе, мужеству и милой».

Сказал, свой шлем надвинул, поскакал;
Дружина с ним; кипят сердца их боем;
И скоро строй неустрашимых стал
Перед врагов необозримым строем.
«Сей вид не страшен для бойца;
И смерть ли небо мне судило —
Останусь верен до конца
Свободе, мужеству и милой».

И, на врага взор мести бросив, он
Влетел в ряды, как пламень-истребитель;
И вспыхнул бой, и враг уж истреблен;
Но... победив, сражен и победитель.
Он почесть бранного венца
Приял с безвременной могилой,
И был он верен до конца
Свободе, мужеству и милой.

Но где же ты, певец великих дел?
Иль песнь твоя твоей судьбою стала?..
Его уж нет; он в край тот улетел,
Куда давно мечта его летала.
Он пал в бою — и глас певца
Бессмертно дело освятило;
И он был верен до конца
Свободе, мужеству и милой.

Февраль—март 1818

ГОРНАЯ ДОРОГА

Над страшною бездной дорога бежит,
    Меж жизнью и смертию мчится;
Толпа великанов ее сторожит;
    Погибель над нею гнездится.
Страшись пробужденья лавины ужасной:
В молчаньи пройди по дороге опасной.

Там *мост* через бездну отважной дугой
    С скалы на скалу перегнулся;
Не смертною был он поставлен рукой —
    Кто смертный к нему бы коснулся?
Поток под него разъяренный бежит;
Сразить его рвется и ввек не сразит.

Там, грозно раздавшись, стоят *ворота;*
    Мнишь — область теней пред тобою;
Пройди их — долина, долин красота,
    Там осень играет с весною.
Приют сокровенный! желанный предел!
Туда бы от жизни ушел, улетел.

Четыре *потока* оттуда шумят —
    Не зрели их выхода очи.
Стремятся они на восток, на закат;
    Стремятся к полудню, к полночи;
Рождаются вместе; родясь, расстаются;
Бегут без возврата и ввек не сольются.

Там в блеске небес два *утеса* стоят,
    Превыше всего, что земное;
Кругом облака золотые кипят,
    Эфира семейство младое;
Ведут хороводы в стране голубой;
Там не был, не будет свидетель земной.

Царица сидит высоко и светло
    На вечно незыблемом троне;

Чудесной красой обвивает чело
И блещет в алмазной короне;
Напрасно там солнцу сиять и гореть:
Ее золотит, но не может согреть.

Март — начало апреля 1818

ОТВЕТ КН. ВЯЗЕМСКОМУ НА ЕГО СТИХИ: ВОСПОМИНАНИЕ

Ты в утешители зовешь воспоминанье;
Глядишь без прелести на свет!
И раззнакомилось с душой твоей желанье!
И веры к будущему нет!

О друг! в твоем мое мне сердце отозвалось:
Я понимаю твой удел!
И мне вожатым быть желанье отказалось,
И мой светильник побледнел!

Сменил блестящие мечтательного краски
Однообразной жизни свет!
Из-под обманчиво смеющияся маски
Угрюмый выглянул скелет.

На что же, друг, хотеть призвать воспоминанье?
Мечты не дозовемся мы!
Без утоления пробудим лишь желанье;
На небо взглянем из тюрьмы!

Первая половина (до 17) апреля 1818

ГОСУДАРЫНЕ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕ АЛЕКСАНДРЕ ФЕДОРОВНЕ НА РОЖДЕНИЕ В. КН. АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

Послание

Изображу ль души смятенной чувство?
Могу ль найти согласный с ним язык?
Что лирный глас и что певца искусство? . .
Ты слышала сей милый, первый крик,
Младенческий привет существованью;

Ты зрела блеск проглянувших очей
И прелесть уст, открывшихся дыханью...
О, как дерзну я мыслию моей
Приблизиться к сим тайнам наслажденья?
Он пролетел, сей грозный час мученья;
Его сменил небесный гость Покой
И тишина исполненной надежды;
И, первым сном сомкнув беспечны вежды,
Как ангел спит твой сын перед тобой...
О матерь! кто, какой язык земной
Изобразит сие очарованье?
Что с жизнию прекрасного дано,
Что нам сулит в грядущем упованье,
Чем прошлое для нас озарено,
И темное к безвестному стремленье,
И ясное для сердца провиденье,
И что душа небесного досель
В самой себе неведомо скрывала —
То всё теперь без слов тебе сказала
Священная младенца колыбель.
Забуду ль миг, навеки незабвенный?..
Когда шепнул мне тихой вести глас,
Что наступил решительный твой час, —
Безвестности волнением стесненный,
Я ободрить мой смутный дух спешил
На ясный день животворящим взглядом.
О, как сей взгляд мне душу усмирил!
Безоблачны, над пробужденным градом,
Как благодать лежали небеса;
Их мирный блеск, младой зари краса,
Всходящая, как новая надежда;
Туманная, как таинство, одежда
Над красотой воскреснувшей Москвы;
Бесчисленны церквей ее главы,
Как алтари, зажженные востоком,
И вечный Кремль, протекшим мимо Роком
Нетронутый свидетель божества,
И всюду глас святого торжества,
Как будто глас Москвы преображенной...
Всё, всё душе являло ободренной
Божественный спасения залог.
И с верою, что близко провиденье,

Я устремлял свой взор на тот чертог,
Где матери священное мученье
Свершалося как жертва в оный час...
Как выразить сей час невыразимый,
Когда еще сокрыто всё для нас,
Сей час, когда два ангела незримы,
Податели конца иль бытия,
Свидетели страдания безвластны,
Еще стоят в неведеньи, безгласны,
И робко ждут, что скажет Судия,
Кому из двух невозвратимым словом
Иль жизнь иль смерть велит благовестить?..
О, что в сей час сбывалось там, под кровом
Царей, где миг был должен разрешить
Нам промысла намерение тайно,
Угадывать я мыслью не дерзал;
Но сладкий глас мне душу проникал:
«Здесь божий мир; ничто здесь не случайно!»
И верила бестрепетно душа.
Меж тем, восход спокойно соверша,
Как ясный бог, горело солнце славой;
Из храмов глас молений вылетал;
И, тишины исполнен величавой,
Торжественно державный Кремль стоял...
Казалось, всё с надеждой ожидало.
И в оный час пред мыслию моей
Минувшее безмолвно воскресало:
Сия река, свидетель давних дней,
Протекшая меж стольких поколений,
Спокойная меж стольких изменений,
Мне славною блистала стариной;
И образы великих привидений
Над ней, как дым, взлетали предо мной;
Мне чудилось: развертывая знамя,
На бой и честь скликал полки Донской;
Пожарский мчал, сквозь ужасы и пламя,
Свободу в Кремль по трупам поляков;
Среди дружин, хоругвей и крестов
Романов брал могущество державы;
Вводил полки бессмертья и Полтавы
Чудесный *Петр* в столицу за собой;
И праздновать звала *Екатерина*.

Румянцова с вождями пред Москвой
Ужасный пир Кагула и Эвксина.
И, дальние лета перелетев,
Я мыслию ко близким устремился.
Давно ль, я мнил, горел здесь божий гнев?
Давно ли Кремль разорванный дымился?
Что зрели мы? .. Во прахе дом царей;
Бесславие разбитых алтарей;
Святилища, лишенные святыни;
И вся Москва как гроб среди пустыни.
И что ж теперь? .. Стою на месте том,
Где супостат ругался над Кремлем,
Зажженною любуяся Москвою, —
И тишина святая надо мною;
Москва жива; в Кремле семья царя;
Народ, теснясь к ступеням алтаря,
На празднике великом воскресенья
Смиренно ждет надежды совершенья,
Ждет милого пришельца в божий свет...
О, как у всех душа заликовала,
Когда молва в громах Москве сказала
Исполненный создателя обет!
О, сладкий час, в надежде, в страхе жданный!
Гряди в наш мир, младенец, гость желанный!
Тебя узрев, коленопреклонен,
Младой отец пред матерью спасенной
В жару любви рыдает, слов лишен;
Перед твоей невинностью смиренной
Безмолвная праматерь слезы льет;
Уже Москва *своим* тебя зовет...
Но как понять, что в час сей непонятный
Сбылось с твоей, младая мать, душой?
О, для нее открылся мир иной.
Твое дитя, как вестник благодатный,
О лучшем ей сказало бытии;
Чистейшие зажглись в ней упованья;
Не для тебя теперь твои желанья,
Не о тебе днесь радости твои;
Младенчества обвитый пеленами,
Еще без слов, незрящими очами
В твоих очах любовь встречает он;
Как тишина, его прекрасен сон;

И жизни весть к нему не достигала...
Но уж Судьба свой суд об нем сказала;
Уже в ее святилище стоит
Ему испить назначенная чаша.
Что скрыто в ней, того надежда наша
Во тьме земной для нас не разрешит...
Но он рожден в великом граде славы,
На высоте воскресшего Кремля;
Здесь возмужал орел наш двоеглавый;
Кругом его и небо и земля,
Питавшие Россию в колыбели;
Здесь жизнь отцев великая была;
Здесь битвы их за честь и Русь кипели,
И здесь их прах могила приняла —
Обманет ли сие знаменованье?..
Прекрасное Россия填 упованье
Тебе в твоем младенце отдает.
Тебе его младенческие лета!
От их пелен ко входу в бури света
Пускай тебе вослед он перейдет
С душой, на всё прекрасное готовой;
Наставленный: достойным счастья быть,
Великое с величием сносить,
Не трепетать, встречая рок суровой,
И быть в делах времен своих красой.
Лета пройдут, подвижник молодой,
Откинувши младенчества забавы,
Он полетит в путь опыта и славы...
Да встретит он обильный честью век!
Да славного участник славный будет!
Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий: *человек.*
Жить для веков в величии народном,
Для блага *всех* — *свое* позабывать,
Лишь в голосе отечества свободном
С смирением дела свои читать:
Вот правила царей великих внуку.
С тобой ему начать сию науку.
Теперь, едва проснувшийся душой,
Пред матерью, как будто пред Судьбой,
Беспечно он играет в колыбели,
И Радости младые прилетели

Ее покой прекрасный оживлять;
Житейское от ней еще далеко...
Храни ее, заботливая мать;
Твоя любовь — всевидящее око;
В твоей любви — святая благодать.

17—20 апреля 1818

ПЕСНЯ

Минувших дней очарованье,
Зачем опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанье
И замолчавшие мечты?
Шепнул душе привет бывалой;
Душе блеснул знакомый взор;
И зримо ей минуту стало
Незримое с давнишних пор.

О милый гость, святое *Прежде,*
Зачем в мою теснишься грудь?
Могу ль сказать: *живи,* надежде?
Скажу ль тому, что было: *будь?*
Могу ль узреть во блеске новом
Мечты увядшей красоту?
Могу ль опять одеть покровом
Знакомой жизни наготу?

Зачем душа в тот край стремится,
Где были дни, каких уж нет?
Пустынный край не населится;
Не узрит он минувших лет;
Там есть *один* жилец безгласный,
Свидетель милой старины;
Там вместе с ним все дни прекрасны
В единый гроб положены.

Вторая половина 1818

ЛИСТОК

О́т дружной ветки отлученный,
Скажи, листок уединенный,
Куда летишь? . . «Не знаю сам;
Гроза разбила дуб родимый;
С тех пор, по долам, по горам
По воле случая носимый,
Стремлюсь, куда велит мне рок,
Куда на свете *всё* стремится,
Куда и лист лавровый мчится
И легкий розовый листок».

1818

⟨К М. Ф. ОРЛОВУ⟩

О Рейн, о Реин, без волненья
К тебе дерзну ли подступить?
Давно уж ты — река забвенья,
И перестал друзей поить
Своими сладкими струями!
На «Арзамас» тряхнул усами —
И Киев дружбу перемог!
Начальник штаба, педагог —
Ты по ланкастерской методе
Мальчишек учишь говорить
О славе, пряниках, природе,
О кубарях и о свободе —
А нас забыл. . . Но так и быть!
На страх пишу к тебе два слова!
Вот для души твоей обнова:
Письмо от милой красоты!
Узнаешь сам ее черты!
Я шлю его через другова,
Санктпетербургского Орлова —
Чтобы верней дошло оно.
Прости! Но для сего посланья,
Орлов, хоть тень воспоминанья
Дай дружбе, брошенной давно!

1818

НА КОНЧИНУ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЕВЫ ВИРТЕМБЕРГСКОЙ

Элегия

Ты улетел, небесный посетитель;
Ты погостил недолго на земли;
Мечталось нам, что *здесь* твоя обитель;
Навек *своим* тебя мы нарекли...
Пришла Судьба, свирепый истребитель,
И вдруг следов твоих уж не нашли:
Прекрасное погибло в пышном цвете...
Таков удел прекрасного на свете!

Губителем, неслышным и незримым,
На всех путях Беда нас сторожит;
Приюта нет главам, равно грозимым;
Где не была, там будет и сразит.
Вотще дерзать в борьбу с необходимым:
Житейского никто не победит;
Гнетомы все единой грозной Силой;
Нам всем сказать о здешнем счастье: *было!*

Но в свой черед с деревьев обветшалых
Осенний лист, отвянувши, падет;
Слагая жизнь, старик с рамен усталых
Ее, как долг, могиле отдает;
К страдальцу Смерть на прах надежд увялых,
Как званый друг, желанная, идет...
Природа здесь верна стезе привычной:
Без ужаса берем удел обычной.

Но если вдруг, нежданная, вбегает
Беда в семью играющих Надежд;
Но если жизнь изменою слетает
С веселых, ей лишь миг знакомых вежд
И Счастие младое умирает,
Еще не сняв и праздничных одежд...
Тогда наш дух объемлет трепетанье,
И силой в грудь врывается роптанье.

О наша жизнь, где верны лишь утраты,
Где милому мгновенье лишь дано,

Где скорбь без крыл, а радости крылаты
И где навек минувшее одно...
Почто ж мы здесь мечтами так богаты,
Когда мечтам не сбыться суждено?
Внимая глас Надежды, нам поющей,
Не слышим мы шагов Беды грядущей.

Кого спешишь ты, Прелесть молодая,
В твоих дверях так радостно встречать?
Куда бежишь, ужасного не чая,
Привыкшая с сей жизнью лишь играть?
Не радость — Весть стучится гробовая...
О! подожди сей праг переступать;
Пока ты здесь — ничто не умирало;
Переступи — и милое пропало.

Ты, знавшая житейское страданье,
Постигшая все таинства утрат,
И ты спешишь с надеждой на свиданье...
Ах! удались от входа сих палат;
Отложено навек торжествованье;
Счастливцы там тебя не угостят;
Ты посетишь обитель уж пустую...
Смерть унесла хозяйку молодую.

Из дома в дом по улицам столицы
Страшилищем скитается Молва;
Уж прорвалась к убежищу царицы;
Уж шепчет там ужасные слова;
Трепещет всё, печалью бледны лицы...
Но мертвая для матери жива;
В ее душе спокойствие незнанья;
Пред ней мечта недавнего свиданья.

О Счастие, почто же на отлете
Ты нам в лицо умильно так глядишь?
Почто в своем предательском привете,
Спеша от нас: *я вечно!* говоришь;
И к милому, уж *бывшему* на свете,
Нас прелестью нежнейшею манишь?..
Увы! в тот час, как матерь ты пленяло,
Ты только дочь на жертву украшало.

И, нас губя с холодностью ужасной,
Еще Судьба смеяться любит нам;
Ее уж нет, сей жизни столь прекрасной...
А мать, склонясь к обманчивым листам,
В них видит дочь надеждою напрасной,
Дарует жизнь безжизненным чертам,
В них голосу умолкшему внимает,
В них воскресить умершую мечтает.

Скажи, скажи, супруг осиротелый,
Чего над ней ты так упорно ждешь?
С ее лица приветное слетело;
В ее глазах узнанья не найдешь;
И в руку ей рукой оцепенелой
Ответного движенья не вожмешь.
На голос чад зовущих недвижима...
О! верь, отец, она невозвратима.

Запри навек ту мирную обитель,
Где спутник твой тебе минуту жил;
Твоей души свидетель и хранитель,
С кем жизни долг не столько бременил,
Советник дум, прекрасного делитель,
Слабеющих очарователь сил —
С полупути ушел он от земного,
От бытия прелестно-молодого.

И вот — сия минутная царица,
Какою смерть ее нам отдала;
Отторгнута от скипетра десница;
Развенчано величие чела;
На страшный гроб упала багряница,
И жадная судьбина пожрала
В минуту всё, что было так прекрасно,
Что всех влекло, и так влекло напрасно.

Супруг, зовут! иди на расставанье!
Сорвав с чела супружеский венец,
В последнее земное провожанье
Веди сирот за матерью, вдовец;
Последнее отдайте ей лобзанье;
И там, где всем свиданиям конец,

Невнемлющей *прости* свое скажите
И в землю с ней все блага положите.

Прости ж, наш цвет, столь пышно
восходивший, —
Едва зарю успел ты перецвесть.
Ты, Жизнь, прости, красавец не доживший;
Как радости обманчивая весть,
Пропала ты, лишь сердце приманивши,
Не дав и дня надежде перечесть.
Простите вы, благие начинанья,
Вы, славных дел напрасны упованья...

Но мы... смотря, как наше счастье тленно,
Мы жизнь свою дерзнем ли презирать?
О нет, главу подставивши смиренно,
Чтоб ношу бед от промысла принять,
Себя отдав руке неоткровенной,
Не мни творца, страдалец, вопрошать;
Слепцом иди к концу стези ужасной...
В последний час слепцу всё будет ясно.

Земная жизнь небесного наследник;
Несчастье нам учитель, а не враг;
Спасительно-суровый собеседник,
Безжалостный разитель бренных благ,
Великого понятный проповедник,
Нам об руку на тайный жизни праг
Оно идет, всё руша перед нами
И скорбию дружа нас с небесами.

Здесь радости — не наше обладанье;
Пролетные пленители земли
Лишь по пути заносят к нам преданье
О благах, нам обещанных вдали;
Земли жилец безвыходный — Страданье;
Ему на часть Судьбы нас обрекли;
Блаженство нам по слуху лишь знакомец;
Земная жизнь — страдания питомец.

И сколь душа велика сим страданьем!
Сколь радости при нем помрачены!

Когда, простясь свободно с упованьем,
В величии покорной тишины,
Она молчит пред грозным испытаньем,
Тогда... тогда с сей светлой вышины
Вся промысла ей видима дорога;
Она полна понятного ей бога.

О! матери печаль непостижима,
Смиряются все мысли пред тобой!
Как милое сокровище, таима,
Как бытие, слиянная с душой,
Она с одним лишь небом разделима...
Что ей сказать дерзнет язык земной?
Что мир с своим презренным утешеньем
Перед ее великим вдохновеньем?

Когда грустишь, о матерь, одинока,
Скажи, тебе не слышится ли глас,
Призывное несущий издалека,
Из той страны, куда всё манит нас,
Где милое скрывается до срока,
Где возвратим отнятое на час?
Не сходит ли к душе благовеститель,
Земных утрат и неба изъяснитель?

И в горнее унынием влекома,
Не верою ль душа твоя полна?
Не мнится ль ей, что отческого дома
Лишь только вход земная сторона?
Что милая небесная знакома
И ждущею семьей населена?
Всё тайное не зрится ль откровенным,
А бытие великим и священным?

Внемли ж: когда молчит во храме пенье
И вышних сил мы чувствуем нисход;
Когда в алтарь на жертвосовершенье
Сосуд Любви сияющий грядет;
И на тебя с детьми благословенье
Торжественно мольба с небес зовет;
В час таинства, когда союзом тесным
Соединен житейский мир с небесным, —

Уже в сей час не будет, как бывало,
Отшедшая твоя наречена;
Об ней навек земное замолчало;
Небесному она передана;
Задернулось за нею покрывало...
В божественном святилище она,
Незрима нам, но видя нас оттоле,
Безмолвствует при жертвенном престоле.

Святый символ надежд и утешенья!
Мы все стоим у та́инственных врат;
Опущена завеса провиденья;
Но проникать ее дерзает взгляд;
За нею скрыт предел соединенья;
Из-за нее, мы слышим, говорят:
«Мужайтеся; душою не скорбите!
С надеждою и с верой приступите!»

Январь 1819

ЦВЕТ ЗАВЕТА

Мой милый цвет, былинка полевая,
Скорей покинь приют твой луговой:
Теперь тебя рука нашла родная;
Доселе ты с непышной красотой
Цвела в тиши, очей не привлекая
И путника не радуя собой;
Ты здесь была желанью неприметна,
Чужда любви и сердцу безответна.

Но для меня твой вид — очарованье;
В твоих листах вся жизнь минувших лет;
В них милое цветет воспоминанье;
С них веет мне давнишнего привет;
Смотрю... и всё, что мило, на свиданье
С моей душой, к тебе, родимый цвет,
Воздушною слетелося толпою,
И прошлое воскресло предо мною.

И всех друзей душа моя узнала...
Но где ж они? На миг с путей земных

На север мой мечта вас прикликала,
Сопутников младенчества родных...
Вас жадная рука не удержала,
И голос ваш, пленив меня, затих.
О, будь же вам заменою свиданья
Мой северный цветок воспоминанья!

Он вспомнит вам союза час священный,
Он возвратит вам прошлы времена...
О сладкий час! о вечер незабвенный!
Как божий рай, цвела там сторона;
Безоблачен был запад озаренный,
И свежая на землю тишина
Как ясное предчувствие сходила;
Природа вся с душою говорила.

И к нам тогда, как Гений, прилетало
За песнею веселой старины
Прекрасное, что некогда бывало
Товарищем младенческой весны;
Отжившее нам снова оживало;
Минувших лет семьей окружены,
Всё лучшее мы зрели настоящим, —
И время нам казалось нелетящим.

И *Верная* была незримо с нами...
Сии окрест волшебные места,
Сей тихий блеск заката за горами,
Сия небес вечерних чистота,
Сей мир души, согласный с небесами,
Со всем была, как таинство, слита
Ее душа присутствием священным,
Невидимым, но сердцу откровенным.

И нас *Ее* любовь благословляла;
И ободрял на благо тихий глас...
Друзья, тогда Судьба еще молчала
О жребиях, назначенных для нас;
Неизбранны, на дне ее фиала
Они еще таились в оный час;
Играли мы на тайном праге света...
Тогда был дан вам мною *цвет завета*.

И где же вы? .. Разрознен круг наш тесный;
Разлучена веселая семья;
Из области младенчества прелестной
Разведены мы в розные края...
Но розно ль мы? Повсюду в поднебесной,
О верные, далекие друзья,
Прекрасная всех благ земных примета,
Для нас цветет наш милый цвет завета.

Из северной, любовию избранной
И промыслом указанной страны
К вам ныне шлю мой дар обетованный;
Да скажет он друзьям моей весны,
Что выпал мне на часть удел желанный;
Что младости мечты совершены;
Что не вотще доверенность к надежде
И что *Теперь* пленительно, как *Прежде*.

Да скажет он, что в наш союз прекрасной
Еще один товарищ приведен...
На путь земной из люльки безопасной
Нам подает младую руку он;
Его лицо невинностию ясно,
И жизнь над ним как легкий веет сон;
Беспечному предав его веселью,
Судьба молчит над тихой колыбелью.

Но сладостным предчувствием теснится
На сердце мне грядущего мечта:
Младенчества веселый сон промчится,
Разоблачат житейское лета,
Огнем души сей взор воспламенится,
И мужески созреет красота;
Дойдут к нему возвышенные вести
О праотцах, о доблести, о чести...

О! да поймет он их знаменованье,
И жизнь его да будет им верна!
Да перейдет, как чистое преданье
Прекрасных дел, в другие времена!
Что б ни было судьбы обетованье,

Лишь благом будь она освящена!..
Вы ж, милые, товарища примите
И путь его земной благословите.

А ты, наш цвет, питомец скромный луга,
Символ любви и жизни молодой,
От севера, от запада, от юга
Летай к друзьям желанною молвой;
Будь голосом, приветствующим друга;
Посол души, внимаемый душой,
О верный цвет, без слов беседуй с нами
О том, чего не выразить словами.

16 июня — 2 июля 1819

К МИМОПРОЛЕТЕВШЕМУ ЗНАКОМОМУ ГЕНИЮ

Скажи, кто ты, пленитель безымянной?
С каких небес примчался ты ко мне?
Зачем опять влечешь к обетованной,
Давно, давно покинутой стране?

Не ты ли тот, который жизнь младую
Так сладостно мечтами усыплял
И в старину про гостью неземную —
Про милую надежду ей шептал?

Не ты ли тот, кем всё во дни прекрасны
Так жило там, в счастливых тех краях,
Где луг душист, где воды светло-ясны,
Где весел день на чистых небесах?

Не ты ль во грудь с живым весны дыханьем
Таинственной унылостью влетал,
Ее теснил томительным желаньем
И трепетным весельем волновал?

Поэзии священным вдохновеньем
Не ты ль с душой носился в высоту,
Пред ней горел божественным виденьем,
Разоблачал ей жизни красоту?

В часы утрат, в часы печали тайной,
Не ты ль всегда беседой сердца был,
Его смирял утехою случайной
И тихою надеждою целил?

И не тебе ль всегда она внимала
В чистейшие минуты бытия,
Когда судьбы святыню постигала,
Когда лишь бог свидетель был ея?

Какую ж весть принес ты, мой пленитель?
Или опять мечтой лишь поманишь
И, прежних дум напрасный пробудитель,
О счастии шепнешь и замолчишь?

О Гений мой, побудь еще со мною;
Бывалый друг, отлетом не спеши:
Останься, будь мне жизнию земною;
Будь ангелом-хранителем души.

7 августа 1819

К ПОРТРЕТУ ГЕТЕ

Свободу смелую приняв себе в закон,
Всезрящей мыслию над миром он носился.
    И в мире всё постигнул он —
    И ничему не покорился.

7—10 августа 1819

НЕВЫРАЗИМОЕ

(Отрывок)

Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
И разновидное с единством согласила!
Но где, какая кисть ее изобразила?

Едва-едва одну ее черту
С усилием поймать удастся вдохновенью...
Но льзя ли в мертвое живое передать?
Кто мог создание в словах пересоздать?
Невыразимое подвластно ль выраженью?..
Святые таинства, лишь сердце знает вас.
Не часто ли в величественный час
Вечернего земли преображенья —
Когда душа смятенная полна
Пророчеством великого виденья
И в беспредельное унесена —
Спирается в груди болезненное чувство,
Хотим прекрасное в полете удержать,
Ненареченному хотим названье дать —
И обессиленно безмолвствует искусство?
Что видимо очам — сей пламень облаков,
По небу тихому летящих,
Сие дрожанье вод блестящих,
Сии картины берегов
В пожаре пышного заката —
Сии столь *яркие черты* —
Легко их ловит мысль крылата,
И есть *слова* для их *блестящей* красоты.
Но то, что слито с сей блестящей красотою, —
Сие столь смутное, волнующее нас,
Сей внемлемый одной душою
Обворожающего глас,
Сие к далекому стремленье,
Сей миновавшего привет
(Как прилетевшее незапно дуновенье
От луга родины, где был когда-то цвет,
Святая молодость, где жило упованье),
Сие шепнувшее душе воспоминанье
О милом радостном и скорбном старины,
Сия сходящая святыня с вышины,
Сие присутствие создателя в созданье —
Какой для них язык?.. Горé душа летит,
Всё необъятное в единый вздох теснится,
И лишь молчание понятно говорит.

Вторая половина августа 1819

* * *

Взошла заря. Дыханием приятным
Сманила сон с моих она очей;
Из хижины за гостем благодатным
Я восходил на верх горы моей;
Жемчуг росы по травкам ароматным
Уже блистал младым огнем лучей,
И день взлетел, как гений светлокрылой!
И жизнью всё живому сердцу было.

Я восходил; вдруг тихо закурился
Туманный дым в долине над рекой;
Густел, редел, тянулся, и клубился,
И вдруг взлетел, крылатый, надо мной,
И яркий день с ним в бледный сумрак слился,
Задернулась окрестность пеленой,
И, влажною пустыней окруженный,
Я в облаках исчез уединенный...

27 ноября 1819

ТРИ ПУТНИКА

В свой край возвратяся из дальней земли,
Три путника в гости к старушке зашли.

«Прими, приюти нас на темную ночь;
Но где же красавица? Где твоя дочь?»

«Принять, приютить вас готова, друзья;
Скончалась красавица дочка моя».

В светлице свеча пред иконой горит,
В светлице красавица в гробе лежит.

И первый, поднявший покров гробовой,
На мертвую смотрит с унылой душой:

«Ах! если б на свете еще ты жила,
Ты мною б отныне любима была!»

Другой покрывало опять наложил,
И горько заплакал, и взор опустил:

«Ах, милая, милая, ты ль умерла?
Ты мною так долго любима была!»

Но третий опять покрывало поднял
И мертвую в бледны уста целовал:

«Тебя я любил; мне тебя не забыть;
Тебя я и в вечности буду любить!»

Начало 1820

ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ О ЛУНЕ

ПОСЛАНИЕ К ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ МАРИИ ФЕДОРОВНЕ

Хотя и много я стихами
Писал про светлую луну,
Но я лишь тень ее одну
Моими бледными чертами
Неверно мог изобразить.
Здесь, государыня, пред вами
Осмелюсь вкратце повторить
Всё то, что ветреный мой гений,
Летучий невидимка, мне
В минуты светлых вдохновений
Шептал случайно о луне.

Когда с усопшим на коне
Скакала робкая *Людмила,*
Тогда в стихах моих луна
Неверным ей лучом светила;
По темным облакам она
Украдкою перебегала;
То вся была меж них видна,
То пряталась, то зажигала
Края волнующихся туч;
И изредка бродящий луч
Ужасным блеском отражался
На хладной белизне лица
И в тусклом взоре мертвеца.

Когда ж в санях с *Светланой* мчался
Другой известный нам мертвец,
Тогда кругом луны венец
Сквозь завес снежного тумана
Сиял на мутных небесах;
И с вещей робостью Светлана
В недвижных спутника очах
Искала взора и привета...
Но, взор на месяц устремив,
Был неприветно-молчалив
Пришелец из другого света. —
Я помню: рыцарь *Адельстан,*
Свершитель страшного обета,
Сквозь хладный вечера туман
По Рейну с сыном и женою
Плыл, озаряемый луною;
И очарованный челнок
По влаге волн под небом ясным
Влеком был лебедем прекрасным;
Тогда роскошный ветерок,
Струи лаская, тихо веял
И парус пурпурный лелеял;
И, в небе плавая одна,
Сквозь сумрак тонкого ветрила
Сияньем трепетным луна
Пловцам задумчивым светила
И челнока игривый след,
И пышный лебедя хребет,
И цепь волшебную златила. —
Но есть еще челнок у нас;
Под бурею, в полночный час
Пловец неведомый с *Варвиком*
По грозно воющей реке
Однажды плыл в том челноке;
Сквозь рев воды протяжным криком
Младенец их на помощь звал;
Ужасно вихорь тучи гнал,
И великанскими главами
Валы вставали над валами,
И всё гремело в темноте;
Тогда *рог месяца блестящий*
Прорезал тучи в высоте

И, став над бездною кипящей,
Весь ужас бури осветил:
Засеребрилися вершины
Встающих, падающих волн...
И на скалу помчался челн;
Среди сияющей пучины
На той скале Варвика ждал
Младенец — неизбежный мститель,
И руку сам невольно дал
Своей погибели губитель;
Младенца нет; Варвик исчез...
Вмиг ужас бури миновался;
И ясен посреди небес,
Вдруг успокоенных, остался
Над усмиренною рекой,
Как радость, месяц молодой. —
Когда ж невидимая сила
Без кормщика и без ветрила
Вадима в третьем челноке
Стремила по Днепру-реке,
Над ним безоблачно сияло
В звездах величие небес;
Река, надводный темный лес,
Высокий берег — всё дремало;
И ярко полная луна
От горизонта подымалась,
И одичалая страна
Очам Вадимовым являлась...
Ему луна сквозь темный бор
Лампадой та́инственной светит;
И всё, что изумленный взор
Младого путника ни встретит,
С его душою говорит
О чем-то горестно-ужасном,
О чем-то близком и прекрасном...
С невольной робостью он зрит
Пригорок, храм, могильный камень;
Над повалившимся крестом
Какой-то легкий веет пламень,
И сумрачен сидит на нем
Недвижный ворон, сторож ночи,
Туманные уставив очи

побѣдителю-ученику отъ побѣжденнаго-учителя.
въ тотъ высокоторжественный день въ который онъ окончилъ свою
поэму Русланъ и Людмила
1820 Марта 26 великая пятница

I

Неотвратимо на луну;
Он слышит: что-то тишину
Смутило; древний крест шатнулся,
И сонный ворон встрепенулся;
И кто-то бледной тенью встал,
Пошел ко храму, помолился...
Но храм пред ним не отворился,
И в отдаленьи он пропал,
Слиясь, как дым, с ночным туманом.
И дале трепетный Вадим;
И вдруг является пред ним
На холме светлым великаном
Пустынный замок; блеск луны
На стены сыплется зубчаты;
В кудрявый мох облечены
Их неприступные раскаты:
Ворота заперты скалой;
И вот уже над головой
Луна, достигнув полуночи;
И видят путниковы очи
Двух дев: одна идет стеной,
Другая к ней идет на стену,
Друг другу руку подают,
Прощаются и врозь идут,
Свершив задумчивую смену...
Но то, как девы спасены,
Уж не касается луны. —
Еще была воспета мною
Одна прекрасная луна:
Когда пылала пред Москвою
Святая русская война —
В рядах отечественной рати,
Певец, по слуху знавший бой,
Стоял я с лирой боевой
И мщенье пел для ратных братий.
Я помню ночь: как бранный щит,
Луна в небесном рдела мраке,
Наш стан молчаньем был покрыт,
И ратник в лиственном биваке
Вооруженный мирно спал;
Лишь стражу стража окликал;
Костры дымились, пламенея,

И кое-где перед огнем,
На ярком пламени чернея,
Стоял казак с своим конем,
Окутан буркою косматой;
Там острых копий ряд крылатой
В сияньи месяца сверкал;
Вблизи уланов ряд лежал;
Над ними их дремали кони;
Там грозные сверкали брони;
Там пушек заряженных строй
Стоял с готовыми громами;
Стрелки, припав к ним головами,
Дремали, и под их рукой
Фитиль курился роковой;
И в отдаленьи полосами,
Слиянны с дымом облаков,
Биваки дымные врагов
На крае горизонта рдели;
Да кое-где вблизи, вдали
Тела, забытые в пыли,
В ужасном образе чернели
На ярких месяца лучах...
И между тем на небесах,
Над грозным полем истребленья,
Ночные мирные виденья
Свершались мирно, как всегда:
Младая вечера звезда
Привычной прелестью пленяла;
Неизменяема, сияла
Луна земле с небес родных,
Не зная ужасов земных;
И было тихо всё в природе,
Как там, на отдаленном своде:
Спокойно лес благоухал,
И воды к берегам ласкались,
И берега в них отражались,
И ветерок равно порхал
Над благовонными цветами,
Над лоном трепетных зыбей,
Над бронями, над знаменами
И над безмолвными рядами
Объятых сном богатырей...

Творенье божие не знало
О человеческих бедах
И беззаботно ожидало,
Что ночь пройдет и в небесах
Опять засветится денница.
А Рок меж тем не засыпал;
Над ратью молча он стоял;
Держала жребии десница;
И взор неизбежимый лица
Им обреченных замечал. —
Еще я много описал
Картин луны: то над гробами
Кладбища сельского она
Катится по́ небу одна,
Сиянием неверным бродит
По дерну свежему холмов
И тени шаткие дерёв
На зелень бледную наводит,
Мелькает быстро по крестам,
В оконницах часовни блещет
И, внутрь ее закравшись, там
На золоте икон трепещет;
То вдруг, как в дыме, без лучей,
Когда встают с холмов туманы,
Задумчиво на дуб *Минваны*
Глядит, и, вея перед ней,
Четой слиянною две тени
Спускаются к любимой сени,
И шорох слышится в листах,
И пробуждается в струнах,
Перстам невидимым послушных,
Знакомый глас друзей воздушных;
То вдруг на *взморье* — где волна,
Плеская, прыщет на каменья
И где в тиши уединенья,
Воспоминанью предана,
Привыкла вслушиваться Дума
В гармонию ночного шума, —
Она, *в величественный час*
Всемирного успокоенья,
Творит волшебные для глаз
На влаге дремлющей виденья;

Иль, тихо зыблясь, в ней горит,
Иль, раздробившись, закипит
С волнами дрогнувшей пучины,
Иль вдруг огромные морщины
По влаге ярко проведет,
Иль огненной змеей мелькнет,
Или под шлюпкою летящей
Забрызжет пеною блестящей...
Довольно; всё пересчитать
Мне трудно с Музою ленивой;
К тому ж ей долг велит правдивой
Вам, государыня, сказать,
Что сколько раз она со мною,
Скитаясь в сумраке ночей,
Ни замечала за луною,
Но всё до сей поры мы с ней
Луны такой не подглядели,
Какою на небе ночном,
В конце прошедшия недели,
Над чистым Павловским прудом
На колоннаде любовались;
Давно, давно не наслаждались
Мы тихим вечером таким;
Казалось всё преображенным;
По небесам уединенным,
Полупотухшим и пустым,
Ни облачка не пролетало;
Ни колыхания в листах;
Ни легкой струйки на водах;
Всё нежилось, всё померкало;
Лишь ярко звездочка одна,
Лампадою гостеприимной
На крае неба зажжена,
Мелькала нам сквозь запад дымной,
И светлым лебедем луна
По бледной синеве востока
Плыла, тиха и одинока;
Под усыпительным лучом
Всё предавалось усыпленью —
Лишь изредка пустым путем,
Своей сопутствуемый тенью,
Шел запоздалый пешеход,

Да сонной пташки содроганье,
Да легкий шум плеснувших вод
Смущали вечера молчанье.
В зерцало ровного пруда
Гляделось мирное светило,
И в лоне чистых вод тогда
Другое небо видно было
С такой же ясною луной,
С такой же тихой красотой;
Но иногда, едва бродящий,
Крылом неслышным ветерок
Дотронувшись до влаги спящей
Слегка наморщивал поток:
Луна звездами рассыпалась;
И смутною во глубине
Тогда краса небес являлась,
Толь мирная на вышине...
Понятное знаменованье
Души в ее земном изгнанье:
Она небесного полна,
А всё земным возмущена.
Но как назвать очарованье,
Которым душу всю луна
Объемлет так непостижимо?
Ты скажешь: ангел невидимо
В ее лучах слетает к нам...
С какою вестью? Мы не знаем;
Но вестника мы понимаем;
Мы верим сладостным словам,
Невыражаемым, но внятным;
Летим неволею за ним
К тем благам сердца невозвратным,
К тем упованиям святым,
Которыми когда-то жили,
Когда с приветною Мечтой,
Еще не встретившись с Судьбой,
У ясной Младости гостили.
Как часто вдруг возвращено
Каким-то быстрым мановеньем
Всё улетевшее давно!
И видим мы воображеньем
Тот свежий луг, где мы цвели;

Даруем жизнь друзьям отжившим;
Былое кажется небывшим
И нас манящим издали;
И то, что *нашим* было прежде,
С чем мы простились навсегда,
Нам мнится *нашим,* как тогда,
И вверенным еще надежде...
Кто ж изъяснит нам, что она,
Сия волшебная луна,
Друг нашей ночи неизменный?
Не остров ли она блаженный
И не гостиница ль земли,
Где, навсегда простясь с землею,
Душа слетается с душою,
Чтоб повидаться издали
С покинутой, но всё любимой
Их прежней жизни стороной?
Как с прага хижины родимой
Над брошенной своей клюкой
С утехой странник отдохнувший
Глядит на путь, уже минувший,
И думает: «Там я страдал,
Там был уныл, там ободрялся,
Там утомленный отдыхал
И с новой силою сбирался».
Так наши, может быть, друзья
(В обетованное селенье
Переведенная семья)
Воспоминаний утешенье
Вкушают, глядя из луны
В пределы здешней стороны.
Здесь и для них была когда-то
Прелестна жизнь, как и для нас;
И их манил надежды глас,
И их испытывала тратой
Тогда им тайная рука
Разгаданного провиденья.
Здесь все их прежние волненья,
Чем жизнь прискорбна, чем сладка,
Любви счастливой упоенья,
Любви отверженной тоска,
Надежды смелость, трепет страха,

Высоких замыслов мечта,
Великость, слава, красота...
Всё стало бедной горстью праха;
И прежних темных, ясных лет
Один для них приметный след:
Тот уголок, в котором где-то,
Под легким дерном гробовым,
Спит сердце, некогда земным,
Смятенным пламенем согрето;
Да, может быть, в краю ином
Еще любовью незабытой
Их бытие и ныне слито,
Как прежде, с нашим бытием;
И ныне с милыми родными
Они беседуют душой;
И, знавшись с тратами земными,
Деля их, не смущаясь ими,
Подчас утехой неземной
На сердце наше налетают
И сердцу тихо возвращают
Надежду, веру и покой.

10—18 июня 1820

ПЕСНЯ

Отымает наши радости
Без замены хладный свет;
Вдохновенье пылкой младости
Гаснет с чувством жертвой лет;
Не одно ланит пылание
Тратим с юностью живой —
Видим сердца увядание
Прежде юности самой.

Наше счастие разбитое
Видим мы игрушкой волн,
И в далекий мрак сердитое
Море мчит наш бедный челн;
Стрелки нет путеводительной,
Иль вотще ее магнит

В бурю к пристани спасительной
Челн беспарусный манит.

Хлад, как будто ускоренная
Смерть, заходит в душу к нам;
К наслажденью охлажденная,
Охладев к самим бедам,
Без стремленья, без желания,
В нас душа заглушена
И навек очарования
Слез отрадных лишена.

На минуту ли улыбкою
Мертвый лик наш оживет,
Или *прежнее* ошибкою
В сердце сонное зайдет —
То обман; то плющ, играющий
По развалинам седым;
Сверху лист благоухающий —
Прах и тление под ним.

Оживите сердце вялое;
Дайте быть по старине;
Иль оплакивать *бывалое*
Слез *бывалых* дайте мне.
Сладко, сладко появление
Ручейка в пустой глуши;
Так и слезы — освежение
Запустевшия души.

1820 (?)

* * *

Теснятся все к тебе во храм,
И все с коленопреклоненьем
Тебе приносят фимиам,
Тебя гремящим славят пеньем;
Я одинок в углу стою,
Как жизнью, полон я тобою,
И жертву тайную мою
Я приношу тебе душою.

4/16 февраля 1821

ЛАЛЛА РУК

Милый сон, души пленитель,
 Гость прекрасный с вышины,
Благодатный посетитель
 Поднебесной стороны,
Я тобою насладился
 На минуту, но вполне:
Добрым вестником явился
 Здесь небесного ты мне.

Мнил я быть в обетованной
 Той земле, где вечный мир;
Мнил я зреть благоуханный
 Безмятежный Кашемир;
Видел я: торжествовали
 Праздник розы и весны
И пришелицу встречали
 Из далекой стороны.

И, блистая и пленяя —
 Словно ангел неземной, —
Непорочность молодая
 Появилась предо мной;
Светлый завес покрывала
 Отенял ее черты,
И застенчиво склоняла
 Взор умильный с высоты.

Всё — и робкая стыдливость
 Под сиянием венца,
И младенческая живость,
 И величие лица,
И в чертах глубокость чувства
 С безмятежной тишиной —
Всё в ней было без искусства
 Неописанной красой!

Я смотрел — а призрак мимо
 (Увлекая душу вслед)
Пролетал невозвратимо;
 Я за ним — его уж нет!

Посетил, как упованье;
  Жизнь минуту озарил;
И оставил лишь преданье,
  Что когда-то в жизни был!

Ах! не с нами обитает
  Гений чистый красоты;
Лишь порой он навещает
  Нас с небесной высоты;
Он поспешен, как мечтанье,
  Как воздушный утра сон;
Но в святом воспоминанье
  Неразлучен с сердцем он!

Он лишь в чистые мгновенья
  Бытия бывает к нам
И приносит откровенья,
  Благотворные сердцам;
Чтоб о небе сердце знало
  В темной области земной,
Нам туда сквозь покрывало
  Он дает взглянуть порой;

И во всем, что *здесь* прекрасно,
  Что наш мир животворит,
Убедительно и ясно
  Он с душою говорит;
А когда нас покидает,
  В дар любви у нас в виду
В нашем небе зажигает
  Он прощальную звезду.

15/27 января — 7/19 февраля 1821

ЯВЛЕНИЕ ПОЭЗИИ В ВИДЕ ЛАЛЛА РУК

К востоку я стремлюсь душою!
Прелестная впервые там
Явилась в блеске над землею
Обрадованным небесам.

Как утро юного творенья,
Она пленительна пришла
И первый пламень вдохновенья
Струнами первыми зажгла.

Везде любовь ее встречает;
Цветет ей каждая страна;
Но всюду милый сохраняет
Обычай родины она.

Так пролетела здесь, блистая
Востока пламенным венцом,
Богиня песней молодая
На паланкине золотом.

Как свежей утренней порою
В жемчуге утреннем цветы,
Она пленяла красотою,
Своей не зная красоты.

И нам с своей улыбкой ясной,
В своей веселости младой,
Она казалася прекрасной
Всеобновляющей весной.

Сама гармония святая —
Ее нам мнилось бытие,
И мнилось, душу разрешая,
Манила в рай она ее.

При ней все мысли наши — пенье!
И каждый звук ее речей,
Улыбка уст, лица движенье,
Дыханье, взгляд — всё песня в ней.

1/13—6/18 февраля 1821

ВОСПОМИНАНИЕ

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: *их нет,*
Но с благодарностию: *были.*

16 февраля 1821

ПОБЕДИТЕЛЬ

Сто красавиц светлооких
Председали на турнире.
Все — цветочки полевые;
А моя одна как роза.
На нее глядел я смело,
Как орел глядит на солнце.
Как от щек моих горячих
Разгоралося забрало!
Как рвалось пробиться сердце
Сквозь тяжелый, твердый панцырь!
Светлых взоров тихий пламень
Стал душе моей пожаром;
Сладкошепчущие речи
Стали сердцу бурным вихрем;
И она — младое утро —
Стала мне грозой могучей;
Я помчался, я ударил —
И ничто не устояло.

1822

МОРЕ

Элегия

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной
любовью,
Тревожною думой наполнено ты.
Безмолвное море, лазурное море,
Открой мне глубокую тайну твою:
Что движет твое необъятное лоно?
Чем дышит твоя напряженная грудь?
Иль тянет тебя из земныя неволи
Далекое, светлое небо к себе?..
Таинственной, сладостной полное жизни,
Ты чисто в присутствии чистом его:
Ты льешься его светозарной лазурью,
Вечерним и утренним светом горишь,

Ласкаешь его облака золотые
И радостно блещешь звездами его.
Когда же сбираются темные тучи,
Чтоб ясное небо отнять у тебя —
Ты бьешься, ты воешь, ты волны
подъемлешь,
Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу...
И мгла исчезает, и тучи уходят,
Но, полное прошлой тревоги своей,
Ты долго вздымаешь испуганны волны,
И сладостный блеск возвращенных небес
Не вовсе тебе тишину возвращает;
Обманчив твоей неподвижности вид:
Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,
Ты, небом любуясь, дрожишь за него.

1822

19 МАРТА 1823

Ты предо мною
Стояла тихо.
Твой взор унылый
Был полон чувства.
Он мне напомнил
О милом прошлом...
Он был последний
На здешнем свете.

Ты удалилась,
Как тихий ангел;
Твоя могила,
Как рай, спокойна!
Там все земные
Воспоминанья,
Там все святые
О небе мысли.

Звезды небес,
Тихая ночь!..

19 (?) марта 1823

ПРИВИДЕНИЕ

В тени дерев, при звуке струн, в сиянье
Вечерних гаснущих лучей,
Как первыя любви очарованье,
Как прелесть первых юных дней —
Явилася она передо мною
В одежде белой, как туман;
Воздушною лазурной пеленою
Был окружен воздушный стан;
Таинственно она ее свивала
И развивала над собой;
То, сняв ее, открытая стояла
С темнокудрявой головой;
То, вдруг всю ткань чудесно распустивши,
Как призрак исчезала в ней;
То, перст к устам и голову склонивши,
Огнем задумчивых очей
Задумчивость на сердце наводила.
Вдруг... покрывало подняла...
Трикраты им куда-то поманила...
И скрылася... как не была!
Вотще продлить хотелось упоенье...
Не возвратилася она;
Лишь грустию по милом привиденье
Душа осталася полна.

1823

НОЧЬ

Уже утомившийся день
Склонился в багряные воды,
Темнеют лазурные своды,
Прохладная стелется тень;
И ночь молчаливая мирно
Пошла по дороге эфирной,
И Геспер летит перед ней
С прекрасной звездою своей.

Сойди, о небесная, к нам
С волшебным твоим покрывалом,

С целебным забвенья фиалом,
Дай мира усталым сердцам.
Своим миротворным явленьем,
Своим усыпительным пеньем
Томимую душу тоской,
Как матерь дитя, успокой.

1823

* * *

Я Музу юную бывало
Встречал в подлунной стороне,
И Вдохновение летало
С небес, незваное, ко мне;
На всё земное наводило
Животворящий луч оно —
И для меня в то время было
Жизнь и поэзия — одно.

Но дарователь песнопений
Меня давно не посещал;
Бывалых нет в душе видений,
И голос арфы замолчал.
Его желанного возврата
Дождаться ль мне когда опять?
Или навек моя утрата
И вечно арфе не звучать?

Но всё, что от времен прекрасных,
Когда он мне доступен был,
Всё, что от милых темных, ясных
Минувших дней я сохранил —
Цветы мечты уединенной
И жизни лучшие цветы, —
Кладу на твой алтарь священной,
О Гений чистой красоты!

Не знаю, светлых вдохновений
Когда воротится чреда —
Но ты знаком мне, чистый Гений!
И светит мне твоя звезда!

Пока еще ее сиянье
Душа умеет различать:
Не умерло очарованье!
Былое сбудется опять.

1822—1824 (?)

ТАИНСТВЕННЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ

Кто ты, призрак, гость прекрасной?
К нам откуда прилетал?
Безответно и безгласно
Для чего от нас пропал?
Где ты? Где твое селенье?
Что с тобой? Куда исчез?
И зачем твое явленье
В поднебесную с небес?

Не Надежда ль ты младая,
Приходящая порой
Из неведомого края
Под волшебной пеленой?
Как она, неумолимо
Радость милую на час
Показал ты, с нею мимо
Пролетел и бросил нас.

Не Любовь ли нам собою
Тайно ты изобразил?..
Дни любви, когда одною
Мир для нас прекрасен был,
Ах! тогда сквозь покрывало
Неземным казался он...
Снят покров; любви не стало;
Жизнь пуста, и счастье — сон.

Не волшебница ли Дума
Здесь в тебе явилась нам?
Удаленная от шума
И мечтательно к устам

Приложивши перст, приходит
    К нам, как ты, она порой
И в минувшее уводит
    Нас безмолвно за собой.

Иль в тебе сама святая
    Здесь Поэзия была?..
К нам, как ты, она из рая
    Два покрова принесла:
Для небес лазурно-ясный,
    Чистый, белый для земли;
С ней всё близкое прекрасно,
    Всё знакомо, что вдали.

Иль Предчувствие сходило
    К нам во образе твоем
И понятно говорило
    О небесном, о святом?
Часто в жизни так бывало:
    Кто-то светлый к нам летит,
Подымает покрывало
    И в далекое манит.

1824

МОТЫЛЕК И ЦВЕТЫ

Поляны мирной украшение,
Благоуханные цветы,
Минутное изображение
Земной, минутной красоты;
Вы равнодушно расцветаете,
Глядяся в воды ручейка,
И равнодушно упрекаете
В непостоянстве мотылька.

Во дни весны с востока ясного,
Младой денницей пробужден,
В пределы бытия прекрасного
От высоты спустился он.

Исполненный воспоминанием
Небесной, чистой красоты,
Он вашим радостным сиянием
Пленился, милые цветы.

Он мнил, что вы с ним однородные
Переселенцы с вышины,
Что вам, как и ему, свободные
И крылья и душа даны;
Но вы к земле, цветы, прикованы;
Вам на земле и умереть;
Глаза лишь вами очарованы,
А сердца вам не разогреть.

Не рождены вы для внимания;
Вам непонятен чувства глас;
Стремишься к вам без упования;
Без горя забываешь вас.
Пускай же к вам, резвясь, ласкается,
Как вы, минутный ветерок;
Иною прелестью пленяется
Бессмертья вестник мотылек...

Но есть меж вами два избранные,
Два ненадменные цветка;
Их имена, им сердцем данные,
К ним привлекают мотылька.
Они без пышного сияния;
Едва приметны красотой:
Один есть цвет воспоминания,
Сердечной думы цвет другой.

О милое воспоминание
О том, чего уж в мире нет!
О дума сердца — упование
На лучший, неизменный свет!
Блажен, кто вас среди губящего
Волненья жизни сохранил
И с вами низость настоящего
И пренебрег и позабыл.

1824 (?)

К ГЕТЕ

Творец великих вдохновений!
Я сохраню в душе моей
Очарование мгновений,
Столь счастливых в близи твоей!

Твое вечернее сиянье
Не о закате говорит!
Ты юноша среди созданья!
Твой гений, как творил, творит.

Я в сердце уношу надежду
Еще здесь встретиться с тобой:
Земле знакомую одежду
Не скоро скинет *гений* твой.

В далеком полуночном свете
Твоею музою я жил.
И для меня мой *гений Гете*
Животворитель жизни был!

Почто судьба мне запретила
Тебя узреть в моей весне?
Тогда душа бы воспалила
Свой пламень на твоем огне.

Тогда б вокруг меня создался
Иной, чудесно-пышный свет;
Тогда б и обо мне остался
В потомстве слух: он был поэт!

6—7 сентября/25—26 августа 1827

HOMER

Веки идут, и веки уходят; а пенье Гомера
Всё раздается, и свеж, вечен Гомеров венец.
Долго думав, природа вдруг создала и, создавши,
Молвила так: одного будет Гомера земле!

1829

ЗАМОК НА БЕРЕГУ МОРЯ

«Ты видел ли замок на бреге морском?
Играют, сияют над ним облака;
Лазурное море прекрасно кругом».

«Я замок тот видел на бреге морском;
Сияла над ним одиноко луна;
Над морем клубился холодный туман».

«Шумели ль, плескали ль морские валы?
С их шумом, с их плеском сливался ли глас
Веселого пенья, торжественных струн?»

«Был ветер спокоен; молчала волна;
Мне слышалась в замке печальная песнь;
Я плакал от жалобных звуков ее».

«Царя и царицу ты видел ли там?
Ты видел ли с ними их милую дочь,
Младую, как утро весеннего дня?»

«Царя и царицу я видел... Вдвоем
Безгласны, печальны сидели они;
Но милой их дочери не было там».

28 марта 1831

ПРИХОД ВЕСНЫ

Зелень нивы, рощи лепет,
В небе жаворонка трепет,
Теплый дождь, сверканье вод, —
Вас назвавши, что прибавить?
Чем иным тебя прославить,
Жизнь души, весны приход?

Вторая половина марта 1831

К ИВ. ИВ. ДМИТРИЕВУ

Нет, не прошла, певец наш вечно юный,
Твоя пора: твой гений бодр и свеж;
Ты пробудил давно молчавши струны,
И звуки нас пленили те ж.

Нет, никогда ничтожный прах забвенья
Твоим струнам коснуться не дерзнет;
Невидимо их Гений вдохновенья,
Всегда крылатый, стережет.

Державина струнам родные, пели
Они дела тех чудных прошлых лет,
Когда везде мы битвами гремели,
И битвам тем дивился свет.

Ты нам воспел, как «буйные Титаны,
Смутившие Астреи нашей дни,
Ее орлом низринуты, попранны;
В прах! в прах! рекла... и где они?»

И ныне то ж, певец двух поколений,
Под сединой ты третьему поешь
И нам, твоих питомцам вдохновений,
В час славы руку подаешь.

Я помню дни — магически мечтою
Был для меня тогда разубран свет —
Тогда, явясь, сорвал передо мною
Покров с поэзии поэт.

С задумчивым, безмолвным умиленьем
Твой голос я подслушивал тогда
И вопрошал судьбу мою с волненьем:
«Наступит ли и мне череда?»

О! в эти дни как райское виденье
Был с нами *он,* теперь уж неземной,
Он, для меня живое провиденье,
Он, с юности товарищ твой.

О! как при нем всё сердце разгоралось!
Как он для нас всю землю украшал!

В младенческой душе его, казалось,
Небесный ангел обитал...

Лежит венец на мраморе могилы;
Ей молится России верный сын;
И будит в нем для дел прекрасных силы
Святое имя: *Карамзин.*

А ты цвети, певец, наш вдохновитель,
Младый душой под снегом старых дней;
И долго будь нам в старости учитель,
Как был во младости своей.

16 октября 1831

НОЧНОЙ СМОТР

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик;
И ходит он взад и вперед,
И бьет он проворно тревогу.
И в темных гробах барабан
Могучую будит пехоту:
Встают молодцы егеря,
Встают старики гренадеры,
Встают из-под русских снегов,
С роскошных полей италийских,
Встают с африканских степей,
С горючих песков Палестины.

В двенадцать часов по ночам
Выходит трубач из могилы;
И скачет он взад и вперед,
И громко трубит он тревогу.
И в темных могилах труба
Могучую конницу будит:
Седые гусары встают,
Встают усачи кирасиры;
И с севера, с юга летят,
С востока и с запада мчатся
На легких воздушных конях
Один за другим эскадроны.

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает полководец;
На нем сверх мундира сюртук;
Он с маленькой шляпой и шпагой;
На старом коне боевом
Он медленно едет по фрунту;
И маршалы едут за ним,
И едут за ним адъютанты;
И армия честь отдает.
Становится он перед нею;
И с музыкой мимо его
Проходят полки за полками.

И всех генералов своих
Потом он в кружок собирает,
И ближнему на ухо сам
Он шепчет пароль свой и лозунг;
И армии всей отдают
Они тот пароль и тот лозунг:
И *Франция* — тот их пароль,
Тот лозунг — *Святая Елена.*
Так к старым солдатам своим
На смотр генеральный из гроба
В двенадцать часов по ночам
Встает император усопший.

Январь—март (?) 1836

‹ИЗ АЛЬБОМА, ПОДАРЕННОГО ГР. РАСТОПЧИНОЙ›

‹А. С. ПУШКИН›

Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза.
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем, — в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью

Было объято оно: мнилося мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось:
что видишь?

Начало февраля 1837

* * *

Ведая прошлое, видя грядущее, скальд вдохновенный
Сладкие песни поет в вечнозеленом венце,
Он раздает лишь достойным награды рукой
неподкупной —
Славный великий удел выпал ему на земле.
Силе волшебной возвышенных песней покорствуют гробы,
В самом прахе могил ими герои живут.

29 мая — 3 июня (ст. ст.) 1838

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Элегия

(Второй перевод из Грея)

Колокол поздний кончину отшедшего дня возвещает;
С тихим блеяньем бредет через поле усталое стадо;
Медленным шагом домой возвращается пахарь, уснувший
Мир уступая молчанью и мне. Уж бледнеет окрестность,
Мало-помалу теряясь во мраке, и воздух наполнен
Весь тишиною торжественной; изредка только промчится
Жук с усыпительно-тяжким жужжаньем, да рог
отдаленный,
Сон наводя на стада, порою невнятно раздастся;
Только с вершины той пышно плющом украшенной башни
Жалобным криком сова пред тихой луной обвиняет
Тех, кто, случайно зашедши к ее гробовому жилищу,
Мир нарушают ее безмолвного, древнего царства.
Здесь под навесом нагнувшихся вязов, под свежею тенью
Ив, где зеленым дерном могильные холмы покрыты,
Каждый навек затворяся в свою одинокую келью,
Спят непробудно смиренные предки села. Ни веселый
Голос прохладно-душистого утра, ни ласточки ранней
С кровли соломенной трель, ни труба петуха, ни
отзывный
Рог — ничто не подымет их боле с их бедной постели.

Яркий огонь очага уж для них не зажжется; не будет
Их вечеров услаждать хлопотливость хозяйки; не будут
Дети тайком к дверям подбегать, чтоб подслушать, нейдут ли
С поля отцы, и к ним на колена тянуться, чтоб первый
Прежде других схватить поцелуй. Как часто серпам их
Нива богатство свое отдавала; как часто их острый
Плуг побеждал упорную глыбу; как весело в поле
К трудной работе они выходили; как звучно топор их
В лесе густом раздавался, рубя вековые деревья!
Пусть издевается гордость над их полезною жизнью,
Низкий удел и семейственный мир поселян презирая;
Пусть величие с хладной насмешкой читает простую
Летопись бедного; знатность породы, могущества пышность,
Всё, чем блестит красота, чем богатство пленяет, всё будет
Жертвой последнего часа: ко гробу ведет нас и слава.
Кто обвинит их за то, что над прахом смиренным их память
Пышных гробниц не воздвигла; что в храмах, по сводам высоким,
В блеске торжественном свеч, в благовонном дыму фимиама,
Им похвала не гремит, повторенная звучным органом?
Надпись на урне иль дышащий в мраморе лик не воротят
В прежнюю область ее отлетевшую жизнь, и хвалебный
Голос не тронет безмолвного праха, и в хладно-немое
Ухо смерти не вкрадется сладкий ласкательства лепет.
Может быть, здесь в могиле, ничем не заметной, истлело
Сердце, огнем небесным некогда полное; стала
Прахом рука, рожденная скипетр носить иль восторга
Пламень в живые струны вливать. Но наука пред ними
Свитков своих, богатых добычей веков, не раскрыла,
Холод нужды умертвил благородный их пламень, и сила
Гением полной души их бесплодно погибла навеки.
О! как много чистых, прекрасных жемчужин сокрыто
В темных, неведомых нам глубинах океана! Как часто
Цвет родится на то, чтоб цвести незаметно и сладкий
Запах терять в беспредельной пустыне! Быть может,
Здесь погребен какой-нибудь Гампден незнаемый, грозный

Мелким тиранам села, иль Мильтон, немой и неславный,
Или Кромвель, неповинный в крови сограждан.
Всемогущим
Словом сенат покорять, бороться с судьбою, обилье
Щедрою сыпать рукой на цветущую область и в громких
Плесках отечества жизнь свою слышать — то рок
запретил им;
Но, ограничив в добре их, равно и во зле ограничил:
Не дал им воли стремиться к престолу стезею убийства,
Иль затворять милосердия двери пред страждущим
братом,
Или, коварствуя, правду таить, иль стыда на ланитах
Чистую краску терять, иль срамить вдохновенье святое,
Гласом поэзии славя могучий разврат и фортуну.
Чуждые смут и волнений безумной толпы, из-за тесной
Грани желаньям своим выходить запрещая, вдоль
свежей,
Сладко-бесшумной долины жизни они тихомолком
Шли по тропинке своей, и здесь их приют безмятежен.
Кажется, слышишь, как дышит кругом их спокойствие
неба,
Все тревоги земные смиряя, и мнится, какой-то
Сердце объемлющий голос, из тихих могил подымаясь,
Здесь разливает предчувствие вечного мира. Чтоб праха
Мертвых никто не обидел, надгробные камни с простою
Надписью, с грубой резьбою прохожего молят почтить их
Вздохом минутным; на камнях рука неграмотной музы
Их имена и лета написала, кругом начертавши,
Вместо надгробий, слова из святого писанья, чтоб
скромный
Сельский мудрец по ним умирать научался. И кто же,
Кто в добычу немому забвению эту земную,
Милую, смутную жизнь предавал и с цветущим пределом
Радостно-светлого дня расставался, назад не бросая
Долгого, томного, грустного взгляда? Душа, удаляясь,
Хочет на нежной груди отдохнуть, и очи, темнея,
Ищут прощальной слезы; из могилы нам слышен
знакомый
Голос, и в нашем прахе живет бывалое пламя.
Ты же, заботливый друг погребенных без славы, простую
Повесть об них рассказавший, быть может, кто-нибудь,
сердцем

Близкий тебе, одинокой мечтою сюда приведенный,
Знать пожелает о том, что случилось с тобой, и, быть
может,
Вот что расскажет ему о тебе старожил поседелый:
«Часто видали его мы, как он на рассвете поспешным
Шагом, росу отряхая с травы, всходил на пригорок
Встретить солнце; там, на мшистом, изгибистом корне
Старого вяза, к земле приклонившего ветви, лежал он
В полдень и слушал, как ближний ручей журчит,
извиваясь;
Вечером часто, окончив дневную работу, случалось
Нам видать, как у входа в долину стоял он, за солнцем
Следуя взором и слушая зяблицы позднюю песню;
Также не раз мы видали, как шел он вдоль леса
с какой-то
Грустной улыбкой и что-то шептал про себя, наклонивши
Голову, бледный лицом, как будто оставленный целым
Светом и мучимый тяжкою думой или безнадежным
Горем любви. Но однажды поутру его я не встретил,
Как бывало, на холме, и в полдень его не нашел я
Подле ручья, ни после в долине; прошло и другое
Утро и третье; но он не встречался нигде — ни на холме
Рано, ни в полдень подле ручья, ни в долине
Вечером. Вот мы однажды поутру печальное пенье
Слышим: его на кладбище несли. Подойди; здесь
на камне,
Если умеешь, прочтешь, что о нем тогда написали:

Юноша здесь погребен, неведомый счастью и славе;
Но при рожденьи он был небесною музой присвоен,
И меланхолия знаки свои на него положила.
Был он душой откровенен и добр, его наградило
Небо: несчастным давал, что имел он, — слезу;
и в награду
Он получил от неба самое лучшее — друга.
Путник, не трогай покоя могилы: здесь всё, что
в нем было
Некогда доброго, все его слабости робкой надеждой
Преданы в лоно благого отца, правосудного бога».

Май—июль 1839

БОРОДИНСКАЯ ГОДОВЩИНА

Русский царь созвал дружины
Для великой годовщины
На полях Бородина.
Там земля окрещена:
Кровь на ней была святая;
Там, престол и Русь спасая,
Войско целое легло
И престол и Русь спасло.

Как ярилась, как кипела,
Как пылала, как гремела
Здесь народная война
В страшный день Бородина!
На полки полки бросались,
Холмы в громах загорались,
Бомбы падали дождем,
И земля тряслась кругом.

А теперь пора иная:
Благовонно-золотая
Жатва блещет по холмам;
Где упорней бились, там
Мирных инокинь обитель;[1]
И один остался зритель
Сих кипевших бранью мест,
Всех решитель браней — крест.

И на пир поминовенья
Рать другого поколенья
Новым, славным уж царем
Собрана на месте том,
Где предместники их бились,
Где столь многие свершились
Чудной храбрости дела,
Где земля их прах взяла.

---

[1] Спасо-Бородинский монастырь, основанный близ села Семеновского вдовою генерала А. А. Тучкова на той батарее, где он убит, сражаясь храбро. Тело его не было отыскано. Все кости, найденные на сем месте, были зарыты в одну могилу, над которою теперь возвышается церковь, и в этой церкви гробница Тучкова. *(Примеч. автора.)*

Так же рать числом обильна;
Так же мужество в ней сильно;
Те ж орлы, те ж знамена́
И полков те ж имена...
А в рядах другие стали;
И серебряной медали,
Прежним данной ей царем,
Не видать уж ни на ком.

И вождей уж прежних мало:
Много в день великий пало
На земле Бородина;
Позже тех взяла война;
Те, свершив в Париже тризну
По Москве и рать в отчизну
Проводивши, от земли
К храбрым братьям отошли.

Где Смоленский, вождь спасенья?
Где герой, пример смиренья,
Введший рать в Париж, Барклай?
Где, и свой и чуждый край
Дерзкой бодростью дививший
И под старость сохранивший
Всё, что в молодости есть,
Коновницын, ратных честь?

Неподкупный, неизменный,
Хладный вождь в грозе военной,
Жаркий сам подчас боец,
В дни спокойные мудрец,
Где Раевский? Витязь Дона,
Русской рати оборона,
Неприятелю аркан,
Где наш Вихорь-Атаман?

Где наездник, вождь летучий,
С кем врагу был страшной тучей
Русских тыл и авангард,
Наш Роланд и наш Баярд,
Милорадович? Где славный
Дохтуров, отвагой равный

И в Смоленске на стене
И в святом Бородине?

И других взяла судьбина:
В бое зрев погибель сына,
Рано Строганов увял;
Нет Сен-При; Ланской наш пал;
Кончил Тормасов; могила
Неверовского сокрыла;
В гробе старец Ланжерон;
В гробе старец Бенингсон.

И боец, сын Аполлонов...
Мнил он гроб Багратионов
Проводить в Бородино...
Той награды не дано:
Вмиг Давыдова не стало!
Сколько славных с ним пропало
Боевых преданий нам!
Как в нем друга жаль друзьям!

И тебя мы пережили,
И тебя мы схоронили,
Ты, который трон и нас
Твердым царским словом спас,
Вождь вождей, царей диктатор,
Наш великий император,
Мира светлая звезда,
И твоя пришла чреда!

О, година русской славы!
Как теснились к нам державы!
Царь наш с ними к чести шел!
Как спасительно он ввел
Рать Москвы к врагам в столицу!
Как незлобно он десницу
Протянул врагам своим!
Как гордился русский им!

Вдруг... от всех честей далеко,
В бедном крае, одиноко,
Перед плачущей женой,

Наш владыка, наш герой,
Гаснет царь благословенной;
И за гробом сокрушенно,
В погребальный слившись ход,
Вся империя идет.

И *его* как не бывало,
Перед кем всё трепетало! ..
Есть далекая скала;
Вкруг скалы морская мгла;
С морем степь слилась другая,
Бездна неба голубая;
К той скале путь загражден...
Там зарыт Наполеон.

Много с тех времен, столь чудных,
Дней блистательных и трудных
С новым зрели мы царем;
До Стамбула русский гром
Был доброшен по Балкану;
Миром мстили мы султану;
И вскатил на Арарат
Пушки храбрый наш солдат.

И всё царство Митридата
До подошвы Арарата
Взял наш северный Аякс;
Русской гранью стал Аракс;
Арзерум сдался нам дикий;
Закипел мятеж великий;
Пред Варшавой стал наш фрунт,
И с Варшавой рухнул бунт.

И, нежданная ограда,
Флот наш был у стен Царьграда;
И с турецких берегов,
В память северных орлов,
Русский сторож на Босфоре,
Отразясь в заветном море,
Мавзолей наш говорит:
«Здесь был русский стан разбит».

Всходит дневное светило
Так же ясно, как всходило
В чудный день Бородина;
Рать в колонны собрана,
И сияет перед ратью
Крест небесной благодатью,
И под ним в виду колонн
В гробе спит Багратион.

Здесь он пал, Москву спасая,
И, далеко умирая,
Слышал весть: Москвы уж нет!
И опять он здесь, одет
В гробе дивною бронею,
Бородинскою землею;
И великий в гробе сон
Видит вождь Багратион.

В этот час тогда здесь бились!
И враги, ярясь, ломились
На холмы Бородина;
А теперь их тишина,
Небом полная, объемлет,
И как будто бы подъемлет
Из-за гроба голос свой
Рать усопшая к живой.

Несказанное мгновенье!
Лишь изрек, свершив моленье,
Предстоявший алтарю:
Память вечная царю!
Вдруг обгрянул залп единый
Бородинские вершины,
И в один великий глас
Вся с ним армия слилась.

Память вечная, наш славный,
Наш смиренный, наш державный,
Наш спасительный герой!
Ты обет изрек святой;
Слово с трона роковое
Повторилось в дивном бое

На полях Бородина:
Им Россия спасена.

Память вечная вам, братья!
Рать младая к вам объятья
Простирает вглубь земли;
Нашу Русь вы нам спасли;
В свой черед мы грудью станем;
В свой черед мы вас помянем,
Если царь велит отдать
Жизнь *за общую нам мать.*

26—28 августа 1839

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАВЛУ ВАСИЛЬЕВИЧУ И АЛЕКСАНДРЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ЖУКОВСКИМ

I. ПТИЧКА

Птичка летает,
Птичка играет,
Птичка поет;
Птичка летала,
Птичка играла,
Птички уж нет!
Где же ты, птичка?
Где ты, певичка?
В дальнем краю
Гнездышко вьешь ты;
Там и поешь ты
Песню свою.

II. КОТИК И КОЗЛИК

Там котик усатый
По садику бродит,
А козлик рогатый
За котиком ходит;

И лапочкой котик
Помадит свой ротик;
А козлик седою
Трясет бородою.

III. ЖАВОРОНОК

На солнце темный лес зардел,
В долине пар белеет тонкий,
И песню раннюю запел
В лазури жаворонок звонкий.

Он голосисто с вышины
Поет, на солнышке сверкая:
Весна пришла к нам молодая,
Я здесь пою приход весны;

Здесь так легко мне, так радушно,
Так беспредельно, так воздушно;
Весь божий мир здесь вижу я.
И славит бога песнь моя!

IV. МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК

Сказка

Жил маленький мальчик:
Был ростом он с пальчик,
Лицом был красавчик,
Как искры глазенки,
Как пух волосенки;
Он жил меж цветочков;
В тени их листочков
В жары отдыхал он,
И ночью там спал он;
С зарей просыпался,
Живой умывался
Росой, наряжался
В листочек атласной
Лилеи прекрасной;
Проворную пчелку
В свою одноколку
Из легкой скорлупки
Потом запрягал он,

И с пчелкой летал он,
И жадные губки
С ней вместе впивал он
В цветы луговые.
К нему золотые
Цикады слетались
И с ним забавлялись,
Кружась с мотыльками,
Жужжа и порхая
И ярко сверкая
На солнце крылами;
Ночною ж порою,
Когда темнотою
Земля покрывалась
И в небе с луною
Одна за другою
Звезда зажигалась,
На луг благовонной
С лампадой зажженной
Лазурно-блестящий
К малютке являлся
Светляк; и сбирался
К нему в круговую
На пляску ночную
Рой альфов летучий;
Они — как бегучий
Источник волнами —
Шумели крылами,
Свивались, сплетались,
Проворно качались
На тонких былинках,
В перловых купались
На травке росинках,
Как искры сверкали
И шумно плясали
Пред ним до полночи.
Когда же на очи
Ему усыпленье,
Под пляску, под пенье,
Сходило — смолкали
И вмиг исчезали
Плясуньи ночные;

Тогда, под живые
Цветы угнездившись
И в сон погрузившись,
Он спал под защитой
Их кровли, омытой
Росой, до восхода
Зари лучезарной
С границы янтарной
Небесного свода.
Так, милый красавчик,
Жил мальчик наш с пальчик...

1851

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛЕБЕДЬ

Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый,
Как же нелюдимо ты, отшельник хилый,
Здесь сидишь на лоне вод уединенных!
Спутников давнишних, прежней современных
Жизни, переживши, сетуя глубоко,
Их ты поминаешь думой одинокой!
Сумрачный пустынник, из уединенья
Ты на молодое смотришь поколенье
Грустными очами; прежнего единый
Брошенный обломок, в новый лебединый
Свет на пир веселый гость не приглашенный,
Ты вступить дичишься в круг неблагосклонный
Резвой молодежи. На водах широких,
На виду царевых теремов высоких,
Пред Чесменской гордо блещущей колонной,
Лебеди младые голубое лоно
Озера тревожат плаваньем, плесканьем,
Боем крыл могучих, белых шей купаньем;
День они встречают, звонко окликаясь;
В зеркале прозрачной влаги отражаясь,
Длинной вереницей, белым флотом стройно
Плавают в сияньи солнца по спокойной
Озера лазури; ночью ж меж звездами
В небе, повторенном тихими водами,
Облаком перловым, вод не зыбля, реют

Иль двойною тенью, дремля, в них белеют;
А когда гуляет месяц меж звездами,
Влагу расшибая сильными крылами,
В блеске волн, зажженных месячным сияньем,
Окруженны брызгов огненных сверканьем,
Кажутся волшебных призраков явленьем —
Племя молодое, полное кипеньем
Жизни своевольной. Ты ж старик печальный,
Молодость их образ твой монументальный
Резвую пугает; он на них наводит
Скуку, и в приют твой ни один не входит
Гость из молодежи, ветрено летящей
Вслед за быстрым мигом жизни настоящей.
Но не сетуй, старец, пращур лебединый:
Ты родился в славный век Екатерины,
Был ее ласкаем царскою рукою, —
Памятников гордых битве под Чесмою,
Битве при Калуге воздвиженье зрел ты;
С веком Александра тихо устарел ты;
И, почти столетний, в веке Николая
Видишь, угасая, как вся Русь святая
Вкруг царевой силы — вековой зеленый
Плющ вкруг силы дуба — вьется под короной
Царской, от окрестных бурь ища защиты.

Дни текли за днями. Лебедь позабытый
Таял одиноко; а младое племя
В шуме резвой жизни забывало время...
Раз среди их шума раздался чудесно
Голос, всю пронзивший бездну поднебесной;
Лебеди, услышав голос, присмирели
И, стремимы тайной силой, полетели
На́ голос: пред ними, вновь помолоделый,
Радостно вздымая перья груди белой,
Голову на шее гордо распрямленной
К небесам подъемля, — весь воспламененный,
Лебедь благородный дней Екатерины
Пел, прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый!
А когда допел он — на небо взглянувши
И крылами сильно дряхлыми взмахнувши, —

К небу, как во время оное бывало,
Он с земли рванулся... и его не стало
В высоте... и навзничь с высоты упал он;
И прекрасен мертвый на хребте лежал он,
Широко раскинув крылья, как летящий,
В небеса вперяя взор уж не горящий.

Ноябрь — начало декабря 1851

БАЛЛАДЫ

ЛЮДМИЛА

«Где ты, милый? Что с тобою?
С чужеземною красою,
Знать, в далекой стороне
Изменил, неверный, мне,
Иль безвременно могила
Светлый взор твой угасила».
Так Людмила, приуныв,
К персям очи приклонив,
На распутии вздыхала.
«Возвратится ль он, — мечтала, —
Из далеких, чуждых стран
С грозной ратию славян?»

Пыль туманит отдаленье;
Светит ратных ополченье;
Топот, ржание коней;
Трубный треск и стук мечей;
Прахом панцыри покрыты;
Шлемы лаврами обвиты;
Близко, близко ратных строй;
Мчатся шумною толпой
Жены, чада, обрученны...
«Возвратились незабвенны!..»
А Людмила?.. Ждет-пождет...
«Там дружину он ведет;

Сладкий час — соединенье!..»
Вот проходит ополченье;

Миновался ратных строй...
Где ж, Людмила, твой герой?
Где твоя, Людмила, радость?
Ах! прости, надежда-сладость!
Всё погибло: друга нет.
Тихо в терем свой идет,
Томну голову склонила:
«Расступись, моя могила;
Гроб, откройся; полно жить;
Дважды сердцу не любить».

«Что с тобой, моя Людмила? —
Мать со страхом возопила. —
О, спокой тебя творец!» —
«Милый друг, всему конец;
Что прошло — невозвратимо;
Небо к нам неумолимо;
Царь небесный нас забыл...
Мне ль он счастья не сулил?
Где ж обетов исполненье?
Где святое провиденье?
Нет, немилостив творец;
Всё прости, всему конец».

«О Людмила, грех роптанье;
Скорбь — создателя посланье;
Зла создатель не творит;
Мертвых стон не воскресит». —
«Ах! родная, миновалось!
Сердце верить отказалось!
Я ль, с надеждой и мольбой,
Пред иконою святой
Не точила слез ручьями?
Нет, бесплодными мольбами
Не призвать минувших дней;
Не цвести душе моей.

Рано жизнью насладилась,
Рано жизнь моя затмилась,
Рано прежних лет краса.
Что взирать на небеса?
Что молить неумолимых?

Возвращу ль невозвратимых?» —
«Царь небес, то скорби глас!
Дочь, воспомни смертный час;
Кратко жизни сей страданье;
Рай — смиренным воздаянье,
Ад — бунтующим сердцам;
Будь послушна небесам».

«Что, родная, муки ада?
Что небесная награда?
С милым вместе — всюду рай;
С милым розно — райский край
Безотрадная обитель.
Нет, забыл меня спаситель!»
Так Людмила жизнь кляла;
Так творца на суд звала...
Вот уж солнце за горами;
Вот усыпала звездами
Ночь спокойный свод небес;
Мрачен дол, и мрачен лес.

Вот и месяц величавой
Встал над тихою дубравой;
То из облака блеснет,
То за облако зайдет;
С гор простерты длинны тени;
И лесов дремучих сени,
И зерцало зыбких вод,
И небес далекий свод
В светлый сумрак облеченны...
Спят пригорки отдаленны,
Бор заснул, долина спит...
Чу!.. полночный час звучит.

Потряслись дубов вершины;
Вот повеял от долины
Перелетный ветерок...
Скачет по полю ездок,
Борзый конь и ржет и пышет.
Вдруг... идут... (Людмила слышит)
На чугунное крыльцо...
Тихо брякнуло кольцо...

Тихим шепотом сказали...
(Все в ней жилки задрожали)
То знакомый голос был,
То ей милый говорил:

«Спит иль нет моя Людмила?
Помнит друга иль забыла?
Весела иль слезы льет?
Встань, жених тебя зовет». —
«Ты ль? Откуда в час полночи?
Ах! едва прискорбны очи
Не потухнули от слез.
Знать, тронулся царь небес
Бедной девицы тоскою.
Точно ль милый предо мною?
Где же был? Какой судьбой
Ты опять в стране родной?»

«Близ Наревы дом мой тесный.
Только месяц поднебесный
Над долиною взойдет,
Лишь полночный час пробьет —
Мы коней своих седлаем,
Темны кельи покидаем.
Поздно я пустился в путь.
Ты моя; моею будь...
Чу! совы пустынной крики.
Слышишь? Пенье, брачны лики.
Слышишь? Борзый конь заржал.
Едем, едем, час настал».

«Переждем хоть время ночи;
Ветер встал от полуночи;
Хладно в поле, бор шумит;
Месяц тучами закрыт». —
«Ветер буйный перестанет;
Стихнет бор, луна проглянет;
Едем, нам сто верст езды.
Слышишь? Конь грызет бразды,
Бьет копытом с нетерпенья.
Миг нам страшен замедленья;

Краткий, краткий дан мне срок;
Едем, едем, путь далек».

«Ночь давно ли наступила?
Полночь только что пробила.
Слышишь? Колокол гудит». —
«Ветер стихнул; бор молчит;
Месяц в водный ток глядится;
Мигом борзый конь домчится». —
«Где ж, скажи, твой тесный дом?» —
«Там, в Литве́, краю чужом:
Хладен, тих, уединенный,
Свежим дерном покровенный;
Саван, крест и шесть досток.
Едем, едем, путь далек».

Мчатся всадник и Людмила.
Робко дева обхватила
Друга нежною рукой,
Прислонясь к нему главой.
Скоком, лётом по долинам,
По буграм и по равнинам;
Пышет конь, земля дрожит;
Брызжут искры от копыт;
Пыль катится вслед клубами;
Скачут мимо них рядами
Рвы, поля, бугры, кусты;
С громом зыблются мосты.

«Светит месяц, дол сребрится;
Мертвый с девицею мчится;
Путь их к келье гробовой.
Страшно ль, девица, со мной?» —
«Что до мертвых? что до гроба?
Мертвых дом — земли утроба». —
«Чу! в лесу потрясся лист.
Чу! в глуши раздался свист.
Черный ворон встрепенулся;
Вздрогнул конь и отшатнулся;
Вспыхнул в поле огонек». —
«Близко ль, милый?» — «Путь далек».

Слышат шорох тихих теней:
В час полуночных видений,
В дыме облака, толпой,
Прах оставя гробовой
С поздним месяца восходом,
Легким, светлым хороводом
В цепь воздушную свились;
Вот за ними понеслись;
Вот поют воздушны лики:
Будто в листьях повилики
Вьется легкий ветерок;
Будто плещет ручеек.

«Светит месяц, дол сребрится;
Мертвый с девицею мчится;
Путь их к келье гробовой.
Страшно ль, девица, со мной?» —
«Что до мертвых? что до гроба?
Мертвых дом — земли утроба». —
«Конь, мой конь, бежит песок;
Чую ранний ветерок;
Конь, мой конь, быстрее мчися;
Звезды утренни зажглися,
Месяц в облаке потух.
Конь, мой конь, кричит петух».

«Близко ль, милый?» — «Вот
примчались».
Слышут: сосны зашатались;
Слышут: спал с ворот запор;
Борзый конь стрелой на двор.
Что же, что в очах Людмилы?
Камней ряд, кресты, могилы,
И среди них божий храм.
Конь несется по гробам;
Стены звонкий вторят топот;
И в траве чуть слышный шепот,
Как усопших тихий глас. . .
Вот денница занялась.

Что же чудится Людмиле?
К свежей конь примчась могиле,

Бух в нее и с седоком.
Вдруг — глухой подземный гром;
Страшно доски затрещали;
Кости в кости застучали;
Пыль взвилася; обруч хлоп;
Тихо, тихо вскрылся гроб...
Что же, что в очах Людмилы?..
Ах, невеста, где твой милый?
Где венчальный твой венец?
Дом твой — гроб; жених —
мертвец.

Видит труп оцепенелый:
Прям, недвижим, посинелый,
Длинным саваном обвит.
Страшен милый прежде вид;
Впалы мертвые ланиты;
Мутен взор полуоткрытый;
Руки сложены крестом.
Вдруг привстал... манит перстом...
«Кончен путь: ко мне, Людмила;
Нам постель — темна могила;
Завес — саван гробовой;
Сладко спать в земле сырой».

Что ж Людмила?.. Каменеет,
Меркнут очи, кровь хладеет,
Пала мертвая на прах.
Стон и вопли в облаках;
Визг и скрежет под землею;
Вдруг усопшие толпою
Потянулись из могил;
Тихий, страшный хор завыл:
«Смертных ропот безрассуден;
Царь всевышний правосуден;
Твой услышал стон творец;
Час твой бил, настал конец».

14 апреля 1808

КАССАНДРА

Всё в обители Приама
Возвещало брачный час:
Запах роз и фимиама,
Гимны дев и лирный глас.
Спит гроза минувшей брани,
Щит, и меч, и конь забыт,
Облечен в пурпурны ткани
С Поликсеною Пелид.

Девы, юноши четами
По узорчатым коврам,
Украшенные венками,
Идут веселы во храм;
Стогны дышут фимиамом;
В злато царский дом одет;
Снова счастье над Пергамом...
Для Кассандры счастья нет.

Уклонясь от лирных звонов,
Нелюдима и одна,
Дочь Приама в Аполлонов
Древний лес удалена.
Сводом лавров осененна,
Сбросив жрический покров,
Провозвестница священна
Так роптала на богов:

«Там шумят веселых волны;
Всем душа оживлена;
Мать, отец надеждой полны;
В храм сестра приведена.
Я одна мечты лишенна;
Ужас мне — что радость там;
Вижу, вижу: окриленна
Мчится Гибель на Пергам.

Вижу факел — он светлеет
Не в Гименовых руках;
И не жертвы пламя рдеет
На сгущенных облаках;

Зрю пиров уготовленье...
Но... горе́, по небесам
Слышно бога приближенье,
Предлетящего бедам.

И вотще мое стенанье,
И печаль моя мне стыд:
Лишь с пустынями страданье
Сердце сирое делит.
От счастливых отчужденна,
Веселящимся позор,
Я тобой всех благ лишенна,
О предвидения взор!

Что Кассандре дар вещанья
В сем жилище скромных чад
Безмятежного незнанья
И блаженных им стократ?
Ах! почто она предвидит
То, чего не отвратит?..
Неизбежное приидет,
И грозящее сразит.

И спасу ль их, открывая
Близкий ужас их очам?
Лишь незнанье — жизнь прямая;
Знанье — смерть прямая нам.
Феб, возьми твой дар опасной,
Очи мне спеши затмить;
Тяжко истины ужасной
Смертною скуделью быть.

Я забыла славить радость,
Став пророчицей твоей.
Слепоты погибшей сладость,
Мирный мрак минувших дней,
С вами скрылись наслажденья!
Он мне будущее дал,
Но веселие мгновенья
Настоящего отнял.

Никогда покров венчальный
Мне главы не осенит:

Вижу факел погребальный;
Вижу: ранний гроб открыт.
Я с родными скучну младость
Всю утратила в тоске —
Ах, могла ль делить их радость,
Видя скорбь их вдалеке?

Их ласкает ожиданье;
Жизнь, любовь передо мной;
Всё окрест — очарованье,
Я одна мертва душой.
Для меня весна напрасна;
Мир цветущий пуст и дик...
Ах, сколь жизнь тому ужасна,
Кто во глубь ее проник!

Сладкий жребий Поликсены!
С женихом рука с рукой,
Взор, любовью распаленный,
И, гордясь сама собой,
Благ своих не постигает:
В сновидениях златых
И бессмертья не желает
За один с Пелидом миг.

И моей любви открылся
Тот, кого мы ждем душой:
Милый взор ко мне стремился,
Полный страстною тоской...
Но — для нас перед богами
Брачный гимн не возгремит;
Вижу: грозно между нами
Тень Стигийская стоит.

Духи, бледною толпою
Покидая мрачный ад,
Вслед за мной и предо мною
Неотступные летят;
В резвы юношески лики
Вносят ужас за собой;
Внемля радостные клики,
Внемлю их надгробный вой.

Там сокрытый блеск кинжала;
Там убийцы взор горит;
Там невидимого жала
Яд погибелью грозит.
Всё предчувствуя и зная,
В страшный путь сама иду:
Ты падешь, страна родная;
Я в чужбине гроб найду. . .»

И слова еще звучали. . .
Вдруг. . . шумит священный лес. . .
И зефиры глас примчали:
«Пал великий Ахиллес!»
Машут Фурии змиями,
Боги мчатся к небесам. . .
И карающий громами
Грозно смотрит на Пергам.

<Сентябрь> 1809

СВЕТЛАНА

А. А. Воейковой

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.

Тускло светится луна
В сумраке тумана —
Молчалива и грустна
Милая Светлана.

«Что, подруженька, с тобой?
    Вымолви словечко;
Слушай песни круговой;
    Вынь себе колечко.
Пой, красавица: «Кузнец,
Скуй мне злат и нов венец,
    Скуй кольцо златое;
Мне венчаться тем венцом,
Обручаться тем кольцом
    При святом налое».

«Как могу, подружки, петь?
    Милый друг далёко;
Мне судьбина умереть
    В грусти одинокой.
Год промчался — вести нет;
    Он ко мне не пишет;
Ах! а им лишь красен свет,
    Им лишь сердце дышит...
Иль не вспомнишь обо мне?
Где, в какой ты стороне?
    Где твоя обитель?
Я молюсь и слезы лью!
Утоли печаль мою,
    Ангел-утешитель».

Вот в светлице стол накрыт
    Белой пеленою;
И на том столе стоит
    Зеркало с свечою;
Два прибора на столе.
    «Загадай, Светлана;
В чистом зеркала стекле
    В полночь без обмана
Ты узнаешь жребий свой:
Стукнет в двери милый твой
    Легкою рукою;
Упадет с дверей запор;
Сядет он за свой прибор
    Ужинать с тобою».

Вот красавица одна;
    К зеркалу садится;

С тайной робостью она
    В зеркало глядится;
Тёмно в зеркале; кругом
    Мертвое молчанье;
Свечка трепетным огнем
    Чуть лиет сиянье...
Робость в ней волнует грудь,
Страшно ей назад взглянуть,
    Страх туманит очи...
С треском пыхнул огонек,
Крикнул жалобно сверчок,
    Вестник полуночи.

Подпершися локотком,
    Чуть Светлана дышит...
Вот... легохонько замком
    Кто-то стукнул, слышит;
Робко в зеркало глядит:
    За ее плечами
Кто-то, чудилось, блестит
    Яркими глазами...
Занялся от страха дух...
Вдруг в ее влетает слух
    Тихий, легкий шепот:
«Я с тобой, моя краса;
Укротились небеса;
    Твой услышан ропот!»

Оглянулась... милый к ней
    Простирает руки.
«Радость, свет моих очей,
    Нет для нас разлуки.
Едем! Поп уж в церкви ждет
    С дьяконом, дьячками;
Хор венчальну песнь поет;
    Храм блестит свечами».
Был в ответ умильный взор;
Идут на широкий двор,
    В ворота тесовы;
У ворот их санки ждут;
С нетерпенья кони рвут
    Повода шелковы.

Сели... кони с места враз;
    Пышут дым ноздрями;
От копыт их поднялась
    Вьюга над санями.
Скачут... пусто всё вокруг;
    Степь в очах Светланы,
На луне туманный круг;
    Чуть блестят поляны.
Сердце вещее дрожит;
Робко дева говорит:
    «Что ты смолкнул, милый?»
Ни полслова ей в ответ:
Он глядит на лунный свет,
    Бледен и унылый.

Кони мчатся по буграм;
    Топчут снег глубокий...
Вот в сторонке божий храм
    Виден одинокий;
Двери вихорь отворил;
    Тьма людей во храме;
Яркий свет паникадил
    Тускнет в фимиаме;
На средине черный гроб;
И гласит протяжно поп:
    «Буди взят могилой!»
Пуще девица дрожит;
Кони мимо; друг молчит,
    Бледен и унылой.

Вдруг метелица кругом;
    Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
    Вьется над санями;
Ворон каркает: *печаль!*
    Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
    Подымая гривы;
Брезжит в поле огонек;
Виден мирный уголок,
    Хижинка под снегом.

Кони борзые быстрей,
Снег взрывая, прямо к ней
Мчатся дружным бегом.

Вот примчалися... и вмиг
Из очей пропали:
Кони, сани и жених
Будто не бывали.
Одинокая, впотьмах,
Брошена от друга,
В страшных девица местах;
Вкруг метель и вьюга.
Возвратиться — следу нет...
Виден ей в избушке свет:
Вот перекрестилась;
В дверь с молитвою стучит...
Дверь шатнулася... скрыпит...
Тихо растворилась.

Что ж?.. В избушке гроб; накрыт
Белою запоной;
Спасов лик в ногах стоит;
Свечка пред иконой...
Ах! Светлана, что с тобой?
В чью зашла обитель?
Страшен хижины пустой
Безответный житель.
Входит с трепетом, в слезах;
Пред иконой пала в прах,
Спасу помолилась;
И, с крестом своим в руке,
Под святыми в уголке
Робко притаилась.

Всё утихло... вьюги нет...
Слабо свечка тлится,
То прольет дрожащий свет,
То опять затмится...
Всё в глубоком мертвом сне,
Страшное молчанье...
Чу, Светлана!.. в тишине
Легкое журчанье...

Вот глядит: к ней в уголок
Белоснежный голубок
С свётлыми глазами,
Тихо вея, прилетел,
К ней на перси тихо сел,
Обнял их крылами.

Смолкло всё опять кругом...
Вот Светлане мнится,
Что под белым полотном
Мертвый шевелится...
Сорвался покров; мертвец
(Лик мрачнее ночи)
Виден весь — на лбу венец,
Затворены очи.
Вдруг.. в устах сомкнутых стон;
Силится раздвинуть он
Руки охладелы...
Что же девица?.. Дрожит...
Гибель близко... но не спит
Голубочек белый.

Встрепенулся, развернул
Легкие он крилы;
К мертвецу на грудь вспорхнул...
Всей лишенный силы,
Простонав, заскрежетал
Страшно он зубами
И на деву засверкал
Грозными очами...
Снова бледность на устах;
В закатившихся глазах
Смерть изобразилась...
Глядь, Светлана... о творец!
Милый друг ее — мертвец!
Ах!.. и пробудилась.

Где ж?.. У зеркала одна
Посреди светлицы;
В тонкий занавес окна
Светит луч денницы;

Шумный бьет крылом петух,
    День встречая пеньем;
Всё блестит... Светланин дух
    Смутен сновиденьем.
«Ах! ужасный, грозный сон!
Не добро вещает он —
    Горькую судьбину;
Тайный мрак грядущих дней,
Что сулишь душе моей,
    Радость иль кручину?»

Села (тяжко ноет грудь)
    Под окном Светлана;
Из окна широкий путь
    Виден сквозь тумана;
Снег на солнышке блестит,
    Пар алеет тонкий...
Чу!.. в дали пустой гремит
    Колокольчик звонкий;
На дороге снежный прах;
Мчат, как будто на крылах,
    Санки кони рьяны;
Ближе; вот уж у ворот;
Статный гость к крыльцу идет...
    Кто?.. Жених Светланы.

Что же твой, Светлана, сон,
    Прорицатель муки?
Друг с тобой; всё тот же он
    В опыте разлуки;
Та ж любовь в его очах,
    Те ж приятны взоры;
Те ж на сладостных устах
    Милы разговоры.
Отворяйся ж, божий храм;
Вы летите к небесам,
    Верные обеты;
Соберитесь, стар и млад;
Сдвинув звонки чаши, в лад
    Пойте: многи леты!

———

Улыбнись, моя краса,
    На мою балладу;
В ней большие чудеса,
    Очень мало складу.
Взором счастливый твоим,
    Не хочу и славы;
Слава — нас учили — дым;
    Свет — судья лукавый.
Вот баллады толк моей:
«Лучший друг нам в жизни сей
    Вера в провиденье.
Благ зиждителя закон:
Здесь несчастье — лживый сон;
    Счастье — пробужденье».

О! не знай сих страшных снов
    Ты, моя Светлана...
Будь, создатель, ей покров!
    Ни печали рана,
Ни минутной грусти тень
    К ней да не коснется;
В ней душа — как ясный день;
    Ах! да пронесется
Мимо — Бедствия рука;
Как приятный ручейка
    Блеск на лоне луга,
Будь вся жизнь ее светла,
Будь веселость, как была,
    Дней ее подруга.

1808—1812

ПУСТЫННИК

«Веди меня, пустыни житель,
    Святой анахорет;
Близка желанная обитель;
    Приветный вижу свет.

Устал я; тьма кругом густая;
    Запал в глуши мой след;

Безбрежней, мнится, степь пустая,
Чем дале я вперед».

«Мой сын (в ответ пустыни житель),
Ты призраком прельщен:
Опасен твой путеводитель —
Над бездной светит он.

Здесь чадам нищеты бездомным
Отверзта дверь моя,
И скудных благ уделом скромным
Делюсь от сердца я.

Войди в гостеприимну келью;
Мой сын, перед тобой
И брашно с жесткою постелью
И сладкий мой покой.

Есть стадо... но безвинных кровью
Руки я не багрил:
Меня творец своей любовью
Щадить их научил.

Обед снимаю непорочный
С пригорков и полей;
Деревья плод дают мне сочный,
Питье дает ручей.

Войди ж в мой дом, забот там чужды;
Нет блага в суете:
Нам малые даны здесь нужды;
На малый миг и те».

Как свежая роса денницы,
Был сладок сей привет;
И робкий гость, склоня зеницы,
Идет за старцем вслед.

В дичи глухой, непроходимой
Его таился кров —
Приют для сироты гонимой,
Для странника покров.

Не пышны в хижине уборы,
Там бедность и покой;
И скрыпнули дверей растворы
Пред мирною четой.

И старец зрит гостеприимной,
Что гость его уныл,
И светлый огонек он в дымной
Печурке разложил.

Плоды и зелень предлагает
С приправой добрых слов;
Беседой скуку озлащает
Медлительных часов.

Кружится резвый кот пред ними,
В углу кричит сверчок,
Трещит меж листьями сухими
Блестящий огонек.

Но молчалив пришлец угрюмый;
Печаль в его чертах;
Душа полна прискорбной думы;
И слезы на глазах.

Ему пустынник отвечает
Сердечною тоской.
«О юный странник, что смущает
Так рано твой покой?

Иль быть убогим и бездомным
Творец тебе судил?
Иль предан другом вероломным?
Или вотще любил?

Увы! спокой себя: презренны
Утехи благ земных;
А тот, кто плачет, их лишенный,
Еще презренней их.

Приманчив дружбы взор лукавой;
Но, ах, как тень вослед

Она за счастием, за славой,
И прочь от хилых бед.

Любовь... любовь Прелест игрою,
Отрава сладких слов,
Незрима в мире, лишь порою
Живет у голубков.

Но, друг, ты робостью стыдливой
Свой нежный пол открыл».
И очи странник торопливой,
Краснея, опустил.

Краса сквозь легкий проникает
Стыдливости покров,
Так утро тихое сияет
Сквозь завес облаков.

Трепещут перси, взор склоненный,
Как роза цвет ланит...
И деву-прелесть изумленный
Отшельник в госте зрит.

«Простишь ли, старец, дерзновенье,
Что робкою стопой
Вошла в твое уединенье,
Где бог один с тобой!

Любовь — надежд моих губитель,
Моих виновник бед;
Ищу покоя, но мучитель —
Тоска за мною вслед.

Отец мой знатностию, славой
И пышностью гремел,
Я дней его была забавой,
Он всё во мне имел.

И рыцари стеклись толпою;
Мне предлагали в дар
Те чистый, сходный с их душою,
А те притворный жар.

И каждый лестью вероломной
Привлечь меня мечтал...
Но в их толпе Эдвин был скромной;
Эдвин, любя, молчал.

Ему с смиренной нищетою
Судьба одно дала:
Пленять высокою душою;
И та моей была.

Роса на розе, цвет душистой
Фиалки полевой
Едва сравниться могут с чистой
Эдвиновой душой.

Но цвет с небесною росою
Живут единый миг:
Он одарен был их красою,
Я — легкостию их.

Я гордой, хладною казалась,
Но мил он втайне был;
Увы! любя, я восхищалась,
Когда он слезы лил.

Несчастный! он не снес презренья;
В пустыню он помчал
Свою любовь, свои мученья,
И там в слезах увял.

Но я виновна; мне страданье;
Мне увядать в слезах,
Мне будь пустыня та изгнанье,
Где скрыт Эдвинов прах.

Над тихою его могилой
Конец свой встречу я,
И приношеньем тени милой
Пусть будет жизнь моя». —

«Мальвина!» — старец восклицает,
И пал к ее ногам...

О чудо! их Эдвин лобзает,
Эдвин пред нею сам.

«Друг незабвенный, друг единой!
Опять навек я твой!
Полна душа моя Мальвиной,
И здесь дышал тобой.

Забудь о прошлом; нет разлуки,
Сам бог вещает нам:
Всё в жизни, радости и муки,
Отныне пополам.

Ах! будь и самый час кончины
Для двух сердец один:
Да с милой жизнию Мальвины
Угаснет и Эдвин!»

<Июнь> 1812

АДЕЛЬСТАН

День багрянил, померкая,
Скат лесистых берегов;
Реин, в зареве сияя,
Пышен тек между холмов.

Он летучей влагой пены
За́мок Аллен орошал;
Терема зубчаты стены
Он в потоке отражал.

Девы красные толпою
Из растворчатых ворот
Вышли на берег — игрою
Встретить месяца восход.

Вдруг плывет, к ладье прикован,
Белый лебедь по реке;
Спит, как будто очарован,
Юный рыцарь в челноке.

Алым парусом играет
Легкокрылый ветерок,
И ко брегу приплывает
С спящим рыцарем челнок.

Белый лебедь встрепенулся,
Распустил криле свои;
Дивный плаватель проснулся —
И выходит из ладьи.

И по Реину обратно,
С очарованной ладьей,
Поплыл тихо лебедь статной
И сокрылся из очей.

Рыцарь в замок Аллен входит:
Всё в нем прелесть — взор и стан,
В изумленье всех приводит
Красотою Адельстан.

Меж красавицами Лора
В замке Аллене была
Видом ангельским для взора,
Для души душой мила.

Графы, герцоги толпою
К ней стеклись из дальних стран —
Но умом и красотою
Всех был краше Адельстан.

Он у всех залог победы
На турнирах похищал;
Он вечерние беседы
Всех милее оживлял.

И приветны разговоры
И приятный блеск очей
Влили нежность в сердце Лоры —
Милый стал супругом ей.

Исчезает сновиденье —
Вслед за днями мчатся дни;

Их в сердечном упоенье
И не чувствуют они.

Лишь случается порою,
Что, на воды взор склонив,
Рыцарь бродит над рекою,
Одинок и молчалив.

Но при взгляде нежной Лоры
Возвращается покой;
Оживают тусклы взоры
С оживленною душой.

Невидимкой пролетает
Быстро время — наконец,
Улыбаясь, возвещает
Другу Лора: ты отец!

Но безмолвно и уныло
На младенца смотрит он.
«Ах! — он мыслит, — ангел милой,
Для чего ты в свет рожден?»

И когда обряд крещенья
Патер должен был свершить,
Чтоб водою искупленья
Душу юную омыть, —

Как преступник перед казнью,
Адельстан затрепетал;
Взор наполнился боязнью;
Хлад по членам пробежал.

Запинаясь, умоляет
День обряда отложить.
«Сил недуг меня лишает
С вами радость разделить!»

Солнце спряталось за гору;
Окропился луг росой;
Он зовет с собою Лору
Встретить месяц над рекой.

«Наш младенец будет с нами,
При дыханьи ветерка
Тихоструйными волнами
Усыпит его река».

И пошли рука с рукою...
День на холмах догорал;
Молча, сумрачен душою,
Рыцарь сына лобызал.

Вот уж поздно; солнце село;
Отуманился поток;
Черен берег опустелой;
Холодеет ветерок.

Рыцарь всё молчит, печален;
Всё идет вдоль по реке;
Лоре страшно; замок Аллен
С час как скрылся вдалеке.

«Поздно, милый; уж седеет
Мгла сырая над рекой;
С вод холодный ветер веет;
И дрожит младенец мой».

«Тише, тише! Пусть седеет
Мгла сырая над рекой;
Грудь моя младенца греет;
Сладко спит младенец мой».

«Поздно, милый; поневоле
Страх в мою теснится грудь;
Месяц бледен; сыро в поле;
Долог нам до замка путь».

Но молчит, как очарован,
Рыцарь, глядя на реку...
Лебедь там плывет, прикован
Легкой цепью к челноку.

Лебедь к берегу — и с сыном
Рыцарь сесть в челнок спешит;

Лора вслед за паладином...
    Обомлела и дрожит.

И, осанясь, лебедь статной
    Легкой цепию повлек
Вдоль по Реину обратно
    Очарованный челнок.

Небо в Реине дрожало,
    И луна из дымных туч
На ладью сквозь парус алой
    Проливала темный луч.

И плывут они, безмолвны;
    За кормой струя бежит;
Тихо плещут в лодку волны;
    Парус вздулся и шумит.

И на береге молчанье;
    И на месяце туман;
Лора в робком ожиданье;
    В смутной думе Адельстан.

Вот уж ночи половина;
    Вдруг... младенец стал кричать.
«Адельстан, отдай мне сына!» —
    Возопила в страхе мать.

«Тише, тише; он с тобою.
    Скоро... ах! кто даст мне сил?
Я ужасною ценою
    За блаженство заплатил.

Спи, невинное творенье;
    Мучит душу голос твой;
Спи, дитя; еще мгновенье —
    И навек тебе покой».

Лодка к брегу — рыцарь с сыном
    Выйти на берег спешит;
Лора вслед за паладином,
    Пуще млеет и дрожит.

Страшен берег обнаженный;
Нет ни жила, ни древес;
Черен, дик, уединенный,
В стороне стоит утес.

И пещера под скалою —
В ней не зрело око дна;
И чернеет пред луною
Страшным мраком глубина.

Сердце Лоры замирает;
Смотрит робко на утес.
Звучно к бездне восклицает
Паладин: «Я дань принес!»

В бездне звуки отразились;
Отзыв грянул вдоль реки;
Вдруг... из бездны появились
Две огромные руки.

К ним приблизил рыцарь сына...
Цепенеющая мать,
Возопив, у паладина
Жертву бросилась отнять

И воскликнула: «Спаситель!..»
Глас достигнул к небесам:
Жив младенец, а губитель
Ниспровергнут в бездну сам.

Страшно, страшно застонало
В грозных сжавшихся когтях...
Вдруг всё пусто, тихо стало
В глубине и на скалах.

Январь (?) 1813 (?)

ИВИКОВЫ ЖУРАВЛИ

На Посидонов пир веселый,
Куда стекались чада Гелы
Зреть бег коней и бой певцов,
Шел Ивик, скромный друг богов.

Ему с крылатою мечтою
Послал дар песней Аполлон;
И с лирой, с легкою клюкою
Шел, вдохновенный, к Истму он.

Уже его открыли взоры
Вдали Акрокоринф и горы,
Слиянны с синевой небес.
Он входит в Посидонов лес...
Всё тихо: лист не колыхнется;
Лишь журавлей по вышине
Шумящая станица вьется
В страны полуденны к весне.

«О спутники, ваш рой крылатый,
Досель мой верный провожатый,
Будь добрым знамением мне.
Сказав: прости! родной стране,
Чужого брега посетитель,
Ищу приюта, как и вы;
Да отвратит Зевес-хранитель
Беду от страннической главы».

И с твердой верою в Зевеса
Он в глубину вступает леса;
Идет заглохшею тропой...
И зрит убийц перед собой.
Готов сразиться он с врагами;
Но час судьбы его приспел:
Знакомый с лирными струнами,
Напрячь он лука не умел.

К богам и к людям он взывает...
Лишь эхо стоны повторяет —
В ужасном лесе жизни нет.
«И так погибну в цвете лет,
Истлею здесь без погребенья
И не оплакан от друзей;
И сим врагам не будет мщенья
Ни от богов, ни от людей».

И он боролся уж с кончиной...
Вдруг... шум от стаи журавлиной;

Он слышит (взор уже угас)
Их жалобно-стенящий глас.
«Вы, журавли под небесами,
Я вас в свидетели зову!
Да грянет, привлеченный вами,
Зевесов гром на их главу».

И труп узрели обнаженный;
Рукой убийцы искаженны
Черты прекрасного лица.
Коринфский друг узнал певца.
«И ты ль недвижим предо мною?
И на главу твою, певец,
Я мнил торжественной рукою
Сосновый положить венец».

И внемлют гости Посидона,
Что пал наперсник Аполлона...
Вся Греция поражена;
Для всех сердец печаль одна.
И с диким ревом исступленья
Пританов окружил народ
И во́пит: «Старцы, мщенья, мщенья!
Злодеям казнь, их сгибни род!»

Но где их след? Кому приметно
Лицо врага в толпе несметной
Притекших в Посидонов храм?
Они ругаются богам.
И кто ж — разбойник ли презренный,
Иль тайный враг удар нанес?
Лишь Гелиос то зрел священный,
Всё озаряющий с небес.

С подъятой, может быть, главою,
Между шумящею толпою,
Злодей сокрыт в сей самый час
И хладно внемлет скорби глас;
Иль в капище, склонив колени,
Жжет ладан гнусною рукой;
Или теснится на ступени
Амфитеатра за толпой,

Где, устремив на сцену взоры
(Чуть могут их сдержать подпоры),
Пришед из ближних, дальних стран,
Шумя, как смутный океан,
Над рядом ряд, сидят народы;
И движутся, как в бурю лес,
Людьми кипящи переходы,
Всходя до синевы небес.

И кто сочтет разноплеменных,
Сим торжеством соединенных?
Пришли отвсюду: от Афин,
От древней Спарты, от Микин,
С пределов Азии далекой,
С Эгейских вод, с Фракийских гор...
И сели в тишине глубокой,
И тихо выступает хор.

По древнему обряду, важно,
Походкой мерной и протяжной,
Священным страхом окружен,
Обходит вкруг театра он.
Не шествуют так персти чада;
Не здесь их колыбель была.
Их стана дивная громада
Предел земного перешла.

Идут с поникшими главами
И движут тощими руками
Свечи, от коих темный свет;
И в их ланитах крови нет;
Их мертвы лица, очи впалы;
И, свитые меж их власов,
Ехидны движут с свистом жалы,
Являя страшный ряд зубов.

И стали вкруг, сверкая взором;
И гимн запели диким хором,
В сердца вонзающий боязнь;
И в нем преступник слышит: *казнь!*
Гроза души, ума смутитель,
Эринний страшный хор гремит;

И, цепенея, внемлет зритель;
И лира, онемев, молчит:

«Блажен, кто незнаком с виною,
Кто чист младенчески душою!
Мы не дерзнем ему вослед;
Ему чужда дорога бед...
Но вам, убийцы, горе, горе!
Как тень, за вами всюду мы,
С грозою мщения во взоре,
Ужасные созданья тьмы.

Не мните скрыться — мы с крылами;
Вы в лес, вы в бездну — мы за вами;
И, спутав вас в своих сетях,
Растерзанных бросаем в прах.
Вам покаянье не защита;
Ваш стон, ваш плач — веселье нам;
Терзать вас будем до Коцита,
Но не покинем вас и там».

И песнь ужасных замолчала;
И над внимавшими лежала,
Богинь присутствием полна,
Как над могилой, тишина.
И тихой, мерною стопою
Они обратно потекли,
Склонив главы, рука с рукою,
И скрылись медленно вдали.

И зритель — зыблемый сомненьем
Меж истиной и заблужденьем —
Со страхом мнит о Силе той,
Которая, во мгле густой
Скрываяся, неизбежима,
Вьет нити роковых сетей,
Во глубине лишь сердца зрима,
Но скрыта от дневных лучей.

И всё, и всё еще в молчанье...
Вдруг на ступенях восклицанье:
«Парфений, слышишь?.. Крик вдали —

То Ивиковы журавли!..»
И небо вдруг покрылось тьмою;
И воздух весь от крыл шумит;
И видят... черной полосою
Станица журавлей летит.

«Что? Ивик!..» Всё поколебалось —
И имя Ивика помчалось
Из уст в уста... шумит народ,
Как бурная пучина вод.
«Наш добрый Ивик! наш, сраженный
Врагом незнаемым, поэт!..
Что, что в сем слове сокровенно?
И что сих журавлей полет?»

И всем сердцам в одно мгновенье,
Как будто свыше откровенье,
Блеснула мысль: «Убийца тут;
То Эвменид ужасных суд;
Отмщенье за певца готово;
Себе преступник изменил.
К суду и тот, кто молвил слово,
И тот, кем он внимаем был!»

И, бледен, трепетен, смятенный,
Незапной речью обличенный,
Исторгнут из толпы злодей;
Перед седалище судей
Он привлечен с своим клевретом;
Смущенный вид, склоненный взор
И тщетный плач был их ответом;
И смерть была им приговор.

1813

ВАРВИК

Никто не зрел, как ночью бросил в волны
Эдвина злой Варвик;
И слышали одни брега безмолвны
Младенца жалкий крик.

От подданных погибшего губитель
Владыкой признан был —
И в Ирлингфор, уже как повелитель,
Торжественно вступил.

Стоял среди цветущия равнины
Старинный Ирлингфор,
И пышные с высот его картины
Повсюду видел взор.

Авон, шумя под древними стенами,
Их пеной орошал,
И низкий брег с лесистыми холмами
В струях его дрожал.

Там пламенел брегов на тихом склоне
Закат сквозь редкий лес;
И трепетал во дремлющем Авоне
С звездами свод небес.

Вдали, вблизи рассыпанные села
Дымились по утрам;
От резвых стад равнина вся шумела,
И вторил лес рогам.

Спешил, с пути прохожий совратяся,
На Ирлингфор взглянуть,
И, красотой картин его пленяся,
Он забывал свой путь.

Один Варвик был чужд красам природы:
Вотще в его глазах
Цветут леса, вияся блещут воды
И радость на лугах.

И устремить, трепещущий, не смеет
Он взора на Авон:
Оттоль зефир во слух убийцы веет
Эдвинов жалкий стон.

И в тишине безмолвной полуночи
Всё тот же слышен крик,

И чудятся блистающие очи
И бледный, странный лик.

Вотще Варвик с родных брегов уходит —
Приюта в мире нет:
Страшилищем ужасным совесть бродит
Везде за ним вослед.

И он пришел опять в свою обитель;
А сладостный покой,
И бедности веселый посетитель,
В дому его чужой.

Часы стоят, окованы тоскою;
А месяцы бегут...
Бегут — и день убийства за собою
Невидимо несут.

Он наступил; со страхом провожает
Варвик ночную тень;
Дрожи! (ему глас совести вещает)
Эдвинов смертный день!

Ужасный день: от молний небо блещет;
Отвсюду вихрей стон;
Дождь ливмя льет; волнами с воем плещет
Разлившийся Авон.

Вотще Варвик, среди веселий шума,
Цедит в бокал вино:
С ним за столом садится рядом Дума: —
Питье отравлено.

Тоскующий и грозный призрак бродит
В толпе его гостей;
Везде пред ним, с лица его не сводит
Пронзительных очей.

И день угас, Варвик спешит на ложе...
Но и в тиши ночной
И на одре уединенном то же:
Там сон, а не покой.

И мнит он зреть пришельца из могилы,
Тень брата пред собой;
В чертах болезнь, лик бледный, взор унылый
И голос гробовой.

Таков он был, когда встречал кончину;
И тот же слышен глас,
Каким молил он быть отцом Эдвину
Варвика в смертный час:

«Варвик, Варвик, свершил ли данно слово?
Исполнен ли обет?
Варвик, Варвик, возмездие готово;
Готов ли твой ответ?»

Воспрянул он — глас смолкнул, — разъяренно
Один во мгле ночной
Ревел Авон — но для души смятенной
Был сладок бури вой.

Но вдруг — и въявь, средь шума и волненья,
Раздался смутный крик:
«Спеши, Варвик, спастись от потопленья;
Беги, беги, Варвик!»

И к берегу он мчится — под стеною
Уже Авон кипит;
Глухая ночь; одето небо мглою;
И месяц в тучах скрыт.

И молит он с подъятыми руками:
«Спаси, спаси, творец!»
И вдруг — мелькнул челнок между волнами;
И в челноке пловец.

Варвик зовет, Варвик манит рукою —
Не внемля шума волн,
Пловец сидит спокойно над кормою
И правит к брегу челн.

И с трепетом Варвик в челнок садится —
Стрелой помчался он...
Молчит пловец... молчит Варвик... вот, мнится,
Им слышен тяжкий стон.

На спутника уставил кормщик очи:
«Не слышался ли крик?» —
«Нет, просвистал в твой парус ветер ночи, —
Смутясь, сказал Варвик. —

Правь, кормщик, правь, не скоро челн домчится:
Гроза со всех сторон».
Умолкнули... плывут... вот снова мнится
Им слышать тяжкий стон.

«Младенца крик! он борется с волною;
На помощь он зовет!» —
«Правь, кормщик, правь, река покрыта мглою;
Кто там его найдет?»

«Варвик, Варвик, час смертный зреть ужасно;
Ужасно умирать;
Варвик, Варвик, младенцу ли напрасно
Тебя на помощь звать?

Во мгле ночной он бьется меж водами;
Облит он хладом волн;
Еще его не видим мы очами;
Но он... наш видит челн!»

И снова крик слабеющий, дрожащий,
И близко челнока...
Вдруг в высоте рог месяца блестящий
Прорезал облака;

И с яркими слиялася лучами,
Как дым прозрачный, мгла,
Зрят на скале дитя между волнами,
И тонет уж скала.

Пловец гребет; челнок летит стрелою;
    В смятении Варвик;
И озарен младенца лик луною;
    И страшно бледен лик.

Варвик дрожит — и руку, страха полный,
    К младенцу протянул —
И, со скалы спрыгнув младенец в волны,
    К его руке прильнул.

И вмиг... дитя, челнок, пловец незримы;
    В руках его мертвец:
Эдвинов труп, холодный, недвижимый,
    Тяжелый, как свинец.

Утихло всё — и небеса и волны;
    Исчез в водах Варвик;
Лишь слышали одни брега безмолвны
    Убийцы страшный крик.

24—27 октября 1814

БАЛЛАДА,

В КОТОРОЙ ОПИСЫВАЕТСЯ, КАК ОДНА СТАРУШКА ЕХАЛА НА ЧЕРНОМ КОНЕ ВДВОЕМ И КТО СИДЕЛ ВПЕРЕДИ

На кровле ворон дико прокричал —
    Старушка слышит и бледнеет.
Понятно ей, что ворон тот сказал, —
    Слегла в постель, дрожит, хладеет.

И вопит скорбно: «Где мой сын чернец?
    Ему сказать мне слово дайте;
Увы! я гибну! близок мой конец;
    Скорей, скорей! не опоздайте!»

И к матери идет чернец святой:
    Ее услышать покаянье;
И тайные дары несет с собой,
    Чтоб утолить ее страданье.

Но лишь пришел к одру с дарами он,
    Старушка в трепете завыла;
Как смерти крик ее протяжный стон...
    «Не приближайся! — возопила. —

Не подноси ко мне святых даров;
    Уже не в пользу покаянье...»
Был страшен вид ее седых власов
    И страшно груди колыханье.

Дары святые сын отнес назад
    И к страждущей приходит снова;
Кругом бродил ее потухший взгляд;
    Язык искал, немея, слова.

«Вся жизнь моя в грехах погребена,
    Меня отвергнул искупитель;
Твоя ж душа молитвой спасена,
    Ты будь души моей спаситель!

Здесь вместо дня была мне ночи мгла;
    Я кровь младенцев проливала,
Власы невест в огне волшебном жгла
    И кости мертвых похищала.

И казнь лукавый обольститель мой
    Уж мне готовит в адской злобе;
И я, смутив чужих гробов покой,
    В своем не успокоюсь гробе.

Ах! не забудь моих последних слов:
    Мой труп, обвитый пеленою,
Мой гроб, мой черный гробовой покров
    Ты окропи святой водою.

Чтоб из свинца мой крепкий гроб был слит,
    Семью окован обручами,
Во храм внесен, пред алтарем прибит
    К помосту крепкими цепями.

И цепи окропи святой водой;
    Чтобы священники собором

И день и ночь стояли надо мной
И пели панихиду хором;

Чтоб пятьдесят на крылосах дьячков
За ними в черных рясах пели;
Чтоб день и ночь свечи у образов
Из воску ярого горели;

Чтобы звучней во все колокола
С молитвой день и ночь звонили;
Чтоб заперта во храме дверь была;
Чтоб дьяконы пред ней кадили;

Чтоб крепок был запор церковных врат;
Чтобы с полуночного бденья
Он ни на миг с растворов не был снят
До солнечного восхожденья.

С обрядом тем молитеся три дня,
Три ночи сряду надо мною:
Чтоб не достиг губитель до меня,
Чтоб прах мой принят был землею».

И глас ее быть слышен перестал;
Померкши очи закатились;
Последний вздох в груди затрепетал;
Уста, охолодев, раскрылись.

И хладный труп, и саван гробовой,
И гроб под черной пеленою
Священники с приличною мольбой
Опрыскали святой водою.

Семь обручей на гроб положены;
Три цепи тяжкими винтами
Вонзились в гроб и с ним утверждены
В помост пред царскими дверями.

И вспрыснуты они святой водой;
И все священники в собранье,
Чтоб день и ночь душе на упокой
Свершать во храме поминанье.

Поют дьячки все в черных стихарях
Медлительными голосами;
Горят свечи́ надгробны в их руках,
Горят свечи пред образами.

Протяжный глас, и бледный лик певцов,
Печальный, страшный сумрак храма,
И тихий гроб, и длинный ряд попов
В тумане зыбком фимиама,

И горестный чернец пред алтарем,
Творящий до земли поклоны,
И в высоте дрожащим свеч огнем
Чуть озаренные иконы...

Ужасный вид! колокола звонят;
Уж час полуночного бденья...
И заперлись затворы тяжких врат
Перед начатием моленья.

И в перву ночь от свеч веселый блеск.
И вдруг... к полночи за вратами
Ужасный вой, ужасный шум и треск;
И слышалось: гремят цепями.

Железных врат запор, стуча, дрожит;
Звонят на колокольне звонче;
Молитву клир усерднее творит,
И пение поющих громче.

Гудят колокола, дьячки поют,
Попы молитвы вслух читают,
Чернец в слезах, в кадилах ладан жгут,
И свечи яркие пылают.

Запел петух... и, смолкнувши, бегут
Враги, не совершив ловитвы;
Смелей дьячки на крылосах поют,
Смелей попы творят молитвы.

В другую ночь от свеч темнее свет,
И слабо теплятся кадилы,

И гробовой у всех на лицах цвет,
Как будто встали из могилы.

И снова рев, и шум, и треск у врат;
Грызут замок, в затворы рвутся;
Как будто вихрь, как будто шумный град,
Как будто воды с гор несутся.

Пред алтарем чернец на землю пал,
Священники творят поклоны,
И дым от свеч туманных побежал,
И потемнели все иконы.

Сильнее стук — звучней колокола,
И трепетней поющих голос;
В крови их хлад, объемлет очи мгла,
Дрожат колена, дыбом волос.

Запел петух... и прочь враги бегут,
Опять не совершив ловитвы;
Смелей дьячки на крылосах поют,
Попы смелей творят молитвы.

На третью ночь свечи́ едва горят;
И дым густой и запах серный;
Как ряд теней, попы во мгле стоят;
Чуть виден гроб во мраке черный.

И стук у врат: как будто океан
Под бурею ревет и воет,
Как будто степь песчаную оркан
Свистящими крылами роет.

И звонари от страха чуть звонят,
И руки им служить не вольны;
Час от часу страшнее гром у врат,
И звон слабее колокольный.

Дрожа, упал чернец пред алтарем;
Молиться силы нет; во прахе
Лежит, к земле приникнувши лицом;
Поднять глаза не смеет в страхе.

И певчих хор, досель согласный, стал
Нестройным криком от смятенья:
Им чудилось, что церковь зашатал
Как бы удар землетрясенья.

Вдруг затускнел огонь во всех свечах,
Погасли все и закурились;
И замер глас у певчих на устах,
Все трепетали, все крестились.

И раздалось... как будто оный глас,
Который грянет над гробами;
И храма дверь со стуком затряслась
И на пол рухнула с петлями.

И *Он* предстал, весь в пламени, очам,
Свирепый, мрачный, разъяренной;
И вкруг него огромный божий храм
Казался печью раскаленной!

Едва сказал: «Исчезните!» цепям —
Они рассыпались золою;
Едва рукой коснулся обручам —
Они истлели под рукою.

И вскрылся гроб. *Он* к телу вопиёт:
«Восстань, иди вослед владыке!»
И проступил от слов сих хладный пот
На мертвом, неподвижном лике.

И тихо труп со стоном тяжким встал,
Покорен страшному призванью;
И никогда здесь смертный не слыхал
Подобного тому стенанью.

И ко вратам пошла она с врагом...
Там зрелся конь чернее ночи.
Храпит и ржет и пышет он огнем,
И как пожар пылают очи.

И на коня с добычей прянул враг;
И труп завыл; и быстротечно

Конь полетел, взвивая дым и прах;
И слух об ней пропал навечно.

Никто не зрел, как с нею мчался *Он*...
Лишь страшный след нашли на прахе;
Лишь, внемля крик, всю ночь сквозь тяжкий сон
Младенцы вздрагивали в страхе.

Октябрь 1814

АЛИНА И АЛЬСИМ

Зачем, зачем вы разорвали
Союз сердец?
Вам розно быть! вы им сказали —
Всему конец.
Что пользы в платье золотое
Себя рядить?
Богатство на земле прямое
Одно: любить.

Когда случится, жизни в цвете,
Сказать душой
Ему: *ты будь моя на свете;*
А ей: *ты мой;*
И вдруг придется для другого
Любовь забыть —
Что жребия страшней такого?
И льзя ли жить?

Алина матери призналась:
«Мне мил Альсим;
Давно я втайне поменялась
Душою с ним;
Давно *люблю* ему сказала;
Дай счастье нам!» —
«Нет, дочь моя, за генерала
Тебя отдам».

И в монастырь святой Ирины
Отвозит дочь.

Тоска-печаль в душе Алины
И день и ночь.
Три года длилося изгнанье;
Не усладил
Ни разу друг ее страданье,
Но всё он мил.

Однажды... о! как свет коварен!..
Сказала мать:
«Любовник твой неблагодарен»,
И ей читать
Она дает письмо Альсима.
Его черты:
Прости, другая мной любима;
Свободна ты.

Готово всё: жених приходит;
Идут во храм;
Вокруг налоя их обводит
Священник там.
Увы! Алина, что с тобою?
Кто твой супруг?
Ты сердца не дала с рукою —
В нем прежний друг!

Как смирный агнец на закланье,
Вся убрана;
Вокруг веселье, ликованье —
Она грустна.
Алмазы, платья, ожерелья
Ей мать дарит;
Напрасно... прежнего веселья
Не возвратит.

Но как же дни свои смиренно
Ведет она!
Вся жизнь семье уединенной
Посвящена.
Алины сердце покорилось
Судьбе своей;
Супругу ж то, что сохранилось
От сердца ей.

Но всё попрежнему печали
Душа полна;
И что бы взоры ни встречали —
Всё мысль одна.
Так безутешная томила
Пять лет себя,
Всё упрекая, что любила,
И всё любя.

Разлуки жизнь — воспоминанье;
Им полон свет;
Хотеть прогнать его — страданье,
А пользы нет.
Всё поневоле улетаем
К мечте своей;
Твердя: забудь! напоминаем
Душе об ней.

Однажды, приуныв, Алина
Сидела; вдруг
Купца к ней вводит армянина
Ее супруг.
«Вот цепи, дорогие шали,
Жемчуг, коралл;
Они лекарство от печали,
Я так слыхал.

На что нам деньги? На веселье.
Кому их жаль?
Купи что хочешь: ожерелье,
Цепочку, шаль
Или жемчуг у армянина;
Вот кошелек;
Я скоро возвращусь, Алина;
Прости, дружок».

Товары перед ней открывши,
Купец молчит;
Алина, голову склонивши,
Как не глядит.
Он, взор потупя, разбирает
Жемчуг, алмаз;

Подносит молча; но вздыхает
Он каждый раз.

Блистала красота младая
В его чертах;
Но бледен; борода густая;
Печаль в глазах.
Мила для взора живость цвета,
Знак юных дней;
Но бледный цвет, тоски примета,
Еще милей.

Она не видит, не внимает —
Мысль далеко.
Но часто, часто он вздыхает,
И глубоко.
Что (мыслит) он такой унылой?
Чем огорчен?
Ах! если потерял, что мило,
Как жалок он!

«Скажи, что сделалось с тобою?
О чем печаль?
Не от любви ль? .. Ах! всей душою
Тебя мне жаль». —
«Что пользы? Горя нам словами
Не утолить;
И невозвратного слезами
Не возвратить.

Одно сокровище бесценно
Я в мире знал;
Подобного творец вселенной
Не создавал.
И я одно имел в предмете:
Им обладать.
За то бы рад был всё на свете —
И жизнь отдать.

Как было сладко любоваться
Им в день сто раз!

И в мыслях я не мог расстаться
С ним ни на час.
Но року вздумалось лихому
Мне повредить
И счастие мое другому
С ним подарить.

Всех в жизни радостей лишенный,
С моей тоской
Я побежал, как осужденный,
На край земной:
Но ах! от сердца то, что мило,
Кто оторвет?
Что раз оно здесь полюбило,
С тем и умрет». —

«Скажи же, что твоя утрата?
Златой бокал?» —
«О нет: оно милее злата». —
«Рубин, коралл?» —
«Не тяжко потерять их!» — «Что же?
Царев алмаз?» —
«Нет, нет, алмазов всех дороже
Оно сто раз.

С тех пор, как я всё то, что льстило,
В нем погубил,
Я сам, на память, образ милой
Изобразил.
И на черты его прелестны
Смотрю в слезах:
Мои все блага поднебесны
В его чертах».

Алина слушала уныло
Его рассказ.
«Могу ль на этот образ милой
Взглянуть хоть раз?»
Алине молча, как убитый,
Он подает
Парчою дóсканец обвитый,
Сам слезы льет.

Алина робкою рукою
Парчу сняла;
Дощечка с надписью златою;
Она прочла:
Здесь всё, что я, осиротелой,
Моим зову;
Что мне от счастья уцелело;
Всё, чем живу.

Дощечку с трепетом раскрыла —
И что же там?
Что новое судьба явила
Ее очам?
Дрожит, дыханье прекратилось. . .
Какой предмет!
И в ком бы сердце не смутилось? . .
Ее портрет.

«Алина, пробудись, друг милой;
С тобою я.
Ничто души не изменило;
Она твоя.
В последний раз «люблю Алину»
Пришел сказать;
Тебя покинуть, жизнь покину,
Чтоб не страдать».

Алина с горем и тоскою
Ему в ответ:
«Альсим, я верной быть женою
Дала обет.
Хоть долг и тяжкой и постылой, —
Всё покорись;
А ты — не умирай, друг милой,
Но. . . удались».

Алине руку на прощанье
Он подает;
Она берет ее в молчанье
И к сердцу жмет.
Вдруг входит муж; как в исступленье,
Он задрожал

И им во грудь в одно мгновенье
Вонзил кинжал.

Альсима нет; Алина дышит:
«Невинна я
(Так говорит); всевышний слышит
Нас судия.
За что ж рука твоя пронзила
Алине грудь?
Но бог с тобой; я всё простила;
Ты всё забудь».

Убийца с той поры томится
И ночь и день:
Повсюду вслед за ним влачится
Алины тень;
Обагрена кровавым током
Вся грудь ея;
И говорит ему с упреком:
Невинна я.

Октябрь 1814

АХИЛЛ

Отуманилася Ида;
Омрачился Илион;
Спит во мраке стан Атрида;
На равнине битвы сон.
Тихо всё... курясь, сверкает
Пламень гаснущих костров,
И протяжно окликает
Стражу стража близ шатров.

Над Эгейских вод равниной
Светел всходит рог луны;
Звезды спящею пучиной
И брега отражены;
Виден в поле опустелом
С колесницею Приам:
Он за Гекторовым телом
От шатров идет к стенам.

И на бреге близ кургана
Зрится сумрачный Ахилл;
Он один, далек от стана,
Он главу на длань склонил.
Смотрит вдаль — там с колесницей
На пути Приама зрит:
Отирает багряницей
Слезы бедный царь с ланит.

Лиру взял; ударил в струны;
Тих его печальный глас:
«Старец, пал твой Гектор юный;
Свет души твоей угас;
И Гекуба, Андромаха
Ждут тебя у градских врат
С ношей милого им праха...
Жизнь и смерть им твой возврат.

И с денницею печальной
Воскурится фимиам,
Огласятся погребальной
Песнью каждый дом и храм;
Мать, отец, вдова с мольбою
Пепел в урну соберут,
И молитвы их герою
Мир в стране теней дадут.

О Приам, ты пред Ахиллом
Здесь во прах главу склонял;
Здесь молил о сыне милом,
Здесь, несчастный, ты лобзал
Руку, слез твоих причину...
Ах! не сетуй; глас небес
Нам одну изрек судьбину:
И меня постиг Зевес.

Близок час мой; роковая
Приготовлена стрела;
Парка, жребию внимая,
Дни мои уж отвила;
И скрыпят врата Аида,
И вещает грозный глас:

Всё свершилось для Пелида;
Факел дней его угас.

Верный друг мой взят могилой;
Брата бой меня лишил —
Вслед за ним с земли унылой
Удалится и Ахилл.
Так судил мне рок жестокой:
Я паду в весне моей
На чужом брегу, далеко
От Пелеевых очей.

Ах! и сердце запрещает
Доле жить в земном краю,
Где уж друг не услаждает
Душу сирую мою.
Гектор пал — его паденьем
Тень Патрокла я смирил;
Но себе за друга мщеньем
Путь к Тенару проложил.

Ты не жди, Менетий, сына;
Не придет он в отчий дом...
Здесь Эгейская пучина
Пред его шумит холмом;
Спит он... смерть сковала длани,
Позабыл ко славе путь;
И призывный голос брани
Не вздымает хладну грудь.

И Ахилл не возвратится;
В доме отчем пустота
Скоро, скоро водворится...
О Пелей, ты сирота.
Пронесется буря брани —
Ты Ахилла будешь ждать
И чертог свой в новы ткани
Для приема убирать;

Будешь с берега уныло
Ты смотреть — в пустой дали

Не белеет ли ветрило,
    Не плывут ли корабли?
Корабли придут от Трои —
    А меня ни на одном;
Там, где билися герои,
    Буду спать — и вечным сном.

Тщетно, смертною борьбою
    Мучим, будешь сына звать
И хладеющей рукою
    Вкруг себя его искать —
С милым светом разлученья
    Глас его не усладит,
И на брег воды забвенья
    Зов отца не долетит.

Край отчизны, светлы воды,
    Очарованны места,
Мирт, олив и лавров своды,
    Пышных долов красота,
Расцветайте, убирайтесь,
    Как и прежде, красотой;
Как и прежде, оглашайтесь
    Кликом радости одной;

Но Патрокла и Ахилла
    Никогда вам не видать!
Воды Сперхия, сулила
    Вам рука моя отдать
Волоса с моей от брани
    Уцелевшей головы...
Все Патроклу в дар, и дани
    Уж моей не ждите вы.

Кони быстрые, из боя
    (Тайный рок вас удержал)
Вы не вынесли героя —
    И на щит он мертвый пал;
Кони бодрые, ретивы,
    Что ж теперь так мрачны вы?
По земле влачатся гривы;
    Наклонилися главы;

Позабыта пища вами;
  Груди мощные дрожат;
Слышу стон ваш, и слезами
  Очи гордые блестят.
Знать, Ахиллов пред собою
  Зрите вы последний час;
Знать, внушен был вам судьбою
  Мне конец вещавший глас...

Скоро! .. лук свой напрягает
  Неизбежный Аполлон,
И пришельца ожидает
  К Стиксу черному Харон.
И Патрокл с брегов забвенья
  В полуночной тишине
Легкой тенью сновиденья
  Прилетал уже ко мне.

Как зефирово дыханье,
  Он провеял надо мной;
Мне послышалось призванье,
  Сладкий глас души родной;
В нежном взоре скорбь разлуки
  И следы минувших слез...
Я простер ко брату руки...
  Он во мгле пустой исчез.

От Скироса вдаль влекомый,
  Поплывет Неоптолем;
Брег увидит незнакомый
  И зеленый холм на нем;
Кормщик юноше укажет,
  Полный думы, на курган —
«Вот Ахиллов гроб (он скажет);
  Там вблизи был греков стан.

Там, ужасный, на ограде
  Нам явился он в ночи —
Нестерпимый блеск во взгляде,
  С шлема грозные лучи —
И трикраты звучным криком
  На врага он грянул страх,

И троянец с бледным ликом
Бросил щит и меч во прах.

Там, Атриду дав десницу,
С ним союз запечатлел;
Там, гремящий, в колесницу
Прянув, к Трое полетел;
Там по праху за собою
Тело Гекторово мчал
И на трепетную Трою
Взглядом мщения сверкал!»

И сойдешь на брег священный
С корабля, Неоптолем,
Чтоб на холм уединенный
Положить и меч и шлем;
Вкруг уж пусто... смолкли бои;
Тихи Ксант и Симоис;
И уже на грудах Трои
Плющ и терние свились.

Обойдешь равнину брани...
Там, где ратовал Ахилл,
Уж стадятся робки лани
Вкруг оставленных могил;
И услышишь над собою
Двух невидимых полет...
Это мы... рука с рукою...
Мы, друзья минувших лет.

Вспомяни тогда Ахилла:
Быстро в мире он протек;
Здесь судьба ему сулила
Долгий, но бесславный век;
Он мгновение со славой,
Хладну жизнь презрев, избрал
И на друга труп кровавой,
До могилы верный, пал».

Он умолк... в тумане Ида;
Отуманен Илион;
Спит во мраке стан Атрида;
На равнине битвы сон;

И, курясь, едва сверкает
Пламень гаснущих костров;
И протяжно окликает
Стража стражу близ шатров.

<1812> — начало ноября 1814

ЭОЛОВА АРФА

Владыка Морвены,
Жил в дедовском замке могучий Ордал;
Над озером стены
Зубчатые замок с холма возвышал;
Прибрежны дубравы
Склонялись к водам,
И стлался кудрявый
Кустарник по злачным окрестным холмам.

Спокойствие сеней
Дубравных там часто лай псов нарушал;
Рогатых еленей,
И вепрей, и ланей могучий Ордал
С отважными псами
Гонял по холмам;
И долы с холмами,
Шумя, отвечали зовущим рогам.

В жилище Ордала
Веселость из ближних и дальних краев
Гостей собирала;
И убраны были чертоги пиров
Еленей рогами;
И в память отцам
Висели рядами
Их шлемы, кольчуги, щиты по стенам.

И в дружных беседах
Любил за бокалом рассказы Ордал
О древних победах
И взоры на брони отцов устремлял:
Чеканны их латы
В глубоких рубцах;

Мечи их зубчаты;
Щиты их и шлемы избиты в боях.

Младая Минвана
Красой озаряла родительский дом;
Как зыби тумана,
Зарею златимы над свежим холмом,
Так кудри густые
С главы молодой
На перси младые,
Вияся, бежали струей золотой.

Приятней денницы
Задумчивый пламень во взорах сиял:
Сквозь темны ресницы
Он сладкое в душу смятенье вливал;
Потока журчанье—
Приятность речей;
Как роза дыханье;
Душа же прекрасней и прелестей в ней.

Гремела красою
Минвана и в ближних и в дальних краях;
В Морвену толпою
Стекалися витязи, славны в боях;
И дщерью гордился
Пред ними отец...
Но втайне делился
Душою с Минваной Арминий-певец.

Младой и прекрасный,
Как свежая роза — утеха долин,
Певец сладкогласный...
Но родом не знатный, не княжеский сын;
Минвана забыла
О сане своем
И сердцем любила,
Невинная, сердце невинное в нем. —

На темные своды
Багряным щитом покатилась луна;

И озера воды
Струистым сияньем покрыла она;
От за́мка, от сеней
Дубрав по брегам
Огромные теней
Легли великаны по гладким водам.

На холме, где чистым
Потоком источник бежал из кустов,
Под дубом ветвистым —
Свидетелем тайных свиданья часов —
Минвана младая
Сидела одна,
Певца ожидая,
И в страхе таила дыханье она.

И с арфою стройной
Ко древу к Минване приходит певец.
Всё было спокойно,
Как тихая радость их юных сердец:
Прохлада и нега,
Мерцанье луны,
И ропот у брега
Дробимыя с легким плесканьем волны.

И долго, безмолвны,
Певец и Минвана с унылой душой
Смотрели на волны,
Златимые тихоблестящей луной.
«Как быстрые воды
Поток свой лиют —
Так быстрые годы
Веселье младое с любовью несут». —

«Что ж сердце уныло?
Пусть воды лиются, пусть годы бегут;
О верный! о милой!
С любовию годы и жизнь унесут!» —
«Минвана, Минвана,
Я бедный певец;
Ты ж царского сана,
И предками славен твой гордый отец». —

«Что в славе и сане?
Любовь — мой высокий, мой царский
венец.
О милый, Минване
Всех витязей краше смиренный певец.
Зачем же уныло
На радость глядеть?
Всё близко, что мило;
Оставим годам за годами лететь». —

«Минутная сладость
Веселого *вместе,* помедли, постой;
Кто скажет, что радость
Навек не умчится с грядущей зарей!
Проглянет денница —
Блаженству конец;
Опять ты царица,
Опять я ничтожный и бедный певец». —

«Пускай возвратится
Веселое утро, сияние дня;
Зарей озарится
Тот свет, где мой милый живет
для меня.
Лишь царским убором
Я буду с толпой;
А мыслию, взором,
И сердцем, и жизнью, о милый, с тобой». —

«Прости, уж бледнеет
Рассветом далекий, Минвана, восток;
Уж утренний веет
С вершины кудрявых холмов ветерок». —
«О нет! то зарница
Блестит в облаках;
Не скоро денница;
И тих ветерок на кудрявых холмах». —

«Уж в замке проснулись;
Мне слышался шорох и звук голосов». —
«О нет! встрепенулись
Дремавшие пташки на ветвях кустов». —

«Заря уж багряна». —
«О милый, постой». —
«Минвана, Минвана,
Почто ж замирает так сердце тоской?»

И арфу унылой
Певец привязал под наклоном ветвей:
«Будь, арфа, для милой
Залогом прекрасных минувшего дней;
И сладкие звуки
Любви не забудь;
Услада разлуки
И вестник души неизменныя будь.

Когда же мой юный,
Убитый печалию, цвет опадет,
О верные струны,
В вас с прежней любовью душа перейдет.
Как прежде, взыграет
Веселие в вас,
И друг мой узнает
Привычный, зовущий к свиданию глас.

И думай, их пенью
Внимая вечерней, Минвана, порой,
Что легкою тенью,
Всё верный, летает твой друг над тобой;
Что прежние муки:
Превратности страх,
Томленье разлуки —
Всё с трепетной жизнью он бросил во прах.

Что, жизнь переживши,
Любовь лишь одна не рассталась с душой;
Что робко любивший
Без робости любит и более твой.
А ты, дуб ветвистый,
Ее осеняй;
И, ветер душистый,
На грудь молодую дышать прилетай».

Умолк — и с прелестной
Задумчивых долго очей не сводил. . .

Как бы неизвестный
В нем голос: *навеки прости!* говорил.
Горячей рукою
Ей руку пожал
И, тихой стопою
От ней удалялся, как призрак пропал...

Луна воссияла...
Минвана у древа... но где же певец?
Увы! предузнала
Душа, унывая, что счастью конец;
Молва о свиданье
Достигла отца...
И мчит уж в изгнанье
Ладья через море младого певца.

И поздно и рано
Под древом свиданья Минвана грустит.
Уныло с Минваной
Один лишь нагорный поток говорит;
Всё пусто; день ясный
Взойдет и зайдет —
Певец сладкогласный
Минваны под древом свиданья не ждет.

Прохладою дышит
Там ветер вечерний, и в листьях шумит,
И ветви колышет,
И арфу лобзает... но арфа молчит.
Творения радость,
Настала весна —
И в свежую младость,
Красу и веселье земля убрана.

И ярким сияньем
Холмы осыпал вечереющий день;
На землю с молчаньем
Сходила ночная, росистая тень;
Уж синие своды
Блистали в звездах;
Сравнялися воды;
И ветер улегся на спящих листах.

Сидела уныло
Минвана у древа... душой вдалеке...
И тихо всё было...
Вдруг... к пламенной что-то коснулось щеке;
И что-то шатнуло
Без ветра листы;
И что-то прильнуло
К струнам, невидимо слетев с высоты...

И вдруг... из молчанья
Поднялся протяжно задумчивый звон;
И тише дыханья
Играющей в листьях прохлады был он.
В ней сердце смутилось:
То друга привет!
Свершилось, свершилось!..
Земля опустела, и милого нет.

От тяжкия муки
Минвана упала без чувства на прах,
И жалобней звуки
Над ней застенали в смятенных струнах.
Когда ж возвратила
Дыханье она,
Уже восходила
Заря, и над нею была тишина.

С тех пор, унывая,
Минвана, лишь вечер, ходила на холм
И, звукам внимая,
Мечтала о милом, о свете другом,
Где жизнь без разлуки,
Где всё не на час —
И мнились ей звуки,
Как будто летящий от родины глас.

«О милые струны,
Играйте, играйте... мой час недалек;
Уж клонится юный
Главой недоцветшей ко праху цветок.
И странник унылый
Заутра придет

И спросит: где милый
Цветок мой? . . и боле цветка не найдет».

И нет уж Минваны. . .
Когда от потоков, холмов и полей
Восходят туманы
И светит, как в дыме, луна без лучей —
Две видятся тени:
Слиявшись, летят
К знакомой им сени. . .
И дуб шевелится, и струны звучат.

Ноябрь 1814

МЩЕНИЕ

Изменой слуга паладина убил:
Убийце завиден сан рыцаря был.

Свершилось убийство ночною порой —
И труп поглощен был глубокой рекой.

И шпоры и латы убийца надел
И в них на коня паладинова сел.

И мост на коне проскакать он спешит,
Но конь поднялся на дыбы и храпит.

Он шпоры вонзает в крутые бока —
Конь бешеный сбросил в реку седока.

Он выплыть из всех напрягается сил,
Но панцырь тяжелый его утопил.

1816

ГАРАЛЬД

Перед дружиной на коне
Гаральд, боец седой,
При свете полныя луны
Въезжает в лес густой.

Отбиты вражьи знамена
И веют и шумят,
И гулом песней боевых
Кругом холмы гудят.

Но что порхает по кустам?
Что зыблется в листах?
Что налетает с вышины
И плещется в волнах?

Что так ласкает, так манит?
Что нежною рукой
Снимает меч, с коня влечет
И тянет за собой?

То феи... в легкий хоровод
Слетелись при луне.
Спасенья нет; уж все бойцы
В волшебной стороне.

Лишь он, бесстрашный вождь Гаральд,
Один не побежден:
В нетленный с ног до головы
Булат закован он.

Пропали спутники его;
Там брошен меч, там щит,
Там ржет осиротелый конь
И дико в лес бежит.

И едет сумрачно-уныл
Гаральд, боец седой,
При свете полныя луны
Один сквозь лес густой.

Но вот шумит, журчит ручей —
Гаральд с коня спрыгнул,
И снял он шлем и влаги им
Студеной зачерпнул.

Но только жажду утолил,
Вдруг обессилел он;

На камень сел, поник главой
И погрузился в сон.

И веки на утесе том,
Главу склоня, он спит:
Седые кудри, борода;
У ног копье и щит.

Когда ж гроза и молний блеск
И лес ревет густой —
Сквозь сон хватается за меч
Гаральд, боец седой.

1816

ТРИ ПЕСНИ

«Споет ли мне песню веселую скальд?» —
Спросил, озираясь, могучий Освальд.
И скальд выступает на царскую речь,
Подмышкою арфа, на поясе меч.

«Три песни я знаю: в одной старина!
Тобою, могучий, забыта она;
Ты сам ее в лесе дремучем сложил;
Та песня: *отца моего ты убил.*

Есть песня другая: ужасна она;
И мною под бурей ночной сложена;
Пою ее ранней и поздней порой;
И песня та: *бейся, убийца, со мной!*»

Он в сторону арфу и меч наголо;
И бешенство грозные лица зажгло;
Запрыгали искры по звонким мечам —
И рухнул Освальд — голова пополам.

«Раздайся ж, последняя песня моя;
Ту песню и утром и вечером я
Греметь не устану пред девой любви;
Та песня: *убийца повержен в крови*».

1816

ДВЕНАДЦАТЬ СПЯЩИХ ДЕВ

СТАРИННАЯ ПОВЕСТЬ В ДВУХ БАЛЛАДАХ

Опять ты здесь, мой благодатный Гений,
Воздушная подруга юных дней;
Опять с толпой знакомых привидений
Теснишься ты, Мечта, к душе моей...
Приди ж, о друг! дай прежних
вдохновений,
Минувшею мне жизнию повей,
Побудь со мной, продли очарованья,
Дай сладкого вкусить воспоминанья.

Ты образы веселых лет примчала —
И много милых теней восстает;
И то, чем жизнь столь некогда пленяла,
Что рок, отняв, назад не отдает,
То всё опять душа моя узнала;
Проснулась Скорбь, и Жалоба зовет
Сопутников, с пути сошедших прежде
И здесь вотще поверивших надежде.

К ним не дойдут последней песни звуки;
Рассеян круг, где первую я пел;
Не встретят их простертые к ним руки;
Прекрасный сон их жизни улетел.
Других умчал могущий дух разлуки;
Счастливый край, их знавший, опустел;
Разбросаны по всем дорогам мира —
Не им поет задумчивая лира.

И снова в томном сердце воскресает
Стремленье в оный та́инственный свет;
Давнишний глас на лире оживает,
Чуть слышимый, как Гения полет;
И душу хладную разогревает
Опять тоска по благам прежних лет:
Всё близкое мне зрится отдаленным,
Отжившее, как прежде, оживленным.

БАЛЛАДА ПЕРВАЯ

ГРОМОБОЙ

Leicht aufzuritzen ist das Reich der Geister;
Sie liegen wartend unter dünner Decke
Und, leise hörend, stürmen sie herauf.

Schiller.[1]

*Александре Андреевне
Воейковой*

Моих стихов желала ты —
Желанье исполняю;
Тебе досуг мой, и мечты,
И лиру посвящаю.
Вот повесть прадедовских лет.
Еще ж одно желанье:
Цвети, мой несравненный цвет,
Сердец очарованье;
Печаль по слуху только знай;
Будь радостию света;
Моих стихов хоть не читай,
Но другом будь поэта.

Над пенистым Днепром-рекой,
Над страшною стремниной,
В глухую полночь Громобой
Сидел один с кручиной;
Окрест него дремучий бор;
Утесы под ногами;
Туманен вид полей и гор;
Туманы над водами;
Подернут мглою свод небес;
В ущельях ветер свищет;
Ужасно шепчет темный лес,
И волк во мраке рыщет.

---

[1] Нам в области духов легко проникнуть;
Нас ждут они, и молча стерегут,
И, тихо внемля, в бурях вылетают.
Шиллер (Пер. Жуковского. — *Ред.*)

Сидит с поникшей головой
И думает он думу:
«Печальный, горький жребий мой!
Кляну судьбу угрюму;
Дала мне крест тяжелый несть;
Всем людям жизнь отрада:
Тем злато, тем покой и честь —
А мне сума награда;
Нет крова защитить главу
От бури, непогоды...
Устал я, в помощь вас зову,
Днепровски быстры воды».

Готов он прянуть с крутизны...
И вдруг пред ним явленье:
Из темной бора глубины
Выходит привиденье —
Старик с шершавой бородой,
С блестящими глазами,
В дугу сомкнутый над клюкой,
С хвостом, когтьми, рогами.
Идет, приблизился, грозит
Клюкою Громобою...
И тот как вкопанный стоит,
Зря диво пред собою.

«Куда?» — неведомый спросил.
«В волнах скончать мученья». —
«Почто ж, бессмысленный, забыл
Во мне искать спасенья?» —
«Кто ты?» — воскликнул Громобой,
От страха цепенея.
«Заступник, друг, спаситель твой:
Ты видишь Асмодея». —
«Творец небесный!» — «Удержись!
В молитве нет отрады;
Забудь о боге — мне молись;
Мои верней награды.

Прими от дружбы, Громобой,
Полезное ученье:

Постигнут ты судьбы рукой,
И жизнь тебе мученье;
Но всем бедам найти конец
Я способы имею;
К тебе нежалостлив творец —
Прибегни к Асмодею.
Могу тебе я силу дать,
И честь, и много злата,
И грудью буду я стоять
За друга и за брата.

Клянусь... свидетель ада бог,
Что клятвы не нарушу;
А ты, мой друг, за то в залог
Свою отдай мне душу».
Невольно вздрогнул Громобой,
По членам хлад стремится;
Земли не взвидел под собой,
Нет сил перекреститься.
«О чем задумался, глупец?» —
«Страшусь мучений ада». —
«Но рано ль, поздно ль... наконец
Всё ад твоя награда.

Тебе на свете жить — беда;
Покинуть свет — другая;
Останься здесь — поди туда —
Везде погибель злая.
Ханжи-причудники твердят:
Лукавый бес опасен.
Не верь им — бредни; весел ад;
Лишь в сказках он ужасен.
Мы жизнь приятную ведем;
Наш ад не хуже рая;
Ты скажешь сам, ликуя в нем:
Лишь в аде жизнь прямая.

Тебе я терем пышный дам
И тьму людей на службу;
К боярам, витязям, князьям
Тебя введу я в дружбу;

Досель красавиц ты пугал —
Придут к тебе толпою;
И словом — вздумал, загадал,
И всё перед тобою.
И вот в задаток кошелек:
В нем вечно будет злато.
Но десять лет — не боле — срок
Тебе так жить богато.

Когда ж последний день от глаз
Исчезнет за горою,
В последний полуночный час
Приду я за тобою».
Стал думу думать Громобой,
Подумал, согласился
И обольстителю душой
За злато поклонился.
Разрезав руку, написал
Он кровью обещанье;
Лукавый принял — и пропал,
Сказавши: до свиданья!

И вышел в люди Громобой —
Откуда что взялося!
И счастье на него рекой
С богатством полилося;
Как княжеский, разубран дом;
Подвалы полны злата;
С заморским выходы вином
И редкостей палата;
Пиры — хоть пост, хоть мясоед;
Музы́ка роговая;
Для всех — чужих, своих — обед
И чаша круговая.

Возможно всё в его очах,
Всему он повелитель:
И сильным бич, и слабым страх,
И хищник, и грабитель.
Двенадцать дев похитил он
Из отческой их сени;

Презрел невинных жалкий стон
И родственников пени;
И в год двенадцать дочерей
Имел от обольщенных;
И был уж чужд своих детей
И крови уз священных.

Но чад оставленных щитом
Был ангел их хранитель;
Он дал им пристань — божий дом,
Смирения обитель.
В святых стенах монастыря
Сокрыл их с матерями:
Да славят вышнего царя
Невинных уст мольбами.
И горней благодати сень
Была над их главою:
Как вешний ароматный день,
Цвели они красою.

От ранних колыбельных лет
До юности златыя
Им ведом был лишь божий свет,
Лишь подвиги благие;
От сна вставая с юным днем,
Стекалися во храме;
На клиросе, пред алтарем,
Кадильниц в фимиаме,
В священный литургии час
Их слышалося пенье —
И сладкий непорочных глас
Внимало провиденье.

И слезы нежных матерей
С молитвой их сливались,
Когда во храме близ мощей
Они распростирались.
«О! дай им кров, небесный царь
(То было их моленье);
Да будет твой святой алтарь
Незлобных душ спасенье;

Покинул их родной отец,
Дав бедным жизнь постылу;
Но призри ты сирот, творец,
И грешника помилуй. . .»

Но вот. . . настал десятый год;
Уже он на исходе;
И грешник горьки слезы льет:
Всему он чужд в природе.
Опять украшены весной
Луга, пригорки, долы;
И пахарь весел над сохой,
И счастья полны селы;
Не зрит лишь он златой весны:
Его померкли взоры;
В туман для них погребены
Луга, долины, горы.

Денница ль красная взойдет —
«Прости, — гласит, — денница».
В дубраве ль птичка пропоет —
«Прости, весны певица. . .
Прости, и мирные леса,
И нивы золотые,
И неба светлая краса,
И радости земные».
И вспомнил он забытых чад;
К себе их призывает;
И мнит: они творца смягчат;
Невинным бог внимает.

И вот. . . настал последний день;
Уж солнце за горою;
И стелется вечерня тень
Прозрачной пеленою;
Уж сумрак. . . смерклось. . . вот луна
Блеснула из-за тучи;
Легла на горы тишина;
Утих и лес дремучий;
Река сравнялась в берегах;
Зажглись светила ночи;

И сон глубокий на полях;
    И близок час полночи...

И, мучим смертною тоской,
    У спасовой иконы
Без веры ищет Громобой
    От ада обороны.
И юных чад к себе призвал —
    Сердца их близки раю —
«Увы! молитесь, — вопиял, —
    Молитесь, погибаю!»
Младенца внятен небу стон:
    Невинные молились;
Но вдруг... на них находит сон...
    Замолкли... усыпились.

И всё в ужасной тишине;
    Окрестность как могила;
Вот... каркнул ворон на стене;
    Вот... стая псов завыла;
И вдруг... протяжно полночь бьет;
    Нашли на небо тучи;
Река надулась; бор ревет;
    И мчится прах летучий.
Увы!.. последний страшный бой
    Отгрянул за горами...
Гул тише... смолк... и Громобой
    Зрит беса пред очами.

«Ты видел, — рек он, — день из глаз
    Сокрылся за горою;
Ты слышал: бил последний час;
    Пришел я за тобою». —
«О! дай, молю, хоть малый срок;
    Терзаюсь, ад ужасен». —
«Свершилось! неизбежен рок,
    И поздний вопль напрасен». —
«Минуту!» — «Слышишь? Цепь звучит». —
    «О страшный час! помилуй!» —
«И гроб готов, и саван сшит,
    И роют уж могилу.

Заутра день взойдет во мгле:
Подымутся стенанья;
Увидят труп твой на столе,
Недвижный, без дыханья;
Кадил и свеч в дыму густом,
При тихом ликов пенье,
Тебя запрут в подземный дом
Навеки в заточенье;
И страшно заступ застучит
Над кровлей гробовою,
И тихо клир провозгласит:
«Усопший, мир с тобою!»

И мир не будет твой удел:
Ты адово стяжанье!
Но время... идут... час приспел.
Внимай их завыванье;
Сошлись... призывный слышу клич...
Их челюсти зияют;
Смола клокочет... свищет бич...
Оковы разжигают». —
«Спаситель-царь, вонми слезам!» —
«Напрасное моленье!» —
«Увы! позволь хоть сиротам
Мне дать благословенье».

Младенцев спящих видит бес —
Сверкнули страшно очи!
«Лишить их царствия небес,
Предать их адской ночи...
Вот слава! мне восплещет ад
И с гордым Сатаною».
И, усмирив грозящий взгляд,
Сказал он Громобою:
«Я внял твоей печали глас;
Есть средство избавленья;
Покорен будь, иль в ад сейчас
На скорби и мученья.

Предай мне души дочерей
За временну свободу,

И дам, по милости своей,
  На каждую по году». —
«Злодей! губить невинных чад!» —
  «Ты медлишь? Приступите!
Низриньте грешника во ад!
  На части разорвите!»
И вдруг отвсюду крик и стон;
  Земля затрепетала;
И грянул гром со всех сторон;
  И тьма бесов предстала.

Чудовищ адских грозный сонм;
  Бегут, гремят цепями
И стали грешника кругом
  С разверзтыми когтями.
И ниц повергся Громобой,
  Бесчувствен, полумертвый;
И вопит: «Страшный враг, постой!
  Постой, готовы жертвы!»
И скрылись все. Он будит чад...
  Он пишет их рукою...
О страх! свершилось... плещет ад
  И с гордым Сатаною.

Ты казнь отсрочил, Громобой,
  И дверь сомкнулась ада;
Но жить, погибнувши душой, —
  Коль страшная отрада!
Влачи унылы дни, злодей,
  В болезни ожиданья;
Веселья нет душе твоей
  И нет ей培 упованья;
Увы! и красный божий мир
  И жизнь ему постылы;
Он в людстве дик, в семействе сир;
  Он вживе снедь могилы.

Напрасно веет ветерок
  С душистыя долины;
И свет луны сребрит поток
  Сквозь темны лип вершины;

И ласточка зари восход
Встречает щебетаньем;
И роща в тень свою зовет
Листочков трепетаньем;
И шум бегущих с поля стад
С пастушьими рогами
Вечерний мрак животворят,
Теряясь за холмами...

Его доселе светлый дом
Уж сумрака обитель.
Угрюм, с нахмуренным лицом,
Пиров веселых зритель,
Не пьет кипящего вина
Из чаши круговыя...
И страшен день; и ночь страшна;
И тени гробовыя...
Он всюду слышит грозный вой;
И в час глубокой ночи
Бежит одра его покой;
И сон забыли очи.

И тьмы лесов страшится он:
Там бродит привиденье;
То чудится полночный звон,
То погребально пенье;
Страшит его и бури свист,
И грозных туч молчанье,
И с шорохом падущий лист,
И рощи содроганье.
Прокатится ль по небу гром —
Бледнеет, дыбом волос:
«То мститель, послан божеством;
То казни страшный голос».

И вид прелестный юных чад
Ему не наслажденье.
Их милый, чувства-полный взгляд,
Спокойствие, смиренье,
Краса — веселие очей,
И гласа нежны звуки,

И сладость ласковых речей
Его сугубят муки.
Как роза — благовонный цвет
Под сению надежной,
Они цветут: им скорби нет;
Их сердце безмятежно.

А он?.. Преступник... он, в тоске
На них подъемля очи,
Отверзту видит вдалеке
Пучину адской ночи.
Он плачет; он судьбу клянет:
«О милые творенья,
Какой вас лютый жребий ждет!
И где искать спасенья?
Напрасно вам дана краса;
Напрасно сердцу милы;
Закрыт вам путь на небеса;
Цветете для могилы.

Увы! пора любви придет;
Вам сердце тайну скажет,
Для вас украсит божий свет,
Вам милого покажет;
И взор наполнится тоской,
И тихим грудь желаньем,
И, распаленные душой,
Влекомы ожиданьем,
Для вас взойдет краснее день,
И будет луг душистей,
И сладостней дубравы тень,
И птичка голосистей.

И дни блаженства не придут;
Страшитесь милой встречи;
Для вас не брачные зажгут,
А погребальны свечи.
Не в божий, гимнов полный храм
Пойдете с женихами...
Ужасный гроб готовят нам:
Прокляты небесами.

И наш удел тоска и стон
В обителях геенны...
О, грозный жребия закон,
О, жертвы драгоценны!..»

Но взор возвел он к небесам
В душевном сокрушенье
И мнит: «Сам бог вещает нам:
В раскаяньи спасенье.
Возносятся пред вышний трон
Преступников стенанья...»
И дом свой обращает он
В обитель покаянья:
Да странник там найдет покой,
Вдова и сирый — друга,
Голодный — сладку снедь, больной —
Спасенье от недуга.

С утра до ночи у ворот
Служитель настороже;
Он всех прохожих в дом зовет:
«Есть хлеб-соль, мягко ложе».
И вот уже из всех краев,
Влекомые молвою,
Идут толпы сирот, и вдов,
И нищих к Громобою;
И всех приемлет Громобой,
Всем дань его готова;
Он щедрой злато льет рукой
От имени Христова.

И божий он воздвигнул дом;
Подобье светла рая,
Обитель иноков при нем
Является святая;
И в той обители святой
От братии смиренной
Увечный, дряхлый, и больной,
И скорбью убиенный
Приемлют, именем творца,
Отраду, исцеленье:

Да воскрешаемы сердца
Узнают провиденье.

И славный мастер призван был
Из города чужого;
Он в храме лик изобразил
Угодника святого;
На той иконе Громобой
Был видим с дочерями,
И на молящихся святой
Взирал любви очами.
И день и ночь огонь пылал
Пред образом в лампаде:
В златом венце алмаз сиял,
И перлы на окладе.

И в час, когда редеет тень,
Еще дубрава дремлет
И воцаряющийся день
Полнеба лишь объемлет;
И в час вечерней тишины —
Когда везде молчанье
И свечи, в храме возжены,
Льют тихое сиянье, —
В слезах раскаянья, с мольбой,
Пред образом смиренно
Распростирался Громобой,
Веригой отягченной...

Но быстро, быстро с гор текут
В долину вешни воды —
И невозвратные бегут
Дни, месяцы и годы.
Уж время с годом десять лет
Невидимо умчало;
Последнего двух третей нет —
И будто не бывало;
И некий неотступный глас
Вещает Громобою:
«Всему конец! твой близок час!
Погибель над тобою!»

И вот... недуг повергнул злой
Его на одр мученья,
Растерзан лютою рукой,
Не чая исцеленья,
Всечасно пред собой он зрит
Отверзту дверь могилы;
И у возглавия сидит
Над ним призрáк унылый.
И нет уж сил ходить во храм
К иконе чудотворной —
Лишь взор стремит он к небесам,
Молящий, но покорной.

Увы! уж и последний день
Край неба озлащает;
Сквозь темную дубравы сень
Блистанье проникает;
Всё тихо, весело, светло;
Всё негой сладкой дышит;
Река прозрачна, как стекло;
Едва-едва колышет
Листами легкий ветерок;
В полях благоуханье,
К цветку прилипнул мотылек
И пьет его дыханье.

Но грешник сей встречает день
Со стоном и слезами:
«О, рано ты, ночная тень,
Расталась с небесами!
Сойдитесь, дети, одр отца
С молитвой окружите
И пред судилище творца
Стенания пошлите.
Ужасен нам сей ночи мрак;
Взывайте: искупитель,
Смягчи грозящий гнева зрак;
Не будь нам строгий мститель!»

И страшного одра кругом —
Где, бледен, изможденный,

С обезображенным челом,
Все кости обнаженны,
Брада до чресл, власы горой,
Взор дикий, впалы очи,
Вопил от муки Громобой
С утра до поздней ночи —
Стеклися девы, ясный взор
На небо устремили
И в тихий к провиденью хор
Сердца совокупили.

О вид, угодный небесам!
Так ангелы спасенья,
Вонмя раскаянья слезам,
С улыбкой примиренья,
В очах отрада и покой,
От горнего чертога
Нисходят с милостью святой,
Предшественники бога,
К одру болезни в смертный час. . .
И, утомлен страданьем,
Сын гроба слышит тихий глас:
«Отыди с упованьем!»

И девы, чистые душой,
Подъемля к небу руки,
Смиренной мыслили мольбой
Отца спокоить муки;
Но ужас близкого конца
Над ним уже носился;
Язык коснеющий творца
Еще молить стремился;
Тоскуя, взором он искал
Сияния денницы. . .
Но взор недвижный угасал,
Смыкалися зеницы.

«О дети, дети, гаснет день». —
«Нет, утро; лишь проснулась
Заря на холме; черна тень
По долу протянулась;

И нивы пусты... в высоте
Лишь жаворонок вьется». —
«Увы! заутра в красоте
Опять сей день проснется!
Но мы... уж скрылись от земли;
Уже нас гроб снедает;
И место. где поднесь цвели,
Нас боле не признает.

Несчастные, дерзну ль на вас
Изречь благословенье?
И в самой вечности для нас
Погибло примиренье.
Но не сопутствуйте отцу
С проклятием в могилу;
Молитесь, воззовем к творцу:
Разгневанный, помилуй!»
И дети, страшных сих речей
Не всю объемля силу,
С невинной ясностью очей
Воскликнули: «Помилуй!»

«О дети, дети, ночь близка». —
«Лишь полдень наступает;
Пастух у вод для холодка
Со стадом отдыхает;
Молчат поля; в долине сон;
Пылает небо знойно». —
«Мне чудится надгробный стон». —
«Всё тихо и спокойно;
Лишь свежий ветерок, порой
Подъемлясь с поля, дует;
Лишь иволга в глуши лесной
Повременно воркует».

«О дети, светлый день угас». —
«Уж солнце за горою;
Уж по закату разлилась
Багряною струею
Заря, и с пламенных небес
Спокойный вечер сходит,

На зареве чернеет лес,
    В долине сумрак бродит». —
«О вечер сумрачный, постой!
    Помедли, день прелестной!
Помедли, взор не узрит мой
    Тебя уж в поднебесной!..

О дети, дети, ночь близка». —
    «Заря уж догорела;
В туман оделася река;
    Окрестность побледнела;
И на распутии пылят
    Стада, спеша к селенью». —
«Спасите! полночь бьет!» — «Звонят
    В обители к моленью:
Отцы поют хвалебный глас;
    Огнями храм блистает». —
«При них и грешник в страшный час
    К тебе, творец, взывает!..

Не тмится ль, дети, неба свод?
    Не мчатся ль черны тучи?
Не вздул ли вихорь бурных вод?
    Не вьется ль прах летучий?» —
«Всё тихо... служба отошла;
    Обитель засыпает;
Луна полнеба протекла;
    И божий храм сияет
Один с холма в окрестной мгле;
    Луга, поля безмолвны;
Огни потухнули в селе;
    И рощи спят и волны».

И всюду тишина была;
    И вся природа, мнилось,
Предустрашенная ждала,
    Чтоб чудо совершилось...
И вдруг... как будто ветерок
    Повеял от востока,
Чуть тронул дремлющий листок,
    Чуть тронул зыбь потока...

И некий глас промчался с ним...
Как будто над звездами
Коснулся арфы серафим
Эфирными перстами.

И тихо, тихо божий храм
Отверзся... Неизвестной
Явился старец дев очам;
И лик красы небесной
И кротость благостных очей
Рождали упованье;
Одеян ризою лучей,
Окрест главы сиянье,
Он не касался до земли
В воздушном приближенье...
Пред ним незримые текли
Надежда и Спасенье.

Сердца их ужас обуял...
«Кто этот, в славе зримый?»
Но близ одра уже стоял
Пришлец неизъяснимый.
И к девам прикоснулся он
Полой своей одежды —
И тихий во мгновенье сон
На их простерся вежды.
На искаженный старца лик
Он кинул взгляд укора —
И трепет в грешника проник
От пламенного взора.

«О! кто ты, грозный сын небес?
Твой взор мне наказанье».
Но, страшный строгостью очес,
Пришлец хранит молчанье...
«О, дай, молю, твой слышать глас!
Одно надежды слово!
Идет неотразимый час!
Событие готово!» —
«Вы лик во храме чтили мой;
И в том изображенье

Моя десница над тобой
   Простерта во спасенье».

«Ах! что ж могущий повелел?» —
   «Надейся и страшися». —
«Увы! какой нас ждет удел?
   Что жребий их?» — «Молися».
И, руки положив крестом
   На грудь изнеможенну,
Пред неиспытанным творцом
   Молитву сокрушенну
Умолкший пролиял в слезах;
   И тяжко грудь дышала,
И в призывающих очах
   Вся скорбь души сияла...

Вдруг начал тмиться неба свод —
   Мрачнее и мрачнее;
За тучей грозною ползет
   Другая вслед грознее;
И страшно сшиблись над главой;
   И небо заклубилось;
И вдруг... повсюду с черной мглой
   Молчанье воцарилось...
И близок час полночи был...
   И ризою святою
Угодник спящих дев накрыл,
   Отступника — десною.

И, устремленны на восток,
   Горели старца очи...
И вдруг, сквозь сон и мрак глубок,
   В пучине черной ночи,
Завыл протяжно вещий бой —
   Окрестность с ним завыла;
Вдруг... страшной молния струей
   Свод неба раздвоила,
По тучам вихорь пробежал,
   И с сильным грома треском,
Ревущей буре, бес предстал,
   Одеян адским блеском.

И змеи в пламенных власах —
Клубясь, шипят и свищут;
И радость злобная в очах —
Кругом, сверкая, рыщут;
И тяжкой цепью он гремел —
Увлечь добычу льстился;
Но старца грозного узрел —
Утихнул и смирился;
И вмиг гордыни блеск угас;
И, смутен, вопрошает:
«Что, мощный враг, тебя в сей час
К сим падшим призывает?»

«Я зрел мольбу их пред собой». —
«Они мое стяжанье». —
«Перед небесным судией
Всесильно покаянье». —
«И час суда его притек:
Их жребий совершися». —
«Еще ко благости не рек
Он в гневе: удалися!» —
«Он прав — и я владыка им». —
«Он благ — я их хранитель». —
«Исчезни! ад неотразим». —
«Ответствуй, искупитель!»

И гром с востока полетел;
И бездну туч трикраты
Рассек браздами ярких стрел
Перун огнекрылатый;
И небо с края в край зажглось
И застонало в страхе;
И дрогнула земная ось...
И, воющий во прахе,
Творца грядуща слышит бес;
И молится хранитель...
И стал на высоте небес
Средь молний ангел-мститель.

«Гряду! и вечный божий суд
Несет моя десница!

Мне казнь и благость предтекут...
Во прах, чадоубийца!»
О, всемогущество словес!
Уже отступник тленье;
Потух последний свет очес;
В костях оцепененье;
И лик кончиной искажен;
И сердце охладело;
И от сомкнувшихся устен
Дыханье отлетело.

«И праху обладатель ад
И гробу отверженье,
Доколь на погубленных чад
Не снидет искупленье.
И чадам непробудный сон;
И тот, кто чист душою,
Кто, их не зревши, распален
Одной из них красою,
Придет, житейское презрев,
В забвенну их обитель, —
Есть обреченный спящих дев
От неба искупитель.

И будут спать; и к ним века
В полете не коснутся;
И пройдет тления рука
Их мимо; и проснутся
С неизменившейся красой
Для жизни обновленной;
И низойдет тогда покой
К могиле искупленной;
И будет мир в его костях;
И претворенный в радость,
Творца постигнув в небесах,
Речет: господь есть благость!..»

Уж вестник утра в высоте;
И слышен громкий петел;
И день в воздушной красоте
Летит, как радость, светел...

Узрели дев, объятых сном,
И старца труп узрели;
И мертвый страшен был лицом,
Глаза, не зря, смотрели;
Как будто страждущ, прижимал
Он к хладным персям руки,
И на устах его роптал,
Казалось, голос муки.

И спящих лик покоен был.
Невидимо крылами
Их тихий ангел облачил;
И райскими мечтами
Чудесный был исполнен сон;
И сладким их дыханьем
Окрест был воздух растворен,
Как роз благоуханьем;
И расцветали их уста
Улыбкою прелестной,
И их являлась красота
В спокойствии небесной.

Но вот — уж гроб одет парчой;
Отверзлася могила;
И слышен колокола вой;
И теплются кадила;
Идут и стар и млад во храм;
Подъемлется рыданье;
Дают бесчувственным устам
Последнее лобзанье;
И грянул в гроб ужасный млат;
И взят уж гроб землею;
И лик воспел: усопший брат,
Навеки мир с тобою!

И вот — и стар и млад пошли
Обратно в дом печали;
Но вдруг пред ними из земли
Вкруг дома грозно встали

Гранитны стены — верх зубчат,
Бока одеты лесом —
И, сгрянувшись, затворы врат
Задвинулись утесом.
И вспять погнал пришельцев страх;
Бегут, не озираясь;
«Небесный гнев на сих стенах!» —
Вещают, содрогаясь.

И стала та страна с тех пор
Добычей запустенья;
Поля покрыл дремучий бор;
Рассыпались селенья.
И человечий глас умолк —
Лишь филин на утесе
И в ночь осеннюю гладный волк
Там воют в черном лесе;
Лишь дико меж седых брегов,
Спираема корнями
Изрытых бурею дубов,
Река клубит волнами.

Где древле окружала храм
Отшельников обитель,
Там грозно свищет по стенам
Змея, развалин житель;
И гимн по сводам не гремит —
Лишь веющий порою,
Пустынный ветер шевелит
В развалинах травою;
Лишь, отторгаяся от стен,
Катятся камни с шумом,
И гул, на время пробужден,
Шумит в лесу угрюмом.

И на туманистом холме
Могильный зрится камень:
Над ним всегда в полночной тьме
Сияет бледный пламень.

И крест поверженный обвит
Листами повилики;
На нем угрюмый вран сидит,
Могилы сторож дикий.
И всё как мертвое окрест:
Ни лист не шевелится,
Ни зверь близ сих не пройдет мест,
Ни птица не промчится.

Но полночь лишь сойдет с небес —
Вран черный встрепенется,
Зашепчет пробужденный лес,
Могила потрясется;
И видима бродяща тень
Тогда в пустыне ночи:
Как бледный на тумане день,
Ее сияют очи;
То взор возводит к небесам,
То, с видом тяжкой муки,
К непроницаемым стенам,
Моля, подъемлет руки.

И в недре неприступных стен
Молчание могилы;
Окрест их, мглою покровен,
Седеет лес унылый;
Там ветер не шумит в листах,
Не слышно вод журчанья,
Ни благовония в цветах,
Ни в травке нет дыханья,
И девы спят — их сон глубок;
И жребий искупленья
Безвестно, близок иль далек;
И нет им пробужденья.

Но в час, когда поля заснут
И мглой земля одета
(Между торжественных минут
Полночи и рассвета),

Одна из спящих восстает —
И, странник одинокой,
Свой срочный начинает ход
Кругом стены высокой;
И смотрит вдаль и ждет с тоской:
«Приди, приди, спаситель!»
Но даль покрыта черной мглой...
Нейдет, нейдет спаситель!

Когда ж исполнится луна,
Чреда приходит смены;
В урочный час пробуждена,
Одна идет на стены,
Другая к ней со стен идет,
Встречается и руку,
Вздохнув, пришелице дает
На долгую разлуку;
Потом к почиющим сестрам,
Задумчива, отходит,
А та печально по стенам
Одна до смены бродит.

И скоро ль? Долго ль?.. Как узнать?
Где вестник искупленья?
Где тот, кто властен побеждать
Все ковы обольщенья,
К прелестной прилеплен мечте?
Кто мог бы, чист душою,
Небесной верен красоте,
Непобедим земною,
Всё предстоящее презреть
И с верою смиренной,
Надежды полон, вдаль лететь
К награде сокровенной?..

1810

БАЛЛАДА ВТОРАЯ

ВАДИМ

Du musst glauben, du musst wagen,
Denn die Götter leih'n kein Pfand:
Nur ein Wunder kann dich tragen
In das schöne Wunderland.

Schiller.[1]

Дмитрию Николаевичу
Блудову

Вот повести моей конец —
И другу посвященье;
Певцу ж смиренному венец
Будь дружбы одобренье.
Вадим мой рос в твоих глазах;
Твой вкус был мне учитель;
В моих запутанных стихах,
Как тайный вождь-хранитель,
Он путь мне к цели проложил.
Но в пользу ли услуга?
Не знаю... Дев я разбудил,
Не усыпить бы друга.

В великом Новграде Вадим
Пленял всех красотою,
И дерзким мужеством своим,
И сердца простотою.
Его утеха — по лесам
Скитаться за зверями;
Ужасный вепрям и волкам
Разящими стрелами,
В осенний хлад и летний зной
Он с верным псом на ловле;
Ему постелей — мох лесной,
А свод небесный — кровлей.

---

[1] Верь тому, что сердце скажет;
Нет залогов от небес;
Нам лишь чудо путь укажет
В сей волшебный край чудес.
Шиллер (Пер. Жуковского. — *Ред.*)

Уже двадцатая весна
    Вадимова настала;
И, чувства тайного полна,
    Душа в нем унывала.
«Чего искать? В каких странах?
    К чему стремить желанье?»
Но всё: и тишина в лесах,
    И быстрых вод журчанье,
И дня меняющийся вид
    На облаке небесном —
Всё, всё Вадиму говорит
    О чем-то неизвестном.

Однажды, ловлей утомлен,
    Близ Волхова на бреге
Он погрузился в легкий сон. . .
    Струи в свободном беге
Шумели, по корням древес
    С плесканьем разливаясь;
Душой весны был полон лес;
    Листочки, развиваясь,
Дышали жизнью молодой;
    Всё благовонно было. . .
И солнце с тверди голубой
    К холмам уж нисходило.

И к утру видит сон Вадим:
    Одеян ризой белой,
Предстал чудесный муж пред ним —
    Во взоре луч веселой,
Лик важный светел, стан высок,
    На сединах блистанье,
В руке серебряный звонок,
    На персях крест в сиянье;
Он шел, как будто бы летел,
    И, осенив перстами,
Благовестящими воззрел
    На юношу очами.

«Вадим, желанное вдали;
    Верь небу; жди смиренно;

Всё изменяет на земли,
А небо неизменно;
Стремись, я провожатый твой!»
Сказал — и в то ж мгновенье
В дали явилось голубой
Прелестное виденье:
Младая дева, лик закрыт
Завесою туманной,
И на главе ее лежит
Венок благоуханной.

Вздыхая жалобно, рукой
Манило привиденье
Идти Вадима за собой...
И юноша в смятенье
К ней, сердцем вспыхнув, полетел...
Но вдруг... призра́к сокрылся,
Вдали звонок един гремел,
И бледный луч светился;
И вместе с девою пропал
Старик в одежде белой...
Вадим проснулся: день сиял,
А в вышине... звенело.

Он смотрит вдаль на светлый юг:
Там ясно всё и чисто;
Оттоль через обширный луг
Струею серебристой
Катился Волхов; небеса
Сливались там с землею;
Туда, за холмы, за леса,
Мчал облака толпою
Летучий вешний ветерок...
Смятенный, в ожиданье,
Он смотрит, слушает... звонок
Умолк — и всё в молчанье.

Три сряду утра тот же сон;
Душа его в волненье.
«О, что же ты, — взывает он, —
Прекрасное явленье?

Куда зовешь, волшебный глас?
Кто ты, пришлец священный?
Ах! где она? Увижу ль вас?
И сердцу откровенный
Предел откроется ль очам?»
Но тщетно он очами
Летит к далеким небесам. . .
Туман под небесами.

И целый мир его мечтой
Пред ним одушевился.
Восток ли свежею красой
Денницы золотился —
Ему являлся там покров
На образе прелестном.
Дышал ли запахом цветов —
В нем скорбь о неизвестном,
Стремленье вдаль, любви тоска,
Томление разлуки;
И в каждом шуме ветерка
Звонка призывны звуки.

И он, невластный победить
Могущего стремленья,
К отцу и к матери просить
Идет благословенья.
«Куда (печальная, в слезах,
Сказала матерь сыну)?
В чужих испытывать странах
Неверную судьбину?
Постой; на родине твоей
Дом отчий безопасный;
Здесь сладостна любовь друзей;
Здесь девицы прекрасны».

«Увы! желанного здесь нет;
Спокой себя, родная;
Меня от вас в далекий свет
Ведет рука святая.
И не задремлет ни на час
Хранитель постоянный.

Но где он? Чей я слышал глас?
    Кто вождь сей безымянный?
Куда ведет? Какой стезей?
    Не знаю — и напрасен
В незнаньи страх... жив спутник мой;
    Путь веры безопасен».

Надев на сына крест златой,
    Ответствует родная:
«Прости, да будет над тобой
    Его любовь святая!»
Снимает со стены отец
    Свои доспехи ратны:
«Прости, вот меч мой кладенец,
    Мой щит и шлем булатный».
Сын в землю матери, отцу;
    Целует образ; плачет;
Конь борзый подведен к крыльцу;
    Он сел — он крикнул — скачет...

И пыльный по дороге след
    Поднял конь быстроногой;
Но вот уже и следу нет;
    И пыль слилась с дорогой...
Вздохнул отец; со вздохом мать
    Пошла в свою светлицу;
Ей долго ночь в слезах встречать,
    В слезах встречать денницу;
Перед владычицей зажгла
    С молитвою лампаду:
Чтобы ему покров была,
    Чтоб ей дала отраду.

Вот на распутии Вадим.
    Весь мир неизмеримый
Ему открыт; за ним, пред ним
    Поля необозримы;
В чужбине он; в желанный край
    Неведома дорога.
«Что ж медлишь? Верь — не выбирай;
    Вперед, во имя бога;

Куда и как привесть меня,
    То вождь мой знает боле».
Так он подумал — и коня
    Пустил бежать по воле.

И добрый конь как будто сам
    Свою дорогу знает;
Он всё на юг; он по полям
    Путь новый пробивает;
Поток ли встретит — и в поток;
    Лишь только пена прыщет.
Ко рву ль примчится — разом скок,
    Лишь только воздух свищет.
Заглох ли лес — с ним широка
    Дорога в чаще леса;
Утес ли крут — он седока
    Стрелой на круть утеса.

Бегут за днями дни; Вадим
    Всё дале; конь послушный
Не устает; и всюду им
    В пути прием радушный,
Ко граду ль случай заведет,
    К селу ль, к лачужке ль дымной —
Везде пришельцу у ворот
    Привет гостеприимной;
Везде заботливо дают
    Хлеб-соль на подкрепленье,
На темну ночь святой приют,
    На путь благословенье.

Когда ж застигнет мрак ночной
    В лесу иль в поле чистом —
Наш витязь, щит под головой,
    Спит на ковре росистом
Благоуханной муравы;
    Над ним, катясь, сияют
Ночные звезды; вкруг главы
    Младые сны летают;
И конь, не дремля, сторожит;
    И к стороне той, мнится,

И зверь опасный не бежит
И змей приползть боится.

И дни бегут — весна прошла,
И соловьи отпели,
И липа в рощах зацвела,
И нивы пожелтели.
Вадим всё дале; уж пред ним
Широкий Днепр сияет;
Он едет берегом крутым,
И взор его летает
С высот по злачным берегам:
Здесь видит луг цветущий,
Там златоверхий город, там
Близ вод рыбачьи кущи.

Однажды — вечер знойный рдел
На небе; лес дремучий
Сквозь пламень зарева синел,
И громовые тучи,
Вслед за багровою луной,
С востока поднимались,
И яркой молнии змеей
В их недре извивались —
Вадим въезжает в темный лес;
Там всё в тени молчало;
Лишь трепетание древес
Грозу предвозвещало.

И дичь являлася кругом;
Чуть небеса сквозь сени
Светили гаснущим лучом;
И дерева, как тени,
Мелькали в бездне темноты
С разверзтыми ветвями.
Вадим вперед — хрустят кусты
Под конскими ногами;
Везде плетень из сучьев им
Дорогу задвигает. . .
Но их мечом крушит Вадим,
Конь грудью разрывает.

И едет он уж целый час;
Вдруг — жалобные крики;
То нежный и молящий глас,
То яростный и дикий.
Зажглась в нем кровь; на вопли он
Сквозь чащу ве́твей рвется;
Конь пышет, лес трещит, и стон
Всё ближе раздается;
И вдруг под ним в дичи глухой,
Как будто из тумана,
Чуть освещенная луной,
Открылася поляна.

И что ж у витязя в глазах?
Шумя, между кустами,
С медвежьей кожей на плечах,
С дубиной за плечами,
Огромный великан бежит
И на руках могучих
Красавицу младую мчит;
Она, в слезах горючих,
То силится бороться с ним,
То скорбно вопит к богу...
«Стой!» — крикнул хищнику Вадим
И заслонил дорогу.

Ни слова тот на грозну речь;
Как бешеный, отпрянул,
Сорвал дубину с крепких плеч,
Взмахнул, в Вадима грянул,
И очи вспыхнули, как жар...
Конь легкий отшатнулся,
В корнистый дуб пришел удар,
И дуб, треща, погнулся;
Вадим всей силою меча
Ударил в исполина —
Рука отпала от плеча,
И в прах легла дубина.

И хищник, рухнув, захрипел
Под конскими ногами;

Рванулся встать; оцепенел
И стих, грозя очами;
И смерть молчаньем заперла
Уста, вопить отверзты;
И, роя землю, замерла
Рука, разинув персты.
Спешит к похищенной Вадим;
Она как лист дрожала
И, севши на коня за ним,
В слезах к нему припала.

«Скажи мне, девица, кто ты?
Кто буйный оскорбитель
Твоей девичьей красоты?
И где твоя обитель?» —
«Князь киевский родитель мой;
Град Киев недалеко;
Проедем скоро лес густой,
Увидим брег высокой;
Под брегом тем кипят, шумят
В скалах струи Днепровы,
На бреге том и Киев-град,
Озолоченны кровы.

Я там дни мирные вела,
Не знаяся с кручиной,
И в старости отцу была
Утехою единой.
Не в добрый час литовский князь,
Враг церкви православной,
Меня узрел и, распалясь
Душою зверонравной,
Послал к нам в Киев-град гонца,
Чтоб, тайною рукою
Меня похитив у отца,
Умчал в Литву с собою.

Он скрылся на Днепре-реке
В лесном уединеньи,
От Киева невдалеке;
О дерзком замышленьи

Никто и сонный не мечтал;
Губитель не встречался
В лесу ни с кем; как волк, он ждал
Добычи и — дождался.
Я нынче раннею порой
В луг вышла, полевые
Сбирать цветки; пошли со мной
Подружки молодые.

Мы ро́су брали на цветах,
Росою умывались,
И рвали ягоды в кустах,
И громко окликались.
Уж солнце жгло с полунебес;
Я шла одна; кустами
Вилась дорожка; темный лес
Чернел перед глазами.
Вдруг шум... смотрю... злодей за мной;
Страх подкосил мне ноги;
Он сильною меня рукой
Схватил — и в лес с дороги.

Ах! что б в удел досталось мне,
Что было бы со мною,
Когда б не ты? В чужой стране
Изныла б сиротою.
От милых ближних вдалеке
Живет ли сердцу радость?
И в безутешной бы тоске
Моя увяла младость;
И с горем дряхлый мой отец
Повлекся бы ко гробу...
Но слабость защитил творец,
Сразил всевышний злобу».

Меж тем с поляны в гущину
Въезжает витязь; тучи,
Толпясь, заволокли луну;
Стал душен лес дремучий...
Гроза сбиралась; меж листов
Дождь крупный пробивался,

И шум тяжелых облаков
    С их ропотом мешался...
Вдруг вихорь набежал на лес
    И взрыл дерев вершины,
И загорелися небес
    Кипящие пучины.

И всё взревело... дождь рекой;
    Гром страшный, треск за треском;
И шум воды, и вихря вой;
    И поминутным блеском
Воспламеняющийся лес;
    И встречу, справа, слева
Ряды валящихся древес;
    Конь рвется; в страхе дева;
И, заслонив ее щитом,
    Вадим смятенный ищет,
Где б приютиться... но кругом
    Всё дичь, и буря свищет.

И вдруг уж нет дороги им;
    Стена из камней мшистых;
Гром мчался по бокам крутым;
    В расселинах лесистых
Спираясь, вихорь бушевал,
    И молнии горели,
И в бездне бури груды скал
    Сверкали и гремели.
Вадим назад... но вдруг удар!
    Ель, треснув, запылала;
По ветвям пробежал пожар,
    Окрестность заблистала.

И в зареве открылась им
    Пещера под скалою.
Спешит к убежищу Вадим;
    Заботливой рукою
Он снял сопутницу с коня,
    Сложил с рамен кольчугу,
Зажег костер и близ огня,
    Взяв на руки подругу,

На броню сел. Дымясь, сверкал
　　В костре огонь трескучий,
Поверх пещеры гром летал
　　И бунтовали тучи.

И, прислонив к груди своей
　　Вадим княжну младую,
Из золотых ее кудрей
　　Жал влагу дождевую;
И, к персям девственным уста
　　Прижав, их грел дыханьем;
И в них вливалась теплота;
　　И с тихим трепетаньем
Они касалися устам;
　　И девица молчала;
И, к юноши прильнув плечам,
　　Рука ее пылала.

Лазурны очи опустя,
　　В объятиях Вадима,
Она, как тихое дитя,
　　Лежала недвижима;
И что с невинною душой
　　Сбылось — не постигала;
Лишь сердце билось, и порой,
　　Вся вспыхнув, трепетала;
Лишь пламень гаснущий сиял
　　Сквозь тень ресниц склоненных,
И вздох невольный вылетал
　　Из уст воспламененных.

А витязь? .. Что с его душой? ..
　　Увы! сих взоров сладость,
Сих чистых, под его рукой
　　Горящих персей младость,
И мягкий шелк кудрей густых,
　　По раменам разлитых,
И свежий блеск ланит младых,
　　И уст полуоткрытых
Палящий жар, и тихий глас,
　　И милое смятенье,

И ночи таинственный час,
  И вкруг уединенье —

Всё чувства разжигало в нем...
  О, власть очарованья!
Уже, исполнены огнем
  Кипящего лобзанья,
На девственных ее устах
  Его уста горели,
И жарче розы на щеках
  Дрожащей девы рдели;
И всё... но вдруг смутился он
  И в радостном волненьи
Затрепетал... знакомый звон
  Раздался в отдаленьи.

И долго, жалобно звенел
  Он в бездне поднебесной;
И кто-то, чудилось, летел,
  Незримый, но известной;
И взор, исполненный тоской,
  Мелькал сквозь покрывало;
И под воздушной пеленой
  Печальное вздыхало...
Но вдруг сильней потрясся лес,
  И небо зашумело...
Вадим взглянул — призрак исчез;
  А в вышине... звенело.

И вслед за милою мечтой
  Душа его стремится;
Уже, подернувшись золой,
  Едва, едва курится
В костре огонь; на небесах
  Нет туч, не слышно рева;
Небрежно на его руках,
  Припав к ним грудью, дева
Младенческий вкушает сон
  И тихо, тихо дышит;
И близок уж рассвет; а он
  Не видит и не слышит.

Стал веять свежий ветерок,
Взошла звезда денницы,
И обагрянился восток,
И пробудились птицы;
Копытом топнув, конь заржал;
Вадим очнулся — ясно
Всё было вкруг; но сон смыкал
Глаза княжны прекрасной;
К ней тихо прикоснулся он;
Вздохнув, она одела
Власами грудь сквозь тонкий сон,
Взглянула — покраснела.

И витязь в шлеме и броне
Из-под скалы с княжною
Выходит. Солнце в вышине
Горело; под горою,
Сияя, пену расстилал
По камням Днепр широкий;
И лес кругом благоухал;
И благовест далекий
Был слышен. На коня Вадим,
Перекрестясь, садится;
Княжна попрежнему за ним;
И конь по брегу мчится.

Вдруг путь широкий меж древес:
Их чаща раздалася,
И в голубой дали небес,
Как звездочка, зажглася
Глава Печерская с крестом.
Конь скачет быстрым скоком;
Уж в граде он; уж пред дворцом;
И видят: на высоком
Крыльце великий князь стоит;
В очах его кручина;
Перед крыльцом народ кипит,
И строится дружина.

И смелых вызывает он
В погоню за княжною

И избавителю свой трон
    Сулит с ее рукою.
Но топот слышен в тишине;
    Густая пыль клубится;
И видят, с девой на коне
    Красивый всадник мчится.
Народ отхлынул, как волна;
    Дружина расступилась;
И на руках отца княжна
    При кликах очутилась.

Обняв Вадима, князь сказал:
    «Я не нарушу слова;
В тебе господь мне сына дал
    Заменою родного.
Я стар: будь хилых старца дней
    Опорой и усладой;
А смелой доблести твоей
    Будь дочь моя наградой.
Когда ж наступит мой конец,
    Тогда мою державу
И светлый княжеский венец
    Наследуй в честь и славу».

И громко, громко раздалось
    Дружины восклицанье;
И зашумело, полилось
    По граду ликованье;
Богатый пир на весь народ;
    Весь город изукрашен;
Кипит в заздравных кружках мед,
    Столы трещат от брашен;
Поют певцы; колокола
    Гудят не умолкая;
И от огней потешных мгла
    Зарделася ночная.

Веселье всем; один Вадим
    Невесел — мысль далеко.
Сердечной думою томим,
    Безмолвен, одинокой,

Ни песням, ни приветам он
Не внемлет, равнодушный;
Он ступит шаг — и слышит звон;
Подымет взор — воздушный
Призра́к летает перед ним
В знакомом покрывале;
Приклонит слух — твердят: Вадим,
Не забывайся, дале!

Идет к Днепровым берегам
Он тихими шагами
И, смутен, взор склонил к водам...
Небесная с звездами
Была в них твердь отражена;
Вдали, против заката,
Всходила полная луна;
Вадим глядит... меж злата
Осыпанных луною волн
Как будто бы чернеет,
В зыбях ныряя, легкий челн,
За ним струя белеет.

Глядит Вадим... челнок плывет...
Натянуто ветрило;
Но без гребца весло гребет;
Без кормщика кормило;
Вадим к нему... к Вадиму он...
Садится... челн помчало...
И вдруг... как будто с юга звон;
И вдруг... всё замолчало...
Плывет челнок; Вадим глядит;
Сверкая, волны плещут;
Лесистый брег назад бежит;
Ночные звезды блещут.

Быстрей, быстрей в реке волна,
Челнок быстрей, быстрее;
Светлее на небе луна;
На бреге лес темнее.
И дале, дале... всё кругом
Молчит... как великаны,

*

Скалы нагнулись над Днепром;
И, черен, сквозь туманы
Глядится в реку тихий лес
С утесистой стремнины;
И уж луна почти небес
Дошла до половины.

Сидит задумавшись Вадим;
Вдруг... что-то пролетело;
И облачко луну, как дым
Невидимый, одело;
Луна посмеркла; по волнам,
По тихим сеням леса,
По брегу, по крутым скалам
Раскинулась завеса;
Шатнул ветрилом ветерок,
И руль зашевелился,
Ко брегу повернул челнок,
Доплыл, остановился.

Вадим на брег; от брега челн;
Ветрило заиграло;
И вдруг вдали, с зыбями волн
Смешавшись, всё пропало.
В недоумении Вадим;
Кругом скалы как тучи;
Безмолвен, дик, необозрим,
По камням бор дремучий
С реки до брега вышины
Восходит; всё в молчанье...
И тускло падает луны
На мглу вершин сиянье.

И тихо по скалам крутым,
Влекомый тайной силой,
Наверх взбирается Вадим.
Он смотрит — всё уныло;
Как трупы, сосны под травой
Обрушенные тлеют;
На сучьях мох висит седой;
Разинувшись, чернеют

Расселины дуплистых пней,
И в них глазами блещет
Сова, иль чешуями змей,
Ворочаясь, трепещет.

И, мнится, жизни в той стране
От века не бывало;
Как бы с созданья в мертвом сне
Древа, и не смущало
Их сна ничто: ни ветерка
Перед денницей шепот,
Ни легкий шорох мотылька,
Ни вепря тяжкий топот.
Уже Вадим на вышине;
Вдруг бор редеет темный;
Раздвинулся... и при луне
Явился холм огромный.

И на вершине древний храм;
Блестящими крестами
Увенчаны главы, к дверям
Тяжелыми винтами
Огромный пригвожден затвор;
Вкруг храма переходы,
Столбы, обрушенный забор,
Растреснутые своды
Трапезы, келий ряд пустых,
И всюду по колени
Полынь, и длинные от них
По скату холма тени.

Вадим подходит; невдали
Могильный виден камень,
Крест наклонился до земли,
И легкий, бледный пламень,
Как свечка, теплится над ним;
И ворон, птица ночи,
На нем, как призрак, недвижим
Сидит, унылы очи
Вперив на месяц. Вдруг, крылом
Взмахнув, он пробудился,

Взвился... и на небе пустом,
Трикраты крикнув, скрылся.

Объял Вадима тайный страх;
Глядит в недоуменье —
И дивное тогда в глазах
Вадимовых явленье:
Он видит, некто приподнял
Иссохшими руками
Могильный камень, бледен встал,
Туманными очами
Блеснул, возвел их к небесам,
Как будто бы моляся,
Пошел, стучаться начал в храм...
Но дверь не отперлася.

Вздохнув, повлекся дале он,
И тихий под стопами
Был слышен шум, и долго, стон
Пуская, меж стенами,
Между обломками столбов,
Как бледный дым, мелькала
Бредуща тень... вдруг меж кустов
Вдали она пропала.
Там, бором покровен, утес
Вздымался, крут и страшен,
И при луне из-за древес
Являлись кровы башен.

Вадим туда; уединен,
На груде скал мохнатых,
Над черным бором, обнесен
Оградой стен зубчатых,
Стоит там за́мок, тих, как сна
Безмолвное жилище,
И вся окрест его страна
Угрюма, как кладбище;
И башни по углам стоят,
Как призраки, седые,
И сгромоздилися у врат
Скалы́ сторожевые.

Душа Вадимова полна
Смятенным ожиданьем —
И светит сумрачным луна
Сквозь облако сияньем.
Но вдруг... слетел с луны туман,
И бор засеребрился,
И зáмок весь, как великан,
Над бором осветился;
И от востока ветерок
Подул передрассветный,
И чу!.. из-за стены звонок
Послышался приветный.

И что ж он видит? По стене,
Как тень уединенна,
С восточной к западной стране,
Туманным облеченна
Покровом, девица идет;
Навстречу к ней другая;
И та, приближась, подаèт
Ей руку и, вздыхая,
Путь одинокий вдоль стены
На запад продолжает;
Другая ж, к зáмку с вышины
Спустившись, исчезает.

И за идущею вослед
Вадим летит очами;
Уж ясен молодой рассвет
Встает меж облаками;
Уж загорается восток...
Она всё дале, дале;
И тихо ранний ветерок
Играет в покрывале;
Идет — глаза опущены,
Глава на грудь склонилась —
Пришла на поворот стены;
Поворотилась; скрылась.

Стоит как вкопанный Вадим;
Душа в нем замирает;

Как будто лик свой перед ним
    Судьба разоблачает.
Бледнее тусклая луна;
    Светлей восток багровый;
И озаряется стена,
    И ярко блещут кровы;
К восточной обратясь стране,
    Ждет витязь... вдруг вспылала
В нем кровь... глядит... там на стене
    Идущая предстала.

Идет; на темный смотрит бор;
    Как будто ждет в волненье;
Как бы чего-то ищет взор
    В пустынном отдаленье...
Вдруг солнце в пламени лучей
    На крае неба стало...
И витязь в блеске перед ней!
    Как облак, покрывало
Слетело с юного чела —
    Их встретилися взоры;
И пала от ворот скала,
    И раздались их створы.

Стремится на ограду он;
    Идет она с ограды;
Сошлись... о, вещий, верный сон!
    О, час святой награды!
Свершилось! всё — и ранних лет
    Прекрасные желанья,
И озаряющие свет
    Младой души мечтанья,
И всё, чего мы здесь не зрим,
    Что вере лишь открыто, —
Всё вдруг явилось перед ним,
    В единый образ слито!

Глядят на небо, слезы льют,
    Восторгом слов лишенны...
И вдруг из терема идут
    К ним девы пробужденны:

Как звезды, блещут очеса;
  На ясных лицах радость,
И искупления краса,
  И новой жизни младость.
О, сладкий воскресенья час!
  Им мнилось: мир рождался!
Вдруг... звучно благовеста глас
  В тиши небес раздался.

И что ж? Храм божий отворен;
  Там слышится моленье;
Они туда: храм освещен;
  В кадильницах куренье;
Перед угодником горит,
  Как в древни дни, лампада,
И благодатное бежит
  Сияние от взгляда;
И некто, светел, в алтаре
  Простерт перед потиром,
И возглашается горé
  Хвала незримым клиром.

Молясь, с подругой стал Вадим
  Пред царскими дверями,
И вдруг... святой налой пред ним;
  Главы их под венцами;
В руках их свечи зажжены;
  И кольца обручальны
На персты их возложены;
  И слышен гимн венчальный...
И вдруг... всё тихо! гимн молчит;
  Безмолвны своды храма;
Один лишь, тáинствен, блестит
  Алтарь средь фимиама.

И в сем молчаньи кто-то к ним
  Приветный подлетает,
Их кличет именем родным,
  Их нежно отзывает...
Куда же?.. о священный вид!
  Могила перед ними;

И в ней спокойно; дерн покрыт
Цветами молодыми;
И дышит ветерок окрест,
Как дух бесплотный веял;
И обвивает светлый крест
Прекрасная лилея.

Они упали ниц в слезах;
Их сердце вести ждало
И трепетом священный прах
Могилы вопрошало...
И было всё для них ответ:
И холм помолоделый,
И луга обновленный цвет,
И бег реки веселый,
И воскрешенны древеса
С вершинами живыми,
И, как бессмертье, небеса
Спокойные над ними...

Промчались веки вслед векам...
Где́ за́мок? где обитель?
Где чудом освященный храм?..
Всё скрылось... лишь, хранитель
Давно минувшего, живет
На прахе их преданье.
Есть место... там игривых вод
Пленительно сверканье;
Там вечно зелен пышный лес;
Там сладок ветра шепот
И с тихим говором древес
Волны слиянный ропот.

На месте оном — так гласит
Правдивое преданье —
Был пепел инокинь сокрыт:
В посте и покаянье
При гробе грешника-отца
Они кончины ждали
И примиренного творца
В молитвах прославляли...

И улетела к небесам
С земли их жизнь святая,
Как улетает фимиам
С кадил, благоухая.

На месте оном — в светлый час
Земли преображенья —
Когда, послышав утра глас,
С звездою пробужденья,
Востока ангел в тишине
На край небес взлетает
И по туманной вышине
Зарю распростирает,
Когда и холм, и луг, и лес —
Всё оживленным зрится
И пред святилищем небес,
Как жертва, всё дымится, —

Бывают тайны чудеса,
Невиданные взором:
Отшельниц слышны голоса;
Горé хвалебным хором
Поют; сквозь занавес зари
Блистает крест; слиянны
Из света зрятся алтари;
И, яркими венчанны
Звездами, девы предстоят
С молитвой их святыне,
И серафимов тьмы кипят
В пылающей пучине.

1814—1817

РЫБАК

Бежит волна, шумит волна!
Задумчив, над рекой
Сидит рыбак; душа полна
Прохладной тишиной.
Сидит он час, сидит другой;
Вдруг шум в волнах притих. . .

И влажною всплыла главой
Красавица из них.

Глядит она, поет она:
«Зачем ты мой народ
Манишь, влечешь с родного дна
В кипучий жар из вод?
Ах! если б знал, как рыбкой жить
Привольно в глубине,
Не стал бы ты себя томить
На знойной вышине.

Не часто ль солнце образ свой
Купает в лоне вод?
Не свежей ли горит красой
Его из них исход?
Не с ними ли свод неба слит
Прохладно-голубой?
Не в лоно ль их тебя манит
И лик твой молодой?»

Бежит волна, шумит волна...
На берег вал плеснул!
В нем вся душа тоски полна,
Как будто друг шепнул!
Она поет, она манит —
Знать, час его настал!
К нему она, он к ней бежит...
И след навек пропал.

Январь 1818

РЫЦАРЬ ТОГЕНБУРГ

«Сладко мне твоей сестрою,
Милый рыцарь, быть;
Но любовию иною
Не могу любить:
При разлуке, при свиданье
Сердце в тишине —

И любви твоей страданье
Непонятно мне».

Он глядит с немой печалью —
Участь решена:
Руку сжал ей; крепкой сталью
Грудь обложена;
Звонкий рог созвал дружину;
Все уж на конях;
И помчались в Палестину,
Крест на раменах.

Уж в толпе врагов сверкают
Грозно шлемы их;
Уж отвагой изумляют
Чуждых и своих.
Тогенбург лишь выйдет к бою —
Сарацин бежит...
Но душа в нем всё тоскою
Прежнею болит.

Год прошел без утоленья...
Нет уж сил страдать;
Не найти ему забвенья —
И покинул рать.
Зрит корабль — шумят ветрилы,
Бьет в корму волна —
Сел и поплыл в край тот милый,
Где цветет она.

Но стучится к ней напрасно
В двери пилигрим;
Ах, они с молвой ужасной
Отперлись пред ним:
«Узы вечного обета
Приняла она;
И, погибшая для света,
Богу отдана».

Пышны праотцев палаты
Бросить он спешит;
Навсегда покинул латы;
Конь навек забыт;

Власяной покрыт одеждой
Инок в цвете лет,
Не украшенный надеждой
Он оставил свет.

И в убогой келье скрылся
Близ долины той,
Где меж темных лип светился
Монастырь святой:
Там — сияло ль утро ясно,
Вечер ли темнел —
В ожиданьи, с мукой страстной,
Он один сидел.

И душе его унылой
Счастье там одно:
Дожидаться, чтоб у милой
Стукнуло окно,
Чтоб прекрасная явилась,
Чтоб от вышины
В тихий дол лицом склонилась,
Ангел тишины.

И, дождавшися, на ложе
Простирался он;
И надежда: *завтра то же!*
Услаждала сон.
Время годы уводило...
Для него ж одно:
Ждать, как ждал он, чтоб у милой
Стукнуло окно;

Чтоб прекрасная явилась;
Чтоб от вышины
В тихий дол лицом склонилась,
Ангел тишины.
Раз — туманно утро было —
Мертв он там сидел,
Бледен ликом, и уныло
На окно глядел.

Январь 1818

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв, его держит и греет старик.

— Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?
— Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул;
Он в темной короне, с густой бородой.
— О нет, то белеет туман над водой.

«Дитя, оглянися; младенец, ко мне;
Веселого много в моей стороне:
Цветы бирюзовы, жемчужны струи;
Из золота слиты чертоги мои».

— Родимый, лесной царь со мной говорит:
Он золото, перлы и радость сулит.
— О нет, мой младенец, ослышался ты:
То ветер, проснувшись, колыхнул листы.

«Ко мне, мой младенец; в дуброве моей
Узнаешь прекрасных моих дочерей:
При месяце будут играть и летать,
Играя, летая, тебя усыплять».

— Родимый, лесной царь созвал дочерей:
Мне, вижу, кивают из темных ветвей.
— О нет, всё спокойно в ночной глубине:
То ветлы седые стоят в стороне.

«Дитя, я пленился твоей красотой:
Неволей иль волей, а будешь ты мой».
— Родимый, лесной царь нас хочет догнать;
Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать.

Ездок оробелый не скачет, летит;
Младенец тоскует, младенец кричит;
Ездок погоняет, ездок доскакал. . .
В руках его мертвый младенец лежал.

<Март> 1818

ГРАФ ГАПСБУРГСКИЙ

Торжественным Ахен весельем шумел;
В старинных чертогах, на пире
Рудольф, император избранный, сидел
В сияньи венца и в порфире.
Там кушанья рейнский фальцграф разносил;
Богемец напитки в бокалы цедил;
И семь избирателей, чином
Устроенный древле свершая обряд,
Блистали, как звезды пред солнцем блестят,
Пред новым своим властелином.

Кругом возвышался богатый балкон,
Ликующим полный народом;
И клики, со всех прилетая сторон,
Под древним сливалися сводом.
Был кончен раздор; перестала война;
Бесцарственны, грозны прошли времена;
Судья над землею был снова;
И воля губить у меча отнята;
Не брошены слабый, вдова, сирота
Могущим во власть без покрова.

И кесарь, наполнив бокал золотой,
С приветливым взором вещает:
«Прекрасен мой пир; всё пирует со мной;
Всё царский мой дух восхищает...
Но где ж утешитель, пленитель сердец?
Придет ли мне душу растрогать певец
Игрой и благим поученьем?
Я песней был другом, как рыцарь простой;
Став кесарем, брошу ль обычай святой
Пиры услаждать песнопеньем?»

И вдруг из среды величавых гостей
Выходит, одетый таларом,
Певец в красоте поседелых кудрей,
Младым преисполненный жаром.
«В струнах золотых вдохновенье живет.
Певец о любви благодатной поет,
О всем, что святого есть в мире,

Что душу волнует, что сердце манит...
О чем же властитель воспеть повелит
Певцу на торжественном пире?»

«Не мне управлять песнопевца душой
(Певцу отвечает властитель);
Он высшую силу признал над собой;
Минута ему повелитель;
По воздуху вихорь свободно шумит;
Кто знает, откуда, куда он летит?
Из бездны поток выбегает, —
Так песнь зарождает души глубина,
И темное чувство, из дивного сна
При звуках воспрянув, пылает».

И смело ударил певец по струнам,
И голос приятный раздался:
«На статном коне по горам, по полям
За серною рыцарь гонялся;
Он с ловчим одним выезжает сам-друг
Из чащи лесной на сияющий луг,
И едет он шагом кустами;
Вдруг слышат они: колокольчик гремит;
Идет из кустов пономарь и звонит;
И следом священник с дарами.

И набожный граф, умиленный душой,
Колена свои преклоняет,
С сердечною верой, с горячей мольбой,
Пред тем, что живит и спасает.
Но лугом стремился кипучий ручей;
Свирепо надувшись от сильных дождей,
Он путь заграждал пешеходу;
И спутнику пастырь дары отдает;
И обувь снимает и смело идет
С священною ношею в воду.

«Куда?» — изумившийся граф вопросил.
«В село; умирающий нищий
Ждет в муках, чтоб пастырь его разрешил,
И алчет небесныя пищи.

Недавно лежал через этот поток
Сплетенный из сучьев для пеших мосток —
Его разбросало водою;
Чтоб душу святой благодатью спасти,
Я здесь неглубокий поток перейти
Спешу обнаженной стопою».

И пастырю витязь коня уступил
И подал ноге его стремя,
Чтоб он облегчить покаяньем спешил
Страдальцу греховное бремя.
И к ловчему сам на седло пересел
И весело в чащу на лов полетел;
Священник же, требу святую
Свершивши, при первом мерцании дня
Является к графу, смиренно коня
Ведя за узду золотую.

«Дерзну ли помыслить я, — граф возгласил,
Почтительно взоры склонивши, —
Чтоб конь мой ничтожной забаве служил,
Спасителю-богу служивши?
Когда ты, отец, не приемлешь коня,
Пусть будет он даром благим от меня
Отныне тому, чье даянье
Все блага земные, и сила, и честь,
Кому не помедлю на жертву принесть
И силу, и честь, и дыханье».

«Да будет же вышний господь над тобой
Своей благодатью святою;
Тебя да почтит он в сей жизни и в той,
Как днесь он почтен был тобою;
Гельвеция славой сияет твоей;
И шесть расцветают тебе дочерей,
Богатых дарами природы:
Да будут же (молвил пророчески он)
Уделом их шесть знаменитых корон;
Да славятся в роды и роды».

Задумавшись, голову кесарь склонил:
Минувшее в нем оживилось.

Вдруг быстрый он взор на певца
устремил —
И таинство слов объяснилось:
Он пастыря видит в певце пред собой;
И слезы свои от толпы золотой
Порфирой закрыл в умиленье...
Всё смолкло, на кесаря очи подняв,
И всяк догадался, кто набожный граф,
И сердцем почтил провиденье.

<Апрель> 1818

УЗНИК

«За днями дни идут, идут...
Напрасно;
Они свободы не ведут
Прекрасной;
Об ней тоскую и молюсь,
Ее зову, не дозовусь.

Смотрю в высокое окно
Темницы:
Всё небо светом зажжено
Денницы;
На свежих крыльях ветерка
Летают вольны облака.

Итак, все блага заменить
Могилой;
И бросить свет, когда в нем жить
Так мило;
Ах! дайте в свете подышать;
Еще мне рано умирать.

Лишь миг весенним бытием
Жила я;
Лишь миг на празднике земном
Была я;
Душа готовилась любить...
И всё покинуть, всё забыть!»

Так голос заунывный пел
    В темнице...
И сердцем юноша летел
    К певице.
Но он в неволе, как она;
Меж ними хладная стена.

И тщетно с ней он разлучен
    Стеною:
Невидимую знает он
    Душою;
И мысль об ней и день и ночь
От сердца не отходит прочь.

Всё видит он: во тьме она
    Тюрёмной
Сидит, раздумью предана,
    Взор томной;
Младенчески прекрасен вид;
И слезы падают с ланит.

И ночью, забывая сон,
    В мечтанье,
Ее подслушивает он
    Дыханье;
И на устах его горит
Огонь ее младых ланит.

Таясь, страдания одне
    Делить с ней,
В одной темничной глубине
    Молить с ней
Согласной думой и тоской
От неба участи одной —

Вот жизнь его, другой не ждет
    Он доли;
Он, равнодушный, не зовет
    И воли:
С ней розно в свете жизни нет;
Прекрасен только ею свет.

«Не ты ль, — он мнит, —
давно была
Любима!
И не тебя ль душа звала,
Томима
Желанья смутного тоской,
Волненьем жизни молодой?

Тебя в пророчественном сне
Видал я;
Тобою в пламенной весне
Дышал я;
Ты мне цвела в живых цветах;
Твой образ веял в облаках.

Когда же сердце ясный взор
Твой встретит?
Когда, разрушив сей затвор,
Осветит
Свобода жизнь вдвоем для нас?
Лети, лети, желанный час».

Напрасно; час не прилетел
Желанный;
Другой создателем удел
Избранный
Достался узнице младой —
Небесно-тайный, не земной.

Раз слышит он: затворов гром,
Рыданье,
Звук цепи, голоса́... потом
Молчанье...
И ужас грудь его томит —
И тщетно ждет он... всё молчит.

Увы! удел его решен...
Угрюмый,
Навек грядущего лишен,
Все думы
За ней он в гроб переселил
И молит рок, чтоб поспешил.

Однажды — только занялась
Денница —
Его со стуком расперлась
Темница.
«О, радость (мнит он), скоро к ней!»
И что ж? .. Свобода у дверей.

Но хладно принял он привет
Свободы:
Прекрасного уж в мире нет;
Дни, годы
Напрасно будут проходить...
Погибшего не возвратить.

Ах! слово милое об ней
Кто скажет?
Кто след ее забытых дней
Укажет?
Кто знает, где она цвела?
Где тот, кого *своим* звала?

И нет ему в семье родной
Услады;
Задумчив, грустию немой
Он взгляды
Сердечные встречает их;
Он в людстве сумрачен и тих.

Настанет день — ни с места он;
Безгласный,
Душой в мечтанье погружен,
Взор страстный
Исполнен смутного огня,
Стоит он, голову склоня.

Но тихо в сумраке ночей
Он бродит
И с неба темного очей
Не сводит:
Звезда знакомая там есть;
Она к нему приносит весть...

О милом весть и в мир иной
    Призванье...
И делит с тайной он звездой
    Страданье;
Ее краса оживлена:
Ему в ней светится *она*.

Он таял, гаснул и угас...
    И мнилось,
Что вдруг пред ним в последний час
    Явилось
Всё то, чего душа ждала,
И жизнь в улыбке отошла.

<Декабрь> 1819

ЗАМОК СМАЛЬГОЛЬМ, ИЛИ ИВАНОВ ВЕЧЕР

До рассвета поднявшись, коня оседлал
    Знаменитый Смальгольмский барон;
И без отдыха гнал, меж утесов и скал,
    Он коня, торопясь в Бротерстон.

Не с могучим Боклю совокупно спешил
    На военное дело барон;
Не в кровавом бою переведаться мнил
    За Шотландию с Англией он;

Но в железной броне он сидит на коне;
    Наточил он свой меч боевой;
И покрыт он щитом; и топор за седлом
    Укреплен двадцатифунтовой.

Через три дни домой возвратился барон,
    Отуманен и бледен лицом;
Через силу и конь, опенен, запылен,
    Под тяжелым ступал седоком.

Анкрамморския битвы барон не видал,
Где потоками кровь их лилась,
Где на Эверса грозно Боклю напирал,
Где за родину бился Дуглас;

Но железный шелом был иссечен на нем,
Был изрублен и панцырь и щит,
Был недавнею кровью топор за седлом,
Но не английской кровью покрыт.

Соскочив у часовни с коня за стеной,
Притаяся в кустах, он стоял;
И три раза он свистнул — и паж молодой
На условленный свист прибежал.

«Подойди, мой малютка, мой паж молодой,
И присядь на колена мои;
Ты младенец, но ты откровенен душой,
И слова непритворны твои.

Я в отлучке был три дни, мой паж молодой;
Мне теперь ты всю правду скажи:
Что заметил? Что было с твоей госпожой?
И кто был у твоей госпожи?»

«Госпожа по ночам к отдаленным скалам,
Где маяк, приходила тайком
(Ведь огни по горам зажжены, чтоб врагам
Не прокрасться во мраке ночном).

И на первую ночь непогода была,
И без умолку филин кричал;
И она в непогоду ночную пошла
На вершину пустынную скал.

Тихомолком подкрался я к ней в темноте;
И сидела одна — я узрел;
Не стоял часовой на пустой высоте;
Одиноко маяк пламенел.

На другую же ночь — я за ней по следам
На вершину опять побежал —

О творец, у огня одинокого там
Мне неведомый рыцарь стоял.

Подпершися мечом, он стоял пред огнем,
И беседовал долго он с ней;
Но под шумным дождем, но при ветре ночном
Я расслушать не мог их речей.

И последняя ночь безненастна была,
И порывистый ветер молчал;
И к мая́ку она на свиданье пошла;
У мая́ка уж рыцарь стоял.

И сказала (я слышал): «В полуночный час,
Перед светлым Ивановым днем,
Приходи ты; мой муж не опасен для нас;
Он теперь на свиданьи ином;

Он с могучим Боклю ополчился теперь;
Он в сраженьи забыл про меня —
И тайком отопру я для милого дверь
Накануне Иванова дня».

«Я не властен прийти, я не должен прийти,
Я не смею прийти (был ответ);
Пред Ивановым днем одиноким путем
Я пойду... мне товарища нет».

«О, сомнение прочь! безмятежная ночь
Пред великим Ивановым днем
И тиха и темна, и свиданьям она
Благосклонна в молчаньи своем.

Я собак привяжу, часовых уложу,
Я крыльцо пересыплю травой,
И в приюте моем, пред Ивановым днем,
Безопасен ты будешь со мной».

«Пусть собака молчит, часовой не трубит
И трава не слышна под ногой, —
Но священник есть там; он не спит по ночам;
Он приход мой узнает ночной».

«Он уйдет к той поре: в монастырь на горе
Панихиду он позван служить:
Кто-то был умерщвлен; по душе его он
Будет три дни поминки творить».

Он нахмурясь глядел, он как мертвый бледнел,
Он ужасен стоял при огне.
«Пусть о том, кто убит, он поминки творит:
То, быть может, поминки по мне.

Но полуночный час благосклонен для нас:
Я приду под защитою мглы».
Он сказал... и она... я смотрю... уж одна
У мая́ка пустынной скалы».

И Смальгольмский барон, поражен, раздражен,
И кипел, и горел, и сверкал.
«Но скажи наконец, кто ночной сей пришлец?
Он, клянусь небесами, пропал!»

«Показалося мне при блестящем огне:
Был шелом с соколиным пером,
И палаш боевой на цепи золотой,
Три звезды на щите голубом».

«Нет, мой паж молодой, ты обманут мечтой;
Сей полуночный, мрачный пришлец
Был не властен прийти: он убит на пути;
Он в могилу зарыт, он мертвец».

«Нет! не чудилось мне; я стоял при огне
И увидел, услышал я сам,
Как его обняла, как его назвала:
То был рыцарь Ричард Кольдингам».

И Смальгольмский барон, изумлен, поражен,
И хладел, и бледнел, и дрожал.
«Нет! в могиле покой: он лежит под землей,
Ты неправду мне, паж мой, сказал.

Где бежит и шумит меж утесами Твид,
Где подъемлется мрачный Эльдон,

Уж три ночи, как там твой Ричард Кольдингам
Потаенным врагом умерщвлен.

Нет! сверканье огня ослепило твой взгляд;
Оглушен был ты бурей ночной;
Уж три ночи, три дня, как поминки творят
Чернецы за его упокой».

Он идет в ворота, он уже на крыльце,
Он взошел по крутым ступеням
На площадку, и видит: с печалью в лице
Одиноко-унылая там

Молодая жена — и тиха и бледна,
И в мечтании грустном глядит
На поля, небеса, на Мертонски леса,
На прозрачно бегущую Твид.

«Я с тобою опять, молодая жена». —
«В добрый час, благородный барон.
Что расскажешь ты мне? Решена ли война?
Поразил ли Боклю иль сражен?»

«Англичанин разбит; англичанин бежит
С Анкрамморских кровавых полей;
И Боклю наблюдать мне маяк мой велит
И беречься недобрых гостей».

При ответе таком изменилась лицом,
И ни слова... ни слова и он;
И пошла в свой покой с наклоненной главой,
И за нею суровый барон.

Ночь покойна была, но заснуть не дала.
Он вздыхал, он с собой говорил:
«Не пробудится он; не подымется он;
Мертвецы не встают из могил».

Уж заря занялась; был таинственный час
Меж рассветом и утренней тьмой;
И глубоким он сном пред Ивановым днем
Вдруг заснул близ жены молодой.

Не спалося лишь ей, не смыкала очей...
И бродящим, открытым очам,
При лампадном огне, в шишаке и броне
Вдруг явился Ричард Кольдингам.

«Воротись, удалися», — она говорит.
«Я к свиданью тобой приглашен;
Мне известно, кто здесь, неожиданный, спит, —
Не страшись, не услышит нас он.

Я во мраке ночном потаенным врагом
На дороге изменой убит;
Уж три ночи, три дня, как монахи меня
Поминают — и труп мой зарыт.

Он с тобой, он с тобой, сей убийца ночной!
И ужасный теперь ему сон!
И надолго во мгле на пустынной скале,
Где маяк, я бродить осужден;

Где видалися мы под защитою тьмы,
Там скитаюсь теперь мертвецом;
И сюда с высоты не сошел бы... но ты
Заклинала Ивановым днем».

Содрогнулась она и, смятенья полна,
Вопросила: «Но что же с тобой?
Дай один мне ответ — ты спасен ли, иль нет?..»
Он печально потряс головой.

«Выкупáется кровью пролитая кровь, —
То убийце скажи моему.
Беззаконную небо карает любовь, —
Ты сама будь свидетель тому».

Он тяжелою шуйцей коснулся стола;
Ей десницею руку пожал —
И десница как острое пламя была,
И по членам огонь пробежал.

И печать роковая в столе вожжена:
Отразилися пальцы на нем;

На руке ж — но таинственно руку она
Закрывала с тех пор полотном.

Есть монахиня в древних Драйбургских стенах:
И грустна и на свет не глядит;
Есть в Мельрозской обители мрачный монах:
И дичится людей и молчит.

Сей монах молчаливый и мрачный — кто он?
Та монахиня — кто же она?
То убийца, суровый Смальгольмский барон;
То его молодая жена.

<Июль> 1822

ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Пал Приамов град священный;
Грудой пепла стал Пергам;
И, победой насыщенны,
К острогрудым кораблям
Собрались эллены — тризну
В честь минувшего свершить
И в желанную отчизну,
К берегам Эллады плыть.

Пойте, пойте гимн согласной:
Корабли обращены
От враждебной стороны
К нашей Греции прекрасной.

Брегом шла толпа густая
Илионских дев и жен:
Из отеческого края
Их вели в далекий плен.
И с победной песнью дикой
Их сливался тихий стон
По тебе, святой, великой,
Невозвратный Илион.

Вы, родные холмы, нивы,
Нам вас боле не видать;

Будем в рабстве увядать...
О, сколь мертвые счастливы!

И с предведеньем во взгляде
Жертву сам Калхас заклал:
Грады зиждущей Палладе
И губящей (он воззвал),
Буреносцу Посидону,
Воздымателю валов,
И носящему Горгону
Богу смертных и богов!

Суд окончен; спор решился;
Прекратилася борьба;
Всё исполнила Судьба:
Град великий сокрушился.

Царь народов, сын Атрея,
Обозрел полков число;
Вслед за ним на брег Сигея
Много, много их пришло...
И незапный мрак печали
Отуманил царский взгляд:
Благороднейшие пали...
Мало с ним пойдет назад.

Счастлив тот, кому сиянье
Бытия сохранено,
Тот, кому вкусить дано
С милой родиной свиданье!

И не всякий насладится
Миром, в свой пришедши дом:
Часто злобный ков таится
За домашним алтарем;
Часто Марсом пощаженный
Погибает от друзей
(Рек, Палладой вдохновенный,
Хитроумный Одиссей).

Счастлив тот, чей дом украшен
Скромной верностью жены!

Жены алчут новизны,
Постоянный мир им страшен.

И стоящий близ Елены
Менелай тогда сказал:
Плод губительный измены —
Ею сам изменник пал;
И погиб виной Парида
Отягченный Илион. . .
Неизбежен суд Кронида,
Всё блюдет с Олимпа он.

Злому злой конец бывает:
Гибнет жертвой Эвменид,
Кто безумно, как Парид,
Право гостя оскверняет.

Пусть веселый взор счастливых
(Оилеев сын сказал)
Зрит в богах богов правдивых;
Суд их часто слеп бывал:
Скольких бодрых жизнь поблекла!
Скольких низких рок щадит! . .
Нет великого Патрокла;
Жив презрительный Терсит.

Смертный, царь Зевес Фортуне
Своенравной предал нас, —
Уловляй же быстрый час,
Не тревожа сердце втуне.

Лучших бой похитил ярый!
Вечно памятен нам будь
Ты, мой брат, ты, под удары
Подставлявший твердо грудь,
Ты, который нас, пожаром
Осажденных, защитил. . .
Но коварнейшему даром
Щит и меч Ахиллов был.

Мир тебе во тьме Эрева!
Жизнь твою не враг отнял:

Ты своею силой пал,
Жертва гибельного гнева.

О Ахилл! о мой родитель!
(Возгласил Неоптолем)
Быстрый мира посетитель,
Жребий лучший взял ты в нем.
Жить в любви племен делами —
Благо первое земли;
Будем вечны именами
И сокрытые в пыли!

Слава дней твоих нетленна;
В песнях будет цвесть она:
Жизнь живущих неверна,
Жизнь отживших неизменна!

Смерть велит умолкнуть злобе
(Диомед провозгласил):
Слава Гектору во гробе!
Он краса Пергама был;
Он за край, где жили деды,
Веледушно пролил кровь;
Победившим — честь победы!
Охранявшему — любовь!

Кто, на суд явясь кровавый,
Славно пал за отчий дом,
Тот, почтённый и врагом,
Будет жить в преданьях славы.

Нестор, жизнью убеленный,
Нацедил вина фиал
И Гекубе сокрушенной
Дружелюбно выпить дал.
Пей страданий утоленье,
Добрый Вакхов дар — вино:
И веселость и забвенье
Проливает в нас оно.

Пей, страдалица! печали
Услаждаются вином:

Боги жалостные в нем
Подкрепленье сердцу дали.

Вспомни матерь Ниобею:
Что изведала она!
Сколь ужасная над нею
Казнь была совершена!
Но и с нею, безотрадной,
Добрый Вакх недаром был:
Он струею виноградной
Вмиг тоску в ней усыпил.

Если грудь вином согрета
И в устах вино кипит,
Скорби наши быстро мчит
Их смывающая Лета.

И вперила взор Кассандра,
Вняв шепнувшим ей богам,
На пустынный брег Скамандра,
На дымящийся Пергам.
Всё великое земное
Разлетается как дым:
Ныне жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим...

Смертный, Силе, нас гнетущей,
Покоряйся и терпи;
Спящий в гробе, мирно спи;
Жизнью пользуйся, живущий.

1828

КУБОК

«Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой,
В ту бездну прыгнет с вышины?
Бросаю мой кубок туда золотой.
Кто сыщет во тьме глубины
Мой кубок и с ним возвратится безвредно,
Тому он и будет наградой победной».

Так царь возгласил и с высокой скалы,
Висевшей над бездной морской,
В пучину бездонной, зияющей мглы
Он бросил свой кубок златой.
«Кто, смелый, на подвиг опасный решится?
Кто сыщет мой кубок и с ним
возвратится?»

Но рыцарь и латник недвижно стоят;
Молчанье — на вызов ответ;
В молчаньи на грозное море глядят;
За кубком отважного нет.
И в третий раз царь возгласил громогласно:
«Отыщется ль смелый на подвиг опасной?»

И все безответны... вдруг паж молодой
Смиренно и дерзко вперед;
Он снял епанчу и снял пояс он свой;
Их молча на землю кладет...
И дамы и рыцари мыслят, безгласны:
Ах! юноша, кто ты? Куда ты, прекрасный?

И он подступает к наклону скалы,
И взор устремил в глубину...
Из чрева пучины бежали валы,
Шумя и гремя, в вышину;
И волны спирались, и пена кипела,
Как будто гроза, наступая, ревела.

И воет, и свищет, и бьет, и шипит,
Как влага, мешаясь с огнем,
Волна за волною; и к небу летит
Дымящимся пена столбом;
Пучина бунтует, пучина клокочет...
Не море ль из моря извергнуться хочет?

И вдруг, успокоясь, волненье легло;
И грозно из пены седой
Разинулось черною щелью жерло;
И воды обратно толпой
Помчались во глубь истощенного чрева;
И глубь застонала от грома и рева.

И он, упредя разъяренный прилив,
Спасителя-бога призвал...
И дрогнули зрители, все возопив, —
Уж юноша в бездне пропал.
И бездна таинственно зев свой закрыла —
Его не спасет никакая уж сила.

Над бездной утихло... в ней глухо шумит...
И каждый, очей отвести
Не смея от бездны, печально твердит:
«Красавец отважный, прости!»
Всё тише и тише на дне ее воет...
И сердце у всех ожиданием ноет.

«Хоть брось ты туда свой венец золотой,
Сказав: *кто венец возвратит,*
Тот с ним и престол мой разделит со мной! —
Меня твой престол не прельстит.
Того, что скрывает та бездна немая,
Ничья здесь душа не расскажет живая.

Немало судов, закруженных волной,
Глотала ее глубина,
Все мелкой назад вылетали щепой
С ее неприступного дна...»
Но слышится снова в пучине глубокой
Как будто роптанье грозы недалекой.

И воет, и свищет, и бьет, и шипит,
Как влага, мешаясь с огнем,
Волна за волною; и к небу летит
Дымящимся пена столбом...
И брызнул поток с оглушительным ревом,
Извергнутый бездны зияющим зевом.

Вдруг... что-то сквозь пену седой глубины
Мелькнуло живой белизной...
Мелькнула рука и плечо из волны...
И борется, спорит с волной...
И видят — весь берег потрясся от клича —
Он левою правит, а в правой добыча.

И долго дышал он, и тяжко дышал,
И божий приветствовал свет...
И каждый с весельем «Он жив! —
повторял. —
Чудеснее подвига нет!
Из темного гроба, из пропасти влажной
Спас душу живую красавец отважной».

Он на берег вышел; он встречен толпой;
К царевым ногам он упал;
И кубок у ног положил золотой;
И дочери царь приказал
Дать юноше кубок с струей винограда;
И в сладость была для него та награда.

«Да здравствует царь! Кто живет на земле,
Тот жизнью земной веселись!
Но страшно в подземной таинственной мгле...
И смертный пред богом смирись:
И мыслью своей не желай дерзновенно
Знать тайны, им мудро от нас сокровенной.

Стрелою стремглав полетел я туда...
И вдруг мне навстречу поток;
Из трещины камня лилася вода;
И вихорь ужасный повлек
Меня в глубину с непонятною силой...
И страшно меня там кружило и било.

Но богу молитву тогда я принес,
И он мне спасителем был:
Торчащий из мглы я увидел утес
И крепко его обхватил;
Висел там и кубок на ветви коралла:
В бездонное влага его не умчала.

И смутно всё было внизу подо мной
В пурпуровом сумраке там;
Всё спало для слуха в той бездне глухой;
Но виделось страшно очам,
Как двигались в ней безобразные груды,
Морской глубины несказанные чуды.

Я видел, как в черной пучине кипят,
   В громадный свиваяся клуб,
И млат водяной, и уродливый скат,
   И ужас морей однозуб;
И смертью грозил мне, зубами сверкая,
Мокой ненасытный, гиена морская.

И был я один с неизбежной судьбой,
   От взора людей далеко;
Один, меж чудовищ, с любящей душой,
   Во чреве земли, глубоко
Под звуком живым человечьего слова,
Меж страшных жильцов подземелья немова.

И я содрогался... вдруг слышу: ползет
   Стоногое грозно из мглы,
И хочет схватить, и разинулся рот...
   Я в ужасе прочь от скалы!..
То было спасеньем: я схвачен приливом
И выброшен вверх водомета порывом».

Чудесен рассказ показался царю:
   «Мой кубок возьми золотой;
Но с ним я и перстень тебе подарю,
   В котором алмаз дорогой,
Когда ты на подвиг отважишься снова
И тайны все дна перескажешь морскова».

То слыша, царевна с волненьем в груди,
   Краснея, царю говорит:
«Довольно, родитель, его пощади!
   Подобное кто совершит?
И если уж должно быть опыту снова,
То рыцаря вышли, не пажа младова».

Но царь, не внимая, свой кубок златой
   В пучину швырнул с высоты:
«И будешь здесь рыцарь любимейший мой,
   Когда с ним воротишься ты;
И дочь моя, ныне твоя предо мною
Заступница, будет твоею женою».

В нем жизнью небесной душа зажжена;
Отважность сверкнула в очах;
Он видит: краснеет, бледнеет *она;*
Он видит: в *ней* жалость и страх...
Тогда, неописанной радостью полный,
На жизнь и погибель он кинулся в волны...

Утихнула бездна... и снова шумит...
И пеною снова полна...
И с трепетом в бездну царевна глядит...
И бьет за волною волна...
Приходит, уходит волна быстротечно —
А юноши нет и не будет уж вечно.

<1825> — <март> 1831

ПОЛИКРАТОВ ПЕРСТЕНЬ

На кровле он стоял высоко
И на Самос богатый око
С весельем гордым преклонял.
«Сколь щедро взыскан я богами!
Сколь счастлив я между царями!» —
Царю Египта он сказал.

«Тебе благоприятны боги;
Они к твоим врагам лишь строги
И всех их предали тебе;
Но жив один, опасный мститель;
Пока он дышит... победитель,
Не доверяй своей судьбе».

Еще не кончил он ответа,
Как из союзного Милета
Явился присланный гонец:
«Победой ты украшен новой;
Да обовьет опять лавровой
Главу властителя венец;

Твой враг постигнут строгой местью;
Меня послал к вам с этой вестью

Наш полководец Полидор».
Рука гонца сосуд держала:
В сосуде голова лежала;
Врага узнал в ней царский взор.

И гость воскликнул с содроганьем:
«Страшись! Судьба очарованьем
Тебя к погибели влечет.
Неверные морские волны
Обломков корабельных полны, —
Еще не в пристани твой флот».

Еще слова его звучали...
А клики брег уж оглашали,
Народ на пристани кипел;
И в пристань, царь морей крылатый,
Дарами дальних стран богатый,
Флот торжествующий влетел.

И гость, увидя то, бледнеет.
«Тебе Фортуна благодеет...
Но ты не верь, здесь хитрый ков,
Здесь тайная погибель скрыта:
Разбойники морские Крита
От здешних близко берегов».

И только выронил он слово,
Гонец вбегает с вестью новой:
«Победа, царь! Судьбе хвала!
Мы торжествуем над врагами:
Флот Критский истреблен богами;
Его их буря пожрала».

Испуган гость нежданной вестью...
«Ты счастлив; но Судьбины лестью
Такое счастье мнится мне:
Здесь вечны блага не бывали,
И никогда нам без печали
Не доставалися оне.

И мне всё в жизни улыбалось;
Неизменяемо, казалось,

Я Силой вышней был храним;
Все блага прочил я для сына...
Его, его взяла Судьбина;
Я долг мой сыном заплатил.

Чтоб верной избежать напасти,
Моли невидимые Власти
Подлить печали в твой фиал.
Судьба и в милостях мздоимец:
Какой, какой ее любимец
Свой век не бедственно кончал?

Когда ж в несчастье рок откажет,
Исполни то, что друг твой скажет:
Ты призови несчастье сам.
Твои сокровища несметны;
Из них скорей, как дар заветный,
Отдай любимое богам».

Он гостю внемлет с содроганьем:
«Моим избранным достояньем
Доныне этот перстень был;
Но я готов Властям незримым
Добром пожертвовать любимым...»
И перстень в море он пустил.

Наутро, только луч денницы
Озолотил верхи столицы,
К царю является рыбарь:
«Я рыбу, пойманную мною,
Чудовище величиною,
Тебе принес в подарок, царь!»

Царь изъявил благоволенье...
Вдруг царский повар в исступленье
С нежданной вестию бежит:
«Найден твой перстень драгоценный,
Огромной рыбой поглощенный,
Он в ней ножом моим открыт».

Тут гость, как пораженный громом,
Сказал: «Беда над этим домом!

Нельзя мне другом быть твоим;
На смерть ты обречен Судьбою —
Бегу, чтоб здесь не пасть с тобою. . .»
Сказал и разлучился с ним.

Март 1831

ЖАЛОБА ЦЕРЕРЫ

Снова гений жизни веет;
Возвратилася весна;
Холм на солнце зеленеет;
Лед разрушила волна;
Распустившийся дымится
Благовониями лес,
И безоблачен глядится
В воды зеркальны Зевес;
Всё цветет — лишь мой единый
Не взойдет прекрасный цвет:
Прозерпины, Прозерпины
На земле моей уж нет.

Я везде ее искала,
В дневном свете и в ночи;
Все за ней я посылала
Аполлоновы лучи;
Но ее под сводом неба
Не нашел всезрящий бог;
А подземной тьмы Эреба
Луч его пронзить не мог:
Те брега недостижимы,
И богам их страшен вид. . .
Там она! неумолимый
Ею властвует Аид.

Кто ж мое во мрак Плутона
Слово к ней перенесет?
Вечно ходит челн Харона,
Но лишь тени он берет.
Жизнь подземного страшится;
Недоступен ад и тих;

И с тех пор, как он стремится,
Стикс не видывал живых;
Тьма дорог туда низводит;
Ни одной оттуда нет;
И отшедший не приходит
Никогда опять на свет.

Сколь завидна мне, печальной,
Участь смертных матерей!
Легкий пламень погребальной
Возвращает им детей;
А для нас, богов нетленных,
Что усладою утрат?
Нас, безрадостно-блаженных,
Парки строгие щадят. . .
Парки, Парки, поспешите
С неба в ад меня послать;
Прав богини не щадите:
Вы обрадуете мать.

В тот предел — где, утешенью
И веселию чужда,
Дочь живет — свободной тенью
Полетела б я тогда;
Близ супруга, на престоле,
Мне предстала бы она,
Грустной думою о воле
И о матери полна;
И ко мне бы взор склонился,
И меня узнал бы он,
И над нами б прослезился
Сам безжалостный Плутон.

Тщетный призрак! стон напрасный!
Всё одним путем небес
Ходит Гелиос прекрасный;
Всё навек решил Зевес;
Жизнью горнею доволен,
Ненавидя адску ночь,
Он и сам отдать не волен
Мне утраченную дочь.
Там ей быть, доколь Аида

Не осветит Аполлон
Или радугой Ирида
Не сойдет на Ахерон!

Нет ли ж мне чего от милой
В сладкопамятный завет:
Что осталось всё как было,
Что для нас разлуки нет?
Нет ли тайных уз, чтоб ими
Снова сблизить мать и дочь,
Мертвых с милыми живыми,
С светлым днем подземну ночь?..
Так, не все следы пропали!
К ней дойдет мой нежный клик:
Нам святые боги дали
Усладительный язык.

В те часы, как хлад Борея
Губит нежных чад весны,
Листья падают, желтея,
И леса обнажены, —
Из руки Вертумна щедрой
Семя жизни взять спешу
И, его в земное недро
Бросив, Стиксу приношу;
Сердцу дочери вверяю
Тайный дар моей руки
И, скорбя, в нем посылаю
Весть любви, залог тоски.

Но когда с небес слетает
Вслед за бурями весна,
В мертвом снова жизнь играет,
Солнце греет семена;
И, умершие для взора,
Вняв они весны привет
Из подземного затвора
Рвутся радостно на свет:
Лист выходит в область неба,
Корень ищет тьмы ночной;
Лист живет лучами Феба,
Корень — Стиксовой струей.

Ими та́инственно слита
Область тьмы с страною дня,
И приходят от Коцита
С ними вести для меня;
И ко мне в живом дыханье
Молодых цветов весны
Подымается признанье,
Глас родной из глубины;
Он разлуку услаждает,
Он душе моей твердит,
Что любовь не умирает
И в отшедших за Коцит.

О! приветствую вас, чада
Расцветающих полей;
Вы тоски моей услада,
Образ дочери моей;
Вас налью благоуханьем,
Напою живой росой
И с Аврориным сияньем
Поравняю красотой;
Пусть весной природы младость,
Пусть осенний мрак полей
И мою вещают радо́сть
И печаль души моей.

Март 1831

СУД БОЖИЙ НАД ЕПИСКОПОМ

Были и лето и осень дождливы;
Были потоплены пажити, нивы;
Хлеб на полях не созрел и пропал;
Сделался голод, народ умирал.

Но у епископа, милостью неба,
Полны амбары огромные хлеба;
Жито сберег прошлогоднее он:
Был осторожен епископ Гаттон.

Рвутся толпой и голодный и нищий
В двери епископа, требуя пищи;
Скуп и жесток был епископ Гаттон:
Общей бедою не тронулся он.

Слушать и вопли ему надоело;
Вот он решился на страшное дело:
Бедных из ближних и дальних сторон,
Слышно, скликает епископ Гаттон.

«Дожили мы до нежданного чуда:
Вынул епископ добро из-под спуда;
Бедных к себе на пирушку зовет», —
Так говорил изумленный народ.

К сроку собралися званые гости,
Бледные, чахлые, кожа да кости;
Старый, огромный сарай отворен,
В нем угостит их епископ Гаттон.

Вот уж столпились под кровлей сарая
Все пришлецы из окружного края...
Как же их принял епископ Гаттон?
Был им сарай и с гостями сожжен.

Глядя епископ на пепел пожарный,
Думает: будут мне все благодарны;
Разом избавил я шуткой моей
Край наш голодный от жадных мышей.

В за́мок епископ к себе возвратился,
Ужинать сел, пировал, веселился,
Спал, как невинный, и снов не видал...
Правда! но боле с тех пор он не спал.

Утром он входит в покой, где висели
Предков портреты, и видит, что съели
Мыши его живописный портрет,
Так, что холстины и признака нет.

Он обомлел; он от страха чуть дышит...
Вдруг он чудесную ведомость слышит:

«Наша округа мышами полна,
В житницах съеден весь хлеб до зерна».

Вот и другое в ушах загремело:
«Бог на тебя за вчерашнее дело!
Крепкий твой за́мок, епископ Гаттон,
Мыши со всех осаждают сторон».

Ход был до Рейна от замка подземной;
В страхе епископ дорогою темной
К берегу выйти из замка спешит,
«В Реинской башне спасусь», — говорит.

Башня из реинских вод подымалась;
Издали острым утесом казалась,
Грозно из пены торчащим, она;
Стены кругом ограждала волна.

В легкую лодку епископ садится;
К башне причалил, дверь запер и мчится
Вверх по гранитным крутым ступеням;
В страхе один затворился он там.

Стены из стали казалися слиты,
Были решетками окна забиты,
Ставни чугунные, каменный свод,
Дверью железною запертый вход.

Узник не знает, куда приютиться;
На пол, зажмурив глаза, он ложится...
Вдруг он испуган стенаньем глухим:
Вспыхнули ярко два глаза над ним.

Смотрит он... кошка сидит и мяучит;
Голос тот грешника давит и мучит;
Мечется кошка; невесело ей:
Чует она приближенье мышей.

Пал на колени епископ и криком
Бога зовет в исступлении диком.
Воет преступник... а мыши плывут...
Ближе и ближе... доплыли... ползут.

Вот уж ему в расстоянии близком
Слышно, как лезут с роптаньем и писком;
Слышно, как стену их лапки скребут;
Слышно, как камень их зубы грызут.

Вдруг ворвались неизбежные звери;
Сыплются градом сквозь окна, сквозь
двери,
Спереди, сзади, с боков, с высоты...
Что тут, епископ, почувствовал ты?

Зубы об камни они навострили,
Грешнику в кости их жадно впустили,
Весь по суставам раздернут был он...
Так был наказан епископ Гаттон.

Март 1831

АЛОНЗО

Из далекой Палестины
Возвратясь, певец Алонзо
К замку Бальби приближался
Полон песней вдохновенных.

Там красавица младая,
Струны звонкие подслушав,
Обомлеет, затрепещет
И с альтана взор наклонит.

Он приходит в замок Бальби,
И под окнами поет он
Всё, что сердце молодое
Втайне выдумать умело.

И цветы с высоких окон,
Видит он, к нему склонились;
Но царицы сладких песней
Меж цветами он не видит.

И ему тогда прохожий
Прошептал с лицом печальным:

«Не тревожь покоя мертвых;
Спит во гробе Изолина».

И на то певец Алонзо
Не ответствовал ни слова;
Но глаза его потухли
И не бьется боле сердце.

Как незапным дуновеньем
Ветерок лампаду гасит,
Так угас в одно мгновенье
Молодой певец от слова.

Но в старинной церкви замка,
Где пылали ярко свечи,
Где во гробе Изолина,
Под душистыми цветами,

Бледноликая лежала,
Всех проник незапный трепет:
Оживленная, из гроба
Изолина поднялася. . .

От бесчувствия могилы
Возвратясь незапно к жизни,
В гробовой она одежде,
Как в уборе брачном, встала;

И не зная, что с ней было,
Как объятая виденьем,
Изумленная спросила:
«Не пропел ли здесь Алонзо? . .»

Так, пропел он, твой Алонзо!
Но ему не петь уж боле:
Пробудив тебя из гроба,
Сам заснул он — и навеки.

Там, в стране преображенных,
Ищет он свою земную,
До него с земли на небо
Улетевшую подругу. . .

Небеса кругом сияют,
Безмятежны и прекрасны...
И надеждой обольщенный,
Их блаженства пролетая,

Кличет там он: Изолина!
И спокойно раздается:
Изолина! Изолина!
Там в блаженствах безответных.

26—28 марта 1831

ЛЕНОРА

Леноре снился страшный сон,
Проснулася в испуге.
«Где милый? Что с ним? Жив ли он?
И верен ли подруге?»
Пошел в чужую он страну
За Фридериком на войну;
Никто об нем не слышит;
А сам он к ней не пишет.

С императрицею король
За что-то раздружились,
И кровь лилась, лилась... доколь
Они не помирились.
И оба войска, кончив бой,
С музыкой, песнями, пальбой,
С торжественностью ратной
Пустились в путь обратной.

Идут! идут! за строем строй;
Пылят, гремят, сверкают;
Родные, ближние толпой
Встречать их выбегают;
Там обнял друга нежный друг,
Там сын — отца, жену — супруг;
Всем радость... а Леноре
Отчаянное горе.

Она обходит ратный строй
    И друга вызывает;
Но вести нет ей никакой:
    Никто об нем не знает.
Когда же мимо рать прошла —
Она свет божий прокляла,
    И громко зарыдала,
    И на землю упала.

К Леноре мать бежит с тоской:
    «Что так тебя волнует?
Что сделалось, дитя, с тобой?»
    И дочь свою целует.
«О друг мой, друг мой, всё прошло!
Мне жизнь не жизнь, а скорбь и зло;
    Сам бог врагом Леноре...
    О горе мне! о горе!»

«Прости ее, небесный царь!
    Родная, помолися;
Он благ, его руки мы тварь:
    Пред ним душой смирися». —
«О друг мой, друг мой, всё как сон...
Немилостив со мною он;
    Пред ним мой крик был тщетен...
    Он глух и безответен».

«Дитя, от жалоб удержись;
    Смири души тревогу;
Пречистых таин причастись,
    Пожертвуй сердцем богу». —
«О друг мой, что во мне кипит,
Того и бог не усмирит:
    Ни тайнами, ни жертвой
    Не оживится мертвой».

«Но что, когда он сам забыл
    Любви святое слово,
И прежней клятве изменил,
    И связан клятвой новой?
И ты, и ты об нем забудь;
Не рви тоской напрасной грудь;

Не стоит слез предатель;
Ему судья создатель».

«О друг мой, друг мой, всё прошло;
Пропавшее пропало;
Жизнь безотрадную назло
Мне провиденье дало...
Угасни ты, противный свет!
Погибни, жизнь, где друга нет!
Сам бог врагом Леноре...
О горе мне! о горе!»

«Небесный царь да ей простит
Твое долготерпенье!
Она не знает, что творит:
Ее душа в забвенье.
Дитя, земную скорбь забудь:
Ведет ко благу божий путь;
Смиренным рай награда.
Страшись мучений ада».

«О друг мой, что небесный рай?
Что адское мученье?
С ним вместе — всё небесный рай;
С ним розно — всё мученье;
Угасни ты, противный свет!
Погибни, жизнь, где друга нет!
С ним розно, умерла я
И здесь и там для рая».

Так дерзко, полная тоской,
Душа в ней бунтовала...
Творца на суд она с собой
Безумно вызывала,
Терзалась, волосы рвала
До той поры, как ночь пришла
И темный свод над нами
Усыпался звездами.

И вот... как будто легкий скок
Коня в тиши раздался:

Несется по полю ездок;
Гремя, к крыльцу примчался;
Гремя, взбежал он на крыльцо;
И двери брякнуло кольцо...
В ней жилки задрожали...
Сквозь дверь ей прошептали:

«Скорей! сойди ко мне, мой свет!
Ты ждешь ли друга, спишь ли?
Меня забыла ты иль нет?
Смеешься ли, грустишь ли?» —
«Ах! милый... бог тебя принес!
А я... от горьких, горьких слез
И свет в очах затмился...
Ты как здесь очутился?»

«Седлаем в полночь мы коней...
Я еду издалёка.
Не медли, друг; сойди скорей;
Путь долог, мало срока». —
«На что спешить, мой милый, нам?
И ветер воет по кустам,
И тьма ночная в поле;
Побудь со мной на воле».

«Что нужды нам до тьмы ночной!
В кустах пусть ветер воет.
Часы бегут; конь борзый мой
Копытом землю роет;
Нельзя нам ждать; сойди, дружок;
Нам долгий путь, нам малый срок;
Не в пору сон и нега:
Сто миль нам до ночлега».

«Но как же конь твой пролетит
Сто миль до утра, милой?
Ты слышишь, колокол гудит:
Одиннадцать пробило». —
«Но месяц встал, он светит нам...
Гладка дорога мертвецам;
Мы скачем, не боимся;
До света мы домчимся».

«Но где же, где твой уголок?
Где наш приют укромный?» —
«Далеко он... пять, шесть досток...
Прохладный, тихий, темный». —
«Есть место мне?» — «Обоим нам.
Поедем; всё готово там;
Ждут гости в нашей келье;
Пора на новоселье!»

Она подумала, сошла,
И на коня вспрыгнула,
И друга нежно обняла,
И вся к нему прильнула.
Помчались... конь бежит, летит,
Под ним земля шумит, дрожит,
С дороги вихри вьются,
От камней искры льются.

И мимо их холмы, кусты,
Поля, леса летели;
Под конским топотом мосты
Тряслися и гремели.
«Не страшно ль?» — «Месяц светит
нам!» —
«Гладка дорога мертвецам!
Да что же так дрожишь ты?» —
«Зачем о них твердишь ты?»

«Но кто там сто́нет? Что за звон?
Что ворона взбудило?
По мертвом звон; надгробный стон;
Голо́сят над могилой».
И виден ход: идут, поют,
На дрогах тяжкий гроб везут,
И голос погребальной
Как вой совы печальной.

«Заройте гроб в полночный час:
Слезам теперь не место;
За мной! к себе на свадьбу вас
Зову с моей невестой.
За мной, певцы; за мной, пастор;

Пропой нам многолетье, хор;
Нам дай на обрученье,
Пастор, благословенье».

И звон утих... и гроб пропал...
Столпился хор проворно
И по дороге побежал
За ними тенью черной;
И дале, дале!.. конь летит,
Под ним земля шумит, дрожит,
С дороги вихри вьются,
От камней искры льются.

И сзади, спереди, с боков
Окрестность вся летела:
Поля, холмы, ряды кустов,
Заборы, домы, села.
«Не страшно ль?» — «Месяц светит нам». —
«Гладка дорога мертвецам!
Да что же так дрожишь ты?» —
«О мертвых всё твердишь ты!»

Вот у дороги, над столбом,
Где висельник чернеет,
Воздушный рой, свиясь кольцом,
Кружится, пляшет, веет.
«Ко мне! за мной вы, плясуны!
Вы все на пир приглашены!
Скачу, лечу жениться...
Ко мне! повеселиться!»

И лётом, лётом легкий рой
Пустился вслед за ними,
Шумя, как ветер полевой
Меж листьями сухими.
И дале, дале!.. конь летит,
Под ним земля шумит, дрожит,
С дороги вихри вьются,
От камней искры льются.

Вдали, вблизи, со всех сторон,
Всё мимо их бежало,

И всё, как тень, и всё, как сон,
Мгновенно пропадало.
«Не страшно ль?» — «Месяц светит нам». —
«Гладка дорога мертвецам!
Да что же так дрожишь ты?» —
«Зачем о них твердишь ты?»

«Мой конь, мой конь, песок бежит;
Я чую, ночь свежее;
Мой конь, мой конь, петух кричит;
Мой конь, несись быстрее...
Окончен путь; исполнен срок;
Наш близко, близко уголок;
В минуту мы у места...
Приехали, невеста!»

К воротам конь во весь опор
Примчавшись, стал и топнул;
Ездок бичом стегнул затвор —
Затвор со стуком лопнул;
Они кладбище видят там...
Конь быстро мчится по гробам;
Лучи луны сияют,
Кругом кресты мелькают.

И что ж, Ленора, что потом?
О страх!.. в одно мгновенье
Кусок одежды за куском
Слетел с него, как тленье;
И нет уж кожи на костях;
Безглазый череп на плечах;
Нет каски, нет колета;
Она в руках скелета.

Конь прянул... пламя из ноздрей
Волною побежало;
И вдруг... всё пылью перед ней
Расшиблось и пропало.
И вой и стон на вышине;
И крик в подземной глубине;
Лежит Ленора в страхе
Полмертвая на прахе.

И в блеске месячных лучей
Рука с рукой летает,
Виясь над ней, толпа теней
И так ей припевает:
«Терпи, терпи, хоть ноет грудь;
Творцу в бедах покорна будь;
Твой труп сойди в могилу!
А душу — бог помилуй!»

Конец марта 1831

РОЛАНД ОРУЖЕНОСЕЦ

Раз Карл Великий пировал;
Чертог богато был украшен;
Кругом ходил златой бокал;
Огромный стол трещал от брашен;
Гремел певцов избранных хор;
Шумел веселый разговор;
И гости вдоволь пили, ели,
И лица их от вин горели.

Великий Карл сказал гостям:
«Свершить нам должно подвиг трудный.
Прилично ль веселиться нам,
Когда еще Артусов чудный
Не завоеван талисман?
Его укравший великан
Живет в Арденском лесе темном;
Он на щите его огромном».

Отважный Оливьер, Гварин,
Силач Гемон, Наим Баварский,
Агландский граф Милон, Мерлин,
Такой услыша вызов царский,
Из-за стола тотчас встают,
Мечи тяжелые берут;
Сверкают их стальные брони;
Их боевые пляшут кони.

Тут сын Милонов молодой,
Роланд, сказал: «Возьми, родитель,
Меня с собой; я буду твой
Оруженосец и служитель.
Ваш подвиг не по ле́там мне;
Но ты позволь, чтоб на коне
Я вез, простым твоим слугою,
Копье и щит твой за тобою».

В Арденский лес одним путем
Шесть бодрых витязей пустились,
В средину въехали, потом
Друг с другом братски разлучились.
Младой Роланд с копьем, щитом
Смиренно едет за отцом;
Едва от радости он дышит;
Бодрит коня; конь ржет и пышет.

И рыщут по́ лесу они
Три целых дня, три целых ночи;
Устали сами; их кони́
Совсем уж выбились из мочи;
А великана всё им нет.
Вот на четвертый день, в обед,
Под дубом сенисто-широким
Милон забылся сном глубоким.

Роланд не спит. Вдруг видит он:
В лесной дали, сквозь сумрак сеней,
Блеснуло; и со всех сторон
Вскочило множество оленей,
Живым испуганных лучом;
И там, как туча, со щитом,
Блистающим от талисмана,
Валит громада великана.

Роланд глядит на пришлеца
И мыслит: «Что же ты за диво?
Будить мне для тебя отца
Не к месту было бы учтиво;
Здесь за него, пока он спит,
Его копье, и добрый щит,

И острый меч, и конь задорный,
И сын Роланд, слуга проворный».

И вот он на бедро свое
Повесил меч отцов тяжелой;
Взял длинное его копье
И за плеча рукою смелой
Его закинул крепкий щит;
И вот он на коне сидит;
И потихоньку удалился —
Дабы отец не пробудился.

Его увидя, сморщил нос
С презреньем великан спесивый.
«Откуда ты, молокосос?
Не по тебе твой конь ретивый;
Смотри, тебя длинней твой меч;
Твой щит с твоих ребячьих плеч,
Тебя переломив, свалится;
Твое копье лишь мне годится».

«Дерзка твоя, как слышу, речь;
Посмотрим, таково ли дело?
Тяжел мой щит для детских плеч —
Зато за ним стою я смело;
Пусть неуч я — мой конь учен;
Пускай я слаб — мой меч силен;
Отведай нас; уж мы друг другу
Окажем в честь тебе услугу».

Дубину великан взмахнул,
Чтоб вдребезги разбить нахала,
Но конь Роландов отпрыгнул;
Дубина мимо просвистала.
Роланд пустил в него копьем;
Оно осталось с острием,
Погнутым силой талисмана,
В щите пронзенном великана.

Роланд отцовский меч большой
Схватил обеими руками;
Спешит схватить противник свой;

Но крепко стиснут он ножнами;
Еще меча он не извлек,
Как руку левую отсек
Ему наш витязь; кровь струею;
Прочь отлетел и щит с рукою.

Завыл от боли великан,
Кипучей кровию облитый;
Утратив чудный талисман,
Он вдруг остался без защиты;
Вслед за щитом он побежал;
Но по ногам вдогонку дал
Ему Роланд удар проворной —
Он покатился глыбой черной.

Роланд, подняв отцовский меч,
Одним ударом исполину
Отрушил голову от плеч;
Свистя, кровь хлынула в долину.
Щит великанов взяв потом,
Он талисман, блиставший в нем
(Осьмое чудо красотою),
Искусной выломал рукою.

И в платье скрыл он взятый клад;
Потом струей ручья лесного
С лица и с рук, с коня и с лат
Смыл кровь и прах и, севши снова
На доброго коня, шажком
Отправился своим путем
В то место, где отец остался;
Отец еще не просыпался.

С ним рядом лег Роланд и в сон
Глубокий скоро погрузился
И спал, покуда сам Милон
Под сумерки не пробудился.
«Скорей, мой сын Роланд, вставай;
Подай мой шлем, мой меч подай;
Уж вечер; всюду мгла тумана;
Опять не встретим великана».

Вот ездит он в лесу густом
И великана ищет снова;
Роланд за ним с копьем, щитом —
Но о случившемся ни слова.
И вот они в долине той,
Где жаркий совершился бой;
Там виден был поток кровавый;
В крови валялся труп безглавый.

Роланд глядит; своим глазам
Не верит он: что за причина?
Одно лишь туловище там;
Но где же голова, дубина?
Где панцырь, меч, рука и щит?
Один ободранный лежит
Обрубок мертвеца нагого;
Следов не видно остального.

Труп осмотрев, Милон сказал:
«Что за уродливая груда!
Еще ни разу не видал
На свете я такого чуда:
Чей это труп? .. Вопрос смешной!
Да это великан; другой
Успел дать хищнику управу;
Я проспал честь мою и славу».

Великий Карл глядел в окно
И думал: «Страшно мне по чести;
Где рыцари мои? Давно
Пора б от них иметь нам вести.
Но что? .. Не герцог ли Гемон
Там едет? Так, и держит он
Свое копье перед собою
С отрубленною головою».

Гемон, с нахмуренным лицом
Приближась, голову немую
Стряхнул с копья перед крыльцом
И Карлу так сказал: «Плохую
Добычу я завоевал;
Я этот клад в лесу достал,

Где трое суток я скитался:
Мне враг без головы попался».

Приехал за Гемоном вслед
Тюрпин, усталый, бледный, тощий.
«Со мною талисмана нет,
Но вот вам дорогие мощи».
Добычу снял Тюрпин с седла:
То великанова была
Рука, обвитая тряпицей,
С его огромной рукавицей.

Сердит и сумрачен, Наим
Приехал по следам Тюрпина,
И великанова за ним
Висела на седле дубина.
«Кому достался талисман,
Не знаю я, но великан
Меня оставил в час кончины
Наследником своей дубины».

Шел рыцарь Оливьер пешком,
Задумчивый и утомленный;
Конь, великановым мечом
И панцырем обремененный,
Едва копыта подымал.
«Всё это с мертвеца я снял;
Мне от победы мало чести;
О талисмане ж нет и вести».

Вдали является Гварин
С щитом огромным великана,
И все кричат: «Вот паладин,
Завоеватель талисмана!»
Гварин, подъехав, говорит:
«В лесу нашел я этот щит;
Но обманулся я в надежде:
Был талисман украден прежде».

Вот наконец и граф Милон.
Печален, во вражде с собою,
К дворцу тихонько едет он

С потупленною головою.
Роланд смиренно за отцом
С его копьем, с его щитом,
И светятся, как звезды ночи,
Под шлемом удалые очи.

И вот они уж у крыльца,
На коем Карл и паладины
Их ждут; тогда на щит отца
Роланд, сорвав с его средины
Златую бляху, утвердил
Свой талисман и щит открыл...
И луч блеснул с него чудесный,
Как с черной тучи день небесный.

И грянуло со всех сторон
Шумящее рукоплесканье;
И Карл сказал: «Ты, граф Милон,
Исполнил наше упованье;
Ты возвратил нам талисман;
Тобой наказан великан;
За славный подвиг в награжденье
Прими от нас благоволенье».

Милон, слова услыша те,
Глаза на сына обращает...
И что же? Перед ним в щите,
Как солнце, талисман сияет.
«Где это взял ты, молодец?»
Роланд в ответ: «Прости, отец;
Тебя будить я побоялся
И с великаном сам подрался».

19 октября 1832

ПЛАВАНИЕ КАРЛА ВЕЛИКОГО

Раз Карл Великий морем плыл,
И с ним двенадцать пэров плыло,
Их путь в святую землю был;
Но море злилося и выло.

Тогда Роланд сказал друзьям:
«Деруся я на суше смело;
Но в злую бурю по волнам
Хлестать мечом плохое дело».

Датчанин Гольгер молвил: «Рад
Я веселить друзей струнами;
Но будет ли какой в них лад
Между ревущими волнами?»

А Оливьер сказал, с плеча
Взглянув на бурных волн сугробы:
«Мне жалко нового меча:
Здесь утонуть ему без пробы».

Нахмурясь, Ганелон шепнул:
«Какая адская тревога!
Но только б я не утонул! . .
Они ж? . . туда им и дорога!»

«Мы все плывем к святым местам! —
Сказал, крестясь, Тюрпин-святитель. —
Явись и в пристань по волнам
Нас, грешных, проведи, спаситель!»

«Вы, бесы! — граф Рихард вскричал. —
Мою вы ведаете службу;
Я много в ад к вам душ послал —
Явите вы теперь мне дружбу».

«Уж я ли, — вымолвил Наим, —
Не говорил: нажить нам горе?
Но слово умное глухим
Есть капля масла в бурном море».

«Беда! — сказал Риоль седой, —
Но если море не уймется,
То мне на старости в сырой
Постеле нынче спать придется».

А граф Гюи вдруг начал петь,
Не тратя жалоб бесполезно:

«Когда б отсюда полететь
Я птичкой мог к своей любезной!»

«Друзья, сказать ли вам? Ей-ей! —
Промолвил граф Гварин, вздыхая. —
Мне сладкое вино вкусней,
Чем горькая вода морская».

Ламберт прибавил: «Что за честь
С морскими чудами сражаться?
Гораздо лучше рыбу есть,
Чем рыбе на обед достаться».

«Что бог велит, тому и быть! —
Сказал Годефруа. — С друзьями
Я рад добро и зло делить;
Его святая власть над нами».

А Карл молчал: он у руля
Сидел и правил. Вдруг явилась
Святая вдалеке земля,
Блеснуло солнце, буря скрылась.

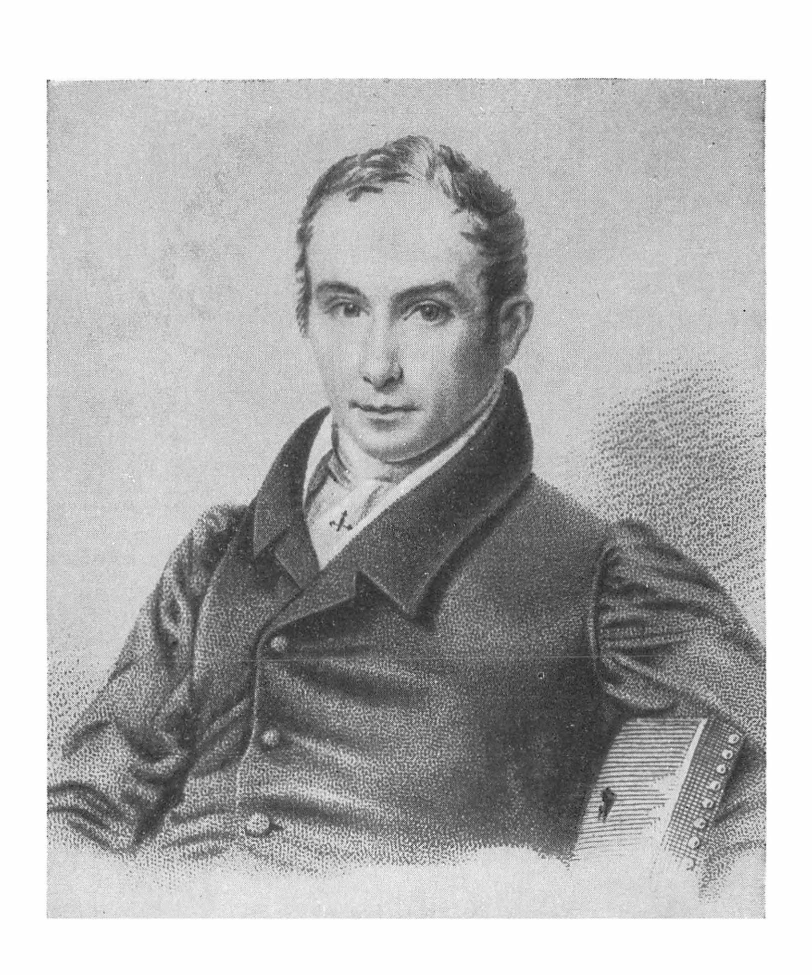
Ноябрь 1832

РЫЦАРЬ РОЛЛОН

Был удалец и отважный наездник Роллон;
С шайкой своей по дорогам разбойничал он.
Раз, запоздав, он в лесу на усталом коне
Ехал и видит — часовня стоит в стороне.

Лес был дремучий, и был уж полуночный час;
Было темно, так темно, что хоть выколи глаз;
Только в часовне лампада горела одна,
Бледно сквозь узкие окна светила она.

«Рано еще на добычу, — подумал Роллон, —
Здесь отдохну», — и в часовню пустынную он
Входит; в часовне, он видит, гробница стоит;
Трепетно, тускло над нею лампада горит.



Сел он на камень, вздремнул с полчаса
и потом
Снова поехал лесным одиноким путем.
Вдруг своему щитоносцу сказал он: «Скорей
Съезди в часовню: перчатку оставил я в ней».

Посланный, бледен как мертвый, назад
прискакал.
«Этой перчаткой другой завладел, —
он сказал. —
Кто-то нездешний в часовне на камне сидит;
Руку он всунул в перчатку и страшно глядит;

Треплет и гладит перчатку другой он рукой;
Чуть я со страху не умер от встречи такой». —
«Трус!» — на него запальчиво Роллон закричал,
Шпорами стиснул коня и назад поскакал.

Смело на страшного гостя ударил Роллон —
Отнял перчатку свою у нечистого он.
«Если не хочешь одной мне совсем уступить,
Обе ссуди мне перчатки хоть год поносить», —

Молвил нечистый; а рыцарь сказал ему: «На!
Рад испытать я, заплатит ли долг сатана;
Вот тебе обе перчатки; отдай через год». —
«Слышу; прости до свиданья», —
ответствовал тот.

Выехал в поле Роллон; вдруг далекий петух
Крикнул, и топот коней поражает им слух.
Робость Роллона взяла; он глядит
в темноту:
Что-то ночную наполнило вдруг пустоту;

Что-то в ней движется; ближе и ближе; и вот
Черные рыцари едут попарно; ведет
Сзади слуга в поводах вороного коня;
Черной попоной покрыт он; глаза из огня.

С дрожью невольной спросил у слуги паладин:
«Кто вороного коня твоего господин?» —

«Верный слуга моего господина, Роллон.
Ныне лишь парой перчаток расчелся с ним он;

Скоро отдаст он иной, и последний, отчет;
Сам он поедет на этом коне через год».
Так отвечав, за другими последовал он.
«Горе мне! — в страхе сказал щитоносцу
Роллон. —

Слушай, тебе я коня моего отдаю;
С ним и всю сбрую возьми боевую мою;
Ими отныне, мой верный товарищ, владей;
Только молись о душе осужденной моей».

В ближний пришед монастырь, он приору
сказал:
«Страшный я грешник, но бог мне
покаяться дал.
Ангельский чин я еще не достоин носить;
Служкой простым я желаю в обители быть».

«Вижу, ты в шпорах, конечно, бывал ездоком;
Будь же у нас на конюшне, ходи за конем».
Служит Роллон на конюшне, а время идет;
Вот наконец совершился ровнехонько год.

Вот наступил уж и вечер последнего дня;
Вдруг привели в монастырь молодого коня:
Статен, красив, но еще не объезжен был он.
Взять дикаря за узду подступает Роллон.

Взвизгнул, вскочив на дыбы, разъярившийся
конь;
Грива горой, из ноздрей, как из печи, огонь;
В сердце Роллона ударил копытами он;
Умер, и разу вздохнуть не успевши, Роллон.

Вырвавшись, конь убежал, и его не нашли.
К ночи, как должно, Роллона отцы погребли.
В полночь к могиле ужасный ездок прискакал;
Черного, злого коня за узду он держал;

Пара перчаток висела на черном седле.
Жалобно охнув, Роллон повернулся в земле;
Вышел из гроба, со вздохом перчатки надел,
Сел на коня, и как вихорь с ним конь улетел.

23 ноября 1832

СТАРЫЙ РЫЦАРЬ

Он был весной своей
В земле обетованной
И много славных дней
Провел в тревоге бранной.

Там ветку от святой
Оливы оторвал он;
На шлем железный свой
Ту ветку навязал он.

С неверным он врагом,
Нося ту ветку, бился
И с нею в отчий дом
Прославлен возвратился.

Ту ветку посадил
Сам в землю он родную
И часто приносил
Ей воду ключевую.

Он стал старик седой,
И сила мышц пропала;
Из ветки молодой
Олива древом стала.

Под нею часто он
Сидит, уединенный,
В невыразимый сон
Душою погруженный.

Над ним как друг стоит,
Обняв его седины,

И ветвями шумит
Олива Палестины;

И, внемля ей во сне,
Вздыхает он глубоко
О славной старине
И о земле далекой.

26 ноября 1832

УЛЛИН И ЕГО ДОЧЬ

Был сильный вихорь, сильный дождь;
Кипя, ярилася пучина;
Ко брегу Рино, горный вождь,
Примчался с дочерью Уллина.

«Рыбак, прими нас в твой челнок;
Рыбак, спаси нас от погони;
Уллин с дружиной недалек;
Нам слышны крики; мчатся кони».

«Ты видишь ли, как зла вода?
Ты слышишь ли, как волны громки?
Пускаться плыть теперь беда:
Мой челн не крепок, весла ломки».

«Рыбак, рыбак, подай свой челн;
Спаси нас: сколь ни зла пучина,
Пощада может быть от волн —
Ее не будет от Уллина!»

Гроза сильней, пучина злей,
И ближе, ближе шум погони;
Им слышен тяжкий храп коней,
Им слышен стук мечей о брони.

«Садитесь, в добрый час; плывем».
И Рино сел, с ним дева села;
Рыбак отчалил; челноком
Седая бездна овладела.

И смерть отвсюду им: открыт
Пред ними зев пучины жадный;
За ними с берега грозит
Уллин, как буря беспощадный.

Уллин ко брегу прискакал;
Он видит: дочь уносят волны;
И гнев в груди отца пропал,
И он воскликнул, страха полный:

«Мое дитя, назад, назад!
Прощенье! возвратись, Мальвина!»
Но волны лишь ответ шумят
На зов отчаянный Уллина.

Ревет гроза, черна как ночь,
Летает челн между волнами;
Сквозь пену их он видит дочь
С простертыми к нему руками.

«О, возвратися, возвратись!»
Но грозно раздалась пучина,
И волны, челн пожрав, слились
При крике жалобном Уллина.

10 января 1833

ЭЛЕВЗИНСКИЙ ПРАЗДНИК

Свивайте венцы из колосьев златых;
Цианы лазурные в них заплетайте;
Сбирайтесь плясать на коврах луговых
И пеньем благую Цереру встречайте.
Церера сдружила враждебных людей;
Жестокие нравы смягчила;
И в дом постоянный меж нив и полей
Шатер подвижной обратила.

Робок, наг и дик скрывался
Троглодит в пещерах скал;
По полям номад скитался
И поля опустошал;

Зверолов с копьем, стрелами,
Грозен, бегал по лесам...
Горе брошенным волнами
К неприютным их брегам!

С Олимпийския вершины
Сходит мать Церера вслед
Похищенной Прозерпины;
Дик лежит пред нею свет.
Ни угла, ни угощенья
Нет нигде богине там;
И нигде богопочтенья
Не свидетельствует храм.

Плод полей и грозды сладки
Не блистают на пирах;
Лишь дымятся тел остатки
На кровавых алтарях;
И куда печальным оком
Там Церера ни глядит,
В унижении глубоком
Человека всюду зрит.

«Ты ль, Зевесовой рукою
Сотворенный человек?
Для того ль тебя красою
Олимпийскою облек
Бог богов и во владенье
Мир земной тебе отдал,
Чтоб ты в нем, как в заточенье
Узник брошенный, страдал?

Иль ни в ком между богами
Сожаленья к людям нет
И могучими руками
Ни один из бездны бед
Их не вырвет? Знать, к блаженным
Скорбь земная не дошла?
Знать, одна я огорченным
Сердцем горе поняла?

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,

С древней матерью землею
Он вступи в союз навек;
Чти закон времен спокойной;
Знай теченье лун и лет,
Знай, как движется под стройной
Их гармониею свет».

И мгновенно расступилась
Тьма, лежавшая на ней,
И небесная явилась
Божеством пред дикарей:
Кончив бой, они, как тигры,
Из черепьев вражьих пьют
И ее на зверски игры
И на страшный пир зовут.

Но богиня, с содроганьем
Отвратясь, рекла: «Богам
Кровь противна; с сим даяньем
Вы, как звери, чужды нам;
Чистым чистое угодно;
Дар, достойнейший небес:
Нивы колос первородной,
Сок оливы, плод древес».

Тут богиня исторгает
Тяжкий дротик у стрелка;
Острием его пронзает
Грудь земли ее рука;
И берет она живое
Из венца главы зерно,
И в пронзенное земное
Лоно брошено оно.

И выводит молодые
Класы тучная земля;
И повсюду, как златые
Волны, зыблются поля.
Их она благословляет
И, колосья в сноп сложив,
На смиренный возлагает
Камень жертву первых нив.

И гласит: «Прими даянье,
Царь Зевес, и с высоты
Нам подай знаменованье,
Что доволен жертвой ты.
Вечный бог, сними завесу
С них, не знающих тебя:
Да поклонятся Зевесу,
Сердцем правду возлюбя».

Чистой жертвы не отринул
На Олимпе царь Зевес;
Он во знамение кинул
Гром излучистый с небес;
Вмиг алтарь воспламенился;
К небу жертвы дым взлетел,
И над ней горе́ явился
Зевсов пламенный орел.

И чудо проникло в сердца дикарей;
Упали во прах перед дивной Церерой;
Исторгнулись слезы из грубых очей,
И сладкой сердца растворилися верой.
Оружие кинув, теснятся толпой
И ей воздают поклоненье;
И с видом смиренным, покорной душой
Приемлют ее поученье.

С высоты небес нисходит
Олимпийцев светлый сонм;
И Фемида их предводит,
И своим она жезлом
Ставит грани юных, жатвой
Озлатившихся полей,
И скрепляет первой клятвой
Узы первые людей.

И приходит благ податель,
Друг пиров, веселый Ком;
Бог, ремесл изобретатель,
Он людей дружит с огнем;
Учит их владеть клещами;
Движет мехом, млатом бьет

И искусными руками
Первый плуг им создает.

И вослед ему Паллада
Копьеносная идет
И богов к строенью града
Крепкостенного зовет,
Чтоб приютно-безопасный
Кров толпам бродящим дать
И в один союз согласный
Мир рассеянный собрать.

И богиня утверждает
Града нового чертеж;
Ей покорный, означает
Термин камнями рубеж;
Цепью смеряна равнина;
Холм глубоким рвом обвит;
И могучая плотина
Гранью бурных вод стоит.

Мчатся Нимфы, Ореады
(За Дианой по лесам,
Чрез потоки, водопады,
По долинам, по холмам
С звонким скачущие луком);
Блещет в их руках топор,
И обрушился со стуком
Побежденный ими бор.

И, Палладою призванный,
Из зеленых вод встает
Бог, осокою венчанный,
И тяжелый строит плот;
И, сияя, низлетают
Оры легкие с небес
И в колонну округляют
Суковатый ствол древес.

И во грудь горы вонзает
Свой трезубец Посидон;
Слой гранитный отторгает

От ребра земного он;
И в руке своей громаду
Как песчинку он несет;
И огромную ограду
Во мгновенье создает.

И вливает в струны пенье
Светлоглавый Аполлон:
Пробуждает вдохновенье
Их согласно-мерный звон;
И веселые Камены
Сладким хором с ним поют,
И красивых зданий стены
Под напев их восстают.

И творит рука Цибелы
Створы врат городовых,
Держат петли их дебелы,
Утвержден замок на них;
И чудесное творенье
Довершает, в честь богам,
Совокупное строенье
Всех богов, великий храм.

И Юнона, с оком ясным,
Низлетев от высоты,
Сводит с юношей прекрасным
В храме деву красоты;
И Киприда обвивает
Их гирляндою цветов,
И с небес благословляет
Первый брак отец богов.

И с торжественной игрою
Сладких лир, поющих в лад,
Вводят боги за собою
Новых граждан в новый град;
В храме Зевсовом царица,
Мать Церера там стоит,
Жжет курения, как жрица,
И пришельцам говорит:

«В лесе ищет *зверь* свободы,
Правит всем свободно *бог,*
Их закон — закон природы.
Человек, прияв в залог
Зоркий ум — звено меж ними, —
Для гражданства сотворен:
Здесь лишь нравами одними
Может быть свободен он».

Свивайте венцы из колосьев златых;
Цианы лазурные в них заплетайте;
Сбирайтесь плясать на коврах луговых;
И с пеньем благую Цереру встречайте:
Всю землю богинин приход изменил;
Признавши ее руководство,
В союз человек с человеком вступил
И жизни постиг благородство.

Январь (?) 1833

ПОЭМЫ И ПОВЕСТИ

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

Не прилично ли будет нам, братия,
Начать древним складом
Печальную повесть о битвах Игоря,
Игоря Святославича!
Начаться же сей песни
По былинам сего времени,
А не по вымыслам Бояновым.
Вещий Боян,
Если песнь кому сотворить хотел,
Растекался мыслию по древу,
Серым волком по земли,
Сизым орлом под облаками.
Вам памятно, как пели о бранях первых времен:
Тогда пускались десять соколов на стадо лебедей;
Чей сокол долетал, тот и первую песнь пел:
Старому ли Ярославу, храброму ли Мстиславу,
Сразившему Редедю перед полками касожскими,
Красному ли Роману Святославичу.
Боян же, братия, не десять соколов на стадо лебедей пускал,
Он вещие персты свои на живые струны вскладывал,
И сами они славу князьям рокотали.

Начнем же, братия, повесть сию
От старого Владимира до нынешнего Игоря.
Натянул он ум свой крепостию,
Изострил он мужеством сердце,
Ратным духом исполнился
И навел храбрые полки свои

На землю Половецкую за землю Русскую.
Тогда Игорь воззрел на светлое солнце,
Увидел он воев своих, тьмой от него прикрытых,
И рек Игорь дружине своей:
«Братия и дружина!
Лучше нам быть порубленным, чем даться в полон.
Сядем же, други, на борзых коней
Да посмотрим синего Дона!»

Вспала князю на ум охота,
Знаменье заступило ему желание
Отведать Дона великого.
«Хочу, — он рек, — преломить копье
Конец поля половецкого с вами, люди русские!
Хочу положить свою голову
Или испить шеломом Дона».

О Боян, соловей старого времени!
Как бы воспел ты битвы сии,
Скача соловьем по мысленну древу,
Взлетая умом под облаки,
Свивая все славы сего времени,
Рыща тропою Трояновой через поля на горы!
Тебе бы песнь гласить Игорю, того Олега внуку!
Не буря соколов занесла чрез поля широкие —
Галки стадами бегут к Дону великому!
Тебе бы петь, вещий Боян, внук Велесов!

Ржут кони за Сулою,
Звенит слава в Киеве,
Трубы трубят в Новеграде,
Стоят знамена в Путивле,
Игорь ждет милого брата Всеволода.

И рек ему буй-тур Всеволод:
«Один мне брат, один свет светлый ты, Игорь!
Оба мы Святославичи!
Седлай, брат, борзых коней своих,
А мои тебе готовы,
Оседланы перед Курском.
А куряне мои бодрые кмети,
Под трубами повиты,

Под шеломами взлелеяны,
Концом копья вскормлены,
Пути им все ведомы,
Овраги им знаемы,
Луки у них натянуты,
Тулы отворены,
Сабли отпущены,
Сами скачут, как серые волки в поле,
Ища себе чести, а князю славы».

Тогда вступил князь Игорь в златое стремя
И поехал по чистому полю.
Солнце дорогу ему тьмой заступило;
Ночь, грозой шумя на него, птиц пробудила;
Рев в стадах звериных;
Див кличет на верху древа:
Велит прислушать земле незнаемой,
Волге, Поморию, и Посулию,
И Сурожу, и Корсуню,
И тебе, истукан тьмутараканский!
И половцы неготовыми дорогами побежали к Дону великому.
Кричат в полночь телеги, словно распущенны лебеди.
Игорь ратных к Дону ведет.
Уже беда его птиц скликает,
И волки угрозою воют по оврагам,
Клектом орлы на кости зверей зовут,
Лисицы брешут на червленые щиты...
О Русская земля! Уж ты за горами
Далеко!
Ночь меркнет,
Свет-заря запала,
Мгла поля покрыла,
Щекот соловьиный заснул,
Галичий говор затих.
Русские поле великое червлеными щитами огородили,
Ища себе чести, а князю славы.

В пятницу на заре потоптали они нечестивые полки половецкие
И, рассеясь стрелами по полю, помчали красных дев половецких,

А с ними и злато, и паволоки, и драгие оксамиты,
Ортмами, епончицами, и мехами, и разными
узорочьями половецкими
По болотам и грязным местам начали мосты мостить.
А стяг червленый с белой хоругвию,
А челка червленая со древком серебряным
Храброму Святославичу!

Дремлет в поле Олегово храброе гнездо —
Далеко залетело!
Не родилось оно на обиду
Ни соколу, ни кречету,
Ни тебе, черный ворон, неверный половчанин!

Гзак бежит серым волком,
А Кончак ему след прокладывает к Дону великому.

И рано на другой день кровавые зори свет поведают;
Черные тучи с моря идут,
Хотят прикрыть четыре солнца,
А в них трепещут синие молнии.
Быть грому великому!
Идти дождю стрелами с Дону великого!
Ту-то копьям поломаться,
Ту-то саблям притупиться
О шеломы половецкие,
На реке на Каяле, у Дона великого!
О Русская земля, далеко уж ты за горами!
Уж ветры, Стрибоговы внуки,
Веют с моря стрелами
На храбрые полки Игоревы.
Земля гремит,
Реки текут мутно,
Прахи поля покрывают,
Стяги глаголют!
Половцы идут от Дона, и от моря, и от всех стран.
Русские полки отступили.
Бесовы дети кликом поля прегородили,
А храбрые русские щитами червлеными.
Ярый тур Всеволод!
Стоишь на обороне,
Прыщешь на ратных стрелами,

Гремишь по шеломам мечом харалужным!
Где ты, тур, ни проскачешь, шеломом златым посвечивая,
Там лежат нечестивые головы половецкие!
Порублены калеными саблями шлемы аварские
От тебя, ярый тур Всеволод!
Какою раною подорожит он, братья,
Он, позабывший о жизни и почестях,
О граде Чернигове, златом престоле родительском,
О красной Глебовне, милом своем желании, свычае и обычае?

Были сечи Трояновы,
Миновались лета Ярославовы;
Были походы Олеговы,
Олега Святославича.
Тот Олег мечом крамолу ковал,
И стрелы он по земле сеял.
Ступал он в златое стремя в граде Тьмутаракане.
Молву об нем слышал давний великий Ярослав, сын Всеволодов;
А князь Владимир всякое утро уши затыкал в Чернигове.
Бориса же Вячеславича слава на суд привела
И на конскую зеленую попону положила
За обиду Олега, храброго юного князя.
С той же Каялы Святополк после сечи взял отца своего
Меж угорскою конницей ко святой Софии в Киев.
Тогда при Олеге Гориславиче сеялось и вырастало междоусобием,
Погибала жизнь Дажьбожиих внуков,
В крамолах княжеских век человеческий сокращался.
Тогда по Русской земле редко оратаи распевали,
Но часто враны кричали,
Трупы деля меж собою;
А галки речь свою говорили,
Сбираясь лететь на обед.

То было в тех ратях и тех походах,
Но битвы такой и не слыхано!
От утра до вечера,
От вечера до́ света
Летают стрелы каленые,

Гремят мечи о шеломы,
Трещат харалужные копья
В поле незнаемом
Среди земли Половецкия.
Черна земля под копытами
Костьми была посеяна,
Полита была кровию,
И по Русской земле взошло бедой! . .
Что мне шумит,
Что мне звенит
Так задолго рано перед зарею?
Игорь полки заворачивает:
Жаль ему милого брата Всеволода.
Билися день,
Бились другой,
На третий день к полдню
Пали знамена Игоревы!
Тут разлучилися братья на бреге быстрой Каялы;
Тут кровавого вина недостало;
Тут пир докончали храбрые воины русские:
Сватов попоили,
А сами легли за Русскую землю!
Поникает трава от жалости,.
А древо печалию
Ко земле преклонилось.
Уже невеселое время, братья, настало;
Уже пустыня силу прикрыла!

И встала обида в силах Дажьбожиих внуков,
Девой ступя на Троянову землю,
Встрепенула крыльями лебедиными,
На синем море у Дону плескаяся.
Прошли времена благоденствия,
Миновалися брани князей на неверных.
Брат сказал брату: то мое, а это мое же!
И стали князи про малое спорить как бы про великое,
И сами на себя крамолу ковать,
А неверные со всех стран набежали с победами на землю Русскую! . .
О! далеко залетел ты, сокол, сбивая птиц к морю!
А бесстрашному полку Игореву уже не воскреснуть!

Вслед за ним крикнули Карна и Жля и по Русской земле поскакали,
Мча разорение в пламенном роге!
Жены русские всплакали, приговаривая:
«Уж нам своих милых лад
Ни мыслию смыслить,
Ни думою сдумать,
Ни очами сглядеть,
А злата-сребра много потратить!»
И застонал, друзья, Киев печалию,
Чернигов напастию,
Тоска разлилася по Русской земле,
Обильна печаль потекла среди земли Русской.
Князи сами на себя крамолу ковали,
А неверные сами с победами врывались в землю Русскую,
Дань собирали по белке с двора.

Так-то сии два храбрые Святославича,
Игорь и Всеволод, пробудили коварство,
Едва усыпил его мощный отец их,
Святослав грозный, великий князь киевский.
Гроза Святослав!
Притрепетал он врагов своими сильными ратями
И мечами булатными;
Наступил он на землю Половецкую,
Притоптал холмы и овраги,
Возмутил озера и реки,
Иссушил потоки-болота;
А Кобяка неверного из луки моря,
От железных великих полков половецких
Вихрем исторгнул,
И Кобяк очутился в городе Киеве,
В гриднице Святославовой.
Немцы и венеды,
Греки и моравы
Славу поют Святославу,
Кают Игоря-князя,
Погрузившего силу на дне Каялы, реки половецкия,
Насыпав ее золотом русским.
Там Игорь-князь из златого седла пересел в седло кощеево;

Уныли в градах забралы,
И веселие поникло.

И Святославу мутный сон привиделся:
«В Киеве на горах в ночь сию с вечера
Одевали меня, — рек он, — черным покровом на кровати тесовой;
Черпали мне синее вино, с горечью смешанное;
Сыпали мне пустыми колчанами
Жемчуг великой в нечистых раковинах на лоно
И меня нежили.
А кровля без князя была на тереме моем златоверхом.
И с вечера целую ночь граяли враны зловещие,
Слетевшись на склон у Пленьска в дебри Кисановой...
Уж не послать ли мне к синему морю?»

И бояре князю в ответ рекли:
«Печаль нам, князь, умы полонила;
Слетели два сокола с золотого престола отцовского,
Поискать города Тьмутараканя
Иль выпить шеломом из Дону.
Уж соколам и крылья саблями неверных подрублены,
Сами ж запутаны в железных опутинах».
В третий день тьма наступила.
Два солнца померкли,
Два багряных столпа угасли,
А с ними и два молодые месяца, Олег и Святослав,
Тьмою подернулись.
На реке на Каяле свет темнотою покрылся.
Гнездом леопардов простерлись половцы по Русской земле
И в море ее погрузили,
И в хана вселилось буйство великое.
Нашла хула на хвалу,
Неволя ударила на волю,
Ввергнулся Див на землю!
Вот уж и готские красные девы
Вспели на бреге синего моря;
Звоня золотом русским,
Поют они время Бусово,
Величают месть Шаруканову.
А наши дружины гладны веселием!

Тогда изронил Святослав великий слово златое,
с слезами смешанное:
«О сыновья мои, Игорь и Всеволод!
Рано вы стали мечами разить Половецкую землю,
А себе искать славы!
Не с честию вы победили,
С нечестием пролили кровь неверную!
Ваше храброе сердце в жестоком булате заковано
И в буйстве закалено!
То ль сотворили вы моей серебряной седине!
Но уже не вижу могущества моего сильного, богатого,
многовойного брата Ярослава
С его черниговскими племенами,
С монгутами, татранами и шельбирами,
С топчаками, ревутами и ольберами!
Они без щитов с кинжалами засапожными
Кликом полки побеждали,
Звеня славою прадедов.
Вы же рекли: «Мы одни постоим за себя,
Славу передню сами похитим,
Заднюю славу сами поделим!»
И не диво бы, братья, старому стать молодым.
Сокол ученой
Птиц высоко взбивает,
Не даст он в обиду гнезда своего!
Но горе! горе! князья мне не в помощь!
Времена обратились на низкое!
Вот и Роман кричит под саблями половецкими,
А князь Владимир под ранами.
Горе и беда сыну Глебову!
Где ж ты, великий князь Всеволод?
Иль не помыслишь прилететь издалеча, отцовский
златой престол защитить?
Силен ты веслами Волгу разбрызгать,
А Дон шеломами вычерпать,
Будь ты с нами, и была бы чага по ногате,
А кощей по резане.
Ты же посуху можешь с чадами Глеба удалыми
Стрелять живыми самострелами.
А вы, бесстрашные, Рюрик с Давыдом,
Не ваши ль позлащенные шеломы в крови плавали?
Не ваша ль храбрая дружина рыкает,

Словно как туры, калеными саблями ранены, в поле
незнаемом?
Вступите, вступите в стремя златое
За честь сего времени, за Русскую землю,
За раны Игоря, буйного Святославича!
Ты, галицкий князь Осмомысл Ярослав,
Высоко ты сидишь на престоле своем златокованном!
Подпер угорские горы полками железными,
Заступил ты путь королю,
Затворил Дунаю вороты,
Бремена через облаки мечешь,
Рядишь суды до Дуная,
Гроза твоя по землям течет,
Ворота отворяешь ты Киеву,
Стреляешь в султанов с златого престола отцовска
через далекие земли.
Стреляй же, князь, в Кончака, неверного кощея,
за Русскую землю,
За раны Игоря, буйного Святославича!
А ты, Мстислав, и смелый Роман!
Храбрая мысль носит ваш ум на подвиги,
Высоко взлетаете вы на дело отважное,
Словно как сокол на ветрах ширяется,
Птиц одолеть замышляя в отважности!
Шеломы у вас латинские, под ними железные панцыри!
Дрогнули ими многие земли и области хановы,
Литва, деремела, ятвяги,
И половцы, копья свои повергнув,
Главы подклонили
Под ваши мечи харалужные.
Но уже для Игоря-князя солнце свет свой утратило,
И древо свой лист не добром сронило;
По Роси, по Суле грады поделены,
А храброму полку Игоря уже не воскреснуть!
Дон тебя, князя, кличет,
Дон зовет князей на победу!
Ольговичи, храбрые князи, доспели на бой.
Вы же, Ингварь, и Всеволод, и все три Мстиславича,
Не худого гнезда шестокрильцы,
Не по жеребью ли победы власть себе вы похитили?
На что вам златые ваши шеломы,
Ваши польские копья, щиты?

Заградите в поле врата своими острыми стрелами
За землю Русскую, за раны Игоря, смелого
Святославича!
Не течет уже Сула струею серебряной
Ко граду Переяславлю;
Уж и Двина болотом течет
К оным грозным полочанам под кликом неверных.
Один Изяслав, сын Васильков,
Позвенел своими острыми мечами о шлемы литовские,
Утратил он славу деда своего Всеслава,
А сам под червлеными щитами на кровавой траве
Положен мечами литовскими,
И на сем одре возгласил он:
«Дружину твою, князь Изяслав,
Крылья птиц приодели,
И звери кровь полизали!»
Не было тут брата Брячислава, ни другого — Всеволода.
Один изронил ты жемчужную душу
Из храброго тела
Через златое ожерелие!
Голоса приуныли,
Поникло веселие,
Трубят городенские трубы.
Ты, Ярослав, и вы, внуки Всеславли,
Пришло преклонить вам стяги свои,
Пришло вам в ножны вонзить мечи поврежденные!
Отскочили вы от дедовской славы,
Навели нечестивых крамолами
На Русскую землю, на жизнь Всеславову!
Бывало нам прежде какое насилие от земли
Половецкия?
На седьмом веке Трояновом
Бросил жребий Всеслав о девице милой.
Он, подпершись клюками, сел на коня,
Поскакал ко граду Киеву
И коснулся древком копья до златого престола
Киевского.
Лютым зверем в полночь поскакал он из Белграда,
Синею мглою обвешенный,
Поутру же, стрикузы водрузивши, раздвинул врата
Новугороду,
Славу расшиб Ярославову,

Волком помчался с Дудуток к Немиге.
На Немиге стелют снопы головами,
Молотят цепами булатными,
Жизнь на току кладут,
Веют душу от тела.
Кровавые бреги Немиги не добром были посеяны,
Посеяны костями русских сынов.
Князь Всеслав людей судил,
Князьям он рядил города,
А сам в ночи волком рыскал;
До петухов он из Киева успевал к Тьмутаракани,
К Херсоню великому волком он путь перерыскивал.
Ему в Полоцке рано к заутрени зазвонили
В колокола у святыя Софии,
А он в Киеве звон слышал!
Пусть и вещая душа была в крепком его теле,
Но часто страдал он от бед.
Ему и вещий Боян древней припевкой предрек:
«Будь хитер, будь смышлен.
Будь по-птичью горазд,
А божьего суда не минуешь!»
О, стонать тебе, земля Русская,
Вспоминая времена первые и первых князей!
Нельзя было старого Владимира пригвоздить
к горам киевским!
Стяги его стали ныне Рюриковы,
А другие Давыдовы;
Нося на рогах их, волы ныне землю пашут,
А копья поют на Дунае».

Голос Ярославнин слышится, на заре одинокой
чечеткою кличет:
«Полечу, — говорит, — кукушкою по Дунаю,
Омочу бобровый рукав в Каяле-реке,
Оботру князю кровавые раны на отвердевшем
теле его».

Ярославна поутру плачет в Путивле на стене,
приговаривая:
«О ветер, ты ветер!
К чему же так сильно веешь?
На что же наносишь ты стрелы ханские

Своими легковейными крыльями
На воинов лады моей?
Мало ль подоблачных гор твоему веянью?
Мало ль кораблей на синем море твоему лелеянью?
На что ж, как ковыль-траву, ты развеял мое
веселие?»

Ярославна поутру плачет в Путивле на стене,
припеваючи:
О ты, Днепр, ты, Днепр, ты, слава-река!
Ты пробил горы каменны
Сквозь землю Половецкую;
Ты, лелея, нес суда Святославовы к рати
Кобяковой:
Прилелей же ко мне ты ладу мою,
Чтоб не слала к нему по утрам, по зорям слез я
на море!»

Ярославна поутру плачет в Путивле на стене городской,
припеваючи:
«Ты светлое, ты пресветлое солнышко!
Ты для всех тепло, ты для всех красно!
Что ж так простерло ты свой горячий луч
на воинов лады моей,
Что в безводной степи луки им сжало жаждой
И заточило им тулы печалию?»

Прыснуло море ко полуночи;
Идут мглою туманы;
Игорю-князю бог путь указывает
Из земли Половецкой в Русскую землю,
К златому престолу отцовскому.
Приугасла заря вечерняя.
Игорь-князь спит — не спит;
Игорь мыслию поле меряет
От великого Дона
До малого Донца.
Конь к полуночи;
Овлур свистнул за рекою,
Чтоб князь догадался.
Не быть князю Игорю!
Кликнула, стукнула земля;

Зашумела трава:
Половецкие вежи подвигнулись.
Прянул князь Игорь горностаем в тростник,
Белым гоголем нá воду;
Взвернулся князь на быстра коня,
Соскочил с него бесом-волком,
И помчался он к лугу Донца;
Полетел он, как сокол под мглами,
Избивая гусей-лебедей к завтраку, и обеду,
и ужину.
Когда Игорь-князь соколом полетел,
Тогда Овлур волком потек за ним,
Сбивая с травы студеную росу:
Притомили они своих борзых коней!
Донец говорит: «Ты, Игорь-князь!
Не мало тебе величия,
А Кончаку нелюбия,
Русской земле веселия!»
Игорь в ответ: «Ты, Донец-река!
И тебе славы не мало,
Лелеявшему на волнах князя,
Подстилавшему ему зеленý траву
На своих берегах серебряных,
Одевавшему его теплыми мглами
Под навесом зеленого дерева,
Охранявшего его на воде гоголем,
Чайками на струях,
Чернядьми на ветрах.
Не такова, — примолвил он, — Стугна-река:
Худая про нее слава!
Пожирает она чужие ручьи,
Струги меж кустов раздирает.
А юноше князю Ростиславу
Днепр затворил брега темные.
Плачет мать Ростиславова
По юноше князе Ростиславе.
Увянул цвет жалобою,
А деревья печалию к земле преклонило».

Не сороки застрекотали —
Вслед за Игорем едут Гзак и Кончак.
Тогда враны не граяли,

Галки замолкли,
Сороки не стрекотали,
Ползком только ползали,
Дятлы стуком путь к реке кажут,
Соловьи веселыми песнями свет прорекают.

Молвил Гзак Кончаку:
«Если сокол к гнезду долетит,
Соколенка мы расстреляем стрелами злачеными!»
Гзак в ответ Кончаку:
«Если сокол к гнезду долетит,
Соколенка опутаем красною девицей!»
И сказал опять Гзак Кончаку:
«Если опутаем красною девицей,
То соколенка не будет у нас,
Не будет и красныя девицы,
И начнут нас бить птицы в поле половецком!»

Пел Боян, песнотворец старого времени,
Пел он походы на Святослава,
Правнука Ярославова, сына Ольгова, супруга
дщери Когановой.
«Тяжко, — сказал он, — быть голове без плеч,
Худо телу, как нет головы!»
Худо Русской земле без Игоря!
Солнце светит на небе —
Игорь-князь в Русской земле!
Девы поют на Дунае,
Голоса долетают через море до Киева,
Игорь едет по Боричеву
К святой богородице Пирогощей.
Радуются земли,
Веселы грады! —
Песнь мы спели старым князьям,
Песнь мы спели князьям молодым:
Слава Игорю Святославичу!
Слава буйному туру Всеволоду!
Слава Владимиру Игоревичу!
Здравствуйте, князья и дружина,
Поборая за христиан полки неверные!
Слава князьям, а дружине аминь!

1817—1819

ШИЛЬОНСКИЙ УЗНИК

Повесть

За́мок Шильон, в котором с 1530 по 1537 заключен был знаменитый Бонивар, женевский гражданин, мученик веры и патриотизма, находится между Клараном и Вильневом, у самых восточных берегов Женевского озера (Лемана). Из окон его видны с одной стороны устье Роны, долина, ведущая к Сен-Морицу и Мартиньи, снежные Валлизские горы и высокие утесы Мельери; а с другой — Монтре, Шателар, Кларан, Веве, множество деревень и замков; пред ним расстилается необъятная равнина вод, ограниченная в отдалении низкими голубыми берегами, на которых, как светлые точки, сияют Лозанна, Морж и Ролль; а позади его падает с холма шумный поток. Он со всех сторон окружен озером, которого глубина в этом месте простирается до 800 французских футов. Можно подумать, что он выходит из воды, ибо совсем не видно утеса, служащего ему основанием: где кончится поверхность озера, там начинаются крепкие стены замка. Темница, в которой страдал несчастный Бонивар, до половины выдолблена в гранитном утесе: своды ее, поддерживаемые семью колоннами, опираются на дикую, необтесанную скалу; на одной из колонн висит еще то кольцо, к которому была прикреплена цепь Бониварова; а на полу, у подошвы той же колонны, заметна впадина, вытоптанная ногами несчастного узника, который столько времени принужден был ходить на цепи своей всё по одному месту. Неподалеку от устья Роны, вливающейся в Женевское озеро, недалеко от Вильнева, находится небольшой островок, единственный на всем пространстве Лемана; он неприметен, когда плывешь по озеру, но его можно легко различить из окон замка.

I

Взгляните на меня: я сед;
Но не от хилости и лет;
Не страх незапный в ночь одну
До срока дал мне седину.

Я сгорблен, лоб наморщен мой;
Но не труды, не хлад, не зной —
Тюрьма разрушила меня.
Лишенный сладостного дня,
Дыша без воздуха, в цепях,
Я медленно дряхлел и чах,
И жизнь казалась без конца.
Удел несчастного отца:
За веру смерть и стыд цепей —
Уделом стал и сыновей.
Нас было шесть — пяти уж нет.
Отец, страдалец с юных лет,
Погибший старцем на костре,
Два брата, падшие во пре,
Отдав на жертву честь и кровь,
Спасли души своей любовь.
Три заживо схоронены
На дне тюремной глубины —
И двух сожрала глубина;
Лишь я, развалина одна,
Себе на горе уцелел,
Чтоб их оплакивать удел.

II

На лоне вод стоит Шильон;
Там в подземелье семь колонн
Покрыты влажным мохом лет.
На них печальный брезжит свет,
Луч, ненароком с вышины
Упавший в трещину стены
И заронившийся во мглу.
И на сыром тюрьмы полу
Он светит тускло-одинок,
Как над болотом огонек,
Во мраке веющий ночном.
Колонна каждая с кольцом;
И цепи в кольцах тех висят;
И тех цепей железо — яд;
Мне в члены вгрызлося оно;
Не будет ввек истреблено
Клеймо, надавленное им.

И день тяжел глазам моим,
Отвыкнувшим с толь давних лет
Глядеть на радующий свет;
И к воле я душой остыл
С тех пор, как брат последний был
Убит неволей предо мной,
И рядом с мертвым я, живой,
Терзался на полу тюрьмы.

III

Цепями теми были мы
К колоннам тем пригвождены,
Хоть вместе, но разлучены;
Мы шагу не могли ступить,
В глаза друг друга различить
Нам бледный мрак тюрьмы мешал.
Он нам лицо чужое дал —
И брат стал брату незнаком.
Была услада нам в одном:
Друг другу голос подавать,
Друг другу сердце пробуждать
Иль былью славной старины,
Иль звучной песнию войны —
Но скоро то же и одно
Во мгле тюрьмы истощено;
Наш голос страшно одичал;
Он хриплым отголоском стал
Глухой тюремныя стены;
Он не был звуком старины,
В те дни, подобно нам самим,
Могучим, вольным и живым.
Мечта ль?.. но голос их и мой
Всегда звучал мне как чужой.

IV

Из нас троих я старший был;
Я жребий собственный забыл,
Дыша заботою одной,
Чтоб им не дать упасть душой.
Наш младший брат, любовь отца...

Увы! черты его лица
И глаз умильная краса,
Лазоревых как небеса,
Напоминали нашу мать.
Он был мне всё, и увядать
При мне был должен милый цвет,
Прекрасный, как тот дневный свет,
Который с неба мне светил,
В котором я на воле жил.
Как утро, был он чист и жив,
Умом младенчески игрив,
Беспечно весел сам с собой...
Но перед горестью чужой
Из голубых его очей
Бежали слезы как ручей.

V

Другой был столь же чист душой;
Но дух имел он боевой:
Могуч и крепок в цвете лет,
Рад вызвать к битве целый свет
И в первый ряд на смерть готов...
Но без терпенья для оков.
И он от звука их завял.
Я чувствовал, как погибал,
Как медленно в печали гас
Наш брат, незримый нам, близ нас.
Он был стрелок, жилец холмов,
Гонитель вепрей и волков —
И гроб тюрьма ему была;
Неволи сила не снесла.

VI

Шильон Леманом окружен,
И вод его со всех сторон
Неизмерима глубина;
В двойную волны и стена
Тюрьму совокупились там;
Печальный свод, который нам
Могилой заживо служил,

Изрыт в скале подводной был;
И день и ночь была слышна
В него биющая волна
И шум над нашей головой
Струй, отшибаемых стеной.
Случалось — бурей до окна
Бывала взброшена волна,
И брызгов дождь нас окроплял;
Случалось — вихорь бушевал,
И содрогалася скала;
И с жадностью душа ждала,
Что рухнет и задавит нас;
Свободой был бы смертный час!

VII

Середний брат наш — я сказал —
Душой скорбел и увядал.
Уныл, угрюм, ожесточен,
От пищи отказался он:
Еда тюремная жестка;
Но для могучего стрелка
Нужду переносить легко.
Нам коз альпийских молоко
Сменила смрадная вода;
А хлеб наш был, какой всегда —
С тех пор как цепи созданы —
Слезами смачивать должны
Невольники в своих цепях.
Не от нужды скорбел и чах
Мой брат: равно завял бы он,
Когда б и негой окружен
Без воли был... зачем молчать?
Он умер... я ж ему подать
Руки не мог в последний час,
Не мог закрыть потухших глаз;
Вотще я цепи грыз и рвал —
Со мною рядом умирал
И умер брат мой, одинок;
Я близко был и был далек.
Я слышать мог, как он дышал,
Как он дышать переставал,

Как вздрагивал в цепях своих
И как ужасно вдруг затих
Во глубине тюремной мглы...
Они, сняв с трупа кандалы,
Его без гроба погребли
В холодном лоне той земли,
На коей он невольник был.
Вотще я их в слезах молил,
Чтоб брату там могилу дать,
Где мог бы дневный луч сиять;
То мысль безумная была,
Но душу мне она зажгла:
Чтоб волен был хоть в гробе он.
«В темнице (мнил я) мертвых сон
Не тих...» Но был ответ слезам
Холодный смех; и брат мой там
В сырой земле тюрьмы зарыт,
И в головах его висит
Пук им оставленных цепей:
Убийц достойный мавзолей.

VIII

Но он — наш милый, лучший цвет,
Наш ангел с колыбельных лет,
Сокровище семьи родной,
Он — образ матери душой
И чистой прелестью лица,
Мечта любимая отца,
Он — для кого я жизнь щадил:
Чтоб он бодрей в неволе был,
Чтоб после мог и волен быть...
Увы! он долго мог сносить
С младенческою тишиной,
С терпеньем ясным жребий свой;
Не я ему — он для меня
Подпорой был... вдруг день от дня
Стал упадать, ослабевал,
Грустил, молчал и молча вял.
О боже! боже! страшно зреть,
Как силится преодолеть
Смерть человека... я видал,

Как ратник в битве погибал;
Я видел, как пловец тонул.
С доской, к которой он прильнул
С надеждой гибнущей своей;
Я зрел, как издыхал злодей
С свирепой дикостью в чертах,
С богохуленьем на устах,
Пока их смерть не заперла:
Но *там* был страх — *здесь* скорбь была,
Болезнь глубокая души.
Смиренным ангелом, в тиши,
Он гас, столь кротко молчалив,
Столь безнадежно терпелив,
Столь грустно-томен, нежно-тих,
Без слез, лишь помня о своих
И обо мне... увы! он гас,
Как радуга, пленяя нас,
Прекрасно гаснет в небесах;
Ни вздоха скорби на устах;
Ни ропота на жребий свой;
Лишь слово изредка со мной
О наших прошлых временах,
О лучших будущего днях,
О execute... но, объят
Сей тратой, горшею из трат,
Я был в свирепом забытьи.
Вотще, кончаясь, он свои
Терзанья смертные скрывал...
Вдруг реже, трепетнее стал
Дышать, и вдруг умолкнул он...
Молчаньем страшным пробужден,
Я вслушиваюсь... тишина!
Кричу как бешеный... стена
Откликнулась... и умер гул!
Я цепь отчаянно рванул
И вырвал... к брату... брата нет!
Он на столбе — как вешний цвет,
Убитый хладом, — предо мной
Висел с поникшей головой.
Я руку тихую поднял;
Я чувствовал, как исчезал
В ней след последней теплоты;

И, мнилось, были отняты
Все силы у души моей;
Всё страшно вдруг сперлося в ней;
Я дико по тюрьме бродил —
Но в ней покой ужасный был;
Лишь веял от стены сырой
Какой-то холод гробовой;
И, взор на мертвого вперив,
Я знал лишь смутно, что я жив.
О! сколько муки в знаньи том,
Когда мы тут же узнаем,
Что милому уже не быть, —
И миг сей мог я пережить!
Не знаю — вера ль то была,
Иль хладность к жизни жизнь спасла?

IX

Но что потом сбылось со мной,
Не помню... свет казался тьмой,
Тьма светом; воздух исчезал;
В оцепенении стоял,
Без памяти, без бытия,
Меж камней хладным камнем я;
И виделось, как в тяжком сне,
Всё бледным, темным, тусклым мне;
Всё в мутную слилося тень;
То не было ни ночь, ни день,
Ни тяжкий свет тюрьмы моей,
Столь ненавистный для очей:
То было тьма без темноты;
То было бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без промысла, без благ и бед,
Ни жизнь, ни смерть — как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и немой.

X

Вдруг луч незапный посетил
Мой ум... то голос птички был.
Он умолкал; он снова пел;
И мнилось, с неба он летел;
И был утешно-сладок он.
Им очарован, оживлен,
Заслушавшись, забылся я;
Но ненадолго... мысль моя
Стезей привычною пошла;
И я очнулся... и была
Опять передо мной тюрьма,
Молчанье то же, та же тьма;
Как прежде, бледною струей
Прокрадывался луч дневной
В стенную скважину ко мне...
Но там же, в свете, на стене
И мой певец воздушный был;
Он трепетал, он шевелил
Своим лазоревым крылом;
Он озарен был ясным днем;
Он пел приветно надо мной...
Как много было в песни той!
И всё то было про меня!
Ни разу до того я дня
Ему подобного не зрел;
Как я, казалось, он скорбел
О брате и покинут был;
И он с любовью навестил
Меня тогда, как ни одним
Уж сердцем не был я любим;
И в сладость песнь его была:
Душа невольно ожила.
Но кто ж он сам был, мой певец?
Свободный ли небес жилец?
Или, недавно из цепей,
По случаю к тюрьме моей,
Играя в небе, залетел
И о свободе мне пропел?
Скажу ль?.. Мне думалось порой,
Что у меня был не земной,

А райский гость; что братний дух
Порадовать мой взор и слух
Примчался птичкою с небес...
Но утешитель вдруг исчез;
Он улетел в сиянье дня...
Нет, нет, то не был брат... меня
Покинуть так не мог бы он,
Чтоб я, с ним дважды разлучен,
Остался вдвое одинок,
Как труп меж гробовых досок.

XI

Вдруг новое в судьбе моей:
К душе тюремных сторожей
Как будто жалость путь нашла;
Дотоле их душа была
Бесчувственней желез моих;
И что разжалобило их,
Что милость вымолило мне,
Не знаю... но опять к стене
Уже прикован не был я;
Оборванная цепь моя
На шее билася моей;
И по тюрьме я вместе с ней
Вдоль стен, кругом столбов бродил,
Не смея братних лишь могил
Дотронуться моей ногой,
Чтобы последния земной
Святыни там не оскорбить.

XII

И мне оковами прорыть
Ступени удалось в стене;
Но воля не входила мне
И в мысли... я был сирота,
Мир стал чужой мне, жизнь пуста,
С тюрьмой я жизнь сдружил мою:
В тюрьме я всю свою семью,
Всё, что знавал, всё, что любил,
Невозвратимо схоронил,

И в области веселой дня
Никто уж не жил для меня;
Без места на пиру земном,
Я был бы лишний гость на нем,
Как облако, при ясном дне
Потерянное в вышине
И в радостных его лучах
Ненужное на небесах. . .
Но мне хотелось бросить взор
На красоту знакомых гор,
На их утесы, их леса,
На близкие к ним небеса.

XIII

Я их увидел — и оне
Всё были те ж: на вышине
Веков создание — снега,
Под ними Альпы и луга,
И бездна озера у ног,
И Роны блещущий поток
Между зеленых берегов;
И слышен был мне шум ручьев,
Бегущих, бьющих по скалам;
И по лазоревым водам
Сверкали ясны облака;
И быстрый парус челнока
Между небес и вод летел;
И хижины веселых сел
И кровы светлых городов
Сквозь пар мелькали вдоль брегов. . .
И я приметил островок:
Прекрасен, свеж, но одинок
В пространстве был он голубом;
Цвели три дерева на нем;
И горный воздух веял там
По мураве и по цветам,
И воды были там живей,
И обвивалися нежней
Кругом родных брегов оне.
И видел я: к моей стене
Челнок с пловцами приставал,

Гостил у брега, отплывал
И, при свободном ветерке
Летя, скрывался вдалеке;
И в облаках орел играл,
И никогда я не видал
Его столь быстрым — то к окну
Спускался он, то в вышину
Взлетал — за ним душа рвалась;
И слезы новые из глаз
Пошли, и новая печаль
Мне сжала грудь... мне стало жаль
Моих покинутых цепей.
Когда ж на дно тюрьмы моей
Опять сойти я должен был —
Меня, казалось, обхватил
Холодный гроб, казалось, вновь
Моя последняя любовь,
Мой милый брат передо мной
Был взят несытою землей;
Но как ни тяжко ныла грудь —
Чтоб от страданья отдохнуть,
Мне мрак тюрьмы отрадой был.

XIV

День приходил — день уходил —
Шли годы — я их не считал;
Я, мнилось, память потерял
О переменах на земли.
И люди наконец пришли
Мне волю бедную отдать.
За что и как? О том узнать
И не помыслил я — давно
Считать привык я за одно:
Без цепи ль я, в цепи ль я был,
Я безнадежность полюбил;
И им я холодно внимал
И равнодушно цепь скидал,
И подземелье стало вдруг
Мне милой кровлей... там всё друг,
Всё однодомец было мой:
Паук темничный надо мной

Там мирно ткал в моем окне;
За резвой мышью при луне
Я там подсматривать любил;
Я к цепи руку приучил;
И... столь себе неверны мы!..
Когда за дверь своей тюрьмы
На волю я перешагнул —
Я о тюрьме своей вздохнул.

4 сентября 1821 — начало апреля 1822

РАЗРУШЕНИЕ ТРОИ

Из Энеиды Виргилия

Все молчат, обратив на Энея внимательны лица.
С ложа высокого так начинает Эней-прародитель:
«О царица, велишь обновить несказанное горе:
Как погибла Троя, как Приамово царство
Греки низринули, всё, чему я плачевный свидетель,
Всё, чего я был главная часть... повествуя об этом,
Кто — мирмидон ли, долоп ли, свирепый ли ратник Улисса —
Слез не прольет! Но влажная ночь уже низлетела
С тихого неба; ко сну приглашают сходящие звезды.
Если ж толь сильно желание слышать о наших страданьях,
Слышать о страшном последнем часе разрушенной Трои, —
Сколь ни тяжко душе вспоминать о бедах толь великих,
Я повинуюсь. Войной утомленны, отверженны роком,
Столько напрасно утративши лет, полководцы данаев
Хитрым искусством небесной Паллады коня сотворили,
Дивно-огромного, плотные ребра из крепкия сосны,
В жертву богам при отплытии (так молва разгласила).
Тут избранных мужей, назначенных жребием, тайно
Скрыли они в пространные недра чудовища: полно
Сделалось чрево громады одеянных бронею ратных.
Близ Илиона лежит Тенедос, знаменитый издревле
Остров, обильный, доколе стояло царство Приама,
Ныне же бедный залив, кораблям ненадежная пристань.
Там, удалясь, у пустых берегов притаились данаи;

Мы же их мнили уплывшими с ветром попутным
в Микины.
Тевкрия вся от тяжелой печали вдруг отдохнула;
Град растворился; рвемся на волю, чтоб лагерь
дорийский,
Место пустое и берег, врагами оставленный, видеть.
«Там стояло их войско; тут шатер был Ахиллов;
Здесь корабли их; там поле, где рати обычно
сражались».
Все дивятся опасному дару безбрачной Паллады;
Все дивятся великой громаде, и первый Тиметос —
Был ли он враг нам, судьба ль уж паденье Пергама
решила —
В город вовлечь и в замке поставить коня предлагает;
Но проницательный Капис и каждый, в ком ясен был
разум,
В море советуют козни данаев с их даром неверным
Бросить или предать огню и пеплом развеять;
Или, чрево пронзив, сокровенное в нем обнаружить.
Так в нерешимости мнений толпа волновалась.
Но быстро,
Гневен, стремится от замка, один впереди, провожаем
Сонмом шумящим народа, Лаокоон; издалека
Он возопил: «О несчастные! что за безумство, гражда́не!
Верите ль бегству врага? Иль мните, что дар
нековарный
Могут оставить данаи? Так ли узнали Улисса?
Или ахеяне здесь, заключенные в древе, таятся;
Или громада сия создана, чтоб, на гибель Пергаму,
В домы наши глядеть и град сторожить с возвышенья;
Или коварство иное... коню не вверяйтеся, тевкры!
Что здесь ни будь... я данаев страшусь и дары
приносящих».
Так сказал, и копье тяжелое мощной десницей
Он в огромный бок и в согбенное чрево громады
Ринул; вонзившись, оно зашаталось; дрогнуло зданье;
Внутренность звон издала; застенало в недре глубоком.
Так, когда бы не боги, когда б не затменье рассудка,
Нам бы тогда же открыло их козни железо... и ты бы,
Троя, стояла, ты бы стояло, жилище Приама!
Вдруг дарданские горные пастыри с криком и плеском
Юношу, руки ему на хребет заковавши, к Приаму

Силой влекут; он сам, неведомый им, замышляя
Хитрость и средство ахеян впустить в Илион,
произвольно
Предал себя, отважный, на всё готовый заране:
Козни ль свои совершить, иль верною смертью
погибнуть.
Жадно троянские бросились юноши грека увидеть;
Стали кругом и спорят друг с другом, чтоб пленным
ругаться...
Сведай же хитрость ахеян; в злодействе едином
Всех их узнай!
Стоя один, посреди толпы, смятен, безоружен,
Робко водил он кругом недоверчивый взор; напоследок:
«О, какая земля, какое море, — воскликнул, —
Примут меня, и что мне теперь, несчастливцу, осталось!
Места меж греками нет, а здесь раздраженная Троя,
Полная праведной мести, погибелью мне угрожает!»
Жалоба пленника тронула наши сердца; замолчало
Буйство толпы; вопрошаем: какой он породы? откуда?
Что намерен начать? за что судьбу упрекает?
Бремя страха сложивши, Приаму ответствовал пленник:
«Что б ни случилось, о царь, ничего не сокрою.
Во-первых,
Родом я грек — не таюсь; Синон быть может несчастен,
Воля судьбы; но коварным лжецом никогда он не будет.
Верно, молва донесла до тебя знаменитое имя,
Верно, слыхал о делах Паламеда, Вилова сына;
Славный вождь, но безвинно, по злым наущеньям
пелазгов,
Только за то, что войны не оправдывал, преданный
смерти,
Ныне же, света лишенный, от них же, свирепых,
оплакан.
Сродник его, мой убогий отец, его попеченьям
В юности вверил меня, снарядив на войну; и доколе
Был почтен Паламед, заседая с вождями в совете,
Был и я не без имени, было и мне уваженье.
Но с тех пор как пал он жертвой Улиссовой злобы,
Тяжкую жизнь во мраке печальном влачил я,
бесплодно
В сердце своем негодуя на гибель невинного друга;
О безрассудный! я не смолчал, но смело грозился

Мстить за него, лишь только б в Аргос возвратиться с победой
Боги велели! Угрозы мои распалили их злобу.
С той минуты беды за бедами; Улисс неусыпно,
Сам виновный, меня обвинял в замышленьях, коварно
Сеял наветы в толпе и губил меня клеветами.
Прежде не мог успокоиться он, доколе Калхаса...
Но почто продолжать бесполезно-прискорбную повесть?
Что прибавлю? Когда вам все греки равно ненавистны —
Ведать довольно: я грек; поражайте меня; вы Улиссу
Тем угодите; и щедро за то наградят вас Атриды».

Чужды сомненья, не зная всего вероломства пелазгов,
Мы, любопытством горя, вопрошать продолжаем Синона.
Снова начал он робкую речь с лицемерным смиреньем:
«Долгой осадой наскучив, бесплодной войной утомленны,
Греки не раз от упорныя Трои бежать замышляли.
О! почто сего не свершилось? Но бури от моря
Часто им путь заграждали, и южный ветер страшил их.
С той же поры, как построен был конь сей из брусьев сосновых,
Грозы с небес не сходили, и ливень шумел непрестанно.
В трепете мы Эрифила узнать, что велит нам оракул,
В Дельфы послали — с ужасным ответом он возвратился:
Греки, плывя к Илиону, кровию девы закланной
Вечных склонили богов даровать им ветер попутный:
Крови аргосского мужа и ныне за ветер возвратный
Требует небо. Едва разнеслось прорицанье в народе,
Все возмутились умы, сердца охладели, и трепет
Кости проникнул. Кому сей жребий? Кто Фебова жертва?
С шумом тогда Улисс ухищренный Калхаса пророка
Силой привлек пред народ, да откроет волю бессмертных.
Многие тут же, зная Улисса, мне предсказали
Умысел злой на меня и ждали в смятеньи, что будет;
Десять дней прорицатель молчал и, таясь, отрекался
Жертву назвать и слово изречь, предающее смерти.
Но наконец, приневолен докучным Улиссовым воплем,
Он произнес... то было мое несчастное имя!

Все одобрили выбор, и всяк, за себя трепетавший,
Рад был, что грозное всем одному обратилось
в погибель.
День роковой наступал; меня уж готовили в жертву;
Были готовы и соль и священный пирог, и повязка
Мне уж чело украшала... но я (не сокрою) разрушил
Цепи, скрылся в болото и там, в тростнике
притаившись,
Ночью ждал, чтоб они, подняв паруса, удалились...
Нет теперь мне надежды отчизну древнюю видеть!
Вечно милых родных и отца желанного вечно
Я не увижу! быть может, и то, что их же, невинных,
Мне в замену, за бегство мое, убийцы погубят...
О! всевышними, зрящими вечную правду богами,
О! правотой неизменною — если еще сохранилась
Где на земле правота — молю: яви сожаленье
Бедному мне и тронься на мой незаслуженный жребий!»
Мы, сострадая, скорбели над ним, проливающим слезы;
Сам благодушный Приам повелел тяготящие узы
С пленника снять и ему с утешительной ласкою молвил:
«Кто бы ты ни был, забудь о своих неприязненных
греках;
Наш ты теперь; ободрись и друзьям откровенно поведай:
Что знаменует громадный сей конь? На что он
воздвигнут?
Кем? Приношение ль богу какому? Орудие ль
брани?» —
Так Приам вопрошал. И, полный коварства пелазгов,
Пленник, поднявши к священному небу свободные руки:
«Вы, светила небесные, вы, надзвездные боги,
Вас призываю (воскликнул), вас, от которых бежал я,
Жертвенный нож, алтарь, роковая повязка! Отныне
Я навсегда разорвал ненавистные с греками узы;
Греки враги мне; свободно открою троянам их тайны:
Чуждый отчизне, я чужд навсегда и законам отчизны.
Ты же мне данный обет сохрани, сохраненная Троя,
Если тебе во спасенье великую истину молвлю.
Всех упований подпорой, надежной помощницей
в битвах
Грекам Паллада была искони; но с тех пор как
преступный
Сын Тидеев и с ним Улисс, вымышлятель коварных

Козней, из храма Палладиум, стражей высокого замка
Смерти предав, унесли и рукой, от убийства кровавой,
Девственно-чистых богини одежд прикоснуться
дерзнули —
Кончилась наша доверенность к ней, охладела надежда,
Сила упала, от нас отклонилась богиня; и зрелись
Явные знаки гнева Тритоны: лишь только во стане
Был утвержден похищенный идол, ожившие очи
Вдруг ослепительным блеском зажглись, по членам
соленый
Пот проступил, и трикраты (о страшное чудо!) богиня,
Прянув, воздвигнула щит и копьем потрясла, угрожая.
Нам, устрашенным, Калхас немедля советует бегство.
Трое не пасть от аргивския силы, — пророк он, —
иль снова
Греки должны вопросить оракул в Аргосе и морем
Взятый в отчизну Палладиум вновь привести к Илиону.
Знайте ж: теперь, переплывши в Аргос с благовеющим
ветром,
Рать и сопутных богов они собирают, чтоб снова
Вслед за Калхасом войной на Пергам неожиданной
грянуть.
В дар же богам за Палладиум, в честь оскорбленной
Тритоны
Ими воздвигнут сей идол, чтоб их святотатство
загладить;
Сам Калхас повелел, чтоб конь сей чудовищный создан
Был из крепких досок и высился ростом огромным
К небу, дабы не пройти во врата и не стать в Илионе
Грозной защитой народу по древним сказаниям предков.
Ведай же, Троя: когда оскорбите святыню Минервы,
Гибель великая — о! да обрушат ее на Калхаса
Праведны боги! — постигнет Приамов престол
и фригиян;
Если же сами коня возведете во внутренность града,
Некогда Азия стены Пелопсовы сильной оступит
Ратью, и наших потомков постигнет мстящая гибель».
Боги! боги! притворным речам вероломца Синона
Жадно поверили мы... и те, кого ни Тидеев
Сын, ни Ахилл-фессалиец, ни десять лет непрерывной
Брани, ни тысяча их кораблей покорить не умели, —
Те единому слову, одной слезе покорились.

Тут явилось другое неслыханно страшное чудо
Нашим очам и вселило в сердца неописанный трепет.
Лаокоон, Нептунов избранный жрец, всенародно
Тучного богу вола приносил пред храмом на жертву...
Вдруг, четой, от страны Тенедоса, по тихому морю
(Вспомнив о том, трепещу!) два змея, возлегши
на воды,
Рядом плывут и медленно тянутся к нашему брегу:
Груди из волн поднялись; над водами кровавые гребни
Дыбом; глубокий, излучистый след за собой покидая,
Вьются хвосты; разгибаясь, сгибаясь, вздымаются спины.
Пеняся, влага под ними шумит; всползают на берег;
Ярко налитые кровью глаза и рдеют и блещут;
С свистом проворными жалами лижут разинуты пасти.
Мы, побледнев, разбежались. Чудовища прянули дружно
К Лаокоону и, двух сынов его малолетних
Разом настигнув, скрутили их тело и, жадные втиснув
Зубы им в члены, загрызли мгновенно обоих;
на помощь
К детям отец со стрелами бежит; но змеи, напавши
Вдруг на него и спутавшись, крепкими кольцами
дважды
Чрево и грудь и дважды выю ему окружили
Телом чешуйным и грозно над ним поднялись головами.
Тщетно узлы разорвать напрягает он слабые руки —
Черный яд и пена текут по священным повязкам;
Тщетно, терзаем, пронзительный стон ко звездам
он подъемлет;
Так, отряхая топор, неверно в шею вонзенный,
Бесится вол и ревет, оторвавшись от жертвенной цепи.
Быстро виясь, побежали ко храму высокому змеи;
Там, достигши святилища гневной Тритоны, припали
Мирно к стопам божества и под щит улеглися
огромный.
Всем нам тогда предвещательный ужас глубоко
проникнул
Сердце; в трепете мыслим: достойно был дерзкий
наказан
Лаокоон, оскорбитель святыни, копьем святотатным
Недра пронзивший коню, посвященному чистой Палладе.
«Ввесть коня в Илион! молить о пощаде Палладу!» —
Весь народ возопил...

Стены поспешно пронзаем; разломаны града твердыни;
Все на работу бегут: под коня подкативши колеса,
Ставят громаду на них и, шею канатом опутав,
Тянут... шатнулось чудовище; воинов полное, в город
Медленно движется; юноши вкруг и безбрачные девы
Гимны поют и теснятся, чтобы вервей коснуться руками.
Вдвинулся конь и идет, угрожающий, стогнами Трои...
О отчизна! о град богов Илион! о во брани
Славные стены дарданские! трижды в воротах громада
Остановилась, трижды внутри зазвучало железо...
Мы ж, ослепленные, разум утратив, не зрим и не слышим.
В замок Пергама введен наконец истукан бедоносный.
Тут Кассандра, без веры внимаема нами, напрасно
Вещий язык разрешила, чтоб нам предсказать о грядущем;
Мы, слепцы, для которых сей день был последний, цветами
Храмы богов украшали, спокойно по стогнам ликуя...
Небо тем временем круг совершило, и ночь полетела
С моря, и землю, и твердь, и обман мирмидонян объемля
Тенью великой; по граду беспечно рассыпавшись, тевкры
Все умолкнули: сон обнимал утомленные члены.
Тою порой от брегов Тенедоса фалангу аргивян
Строем несли корабли в благосклонном безлуния мраке
Прямо к знакомым брегам; и лишь только над царской кормою
Вспыхнуло пламя — судьбою богов, нам враждебных, хранимый,
Тихо сосновые двери замкнутым в громаде данаям
Отпер коварный Синон; растворившися, греков на воздух
Конь возвратил; спешат из душного мрака темницы
Выйти вожди: Стенел, и Тессандр, и Улисс кровожадный,
Смело по верви скользя, и за ними Фоас с Афаманом,
Внук Пелеев Неоптолем, Магаон, напоследок
Сам Менелай и с ним громады создатель Эпеос.
Быстро напали на сонный, вином обезумленный город;
Стража зарезана; твердые сбиты врата, и навстречу

Ждущим у входа вождям мирмидоняне хлынули
в Трою.
Было то время, когда на усталых сходить начинает
Первый сон, богов благодать, успокоитель сладкий.
Вдруг... мне заснувшему видится, будто Гектор
печальный
Стал предо мной, проливая обильно горькие слезы,
Тот же, каким он являлся, конями размыканный, черен
Пылью кровавой, истерты ремнями опухшие ноги.
Горе! таким ли видал я его? Как был он несходен
С Гектором прежним, гордо бегущим в Ахилловой
броне
Иль запалившим фригийский пожар в кораблях
супостата!
Всклочена густо брада; от крови склеилися кудри;
Тело истерзано ранами, некогда вкруг илионских
Стен полученными. Сам, заливаясь слезами, казалось,
Так во сне я приветствовал Гектора жалобной речью:
«О светило Дардании! верная Трои надежда!
Где так долго ты медлил? Гектор желанный, откуда
Ныне пришел ты? О! сколь же ты нас, по утрате
толиких
Храбрых друзей, по толиких бедствиях граждан
и града,
Сердцем унылых обрел! И что недостойное светлый
Образ твой затемнило? Откуда толикие раны?»
Он ни слова; бесплодным вопросам он не дал вниманья;
Но протяжный, тяжелый вздох исторгнув из груди,
Молвил: «Беги, сын богини, спасайся; Пергам погибает;
Враг во граде; падает Троя; Приаму, отчизне
Мы отслужили; когда бы от смертной руки для
Пергама
Было спасенье — Пергам бы спасен был этой рукою.
Троя пенатов своих тебе поверяет, прими их
В спутники жизни; для них завоюй обреченные небом
Стены державные, их же воздвигнешь, исплававши
море».
Кончил — и вынес из тайны святилища утварь, повязки,
Вечнопылающий огнь и лик всемогущия Весты.
Тою порою по граду, шумя, разливалася гибель.
Боле и боле — хотя в стороне, одинок и непышен,
Дом Анхиза-родителя сенью закрыт был древесной —

Шум приближается; явственней слышно волнение брани.
Я очнулся и ложе покинул; на верхнюю кровлю
Дома взбежал и стою, внимательным слушая ухом.
Так — когда, раздуваемый бурей, свирепствует пламень
В жатве, иль ливнем поток наводненный, с горы
загремевши,
Губит поля, и веселые нивы, и труд земледельца,
С корнями рвет и уносит деревья — с вершины утеса
В смутном неведеньи силится к шуму прислушаться
пастырь.
Всё мне тогда — и видения тайна и козни данаев —
Вдруг объяснилось. Уж дом Деифобов горит
и огромной
Грудой развалин, дымящийся, падает; с ним пламенеет
Укалегонов, и заревом блещут сигейские воды;
Слышны и крики людей и звонкой трубы дребезжанье.
Я, как безумный, за меч... но куда с мечом обратиться?
Рвусь нетерпеньем дружину созвать, чтоб броситься
в замок;
Ярость и бешенство душу стремительно мчат,
и погибнуть
Смертью прекрасной в бою с тоскою мучительной
жажду.
Вдруг явился Панфей, убежавший от копий ахейских,
Старец Панфей, Отриад и в замке жрец Аполлонов.
Утварь и лики богов побежденных похитив, младого
Внука он влек за собой и беспамятен мчался к Анхизу.
«Есть ли надежда, Панфей? Уцелели ль замка
твердыни?» —
Я вопросил; отчаянным стоном ответствовал старец:
«День последний настал, неизбежное время настало
Царству; мы были трояне, был Илион, и великой
Тевкрии слава была... на аргивян жестокий Юпитер
Всё перенес; господствуют греки в пылающем граде,
Гибельно высясь над площадью замка, ратников сонмы
Конь извергает; Синон, торжествуя, пожарное пламя
Тщится усилить; там непрестанно двумя воротами
Войска бесчисленны входят, каких не видали Микины;
Здесь, захвативши тесные выходы, сильная стража
Сдвинула копья, и грозно, вонзиться готовое, блещет
Их острие; безнадежно, расстроенной, слабой дружиной
Бьются привратные воины, силясь напрасно отбиться».

Страшною вестью Панфея и силой бессмертных
влекомый,
Я побежал, куда призывали Эриннис, и шумный
Говор сраженья, и пламень, и стон, ко звездам
восходящий.
Следом за мною Рифей и зрелый мужеством Ифит;
К нам пристали при блеске пожара Димант
с Гипанисом,
К нам и Хорев Мигдонид, в Илион приведенный
судьбою
За день пред тем, горящий безумной к Кассандре
любовью,
С верною помощью к тестю Приаму и Трое...
несчастный!
Купно с другими вещим речам вдохновенной невесты
Он не поверил...
Я же, их видя решительных, жаждущих боя,
воскликнул:
«Юные други! сердца, толь напрасно бесстрашные ныне!
Если, отважась на всё, испытать вы со мною готовы
Силы последней (что же фортуна решила, вы зрите:
Наши святилища бросили, наши покинули храмы
Боги, хранители Трои; святый Илион исчезает
Дымом), на смерть побежим, ударим в средину оружий;
Други! спасенья не ждать — одно побежденным
спасенье».
Вспыхнула бодрая младость. Подобно как в темном
тумане
Рыщут, почуя добычу, гонимые бешенством глада,
Хищные волки и, пасти засохшие жадно разинув,
Их волчата ждут в логовищах, — сквозь копья и сонмы
Так на погибель ударились мы, пролагая в средину
Города путь, облетаемы ночи огромною тенью.
Ночь несказанная; где слова для ее разрушений?
Кто и какими слезами такую погибель оплачет?
Падает древний град, многолетный властитель народов;
Всюду разбросаны трупы; лежат неподвижно во прахе
Улиц, на прагах домов, при дверях, во святилищах
храмов.
Но не одну безотпорную смерть принимает троянец,
Часто горит в побежденном привычная бодрость,
и гибнет

Грек-победитель... Везде, отовсюду являются взору
Ужас, и бой, и кровавая смерть в неисчисленных
видах.
Первый из греков, дружиною встреченный нашей
на стогнах,
Был Андрогей; в обманчивом сумраке ночи приемля
Нас за данаев союзных, он так дружелюбно
воскликнул:
«Братья, спешите; где же так долго вас задержала
Праздная лень? Давно расхищают горящую Трою
Греки; а вы едва с кораблями расстаться успели».
Так он сказал; но узрев безответную нашу суровость,
Вмиг догадался, кто перед ним, отскочил и умолкнул,
Скованный страхом. Как путник, змею разбудивший
ногою,
Трепетен рвется назад, узрев, как она, развернувшись,
Гнев воздымает и свищет, подняв чешуи голубые, —
Так, задрожавши, от нас побежал Андрогей...
но напрасно!
Мы за ним; разорвали их строй; и, не ведая града,
Вдруг осажденные страхом, незапностью, ночью и нами,
Все до единого пали враги. Улыбнулась фортуна
Первому нашему бою. Хорев, воспаленный удачей,
«Други! — воскликнул. — Отважимся ввериться первому
счастью;
Нам благосклонно судьба указует наш путь; облачимся
В брони данаев, щиты переменим; обманом иль силой —
Всё равно для врага. И ныне оружие сами
Греки троянам дадут». Сказал и надел Андрогеев
Гривистый шлем, завоеванный щит надвинул на шуйцу,
Греческий меч утвердил на бедре. Ему подражая,
Бодро Димант, и Рифей, и вся молодая дружина
Свежей добычей оружий себя ополчили. В средину
Греков бежим... но боги отчизны были не с нами.
Подвигов много, врагами не узнанны, в сумраке ночи
Мы совершили, много данаев низринуто в Оркус.
В страхе одни к кораблям, к безопасному берегу моря
Мчатся из града; иных загоняет постыдная робость
В недра коня, и приемлет их снова знакомое чрево.
Но... богам отвратившимся, поздно вверяться надежде!
Вдруг из храма Паллады влекут за власы распущенны,
Вырвав ее из святилища, дочь Приама Кассандру,

К темному небу напрасно подъемлющу пламенны очи —
Очи одни, окованы были невинные руки;
Страшного вида сего не стерпело сердце Хорева;
Он, обезумленный, прямо в средину толпы их; и, сдвинув
Груди и копья, мы дружно за ним; но плачевно-ужасный
Бой тогда закипел: трояне, обмануты видом
Наших греческих лат и сверканием шлемов косматых,
С кровли высокого храма пустили в нас тучею стрелы;
Стон пораженных нам изменил; на Кассандрины вопли
Бросился враг; мы все опрокинуты; с бурным Аяксом
Оба явились Атрида — за ними толпами данаи.
Так, подымаясь крутящимся вихрем, сшибаются ветры
Нот, и Зефир, и на легких несомый конях от востока
Эвр, и бушуют леса, и Нерей опененным трезубцем
Бьет по водам, и до самого дна содрогается море.
Скоро и греки, испуганны мраком ночным и по граду
Нашей дружиной рассеянны, вышли из тайных убежищ,
Первые нас по щитам и обманчивым броням узнали,
Вслушались в наши слова и чужие заметили звуки.
Множество нас задавило: первым мечом Пенелея
Пал Хорев пред святым алтарем броненосной Паллады;
Пал и Рифей, из троян непорочнейший, правды блюститель
(Иначе боги судили о нем); Димант с Гипанисом
Пали от копий троянских; ни Фебова риза, ни святость
Чистыя жизни тебя не спасли, о Панфей благодушный.
Прах Илиона, все блага мои поглотившее пламя,
Вас призываю! вы зрели, что я не чуждался ни копий
Вражьих, ни силы врага; и когда бы назначил мне жребий
Пасть — я паденье свое заслужил. Но из битвы (за мною
Ифит один с Пелиасом, Ифит, уже отягченный
Дряхлостью лет, Пелиас, умирающий, ранен Улиссом)
Я устремился на стон, огласивший чертоги Приама.
Там все ужасы брани стеклися: как будто во граде
Не было битвы иной и нигде никого не разили —
Так свирепствовал Марс, так бешено греки рвалися
В замок и, сдвинув щиты черепахой, на вход напирали.
Множеством лестниц унизаны стены; вверх по ступеням

Лезут данаи, шуйцей щиты над главами под копья
Наши подставив, десной за вершину ограды хватаясь;
Тевкры, готовя отпор, разоряют и башни и домы,
Вместо оружий сбирают обломки с намереньем грозным
В битве отчаянной ими врага раздавить, погибая;
С шумом державного дома царей позлащенны убранства
Падают; меч обнаживши, другие, у врат осажденных
Тесной дружиной столпясь, ограждают святилище прага.
Взорванный гневом, стремлюсь на защиту Приамова
дома,
Ратных усилить и бодрого духа придать побежденным.
Были сокрытые двери в стене высокого замка,
Ход потаенный из внешнего града в царево жилище;
Часто, во дни благоденствия Трои, ко свекру Приаму
Оным путем Андромаха несчастная тайно ходила:
Взор престарелого деда порадовать внуком цветущим.
Оным путем пробираюсь к тому возвышенью, откуда
Тщетно последние стрелы на греков бросали трояне.
Там воздымалась стремнистая башня, весь град
перевыся;
С кровли ее неприступной видимы были вся Троя,
Все корабли мирмидонян, весь греческий стан
отдаленный.
Там, где она со стены висела громадою всею
Грозно над градом, как туча, мы острым железом
подрыли
Сплоченны камни и двинули башню... гремя и дымяся,
Вдруг она повалилась и страшной развалиной пала
Вся на греков; погибших сменили другие, и градом
Стрелы, копья и камни опять полетели.
Всех опредя, напирал на преддверие Пирр бедоносный,
Грозен, как пламенный, медной броней и стрелами сияя.
Так на солнце змея, напитавшися ядом растений,
Долго лежав неподвижно под тягостным холодом снега,
Вдруг, чешуи обновив, расправляет красы молодые,
Скользкий волнует хребет, золотистую грудь надувает,
Вьется в лучах и жалом тройным, разыгравшися,
блещет.
С ним великан Перифрас, и правитель Ахилловых
коней
Оруженосец Автомедон, и дружина скириян

Шумно к чертогам теснятся и пламень бросают
на кровли.
Сам же, у всех впереди, он огромной двуострой
секирой
Рушит затворы, с притолок тяжких, окованных медью,
Петли сбивает, брусья дробит и плотные доски
Вдруг прорубил — широкою щелью разинулись двери.
Видимы стали и внутренний двор и ряды переходов,
Видима древняя храмина прежних царей и Приама,
Видимы в сенях и стражи, хранители царского прага.
В самом же доме и жалобный крик, и шум, и волненье;
Звонкие своды чертогов наполнив пронзительным
стоном,
Жены рыдают; к звездам подымает отчаянье голос.
Бледные матери, бегая в мутном безумии страха,
Праги объемлют дверей и к ним прилипают устами.
Вдруг вторгается Пирр, как отец, неизбежно-ужасный.
Тщетны заграды; низринута стража; таран стенобойный
Сшиб ворота; расколовшись, огромные рухнули створы;
Силе прочистился путь, и в пролом, опрокинув
передних,
Ринулся грек, и врагами обители все закипели.
Менее грозен, плотину прорвав и разрушивши стену,
С ревом и с пеной стремится поток из брегов и,
равнину
Шумным разливом окрест потопив, стада и заграды
Мчит по полям. Я видел убийством яримого Пирра;
Видел обоих Атридов, дымящихся кровью в обители
царской;
Видел Гекубу, и сто невесток ее, и Приама,
Кровью своею воздвигнутый ими алтарь обагривших.
Вдруг пятьдесят сыновних брачных чертогов, надежда
Стольких внуков, и стены, добыч многочисленных
златом
Гордые, пали — пожаром забытое схвачено греком.
Знать пожелаешь, быть может, царица, что было
с Приамом.
Видя падение града, видя пылающий замок,
Видя врага, захватившего внутренность царского дома,
Старец давно позабытую броню на хилые плечи,
Сгорбленный тягостью лет, чрез силу надел,
бесполезный

Меч опоясал и в сонмы врагов пошел на погибель.
В самой средине царских чертогов, под небом
открытым,
Был великий алтарь; над ним многолетнего лавра
Сень наклонялась и лики домашних богов обнимала.
Там с дочерями сидела Гекуба. Напрасно — укрывшись
Робко под жертвенник, словно как стая пугливая
горлиц
В грозу под ветви, — кумиры бессмертных они
обнимали.
Вдруг царица одетого бронею младости бранной
Видит Приама. «Куда ты, бедный супруг (возгласила)?
Что ополчило тебя? К чему безрассудная бодрость?
Ныне такая ли помощь, такой ли защитник Пергаму
Нужны? Пергама не спас бы теперь и великий мой
Гектор.
С нами останься, Приам; алтарь защитит нас,
Или умрем неразлучны». Сказала и, руку супругу
Давши, старца с собой посадила на месте священном.
Вдруг из убийственных Пирровых рук убежавший
Политос,
Сын последний Приама, сквозь копья, сквозь сонмища
вражьи,
Вдоль переходов, пустыми чертогами, раненый, мчится;
Быстро за ним сверкающий Пирр с неизбежным
убийством
Гонится... близко; нагнал, достигнул железом;
пронзенный,
К лону родителей кинулся юноша в страхе, пред ними
Пал, содрогнулся... и жизнь пролилася потоками крови.
Тут закипело Приамово сердце. Сам погибая,
Он не стерпел толь великого горя и гневно воскликнул:
«О чудовище! Боги тебе, святотатный убийца,
Боги — если живет в небесах правосудная жалость —
Мзду ниспошлют; по заслуге получишь награду,
губитель,
Ты, предо мной моего растерзавший последнего сына!
То ли Ахилл, от тебя названьем отца поносимый,
Сделал с Приамом-врагом? Он, краснея, почтил
униженье
Старца молящего; дал схоронить мне бездушное тело
Гектора-сына и в Трою меня отпустил безобидно».

Так он сказал и копье бессильное слабой рукою
Бросил; оно, ударяся в медь, зазвеневшую глухо,
Тронуло выгиб щита и на нем без движенья повисло.
Яростно Пирр возопил: «Иди же с поносной отсюда
Вестью к Пелиду-отцу; не забудь о бесславных деяньях
Пирра поведать ему; теперь же умри». Беспощадно
Он перед жертвенник дрогнувший старца повлек; сединами
Шуйцу, облитую кровью сыновней, опутал, десницей
Меч замахнул и в ребра до самой вонзил рукояти.
Так совершилася участь Приама; так он покинул
Землю, зревши добычей пожара Пергам и паденье
Трои, некогда сильный властитель народов, державный
Азии царь... и великое тело на бреге пустынном
Ныне без чести лежит, обезглавлено, труп безымянный.

Тут впервые мне ужас предчувствия душу проникнул:
Я обомлел; я о милом старце родителе вспомнил,
Видя, как дряхлый ровесник его, под рукой беспощадной
Царь издыхал; я вспомнил о сирой Креузе, о доме,
Преданном греку во власть, о судьбине младенца Иула.
Взор обращаю: нет ли со мною сподвижников ратных?
Все исчезли; одни, утомленные битвою, с башни
Прянули в город; другие отчаянно кинулись в пламень;
Я один уцелел. И вдруг в преддверии храма
Весты, робко-безмолвную, скрытую в темном притворе,
Вижу Тиндарову дочь: при зареве ярком пожара
Светлым путем я бежал, всё оку являлося ясным.
Там, опасаясь троян, раздраженных паденьем Пергама,
Злобы данаев и мести супруга, отчизну и Трою
Купно губящая Фурия, жертвенник Весты объемля,
В храме, богам ненавистная, тайно сидела Елена.
Вспыхнуло сердце во мне; отомстить за погибель отчизны
Рвется мой гнев; истребить истребленья виновницу жажду.
«Ей ненаказанной Спарту узреть! в родные Микины
Гордой царицей вступить, торжествуя! увидеть супруга,
Дом родительский, чад, окруженной прискорбной толпою.

Дев илионских и пленных троян! .. А Приам уж зарезан,
Троя горит и Дардания целая кровью дымится!
Нет! того не стерплю! пускай не великая слава
Женоубийце, пускай для него беспохвальна победа —
Свет от чудовища должно очистить; кровавою местью
Сердце свое утолю и пепел моих успокою».
Так я, себя раздражая, злобой кипящий, стремился.
Вдруг перед очи мои, откровенная, мрак осиявши
Ярким блистаньем, великой богиней, какою лишь небо
Знает ее, предстала мать и, меня удержавши,
Молвила так мне устами, живыми как юная роза:
«Сын, для чего необузданной скорбию гнев пробуждаешь?
Что за безумство? Ужели оставил о нас попеченье?
Прежде помысли о том, где покинут тобою родитель,
Дряхлый Анхиз, не погибли ль супруга Креуза и юный
Сын твой Асканий? Кругом их обители бешено рыщет
Грек, и давно бы, когда б не моя берегла их защита,
Их истребило железо и пламень враждебный похитил! ..
Нет! не Парид, похититель преступный, не образ спартанки,
Низкой Тиндаровой дочери — боги, разгневанны боги
Ваш опрокинули град и сразили величие Трои.
Зри — я всякое облако, ныне темнящее слабый
Смертного взор и облекшее всё пред тобою туманным
Мраком, подъемлю — но только моим повелениям смело,
Сын, покорись и бесспорно мои поученья исполни.
Там, где видишь разбросанны груды, утес на утесе,
Где подымается черное облако праха и дыма,
Там Посидон великим его потрясенны трезубцем
Стены дробит и, подрыв основанья, весь город в обломки
Рушит; здесь беспощадная Ира, на Скейских воротах
Грозно воздвигшись, союзную рать с кораблей к Илиону,
Броней звучащая, кличет...
Там — оглянися — на замке, над градом, Тритона-Паллада
Села, гремящею тучей и страшной Горгоной блистая.
Сам вседержитель и бодрость и бранную силу низводит

Свыше на греков и сам на дардан подымает всё небо.
Нет упования, сын; беги, не упорствуй сражаться;
Буду с тобой; невредимо достигнешь родительской
сени».
Так сказала и скрылась в глубокую бездну ночную.
Грозные лики тогда мне предстали, разящие Трою
Силы великих богов я увидел...
Тут открылось, как, страшно разрушен, в огне
распадался
Весь Илион и в обломки валилась Нептунова Троя.
Так на густой прародительский ясень, горы украшенье,
Корни кругом подрубив, дровосеки, столпясь, нападают;
Споря проворством, разят топоры; благородное древо
Зыблется, сенью шумит, волосистой главою трепещет,
Мало-помалу под ранами клонится... вдруг, изнемогши,
Стонет и падает, всю завалив разрушением гору...
Я удаляюсь, храним божеством; иду через пламень,
Мимо врагов: раздвигаются копья, огонь уступает.
К древней обители, к прагу священной родительской
сени
Скоро достиг я, и первой заботой в защитное место,
На гору старца отца перенесть. Приближаюсь
к Анхизу —
Трою свою пережить и себя осудить на изгнанье
Старец отрекся. «Вы, сохранившие бодрую младость,
Вы, не лишенные мужеской силы годами, спешите
Бегством спасаться, — сказал он. —
Если б державные боги конец мой отсрочить хотели —
Мне бы они сохранили мой дом. Но слишком довольно
Зреть и однажды погибель своих и сожжение града.
С миром идите, почтивши мое полумертвое тело
Словом прощальным; смерть я сам обрету, иль, жалея,
Враг умертвит старика. Не страшна погребенья утрата;
Слишком долго, противный богам, на земле я промедлил,
Чуждый земле, с тех пор как бессмертных и смертных
владыка
Веяньем молний своих и громом ко мне прикоснулся».
Так говорил мой родитель, в жестоком намереньи
твердый.
Мы же в слезах — и я, и Креуза, и юный Асканий,
Сын мой, и с нами домашние — молим, чтоб вместе
с собою

Он, отец, семьи не губил и в беду не ввергался...
Тщетны моленья; покинуть свой дом непреклонный
отрекся.
Снова тогда ополчаюсь, отчаянный, жаждущий смерти.
Что иное мне оставалось? Какая надежда?
«Как, родитель, чтоб я убежал, об отце позабывши,
Требовал ты! из родительских уст толь обидное слово!
Если назначили боги, чтоб не былю Трои великой,
Если тобой решено истребить с истребляемым градом
Нас и себя — для погибели нашей двери отверзты:
Скоро Приамовой кровью дымящийся Пирр,
умертвивши
Сына пред взором отца и отца пред святыней Пенатов,
Явится здесь! Для того ли сквозь бой и пожар,
о богиня,
Я проведен, чтоб, врага допустив во святилище дома,
Видеть, как сын мой Асканий, и дряхлый отец,
и Креуза,
Кровью друг друга облив, предо мною истерзаны будут?
Дайте оружия, воины; время пришло роковое;
Грекам меня возвратите; отведаем силы последней;
В бой, друзья! мы не все неотмщенные ныне погибнем».
Меч опоясав и щит свой надвинув на шуйцу, из дома
Выйти спешу; но Креуза, упав со слезами на праге,
Ноги мои обняла и, сына-младенца подъемля
К лону отца, возопила: «Если себя на погибель
Ты осудил — да погибнем с тобою и мы неразлучно!
Если ж осталось тебе упованье на меч и на силу —
Прежде свой дом защити; здесь младенец Иул; здесь
отец твой;
Здесь Креуза... ее называл ты доныне своею».
Так вопияла супруга, стенаньем весь дом оглашая.
Тут несказанное в наших очах совершилося чудо:
Сына Иула с печалью родительской мы обнимали —
Вдруг над его головою сверкнуло эфирное пламя,
В кудри власов, не палящее, веяньем тихим влетело,
Пыхнуло ярко и вкруг головы обвилося блистаньем.
В трепете страха мы отряхаем горящие кудри;
Силимся влагой студеной огонь затушить чудотворный.
Чуда свидетель, Анхиз оживленные радостью очи
К небу возвел и, дрожащие длани подъемля,
воскликнул:

«О вседержитель Зевес! когда ты молитвам доступен,
Призри на нас, о едином молящих: если достойны,
Будь нам защитой, отец, и знаменью дай подтвержденье».
Только промолвил Анхиз — помутилося небо, и страшно
Грянуло влеве; и быстро упадшая с темныя тверди,
Мрак лучезарный рассекши браздой, звезда побежала...
Видели мы, как она, разразившись над нашею кровлей,
Светлая, вдаль покатилась и, путь наш означив блистаньем,
Пала за Идою в рощу... долго, протянут вдоль неба,
След пламенел, и запахом серным дымилась окрестность.
Тут побежденный старец родитель подъемлется с ложа,
Молит богов и творит поклоненье звезде путеводной.
«Всё решено! — возгласил он. — Боги отчизны, ведите;
С верой иду; сохраните и дом мой и внука; то ваше
Знаменье было, и в вашем могуществе есть еще Троя;
Вам покоряюсь; мой сын, предводи; за тобою отец твой».
Так он сказал... и уже приближался к обители нашей
С треском пожар и шумящего пламени зной опалял нас.
«Время, родитель; на плечи сыновние сядь (возгласил я),
Дай мне мои подклонить рамена под священное бремя.
Что бы ни встретилю нас на пути — одно нам спасенье,
Гибель одна; перестанем же медлить; младенец Асканий
Рядом со мною пойдет; в отдаленьи за нами Креуза.
Вы же, служители дома, заметьте, что вам повелю я:
Есть при исходе из града холм, и на холме Церерин
Древле покинутый храм; перед ним кипарис престарелый,
С давних времен сохраненный почтением набожных предков.
Там во единое место из разных сторон соберитесь.
Лики Пенатов и утварь тебе поверяю, родитель;
Я же, пришедший из битвы, рукою кровавой не смею
К ним прикоснуться, доколь не очищу себя орошеньем
Свежия влаги...»
С сими словами, широкие плечи склоня и на выю
Сверх одеянья накинув косматую львиную кожу,
Старца подъемлю; идем; Асканий, мою обхвативши
Крепко десницу, бежит, торопяся, шагами неровными сбоку;
Следом Креуза; идем, пробираяся мглою по стогнам;
Я же, дотоле бесстрашным оком смотревший на тучи

Стрел и отважно встречавший дружины враждебные
греков,
Тут при малейшем звуке бледнел, при шорохе каждом
Медлил, робея за спутника, в страхе за милую ношу.
И уже достигал я ворот и мнил, что опасный
Путь совершился... вдруг невдали голоса раздалися,
Что-то мелькнуло, послышался топот. Пристально
в сумрак
Смотрит Анхиз: «Мой сын, мой сын, беги! —
возопил он. —
Идут! сверкают щиты! оружие медное блещет!..»
Кто изъяснит? Божество ли какое враждебною силой
Ум мой смутило... но, в сторону бросясь, чтоб мнимой
Встречи избегнуть, далеким обходом я вышел из града;
Боги! Креуза исчезла; во тьме ль, ослепленная роком,
Сбилась с дороги, иль где отдохнуть, утомленная,
села —
Я не знаю, с тех пор мы нигде уж ее не встречали.
Только тогда я утрату, опомнясь, заметил, когда мы
Холма святого и древнего храма Цереры достигли.
Там собрались мы, убогий остаток троян, — а Креузы
Не было, к горю сопутников, сына, отца и супруга.
О! кого из людей и богов я не клял, исступленный!
Было ли что для меня и в паденьи Пергама ужасней?
Сына Иула с Анхизом-отцом и с Пенатами Трои
Спутникам вверив, в излучине дола велю им укрыться;
Сам же, блестящей одетый броней, возвращаюся
в Трою.
Вновь решено боевые труды испытать, по горящим
Стогнам Пергама промчаться и грудь под удары
подставить.
К темному прагу ворот, чрез который мы вышли
из града,
Прежде спешу, чтобы, снова по свежему нашему следу
Трою пройдя, замечательным оком всмотреться
в приметы:
Всюду ужас! даже молчание в трепет приводит!
К дому Анхиза — не там ли она, не туда ли ей случай
Путь указал — я бегу, но данаи уж грабили дом наш;
Всё испровергнуто; с воплями враг по обители рыскал;
Пламень пожара уже прошибал из-под верхния кровли;
Вихрем взвивалися искры, и в воздухе страшно гремело.

Я обратился к Приамову дому, к высокому замку:
Боги! боги! в притворе пустого Юнонина храма
Зверский Улисс и Феникс у добычи стояли на страже:
Там сокровища Трои, богатства сожженных святилищ,
Чаши златые, престолы богов, и убранства, и ризы
В грудах лежали; младенцы и бледные матери длинным
Строем стояли вблизи.
Презря меня окружавшую гибель, дерзнул я во мраке
Голос возвысить; печальный мой клик раздавался
по стогнам.
«Где ты, Креуза?» — взывал я, взывал... но было
напрасно.
В яростном горе по грудам разрушенных зданий я
бегал.
Вдруг перед очи мои появилася призраком, легкой
Тенью она... и казалась возвышенней прежнего станом.
Я ужаснулся, волосы дыбом, голос мой замер.
Тихо с улыбкой, смиряющей душу, сказала Креуза:
«Тщетной заботе почто предаешься, безумно печалясь?
О Эней, о сладостный друг, не без воли бессмертных
Было оно: мне не должно идти за тобой из Пергама;
То запрещает владыка небес, громодержец Юпитер.
Долго изгнанником будешь браздить беспредельное
море;
Там в Гесперии, где волны Лидийского Тибра
по тучным,
Людным равнинам обильно-медлительным током лиются,
Светлое счастье, и царский венец, и невесту царевну
Ты обретешь. Не томи ж по Креузе утраченной сердца;
Нет! ни дверей мирмидона, ни пышных чертогов долопа
Я не увижу; не буду рабынею матери грека,
Дочь Дардании, вечной Венеры невестка...
Быть при себе мне судила великая матерь бессмертных.
Ты же прости; поминай о супруге любовию к сыну».
Смолкла и тихо со мной, проливающим слезы,
рассталась;
Много хотел я сказать, но она улетела; трикраты
Я за летящею тению руки простер, и трикраты
Легкая тень из напрасно объемлющих рук ускользнула,
Словно как веющий воздух, словно как сон мимолетный.
Так миновалася ночь; возвращаюсь к товарищам
бегства;

Много толпою притекших из Трои сопутников новых
Там нахожу, изумленный: матери, мужи, младенцы,
Жалкий народ беглецов, невозвратно утратив отчизну,
С бедным остатком сокровищ, теснилися там,
приготовясь
Вместе со мной за морями искать обреченного брега.
И уже восходил над горой светоносный Люцифер,
Юного дня благовестник, и все ворота Илиона
Заперты были врагом... упованье исчезло! судьбине
Я уступил и Анхиза понес на высокую Иду».

12 мая — июнь (?) 1822

ПЕРЧАТКА

Повесть

Перед своим зверинцем,
С баронами, с наследным принцем,
Король Франциск сидел;
С высокого балкона он глядел
На поприще, сраженья ожидая;
За королем, обворожая
Цветущей прелестию взгляд,
Придворных дам являлся пышный ряд.

Король дал знак рукою —
Со стуком растворилась дверь,
И грозный зверь
С огромной головою,
Косматый лев
Выходит;
Кругом глаза угрюмо водит;
И вот, всё оглядев,
Наморщил лоб с осанкой горделивой,
Пошевелил густою гривой,
И потянулся, и зевнул,
И лег. Король опять рукой махнул —
Затвор железной двери грянул,
И смелый тигр из-за решетки прянул;
Но видит льва, робеет и ревет,
Себя хвостом по ребрам бьет,

И крадется, косяся взглядом,
И лижет морду языком,
И, обошедши льва кругом,
Рычит и с ним ложится рядом.
И в третий раз король махнул рукой —
Два барса дружною четой
В один прыжок над тигром очутились;
Но он удар им тяжкой лапой дал,
А лев с рыканьем встал...
Они смирились,
Оскалив зубы, отошли,
И зарычали, и легли.

И гости ждут, чтоб битва началася.
Вдруг женская с балкона сорвалася
Перчатка... все глядят за ней...
Она упала меж зверей.
Тогда на рыцаря Делоржа с лицемерной
И колкою улыбкою глядит
Его красавица и говорит:
«Когда меня, мой рыцарь верной,
Ты любишь так, как говоришь,
Ты мне перчатку возвратишь».

Делорж, не отвечав ни слова,
К зверям идет,
Перчатку смело он берет
И возвращается к собранью снова.

У рыцарей и дам при дерзости такой
От страха сердце помутилось;
А витязь молодой,
Как будто ничего с ним не случилось,
Спокойно всходит на балкон;
Рукоплесканьем встречен он;
Его приветствуют красавицыны взгляды...
Но, холодно приняв привет ее очей,
В лицо перчатку ей
Он бросил и сказал: «Не требую награды».

Март 1831

ДВЕ БЫЛИ И ЕЩЕ ОДНА

День был ясен и тепел; к закату сходящее солнце
Ярко сияло на чистом лазоревом небе. Спокойно
Дедушка, солнцем согретый, сидел у ворот
на скамейке;
Глядя на ласточек, быстро круживших в воздушном
пространстве,
Вслед за ними пускал он дымок из маленькой трубки;
Легкими кольцами дым подымался и, с воздухом
слившись,
В нем пропадал. Маргарита, Луиза и Лотта за пряжей
Чинно сидели кругом; самопрялки жужжали, и тонкой
Струйкой нити вилися; Фриц работал, а Енни,
Вечный ленивец, играл на траве с курчавою шавкой.
Все молчали: как будто ангел тихий провеял.
«Дедушка, — Лотта сказала, — что ты примолк?
Расскажи нам
Сказку; вечер ясный такой; нам весело будет
Слушать». — «Сказку? — старик проворчал, высыпая
из трубки
Пепел, — всё бы вам сказки! не лучше ль послушать
вам были?
Быль расскажу вам, и быль не одну, а две». —
Опроставши
Трубку и снова набив ее табаком, из мошонки
Дедушка вынул огниво и, трут на кремень положивши,
Крепко ударил сталью в кремень; посыпались искры,
Трут загорелся, и трубка опять задымилась. Собравшись
С мыслями, дедушка так рассказывать с важностью
начал:
«Дети, смотрите, как всё перед нами прекрасно,
как солнце,
Медленно с неба спускаясь, всё осыпает лучами;
Реин золотом льется; жатва как тихое море;
Холмы зеленые в свете вечернем горят; по дорогам
Шум и движенье; подняв паруса, нагруженные барки
Быстро бегут по водам; а наша приходская церковь...
Окна ее как огни меж темными липами блещут;
Вкруг мелькают кресты на кладбище, и в воздухе
теплом
Птицы вьются, мошки блестящею пылью мелькают;

Весь он полон говором, пеньем, жужжаньем... прекрасен
Мир господень! сердцу так радостно, сладко и вольно!
Скажешь: где бы в этом прекрасном мире господнем
Быть несчастью? Ан нет! и не только несчастье — злодейство
Место находит в нем. Видите ль там на высоком пригорке
Замок в обломках? Теперь по стенам расцветает зеленый
Плющ, и солнце его золотит, и звонкую песню беспечно,
Сидя в траве, на рожке там играет пастух. А на Рейне
Видите ль вы небольшой островок? Молодая из кленов
Роща на нем расцвела; под тенью ее разостлавши
Сети, рыбак готовит свой ужин, и дым голубою
Струйкой вьется по зелени темной. Взглянуть — так прекрасный
Рай. Ну слушайте ж: очень недавно, там на пригорке,
Близко развалин замка, стояла гостиница — чистый,
Светлый, просторный дом, под вывеской *черного вепря.*
В этой гостинице каждый прохожий в то время мог видеть
Бедную Эми. Подлинно бедная! дико потупив
Голову, в землю глаза неподвижно уставив, по целым
Дням сидела она перед дверью трактира на камне.
Плакать она не могла, но тяжко, тяжко вздыхала;
Жалоб никто от нее не слыхал, но, боже мой! всякой,
Раз поглядевши ей, бедной, в лицо, узнавал, что на свете
Всё для нее миновалось: мертвою бледностью щеки
Были покрыты; глаза из глубоких впадин сверкали
Острым огнем; одежда была в беспорядке; как змеи,
Черные кудри по голым плечам раскиданы были.
Вечно молчала она и была тиха, как младенец;
Но порою, если случалось, что ветер просвищет,
Вдруг содрогалась, на что-то глаза упирала и, пальцем
Быстро туда указав, смеялась смехом безумным.
Бедная Эми! такою ль видали ее? Беззаботно
Жизнью бывало она веселилась, как вольная пташка.
Помню и я и старые гости *черного вепря,*

Как нас радушной улыбкой и ласковым словом встречала
Эми, как весело шло угощенье. И все ей друзьями
Были в нашей округе. Кто веселость и живость
Всюду с собой приносил? Кого, как любимого гостя,
С криками вся молодежь встречала на праздниках? Эми.
Кто всегда так опрятно и чинно одет был? Кого наш священник
Девушкам всем в образец поставлял? Кто, шумя как ребенок
Резвый на игрищах, был так набожно тих за молитвой?
Словом, кто бедным был друг, за больными ходил, с огорченным
Плакал, с детьми играл, как дитя? Всё Эми, всё Эми.
Господи боже! она ли не стоила счастья? А вышло
Всё напротив. Она полюбила Бранда. Признаться,
Этот Бранд был молод, умен и красив; но худые
Слухи носились об нем: он с людьми недобрыми знался;
В церковь он не ходил; а в шинках, за картами, кто был
Первый? Бранд. Колдовством ли каким он понравился Эми,
Сам ли господь ей хотел послать на земле испытанье,
С тем, чтоб душа ее, здесь в страданьях очистившись, прямо
В рай перешла — не знаю, но Эми была уж невестой
Бранда, и все жалели об ней. Ну послушайте ж: вечер
Был осенний и бурный; в гостинице *черного вепря*
Два сидели гостя; яркое пламя трещало в камине.
«Что за погода! — сказал один. — Не раздолье ль в такую
Бурю сидеть у огня и слушать, как ветер холодный
Рвется в оконницы?» — «Правда, — другой отвечал, — ни за что бы
Я теперь отсюда не вышел; ужас, не буря.
Месяц на небе есть, а ночь так темна, что хоть оба
Выколи глаза; плохо тому, кто в дороге!» — «Желал бы
Знать я, найдется ль такой удалец, чтоб теперь в тот старинный
Замок сходить? Он близко, шагов с три сотни, не боле;

Но признаться, днем я не трус, а ночью в такое
Время пойти туда, где, быть может, в потемках
Гость из могилы встретит тебя — извините; с живыми
Сладить можно, а с мертвым и смелость не в пользу;
храбрися
Сколько угодно душе, а что ты сделаешь, если
Вдруг пред тобою длинный, бледный, сухой,
с костяными
Пальцами станет, и два ужасные глаза упрутся
Дико в тебя, и ты ни с места, как камень? А в этом
Замке, все знают, нечисто; и в тихую ночь там
не тихо;
Что же в бурю, когда и мертвец повернется
в могиле?» —
«Страшно, правда; а я об заклад побьюся, что наша
Эми не струсит и в замок одна-одинешенька сходит». —
«Бейся, пробьешь». — «Изволь, по рукам! ты слышала,
Эми?
Хочешь ли новую шляпку выиграть к свадьбе? Сходи же
В замок и ветку нам с клена, который между обломков
Там растет, принеси; я знаю, что ты не боишься
Мертвых и бредням не веришь. Согласна ли, Эми?» —
«Согласна, —
Эми сказала с усмешкой. — Бояться тут нечего, разве
Бури; а против ночных привидений защитой молитва».
С этим словом Эми пошла. Развалины были
Близко; но ветер выл и ревел; темнота гробовая
Всё покрывала, и тучи, как черные горы, задвинув
Небо, страшно ворочались. Эми знакомой тропинкой
Входит без всякого страха в средину развалин;
Клен недалеко; вдруг ветер утих на минуту; и Эми
Слышит, что кто-то идет живой, а не мертвый;
ей стало
Страшно... слушает... ветер снова поднялся и снова
Стих, и снова послышалось ей, что идут; в испуге
К груде развалин прижалася Эми. В это мгновенье
Ветром раздвинуло тучи, и месяц очистился. Что же
Эми увидела? Два человека — две черные тени —
Крадутся между обломков и тащат мертвое тело.
Ветер ударил сильней; с головы одного сорвалася
Шляпа и к Эминым прямо ногам прикатилась; а месяц
В ту минуту пропал, и всё опять потемнело.

«Стой! (послышался голос) шляпу ветром умчало». —
«После отыщешь, прежде окончим работу: зароем
Клад свой», — другой отвечал, и они удалились.
Схвативши
Шляпу, стремглав пустилась к гостинице Эми. Бледнее
Смерти в двери вбежала она и долго промолвить
Слова не в силах была; отдохнув, наконец рассказала
То, что ей в замке привиделось. «Вот обличитель
убийцам!» —
Шляпу поднявши, громко примолвила Эми; но тут же
В шляпу всмотрелась... «Ах!» и упала на пол без
чувства:
Брандово имя стояло на шляпе. Мне нечего боле
Вам рассказывать. В этот миг помутился рассудок
Бедной Эми; господь милосердый недолго страдать ей
Дал на земле: ее отнесли на кладбище. Но долго
Видели столб с колесом на пригорке близ замка;
прохожим
Он приводил на память и Бранда и бедную Эми.
Всё исчезло теперь: и гостиницы нет; лишь могилка
Бедной Эми цветет, как цвела, и над нею спокойно».
Дедушка кончил и молча стал выколачивать трубку.
Внучки также молчали и с грустью смотрели
на церковь:
Солнце играло на ней, и темные липы бросали
Тень на кладбище, где Эми давно покоилась в гробе. —
«Вот вам другая быль, — сказал, опять раскуривши
Трубку, старик. — Каспар был беден. К буйной,
развратной
Жизни привык он, и сердце в нем сделалось камнем.
Но жадным
Оком смотрел на чужое богатство Каспар.
На злодейство
Трудно ль решиться тому, кто шатается праздно,
не помня
Бога? Так и случилось. Каспар на ночную добычу
Вышел. Вы видите остров на Рейне? Вдоль берега
вьется
Против этого острова, мимо утеса, дорожка.
Там, у самой дорожки, под темным утесом, в ночное
Позднее время Каспар засел и ждал: не пройдет ли
Кто-нибудь мимо? Ночь прекрасна была; освещенный

Полной луной островок отражался в воде, и густые
Клены, глядясь в них, стояли тихо, как черные тени;
Всё покоилось. . . волны изредка в берег плескали,
В листьях журчало, и пел соловей. Но злодейским
Замыслом полный, Каспар не слыхал ничего; он иное
Жадным подслушивал ухом. И вот напоследок он
слышит:
Кто-то идет по дороге; то был одинокий прохожий.
Выскочил, словно как зверь из берлоги, Каспар;
и недолго
Длилась борьба между ими: бедный путник с тяжелым
Стоном упал на землю, зарезанный. Мертвое тело
В воду стащил Каспар и вымыл кровавые руки;
Брызнули волны, раздавшись под трупом, и снова
слилися
В гладкую зыбь; всё стало попрежнему тихо, и сладко
Петь продолжал соловей. Каспар беззаботно с добычей
В путь свой пошел; свидетелей не было; совесть
молчала.
Скоро истратил разбойник добытое кровью, и скоро
Голым стал он попрежнему. Годы прошли; об убийстве,
Кроме бога, никто не проведал; но слушайте дале.
Раз Каспар сидел за столом в гостинице. Входит
Старый знакомец его, арендарь Веньямин; он садится
Подле Каспара; он крепко, крепко задумчив;
и вправду
Было о чем призадуматься: денно и нощно работал,
Честно жил Веньямин, а всё понапрасну; тяжелый
Крест достался ему: семью имел он большую;
Всех одень, напой, накорми. . . а чем? И вдобавок
Новое горе постигло его: жена от тяжелой
Скорби слегла в постель, и деньги пошли за лекарство;
Бог помог ей; но с той поры всё хуже да хуже;
и часто
Нечего есть; жена молчит, но тает как свечка;
Дети криком кричат; наконец, остальное помещик
В доме силою взял, в уплату за долг, и из дома
Выгнать грозился. Эта беда с Веньямином случилась
Утром, а вечером он Каспара в гостинице встретил.
Рядом с ним он сидел у стола; опершись на колено
Локтем, рукою закрывши глаза, молчал он как
мертвый.

«Что с тобой, Веньямин? — спросил Каспар. — Ты
как будто
В воду опущен. Послушай, сосед, не распить ли нам
вместе
Кружку вина? Веселее на сердце будет; отведай».
Кружку взял Веньямин и выпил. «Тяжко приходит
Жить, — сказал он. — Жена умирает, и хилые кости
Не на чем ей успокоить: злодеи последнюю взяли
Нынче постелю. А дети — господи боже мой! лучше б
Им и мне в могилу. Помещик наш нынешней ночью
В замок свой пышный поедет и там на мягких
подушках,
Вкусно поужинав, сладко заснет... а я, воротяся
В дом мой, где голые стены, что найду там?
Бездушный!
Я ли Христом да богом его не молил? У него ли
Мало добра?.. Пускай же всевышний господь
на судилище страшном
Так же с ним немилостив будет, как он был со мною!»
Слушал Каспар и в душе веселился, как злой
искуситель;
В кружку соседу вина подливал он и скоро зажег в нем
Кровь, и потом из гостиницы вышел с ним вместе.
Уж было
Поздно. «Сосед, — Веньямину он тихо шепнул, —
господин твой
Нынешней ночью один в свой замок поедет; дорога
Близко, она пуста; а мщенье, знаешь ты, сладко».
Речью такой был сражен Веньямин; но тяжкая бедность,
Горе семьи, досада, хмель, темнота, обольщенье
Слов коварных... довольно, чтоб слабое сердце
опутать.
Так ли, не так ли, но вот пошел Веньямин
за Каспаром;
Против знакомого острова сели они под утесом,
Близко дороги, и ждут; ни один ни слова; не смеют
Вслух дышать и слушают молча. Их окружала
Тихая, темная ночь; звезд не сверкало на небе,
Лист едва шевелился, без ропота волны лилися,
Всё покоилось сладко, и пел соловей. Душа Веньямина
Вдруг согрелась: в ней совесть проснулась, и он
содрогнулся.

«Нечего ждать, — он сказал, — уж поздно; уйдем, не
придет он». —
«Будь терпелив, — злодей возразил, — пождем
и дождемся.
Доле зато дожидаться его возвращенья придется
В замке жене; да будет напрасно ее нетерпенье».
Сердце от этих слов повернулось в груди Веньямина;
Вспомнил свою он жену и сказал: «Теперь прояснилась
Совесть моя; не поздно еще, не хочу оставаться!» —
«Что ты? — воскликнул Каспар. — Послушался совести;
бредит.
Ночь темна, река глубока, здесь место глухое;
Кто нас увидит?» Мороз подрал Веньямина по коже.
«Кто нас увидит? А разве нет свидетеля в небе?» —
«Сказки! здесь мы одни. В ночной темноте не приметит
Нас ни земной, ни небесный свидетель». Тут
неоглядкой
Прочь от него побежал Веньямин. И в это мгновенье
Темное небо ярким, страшным лучом раздвоилось;
Всё кругом могильная мгла покрывала; на том лишь
Месте, где спрятаться думал Каспар, было как
в ясный
Полдень светло. И вот пред глазами его повторилось
Всё, что он некогда тут совершил во мраке глубокой
Ночи один: он услышал шум от упавшего в воду
Трупа; он черный труп на волнах освещенных увидел;
Волны раздвинулись, труп нырнул в них, и всё
потемнело. . .
Дети, долго с тех пор под этим утесом, как дикий
Зверь, гнездился Каспар сумасшедший. Не ведал
он кровли;
Был безобразен; лицо как кора, глаза как два угля,
Волосы клочьями, ногти на пальцах как черные когти,
Вместо одежды гнилое тряпье; худой, изможденный,
Чахлый, все ребра наружу, он в страхе всё жался
к утесу,
Всё как будто хотел в нем спрятаться, и всё озирался
Смутно кругом; но порою вдруг выбегал и, на небо
Дико уставив глаза, шептал: «Он видит, он видит».
Дедушка, быль досказав, посмотрел усмехаясь
на внучек,

«Что же вы так присмирели? — спросил он. — Видно,
рассказ мой
Был не на шутку печален? Постойте ж, я кое-что
вспомнил,
Что рассмешит вас и вместе научит. Слушайте. Часто
Мы на свою негодуем судьбу; а если рассудишь,
Как всё на свете неверно, то сердцем смиришься
и станешь
Бога за участь свою прославлять. Иному труднее
Опыт такой достается, иному легче. И вот как
Раз до премудрости этой, не умствуя много, а просто
Случаем странным, одною забавной ошибкой добрался
Бедный немецкий ремесленник. Был по какому-то делу
Он в Амстердаме, голландском городе; город богатый,
Пышный, зданья огромные, тьма кораблей; загляделся
Бедный мой немец, глаза разбежались; вдруг он
увидел
Дом, какого не снилось ему и во сне: до десятка
Труб, три жилья, зеркальные окна, ворота
С добрый сарай — удивленье! С смиренным поклоном
спросил он
Первого встречного: «Чей это дом, в котором так
много
В окнах тюльпанов, нарциссов и роз?» Но, видно,
прохожий
Или был занят, или столько же знал по-немецки,
Сколько тот по-голландски, то есть не знал
ни полслова;
Как бы то ни было, *Каннитферштан!* отвечал он. А это
Каннитферштан есть голландское слово, иль лучше
четыре
Слова, и значит оно: *не могу вас понять.*
Простодушный
Немец, напротив, вздумал, что так назывался владелец
Дома, о коем он спрашивал. «Видно, богат не на шутку
Этот *Каннитферштан»,* — сказал про себя он, любуясь
Домом. Потом отправился дале. Приходит на
пристань —
Новое диво: там кораблей числа нет; их мачты
Словно как лес. Закружилась его голова, и сначала
Он не видал ничего, так много он разом увидел;

Но наконец на огромный корабль обратил он вниманье.
Этот корабль недавно пришел из Ост-Индии; много
Вкруг суетилось людей: его выгружали. Как горы,
Были навалены тюки товаров: множество бочек
С сахаром, кофе, перцем, пшеном сарацинским.
Разинув
Рот, с удивленьем глядел на товары наш немец;
и сведать
Крепко ему захотелось, чьи были они. У матроса,
Несшего тюк огромный, спросил он: «Как назывался
Тот господин, которому море столько сокровищ
Разом прислало?» Нахмурясь, матрос проворчал
мимоходом:
Каннитферштан. «Опять! смотри пожалуй! Какой же
Этот *Каннитферштан* молодец! Мудрено ли построить
Дом с богатством таким и расставить в горшках
золоченых
Столько тюльпанов, нарциссов и роз по окошкам?»
Пошел он
Медленным шагом назад, и задумался; горе
Взяло его, когда он размыслил, сколько богатых
В свете и как он беден. Но только что начал с собою
Он рассуждать, какое было бы счастье, когда б он
Сам был *Каннитферштан,* как вдруг перед ним —
погребенье.
Видит: четыре лошади в черных, длинных попонах
Гроб на дрогах везут и тихо ступают, как будто
Зная, что мертвого с гробом в могилу навеки отвозят;
Вслед за гробом родные, друзья и знакомые, молча,
В трауре идут; вдали одиноко звонит погребальный
Колокол. Грустно стало ему, как всякой смиренной
Доброй душе при виде мертвого тела; и, снявши
Набожно шляпу, молитву творя, проводил он глазами
Ход погребальный; потом подошел к одному
из последних
Шедших за гробом, который в эту минуту был занят
Важным делом: рассчитывал, сколько прибыли чистой
Будет ему от продажи корицы и перцу; тихонько
Дернув его за кафтан, он спросил: «Конечно, покойник
Был вам добрый приятель, что так вы задумались?
Кто он?»

Каннитферштан! был короткий ответ. Покатилися слезы
Градом из глаз у честного немца; сделалось тяжко
Сердцу его, а потом и легко; и, вздохнувши, сказал он:
«Бедный, бедный *Каннитферштан!* от такого богатства
Что осталось тебе? Не то же ль, что рано иль поздно
Мне от моей останется бедности? Саван и тесный
Гроб». — И в мыслях таких побрел он за телом, как будто
Сам был роднею покойнику; в церковь вошел за другими;
Там голландскую проповедь, в коей не понял ни слова,
Выслушал с чувством глубоким; потом, когда опустили
Каннитферштана в землю, заплакал; потом с облегченным
Сердцем пошел своею дорогой. И с тех пор, как скоро
Грусть посещала его и ему становилось досадно
Видеть счастье богатых людей, он всегда утешался,
Вспомнив о *Каннитферштане,* его несметном богатстве,
Пышном доме, большом корабле и тесной могиле».

29 мая — 11 июня 1831

СУД В ПОДЗЕМЕЛЬЕ

Повесть

(Отрывок)

I

Уж день прохладно вечерел,
И свод лазоревый алел;
На нем сверкали облака;
Дыханьем свежим ветерка
Был воздух сладко растворен;
Играя, вея, морщил он
Пурпурно-блещущий залив;
И, белый парус распустив,
Заливом тем ладья плыла;
Из Витби инокинь несла,
По легким прыгая зыбям,
Она к Кутбертовым брегам.
Летит веселая ладья;

Покрыта палуба ея
Большим узорчатым ковром;
Резной высокий стул на нем
С подушкой бархатной стоит;
И мать-игуменья сидит
На стуле в помыслах святых;
С ней пять монахинь молодых.

II

Впервой покинув душный плен
Печальных монастырских стен,
Как птички в вольной вышине,
По гладкой палубе оне
Играют, резвятся, шалят...
Всё веселит их, как ребят:
Той шаткий парус страшен был,
Когда им ветер шевелил
И он, надувшися, гремел;
Крестилась та, когда белел,
Катясь к ладье, кипучий вал,
Ее ловил и подымал
На свой изгибистый хребет;
Ту веселил зеленый цвет
Морской чудесной глубины;
Когда ж из пенистой волны
Как черная незапно тень
Пред ней выскакивал тюлень,
Бросалась с криком прочь она
И долго, трепетна, бледна,
Читала шепотом псалом;
У той был резвым ветерком
Покров развеян головной,
Густою шелковой струей
Лились на плечи волоса,
И груди тайная краса
Мелькала ярко меж власов,
И девственный поймать покров
Ее заботилась рука,
А взор стерег исподтишка,
Не любовался ль кто за ней
Заветной прелестью грудей.

III

Игуменья порою той
Вкушала с важностью покой,
В подушках нежась пуховых,
И на монахинь молодых
Смотрела с ласковым лицом.
Она вступила в божий дом
Во цвете первых детских лет,
Не оглянулася на свет
И, жизнь навеки затворя
В безмолвии монастыря,
По слуху знала издали
О треволнениях земли,
О том, что радость, что любовь
Смущают ум, волнуют кровь,
И с непроснувшейся душой
Достигла старости святой,
Сердечных смут не испытав;
Тяжелый инокинь устав
Смиренно, строго сохранять,
Души спасения искать
Блаженной Гильды по следам,
Служить ее честным мощам,
И день и ночь в молитве быть,
И день и ночь огонь хранить
Лампад, горящих у икон;
В таких заботах проведен
Был век ее. Богатый вклад
На обновление оград
Монастыря дала она;
Часовня Гильды убрана
Была на славу от нее:
Сияло пышное шитье
Там на покрове гробовом,
И, обложенный жемчугом,
Был вылит гроб из серебра;
И много делала добра
Она убогим и больным,
И возвращался пилигрим
От стен ее монастыря,
Хваля небесного царя.

Имела важный вид она,
Была худа, была бледна;
Был величав высокий рост;
Лицо являло строгий пост,
И покаянье тмило взор.
Хотя в ней с самых давних пор
Была лишь к иночеству страсть,
Хоть строго данную ей власть
В монастыре она блюла,
Но для смиренных сестр была
Она лишь ласковая мать:
Свободно было им дышать
В своей келейной тишине,
И мать-игуменью оне
Любили детски всей душой.
Куда ж той позднею порой
Через залив плыла она?
Была в Линдфарн приглашена
Она с игуменьей другой;
И там их ждал аббат святой
Кутбертова монастыря,
Чтобы, собором сотворя
Кровавый суд, проклятье дать
Отступнице, дерзнувшей снять
С себя монашества обет
И, Сатане продав за свет
Все блага кельи и креста,
Забыть спасителя Христа.

IV

Ладья вдоль берега летит,
И берег весь назад бежит;
Мелькают мимо их очей
В сияньи западных лучей
Там замок на скале крутой
И бездна пены под скалой
От расшибаемых валов;
Там башня, сторож берегов,
Густым одетая плющом;
Там холм, увенчанный селом;

Там золото цветущих нив;
Там зеленеющий залив
В тени зеленых берегов;
Там божий храм, среди дерёв
Блестящий яркой белизной.
И остров наконец святой
С Кутбертовым монастырем,
Облитый вечера огнем,
Громадою багряных скал
Из вод вдали пред ними встал,
И, приближаясь, тихо рос,
И вдруг над их главой вознес
Свой брег крутой со всех сторон.
И остров и не остров он;
Два раза в день морской отлив,
Песок подводный обнажив,
Противный брег сливает с ним;
Тогда поклонник пилигрим
На богомолье по пескам
Пешком идет в Кутбертов храм;
Два раза в день морской прилив,
Его от тверди отделив,
Стирает силою воды
С песка поклонников следы.
Нес ветер к берегу ладью;
На самом берега краю
Стоял Кутбертов древний дом,
И волны пенились кругом.

V

Стоит то здание давно;
Саксонов памятник, оно
Меж скал крутых крутой скалой
Восходит грозно над водой;
Все стены страшной толщины
Из грубых камней сложены;
Зубцы как горы на стенах;
На низких тягостных столбах
Лежит огромный храма свод;
Кругом идет широкий ход,

Являя бесконечный ряд
Сплетенных ветвями аркад;
И крепки башни на углах
Стоят как стражи на часах.
Вотще их крепость превозмочь
Пыталась вражеская мочь
Жестоких нехристей датчан;
Вотще волнами океан
Всечасно их разит, дробит;
Святое здание стоит
Недвижимо с давнишних пор;
Морских разбойников напор,
Набеги хлада, бурь, валов
И силу грозную годов
Перетерпев, как в старину,
Оно морскую глубину
Своей громадою гнетет;
Лишь кое-где растреснул свод,
Да в нише лик разбит святой,
Да мох растет везде седой,
Да стен углы оточены
Упорным трением волны.

VI

В ладье монахини плывут;
Приближась к берегу, поют
Святую Гильды песнь оне;
Их голос в поздней тишине,
Как бы сходящий с вышины,
Слиясь с гармонией волны,
По небу звонко пробежал;
И с брега хор им отвечал,
И вышел из святых ворот
С хоругвями, крестами ход
Навстречу инокинь честных;
И возвестил явленье их
Колоколов согласный звон,
И был он звучно повторен
Отзывом ближних, дальних скал
И весь народ на брег созвал.
С ладьи игуменья сошла,

Благословенье всем дала
И, подпираясь костылем,
Пошла в святой Кутбертов дом
Вослед хоругвей и крестов.

VII

Им стол в трапезнице готов;
Садятся ужинать; потом
Обширный монастырский дом
Толпой осматривать идут;
Смеются, ре́звятся, поют;
Заходят в кельи, в древний храм,
Творят поклоны образам
И молятся мощам святым...
Но вечер холодом сырым
И резкий с моря ветерок
Собраться нудят всех в кружок
К огню, хозяек и гостей;
Жужжат, лепечут; как ручей,
Веселый льется разговор;
И наконец меж ними спор
О том заходит, чей святой
Своею жизнию земной
И боле славы заслужил
И боле небу угодил?

VIII

«Святая Гильда (говорят
Монахини из Витби) вряд
Отдаст ли первенство кому!
Известна ж боле потому
Ее обитель с давних дней,
Что три барона знатных ей
Служить вассалами должны;
Угодницей осуждены
Когда-то были Брюс, Герберт
И Перси; суд сей был простерт
На их потомство до конца
Всего их рода: чернеца
Они дерзнули умертвить.

С тех пор должны к нам приходить
Три старших в роде каждый год
В день вознесенья, и народ
Тут видит, как игумен их
Становит рядом у честных
Мощей угодницы святой,
Как над склоненной их главой
Прочтет псалом, как, наконец,
С словами: *всё простил чернец!*
Им разрешение дает;
Тогда *аминь!* гласит народ.
К нам повесть древняя дошла
О том, как некогда жила
У нас саксонская княжна,
Как наша вся была полна
Округа ядовитых змей,
Как Гильда, вняв мольбам своей
Любимицы святой княжны,
Явилась, как превращены
Все змеи в камень, как с тех пор
Находят в недре наших гор
Окаменелых много змей.
Еще же древность нам об ней
Сказание передала:
Как раз во гневе прокляла
Она пролетных журавлей
И как с тех пор до наших дней,
Едва на Витби налетит
Журавль, застонет, закричит,
Перевернется, упадет
И чудной смертью отдает
Угоднице блаженной честь».

IX

«А наш Кутберт? Не перечесть
Его чудес. Теперь покой
Нашел уж гроб его святой,
Но прежде... что он претерпел!
От датских хищников сгорел
Линдфарн, приют с давнишних дней
Честных угодника мощей;

Монахи гроб его спасли
И с гробом странствовать пошли
Из земли в землю, по полям,
Лесам, болотам и горам;
Семь лет в молитве и трудах,
С тяжелым гробом на плечах,
Они скиталися; в Мельрос
Их напоследок бог принес;
Мельрос Кутберт живой любил,
Но мертвый в нем не рассудил
Он для себя избрать приют,
И чудо совершилось тут:
Хоть тяжкий гроб из камня был,
Но от Мельроса вдруг поплыл
По Твиду он, как легкий челн.
На юг теченьем быстрых волн
Его помчало; миновав
Тильмут и Риппон, в Вардилав,
Препон не встретя, наконец
Привел свой гроб святой пловец;
И выбрал он в жилище там
Святой готический Дургам;
Но где святого погребли,
Ту тайну знают на земли
Лишь только трое; и когда
Которому из них чреда
Расстаться с жизнию придет,
Он на духу передает
Ее другому; тот молчит
Дотоль, пока не разрешит
Его молчанья смертный час.
И мало ль чудесами нас
Святой угодник изумлял?
На нашу Англию напал
Король шотландский, злой тиран;
Пришла с ним рать галвегиан,
Неистовых, как море их;
Он рыцарей привел своих,
Разбойников, залитых в сталь;
Он весь подвигнул Тевьотдаль;
Но рать его костьми легла;
Для нас Кутбертова была

Хоругвь спасением от бед.
Им ободрен был и Альфред
На поражение датчан;
Пред ним впервой и сам Норман
Завоеватель страх узнал
И из Нортумбрии бежал».

X

Монахини из Витби тут
Сестрам линдфарнским задают
С усмешкою вопрос такой:
«А правда ли, что ваш святой
По свету бродит кузнецом?
Что он огромным молотком
По тяжкой наковальне бьет
И им жемчужины кует?
Что на работу ходит он,
Туманной рясой облачен?
Что на приморской он скале,
Чернее мглы, стоит во мгле?
И что, покуда молот бьет,
Он ветер на море зовет?
И что в то время рыбаки
Уводят в пристань челноки,
Боясь, чтоб бурею ночной
Не утопил их ваш святой?»
Сестер линдфарнских оскорбил
Такой вопрос; ответ их был:
«Пустого много бредит свет;
Об этом здесь и слуху нет;
Кутберт, блаженный наш отец,
Честной угодник, не кузнец».

XI

Так весело перед огнем
Шел о житейском, о святом
Между монахинь разговор.
А близко был иной собор,
И суд иной происходил.
Под зданьем монастырским был

Тайник — страшней темницы нет;
Король Кольвульф, покинув свет,
Жил произвольным мертвецом
В глубоком подземелье том.
Сперва в монастыре оно
Смиренья кельей названо;
Потом в ужасной келье той,
Куда ни разу луч дневной,
Ни воздух божий не входил,
Прелат Сексгельм определил
Кладбищу осужденных быть;
Но наконец там хоронить
Не мертвых стали, а живых;
О бедственной судьбине их
Молчал неведомый тайник;
И суд, и казнь, и жертвы крик —
Всё жадно поглощалось им;
А если случаем каким
Невнятный стон из глубины
И доходил до вышины,
Никто из внемлющих не знал,
Кто, где и отчего стенал;
Шептали только меж собой,
Что там, глубоко под землей,
Во гробе мучится мертвец,
Свершивший дней своих конец
Без покаяния во зле
И не прощенный на земле.

XII

Хотя в монастыре о том
Заклепе казни роковом
И сохранилася молва,
Но где он был? Один иль два
Монаха знали то, да сам
Отец аббат; и к тем местам
Ему лишь с ними доступ был;
С повязкой на глазах входил
За жертвой сам палач туда
В час совершения суда.
Там зрелся тесный, тяжкий свод;

Глубоко, ниже внешних вод,
Был выдолблен в утесе он;
Весь гробовыми замощен
Плитами пол неровный был;
И ряд покинутых могил
С полуистертою резьбой,
Полузатоптанных землей,
Являлся там; от мокроты
Скопляясь, капли с высоты
На камни падали; их звук
Однообразно тих, как стук
Ночного маятника, был;
И бледно, трепетно светил,
Пуская дым, борясь со мглой,
Огонь в лампаде гробовой,
Висевшей тяжко на цепях;
И тускло на сырых стенах,
Покрытых плеснью, как корой,
Свет, поглощенный темнотой,
Туманным отблеском лежал.
Он в подземелье озарял
Явленье страшное тогда.

XIII

Три совершителя суда
Сидели рядом за столом;
Пред ними разложен на нем
Устав бенедиктинцев был;
И, чуть во мгле сияя, лил
Мерцанье бледное ночник
На их со мглой слиянный лик.
Товарищ двум другим судьям,
Игуменья из Витби там
Являлась, и была сперва
Ее открыта голова;
Но скоро скорбь втеснилась ей
Во грудь, и слезы из очей
Невольно жалость извлекла,
И покрывалом облекла
Тогда лицо свое она.

С ней рядом, как мертвец бледна,
С суровой строгостью в чертах,
Обретшая в посте, в мольбах
Бесстрастье хладное одно
(В душе святошеством давно
Прямую святость уморя), —
Тильмутского монастыря
Приорша гордая была;
И ряса, черная как мгла,
Лежала на ее плечах;
И жизни не было в очах,
Черневших мутно, без лучей
Из-под седых ее бровей.
Аббат Кутбертовой святой
Обители, монах седой,
Иссохнувший полумертвец
И уж с давнишних пор слепец,
Меж ними сгорбившись сидел;
Потухший взор его глядел
Вперед, ничем не привлечен,
И, грозной думой омрачен,
Ужасен бледный был старик,
Как каменный надгробный лик,
Во храме зримый в час ночной,
Немого праха страж немой.
Пред ними жертва их стоит:
На голове ее лежит
Лицо скрывающий покров;
Видна на белой рясе кровь;
И на столе положены
Свидетели ее вины:
Лампада, четки и кинжал.
По знаку данному сорвал
Монах с лица ее покров;
И кудри черных волосов
Упали тучей по плечам.
Приорши строгия очам
Был узницы противен вид;
С насмешкой злобною глядит
В лицо преступницы она,
И казнь ее уж решена.

XIV

Но кто же узница была?
Сестра Матильда. Лишь сошла
Та роковая полночь, мглой
Окутавшись как пеленой,
Тильмутская обитель вся
Вдруг замолчала; погася
Лампады в кельях, сестры в них
Все затворились; пуст и тих
Стал монастырь; лишь главный вход
Святых обители ворот
Не заперт и свободен был.
На колокольне час пробил.
Лампаду и кинжал берет
И в платье мертвеца идет
Матильда смело в ворота;
Пред нею ночь и пустота;
Обитель сном глубоким спит;
Над церковью луна стоит
И сыплет на дорогу свет;
И виден на дороге след
В густой пыли копыт и ног;
И слышен ей далекий скок...
Она с волненьем вдаль глядит;
Но там ночной туман лежит;
Всё тише, тише слышен скок;
Лишь по дороге ветерок
Полночный ходит, да луна
Сияет с неба. Вот она
Минуты две подождала;
Потом с молитвою пошла
Вперед — не встретится ли с ним?
И долго шла путем пустым;
Но всё желанной встречи нет.
Вот наконец и дневный свет,
И на небе зажглась заря...
И вдруг от стен монастыря
Послышался набатный звон;
Всю огласил окрестность он.
Что ей начать? Куда уйти?
Среди открытого пути,

Окаменев, она стоит;
И страшно колокол гудит;
И вот за ней погоня вслед;
И ей нигде приюта нет;
И вот настигнута она,
И в монастырь увлечена,
И скрыта заживо под спуд;
И ждет ее кровавый суд.

XV

Перед судилищем она
Стоит, почти умерщвлена
Терзаньем близкого конца;
И бледность мертвая лица
Была видней, была страшней
От черноты ее кудрей,
Двойною пышною волной
Обливших лик ее младой.
Оцепенев стоит она;
Глава на грудь наклонена;
И если б мутный луч в глазах
И содрогание в грудях
Не изменяли ей порой,
За лик бездушный восковой
Могла б быть принята она:
Так бездыханна, так бледна,
С таким безжизненным лицом,
Таким безгласным мертвецом
Она ждала судьбы своей
От непрощающих судей.
И казни страх ей весь открыт:
В стене, как темный гроб, прорыт
Глубокий, низкий, тесный вход;
Тому, кто раз в тот гроб войдет,
Назад не выйти никогда;
Коренья, в черепке вода,
Краюшка хлеба с ночником
Уже готовы в гробе том;
И с дымным факелом в руках,
На заступ опершись, монах,
Палач подземный, перед ним,

Безгласен, мрачен, недвижим,
С покровом на лице стоит;
И грудой на полу лежит
Гробокопательный снаряд:
Кирпич, кирка, известка, млат.
Слепой игумен с места встал,
И руку тощую поднял,
И узницу благословил...
И в землю факел свой вонзил
И к жертве подошел монах;
И уж она в его руках
Трепещет, борется, кричит,
И, сладив с ней, уже тащит,
Бесчувственный на крик и плач,
Ее живую в гроб палач...

XVI

Сто ступеней наверх вели;
Из тайника судьи пошли,
И вид их был свирепо дик;
И глухо жалкий, томный крик
Из глубины их провожал;
И страх шаги их ускорял;
И глуше становился стон;
И наконец... умолкнул он.
И скоро вольный воздух им
Своим дыханием живым
Стесненны груди оживил.
Уж час ночного бденья был,
И в храме пели. И во храм
Они пошли; но им и там
Сквозь набожный поющих лик
Всё слышался подземный крик.
Когда ж во храме хор отпел,
Ударить в колокол велел
Аббат душе на упокой...
Протяжный глас в тиши ночной
Раздался — из глубокой мглы
Ему Нортумбрии скалы
Откликнулись; услыша звон,
В Брамбурге селянин сквозь сон

С подушки голову поднял,
Молиться об умершем стал,
Недомолился и заснул;
Им пробужденный, помянул
Усопшего святой чернец,
Варквортской пу́стыни жилец;
В Шевьотскую залегший сень,
Вскочил испуганный олень,
По ветру ноздри распустил,
И чутко ухом шевелил,
И поглядел по сторонам,
И снова лег... и снова там
Всё, что смутил минутный звон,
В глубокий погрузилось сон.

1831—1832

НОРМАНДСКИЙ ОБЫЧАЙ

Драматическая повесть

Рыбачья хижина на берегах Нормандии.

Б а л ь д е р, мореходец.
Р и х а р д, рыбак.
Т о р и л ь д а.

Б а л ь д е р

Твое здоровье, мой хозяин добрый.
Признаться ли? Я благодарен буре,
Занесшей нас в спокойный твой залив:
Давно таким радушным угощеньем,
У светлого огня, в приюте мирном,
Порадован я не был.

Р и х а р д

В добрый час!
Доволен ты, и мы довольны: в наших
Рыбачьих хижинах какая роскошь?
Но вдвое нам по сердцу гость такой,
Как ты, рожденный в северных странах,

Из коих в старину приплыли наши
Отцы, о коих нам из древних лет
Так много славного сохранено
В преданиях и песнях сладкозвучных.
Но должен я тебе, мой благородный
Гость, объявить, что есть у нас обычай,
По коему здесь каждый иноземец,
Кто б ни был он, богатый иль убогий,
За угощенье платит.

Бальдер

Рад исполнить
Я ваш обычай; мой корабль, стоящий
На якоре в заливе, полон редких
Товаров, собранных по берегам
Земель полуденных: есть золотые
Плоды, есть вина сладкие, есть птицы,
Пленяющие взор блистаньем перьев;
И кузниц северных изделья есть:
Двуострые мечи, кольчуги, шлемы.

Рихард

Меня не понял ты, мой гость почтенный;
Нормандский наш обычай не таков:
Здесь всякий, кто ночлег дал иноземцу,
Имеет право требовать, чтоб гость
Иль сказку рассказал, иль песню спел,
И в свой черед ему он тем же платит.
На старости держусь я старины,
Люблю я песни, сказки и преданья.
Исполни ж наш обычай, добрый гость.

Бальдер

Иная сказка сладостней вина,
Душистее плода, пестрее птицы;
И часто звук старинной бранной песни,
Как звук мечей, как гром щитов пленяет
Наш слух: итак, не вовсе я ошибся.
Хоть в памяти не много у меня
Рассказов, но почтить такой похвальный
Обычай я готов. Вот что недавно
На палубе, в морскую тишину

Нам при луне один из корабельных
Товарищей рассказывал.

Рихард

Но прежде
Еще по кубку выпьем.
(Пьют.)
Начинай.

Бальдер

Два северных породы славной графа,
Друзья из младости, переплывали
Моря на кораблях своих союзных;
И много битв на суше и водах
И много бурь они видали вместе;
И много раз, на юге и востоке,
У берегов цветущих бросив якорь,
Друг с другом отдых сладостный делили.
Вот наконец они в старинных замках,
Наследии отцовском, поселились,
И им одну печаль послало небо:
Они супруг любимых схоронили,
Почти в одно лишась их время; горе
Тесней сдружило их, но и отрада
Осталась им в печали их глубокой:
У одного был сын, ребенок бодрый,
Другой имел младенца-дочь. Чтоб новым
Союзом утвердить святую дружбу,
Чтоб вечная осталась память ей,
Отцы детей решились сочетать,
И их они тогда же обручили.
И девочке и мальчику на шею,
На легких золотых цепочках, были
Повешены два перстня дорогих:
В одном из перстней был сапфир, как очи
Невестины лазурный, а в другом
Был камень, розовый, как молодые
Румяные ланиты жениха.

Рихард

Был камень розовый, ты говоришь,
В кольце невесты?

Бальдер

Да, большой рубин.
Но слушай далее. Тогда уж мальчик
Был лет пятнадцати; был силен, ловко
Владел мечом и мог уж обуздать
Коня; не для тревог морских отец
Его готовил; он был должен замки
И области наследственные предков
Могучею рукою защищать.
Невеста же была младенец
Лет четырех; еще не покидала
Она своей приютной колыбели;
Усердная за ней смотрела няня.
Но что ж случилось? Был прекрасный день
Весенний; нá берег морской из замка
С малюткой вышла няня, вслед за нею
Толпа прислужниц молодых; цветы
И камешки блестящие сбирали
Они на берегу; малютка ими
Играла; море было тихо; свежий
Весенний ветерок едва касался
Прозрачных вод, и солнце в них сверкало,
И отблеск волн приятно трепетал
На свежей зелени. Челнок рыбачий
Привязан был у берега; цветами
Душистыми наполнивши его,
Прислужницы малютку уложили
В цветы и, отвязав веревку, тихо
На плещущих кругом волнах качали
Челнок; младенец веселился; вдруг
Веревка неприметно из руки,
Ее державшей, ускользнула в воду,
И легкою волною откачнуло
Челнок от берега; хотят его
Схватить, но до него уже не может
Достать рука; и море, сколь ни тихим
Казалося оно дотоле, тянет
Какою-то невидимою силой
Его вперед; дитя, в цветах играя,
Смеется, слышен крик его веселый;
А женщины на берегу подъемлют
Отчаянные вопли. В это время

Жених, приехавший с своей малюткой
Невестой повидаться, на коне
По ближнему береговому лугу
Скакал и прыгал; он на крик примчался
И, сведав, что случилось, смело в воду
Погнал коня, дабы поймать челнок.
Но холод волн почувствовавши, конь
Стал на дыбы и бросился назад
И седока умчал с собой обратно.
А между тем челнок всё дале, дале;
Вот наконец из тихого залива
Он выплыл; вдруг повеял свежий ветер,
И скоро он совсем исчез из глаз
В открытом море.

Р и х а р д

Бедное дитя,
Спаси тебя хранитель ангел твой!

Б а л ь д е р

Услышав весть ужасную, отец
Немедленно всем кораблям своим
Велел пуститься в море; на быстрейшем
Он поплыл сам. Но в море нет следов;
А к вечеру переменился ветер,
И всю ту ночь свирепствовала буря.
Вот наконец, по долгом и напрасном
Искании, нашли пустой рыбачий
Челнок и в нем увядшие цветы.

Р и х а р д

Что сделалось с тобою, добрый гость?
Ты дышишь тяжело, ты весь в лице
Переменился.

Б а л ь д е р

Нет. Послушай дале:
С той бедственной поры покинул отрок
Жених коня и прилепился к тяжким
Морским трудам; стал плавать; в холод, в бурю
Бросался в волны, и боролся с морем,

И руку приучал владеть кормилом;
И наконец, став юношей могучим,
Он корабли вооружил и в море
Пустился... на земле его надежде
Уже ничто не льстило; ни одна
Красавица окрестных замков сердца
Его не трогала; он обручен
Был морю дикому, волнам свирепым,
Пожравшим всё его земное счастье.
Там в глубине была его невеста,
Там был и обручальный перстень. Главный
Корабль свой он украсил парусами
Пурпурными и резьбой золотою,
Как брачному прилично кораблю.

Рихард

Не так ли этот был корабль украшен,
Как твой, на якоре стоящий в нашем
Заливе?

Бальдер

Может быть. На этом брачном,
Могучем корабле он претерпел
Немало бурь; и волны, громы, вихри
Не раз ему приветственные песни,
В ужасный хор совокупясь, гремели;
Немало битв морских он совершил;
И знают все на севере его
Под страшным именем: когда в бою,
Сцепив корабль свой с кораблем врага,
На палубу его с мечом подъятым
Взбегает он, народ кричит: «Беда!
Пропали мы! *Жених морской,* помилуй!»
Я кончил свой рассказ.

Рихард

Благодарю;
Мне, старику, расшевелил он душу.
Но, кажется, недостает конца
Рассказу твоему. Кто может знать,
Погибло ли дитя в волнах иль нет?
Попасться мог навстречу челноку

Корабль и взять дитя, оставив в море
Челнок; иль быть могло принесено
Дитя на остров, моему подобный,
И люди добрые могли его
Найти; и, может быть, под их надзором
Малютка выросла, и, может быть,
Она теперь цветущей девой стала.

Бальдер

Искусно ты досказываешь сказки.
Но твой теперь черед; готов я слушать.

Рихард

Я в старину знавал преданий много
О рыцарях, о герцогах Нормандских;
Любимец мой был наш Рихард *Бесстрашный*,
Который ночью видел так, как днем,
И по лесу гулял в глухую полночь,
Сражаяся с нечистыми духами.
Но память у меня теперь плоха,
И в голове от старости всё смутно:
Итак, не взыщешь ты, когда на место
Меня мой долг теперь тебе заплатит
Питомица моя, та молодая
Красавица, которая сидит
В углу так тихо, к нам спиной, и сети
Мои чинит при свете ночника.
Она поет как соловей, и много
Прекрасных песен знает. Не дичись,
Торильда, гостя; спой ему ту песню
Про девицу красавицу и перстень,
Что для тебя сложил певец прохожий;
Я знаю, ты ее поешь охотно.

Торильда
(Поет.)

Тихой утренней порою,
Над прозрачною водою,
Дева с удочкой сидит
И на удочку глядит.

Ждет... но удочка не гнется,
Волосок не шевельнется,

Неподвижен поплавок,
Не берет в воде крючок.

И она, прождав напрасно,
Надевает свой прекрасной
С камнем алым перстенек
На приманчивый крючок.

Вдруг вода зашевелилась,
И на удочке явилась
У драгого перстенька
Белоснежная рука;

И с рукою белоснежной,
Видом бодрый, взглядом нежной,
Над равниной водяной
Всплыл красавец молодой.

Дева очи опустила:
«Не тебя в волнах ловила
Я, красавец молодой;
Возврати мне перстень мой».

«Дева с ясными очами!
Рыбу ловят не перстнями;
В море перстнем пойман я;
Буду твой, ты будь моя».

Бальдер

Что слышу? Чудный, та́инственный голос!
Какое там небесное лицо,
Горящее застенчивым румянцем,
Сквозь волны золотых кудрей сияет
И предо мной опять животворит
Минувшие, младенческие годы?
Что вижу? Розовый знакомый камень
В златом кольце на пальце у нее?
Так это ты, погибшая невеста!
А я... я твой жених, жених морей;
Вот мой сапфир, твоим очам подобный;
А там нас ждет и брачный наш корабль.

Рихард

Я угадал развязку, добрый витязь.
Она твоя; возьми свою невесту,
Сокровище, мне посланное небом.
Храни ее могучею рукою:
В ней верное прижмешь ты к сердцу сердце.
Но что? Смотри, мой рыцарь, ты совсем
Запутался в сетях моей Торильды.

8—12 ноября 1832

УНДИНА

Старинная повесть

Бывали дни восторженных видений;
Моя душа поэзией цвела;
Ко мне летал с вестями чудный Гений;
Природа вся мне песнию была.

Оно прошло, то время золотое;
С природы снят магический венец;
Свет узнанный свое лицо земное
Разоблачил, и призракам конец.

Но о Мечте, как о весенней птичке,
Певавшей мне, с усладой помню я;
И Прелести явленьем по привычке
Любуется, как встарь, душа моя.

Здесь есть *одна* — жива как вдохновенье,
Как ясная надежда молода —
На душу мне ее одно явленье
Поэзию наводит завсегда...

Перед пустой когда-то колыбелью
Задумчиво-безмолвен я стоял.
«Кто обречен святому новоселью
Тобой в жильцы?» — Судьбу я вопрошал.

И с первою блеснувшей мне денницей
Уж милый гость в той колыбели был;

Он в ней лежал под царской багряницей,
Прекрасен, тих, как божий ангел мил.

Года прошли — и мой расцвел младенец,
Прекрасен, тих, как божий ангел мил;
И мнится мне, что неба уроженец
Утехой в нем на землю прислан был.

Его-то я порою здесь встречаю
Как чистую Поэзию мою;
Им иногда я душу воскрешаю;
При нем подчас, забывшись, и пою.

Глава I

О том, как рыцарь приехал в хижину рыбака

Лет за пятьсот и поболе случилось, что в ясный весенний
Вечер сидел перед дверью избушки своей престарелый
Честный рыбак и починивал сеть. Сторона та, в которой
Жил он, была прекрасное место. Луг, где стояла
Хижина, длинной косою входил в широкое лоно
Моря: можно было подумать, что берег душистый
В светлолазурные, чуднопрозрачные воды с любовью
Нежной теснился, что море, влажной трепещущей грудью
Нежно прижавшись к нему и его обнимая, пленялось
Свежестью шелковой зелени, блеском цветов и прохладой
Темных сеней древесных. Правда, в краю том немного
Было людей: рыбак с женою, и только; дремучий
Лес отделял полуостров от твердой земли. И ужасен
Был тот лес своей темнотой неприступной; и слухи
Страшные были об нем в народе; там было нечисто:
Злые духи гнездилися в нем и пугали прохожих
Так, что не смели и близко к нему подходить.
Но смиренный,
Старый рыбак не боялся враждебных духов; на продажу
Рыбу носил он в город, лежавший за лесом; полон
Набожных мыслей, входил он в его глубину, и ни разу
Там ничего он не встретил, хранимый небесною силой.
Сидя беспечно в тот вечер за неводом, вдруг он
услышал

Шум в лесу, как будто бы топот коня и железной
Брони звук; он слушает: шум приближается; робость
Им овладела, и всё, что до тех пор в ненастные ночи
Снилось ему о таинственном лесе, представилось разом
Мыслям его; особливо ж один, великанского роста,
Белый, всегда головою странно кивающий. В темный
Лес он со страхом глядит, и ему показалось, что в самом
Деле сквозь черные ветви смотрит кивающий призрак.
Вспомнив, однако, что всё никакой еще не случилось
С ним беды ни в лесу, ни в избушке, в которой так долго
Жил он с женою вдвоем, что нечистый над ними не властен,
Он ободрился, прочел молитву, и сделалось скоро
Даже ему и смешно, когда он увидел, какую
Шутку с ним глупая робость сыграла: кивающий образ
Был не что иное, как быстрый ручей, из средины
Леса бегущий и с пеной впадающий в озеро; шум же,
Слышанный им, был от рыцаря: шагом на белом
Бодром коне из чащи лесной он ехал и прямо
К хижине их приближался. Мантией алого цвета
Был покрыт его фиолетовый, золотом шитый,
Стройный колет; на бархатном черном берете вилися
Белые перья; висел у бедра на цепи драгоценной
Меч с золотой рукоятью искусной работы; а белый
Рыцарев конь был статен, силен и жив; он, копытом
Легким едва к луговой мураве прикасаясь, воздушной
Поступью шел и, сгибая красивую шею, как лебедь,
Грыз узду, облитую пеной. Старик, пораженный
Видом статного рыцаря, невод покинул и, снявши
Шляпу, смотрел на него с приветной улыбкой. Приближась,
Рыцарь сказал: «Могу ль я с конем найти здесь на эту
Ночь убежище?» — «Милости просим, гость благородный;
Лучшим стойлом будет коню твоему наш зеленый
Луг, под кровлей ветвистых дерев; а вкусную пищу
Сам он найдет у себя под ногами; тебе ж мы охотно
Угол очистим в нашем убогом жилище и ужин
Скудный с тобою разделим». Рыцарь, кивнув головою,
Спрыгнул с коня, его разнуздал и по свежему лугу
Бегать пустил; потом сказал рыбаку: «Ты охотно,

Добрый старик, принимаешь меня, но когда б и не столько
Был ты сговорчив, то всё бы со мной не разделался нынче:
Море, вижу я, здесь перед нами, и дале дороги
Нет никакой; а вечером поздно в этот проклятый
Лес возвращаться избави боже!» — «Не станем об этом
Слишком много теперь говорить», — сказал, озираясь,
Старый рыбак и в хижину ввел усталого гостя.
Там, перед ярким огнем, горевшим в камине и в чистой
Горнице трепетный блеск разливавшим, на стуле широком
С спинкой резною сидела жена рыбака пожилая.
Гостя увидев, старушка встала, ему поклонилась
Чинно и села опять, ему отдать не подумав
Место свое. Рыбак, засмеявшись, сказал: «Благородный
Рыцарь, прошу не взыскать, что хозяйка моя свой покойный
Стул для себя сберегла: у нас такой уж обычай;
Лучшее место всегда старикам уступается».— «Что ты,
Дедушка! — с кроткой усмешкой сказала хозяйка. — Ведь гость наш,
Верно, такой же христов человек, как и мы, и придет ли,
Сам ты скажи, молодому на ум, чтоб ему уступали
Старые люди лучшее место? Садися, мой добрый
Рыцарь, на эту скамейку, — она продолжала, — да только
Тише сиди, не ворочайся, ножка одна ненадежна».
Рыцарь взял осторожно скамейку, придвинул к камину,
Сел, и сердцу его так стало приютно, как будто б
Был он у милых родных, возвратяся из чужи в отчизну.
Стали они разговаривать. Рыцарь разведать о страшном
Лесе хотел, но рыбак ночною порою боялся
Речь о нем заводить; зато о своей одинокой
Жизни и промысле трудном своем рассказывал много.
С жадностью слушали муж и жена, когда говорил им
Рыцарь о том, как в разных землях он бывал, как отцовский
Замок его у истоков Дуная стоит, как прекрасна
Та сторона; он прибавил: «Меня называют Гульбрандом,
Имя же замка Рингштеттен». — Так говоря, не однажды
Рыцарь слышал какой-то шорох и плеск за окошком,

Точно как будто водой кто опрыскивал стекла снаружи.
Всякий раз с досадой нахмуривал брови, послышав
плесканье,
Старый рыбак; но когда же как ливнем вдруг обдало
стекла,
Так, что окно зазвенело и в горницу брызги влетели,
С сердцем вскочил он и крикнул в окошко с угрозой:
«Ундина!
Полно проказничать; стыдно; в хижине гости». При этом
Слове стало там тихо, лишь изредка слышен был легкий
Шепот, как будто бы кто потихоньку смеялся.
«Почтенный
Гость, не взыщи, — сказал рыбак, возвратившись
на место, —
Может быть, шалостей много еще ты увидишь, но злого
Умысла нет у нее. То наша дочка Ундина,
Только не дочка родная, а найденыш; сущий младенец,
Всё проказит, а будет ей лет уж осьмнадцать; но сердце
Самое доброе в ней». Покачав головою, старушка
Молвила: «Так говорить ты волён; когда ты усталый
С ловли приходишь домой, то тебе на досуге забавны
Эти проказы; но с у́тра до вечера дома глаз на глаз
С нею пробыв, от нее не добиться путного слова —
Дело иное; тут и святой потеряет терпенье». —
«Полно, старуха, — рыбак отвечал, — ты бьешься
с Ундиной,
Я с причудливым морем: разве не часто мой невод
Портит оно и плотины мои размывает, а всё мне
Любо с ним; тоже и ты, хоть порою и охнешь, однако
Всё Ундиночку любишь. Не так ли?» — «Что правда,
то правда;
Вовсе ее разлюбить уж нельзя», — кивнув головою,
Кротко сказала старушка. Вдруг растворилася настежь
Дверь, и в нее белокурая, легкая станом, с веселым
Смехом впорхнула Ундина, как что-то воздушное.
«Где же
Гости, отец? Зачем ты меня обманул?» Но увидя
Рыцаря, вдруг замолчала она, и глаза голубые,
Вспыхнув звездами под сумраком черных ресниц,
устремились
Быстро на гостя, а он, изумленный чудным явленьем,
Был как вкопанный, жадно смотрел на нее и боялся

Взор отвести: он думал, что видит сон, и вглядеться
В образ прекрасный спешил, пока он не скрылся. Ундина
Долго смотрела, пурпурные губки раскрыв, как
младенец;
Вдруг, встрепенувшись резвою птичкой, она подбежала
К рыцарю, стала пред ним на колена и, цепью
блестящей,
К коей привешен был меч, играя, сказала: «Прекрасный,
Милый гость, какою судьбой очутился ты в нашей
Хижине? Долго ты по́ свету должен был странствовать
прежде,
Нежели к нам дорогу найти? Скажи, через лес наш
Как ты проехал?» Но он отвечать не успел: на Ундину
Крикнула с сердцем старушка: «Оставь в покое, Ундина,
Гостя; встань и возьмись за работу». Ундина, ни слова
Ей не сказавши в ответ, схватила скамейку и, севши
Подле Гульбранда с своим рукодельем, тихонько
шепнула:
«Вот где я буду работать». Старик, притворясь, что
не видит
Новой проказы ее, хотел продолжать; но Ундина
Речь перебила его: «У тебя я спросила, мой милый
Гость, откуда приехал ты к нам? Дождусь ли ответа?» —
«Из лесу прямо приехал я, прелесть моя». —
«Расскажи же,
Как ты в лесу очутился и что в нем чу́дного видел?»
Трепет почувствовал рыцарь, вспомнив о лесе; невольно
Он обратил глаза на окошко, в которое кто-то
Белый, ему показалось, глядел; но было в окошке
Пусто, за стеклами ночь густая чернела. Собравшись
С духом, рассказ он готов был начать, но старик
торопливо
Молвил ему: «Недоброе время теперь нам об лесе
Речь заводить; расскажешь нам завтра». Услышавши это,
С места вскочила Ундина, и глазки ее засверкали.
«Нынче, не завтра он должен рассказывать! нынче,
теперь же!» —
Вскрикнула с сердцем она и, бровки угрюмо нахмурив,
Топнула маленькой ножкою об пол; и в эту минуту
Так забавно мила и прелестна была, что в Гульбранде
Вспыхнуло сердце, и он еще боле пленился смешною,
Детской ее запальчивостью, нежели резвостью прежней.

Но рыбак, рассердясь не на шутку, причудницу начал
Крепко журить за ее упрямство и дерзкую вольность
С гостем. Старушка пристала к нему. Тут Ундина
сказала:
«Если браниться хотите со мной, а того не хотите
Сделать, о чем я прошу, так прощайте ж; одни
оставайтесь
В вашей скучной, дымной лачужке». С сими словами
Прыгнула в двери она и в минуту во мраке пропала.

Глава II

О том, как Ундина в первый раз явилась в хижине рыбака

Рыцарь вскочил, за ним и рыбак, и бросились оба
В дверь, чтоб ее удержать, но напрасно: Ундина так
быстро
Скрылась, что даже было нельзя догадаться, в какую
Сторону вздумалось ей побежать. Испуганным взором
Рыцарь спросил рыбака: что делать? «Уж это не в
первый
Раз, — рыбак проворчал, — такими побегами часто
Нас забавляет она; теперь опять мне придется
Целую ночь напролет без сна проворочаться с боку
На бок на жесткой постеле моей: ведь мало ль что
может
Встретиться ночью!» — «Зачем же медлить? Пойдем
поскорее
Сами за нею». — «Труд бесполезный; ты видишь, какая
Тьма на дворе: куда мы пойдем? И кто угадает,
Где она спряталась?» — «Будем по крайней мере, —
прибавил
Рыцарь, — хоть кликать ее». И кричать он начал:
«Ундина!
Где ты, Ундина?» Старик покачал головою: «Как хочешь,
Рыцарь, кричи, она не откликнется нам, а, уж верно
Где-нибудь близко сидит; еще ты не знаешь, какая
Это упрямица». Так говоря, старик с беспокойством
В темную ночь глядел и не мог утерпеть, чтоб туда же
Вслед за Гульбрандом не крикнуть: «Ундиночка! милая!
где ты?»

Правду, однако, он предсказал: никакой там Ундины
Не было. Долго кричав понапрасну, они наконец
возвратились
Оба в хижину; там уж было темно, и старушка,
Менее мужа о том, что с Ундиной случится, заботясь,
Спать улеглась, и в камине огонь, догоревши, потухнул;
Только немногие уголья тлели, и синее пламя,
Изредка вспыхнув, трепещущий свет разливало и гасло.
Снова разведши огонь, рыбак наполнил большую
Кружку вином и поставил ее перед гостем. «Мы оба,
Рыцарь, едва ли заснем; так не лучше ли будет,
когда мы,
Вместо того чтоб в бессоннице жесткой рогожей
Грешное тело тереть, посидим у огня и за доброй
Кружкой вина о том и другом побеседуем? Как ты
Думаешь, добрый мой гость?» Гульбранд согласился
охотно.
Сесть принудив его на почетном оставленном стуле,
Честный старик поместился с ним рядом, и вот
дружелюбно
Стали они разговаривать; только при каждом малейшем
Шорохе — стукнет ли что в окошко, и даже нередко
Просто без всякого стука и шороха — вдруг умолкали
Оба и, палец поднявши, глаза неподвижно уставив
В двери, слушали; каждый шептал: идет! и не тут-то
Было; не шел никто; и, вздохнувши, они начинали
Снова свой разговор. «Расскажи мне, — сказал
напоследок
Рыцарь, — как вам случилось найти Ундину?» —
«А вот как
Это случилось, — рыбак отвечал. — Тому уж двенадцать
Будет лет, как я с товаром моим через этот
Лес был должен отправиться в город; жену я оставил
Дома, как то бывало всегда, а в то время и нужно
Было ей дома остаться. Зачем, ты спросишь? Господь
нам
В поздние наши лета даровал прекрасную дочку;
Как же было покинуть ее? Товар мой продавши,
Я возвращался домой, и, солгать не хочу, не случилось
Мне ничего, как и прежде, в лесу недоброго встретить;
Бог мне сопутствовал всякий раз, когда через этот
Страшный лес мне идти удавалось, а с ним и опасный

Путь неопасен». При этом слове старик с умиленным
Видом шапочку снял с головы и, руки сложивши,
В набожных мыслях минуты на две умолкнул; потом он
Шапочку снова надел и так продолжал: «Я с веселым
Сердцем домой возвращался, а дома ждало несчастье:
Вся в слезах навстречу ко мне жена прибежала.
«Царь небесный! что случилось? — я воскликнул. —
Где наша
Дочка?» — «Она у того, чье имя ты в эту минуту,
Бедный мой муж, призываешь», — жена отвечала.
И молча,
Горько заплакав, пошел я за нею в хижину; тела
Милой малютки моей я глазами искал там, но тела
Не было. Вот как это случилось: с нашим младенцем
Подле воды на траве жена спокойно сидела;
С ним в беззаботном веселье играла она; вдруг малютка
Сильно к воде протянулась, как будто чудесное что-то
В светлых приметя струях; и видит жена, что наш милый
Ангел смеется, ручонками что-то хватая; но в этот
Миг как будто какой невидимой силой швырнуло
В волны дитя, и в их глубине бедняжка пропала.
Долго я тела искал, но напрасно, нигде и приметы
Не было. Вот мы, на старости две сироты, в безотрадном
Горе сидели в тот вечер вдвоем у огня и молчали:
Если б и можно было от слез говорить, то не стало б
Духу; и так мы оба молчали, глаза устремивши
В тусклый огонь; как вдруг в дверях послышался
легкий
Шорох; они растворились — и что же видим мы? Чудной
Прелести девочка, лет шести, в богатом уборе,
Нам улыбаясь как ангел, стоит на пороге. Сначала
Мы в изумленьи не знали, живой ли то был человечек
Или обманчивый призрак какой; но скоро приметил
Я, что вода с золотых кудрей и с платья малютки
Капала; я подумал, что, верно, младенец недавно
Был в воде и что скорая помощь нужна. И, вздохнувши,
Так сказал я жене: «Никто не подумал спасти нам
Милое наше дитя; по крайней мере мы сами
Сделаем то для других, чего не могли нам другие
Сделать и что на земле блаженством было бы нашим».
Мы раздели малютку, ее положили в постель
и напиться

Дали горячего ей; а она всё молчала и только,
Светлонебесными глазками глядя на нас, улыбалась.
Скоро заснула она и свежа, как цветочек весенний,
Утром проснулась; когда ж мы расспрашивать стали,
откуда
Родом она и как попала к нам в хижину, толку
Не было в странных ответах ее никакого; и вот уж
Ровно двенадцать лет, как с нами живет, а добиться
Путного мы не могли от нее ничего; по рассказам
Вздорным ее подумать легко, что она к нам упала
Прямо с луны: о каких-то замках прозрачных,
жемчужных
Гротах, коралловых рощах и разных других небылицах
Всё твердит и теперь, как твердила тогда; удалося
Выведать только одно, что, катаясь по морю в лодке
С матерью, в воду упала она и что волны на здешний
Берег ее принесли, где она и очнулась... В сомненьи
Тяжком осталися мы, хотя и было нетрудно
Нам решиться на место родной потерянной дочки
Взять чужую, нам данную богом самим, но не знали
Мы, крещена ли она иль нет? Сказать же об этом
Нам ничего не умела бедняжка, хотя и понятно
Было ей, что она жила по воле господней
В здешнем свете, хотя и была смиренно готова
Всё то исполнить, что с волей господней согласно.
И вот что
Мы в таком затрудненьи придумали вместе с женою:
Если она еще не была крещена, то не должно
Медлить минуты; а если уже крещена, то и дважды
Долг святой совершить не будет греха. Но какое
Дать ей имя? И в ум нам пришло, что ее Доротеей
Было б всего приличней назвать: мы слыхали, что
значит
Это имя *дар божий,* она же была милосердым
Господом богом дарована горести нашей в отраду.
Но об имени этом она и знать не хотела. «Ундиной
Звали меня отец мой и мать; хочу и остаться
Вечно Ундиной!» Но было ли то христианское имя,
Мы не знали. И вот я пошел за священником в город;
Он согласился прийти к нам; сначала имя Ундины
Было противно ему, как и нам; но наша малютка,
В платьице странном своем, была так чудесно красива,

Так ласкалась к нему и в то же время так мило,
Так забавно спорила с ним, что сам он не в силах
Был противиться ей, — и ее окрестили Ундиной.
Сладостно было смотреть на нее в продолженье святого
Таинства: дикая резвость исчезла, и тихим, смиренным
Агнцем стояла она, как будто бы чувствуя, что с ней
В это время творилось. Правду молвить, немало
С нею хлопот нам, и если бы всё рассказать мне. . .»
Но рыцарь
Тут перервал рыбака; он шепнул: «Послушай! послушай!
Что там?» Не раз уж во время рассказа был он
встревожен
Шумом воды; но в эту минуту был явственно слышен
Рев потока, который бежал с возрастающей силой
Мимо хижины. Оба вскочили и бросились в двери;
В месячном свете открылося им, что ручей, выходящий
Из леса, сильно разлившись, ворочая камни, ломая
С треском деревья, в море бежал; и было всё небо,
Так же как море, взволновано; тучи горами катились
Мимо луны, поминутно ее заслоняя, и чудно
Вся окрестность под блеском и тьмой трепетала; при
свисте
Вихря было внятно, как море свирепое голос
Свой воздымало и как, скрыпя от вершины до корня,
Гнулись и шумно сшибались ветвями деревья. «Ундина! . .
Царь мой небесный! . . Ундина!» — старик закричал;
но ответа
Не было. Оба тогда побежали, забывши о буре,
Каждый своею дорогою к лесу, и громко при шуме
Ветра в ночной глубине раздавалось: «Ундина! Ундина!»

Глава III

О том, как была найдена Ундина

Странное что-то чувствовал рыцарь, скитаясь во мраке
Ночи, под шумом бури, один, в бесполезном исканьи:
Снова стало казаться ему, что Ундина лишь призрак,
В темном лесу его обманувший, была; и при свисте
Вихря, при громе воды, при треске деревьев, при чудном
Всей за минуту столь мирно-прекрасной страны
превращеньи

Начал он думать, что море, луг, источник, рыбачья
Хижина, старый рыбак и всё, что с ним ни случилось,
Было обман; но жалобный крик старика, зовущий
Ундину,
Всё ему издали слышался. Вот наконец очутился
Он на самом краю лесного ручья, который в разливе
Бурном своем бежал широкою мутной рекою,
Так, что от леса отрезанный мыс, на котором стояла
Хижина, сделался островом. «Боже! — рыцарь
подумал. —
Что, когда Ундина отважилась в лес, и назад ей
Нет оттуда дороги, и там у злых привидений
Плачет она одна в темноте?» От ужаса вскрикнув,
Он поспешно поднял с земли огромный дубовый,
Бурей оторванный сук, чтоб, держась за него,
перебраться
В лес через воду. Хотя и сам он дрожал, вспоминая
Всё, что там видел прошедшим днем; хотя и казалось
В эту минуту ему, что стоял там, ровéн с деревами,
Белый, слишком знакомый ему великан и, оскалив
Зубы, кивал ему головою, — но самый сей ужас
Только что с большею силою влек его в лес: там
Ундина
В страхе, одна, без защиты была. И вот уж ступил он
Смелой ногою в кипучую воду, как вдруг недалеко
Сладостный голос сказал: «Не ходи, не ходи, берегися
Злого потока; старик сердит и обманчив». Знакомы
Рыцарю были прелестные звуки; они замолчали;
Он же стоял в воде, озирался и слушал; но месяц
Темной задернуло тучей, и волны быстро неслися,
Ноги его подмывая, и он, через силу держася,
Был как в чаду, и кружилась его голова; и глазами
Долго искав в темноте, наконец он воскликнул:
«Ундина!
Ты ли? Где ты? Если не хочешь явиться, я брошусь
Сам в поток за тобой; откликнись; мне лучше погибнуть,
Нежели быть без тебя». И глубже в воду пошел он.
Тот же голос и так же близко сказал: «Оглянися!»
В эту минуту вышел месяц из тучи, и рыцарь
В блеске его увидел Ундину. Был маленький остров
Подле берега быстрым разливом ручья образован;
Там, под навесом деревьев густых, в траве угнездившись,

Призраком светлым сидела Ундина. Было нетрудно
В этом месте поток перейти, и Гульбранд очутился
Вмиг близ Ундины на мягкой траве; она ж,
приподнявшись,
Руки вкруг шеи его обвила и его поневоле
Рядом с собой посадила. «Теперь ты расскажешь мне,
милый,
Повесть свою, — шепнула она, — мы одни; старики нас
Здесь не услышат и скучным своим ворчаньем не могут
Нам помешать; а эта густая древесная кровля
Сто́ит их хижины дымной». — «Здесь рай, Ундина!» —
воскликнул
Рыцарь, прижавши ко груди ее с поцелуем горячим.
В эту минуту рыбак, проискавши напрасно Ундину,
К месту тому подошел и увидел их с берега. «Рыцарь! —
Он закричал, — непохвальное дело ты делаешь; нами
Был ты доверчиво принят; а ты теперь, обнимаясь
С нашей дочкой, шепчешься с нею тайком и оставил
В страхе меня, старика, одного попустому за нею
Бегать в потемках». — «Я сам, — ответствовал рыцарь, —
лишь только
В эту минуту встретился с нею». — «Тем лучше;
скорее ж
Оба ко мне перейдите сюда на твердую землю».
Но Ундина о том не хотела и слышать; и лучше
В страшный лес она соглашалася с милым, прекрасным
Гостем пойти, чем в несносную хижину, где не хотели
Делать того, о чем просила она, и откуда
Рано иль поздно прекрасный гость удалится.
Прижавшись
Крепко к нему, она гармонически, тихо запела:
«В душной долине волна печально трепещет и бьется;
Влившися в море, она из моря назад не польется».
Горько заплакал рыбак, услышав ту песню; ее же
Слезы его как будто не трогали: к рыцарю с детской
Лаской она прижималась. Но рыцарь сказал ей:
«Ундина,
Разве не видишь, как плачет отец? Не упрямься ж;
нам должно,
Должно к нему возвратиться». В немом изумленьи
Ундина
Быстро свои голубые глаза на него устремила,

Кротко сказала потом: «Когда ты так думаешь, милый,
Я согласна». И с видом покорным, глаза опустивши,
Встала она; и, на руки взявши ее, безопасно
Рыцарь поток перешел. Старик со слезами на шею
Кинулся к ней и в радости был как дитя; прибежала
Скоро к ним и старушка; свою возвращенную дочку
Нежно они целовали; упреков не было; в добром
Сердце Ундины всё также утихло, и их обнимала
С лаской сердечной она, просила прощенья, смеялась,
Плакала, милые все имена им давала. А утро
Тою порой занялось, и буря умолкла, и птицы
Начали петь на свежих, дождем ожемчуженных ветках;
Стало светло, и опять приступать принялася Ундина
К рыцарю с просьбой, чтоб начал рассказ свой. И так
согласились
Завтрак принесть под деревья. Ундина проворно уселась
Подле Гульбрандовых ног на траве; другого же места
Выбрать никак не хотела; и рыцарь рассказывать начал.

Глава IV

О том, что случилось с рыцарем в лесу

«Вот уже боле недели, как я в тот вольный имперский
Город, который лежит за вашим лесом, приехал;
Там был турнир, и рыцари копья ломали усердно.
Я не щадил ни себя, ни коня. Подошедши к ограде
Поля, дабы отдохнуть от веселой работы, я шлем свой
Снял и отдал его щитоносцу; и в эту минуту
Вижу на ближнем алтане девицу, в богатом уборе,
Чудной прелести. Это была молодая Бертальда —
Мне сказали — питомица знатного герцога, в ближнем
Замке живущего. Мне показалось, что с ласковым видом
Смотрит она на меня, и во мне загорелась двойная
Бодрость; усердно бился я прежде, но с этой минуты
Дело пошло уж иначе. А вечером с нею одною
Я танцевал; и так продолжалось во все остальные
Дни турнира». В эту минуту почувствовал рыцарь
Сильную боль в опущенной левой руке; оглянувшись,
Видит он, что Ундина, жемчужными зубками стиснув
Палец ему, сердито нахмурила бровки, и в глазках,
Ярко светившихся, бегали слезки; потом, на Гульбранда

С грустным упреком взглянув, она ему погрозила
Пальцем; потом вздохнула, потом наклонила головку.
Рыцарь, смутившись, умолк на минуту; потом он рассказ свой
Так продолжал: «Бертальда прекрасна, нельзя не признаться;
Но чересчур уж горда и причудлива; мне во второй раз
Нравилась мене она, чем в первый, а в третий раз мене,
Чем во второй. Однако мне показалось, что боле
Всех других я замечен был ею, и это мне льстило.
Вот мне вздумалось в шутку ее попросить, чтоб перчатку
Мне свою подарила она. «Подарю, — отвечала
С гордой усмешкой Бертальда, — если осмелишься, рыцарь,
Съездить один в заколдованный лес наш и верные вести
Мне принесешь о том, что в нем происходит». Перчатка
Мне дорога не была; но было бы рыцарю стыдно
Вызов такой от себя отклонить, и я согласился». —
«Разве тебя не любила она?» — спросила Ундина.
«Я ей нравился, — рыцарь ответствовал, — так мне казалось». —
«О! так она сумасшедшая, — вскрикнула громко Ундина,
С радостным смехом захлопав в ладоши. — Кто ж не безумный
С милым себя разлучит и его добровольно в волшебный
Лес на опасное дело пошлет? От меня б не дождался
Этот лес такой неслыханной почести». — «Рано
Утром вчера, — продолжал Гульбранд, улыбнувшись Ундине, —
Я отправился в путь. Спокойно сияли деревья
В блеске зари, полосами лежавшем на зелени дерна;
Было свежо; благовонные листья так сладко шептались;
Всё так манило под сумрак прозрачный, что я поневоле
Злился на глупых людей, которым страшилища в райском
Месте таком могли померещиться. Въехал я в чащу;
Мало-помалу всё стало пустынно и тихо; густея,
Лес предо мной и за мною сдвигался, как будто хватая
Тысячью рук волшебных меня. Опасаясь возвратный
Путь потерять, я коня удержал: посмотреть, высоко ли
Было солнце, хотел я; глаза подымаю и что же
Вижу? Черное что-то копышется в ветвях дубовых.

Я подумал, что то был медведь; обнажаю поспешно
Меч. Но вдруг человеческим голосом, диким, визгливым,
Мне закричали: «Кстати пожаловал; милости просим;
Мы уж и веток сухих наломали, чтоб было на чем нам
Вашу милость изжарить». Потом, с отвратительно диким
Смехом оскаливши зубы, чудовище так зашумело
Ветвями дуба, что конь мой, шарахнувшись, бросился
мимо
Вскачь, и я не успел разглядеть, какой там гнездился
Дьявол». При имени этом рыбак и старушка с молитвой
Перекрестились; Ундина ж тихонько шепнула: «Всего
здесь
Лучше, по-моему, то, что ты не изжарен, мой милый
Рыцарь, и то, что ты с нами. Рассказывай далее». —
«Конь мой
Мчался как бешеный, — рыцарь сказал, — им владеть
не имел я
Силы; вдруг перед нами стремнина, и скачет со мной он
Прямо в нее; но в самое ж это мгновение кто-то
Длинный, огромный, седой, перерезавши нашу дорогу,
Вдруг перед диким конем повалился, и конь,
отшатнувшись,
Стал, и снова я им овладел. Озираюся — что же?
Мой спаситель был не седой великан, а блестящий
Пенный ручей, бежавший с холма». — «Благодарствую,
милый,
Добрый ручей», — закричала, захлопав в ладоши,
Ундина.
Тяжко вздохнув и нахмурясь, рыбак покачал головою;
Рыцарь рассказывал дале: «Собрав повода, укрепился
Я на седле. Вдруг вижу, какой-то стоит человечек
Рядом с конем, отвратительный, грязный горбун,
земляного
Цвета лицо, и нос огромный такой, что, казалось,
Был он длиною со всё остальное тело урода.
Он хохотал, оскаливал зубы, шаркал ногами,
Гнулся в дугу. Я его оттолкнул и, коня повернувши,
Был готов пуститься в обратный путь (уж склонилось
Солнце, покуда я мчался, далеко за полдень); но карлик,
Прянув как кошка, дорогу коню заслонил. «Берегися, —
Я закричал, — раздавлю». Но урод, исковеркавшись,
снова

Начал визжать: «Сперва заплати за работу; ты в пропасть
Вместе с конем бы слетел, когда бы не я подвернулся». —
«Лжешь ты, кривляка, — сказал я, — не ты, а этот источник
Нас сохранил от паденья. Но вот тебе деньги; оставь нас,
Дай дорогу». И, бросив одну золотую монету
В шапку уроду, поехал я шибче; но снова явился
Рядом со мной он; я шпорю коня; конь скачет, но сбоку
Скачет и карлик, кривляясь, коверкаясь, с хохотом, с визгом,
Высунув красный с локоть длиною язык. Чтоб скорее
С ним развязаться, бросаю опять золотую монету
В шапку ему; но, с хохотом диким оскаливши зубы,
Начал кричать он: «Поддельное золото! золота много
Есть у меня! погляди! полюбуйся!» И в эту минуту
Мне показалось, что вдруг просветлела земная утроба;
Дерн изумрудом прозрачным сделался; взор мой свободно
Мог сквозь него проницать в глубину; и тогда мне открылась
Область подземная гномов: они гомозились, роились,
Комкались в клубы, вились, развивались, сгребали металлы,
Сыпали в кучи рубин, и сапфир, и смарагд и пускали
Вихри песка золотого друг другу в глаза. Мой сопутник
Быстро метался то вниз, то вверх; и ему подавали
Слитки огромные золота; мне показав их со смехом,
Каждый он в бездну бросал, и, из пропасти в пропасть со звоном
Падая, все в глубине исчезали. Тогда он монету,
Данную мною, швырнул с пронзительным хохотом в бездну;
Хохотом, шиканьем, свистом ему отвечали из бездны.
Вдруг взгомозилися все и, толпяся, толкаясь, полезли
Кверху, когтистые, пылью металлов покрытые пальцы
Все на меня растопорщив; вся пропасть, казалось, кипела;
Куча за кучей, гуще и гуще, ближе и ближе. . .
Ужас меня одолел; дав шпоры коню, без оглядки

Я поскакал... и не знаю, долго ль скакал; но очнувшись,
Вижу, что нет никого; привиденья исчезли; прохладно
Было в лесу, и вечер уже наступил. Сквозь деревья
Бледно мелькала тропинка, ведущая из лесу в город.
Взъехать спешу я на эту тропинку; но что-то седое,
Зыбкое, дым не дым, туман не туман, поминутно
Вид свой меняя, стало меж ветвей и мне заслонило
Путь; я пытаюсь объехать его, но куда ни поеду —
Там и оно; рассердившись, скачу напролом; но навстречу
Прыщет мне пена, и ливнем холодным я обдан, и рвется
Конь мой назад; ослеплен, промочен до костей, я бросаюсь
Вправо и влево, но всё не могу попасть на тропинку,
Белый никак на нее не пускает меня. Попытаюсь
Ехать обратно — за мной по пятам он, но смирен и волю
Путь продолжать мне дает; но лишь только опять на тропинку
Взъеду — он тут, и опять заслоняет ее, и холодной
Пеной меня обдает. Наконец поневоле я выбрал
Ту дорогу, к которой меня он теснил так упорно;
Он унялся, но всё от меня не отстал и за мною
Бледно-туманным столбом подвигался; когда же случалось
Мне оглянуться, то чудилось мне, что этот огромный
Столб с головой, что в меня упирались тускло и зорко
С чудным каким-то миганьем глаза и кивала
Всякий раз голова, как будто меня понукая
Ехать вперед. Но порою мне просто казалось, что этот
Странный гонитель мой был лесной водопад. Наконец я,
Выехав из лесу, здесь очутился и встретился с вами,
Добрые люди. Тогда пропал и упрямый мой спутник».
Рыцарь кончил рассказ свой. «Мы рады тебе, благородный
Гость наш, — сказал рыбак, — но пора и о том нам подумать,
Как бы тебе возвратиться в город». Ундина, услышав
Эти слова, начала про себя тихомолком смеяться
С видом довольным. То рыцарь заметив, сказал ей: «Ундина,

Разве ты рада разлуке со мною? Чему ты смеешься?» —
«Я уж знаю чему, — отвечала Ундина. —Отведай
Этот сердитый поток переплыть — верхом иль на лодке,
Как угодно — ан нет, не удастся! а морем... давно я
Знаю, что этого сделать нельзя; и отец недалеко
В море уходит с лодкой своею. Итак, оставайся
С нами, рад ли, не рад ли. Вот чему я смеюся».
Рыцарь с улыбкою встал, чтоб видеть, так ли то было,
Что говорила Ундина; встал и рыбак; а за ними
Вслед и она. И подлинно, всё опрокинуто было
Бурей в лесу; поток разлился, и стал полуостров
Островом. Рыцарь не мог о возврате и думать, и должен
Был поневоле он ждать, пока в берега не вольется
Снова поток. Возвращаяся в хижину рядом с Ундиной,
Он ей шепнул: «Что скажешь, Ундиночка? Рада ль, что с вами
Я остаюся?» — «Полно, полно, — она проворчала,
Бровки нахмурив, — не вздумай тебя укусить я за палец,
Ты бы не то рассказал нам об этой несносной Бертальде».

Глава V

О том, как рыцарь жил у рыбака в хижине

Может быть, добрый читатель, тебе случалося в жизни,
Долго скитавшись туда и сюда, попадать на такое
Место, где было тебе хорошо, где живущая в каждом
Сердце любовь к домашнему быту, к семейному миру
С новою силой в тебе пробуждалась; и снова ты видел
Край родимый; и все обаяния младости, блага
Первой, чистой любви на могилах минувшего снова
В прежней красе рацветали, и ты говорил, отдыхая:
Здесь живется сладко, здесь сердцу будет приютно.
Вспомнив такую минуту, когда очарованной думой
Ты обнимал безыменное, тайное счастье земное,
Ты, читатель, поймешь, что должен был чувствовать рыцарь,
Вдруг поселившися в этом пределе, далёко от света.
Часто он с радостью тайной смотрел, как поток, свирепея,

День ото дня расширялся, и остров всё дале и дале
В море входил, разлучаяся с твердой землею; казалось,
Мир кончался за ним. На сердце рыцаря стало
Тихо, светло и легко. Рыбак был мудрец простодушный;
Зная людей, изведав тревоги житейские, бывши
Ратником сам в молодых летах, на досуге он много
Мог рассказать про войну и про счастье, несчастье земное;
Словом, он был живая летопись; время без скуки
Шло в разговорах меж старцем отжившим и юношей, полным
Пламенной жизни: мудрость смиренная, прямо из жизни
Взятая здравым рассудком и верою в бога, вливалась
В душу Гульбранда и в ней поселяла блаженную ясность.
Бодрый старик промышлял попрежнему рыбною ловлей;
Был не без дела и рыцарь: в хижине, к счастью, нашелся
Старый доспех рыбака, самострел; его починивши,
С ним ежедневно рыцарь ходил на охоту; а вечер
Вместе все перед ярким огнем проводили, и полный
Кубок тогда частенько постукивал в кубок: в запасе
Было вино, и нередко с ним длилась беседа до поздней
Ночи. Но мирной сей жизни была душою Ундина.
В этом жилище, куда суеты не входили, каким-то
Райским виденьем сияла она: чистота херувима,
Резвость младенца, застенчивость девы, причудливость Никсы,
Свежесть цветка, порхливость Сильфиды, изменчивость струйки...
Словом, Ундина была несравненным, мучительно милым,
Чудным созданьем; и прелесть ее проницала, томила
Душу Гульбранда, как прелесть весны, как волшебство
Звуков, когда мы так полны болезненно сладкою думой.
Но вертлявый, проказливый нрав и смешные причуды Ундины
Были подчас и докучливой мукой; зато и журили
Крепко ее старики; и тогда шалунья так мило
Дулась на них, так забавно ворчала; потом так сердечно
С ними, раскаясь, мирилась; потом проказила снова, и снова
Ей доставалось; и всё то было волшебною, тайной

Сетью, которою мало-помалу опуталось сердце
Рыцаря. С нею он стал неразлучен; с каждою мыслью,
С каждым чувством слилась Ундина. Но им обладая,
Той же силе она и сама покорялась; хотя в ней
Всё осталось попрежнему—резвость, причуды, упрямство,
Вздорные выдумки, детские шалости, взбалмошный
хохот,
Но Ундина любила — любила беспечно, как любит
Птичка, летая средь чистого неба. Старик и старушка,
Видя Ундину и рыцаря вместе, невольно привыкли
Их почитать женихом и невестой. И рыцарю также
Часто на мысль приходило, что в мир для него
невозвратно
Вход загражден, что с людьми никогда уж ему
не встречаться.
Если ж случалось, что рыцарев конь, на свободе
бродивший
По лугу, ржаньем своим его пробуждал и как будто
Спрашивал: скоро ли в битву? иль если ему попадался
Брошенный щит на глаза, иль праздно на стенке
висевший
Меч, ненароком сорвавшись с гвоздя, из ножон
выдвигался
В звонком паденьи, — дума о славе и подвигах бранных
Душу его шевелила. Но в этой тревоге себя он
Тем утешал, что возврат для него невозможен;
к тому же
Мнилось ему, что Ундина была рождена не для низкой
Доли; и, словом, он верил, что всё то не случай, а божий
Промысел было. И так один за другим неприметно
Дни уходили, ясные, тихие. Но и в спокойном
Этом быту напоследок случилось расстройство: привыкли
Каждый вечер рыбак и рыцарь, отужинав, с полным
Кубком час-другой проводить в разговоре радушном;
Вдруг недостало вина: запас рыбака небогатый
Вышел; а нового взять было негде. Наморщив
Лбы, сидели Гульбранд и рыбак за столом; а Ундина,
Глядя на них, умирала со смеху. Скучен и долог
Был тот вечер, и рано все разошлись. На другой день
Около ужина вышла Ундина из хижины. «Вы мне
Оба несносны, — сказала она, — не хочу я на ваши
Длинные лица смотреть и слушать вашу зевоту».

С этим словом захлопнула двери и скрылась. А вечер
Был ненастен, ветер шумел, и море сердилось.
В страхе рыбак и рыцарь вскочили, вспомнив, как в первый
Раз они перепуганы были Ундиной. Но только
В двери за нею они собрались побежать, как Ундина
Им навстречу явилась сама. «За мною! за мною
Все! — закричала она, — гостинец прислало нам море;
Бочка, и, верно, с вином, лежит на песке». За Ундиной
Все пошли, и подлинно бочка нашлася; поспешно
Рыцарь, старик и с ними Ундина ее покатили
К хижине; буря сбиралась; сквозь сумерки было
Видно, как на море волны свои подымали седые
Головы, дождь вызывая из туч; и тучи бежали
Шибко и шумно, как будто грозяся напасть на идущих;
Вот уж начали сыпаться первые капли. Ундина
Вдруг повернула головку и, пальчик поднявши, сердито
Им погрозила туче и ей закричала: «Смотри ты,
Туча, не смей замочить нас; еще нам далёко до дома».
С сердцем рыбак ей сказал: «Уймися, Ундина, грех!» И, умолкнув,
Стала она про себя потихоньку смеяться. Однако
Засухо все добралися до места; но только успели
Бочку под кровлю поставить и вскрыть и отведать, какое
Было вино в ней, как дождь проливной зашумел, зашатались
С скрыпом деревья, и море дико завыло. Но бурю
В хижине скоро забыли; за полными кружками снова
Ум разогрелся, и ожили шутки; и этой беседе
Прелесть двойную давал огонек, всегда столь приятный
В теплом приюте, при шуме ветра и моря, во время
Ночи ненастной. Но вдруг старик, как будто что вспомнив,
Стал задумчив; потом, помолчавши минуту, сказал он:
«Царь небесный, помилуй нас грешных! мы здесь на досуге
Шутим и этим прекрасным вином веселимся; а бедный
Прежний хозяин его, быть может, погиб и, волнами
Брошенный бог весть куда, лишен погребенья». При этом
Слове Ундина с лукавой усмешкой подвинула кружку

К рыцарю. «Пей, не бойся», — она прошептала.
Но рыцарь
За руку взял старика и воскликнул: «Я честью
клянуся,
Если б могли мы его отыскать и спасти, то ночная
Буря помехою мне не была бы; с опасностью жизни
Я бы на помощь к нему побежал; зато обещаюсь,
Если когда возвращуся в край обитаемый, вдвое,
Втрое ему иль детям его заплатить за прекрасный
Этот напиток, который без воли его нам достался».
Добрый старик кивнул головою в знак одобренья;
В нем успокоилась совесть, и с бóльшим вкусом он
дóпил
Кружку. Но тут Ундина сказала Гульбранду: «Ты денег
Сколько угодно можешь за это вино рассорить; но
бросаться
В воду и жизни своей не жалеть... вот это уж глупо
Сказано было; а что же будет со мною, когда ты,
Милый, погибнешь? Не правда ль, не правда ль,
ты лучше с Ундиной
Здесь останешься?» — «Правда, Ундиночка», — рыцарь
с улыбкой
Ей отвечал. «Признайся ж, что глупо сказал ты; ведь
каждый
Сам себе ближе; и что до других нам?..» Старушка,
услышав
Это, тяжко вздохнула; а добрый рыбак, не стерпевши,
Начал кричать на Ундину: «У турков, у нехристей,
что ли,
Выросла ты, прости мне, господи? Что за горячку
Снова ты нам говоришь, греховодница?» Вдруг
замолчавши,
Робко Ундина прижалась в Гульбранду; потом
прошептала:
«Что же такое сказала я им? Уж и ты не сердит ли,
Милый мой рыцарь?» Но рыцарь, пожавши ей руку,
расправил
Кудри, упавшие кольцами ей на глаза, и ни слова
Ей не ответствовал: брань рыбака его оскорбила.
Так сидели все четверо, молча, нахмуривши брови;
Добрую четверть часа продолжалося это молчанье.

Глава VI

О том, как рыцарь женился

Вдруг, шатнувшись, тихохонько стукнула дверь;
и невольно
Вздрогнули все, как будто недоброе что-то почуя:
Страшный лес был близко, а к хижине доступ разливом
Был загражден человеку живому; кому же в такую
Позднюю пору зайти к ним? Они с беспокойством
смотрели
Друг на друга. Снова послышался стук; и поспешно
Рыцарь схватился за меч. «Не поможет твой меч, —
сотворивши
Крест, рыбак прошептал, — когда здесь случается с нами
То, о чем и подумать боюсь я». Но в эту минуту
Прыгнула с места Ундина и в дверь закричала сердито:
«Кто там? Если то ваши проказы, духи земные,
Будет беда вам; мой дядя Струй вас порядком проучит».
Пуще прежнего все оробели, слова те услышав.
Друг на друга взглянули старик и старушка; а рыцарь
Встал и хотел уж Ундину спросить, но тут из-за двери
Голос сказал: «Я не дух, человек, христианин; впустите
Ради господа бога меня». При этом поспешно Ундина
Дверь отперла и, поднявши ночник, во внутренность
темной
Ночи стала светить: престарелый священник стоял там.
Он при виде Ундины назад отступил, приведенный
В робость ее поразительной прелестью; в бедной
лачужке
Встречу такой красоты он волшебством иль делом
бесовским
Счел и воскликнул: «С нами господь и пречистая
дева!» —
«Я не бес, — засмеявшись, сказала Ундина, — не бойся;
Милости просим, отец; войди, здесь добрые люди».
Патер вошел и ласково всем поклонился; приятен
Был он лицом; веселая кротость сияла во взорах.
Но по̀ складкам длинного платья его, с распуще́нных
Белых волос и седой бороды катилися градом
Капли: его промочило дождем. В боковую каморку
Тотчас его отвели, чтоб раздеть; а старушка с Ундиной
Начали мокрое платье сушить на огне. С благодарным

Чувством услуги старик принимал; он, надев рыбаково
Верхнее платье, довольно потертое, вышел, и снова
Все за столом перед светлым камином уселись; старушка
Гостю сама уступила почетный стул, а Ундина
В ноги ему свою скамейку подвинула. Рыцарь,
То увидя, шепнул ей шутливое слово; но с важным
Видом она отвечала: «Он божий служитель; не должно
Этим шутить». Поужинав, добрым вином подкрепивши
Силы свои, священник рассказывать начал, каким он
Образом свой монастырь, лежащий близ моря, вчерашним
Утром покинул. «Я был к епископу нашему в город
Послан, — сказал он. — Хотя и есть по изгибу залива
Путь, но морем ближе; и я с гребцами надежными лодку
Нанял; с богом мы съездили; нынче ж поутру в обратный
Поплыли путь; но сделался ветер противный; а к ночи
Буря — и буря, какой мне ни разу видать не случалось;
Ветром вырвало весла из рук у гребцов; беспомощно
Были мы преданы морю, которого волны, как щепку,
Наш челнок подымали с хребта на хребет; и несло нас
Прямо сюда; сквозь туман и сквозь пену чернел в отдаленьи
Этот берег: уж были мы близко; но бедную лодку
Нашу так и кружило; вдруг поднялась и на нас повалилась
С страшным шумом большая волна; и сам я не знаю,
Лодку ль она опрокинула, я ли выпал из лодки,
Только я вдруг очутился в воде. Господь не дозволил
Мне погибнуть... я был принесен невредимо на этот
Остров». — «Да, остров, — сказал со вздохом рыбак, — но давно ли
Был он твердой землею? Как же не скажешь, что море
С нашим потоком бурлит заодно?» — «И сам я подумал
Что-то подобное, — патер сказал, — когда я тащился
Берегом вашим впотьмах, предо мною мелькнула тропинка;
Я по ней и пошел; но эта тропинка исчезла
Вдруг перед лесом; ее перерезал поток. Тут сверкнул мне
В вашей хижине свет, и тотчас сюда повернул я.

Слава господу богу! меня он спас, да и к добрым
Людям еще мне путь указал; но зато уж отныне,
Кроме вас, никого на земле не встречать мне; отныне
В этом углу весь мир для меня заключен». — «Почему же?» —
Рыцарь спросил. «Да кто ж, — ответствовал патер, — узнает,
Скоро ли кончится эта война беспорядочных сти́хий?
Я же стар, и силы мои, конечно, иссякнут
Прежде, чем этот разлившийся бурный поток; да случиться
Может и то, что день ото дня всё шире и шире,
Глубже и глубже он делаться будет, и вы напоследок
Так далеко от земли отодвинетесь в море, что в людях
Даже и память об вас совсем пропадет; и тем легче
Может это случиться, что вас от земли заслоняет
Лес дремучий; поток же, я видел, так дик и порывист,
Так широк, что и крепкому судну не будет возможно
Силы его одолеть». — «Сохрани нас господь и помилуй», —
Крест сотворивши, сказала старушка. «Чего же, хозяйка,
Так испугалась? — рыбак возразил. — Не то же ли будет
С нами, что было? Чудное дело желанья людские!
Разве не всё одни мы здесь жили? Ни разу во столько
Лет не ходила ты дале опушки нашего леса.
Кроме меня, старика, и Ундины, кого ты видала?
Ныне же стало у нас и людно: господь бог послал нам
Добрых гостей на житье. Пускай совсем разлучится
Остров наш с твердой землею и люди о нас позабудут,
Нам же прибыль». — «Что правда, то правда, — сказала старушка, —
Только, признаться, мне как-то страшно подумать, что вечно
Нам уж с людьми не сойтись, что земле навсегда мы чужие».
То услыша, Ундина прижалася к рыцарю, жаркой
Ручкой стиснула руку ему и, уставивши глазки,
Полные острых лучей, на него, нараспев прошептала:
«Ты останешься с нами, ты останешься с нами».
Рыцарь молчал; он был очарован каким-то виденьем;
Был глубоко в себя погружен и, Ундиной, желанным,

Найденным счастием жизни полный в душе, не расслушал
Слов Ундины, проказницы резвой, сидевшей с ним рядом;
Миг настал роковой: священник своими словами
Все сомненья решил; всё дале и дале за темный
Лес убегал обитаемый свет; а остров цветущий,
Где так сладко жилось, всё свежей, зеленей, всё приютней
Сердцу его становился: невеста, как чистая роза,
Там расцветала; и к ним как будто бы свыше был послан
Божий священник: то явно было не случай. К тому же
Рыцарь заметил, как строго старик поглядел на Ундину
В ту минуту, когда, позабыв о служителе церкви,
Так беззаботно она к нему приласкалась. Ундину
Сильной рукой обхвативши, рыцарь встал и воскликнул:
«Честный отец, мы жених и невеста; во имя господне
Благослови нас, если дадут позволение эти
Добрые люди». Рыбак и старушка весьма изумились.
Правда, им часто входило на мысль, что такая развязка
Рано иль поздно случиться должна; но об этом молчали
Даже друг с другом они; и в это мгновение было
Вовсе нежданным для них предложение рыцаря. Долго
Сло́ва ему отвечать они не умели. Ундина ж
Вдруг присмирела, задумалась, глазки потупила в землю.
Тою порою священник, спросясь с стариком и старушкой,
Начал готовить венчальный обряд; старушка, очистив
Наскоро горницу ту, где жила с рыбаком, отыскала
Две восковые свечи, которые были во время
Оно на свадьбе ее зажжены; а рыцарь из звеньев
Цепи своей золотой отделил два кольца, чтоб с невестой
Было чем обручиться. Всё устроив, священник
Брачные свечи зажег и сказал жениху и невесте:
«Дайте руку друг другу». Ундина, как будто проснувшись,
Робко взглянула на рыцаря, вся покраснела и, руку
Давши ему, стыдливо и трепетно стала с ним рядом.
Кончив венчальный обряд, новобрачных отец их духовный
Перекрестил; старики ж молодую жену и Гульбранда
Обняли с чувством родительским, громко рыдая. Но в этот

Миг священник сказал: «Вы странные люди! не сами ль
Вы говорили, что этот остров безлюден, что, кроме
Вас четверых, не живет никого здесь? А я
в продолженье
Службы всё видел, что кто-то в это окошко, в широком
Белом платье, седой и длинный, глядел; за дверями,
Верно, стоит и теперь он и ждет, чтоб впустили». —
«Спаси нас
Дева пречистая, божия матерь», — сказала старушка;
Молча рыбак покачал головою; а рыцарь к окошку
Бросился: не было там никого; но что-то в потемках,
Видел он, белой струею мелькнуло и скрылось.
«Отец мой,
Ты ошибся», — сказал он священнику. Все беззаботно
С этим словом кругом огонька попрежнему сели.

Глава VII

О том, что случилось в свадебный вечер

Смирно стояла Ундина во всё продолженье обряда;
Но лишь только он кончился, вдруг, как будто
волшебной
Силой какой, что ни было в ней и причуд и беспутных
Выдумок, всё забродило и вспенилось; вдруг принялася
Всех тормошить, старика, старушку и рыцаря, не был
Даже и сам священник оставлен в покое. Суровым
Словом хотела хозяйка шалунью унять, как бывало;
но рыцарь
С значащим взглядом назвал ее *своею женою;*
Та замолчала. И сам он, однако, таким поведеньем
Не был доволен; но тут ни его увещанья, ни ласки,
Ниже́ упреки — ничто помочь не могло. Унималась,
Правда, она на минуту, когда замечала досаду
Рыцаря; нежно тогда к нему прижимаясь, ручонкой
Милой своею трепала его по щеке и шептала
На ухо слово любви с небесной улыбкой; но снова
С первою взбалмошной мыслию то ж начиналось, и пуще,
Нежели прежде. Священник сказал напоследок: «Ундина,
Резвость такая забавна, но в эту минуту приличней
Было бы вам, новобрачной, подумать о том, как
с душою

Данного богом супруга свою сочетать христиански
Душу». — «Душу? — смеясь, закричала Ундина. — Такое
Слово приятно звучит; но много ли в этом приятном
Звуке смысла? А если кому души не досталось,
Что тому делать? Еще сама я не знаю, была ли,
Есть ли душа у меня?» Оскорбленный глубоко,
священник,
Строго взглянув на нее, замолчал; испугавшись, Ундина
С детским смиреньем к нему подошла и шепнула:
«Послушай,
Добрый отец, не сердися, мне это так грустно, так
грустно,
Что и сказать не могу я; не будь же со мною,
незлобным,
Робким созданьем, так строг; напротив того,
с снисхожденьем
Выслушай то, что хочу исповедать искренним сердцем».
Видно было, что тяжкая тайна лежала на сердце
Ундины;
Что-то хотела сказать, но вдруг побледнела и горько,
Горько заплакала. Все на нее с любопытством смотрели;
Что творилося с нею, не ведал никто. Напоследок
Слезы обтерла она и священнику, в сильном волненьи
Сжавши руки, сказала: «Отец мой, не правда ль, ужасно
Душу живую иметь? И не лучше ль, скажи мне,
не лучше ль
Вечно пробыть без души? . .» Она замолчала, уставив
Острый, расстроенный взор на священника. Все
поднялися
С мест, как будто дичася ее; не дождавшись ответа,
С тяжким вздохом она продолжала: «Великое бремя,
Страшное бремя душа! при одном уж ее ожиданьи
Грусть и тоска терзают меня; а доныне мне было
Так легко, так свободно». Она опять зарыдала,
Скрыла в ладони лицо и, свою наклонивши головку,
Плакала горько, а светлые кудри, скатясь на
прекрасный
Лоб и на жаркие щеки, повисли густым покрывалом.
С строгим лицом подошел к ней священник. «Ундина, —
сказал он, —
Именем господа бога тебе говорю: исповедуй
Душу свою перед нами, и, если таится в ней злое,

Бог милосерд, он помилует». Тихим, покорным младенцем
Стала она перед ним на колена, и, руки сложивши,
Набожно к небу глаза подняла, и крестилась, и, имя
Божие славя, твердила, что не было зла никакого
В сердце ее. Священник сказал, обратяся к Гульбранду:
«Рыцарь, вам поверяю я ту, с которою ныне
Сам сочетал вас: душою она беспорочна, но много
Чудного в ней. Примите мой добрый совет: осторожность,
Твердость, любовь; остальное на власть милосердого бога
С верой оставьте». Сказав, новобрачных священник
Перекрестил и вышел; за ним рыбак и старушка,
Также крестясь и молитву читая, вышли. Ундина
Всё еще на коленях стояла в молчаньи; когда же
Все удалились, она потихоньку лицом обернулась
К рыцарю, кудри раздвинула, мало-помалу, как будто
В чувство входя, головку свою подняла и уныло
Очи лазурные, полные слез, на него устремила.
«Милый, ты, верно, также покинешь меня, — прошептала
Робко она, — но чем же я, бедная, чем виновата?»
Руки ее так призывно, так жарко к нему поднялися,
Взоры ее так похожи на небо прекрасное стали,
Голос ее так глубоко из сердца раздался, что рыцарь
Всё позабыл и в порыве любви протянул к ней объятья;
Вскрикнула, вспрыгнула, кинулась к милому в руки Ундина,
Грудью прильнула ко груди его и на ней онемела.

Глава VIII

О том, что случилось на другой день свадьбы

Свежий утренний луч разбудил новобрачных; блаженством
Ясные очи Ундины горели; а рыцарь в глубокой
Думе молчал про себя; всю ночь он видел какой-то
Странный, мучительный сон: всё снилось ему, что хотели
Бесы его обольстить под видом красавиц, что в змеев
Адских красавицы все перед ним обращались. Проснувшись

В страхе, он начал смотреть недоверчиво: тут ли Ундина?
Нет ли в ней какой перемены? .. Но было всё тихо,
Буря кончилась; полный месяц светил, и Ундина
Сном глубоким спала, положивши горячую щеку
На руку; вольно дышала она, и сквозь сон, как журчанье,
Шепот невнятный бродил по жарко раскрывшимся губкам.
Видом таким успокоенный, рыцарь заснул, но в другой раз
Тот же сон! наконец засияла заря, и проснулися оба.
Сон рассказавши, рыцарь просил, чтоб Ундина простила
Страх безрассудный ему. Вздохнувши, прекрасную руку
С грустью она ему подала, и ни слова; но сладкий,
Полный глубокой любовию взгляд, какого дотоле
Рыцарь в лазоревых глазках ее не встречал, безответно
Выразил всё. С довольным сердцем он встал и к домашним
Вышел; все трое сидели молча, на лицах их видно
Было, что тяжко тревожило их ожиданье развязки;
Видно было, что внутренне бога священник молил: да поможет
Им защититься от козней врага. Но как скоро явился
С ясным лицом новобрачный, то вмиг и у них просияли
Души и лица; рыбак и старушка заплакали; к небу
Взор благодарный поднял священник. Потом и Ундина
Вышла; они хотели пойти к ней навстречу, но стали
Все неподвижны: так знакома и так незнакома
Им в красоте довершенной она показалась. Священник
Первый к ней подошел; но лишь только он руку, чтоб дать ей
Благословение, поднял, она ему поклонилась
В землю и стала прощенья просить в словах безрассудных,
Сказанных ею вчера; потом примолвила: «Добрый
Друг, помолись о спасеньи моей души многогрешной».
Вставши, она обняла стариков, и то, что сказала
Им, было так полно души, так было их слуху
Ново и так далеко от всего, что прежде пленяло
В ней, не касаясь до сердца, что оба они, зарыдавши,
Стали молиться вслух и ее называли небесным
Ангелом, дочкой родною; она же с сердечным смиреньем

Их целовала; такой и осталась она с той минуты:
Кроткой, покорной женою, хозяйкой заботливой,
в то же
Время девственно чистым, божественно милым созданьем.
Рыцарь, старик и старушка, давно уж привыкнув
к причудам
Детским ее, всё ждали, что снова она, как и прежде,
Станет проказить, но в этот раз они обманулись:
Ангелом тихим осталась Ундина. Священник, любуясь
Ею, воскликнул: «Радуйтесь, рыцарь; господь
милосердый
Вам даровал чрез меня, недостойного, редкое счастье;
Будет добро вам и в здешней и в будущей жизни,
когда вы
Чистым его сохраните. Господь помоги вам обоим».
Около вечера с нежностью робкой Ундина, взявши
Гульбранда
За руку, тихо его повлекла за собою на вольный
Воздух. Безоблачно солнце садилось, светя на зеленый
Дерн сквозь чащу дерев, за которыми тихо горело
Море вдали. Во взорах жены молодой трепетало
Пламя любви, как роса на лазурных листках; но,
казалось,
Грустная тайна уста ей смыкала, порой выражаясь
Вздохом невнятным. В молчаньи она вела за собою
Рыцаря дале; когда же с ней говорил он, ответа
Не было, взор один отвечал; но в этом сердечном
Взоре целое небо любви и смиренья лежало.
Так подошли напоследок они к лесному потоку...
Что же рыцарь увидел? Разлив уже миновался;
Мелким ручьем стремился поток. «Он исчезнет
К утру совсем, — сказала Ундина, скрывая рыданье, —
Завтра кончится всё, и тебе уж препятствия боле,
Милый, не будет отсель удалиться, как скоро
захочешь». —
«Вместе с тобою, Ундиночка», — рыцарь ответствовал.
«Это
В воле твоей, — шепнула она, усмехаясь сквозь слезы. —
Друг, я знаю, что ты Ундиночку любишь. Она же
Всею душою твоя, и навек. Но, милый, послушай,
Перенеси меня на руках на этот зеленый
Остров; там приютней. Хотя и самой мне сквозь волны

Было б нетрудно туда проскользнуть но, друг, мне так сладко
Быть на руках у тебя. И если нам должно расстаться,
То хоть в последние счастьем земным подышу я
Здесь у тебя на груди». И, растроган, встревожен,
Рыцарь Ундину на руки взял и понес через воду.
Было то место знакомо, то был островок, на котором
Встретился рыцарь с Ундиною в бурю. Ее опустил он
Тихо на шелковый дерн и хотел поместиться с ней рядом.
«Нет, не рядом со мной, а против меня ты садися,
Милый, — сказала она, — хочу я прежде, чем словом
Будешь ответствовать мне, твой ответ в непритворных
Взорах твоих заране угадывать. Слушай. Ты должен
Знать, уж на деле узнал ты, что есть на свете созданья,
Вам подобные видом, но с вами различного свойства.
Редко их видите вы. В огне живут саламандры,
Чудные, резвые, легкие; в недрах земли, неприступных
Свету, водятся хитрые гномы; в воздухе веют
Сильфы; лоно морей, озер и ручьев населяют
Духи веселые вод. Прекрасно и вольно живется
Там, под звонкокристальными сводами; небо и солнце
Светят сквозь них; и небесные звезды туда проницают;
Там на высоких деревьях коралловых пурпуром ярким,
Темным сапфиром блистают плоды; там гуляешь по мягким
Свежим песочным коврам, узорами раковин пестрых
Хитро украшенным; многое, бывшее чудом минувших
Лет, облеченное тайным серебряных вод покрывалом,
Видится там в величавых развалинах: влага с любовью
Их объемлет, в мох и цветы водяные их рядит,
Пышным венцом тростника их седые главы обвивает.
Жители стран водяных обольстительно милы, прекрасней
Самых людей. Случалось не раз, что рыбак, подглядевши
Деву морскую — когда, из воды подымаяся тайно,
Пела она и качалась на зыбкой волне, — повергался
В хладную влагу за нею. Ундинами чудные эти
Девы слывут у людей. И, друг, ты теперь пред собою
В самом деле видишь Ундину». Гульбранд содрогнулся;
Холод по членам его пробежал; неподвижен, как камень,
Молча и дико смотрел он в лицо рассказчицы милой,

Сил не имея очей отвести. Покачав головою,
Грустно замолкла она, вздохнула, потом продолжала:
«Видом наружным мы то же, что люди, быть может
и лучше,
Нежели люди; но с нами не то, что с людьми; покидая
Жизнь, мы вдруг пропадаем, как призрак, и телом
и духом
Гибнем вполне, и самый наш след исчезает; из праха
В лучшую жизнь переходите вы; а мы остаемся
Там, где жили, в воздухе, искре, волне и пылинке.
Нам души не дано; пока продолжается наше
Здесь бытие, нам стихии покорны; когда ж умираем,
В их переходим мы власть, и они нас вмиг истребляют,
Веселы мы, и нас ничто не тревожит, как птичек
В роще, рыбок в воде, мотыльков на лугу благовонном.
Всё, однако, стремится возвыситься: так и отец мой,
Сильный царь в голубой глубине Средиземного моря,
Мне, любимой, единственной дочери, душу живую
Дать пожелал, хотя он и ведал, что с нею и горе
(Всех одаренных душою удел) меня не минует.
Но душа не иначе дана быть нам может, как только
Тесным союзом любви с человеком. И, милый, отныне
Я с душою навеки; тебе одному благодарна
Я за нее и тебе ж благодарна останусь, когда ты
Жизнь не осудишь мою на вечное горе. Что будет
С бедной Ундиной, когда ты покинешь ее? Но обманом
Сердце твое сохранить она не хотела. Теперь ты
Знаешь всё, и если меня оттолкнуть ты решился,
Сделай это теперь же: один перейди на противный
Берег; я брошуся в этот поток — он мой дядя; издавна
В нашем лесу он свободную, чудную жизнь, как
пустынник,
Розно с родней и друзьями проводит. Он силен
и многим
Старым рекам и могучим потокам союзник. Принес он
Некогда к жителям хижины здешней меня беззаботным,
Ясным, веселым младенцем; и он же ныне отсюда
В дом отца моего меня отнесет измененным, живую
Душу приявшим созданьем, любящей, скорбящей
женою».
Дале она говорить не могла; пораженный, плененный,
Рыцарь ее обхватил, и на руки поднял, и вынес

На берег; там перед небом самим повторил он обет свой:
С ней неразлучно жить на земле и делить всё земное.
В сладком согласии, за руки взявшись, медлительным шагом
В хижину оба пошли. И Ундина, глубоко постигнув
Благо святое души, перестала жалеть о прозрачном
Море и влажных жилищах отцовского чудного царства.

Глава IX

О том, как рыцарь и его молодая жена оставили хижину

Рыцарь, проснувшись с зарей на другой день, весьма удивился,
Видя, что подле него Ундины нет, и снова он начал
Думать, что всё, происшедшее с ним в последнее время,
Было мечта. Но в эту минуту Ундина явилась;
Севши к нему на постель, сказала она: «Я ходила
В лес проведать, исполнил ли дядя свое обещанье?
Всё исполнено: воды свои он собрал и снова
Лесом бежит одинок, невидим и задумчиво шепчет;
Всех водяных и воздушных друзей распустил он, и стало
Тихо в лесу, и всё в порядке попрежнему; можем,
Милый, отправиться в путь как скоро захочешь».
С каким-то
Странным чувством, похожим на робость, слушал Ундину
Рыцарь: ее родные были ему не по сердцу.
Но Ундина своею тихою прелестью снова
Сладкий покой возвратила ему, и, любуясь с ней вместе
Зеленью берега, так благовонно, свежо и прозрачно
Светлою влагой объятого, рыцарь сказал: «Для чего же
Так нам спешить отсюда, Ундина? Уж, верно, не встретим
Мы нигде толь мирного счастья, каким насладились
В этом краю; побудем же здесь; никто нас не гонит». —
«Что ты, мой друг, прикажешь, то и будет, — сказала с покорным
Видом Ундина, — но слушай: моим старикам разлучаться со мною

Тяжко и так, а они еще не знают Ундины,
Новой, нежной, любящей, смиренной Ундины; и всё им
Мнится еще, что смиренье мое не надежней покоя
Вод; и меня легко позабудут они, как весенний
Цвет, как быструю птичку, как светлое облако; дай же
Милый, в тот миг, как навек на земле нам должно
расстаться,
Скрыть мне от них тобой сотворенную, верную душу.
Если же долее здесь мы пробудем, то буду ль уметь я
Так притвориться, чтоб им моя не открылася тайна?»
Рыцарь был убежден, и вмиг собралися в дорогу;
Снова коня оседлали; священник вызвался с ними
В город идти через лес и с рыцарем вместе Ундине
Сесть помог на седло. Обнялися; расстались; Ундина
Плакала тихо, но горько; добрый рыбак и старушка
Выли голосом, глядя за нею вслед и как будто
Вдруг догадавшись, какое сокровище в эту минуту
В ней потеряли. В грустном молчаньи вперед
подвигались
Путники. Гущи лесной уж достигли они, и прекрасно
Было видеть в зеленой тени на разубранном пышно
Гордом коне молодую робкую всадницу, справа
Старого патера в белой одежде, а слева, в богатом
Пестром уборе, прекрасного рыцаря. Бережно чащей
Леса они пробиралися. Рыцарь одну лишь Ундину
Видел; Ундина же влажные очи свои в упоеньи
Новой души на него одного устремляла, и скоро
Тихий, немой разговор начался между ними из нежных
Взглядов и вздохов. Но вдруг он был прерван каким-то
Шепотом странным: шел рядом с священником кто-то
четвертый,
К ним недавно募 приставший. Он-то шептал. Как
священник,
Был он в белом платье, лицо закрывалось каким-то
Странным, широким покровом, которого складки, как
волны,
Падали с плеч и стан обвивали, и он беспрестанно
Их поправлял, закидывал на́ руку полы, вертелся,
Прыгал; но это ему ни идти, ни болтать не мешало.
Вот что шептал он в ту минуту, когда молодые
Вслушались в речи его: «Уж давно, давно, преподобный,
В этом лесу я живу, как у вас говорится, монахом;

Правда, я не пощусь, не спасаюсь, а просто мне любо
Жить на воле в глуши и в этом белом, волнистом
Платье под тенью густою разгуливать. Часто и солнце
Чудно сверкает по складкам моим; а когда я кустами
Крадусь, бывает такой веселый шорох, что сердце
Прыгает. . .» — «Вы человек замечательный, — молвил
священник, —
Я бы желал покороче узнать вас». — «А ты кто,
когда уж
Дело у нас пошло на расспросы?» — сказал незнакомец.
«Патер Лаврентий, священник Мариинской пустыни». —
«Дельно;
Я же, просто сказать, свободный лесной обыватель;
Имя мне Струй; ремесла не имею; волен как птица;
Нет у меня господина; гуляю, и всё тут. Однако
Нужно мне кое-что молвить вот этой красавице». С этим
Словом он прянул к Ундине, вдруг вырос, и подле
Уха ее очутилась его голова. Но Ундина
В страхе его оттолкнула, воскликнув: «Поди поскорее
Прочь; я более с вами не знаюсь». — «О! о! да какая ж
Замужем стала она спесивая! с нами, роднею,
Знаться не хочет! Да кто же, скажи мне, пожалуй,
не я ли,
Дядя твой Струй, малютку тебя на спине из подводной
Области на берег здешний принес? Позабыла?» —
«Оставь нас,
Именем бога тебя умоляю, — сказала Ундина. —
Ты мне страшен; ты сделаешь то, что и муж мой
дичиться
Станет меня, как скоро увидит с такою роднею». —
«Здесь я недаром; хочу проводить вас, иначе едва ли
Вам через лес удастся пройти безопасно. А этот
Патер уж знает меня; говорит он, что будто
Был я в лодке, когда он в воду упал; и конечно,
Был я в лодке; я в эту лодку прянул волною,
Вырвал его из нее и на́ берег вынес, чтоб свадьбу
Можно было сыграть вам». Ундина и рыцарь при этом
Слове взглянули на патера: шел он, как будто
в глубокий
Сон погруженный, не слыша того, что вблизи
говорилось.
«Вот и лесу конец, — сказала дяде Ундина, —

Помощь твоя теперь ненужна, оставь нас; простимся
С миром; исчезни». Струй рассердился; он сделал такую
Страшную харю и так глазами сверкнул, что Ундина
Громко вскрикнула; рыцарь выхватил меч и хотел им
В голову Струя ударить, но меч по волнам водопада
С свистом хлестнул, и в воде как будто шипящий
Хохот раздался; рыцаря обдало пеной холодной.
Патер, вдруг очнувшись, сказал: «Я предвидел, что это
С нами случится, лесной водопад был так близко;
и всё мне
Мнилось до сих пор, что он живой человек и как будто
С нами шепчет». И подлинно рыцарю на ухо внятно
Вот что шептал водопад: «Ты смелый рыцарь, ты бодрый
Рыцарь; я силен, могуч; я быстр и гремуч; не сердиты
Волны мои; но люби ты, как очи свои, молодую,
Рыцарь, жену, как живую люблю я волну. . .» —
и волшебный
Шепот, как ропот волны, разлетевшейся в брызги,
умолкнул.
Кончился лес, и вышли в поле они: там имперский
Город лежал перед ними в лучах заходящего солнца.

Глава X

О том, как они жили в имперском городе

В этом имперском городе все почитали погибшим
Нашего рыцаря, все сожалели о нем, а Бертальда
Боле других; она себя признавала причиной
Смерти его, и совесть терзала ей сердце, и милый
Рыцарев образ глубоко в него впечатлен был печалью.
Вдруг он явился, живой и женатый, а с ним и свидетель
Брака его, отец Лаврентий; весь город нежданным
Чудом таким приведен был в волненье; прелесть Ундины
Всех поразила, и слух прошел, что в лесу из-под власти
Злого волшебника рыцарь избавил ее, что породы
Знатной она. Но на все вопросы людей любопытных
Рыцарь ответствовал глухо; патер же был на рассказы
Скуп, да и скоро в свой монастырь возвратился он;
словом,
Мало-помалу толки утихли; одной лишь Бертальде
Было грустно: скорбя о погибшем, она поневоле

Сердцем привыкла к нему и его *своим* называла.
Скоро, однако, она одолела себя; от природы
Было в ней доброе сердце, но чувство глубокое долго
В нем не могло сохраняться, и здесь легкомыслие было
Верным лекарством. Ундину ласкала она, а Ундине,
Простосердечной, доброй Ундине боле и боле
Нравилась милая, полная прелести сверстница. Часто
Ей говорила она: «Мы, верно, с тобою, Бертальда,
Как-нибудь были прежде знакомы, иль чудное что-то
Есть между нами; нельзя же, чтоб кто без причины,
без сильной,
Тайной причины, мог так кому полюбиться, как ты мне
Вдруг полюбилася с первого взгляда». И в сердце
Бертальды
Что-то подобное было, хотя его и смущала
Зависть порою. Как бы то ни было, скоро друг
с другом
Стали они неразлучны, как сестры родные. Но рыцарь
Был готов уж в замок Рингштеттен, к истокам Дуная
Ехать, и день разлуки, может быть вечной разлуки,
Был недалеко; Ундина грустила; и вот ей на мысли
Вдруг пришло, что Бертальду с собою в замок
Рингштеттен
Могут они увезти, что на то герцогиня и герцог,
Верно, по просьбе ее согласятся. Однажды об этом
Рыцарь, Ундина, Бертальда втроем рассуждали. Был
теплый
Летний вечер, и темною площадью города вместе
Шли они; синее небо глубоко сияло звездами;
В окнах домов сверкали огни; перед ними ходили
Черные тени гуляющих; шум разговоров, слиянье
Музыки, пенья, хохота, крика детей наполняли
Чудным каким-то говором воздух, и он напоен был
Весь благовонием лип, вокруг городского фонтана
Густо насаженных. Здесь, от шумной толпы в отдаленьи,
Близ водоема стояли они, упиваясь прохладой
Брызжущих вод, их слушая шум и любуясь на влажный
Сноп фонтана, белевший сквозь сумрак, как веющий,
легкий
Призрак; и их веселило, что так они в многолюдстве
Были одни, и всё, что при свете казалось столь трудным,
Сладилось само собой без труда в тишине миротворной

Ночи; и было для них решено, что Бертальда поедет
В замок Рингштеттен. Но в ту минуту, когда назначали
День отъезда они, подошел к ним, как будто из мрака
Вдруг родившийся, длинный седой человек, поклонился
Чинно, потом кивнул головою Ундине и что-то
На ухо ей прошептал. Ундина, нахмуривши бровки,
В сторону с ним отошла, и тогда начался между ними
Шепот на странном каком-то чужом языке; а Гульбранду
В мысли пришло, что он с незнакомцем где-то
встречался;
Тщетно Бертальда его осыпала вопросами; рыцарь
Был как в чаду и всё с беспокойством смотрел на Ундину.
Вдруг Ундина, захлопавши с радостным криком
в ладоши,
Кинулась прочь, и блаженством глазки сверкали;
с досадой
Сморщивши лоб и седой покачав головой, незнакомец
Влез в водоем, где вмиг и пропал. Тут решилось сомненье
Рыцаря. «Что, Ундина, с тобою смотритель фонтанов
Здесь говорил?» — спросила Бертальда. С таинственным
видом
Ей головкой кивнула Ундина. «В твои именины,
Послезавтра, ты это узнаешь, Бертальда, мой милый,
Милый друг; я тебя и твоих приглашаю на этот
Праздник к себе». Другого ответа не было. Скоро
После того они проводили Бертальду и с нею
простились.
«Струй?» — спросил с содроганьем невольным рыцарь
Ундину,
С ней оставшись один в темноте перед герцогским домом.
«Он, — отвечала Ундина, — премножество всякого вздора
Мне насказал; но, между прочим, открыл и такую
Нехотя тайну, что я себя не помню от счастья.
Если велишь мне всё рассказать сию же минуту,
Я исполню приказ твой; но, милый, Ундине большая
Радость была бы, когда б ей теперь промолчать ты
позволил».
Рыцарь охотно на всё согласился, и можно ли было
В чем отказать Ундине, столь мило просящей? И сладко
Было ей в ту ночь засыпать; она, забываясь
Сном, потихоньку сама про себя с улыбкой шептала:
«Ах, Бертальда как будет рада! какое нам счастье!»

Глава XI

О том, что случилось на именинах Бертальды

Гости уж были давно за столом, и Бертальда, царица
Праздника, в золоте, перлах, цветах, подаренных друзьями
Ей в именины, сидела на первом месте, Ундина
С правой руки, а рыцарь с левой. Обед уж кончался;
Подали сласти; дверь была отперта; в ней теснилось
Множество зрителей всякого званья; таков был старинный
Предков обычай: каждый праздник тогда почитался
Общим добром, и народ всегда пировал с господами.
Кубки с вином и закуски носили меж зрителей слуги;
Было шумно и весело; рыцарь Гульбранд и Бертальда
Глаз не сводили с Ундины; они с живым нетерпеньем
Ждали, чтоб тайну открыла она; но Ундина молчала;
Было заметно, что с сердца ее и с уст, озаренных
Ясной улыбкой, было готово что-то сорваться;
Но (как ребенок, любимый кусок свой к концу берегущий)
Всё молчала она, чтоб продлить для себя наслажденье.
Рыцарь смотрел на нее с неописанным чувством; Ундина
В детской своей простоте, с своим добродушием прелесть
Ангела божия в эту минуту имела. Вдруг гости
Стали ее убеждать, чтоб спела им песню. Сверкнули
Ярко ее прекрасные глазки; поспешно схватила
Цитру и вот какую песню тихо запела:
«Солнце сияет; море спокойно; к брегу с любовью
Воды теснятся. Что на душистой зелени брега
Светится, блещет? Цвет ли чудесный, посланный небом
Свежему лугу? Нет, светлоокий, ясный младенец
Там на зеленом дерне играет. Кто ты, откуда,
Милый младенец? Как очутился здесь, на чужбине?
Ах! из отчизны был он украден морем коварным.
Бедный, чего ж ты между цветами с жадностью ищешь?
Цвет благовонный жив, но без сердца; он не услышит
Детского крика; он не заменит матери нежной.
Лучшего в жизни рано лишен ты, бедный младенец.
Мимо проехал с свитою герцог; в пышный свой замок
Взял он сиротку; там герцогиня благостным сердцем
Бедной сиротке мать заменила. Стала сиротка

Девою милой, радостью сердца, прелестью взоров;
Милую деву промысел божий щедро осыпал
Всем... но отдаст ли лучшее в жизни, мать и отца, ей?»
С грустной улыбкой цитру свою опустила Ундина;
Песня ее растрогала всех, а герцог с женою
Плакали. Герцог сказал: «Так точно случилось в то утро,
Милая наша сиротка Бертальда, когда милосердый
Бог наградил нас тобою; но права певица, не можем
Лучшего блага земного тебе возвратить мы, родную
Мать и родного отца». Ундина снова запела:
«Мать тоскует, бродит, кличет... нет ей ответа;
Ищет, ищет, что ж находит? дом опустелый.
О, как мрачен, как ужасен дом опустелый,
Где дотоле днем и ночью мать в упоеньи
Целовала, миловала дочку родную!
Будет снова заниматься ярко денница;
Придут снова дни весенни, благоуханны;
Но денница, дни весенни, благоуханны
Не утешат боле сердца матери бедной;
Всё ей чуждо; в целом свете нет ей отрады;
Невозвратно всё пропало с дочкой родною». —
«О Ундина! ради бога открой мне! ты знаешь,
Где отец мой и мать; ты этот, этот подарок
Мне приготовила. Где они? Здесь? Отвечай мне, Ундина»
Взор Бертальды, сверкая, летал по собранью; меж знатных
С ними сидевших гостей выбирала она. Но Ундина
Вдруг залилася слезами, к толпе обратилась, рукою
Знак подала и воскликнула: «Где вы? явитесь,
Найденной дочери вашей отец и мать!» Расступилась
С шумом толпа; из средины ее рыбак и старушка
Вышли; робко глаза устремили они на Ундину.
«Вот она, ваша родная дочь!» — закричала Ундина,
Им указав на Бертальду; и с громким рыданьем на шею
Бросились к ней старики; но Бертальда с пронзительным криком
Их от себя оттолкнула; страх, изумленье, досада
Вдруг на лице ее отразились. Какой нестерпимый,
Тяжкий удар для ее надменной души, ожидавшей
Нового блеска с открытием знатных родителей! Кто же?
Кто же эти родители? Нищие!.. В эту минуту

В мысль ей пришло, что всё то придумано хитро Ундиной
С тем, чтоб унизить ее перед светом и рыцарем. «Злая
Ложь! обманщица! подкуп!» — вот что твердила
Бертальда,
Гневно смотря на старушку, на мужа ее и Ундину.
«Господи боже! — тихонько старушка шептала. —
Какое ж
Злое созданье стала она! а все-таки сердце
Чует мое, что она мне родная». Рыбак же, сложивши
Руки, молился, чтоб бог не карал их, послав им такую
Дочь; а Ундина, как ангел, вдруг утративший небо,
Бледная, в страхе незапном, не ведая, что́ с ней
Делалось, вся трепетала. «Опомнись, Бертальда!
Бертальда,
Есть ли душа у тебя?» — она повторяла, стараясь
Доброе чувство в ней возбудить, но напрасно; Бертальда
Точно была вне себя; она в исступленьи кричала
Криком; рыбак и старушка плакали горько, а гости,
Странным явленьем таким изумленные, начали шумно
Спорить, кто за Ундину, кто за Бертальду; в ужасный
Всё пришло беспорядок, и вот напоследок Ундина,
С чувством своей правоты, с благородством невинности
мирной,
Знак подала рукою, и все замолчали. Смиренно,
Тихо, но твердо сказала она: «Вы странные люди!
Что я вам сделала? Чем раздражила я вас? И за что вы
Так расстроили милый мой праздник? Ах, боже! доныне
Я о ваших обычаях, вашем безумном, жестоком
Образе мыслей не знала, и их никогда не узнать мне.
Вижу, что всё безрассудно придумано мной; но причиной
Этому вы одни, а не я. Хотя здесь наружность
Вся на меня, но вы знайте: то, что сказала я, правда.
Нет у меня доказательств; но я не обманщица, слышит
Бог правосудный меня; а всё, что здесь о Бертальде
Я говорила, было открыто мне тем, кто в морские
Волны младенцем ее заманил, потом на зеленый
Берег отнес, где ее и нашел знаменитый наш герцог». —
«Слышите ль? — громко вскричала Бертальда. — Она
чародейка,
Водится с злыми духами; сама при всех признается
В этом она». — «О нет, — Ундина воскликнула с чистым
Небом невинности в мирных очах, — никогда чародейкой

Я не была; мне неведомо адское зло». — «Так бесстыдно
Лжет и клевещет она. Ничем нельзя доказать ей
Здесь, что рыбак отец мне, а нищая — мать. О! покинем
Этот дом и этот город, где я претерпела
Столько стыда». — «Нет, Бертальда, — ответствовал герцог, — отсюда
Я дотоле не выйду, пока не решится сомненье
Наше вполне». То слыша, старушка приблизилась робко
К герцогу, низко ему поклонилась и вот что сказала:
«Вы, государь, своим высоким герцогским словом
Вдруг на разум меня навели. Скажу вам, что если
Ваша питомица подлинно дочь нам, то должно, чтоб были
Три родимых пятна, как трилиственник видом, под правой
Мышкой ее и точно такие же три на подошве
Правой ноги. Позвольте, чтоб с нею я вышла». От этих
Слов побледнела Бертальда, а герцог велел герцогине
Выйти вместе с нею и взять с собою старушку.
Скоро назад возвратились они; герцогиня сказала:
«Правда правдой; всё то, что здесь объявила хозяйка
Наша, есть сущая истина: эти добрые люди
Точно отец и мать питомицы нашей Бертальды».
С этим словом герцог с женой и с Бертальдой и вместе
С ними, по воле герцога, старый рыбак и старушка
Вышли; гости, кто веря, кто нет, разошлись; а Ундина,
Горько, горько заплакав, упала в объятия мужа.

Глава XII

О том, как рыцарь и Ундина уехали из имперского города

Рыцарь с глубоким чувством любви смотрел на Ундину.
«Мною ль, — он думал, — дана ей душа иль нет, но прекрасней
Этой души не бывало на свете: она как небесный
Ангел». И слезы Ундины с нежнейшим участием друга
Он отирал, целуя ей очи, уста и ланиты.
Город имперский, который ей стал ненавистен, покинуть
Он решился немедля и всё велел приготовить
К скорому в замок Рингштеттен отъезду. Вот на другой день

Рано поутру была подана к крыльцу их повозка;
Рыцарев конь и кони его провожатых за нею,
Взнузданы, прыгали, рыли копытами землю; уж рыцарь
Вышел с своей молодою женой и готов был ей руку
Дать, чтоб в повозку ее посадить; но в эту минуту
К ним подошла молодая девушка с неводом, в платье
Рыбной торговки. «Нам товар твой ненужен, мы едем», —
Рыцарь сказал ей. Она заплакала взрыд, и Бертальду
В эту минуту узнали Гульбранд и Ундина; поспешно
Вместе с нею они возвратилися в дом, и Бертальда
Им рассказала, как герцог вчерашним ее поведеньем
Был раздражен, как ее от себя отослал, подаривши
Ей большое приданое, как старик и старушка,
Также богато им одаренные, город того же
Вечера вместе покинули. «С ними хотела пойти я, —
Так продолжала Бертальда в слезах, — но старик, о котором
Все говорят, что он мой отец. . .» — «Он отец твой, Бертальда,
Точно отец, — сказала Ундина, — ты помнишь, как ночью
К нам подошел седой человек, твой смотритель фонтанов;
Он-то мне всё и сказал; меня убеждал он, чтоб в замок
Наш Рингштеттен тебя не брала я с собой, и невольно
Тайна с его языка сорвалась. . .» — «Ну, отец мой, когда уж
Должен он быть мне отцом, — продолжала Бертальда, — сказал мне
Вот что: «Ты с нами не будешь до тех пор, пока не исправишь
Гордого сердца; осмелься одна через этот дремучий
Лес к нам пройти, тогда я поверю, что нашей роднею
Быть желаешь; но скинь богатый убор; рыбаковой
Дочерью к нам явися. . .» И я на всё уж решилась;
Что он велел, то и будет; меня, несчастную, целый
Свет оставил; бедная дочь рыбака, я в убогой
Хижине жизнь безотрадную скрою и скоро умру там
С горя. Правда, лес волшебный меня устрашает,
Бродят там, слышно, духи, а я так пуглива; но что же
Делать? К вам же пришла я затем, чтоб загладить вчерашний
Свой проступок признаньем вины. О! забудьте, простите!

Я и так уж несчастна безмерно; вспомните, что́ я
Утром вчерашним была, что́ была еще при начале
Вашего пира и что́ я теперь. . .» Опустивши в ладони
Голову, плакала горько она, и меж пальцев бежали
Слезы. Вся также в слезах, к ней на шею упала Ундина,
Долго безгласна была, напоследок сказала: «Ты с нами
В замок Рингштеттен поедешь; что положили мы прежде,
То и сделаем; только ты будь со мной, как привыкла
Быть; говори мне попрежнему «ты». Вот видишь ли?
В детстве
Нас обменяли одну на другую; тогда уж мы были
Связаны тесно судьбою; сплетем же узел наш сами
Так, чтоб уже никогда никакой человеческой силе
Не было можно его разорвать. Теперь ты поедешь
С нами прямо в Рингштеттен; что ж после, как сестры
родные,
Мы меж собою разделим, о том успеем, приехав
В замок, условиться». То услышав, Бертальда взглянула
Робко на рыцаря; милой изгнанницы было не меньше
Жаль и ему; и, руку подав ей, вот что сказал он:
«Вверьте себя беззаботно сердцу Ундины. А к вашим
Добрым родителям мы, по прибытии в замок, отправим
Тотчас гонца, чтоб знали они, что сделалось с вами».
Под руку взявши Бертальду, ее посадил он в повозку,
Рядом с нею Ундину и бодро поехал за ними
Рысью и скоком. Повозка летела: скоро имперский
Город пропал далеко назади, с ним вместе пропало
Там и всё грустное прошлое; весело шла по прекрасной
Людной стране их дорога, и мало ли, долго ли длился
Путь их, но вот напоследок в один прекраснейший
летний
Вечер они приехали в замок Рингштеттен. Был должен
Рыцарь заняться хозяйством своим; молодая ж хозяйка
Вместе с гостьей пошли осматривать замок. Построен
Был на крутой он горе посреди равнин благодатной
Швабии; вид из него был роскошный; и по валу вместе,
За руки взявшись, гуляли Ундина с Бертальдою;
вдруг им
Встретился долгий седой человек; Бертальде знакомы
Были черты; когда же Ундина, сердито нахмурясь,
Знак ему подала, чтоб он удалился, и скорым
Шагом, тряся головой, он пошел и пропал за кустами,

В мысли пришло ей, что то ночной городской их
знакомец
Был, смотритель фонтанов. «Не бойся, Бертальда, —
сказала
Ей Ундина, — уж в этот раз твой несносный фонтанщик
Зла никакого не сделает нам». Тогда рассказала
Всё о себе Ундина: кто родом она, как Бертальду
Струй похитил, как к рыбакам попала Ундина
Вместо родной их дочери, словом, всё. И сначала
В ужас Бертальда пришла от такого рассказа;
на сонный
Бред походил он; но скоро она убедилась, что было
Всё то правда, и только дивилась тому, что в волшебной
Сказке, когда-то в детстве рассказанной ей, очутилась
Вдруг наяву, живая, сама; всё ей в Ундине
Стало чуждо; как будто бы дух бестелесный меж ними
Вдруг протеснился; ей сделалось страшно. Когда ж,
возвратяся,
Рыцарь с нежностью обнял Ундину, то было понять ей
Трудно, как мог он ласкаться к такому созданью,
в котором
(После того, что Бертальде сама рассказала Ундина)
Виделся ей не живой человек, а какой-то холодный
Призрак, что-то нездешнее, что-то чужое душе человека.

Глава XIII

О том, как они жили в замке Рингштеттене

Здесь мы с тобой остановимся, добрый читатель;
прости мне,
Если тебе о том, что после случилось, не много
Буду рассказывать; знаю, что можно бы было подробно
Мне описать, как мало-помалу рыцарь наш сердцем
Стал от Ундины далек и близок к Бертальде, как стало
Сердце Бертальды ему отвечать и час от часу жарче
Тайной любовью к нему разгораться, как стали Ундины
Он и она дичиться и в ней существо им чужое
Видеть, как Ундина плакала, как пробуждали
Слезы ее заснувшую совесть Гульбранда, а прежней
В нем любви уже пробудить не могли, как порою
Жалость его к Ундине влекла, а ужас невольно

Прочь отталкивал, сердце ж стремило к Бертальде,
созданью
С ним однородному... знаю, что это всё я умел бы,
Добрый читатель, порядком тебе рассказать; но позволь
мне
Лучше о том позабыть, что так больно душе; испытали
Все мы неверность здешнего счастья; ты сам, вероятно,
Был им обманут, таков уж земной человеческий жребий.
Счастлив еще, когда при разделе житейского был ты
Сам назначен терпеть, а не мучить; на свете сем доля
Жертвы блаженней, чем доля губителя. Если сей лучший
Жребий был твой, читатель, то, может быть,
слушая нашу
Повесть, ты вспомнишь и сам о своем миновавшем,
и тихо
Милая грусть тебе через душу прокрадется, снова
То, что прошло, оживет, и ты слезу сожаленья
Бросишь опять на цветы, которыми так любовался
Прежде на грядках своих, давно уж растоптанных.
Полно ж,
Полно об этом, читатель. Послушай, и с доброй Ундиной
То же сбылось, что и с нами со всеми: Ундина страдала.
Но и Гульбранд и Бертальда не были веселы. Всякий
Раз, когда Ундина хоть мало была несогласна
В чем с Бертальдой, последней казалось, что ревность
владела
Сердцем обиженной бедной жены; и мало-помалу
Вид госпожи, причудливо-грубой и гордой, Бертальда
С ней приняла; Ундина с грустным незлобием молча
Всё сносила; а рыцарь всегда стоял за Бертальду.
Боле ж всего с недавнего времени вот что согласье
Жителей замка стало тревожить: Гульбранд и Бертальда
Начали вдруг на всех переходах, во всех закоулках
Замка встречать привиденья, о коих дотоле и слуху
Не было; белый, седой человек, в котором проказник
Дядя Струй Гульбрандом, смотритель фонтанов
Бертальдой
Узнаны были, стал им повсюду обоим, Бертальде ж
Чаще, являться с угрозой, так что Бертальда от страха
Стала больна и даже решилась бы замок покинуть,
Если б имела где угол какой для приюта; но честный
Наш рыбак на письмо Гульбранда, которым тогда же

Рыцарь его известил, что Бертальда едет в Рингштеттен,
Вот что ответствовал: «Я по воле господа бога
Стал одинокий, бедный вдовец; скончалась старушка
Женка моя; хоть теперь мне дома и пусто, но лучше
Быть хочу я один, чем с Бертальдой; пускай остается
С вами, но только чтоб не было худа какого Ундине
Милой моей от того; тогда ее прокляну я».
Так-то, сколько неволей, столько и волей, осталась
В замке Бертальда. Вот однажды случилось, что рыцарь
Выехал. Скликав дворовых людей, Ундина велела
Камень один огромный поднять и его на колодезь,
Бывший на самой средине двора, наложить. «Нам далёко
Будет ходить за водою», — заметили слуги. Но с грустным,
Ласковым видом, с унылой улыбкой сказала Ундина:
«Дети, сама бы за вас я с охотою стала в кувшинах
Воду носить; но этот колодезь, поверьте мне, должно,
Должно закрыть нам, иль с нами случится большое несчастье».
Всем служителям было приятно угодное сделать
Доброй своей госпоже; без дальних расспросов огромный
Камень был поднят; и он, показалось, как будто бы доброй
Волей давшись им в руки, с земли поднялся и как будто
Сам рванулся колодезь задвинуть. Но в эту минуту
К ним прибежала из замка Бертальда. «Не троньте колодца, —
Громко она закричала, — его вода умываньем
Лучшим мне служит; его запереть никак не позволю».
Но Ундина с своим обычным смиреньем на этот
Раз осталася в воле своей непреклонна. «Я в здешнем
Замке хозяйка, — сказала она, улыбаясь прискорбно, —
Мне за всем наблюдать; и здесь мне приказывать может
Только рыцарь, мой муж и мой господин». — «Посмотрите, —
С сердцем вскричала Бертальда, — подумать можно, что этой
Бедной, невинной воде самой не хочется с божьим
Светом расстаться: как жалко она трепещет и бьется!»
В самом деле, чудно кипя и шипя, из-под камня
Ключ пробивался, как будто спеша убежать, и как будто
Что из него исторгнуться силой хотело. Тем с большей

Строгостью свой приказ повторила Ундина; охотно
Был он исполнен: Ундину любили, а гордость Бертальды
Всех от нее удаляла, и каждому было приятно
Той угодить, а этой сделать досаду; и камень
Крепко-накрепко устье колодца задвинул. Ундина
Тихо к нему подошла, над ним задумалась, что-то
Пальчиком нежным своим на нем написала, в молчаньи
Грустном потом посмотрела вокруг себя и, вздохнувши,
Медленным шагом в замок пошла. На камне ж остались
Видны какие-то странные знаки, которых дотоле
Не было там. Ввечеру, когда Гульбранд возвратился
В замок Рингштеттен, Бертальда ему в слезах рассказала
То, что случилось с колодцем. Сурово взглянул на Ундину
Рыцарь; она стояла, головку склоня и печально
В землю глаза опустив; но однако, собравшися с духом,
Вот что шепнула в ответ: «Всегда справедлив господин мой;
Он и раба не осудит, не выслушав; тем наипаче
Мне, законной жене, он позволит в свое оправданье
Слово сказать». — «Говори», — сердито ответствовал рыцарь.
«Я бы желала, чтоб был ты один», — сказала Ундина.
«Нет, при ней!» — Гульбранд возразил, указав на Бертальду.
«Я исполню волю твою, — она продолжала, —
Но не требуй того, прошу, умоляю, не требуй».
Голос ее был так убедителен, очи так нежны,
Всё в ней являло такую покорность, что в сердце Гульбранда
Солнечный луч минувших дней пробежал; он Ундину
Дружески за руку взял и в ближнюю горницу с нею
Вышел; и вот что ему сказала она: «Уж коварный
Дядя мой Струй довольно известен тебе; не один раз встречался
Он с тобою здесь в замке; Бертальде же так он
Страшен, что может она умереть. Он бездушен, он просто
Отблеск стихийный наружного мира; что в жизни духовной
Здесь происходит, то вовсе чуждо ему; здесь глядит он
Только на внешность одну. Замечая, как ты недоволен

Мной иногда бываешь, как я, неразумный младенец,
Плачу, как в то же время Бертальду, случайно быть
может,
Что-нибудь заставляет смеяться, в своем безрассудстве
Видит он то, чему здесь и признака нет, колобродит,
Злится и в наши дела незваный мешается; пользы
Нет от того никакой, что ему я грожу и гоняю
С сердцем отсюда его; он мне, упрямый, не верит;
в бездушной,
Бедной жизни своей никогда не будет способен
Он постигнуть того, что в любви и страданье и радость
Так пленительно сходны, так близко родня, что
разрознить
Их никакая сила не может: с улыбкою слезы
Сладко сливаются, слезы рождают улыбку». И очи,
Полные слез, с улыбкой поднявши, она исподлобья
Робко смотрела Гульбранду в лицо; и всё трепетанье
Прежней любви он почувствовал в сердце; Ундина
глубоко
То поняла, к нему прижалась нежней и в блаженстве
Радостных слез продолжала: «Когда словами не можно
Нам бестолкового дядю Струя унять, то затворим
Вход ему в замок; единственный путь, которым сюда он
Может свободно всегда проникать, есть этот колодезь;
Он с другими духами здешних источников в ссоре;
Царство ж его начинается ниже, вдоль по Дунаю.
Вот для чего я на камне, которым колодезь задвинут,
Знаки свои написала: они беспокойного дядю
Струя власти лишили, и он ни тебя, ни Бертальду
Боле не будет тревожить; он камня не сдвинет. Но
людям
Это легко; ты можешь исполнить желанье Бертальды;
Но, поверь мне, она не знает, чего так упрямо
Требует; Струй на нее особенно злится. А если
Сбудется то, что он предсказал мне (хотя и без всякой
Мысли худой от тебя), то и сам ты, мой милый,
не будешь
Вне опасности». Рыцарь, глубоко проникнутый в сердце
Великодушным поступком своей небесной Ундины,
Обнял ее с горячностью прежней любви. «Мы не тронем
Камня; отныне ж и всё, что ты когда ни прикажешь,
Будет в замке от всех, как теперь, исполняемо свято,

Друг мой Ундиночка». Так ей рыцарь сказал, и Ундина,
Руку целуя ему в благодарность за милое, столько
Времени им позабытое слово любви, прошептала
Робко: «Милый мой друг, ты ныне со мной
так безмерно
Милостив, ласков и добр, что еще об одном попрошу я.
Видишь ли... Ты для меня как светлое лето;
в сильнейшем
Блеске своем оно иногда себя покрывает
Огненно-грозным венцом громовых облаков и владыкой,
Истинным богом земли нам является; точно таков ты
Кажешься мне, когда, на меня прогневан бывая,
Грозно сверкаешь, гремишь и очами и словом; и в этом,
Милый, твоя красота, хотя и случится порою
Мне, безрассудной, плакать; но слушай, друг мой:
воздержан
Будь на водах от гневного слова со мною; единым
Словом таким меня передашь ты в волю подводных
Сродников; мстя за обиду их рода, они невозвратно
В море меня увлекут, и там в продолжение целой
Жизни я буду под влажно-серебряным сводом в неволе
Плакать, и мне уж к тебе не прийти; а если приду я...
Боже! то это будет и пуще тебе на погибель.
Нет, мой сладостный друг, избавь меня от такого
Бедствия». Рыцарь торжественно дал обещанье исполнить
Просьбу ее, и они с веселым лицом возвратились
В горницу, где их Бертальда ждала. Она уж успела
Слуг к колодцу послать, чтоб они, по первому знаку
Рыцаря, камень свалили с него. «Не трогайте камня, —
Холодно рыцарь сказал, — и помните все, что Ундина
В замке моем одна госпожа, что ее приказанья
Святы». При этом слове Бертальда, в лице изменившись,
Скрылась. Вот уж и ужина час наступил, а Бертальды
Не было. Рыцарь послал за нею, но вместо Бертальды
В спальне ее опустевшей нашли записку на имя
Рыцаря; вот что стояло в записке: «Вы приняли, рыцарь,
В дом свой меня, недостойную дочь рыбака, и о низком
Роде своем я безумно забыла; за то в наказанье
Доброю волей иду к отцу рыбаку, чтоб, в убогой
Хижине скрывшись, о счастье земном не мечтать;
наслаждайтесь
Долго им вместе с вашей прекрасной супругой». Ундина

Сильно была опечалена; рыцаря вслед за Бертальдой
Стала она посылать — ее убежденья, однако,
Были ненужны; он сам на то был готов. Но в какую
Сторону ехать за ней? Никто об этом не ведал.
Рыцарь сидел на коне и хотел уж свой путь наудачу
Выбрать, как вдруг явился пастух и сказал, что Бертальда
Встретилась с ним у входа Черной Долины; стрелою
Рыцарь пустился туда, не слыша того, что в окошко
Вслед за ним кричала Ундина: «Не езди! не езди,
Милый! постой! Гульбранд, берегися Черной Долины!
Стой! назад! иль, бога ради, позволь мне с собою
Ехать! . .» Но рыцарь уж был далеко. Ундина поспешно
Села сама на коня и одна за ним поскакала.

Глава XIV

О том, как отыскалась Бертальда

Эта долина, в то время слывшая Черной Долиной,
Очень близко была от замка, а как называют
Нынче ее, неизвестно; тогда ж поселяне ей имя
Черной дали за то, что глубоко средь диких утесов,
Елями густо заросших, лежала она, что кипучий,
Быстрый поток, на скалистом дне ущелья шумевший,
Черен меж елей бежал и что небо нигде голубое
В мутные воды его не светило. В сумерки стало
Вдвое темней и ужасней меж елей и диких утесов.
Рыцарь с трудом пробирался вдоль берега; страшно
Было ему за Бертальду, и засветло встретиться с нею
Он торопился; по всем сторонам с напряженным вниманьем
Взор обращал он, и сердце в нем билось сильней; он со страхом
Думал: что будет с нею, если заблудится в этом
Диком месте, ночью и в грозу, которая черной,
Тяжкой тучей шла на долину? Вдруг показалось
Белое что-то ему в потемках, на склоне утеса;
Он подумал, что было то платье Бертальды, и шпорить
Начал коня; но конь захрапел, уперся и, уши
Чутко подняв, не шел ни назад, ни вперед; чтоб напрасно не тратить

Времени, рыцарь спрыгнул с седла, к опрокинутой ветром
Ели коня привязал и пеший вперед пробираться
Начал кустами; он спотыкался; упорные ветви
Били его по лицу и как будто нарочно сплетались
Сетью, чтоб дале не мог он идти; он ломал их, а небо
Тою порою всё боле и боле мрачилось, и глухо
Гром гремел по горам, и всё кругом становилось
Странным таким, что он уж и робость чувствовать начал,
Глядя на белый образ, к которому ближе и ближе
Всё подходил и который лежал на земле неподвижно.
С духом собравшись, к нему наконец подступил он; сначала
Сучьями тихо потряс, мечом позвенел — никакого
Нет ответа. «Бертальда! Бертальда!» — он начал сначала
Тихо, потом всё громче и громче кликать — ответа
Всё ему нет. Наконец закричал он так громко, что эхо
Вместе с ним закричало повсюду: «Бертальда!» — напрасно;
То же молчанье. Тогда он к ней наклонился; но было
Так уж темно, что, не могши по́д носом видеть, пригнулся
К самой земле он лицом, и в эту минуту сверкнула
Яркая молния; всё осветилось, и что же в блеске увидел
Рыцарь? Под самым лицом его отразилась из черной
Тьмы безобразно-свирепая харя, и голос осиплый
Взвыл: «Поцелуйся со мной, пастушок дорогой!» Приведенный
В ужас, кинулся рыцарь назад; но свирепая харя
С визгом и хохотом кинулась вслед. «Зачем ты? Куда ты?
Духи на воле! назад! убирайся! иль будешь ты нашим!» —
Вот что выла она, и длинные руки хватали
Рыцаря. «Струй проклятый! — Гульбранд закричал, ободрившись, —
Это твои проказы! постой, я тебя поцелую!»
Сильно он треснул по харе мечом; она разлетелась
В брызги, и рыцарь пеной, шипящей, как хохот, был облит
Весь с головы до ног; тогда объяснилося, с кем он
Дело имел. «Меня удержать он, я вижу, намерен, —

Рыцарь громко сказал, — он думает, я испугаюсь
Шуток бесовских его и Бертальду бедную брошу
Злому духу во власть. Демон бездушный не знает,
Как всемогущ человек своей непреклонною волей!»
Сам он почувствовал истину слов сих; новая бодрость
В нем родилась, и как будто бы счастие с этой минуты
Стало с ним заодно: к своему коню возвратиться
Он еще не успел, как уж явственно сделался слышен
Жалобный голос Бертальды, зовущей на помощь сквозь шумный
Ветер и говор грозы, подходившей час от часу ближе.
Он полетел на крик и увидел Бертальду. Из страшной
Черной Долины силяся выйти, она по крутому
Боку ее тащилася кверху; тут заступил ей
Рыцарь дорогу; и как ни твердо, в своей оскорбленной
Гордости, прежде решилась она на побег, но встретить Гульбранда
Было ей радостно; ужас, испытанный ею в дороге,
Сердце ее усмирил, а светлая жизнь в безмятежном
Замке так ласково руки к ней простирала, что рыцарь
Тотчас ее за собою идти убедил. Но Бертальда
Силы почти не имела; Гульбранд с большим затрудненьем
Мог ее до коня своего довести; и помочь ей
Сесть на седло он хотел, чтоб, коня отвязав, за собою
Весть его в поводах; но конь, испуганный Струем,
Был как зверь: он злился, храпел, на дыбы подымался,
Задом и передом бил; Бертальде даже и близко
Было нельзя подойти. Пошли пешком: осторожно
Рыцарь спутницу под руку вел, а коня за собою
Силой тащил за узду; Бертальда едва подвигала
Ноги и как ни боролась с собой, но усталость давила
Члены ее, как свинец; а буря, удар за ударом
Грома, сверкание молнии, шум деревьев во мраке,
Злая игра привидений... словом, Бертальда, слияньем
Ужасов сих изнуренная, пала на землю; и в то же
Время рыцарев конь, как будто взбесившийся, начал
Снова метаться и рваться. Рыцарь, боясь, чтоб в Бертальду
Он не ударил, хотел от нее отойти; но Бертальда
С воплем его начала умолять, чтоб остался. На волю ж
Злого коня пустить он не смел: он боялся, что этот

Дикий зверь, набежав на лежащую, тяжким копытом
Грянет в нее: короче, на что решиться, что делать,
Рыцарь не знал. И вдруг он обрадован был недалеким
Стуком колес: каменистой дорогой, он слышал, тащилась
Фура. Гульбранд закричал, чтоб им помогли; грубоватый
Голос мужской откликнулся; скоро в потемках мелькнули
Две огромные белые лошади, с ними погонщик
Роста огромного, в белом плаще; и фура покрыта
Белой холстиной была, как все повозки с товаром.
«Стойте, клячи!» — крикнул погонщик, и лошади стали.
Он подошел к Гульбранду, который с конем одичалым
Всё еще бился. «Я вижу, в чем дело, — сказал он, —
с моими
Белыми то же случилось, когда я в первый раз с возом
Этой долиной тащился; здесь гнездится какой-то
Бес водяной: он великий проказник, проезжим покоя
Нет от него; но мне удалося сведать словечко;
Дай-ка шепну я его упрямой этой лошадке
На ухо». — «Делай что хочешь, но только скорее», —
воскликнул
Рыцарь, кипя нетерпеньем. Погонщик, как слабую ветку,
Вытянул шею коню, на дыбы вскочившему; что-то
В ухо ему шепнул, и как вкопанный стал он, лишь только
Жарко пыхтел, и пар от него подымался. Не время
Было Гульбранду расспрашивать, как совершилося чудо;
Он убедил погонщика взять в повозку Бертальду,
Сам же хотел провожать ее на коне; но усталый
Конь едва шевелил ногами. «Садитесь-ка, рыцарь,
В фуру и вы, — погонщик сказал, — дорога отсюда
По́д гору будет; коня же привяжем сзади повозки».
Рыцарь сел с Бертальдою в фуру, коня привязали
Сзади, бичом захлопал погонщик, дернули дружно
Лошади, фура поехала. Было темно; утихая,
Глухо вдали гремела гроза; в усладительно мирном
Чувстве своей безопасности, в сладком покое,
в волшебном
Мраке ночи, свободе речей благосклонном, меж ними
Скоро сердечный, живой разговор начался: в выраженьях
Ласковых рыцарь Бертальде пенял за побег. Торопливо,
Трепетным голосом, вся в волненьи Бертальда проступок
Свой извиняла, и речи ее таинственно-ясны
Были, как свет лампады, когда во мраке от милой

Милому знак подает, что его ожидают. Рыцарь
Был в упоеньи. Но вдруг пробудил их погонщиков голос.
«Клячи, тяните живее! — кричал он, — дружно! беда нам!»
Рыцарь поспешно из фуры выглянул — что ж он увидел?
Лошади, по брюхо в мутной воде, не шагали, а плыли;
Не было видно колес; они, как на мельнице, с шумом,
С пеной и с брызгами резали волны; погонщик на козлы
Взлез и правил стоймя, и был уж в воде по колено.
«Что за дорога такая? — спросил у погонщика рыцарь. —
Прямо идет в середину потока». — «Напротив! — погонщик
С смехом сказал, — поток идет в середину дороги;
Видите сами: это сущий потоп; мы пропали».
Подлинно, вся глубина долины кипела волнами;
Выше и выше они подымались. «Это злодей наш
Струй! утопить нас он хочет, — рыцарь воскликнул. — Товарищ,
Нет ли и против него у тебя какого словечка?» —
«Есть словечко, — погонщик сказал, — да надобно прежде
Сведать вам, кто я и как прозываюсь!» — «Не время загадки
Нам загадывать, — рыцарь сказал, — вода прибывает;
Имя твое здесь ненужно». — «А так-то ненужно, — погонщик
С диким хохотом гаркнул, — что, просим не гневаться, сам я
Струй!» — И ужасную харю свою он уставил в повозку. . .
Но повозка уж боле была не повозка, уж были
Лошади боле не лошади; всё разлетелось, расшиблось
В пену, в шипучую воду, и сам погонщик поднялся
Страшной волной на дыбы, и коня, который напрасно
Рвался и бился, умчал за собой в глубину, и ужасно
Начал снова расти и расти, и горой водяною
Вырос, и был уж готов на Бертальду и рыцаря, силой
Волн увлеченных, упасть, чтоб громадой своей задавить их. . .
Вдруг сквозь шум гармонически-сладостный голос раздался;
Вышел из облака месяц, и в свете его над долиной явился
Образ Ундины; она погрозила волнам — и, разбившись

Пылью, гора водяная, ворча и журча, убежала;
В блеске месяца мирно поток заструился; и белым
Голубем свеяла тихо Ундина в долину; и, руку
Рыцарю вместе с Бертальдой подав, на муравчатый берег
Их за собой увела; там они отдохнули; Ундинин
Конь был отдан Бертальде; за нею пешком потихоньку
Рыцарь с женою пошли; и так возвратились все в замок.

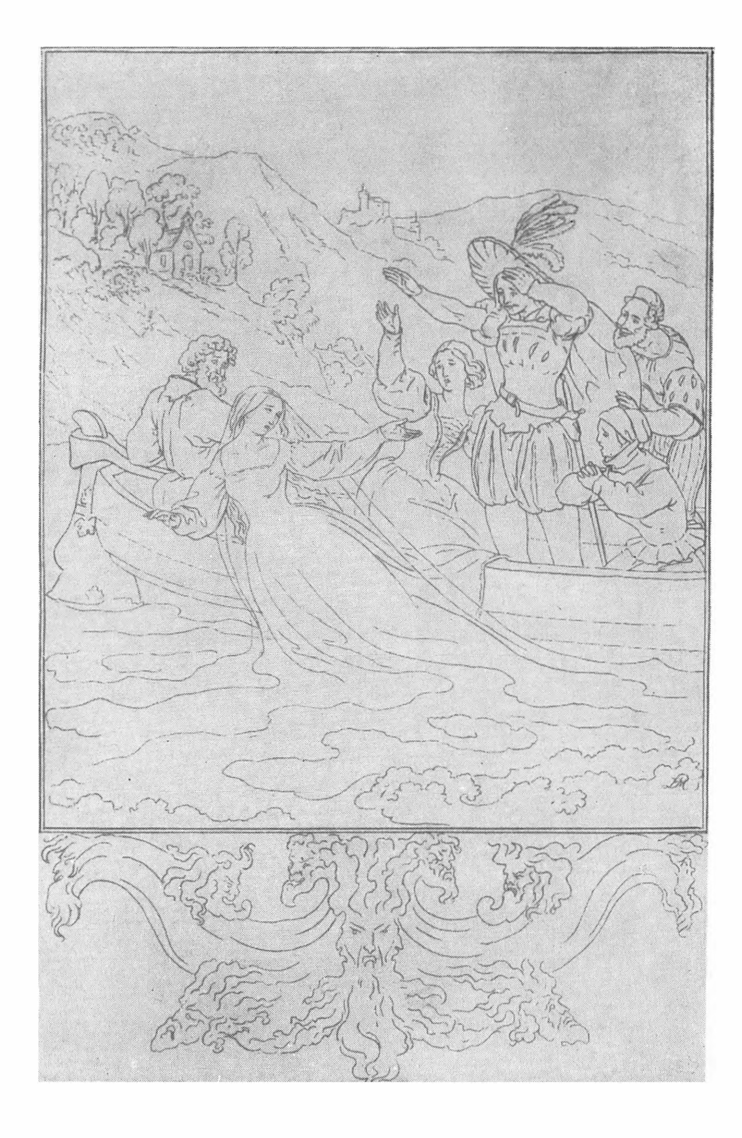
Глава XV

О том, как они ездили в Вену

С этой поры, мой читатель, жилось покойно и мирно
В замке Рингштеттене. Рыцарь всё чувствовал боле
и боле
Прелесть небесную доброго сердца Ундины, забывшей
Всё для спасенья соперницы. В доброй Ундине
Всякая память о прошлом исчезла: она беззаботным
Сердцем любила и, зная, что шла прямою дорогой,
Ясную в нем питала доверенность; всё в настоящем
Было ей радостно; в будущем всё улыбалось. Бертальда,
Снова ей с прежней любовью всю душу отдав,
благодарной,
Кроткой и нежной являлась; короче, замок Рингштеттен
Стал обителью светлого счастья. Дни пролетали
Быстро за днями; зима наступила; зима миновалась;
Вот и весна с благовонно-зеленой своей муравою,
С светлолазоревым небом своим улыбнулась веселым
Жителям замка; стало на сердце их радостно, стало
и смутно.
Что ж тут дивиться, если, при виде, как в воздухе
вешнем
Нитью вились журавли и легкие ласточки мчались,
Стало и их позывать в далекую даль. Раз случилось
Рыцарю вместе с женой и Бертальдой в прекрасное утро
Около светлых истоков Дуная гулять; им об этой
Славной реке он рассказывал много: как протекала
Пышным, широким потоком она по землям благодатным,
Как на ее берегах прекрасная Вена сияла,
Как по ней величаво ходили суда, как бежали
Мимо плывущих назад берега, услаждая их очи
Зрелищем пажитей, нив, городов и рыцарских замков.

«О! — сказала Бертальда, — как было бы весело
съездить
В Вену водой. . .» — но опомнясь, она покраснела и взоры
Робко потупила. Милым ее смущеньем Ундина
Тронувшись, руку ей подала, и в ней загорелось
Сильно желанье утешить подругу свою. «Да за чем же
Дело стало? — сказала она. — Ничто не мешает
Съездить нам в Вену». Бертальда запрыгала с радости.
Вместе
Стали они учреждать поездку свою и заране
Тем, что представится им на пути, восхищались. И рыцарь
С ними был заодно; Ундине, однако, шепнул он:
«Вспомни о Струе; ведь он могуч на Дунае». —
«Не бойся, —
С смехом сказала Ундина, — пускай он попробует
сделать
Что-нибудь с нами; я тут! при мне уж никак
колобродить
Он не посмеет». Ответом таким уничтожены были
Все затрудненья, и с бодрым духом, с веселой надеждой
Стали готовиться в путь. Но скажите мне, добрые люди,
Всё ли сбывается так на земле, как надежда сулит нам?
Хитрая Власть, стерегущая нас для погибели нашей,
Сладкие песни, чудные сказки подмеченной жертве
На ухо часто поет, чтоб ее убаюкать. Напротив,
Часто спасительный божий посланник громко и страшно
В двери наши стучится. Как бы то ни было, наши
Путники весело плыли в первые дни по Дунаю:
День ото дня река становилася шире и виды
Пышных ее берегов живописней. Но вдруг — и на самом
Чудно-прелестном месте — открыл свои нападенья
Бешеный Струй; то были сначала простые помехи
(Волны бурлили без ветра; ветер отвсюду, меняясь,
Дул и судно качал); но Ундина одною угрозой,
Словом сердитым одним на воздух и в воды смиряла
Силу врага; то было, однако, ненáдолго: снова
Он гомозился, и снова Ундина его унимала;
Словом сказать, веселость дороги расстроилась вовсе.
В то же время гребцы, дивяся тому, что в глазах их
Делалось, между собою часто шептались; и скоро
Стали на всё с подозреньем посматривать; самые слуги
Рыцаря, чувствуя что-то недоброе, диким и робким

Взором следили господ; а Гульбранд, задумавшись грустно,
Сам про себя говорил: «Таково-то бывает, как скоро
Здесь неровные сходятся; худо, если вступает
В грешный союз земной человек с женой водяною».
Вот что, однако, себе в утешенье твердил он: «Ведь прежде
Сам я не ведал, кто она; правда, тяжко порою
Мне приходит от этой бесовской родни; но мое здесь
Горе, вина ж не моя». Хотя иногда и вливал он
Несколько бодрости в душу свою таким рассужденьем,
Но зато, с другой стороны, всё боле и боле
Против бедной Ундины был раздражаем. То слишком,
Слишком она понимала, и в смертную робость угрюмый
Рыцарев вид ее приводил. Утомленная страхом,
Горем и тщетной борьбой с необузданным Струем, присела
Под вечер к мачте она, и движение тихо плывущей
Лодки ее укачало: она погрузилась в глубокий
Сон. Но едва на мгновенье одно успели закрыться
Светлые глазки ее, как вдруг перед каждым из бывших
В лодке, в той стороне, куда он смотрел, появилась,
Вынырнув с шумом из вод, голова с растворенным зубастым
Ртом и кривлялась, выпучив страшно глаза. Закричали
Разом все; отразился на каждом лице одинакий
Ужас, и каждый в свою указывал сторону с криком:
«Здесь! сюда посмотри!» И из каждой волны создалася
Вдруг голова с ужасным лицом, и поверхность Дуная
Вся как будто бы прыгала, вся сверкала глазами,
Щелкала множеством зуб, хохотала, гремела, шипела,
Шикала. Крик разбудил Ундину, и вмиг при воззреньи
Гневном ее пропали страшилища все. Но рыцарь ужасно
Был раздражен; с умоляющим взглядом Ундина сказала:
«Ради бога, здесь на водах меня не брани ты».
Он умолкнул, сел и задумался. «Друг мой, — шепнула
Снова Ундина, — не лучше ль нам дале не ездить? Не лучше ль
В замок Рингштеттен обратно отправиться? В замке
Будем спокойны». — «Итак, — проворчал, нахмурившись, рыцарь, —
В собственном доме своем осужден я жить как невольник!



Только до тех пор и можно дышать мне, пока на колодце
Будет камень! Чтоб этой проклятой родне...» Но Ундина
Речь его перебила, с улыбкой ему наложивши
На губы руку. Опять замолчал он, вспомнив о данном
Им обещанье Ундине. В эту минуту Бертальда,
В мыслях о том, что делалось с ними, сидела на крае
Лодки и в воды глядела; сама того не приметив,
С шеи своей она сняла ожерелье, подарок
Рыцаря; им водила она по поверхности ровных
Вод, любуясь, как будто сквозь сон, сверканьем жемчужных
Зерен в прозрачной, вечерним лучом орумяненной влаге.
Вдруг расступилась вода, и кто-то, огромную руку
Высунув, ею схватил ожерелье и быстро пропал с ним.
Вскрикнула громко Бертальда, и хохот пронзительный грянул
Отзывом крика ее по водам. Тут более рыцарь
Гнева не мог удержать; он вскочил в исступленьи и в реку
Начал кричать, вызывая на битву с собой всех подводных
Демонов, никс и сирен; а Бертальда своим безутешным
Плачем о милой утрате и пуще его раздражала.
Тою порою Ундина, к реке наклонясь, окунула
Руку в прозрачные волны и что-то над ними шептала;
Но поминутно она прерывала свой шепот, Гульбранду
Голосом нежным твердя: «Возлюбленный, милый, подумай,
Где мы; брани их как хочешь; со мной же ни слова; ни слова,
Ради бога, со мною одною; ты знаешь». И рыцарь,
Как ни был раздражен, но ее пощадил. Вдруг Ундина
Вынула влажную руку из вод, и в ней ожерелье
Было из чудных кораллов; своим очарованным блеском
Всех ослепило оно. Его подавая Бертальде,
«Вот что, — сказала она, — для тебя из реки мне прислали,
Друг мой, в замену потери твоей. Возьми же, и полно
Плакать». Но рыцарь в бешенстве кинулся к ней, ожерелье

Вырвал, швырнул в Дунай и воскликнул: «Ты с ними
Всё еще водишь знакомство, лукавая тварь! пропади ты
Вместе с своими подарками, вместе с своею роднею!
Сгинь, чародейка, от нас и оставь нас в покое! . .»
С рукою,
Всё еще поднятой вверх, как держала она ожерелье,
Бледная, страхом убитая, взор неподвижный, но полный
Слез устремив на Гульбранда, Ундина его слова роковые
Слушала; вдруг начала, как милый ребенок, который
Был без вины жестоко наказан, с тяжким рыданьем
Плакать и вот что сказала потом истощенным от горя
Голосом: «Ах, мой сладостный друг! ах, прости невозвратно!
Их не бойся; останься лишь верен, чтоб было мне можно
Зло от тебя отвратить. Но меня уводят; отсюда
Прочь мне должно на всю молодую жизнь. . . о мой милый,
Что ты сделал! ах, что ты сделал! о горе! о горе! . .»
Тут из лодки быстро она в реку ускользнула:
В воду ль она погрузилась, сама ли водой разлилася,
В лодке никто не приметил; было и то и другое,
Было ни то, ни другое. Следа не оставив, в Дунае
Вся распустилась она; но долго мелкие струйки
Около судна шептали, журчали, рыдая; и вслух доходили
Внятно как будто слова: «О горе! будь верен! о горе! . .»
С жалобным криком рыцарь упал, и обморок сильный
Душу ему на минуту отвел от тяжелыя муки.

Глава XVI

О том, что после случилось с рыцарем

Как нам, читатель, сказать — к сожаленью иль к счастью, что наше
Горе земное ненáдолго? Здесь разумею я горе
Сердца, глубокое, нашу всю жизнь губящее горе,
Горе, которое с милым, потерянным благом сливает
Нас воедино, которым утрата для нас не утрата,
Смерть вдвоем бытие, а жизнь порыв непрестанный
К той черте, за которую милое наше из мира
Прежде нас перешло. Есть, правда, много избранных

Душ на свете, в которых святая печаль, как свеча пред
иконой,
Ярко горит, пока догорит; но она и для них уж
Всё не та под конец, какою была при начале,
Полная, чистая; много, много иного, чужого
Между утратою нашей и нами уже протеснилось;
Вот наконец и всю изменяемость здешнего в самой
Нашей печали мы видим... итак, скажу: к сожаленью,
Наше горе земное ненáдолго. Это и рыцарь
Также изведал — к худу ль, к добру ль своему,
мы увидим.
Он сначала только и мог, что плакать, так горько
Плакать, как плакала бедная, кроткая, ангел доброты,
Ундина,
Стоя в лодке, когда он отнял у ней ожерелье,
Коим она всё поправить так мило хотела; потом он
Так же и руку вверх подымал, как Ундина, и снова
Плакал, и весь изойти слезами хотел. И Бертальда
Вместе с ним плакала искренно, горько. Друг подле
друга
В замке Рингштеттене тихо жили они, сохраняя
Свято память Ундины и вовсе почти позабывши
Прежнюю склонность. К тому ж в это время случалось
Часто и то, что Гульбранда во сне посещала Ундина:
Грустно к постеле его подходила она, и смотрела
Пристально в очи ему, и плакала молча, и тихо,
Тихо потом назад уходила, так что, проснувшись,
Сам он наверно не знал, его ли, ее ли слезами
Были так влажны щеки его. Но вот напоследок
Эти сны об Ундине стали час от часу реже;
Стало на сердце рыцаря тише; в нем скорбь призаснула.
Но, быть может, что он для себя ничего и придумать
В жизни не мог бы иного, как только чтоб память
Ундины
Верно хранить и об ней горевать, когда б не явился
В замке наш честный старый рыбак и не стал от
Гульбранда
Требовать дочери. Сведав по слуху о том, что с Ундиной
Сделалось, доле терпеть он уже не хотел, чтоб Бертальда
В замке одном жила с неженатым. «Рада ль, не рада ль
Будет мне дочь, о том я теперь и знать не желаю, —
Он говорил, — но где о честном имени дело,

Там разбирать уж нельзя». С приходом его пробудилось
В рыцаре прежнее чувство, им позабытое вовсе
В горе по милой Ундине; притом же его ужаснула
Мысль: одному в опустевшем замке остаться. Но много
Против брака с Бертальдой отец говорил в возраженье:
«То́чно ль Ундины на свете не было? Впрочем — на дне ли
Влажном Дуная тело ее неотпетым лежало,
Море ль его без приюта носило своими волнами —
Всё Бертальда отчасти ее безвременной, жалкой
Смерти причиной была, и великий грех заступить ей
Место бедной жены, от нее пострадавшей». Хоть это
Было и правда, но рыцарь стоял на своем; напоследок,
С ним согласившись, рыбак остался в замке. И тотчас
Был отправлен гонец за отцом Лаврентием с зовом
В замок Рингштеттен: Гульбранду хотелось, чтоб тот же, кем первый
Брак с Ундиной его в счастливые дни совершен был,
Ныне и с новой женою его сочетал. Но священник,
С страхом каким-то посланника выслушав, тотчас
В путь отправился; день и ночь, несмотря на усталость —
Было ль ненастье иль ясное время, — он шел. «Помоги мне,
Господи, зло отвратить», — он молился. И вот напоследок
Вечером поздним одним он вступил на двор, осененный
Старыми липами, замка Рингштеттена. Рыцарь с невестой,
Веселы, рядом с ними рыбак, задумчив, под тенью
Лип сидели. Увидя отца Лаврентия, рыцарь
С радостным криком вскочил, и все его окружили.
Но священник был молчалив, прискорбен; хотел он
Рыцарю что-то сказать одному; но рыцарь, как будто
Весть худую предчувствуя, медлил вступить в особливый
С ним разговор. Священник сказал напоследок: «Таиться
Здесь мне не нужно; до всех вас касается то, что скажу я;
Слушайте ж, рыцарь. Точно ль уверены вы, что супруга
Ваша скончалась? Мне не верится это. Хоть много
Было разной молвы и об ней самой и о роде
Чудном ее — что правда, что нет, я не знаю, — но знаю
То, что она была добронравной, верной, смиренной,
Благочестивой женою; а вам я скажу, что с недавних
Пор она по ночам начала мне являться: приходит,

Плачет, ломает руки, вздыхает и всё говорит мне:
«Честный отец, удержи ты его; я жива; о, спаси ты
Тело ему! о, спаси ты душу ему! . .» И сначала
Сам я понять не умел, чего хотело виденье:
Вдруг посольство отсюда — и здесь я; но я не для брака
Здесь, для развода. Гульбранд, откажись от Бертальды;
Бертальда,
Рыцарь не может быть мужем тебе, им владеет другая.
Верьте мне, верьте, или ваш брак вам не будет
на радость».
Рыцарь с досадою выслушал старца Лаврентия; долго
Спорили жарко они; напоследок патер с сердитым
Видом из замка ушел, не желая и ночи единой
В нем провести. Гульбранд, уверив себя, что священник
Был сумасброд и мечтатель, послал в монастырь,
по соседству
С замком лежавший, за патером; тот без труда согласился
Брак совершить, и день для обряда был тут же назначен.

Глава XVII

О том, как рыцарь видел сон

Было время меж утра и ночи, когда на постеле
Рыцарь, сонный не сонный, лежал. Уже забываться
Начал он; вдруг перед ним невидимкой ужасное что-то
Стало; и он очнулся, как будто услышав какой-то
Голос, шепнувший: к тебе подошел посетитель
бесплотный;
Силиться стал он, чтоб вовсе проснуться, но вот он
услышал
Снова: как будто над ним и под ним лебединые крылья
Веяли, волны журчали и пели; и он, утомленный,
В сладкой дремоте опять упал головой на подушку.
Вот наконец и подлинно сон овладел им; и начал
Видеть во сне он, что будто им слышанный шум
лебединых
Крыльев крыльями стал, что будто его подхватили
Эти крылья и с ним над землей и водой полетели
С сладостным веяньем, с звонким стенанием. «Стон
лебединый!
Стон лебединый! (себе непрестанно твердил поневоле

Сонный рыцарь) ведь он предвещает нам смерть».
И казаться
Стало ему, что под ним Средиземное море; и лебедь,
Слышалось, пел: расступись, озарись, Средиземное море.
Вниз посмотрел он: лазурные воды стали прозрачным,
Чистым кристаллом, и мог он насквозь до самого дна их
Видеть; и там он увидел Ундину; под светлым,
кристальным
Сводом сидела она и плакала горько; и было уж много,
Много в ее лице перемены; не та уж Ундина
Это была, с которою в прежнее время так счастлив
Был он в замке Рингштеттене: очи, столь ясные прежде,
Были тусклы, щеки впалы, болезнен был образ.
Всё то рыцарь заметил; но ею самой он, казалось,
Не был замечен. И вот подошел к ней, рыцарь увидел,
Струй, как будто с упреком за то, что так безутешно
Плакала; тут Ундина с таким повелительным видом
Встала, что Струй перед нею как будто смутился.
«Хотя я
Здесь под водами живу, — сказала она, — но с собою
Я принесла и душу живую; о чем же так горько
Плачу, того тебе никогда не понять; но блаженны
Слезы мои, как всё блаженно тому, кто имеет
Верную душу». Струй, покачав головою с сомненьем,
Начал о чем-то думать, потом сказал: «Ты, как хочешь,
Чванься своею живою душою, но всё ты под властью
Наших стихийных законов, и всё ты обязана строгий
Суд наш над ним совершить в ту минуту, когда он
Верность нарушит тебе и женится снова». — «Но в этот
Миг он еще вдовец, — отвечала Ундина, — и грустным
Сердцем любит меня». — «Вдовец, я не спорю, —
со смехом
Струй отвечал, — но он и жених, а скоро и мужем
Будет; тогда уж ты, не прогневайся, с нашим
посольством,
Хочешь не хочешь, пойдешь; а это посольство сама ты
Знаешь какое — смерть». — «Но знаю и то, что не можно
В замок Рингштеттен войти мне, — сказала с улыбкой
Ундина: —
Камень лежит на колодце». — «А если он выйдет из
замка? —
Струй возразил. — А если велит он камень с колодца

Сдвинуть? Ведь он об этих безделках забыл». —
«Для того-то, —
С ясной сквозь слезы улыбкой сказала она, — и летает
Духом теперь он поверх Средиземного моря и слышит
Сонный всё то, что мы с тобой говорим; я нарочно
Это устроила так, чтоб он остерегся». Приметя
Рыцаря, Струй взбесился, топнул ногой, кувыркнулся
В волны и быстро уплыл, раздувшись от ярости китом.
Лебеди снова со звоном, со стоном начали веять,
Начали реять; и снова рыцарю видеться стало,
Будто летит он, летит над горами, летит над водами,
Будто на замок Рингштеттен слетел и будто проснулся.
Так и было: проснулся Гульбранд у себя на постеле.
В эту минуту вошел кастелян объявить, что близ замка
Встречен был патер Лаврентий, что он в лесу недалеко
Сделал себе из сучьев шалаш и в нем поселился. —
Мне на вопрос, зачем он живет здесь, когда отказался
Рыцарев брак освятить, отвечал он: «Разве одни лишь
Браки должны освящать мы? Другие нередко обряды
Нам совершать случается. Если не мог пригодиться
Я на одно, пригожусь на другое, и жду; пированье
Может легко перейти в гореванье. Итак, кто имеет
Очи — да видит; кто уши имеет — да слышит». —
В раздумье
Долго рыцарь сидел, вспоминая свой сон и значенье
Слов отца Лаврентия силясь понять; но пришедши
К милой невесте, он всё позабыл, разгулялся и снова
Сделался весел, и всё осталось попрежнему в замке.

Глава XVIII

О том, как рыцарь праздновал свадьбу

Если рассказывать мне, читатель, подробно, каков был
В замке Рингштеттене свадебный пир, то будет с тобою
То же, как если бы вдруг ты увидел множество всяких
Редких сокровищ, покрытых траурным флером, и в этом
Злую насмешку нашел над ничтожностью счастья
земного.
Правда, в этот свадебный день ничего не случилось
Страшного в замке — духам водяным, уж это мы знаем,
Было проникнуть в него нельзя, — но со всем тем наш
рыцарь,

Гости, рыбак и даже служители были все как-то
Смутны; казалося всем, что на празднике с ними кого-то
Главного нет и что этим главным никто уж не мог быть,
Кроме смиренной, ласковой, всеми любимой Ундины.
Всякий раз, когда отворялися двери, невольно
Все на них обращали глаза и ждали; когда же
Вместо желанной являлся иль с блюдом дворецкий, иль ключник
С кубком вина благородного, каждый печально в тарелку
Взор опускал и сидел безгласен, как будто бы в грустной
Думе о прошлом. Всех веселее была молодая;
Но и ей самой как будто совестно было
В брачном зеленом венце, в жемчугах и в богатом венчальном
Платье на первом месте сидеть, тогда как Ундина
«Трупом, еще не отпетым, на дне Дуная лежала
Или носима была без приюта морскими волнами».
Эти отцовы слова и прежде мутили ей сердце;
Тут же они отзывались в ушах ее беспрестанно.
Рано гости оставили замок, и каждый с каким-то
Тяжким предчувствием. Рыцарь пошел к себе, молодая
Также к себе — раздеваться. Кругом новобрачной
Были прислужницы. Вот, чтоб немного свои порассеять
Черные мысли, Бертальда велела подать дорогие
Перстни, жемчужные нитки и платья, рыцарем к свадьбе
Ей подаренные; стала примеривать то и другое.
Льстя ей, прислужницы вслух восхищались ее красотою;
С видом довольным слушая их, Бертальда смотрелась
В зеркало; вдруг сказала: «Ах! боже! какая досада!
Вот опять у меня на шее веснушки; а можно б
Тотчас согнать их; стоило б только водой из колодца
Нашего раз обтереться; ах! если б мне нынче ж хоть кружку
Этой воды достали!» — «О чем же тут думать?» — сказала,
Бросившись в двери, одна из прислужниц. «Неужто успеет
Эта проказница камень поднять?» — с довольной усмешкой
Вслед за нею смотря, Бертальда подумала. Скоро
Сделался шум на дворе: с рычагами к колодцу бежали
Люди. Бертальда села подле окна и при ярком

Блеске полной луны, освещавшем двор замка, ей было
Видно всё, что делалось там. Работники дружно
Двинули камень, хотя иному из них и прискорбно
Было подумать, что им теперь надлежало разрушить
То, что было приказано сделать прежнею, доброй
Их госпожою; но труд был не так-то велик, как сначала
Думали; им извнутри колодца как будто какая
Сила камень поднять помогала. Дивясь, говорили
Между собою работники: «Можно подумать, что бьет там
Сильный ключ». И в самом деле с отверстия камень
Сам собой подымался; без всякой помоги, свободно
Сдвинулся он и, со стуком глухим откатясь, повалился.
Вдруг из колодца что-то, как будто белый прозрачный
Столб водяной, поднялося торжественно, тихо. Сначала
Подлинно бьющим ключом показалось оно, но поднявшись
Выше, каким-то бледным, в белый покров облеченным
Женским образом стало. И плача и жалобно руки
Вверх подымая, оно медлительно, шагом воздушным
Прямо к замку двигалось. В ужасе все отбежали
Прочь от колодца. Бертальда же, стоя в окне, цепенела,
Холодом страха облитая. Вот, когда поравнялся
С самым окошком идущий образ, сквозь покрывало
Он поглядел на Бертальду пронзительным оком, с тяжелым
Вздохом; и бледным лицом Ундины тогда показался
Образ Бертальде; мимо ее она, упинаясь,
Нехотя, медленно шла, как будто на суд. «Позовите
Рыцаря!» — громко вскричала Бертальда. Но все в неподвижном
Страхе стояли на месте. Сама Бертальда, как будто
Собственным криком своим приведенная в ужас, умолкла.
Тою порою чудесная гостья приблизилась к двери
Замка, знакомую лестницу, ряд знакомых покоев
Тихо, молча, плача прошла... о, такою ль бывало
Здесь видали ее? В то время еще не раздетый
Рыцарь в уборной своей стоял перед зеркалом. Тусклый
Свет проливала свеча. Вдруг кто-то легонько
Стукнул в дверь... так точно бывало стучалась Ундина.
«Всё это призрак! — сказал он. — Пора мне в постелю». — «В постеле

Будешь ты скоро, но только в холодной», — шепнул за дверями
Плачущий голос. И в зеркало рыцарь увидел, как двери
Тихо, тихо за ним растворились, как белая гостья
В них вошла, как чинно замо́к заперла за собою.
«Камень с колодца сняли, — она промолвила тихо, —
Здесь я; и должен теперь умереть ты». Холод, по сердцу
Рыцаря вдруг пробежавший, почувствовать дал, что минута
Смерти настала. Зажавши руками глаза, он воскликнул:
«О, не дай мне в последний мой час обезуметь от страха!
Если ужасен твой вид, не снимай покрывала и строгий
Суд соверши надо мной, мне лица твоего не являя». —
«Ах! — она отвечала, — разве еще раз увидеть,
Друг, не хочешь меня? Я прекрасна, как прежде, как в оный
День, когда твоею невестою стала». — «О, если б
Это правда была, — Гульбранд воскликнул, — о, если б
Мне хоть один поцелуй от тебя! и пускай бы
В нем умереть!» — «Охотно, возлюбленный мой», — покрывало
Снявши, сказала она; и прекрасной Ундиною, прежней
Милой, любящей, любимой Ундиною первых, блаженных
Дней предстала. И он, трепеща от любви и от близкой
Смерти, склонился к ней в руки. С небесным она поцелуем
В руки его приняла, но из них уже не пустила
Боле его; а крепче, всё крепче к нему прижимаясь,
Плакала, плакала тихо, плакала долго, как будто
Выплакать душу хотела; и, быстро, быстро лияся,
Слезы ее проникали рыцарю в очи и с сладкой
Болью к нему заливалися в грудь, пока напоследок
В нем не пропало дыханье и он не упал из прекрасных
Рук Ундины бездушным трупом к себе на подушку.
«Я до смерти его уплакала», — встреченным ею
Людям за дверью сказала Ундина и тихим, воздушным
Шагом по́ двору, мимо Бертальды, мимо стоявших
В страхе работников, прямо прошла к колодцу, безгласной,
Грустной тенью спустилась в его глубину и пропала.

Глава XIX

О том, как рыцарь был погребен

Патер Лаврентий, услышав о том, как внезапно и чудно
Кончил жизнь владетель замка Рингштеттена, тотчас
В замке явился; и он, входя на двор, осененный
Липами, встретился там с монахом, недавно венчавшим
Рыцаря; в ужасе тот удалиться спешил. «Так
и должно! —
Патер Лаврентий сказал. — Теперь моя наступила
Очередь; мне помощник ненужен». Хотел он невесте,
Вдруг овдовевшей, отрадное слово сказать
в подкрепленье;
Но Бертальда, ему не внимая, молчала угрюмо.
Старый рыбак молился и плакал и, в горе смиряясь,
Думал: «Оно иначе и быть не могло — то господний
Суд»; и, конечно, Гульбрандова смерть никому не могла
быть
Так тяжела, как именно той, которую с смертной
Вестью прислали к нему, отверженной, бедной Ундине.
Стали готовить обряд похоронный, как было прилично
Сану покойника: тело его положить надлежало
Подле церкви приходской, там, где были гробницы
Предков его, одаривших множеством вкладов богатых
Эту церковь. И щит и шлем уж лежали на кровле
Гроба, чтоб с ним опуститься в могилу, ибо наш
рыцарь
Был последний в роде своем, который с ним вместе
Кончился весь. И ход печальный уже начинался;
Песнь погребальная к светлоспокойной небесной
лазури
Тихо всходила; с длинным крестом, во всем облаченьи
Патер Лаврентий шел впереди; за ним шла Бертальда
В горьких слезах, на дряхлую руку отца опираясь.
Вдруг посреди Бертальдиных женщин, одетых
в глубокий
Траур и шедших в свите ее, заметили белый
Образ, в длинном, густом покрывале, тихо идущий,
Грустно потупивши голову. Страхом проникнут был
каждый,
Шедший подле такого товарища; все сторонились,
Пятились, так что порядок хода расстроился. Силой

Два смельчака хотели незваного из ряду вывесть;
Но, от них ускользнувши, как легкая тень, он на прежнем
Месте явился опять и последовал тихо за гробом.
Вот напоследок он мало-помалу, меняяся местом
С теми, кто в страхе спешил от него удалиться, подле
Самой вдовы очутился; но ею сначала примечен
Не был и сзади пошел смиренно-печальный. Достигнул
Ход до кладбища, и все обступили могилу. Тут в первый
Раз Бертальда незваного гостя увидела, в страхе
Стала она рукою махать, чтоб он удалился;
Но покровенный, кротко упорствуя, тряс головою,
Руки к ней простирал и как будто молил о пощаде.
Вспомнила тут невольно Бертальда Ундину, как руку
К ней она подняла на Дунае, когда ей хотела
Так добродушно подать ожерелье, и как под водами
Скрылась потом навсегда. Но в это мгновение подал
Знак отец Лаврентий, чтоб все умолкли. И стали
Гроб опускать в могилу, и мало-помалу засыпан
Был он землею. Когда же совсем был набросан могильный
Холм и читать последнюю начал молитву священник,
Стала вдова на колени, стали и все на колени,
В том числе и могильщики, кончивши насыпь. Когда же
Снова все встали... уж белый образ пропал; а на месте,
Где он стоял на коленах, сквозь травку сочился прозрачный
Ключ; серебристо виясь, он вперед пробирался, покуда
Всей не обвил могилы; тогда ручейком побежал он
Дале и бросился в светлое озеро ближней долины.
Долго, долго спустя про него тех мест поселяне
Чудную повесть любили прохожим рассказывать; долго,
Долго жило поверье у них, что ручей тот Ундина,
Добрая, верная, слитая с милым и в гробе Ундина.

1831—1836

КАМОЭНС

Драматическая поэма

ДЕЙСТВУЮЩИЕ:

Дон Лудвиг Камоэнс.
Дон Иозé Кведедо Кастель Бранка.
Васко, его сын.[1]
Смотритель главного госпиталя в Лиссабоне.

(1579)

I

Тесная горница в большом лазарете лиссабонском: стены голы; кое-где обвалилась штукатурка; с одной стороны стол с бумагами и стул; с другой — большие кресла и за ними, ближе к стене, полуизломанная кровать. На ней лежит Камоэнс и спит; к кровати прислонен меч; над изголовьем висит на стене лютня, покрытая пылью. С правой стороны дверь. — Входит дон Иозé Кведедо вместе с смотрителем госпиталя. У последнего за поясом связка ключей, подмышкой большая книга.

Иозé Кведедо, смотритель госпиталя, Камоэнс.

Кведедо

Ой, ой, как высоко! Неужто выше
Еще нам подыматься?

Смотритель

Нет, пришли.

Кведедо

Ну, слава богу! я почти задохся...
Так здесь он?

---

[1] Васко Мусинхо де Кведедо Кастель Бранка, по свидетельству знатоков португальской литературы, более всех других поэтов Португалии приблизился к Камоэнсу. Его эпическая поэма «Альфонс Африканский», в которой особенно замечательны изображение мучений Фердинанда и описание сражения Алькассарского, издана в 1611 г. *Прим. сочин.*

Смотритель

Здесь. Вот, сами посмотрите,
Чтó у меня записано в реестре:
Дон Лудвиг Камоэнс, десятый нумер —
И на двери *десятый нумер;* это он.

Кведо

Ну, хорошо. Да разве боле ты
Об нем не знаешь?

Смотритель

Нет.

Кведо

И никогда
Об нем не слыхивал, и не имеешь
Об нем понятия?

Смотритель

Какое тут
Понятие! Лишь был бы только нумер.
Что нам до имени, что нам до слухов?
Дон Лудвиг Камоэнс, десятый нумер —
И всё тут: так записано в реестре.

Кведо

Ты человек, я вижу, аккуратный,
И книги у тебя в порядке...

(Осматривается.)

Боже!
В какой тюрьме он заперт; как темно,
Теснó, нечисто! Стены голы; окна
С решетками, и потолок так низок,
Что душно.

Смотритель

Здесь до сих пор сумасшедших
Держали, но ему так захотелось
Быть одному, а этот нумер был
Никем не занят — так его сюда я
И перевел.

Кведо

К безумным? поделом!
Ты поступил догадливо; я вижу,
Ты расторопный человек. Я всех бы
Проклятых этих стихотворцев запер
В дом сумасшедших. Тише! Кто лежит
Там на кровати? уж не он ли?

Смотритель

Он,
Синьор; он спит... Я разбужу.

Кведо

Не трогай;
Я подожду, пока он сам проснется.

Смотритель

Так оставайтесь с богом здесь; а я
Пойду: есть дело...

Кведо

Хорошо, поди —
И вот тебе за труд.

Смотритель

Благодарю,
Синьор.

(Уходит.)

II

Иозé Кведо и Камоэнс.

Кведо

Итак, я наконец его
Нашел. Трудненько было мне сюда
Карабкаться, и рад я, что могу
Немного отдохнуть. Когда б не сын,
Моя нога сюда не забрела бы;
Да мой пострел совсем рехнулся; горе
Мне с ним великое; не знаю сам,
Что делать; с отвращеньем смотрит он

На наше ремесло и не проценты
Считает — стопы, да стихи плетет,
Да о венках лавровых беспрестанно
И сонный и несонный бредит. Денег
Ему не надобно; всё для него
Равно, богач ли он иль нищий; мне,
Отцу, не хочет подражать, а вслед
За Камоэнсом рвется... Вот тебе
Твой Камоэнс, твой образец: изволь
Им любоваться! здесь, в госпитале,
В отрепьи нищенском лежит с своими
Он лаврами, — седой, больной, иссохший,
дряхлый,
Безглазый, всеми брошенный, великий
Твой человек, твой славный Лузиады
Певец, сражавшийся перед Ораном
И перед Цейтою. Вот, полюбуйся;
Он в доме сумасшедших, позабыт
Людьми, и всё имущество его —
Покрытый ржавчиною меч да лютня
Без струн... Зачем он жил? и что́ он нажил?
Дон Лудвиг Камоэнс, десятый нумер,
И всё тут — так записано в реестре...
А я, над кем так часто он бывало
Смеялся, я, которого ослом,
Телячьей головой он называл,
Который на́ вес продаю изюм,
Да виноград, да в добрые крузады
Мараведисы превращаю, я —
Я человек богатый, свеж, румян
И пользуюсь всеобщим уваженьем;
Три дома у меня, и в море пять
Галер отправлено с моим товаром;
За славой он пошел, я за прибытком,
И вот мы оба здесь. Пускай его
Мой сын увидит и потом свой выбор
Пускай сам сделает. Затем-то я
Сюда и взлез; пускай расскажет сыну
Сам этот сумасброд, какому вздору
Пожертвовал он жизнию своею...
Он шевелится, охает, открыл
Глаза...

Камоэнс

Мой сон опять был на минуту;
То был не вечный сон, конец всему,
Не смерть, а только призрак смерти...
Кто здесь?
Неужто человек? Здесь? Человек?
У Камоэнса?.. Кто ты, друг? Чего
Здесь ищешь? Ты ошибся...

Кведо

Нет, синьор,
Я вас искал, и дело мне до вас.

Камоэнс

Ах да, я и забыл, что я пишу
Стихи! Вы, может быть, синьйор, хотите
Стихов на свадьбу иль на погребенье?
Иль слов для серенады? Потрудитесь
Порыться там в бумагах на столе —
Там всякой всячины довольно. Я
Беру недорого. Реаля два,
Не боле, за пиесу.

Кведо

Нет, синьор,
Не то...

Камоэнс

Так, может быть, хотите вы,
Чтоб я для вас особенные сделал
Стихи? Нет, государь мой, я не в силах:
Вы видите, я болен; я едва
Таскаю ноги.

(Встает и, опираясь на меч, переходит к креслам, в которые садится.)

Нет ни чувств, ни мыслей;
Что у меня найдется, тем и рад;
Извольте взять любое из запаса.

Кведо

Не за стихами я сюда пришел.
Всмотрись в мое лицо, дон Лудвиг; разве
Не узнаешь меня?

Камоэнс

Синьор, простите,
Не узнаю.

Кведедо

Не может быть; ты должен
Меня узнать.

Камоэнс

Не узнаю, синьор.

Кведедо

В Калвасе мы ходили вместе в школу.

Камоэнс

Мы?

Кведедо

Да, в Калвасе. Мы частенько там
Друг с другом и дирались, и порядком
Ты иногда отделывал меня.
Подумай — вспомнишь: мы знакомцы
с детства.

Камоэнс

Синьйор, прошу вас не взыскать; я стар,
И голова моя слаба; никак
Не вспомню, кто вы.

Кведедо

Боже мой, но, верно,
Меня узнаешь ты, когда скажу,
Что я Иозе́ Кведедо Кастель Бранка,
Сын крестной матери твоей, Маркитты?

Камоэнс

Иозе́ Кведедо ты?

Кведедо

Да, я Иозе́
Кведедо — тот, которого бывало

Ты называл телячьей головою,
Которого так часто ты...

Камоэнс

Чего ж
Ты ищешь здесь, Иозе́ Кведедо?

Кведедо

Как
Чего? Хотелось мне тебя проведать,
Узнать, как поживаешь. Правду молвить,
Мне на тебя невесело смотреть.
Ты худ, как мертвый труп. А я — гляди,
Как раздобрел. Так всё идет на свете!
Кто на ногах — держись, чтоб не упасть.
Идти за счастьем скользко...

Камоэнс

Правда, скользко.

Кведедо

Вот ты теперь в нечистом лазарете,
Больной полумертвец, безглазый, нищий,
Оставленный...

Камоэнс

Зачем, Иозе́ Кведедо,
Считаешь ты на лбу моем морщины
И седины на голове моей,
Дрожащей от болезни?

Кведедо

Не сердися,
Друг, я хотел сказать, что времена
Переменяются, что вместе с ними
Переменяемся и мы. Теперь
Ты уж не тот красавчик, за которым
Так в старину все женщины гонялись,
С которым знать водила дружбу, — ты
Не прежний Камоэнс.

Камоэнс

Не прежний, правда!
Но пусть судьбой разрушена моя
Душа, пускай всё было то обман,
Чему я жизнь на жертву добровольно
Принес, — поймешь ли это ты? Моим
Судьей быть может ли какой-нибудь
Кведедо?

Кведедо

(Про себя.)

Вот еще! Как горд! когда б
Не сын, тебе я крылья бы ошиб.

(Вслух.)

Твои слова уж чересчур суровы;
Другого я приема ожидал
От старого товарища. Но, правда,
Ты болен, иначе меня бы встретил
Ты дружелюбней. Нам о многом прошлом
Друг с другом можно поболтать.
Ведь детство
Мы вместе провели; то было время
Веселое... Ты помнишь луг за школой,
Где мы бывало в мяч играли? Помнишь
Высокий вяз... кто выше взлезет? Ты
Всегда других опережал. А наша
Игра в охоту — кто олень, кто псарь,
А кто собаки... то-то было любо:
Вперед! крик, лай, визжанье, беготня...
Что? помнишь?

Камоэнс

Помню.

Кведедо

А походы наши
В соседний сад, и там осада яблонь,
И возвращение домой с добычей?
А иногда с садовником война
И отступленье?

Камоэнс

Да; то было время
Веселое! Мы были все народ
Неугомонный.

Кведедо

Да, лихое племя!
А наш крутой пригорок, на котором
Лежала груда камней? Он для нас
Был крепостью; ее мы брали штурмом,
И было много тут подбитых глаз
И желваков...

Камоэнс

Вот этот мой рубец
Остался мне на память об одном
Из наших подвигов тогдашних...

Кведедо

Правду
Сказать, не раз могла потеха стоить
Нам дорого. Вот, например, морской
Поход наш по реке. Мы все устали
И воротились; ты ж один...

Камоэнс

Да, мне
Казалось, что вдали передо мной
Был новый, никогда еще никем
Не посещенный свет; во что б ни стало
К нему достигнуть я решился; сила
Теченья мне препятствовала долго
Мой замысел исполнить; наконец
Ее я одолел и вышел гордо
На завоеванный, желанный берег...
О молодость! о годы золотые!..

(Помолчав.)

Дай руку мне! ты знаешь, мы с тобою
В то время не были друзьями: ты
Казался — но, быть может, не таков ты,
Каким тогда казался нам... Ну, дай же
Мне руку: в детстве ты со мной играл,

Со мной делил веселье; а теперь
Туманный вечер мой ты осветил
Воспоминанием прекрасной нашей
Зари... Я так один — хотя б ты был
И злейший враг мой, мне тебя теперь
Обнять от сердца должно...

(Обнимает его.)

Кведедо

(Помолчав.)

Ну, скажи же,
Как жил ты, что с тобой происходило
С тех пор, как мы расстались? Мне отец
Велел науки кончить и покинуть
Калвас и в Фигуэру ехать. Там
Иная сказка началась: пришлося
Не об игре уж думать — о работе.

Камоэнс

Меня судьба перевела в Коимбру,
Святилище науки; там впервые
Услышал я Гомера; Мантуанский
Певец меня гармонией своей
Пленил, и прелесть красоты
Проникла душу мне; что в ней дотоле
Невидимо, неведомо хранилось,
То вдруг в чудесный образ облеклось;
Что было тьма, то стало свет, и жизнью
Затрепетало всё, что было мертвым;
И мне во грудь предчувствие чего-то
Невыразимого впилося...

Кведедо

Я,
Признаться, до наук охотник был
Плохой. Отец меня в сидельцы отдал
Знакомому купцу; и должно правду
Сказать, уж было у него чему
Понаучиться: он считать был мастер.
А ты?

Камоэнс

Промчались годы, в школе стало
Мне тесно; я последовал влеченью

Души — увидел Лиссабон, увидел
Блестящий двор, и короля во славе
Державного могущества, и пышность
Его вельмож... Но я на это робко
Смотрел издалека и, ослепленный
Блистательной картиною, за призрак
Ее считал.

Кведо

Со мной случилось то же
Точь-в-точь, когда на биржу в первый раз
Я заглянул и там увидел горы
Товаров...

Камоэнс

В это время встретил я
Ее... О боже! как могу теперь,
Разрушенный полумертвец, снести
Воспоминание о том внезапном,
Неизглаголанном преображенье
Моей души!.. Она была прекрасна
Как бог в своей весне, животворящей
И небеса и землю!

Кведо

И со мной
Случилось точно то ж. У моего
Хозяина была одна лишь дочь,
Наследница всему его именью;
Именье ж накопил себе старик
Большое; мудрено ли, что мое
Заговорило сердце?

Камоэнс

(Не слушая его.)

О святая
Пора любви! Твое воспоминанье
И здесь, в моей темнице, на краю
Могилы, как дыхание весны,
Мне освежило душу. Как тогда
Всё было в мире отголоском звучным

Моей любви! каким сияньем райским
Блистала предо мной вся жизнь с своим
Страданием, блаженством, с настоящим,
Прошедшим, будущим!.. О боже! боже!..

Кведо

Отцу я полюбился; он доволен
Был ловкостью моей в делах торговых
И дочери сказал, что за меня
Ее намерен выдать; дочь на то
Сказала: «Воля ваша», и тогда же
Нас обручили...

Камоэнс

О, блажен, блажен,
Кому любви досталася награда!..
Мне не была назначена она.
Нас разлучили; в монастырской келье
Младые дни ее угасли; я
Был увлечен потоком жизни; в буре
Войны хотел я рыцарски погибнуть.
Сел на коня и бился под стенами
Марокко, был на штурме Цейты;
Из битвы вышел я полуслепым,
А смерть мне не далась.

Кведо

Со мною было
Не лучше. Я с женой недолго пожил:
Бедняжка умерла родами... Сильно
По ней я горевал... Но мне наследство
Богатое оставила она,
И это наконец кое-как стало
Моей отрадой.

Камоэнс

Всё переживешь
На свете... Но забыть?.. Блажен,
кто носит
В своей душе святую память, верность
Прекрасному минувшему! Моя

Душа ее во глубине своей,
Как чистую лампаду, засветила,
И в ней она поэзией горела.
И мне была поэзия отрадой:
Я помню час, великий час, меня
Всего пересоздавший. Я лежал
С повязкой на глазах в госпитале;
Тьма вкруг меня и тьма во мне...
И вдруг — сказать не знаю — подошло,
Иль нет, не подошло, а подлетело,
Иль нет, как будто божие с небес
Дыханье свеяло, — свежо, как утро,
И пламенно, как солнце, и отрадно,
Как слезы, и разительно, как гром,
И увлекательно, как звуки арфы, —
И было то как будто и во мне
И вне меня, и в глубь моей души
Оно вливалось, и волшебный круг
Меня тесней, теснее обнимал;
И унесен я был неодолимым
Могуществом далеко в высоту...
Я обеспамятел; когда ж пришел
В себя — то было первая моя
Живая песня. С той минуты чудной
Исчезла ночь во мне и вкруг меня;
Я не был уж один, я не был брошен;
Страданий чаша предо мной стояла,
Налитая целебным питием;
Моя душа на крыльях песнопенья
Взлетела к богу и нашла у бога
Утеху, свет, терпенье и замену.

Кведедо

Мне посчастливилось; свое богатство
Удвоил я; потом ушестерил...
А ты как? Что потом с тобой случилось?

Камоэнс

Я в той земле, где схоронил ее,
Не мог остаться. Вслед за Гамой славный
Путь по морям я совершил, и там,
Под небом Индии, раздался звучно

В честь Португалии мой голос: он
Был повторен волнами Тайо; вдруг
Услышала Европа имя Гамы
И изумилась; до пределов Туле
Достигнул гром победный Лузиады.

Кведо

А много ль принесла тебе она?
У нас носился слух...

Камоэнс

Мне принесла
Гонение и ненависть она.
Великих предков я ничтожным внукам
Осмелился поставить в образец,
Я карлам указал на великанов —
И правда мне в погибель обратилась:
И то, что я любил, меня отвергло,
И что моей я песнию прославил,
Тем был я посрамлен — и был как враг
Я Португалией моей отринут...

(Помолчав.)

Я муж, и жалобы я ненавижу;
Но всю насквозь мне душу эта рана
Прогрызла; никогда не заживет
Она и вечно, вечно будет рвать
Меня, как в оный миг разорвала,
Когда отечество так беспощадно
От своего поэта отреклося.

Кведо

Ну, не крушись; забудь о прошлом; кто
Не ошибается в своих расчетах?
Теперь не удалось — удастся после.

Камоэнс

И для меня однажды солнце счастья
Блеснуло светлою зарей. Когда
Король наш Себастьян взошел на трон,
Его орлиный взор проник в мою
Тюрьму, с меня упала цепь, и свет

И жизнь возвращены мне были снова;
Опять весна в груди моей увядшей
Воскресла... но то было на минуту:
Всё погубил день битвы Алькассарской.
Король наш пал великой мысли жертвой —
И Португалия добычей стала
Филиппа... Страшный день! о, для чего
Я дожил до тебя!

Кведедо

Да, страшный день!
Уж нечего сказать! И с той поры
Всё хуже нам да хуже. Бог на нас
Прогневался. По крайней мере ты
Похвастать счастием не можешь.

Камоэнс

Солнце
Мое навек затмилось, и печально
Туманен вечер мой. Забыт, покинут,
В болезни, в бедности я жду конца
На нищенской постели лазарета.
Один мне оставался друг — он был
Невольник; иногда я называл
Его в досаде черною собакой.
Но только что со мной простилось счастье,
Он сделался хранителем моим:
Он мне служил, и для меня работал,
И отдавал свою дневную плату
На пищу мне. Когда ж болезнь меня
К постели приковала, день и ночь
Сидел он надо мной и утешал
Меня отрадными словами ласки
И, сам больной, по улицам таскался
За подаянием для Камоэнса.
И наконец, свои истратив силы,
Без жалобы, без горя за меня
Он умер — черная собака! .. Бог
То видел с небеси... Покойся, друг,
Последний друг мой на земле, в твоей
Святой могиле! там тебе приютно,
А на земле приюта не бывает.

Кведо

(Про себя.)

Теперь пора мне к делу приступить.

(Ему.)

Сердечный друг, тебе удел нелегкий
Достался, нечего сказать! Ты славил
Отечество, и чем же заплатило
Оно тебе за славу? Нищетой.
С надеждами пошел ты в путь, а с чем
Пришел назад? Ровнехонько ни с чем.
И вот теперь, при нашей поздней встрече,
Когда твою судьбу сравню с моею,
То, право, кажется — не осердися, —
Что выбор мой сто раз благоразумней
Был твоего. Вот видишь, я богат;
По всем морям товар мой корабли
Развозят; а бывало на меня
Смотрел ты свысока. Сказать же правду,
Хоть лаврами я лба и не украсил,
Но, кажется, что на́ вес мой барыш
Тяжеле твоего...

Камоэнс

Ты в барышах —
Не спорю. Но на свете много есть
Вещей возвышенных, не подлежащих
Ни мере, ни расчетам торгаша.
Лишь выгодой определять он может
Достоинство; заметь же это, друг:
Лавровый лист скупать ты на́ вес можешь,
Но о венках лавровых не заботься.

Кведо

(Про себя.)

Уж не смеется ль он над нашим званьем?..
Постой, уж попадись ко мне ты в руки,
Я отплачу тебе порядком.

(Ему.)

Ты
Обиделся, я вижу; а в тебе
Я искренно участье принимаю.
Да я и с просьбою пришел; послушай,

Оставь ты лазарет свой, сделай дружбу,
Переселись ко мне; мой дом просторен,
Чужим найдется много места в нем,
Не только что друзьям. Ну, Камоэнс,
Не откажи мне; перейди в мой дом;
Ты у меня свободно отдохнешь
От прошлых бед, и мой избыток
Охотно я с тобою разделю...
Не слышишь, что ли, Камоэнс?

Камоэнс

Что? что
Ты говоришь? Меня к себе, в свой дом
Зовешь?

Кведедо

Да, да! К себе, в свой дом, тебя
Зову. Согласен ли?

Камоэнс

Жить у тебя?
Но, может быть, ты думаешь, Кведедо...
Нет, нет! твое намеренье, я в этом
Уверен, доброе — благодарю;
Но мне и здесь покойно; я доволен;
Нет нужды мне тебя теснить; да в этом
И радости не будет никакой:
О радостях давно мне и во сне
Не грезится.

Кведедо

Меня ты потеснишь?
Помилуй, что за мысль! Ты мне, напротив,
Полезен можешь быть; я от тебя
Жду помощи великой.

Камоэнс

От меня?
Ждешь помощи? И я могу тебе
Полезен быть? я? я? мечтатель жалкий,

Который никому и ни на что
Не нужен был на свете и себя
Лишь только погубить умел? Кеведо,
Не шутишь ли?

Кеведо

Какая шутка! Сам
Ты рассуди; дал бог мне сына — ну,
Уж нечего сказать, таких немного,
Каков мой Васко; он до этих пор
Был радостью моей, и я им хвастал
И уж заране веселил себя
Надеждою, что он мое богатство,
Которому всему один наследник,
Удвоит, мне, как должно, подражая, —
Ан нет, иначе вышло на поверку:
Отцовским званьем он пренебрегает,
В проклятые зарылся пергаменты,
Ударился в стихи, в поэты метит.

Камоэнс

Безумство! жалкий бред!

Кеведо

Я то же сам
Ему пою; да он не верит. Музы —
Ему отец, и мать, и всё земное
Его богатство.

Камоэнс

Так мечтают все
Они, но то обман...

Кеведо

Напрасно я
Увещевал его: он слов моих
И понимать не хочет. Видишь ли теперь,
Как много мне ты можешь быть полезен,
Дружище? Укажи ему на твой
Пример, пускай узнает он, как ты,

Его достойный образец, был щедро
От света награжден; пусть Камоэнса
Увидит он в госпитале, больного,
В презреньи, в нищете, быть может...

Камоэнс

Так
Пускай меня увидит он! Пришли
Его сюда; я вылечу его
От гибельной мечты. Слепец! безумец!
Ненужною доселе жизнь свою
Я почитал; теперь мне всё понятно:
Им пугалом должна служить она!

Кведо

Так ты его остережешь? спасешь?

Камоэнс

Остерегу, спасу... Пришли его
Сюда...

Кведо

Он недалёко; крылья имя
Твое придаст ему; через минуту
Он будет здесь; и вместе с ним в мой дом
Пожалует желанный гость — не правда ль?
Ты будешь, друг?

Камоэнс

Увидим.

Кведо

Ну, прости же,
Любезный.

(Про себя.)

Слава богу! всё как должно
Улажено. Лишь только б сына он
На путь наставил... сам же... что за дело
Мне до него!.. Пускай в госпитале
Околевает.

(Уходит.)

III

Камоэнс

(Один.)

Я устал; все силы
Мои истощены; и жар и холод
Я чувствую; в глазах моих темнеет;
Уж не она ль? Не смерть ли, званый друг,
Ко мне подходит?..

(Помолчав.)

Всех я схоронил;
Всё, что любил я, что меня любило,
Давно во гробе... Я стою один
Перед своей могилою, один...
И не протянет мне никто руки,
Чтобы помочь в нее сойти; свалюся
Туда, как чумный труп, рукой наемной
Толкнутый в общий гроб. Счастлив
стократно
Простой поселянин! Трудом прилежным
Довольный, скромный, замыслов высоких
Не ведая, своей тропинкой он
Идет; когда же смертный час его
Наступит, он, в кругу своих, близ доброй
Жены, участницы всего, что было
И горького и радостного в жизни,
Среди детей, воспитанных с любовью,
Смиренно, тихо, ясно умирает;
И всеми он любим, и, с ним прощаясь,
Все плачут, и глаза ему родная
Рука при смерти зажимает. Я же?..
О, как меня всё обмануло! Я
Жил одинок и одинок умру...
Сокровищем она казалась мне
В тот час, когда нас буря окружала,
Когда корабль наш об утес в щепы
Расшибся, — да, сокровищем тогда
Она, мое созданье, Лузиада
Казалась мне! и в море с Лузиадой
Я кинулся, и отдал на пожранье
Волнам всё, всё, и с гордым торжеством
На берег нищим вышел... спасена

Была, мое созданье, Лузиада!
Час роковой! погибельная песнь!
Погибельный венец, мне данный славой!
Для них от мирного, земного счастья
Отрекся я — и что ж от них осталось?
Разуверение во всем, что прежде
Я почитал высоким и прекрасным...

(Помолчав.)

Мне холодно, и дрожь в моих костях:
Последняя минута Камоэнса —
И никого, чтоб вздох его принять!
В прошедшем ночь, в грядущем ночь;
расстроен,
Разрушен гений; мужество и вера
Потрясены, и вся земная слава
Лежит в пыли... Что жизнь моя была?
Безумство, бешенство... он справедливо
Сказал: барыш мечтателя — мечта.

IV

Камоэнс и Васко Кведедо.

Васко

Здесь, сказано, могу его найти...
Ах, вот он! .. это он! .. таким видал я
Его во сне... но только бодрым, смелым,
И молнии в глазах, и голова,
Поднятая торжественно и гордо...
Что нужды! Это он... Хотя и стар
И хил, но на лице его печать
Его великой песни.

Камоэнс

Кто тут?

Васко

Васко
Кведедо, сын знакомца твоего,
Иозé Кведедо...

К а м о э н с

Ты?

В а с к о

Отец меня
Прислал сюда, дон Лудвиг, пригласить
Тебя в наш дом переселиться; там
Найдешь достойное тебя жилище
И дружбу... но не рано ль я пришел?

К а м о э н с

Когда б промедлил час, пришел бы поздно.
Приближься, посмотри: уж надо мной
Летает ангел смерти; для меня
Всё миновалось; но прими совет
От умирающего Камоэнса
И сохрани его на пользу жизни...

В а с к о

Ты умираешь? .. нет, не может быть,
Чтоб умер Камоэнс!

К а м о э н с

Минуты, друг,
Нам дороги; послушай, сын мой, ты,
Я слышал от отца, служенью муз
Жизнь посвятить свою желаешь... правду ль
Сказал он?

В а с к о

Правду, я клянуся богом!

К а м о э н с

Одумайся; то выбор роковой;
Ты молод, и твоя душа, земного
Еще не ведая, стремится к небу,
И ты свое стремление зовешь
Любовию к поэзии, от неба
Исшедшей, как твоя душа. Но знай,
Любовь еще не сила; постигать
Не есть еще творить; а увлекаться

Стремлением к великому еще
Не есть великого достигнуть.

Васко

Знаю.

Камоэнс

Так загляни ж во глубину своей
Души, и что ее бы ни влекло —
Самонадеянность, иль просто детский
Позыв на подражанье, иль тревога
Кипучей младости, иль раздраженье
Излишне напряженных нерв — себя,
Мой друг, не ослепляй. Другие все
Искусства нам возможно приобресть
Наукою; поэта же творит —
Святейшее оставив про себя —
Природа; гении родятся сами;
Нисходит прямо с неба то, что к небу
Возносит нас.

Васко

Того, что происходит
Теперь во мне и что я сам такое,
Я изъяснить словами не могу.
Но выслушай мою простую повесть:
Ребенком тихим, книги лишь одни
Любя, я вырос, преданный мечтанью.
Мой взор был обращен вовнутрь моей
Души; я внешнего не замечал;
Уединение имело голос,
Понятный для меня; и прелесть лунных
Ночей меня стремила в область тайны.
На путь отца смотрел я с отвращеньем;
Меня влекло неведомо к чему...
Вдруг раздалась чудесно Лузиада —
И стало всё во мне светло и ясно;
Сомненье кончилось, и выбирать
Уж нужды не было... *за ним, за ним!*
В моей душе гремело и пылало;
И каждое биенье сердца мне
Твердило то ж: *за ним, за ним!*.. И власть,

Влекущая меня, неодолима.
Теперь реши, поэт ли я, иль нет?

Камоэнс

Свидетель бог! твои глаза блестят,
Как у поэта; но послушай, друг,
Хотя б их блеск и правду говорил,
Остановись, не покидай смиренной
Тропы, протянутой перед тобою;
Судьба тебе добра желает; мне
Поверь, я дорогой купил ценой
Признание, что счастие земное
Не на пути поэта.

Васко

Дай его
Мне заслужить — и пусть оно погибнет!

Камоэнс

Слепец! тебя зовет надежда славы.
Но что она? и в чем ее награды?
Кто раздает их? и кому они
Даются? и не все ль ее дары
Обруганы завидующей злобой?
За них ли жизнь на жертву отдавать?
Лишь у гробов, которым уж никто
Завидовать не станет, иногда
Садит она свой лавр, дабы он цвел
Над тлением, которое когда-то
Здесь человеком было и страдало,
Нося торжественно на голове
Под лаврами пронзительные терны.
Но для того, кто в гробе спит, навеки
Бесчувственный для здешних благ и бед,
Не всё ль равно — полынь ли над костями
Его растет, иль лавр... Не вся ль тут слава?

Васко

Я молод, но уж мне видать случалось,
Как незаслуженно ее венец
Бесстыдная ничтожность похищала,
Ругаяся над скромно-молчаливым

Достоинством? Но для меня не счастье,
Не золото — скажу ли? — и не слава
Приманчивы...

Камоэнс

Не счастье и не слава?
Чего же ищешь ты?

Васко

О, долго, долго
Хранил я про себя святую тайну!
Но посвященному, о Камоэнс,
Тебе я двери отворю в мое
Святилище, где я досель один
Доступному мне божеству молился.
Нет! нет! не счастия, не сла́вы здесь
Ищу я: быть хочу крылом могучим,
Подъемлющим родные мне сердца
На высоту, зарей, победу дня
Предвозвещающей, великих дум
Воспламенителем, глаголом правды,
Лекарством душ, безверием крушимых,
И сторожем нетленной той завесы,
Которою пред нами горний мир
Задернут, чтоб порой для смертных глаз
Ее приподымать и святость жизни
Являть во всей ее красе небесной —
Вот долг поэта, вот мое призванье!

Камоэнс

О молодость на крыльях серафимских!
Как мало ход житейского тебе
Понятен! возносить на небеса
Свинцовые их души, их слепые
Глаза воспламенять, глухонемых
Пленять гармонией!..

Васко

Что мне до них,
Бесчувственных жильцов земли иль дерзких
Губителей всего святого! Мне
Они чужие. Для чего творец

Такой им жалкий жребий избрал, это
Известно одному ему; он благ
И справедлив; обителей есть много
В дому отца — всем будет воздаянье.
Но для чего сюда он их послал —
О, это мне понятно. Здесь без них
Была ли бы для душ, покорных богу,
Возможна та святая брань, в которой
Мы на земле для неба созреваем?
Мы не затем ли здесь, чтобы средь тяжких
Скорбей, гонений, видя торжество
Порока, силу зла и слыша хохот
Бесстыдного разврата иль насмешку
Безверия, из этой бездны вынесть
В душе неоскверненной веру в бога? ..
О Камоэнс! Поэзия небесной
Религии сестра земная; светлый
Маяк, самим создателем зажженный,
Чтоб мы во тьме житейских бурь не сбились
С пути. Поэт, на пламени его
Свой факел зажигай! Твои все братья
С тобою заодно засветят каждый
Хранительный свой огнь, и будут здесь
Они во всех странах и временах
Для всех племен звездами путевыми;
При блеске их что б труженик земной
Ни испытал — душой он не падет,
И вера в лучшее в нем не погибнет.
О Камоэнс! о, верь моим словам!
Еще во мне того, что в этот миг
Я чувствую, ни разу не бывало;
Бог языком младенческим моим
С тобою говорит: ты совершил
Свое святое назначенье, ты
Свой пламенник зажег неугасимо;
Мне в душу он проник, как божий луч;
И скольких он других согрел, утешил!
И пусть разрушено земное счастье,
Обмануты ласкавшие надежды
И чистые обруганы мечты. . .
Об них ли сетовать? Таков удел
Всего, всего прекрасного земного!

Но не умрет живая песнь твоя;
Во всех веках и поколеньях будут
Ей отвечать возвышенные души.
Ты жил и будешь жить для всех времен!
Прямой поэт, твое бессмертно слово!

Камоэнс

Его глаза сверкают, щеки рдеют;
Пророчески со мной он говорит;
От слов его вся внутренность моя
Трепещет; не самим ли богом прислан
Ко мне младенец этот? .. Ты, мой сын,
Лишь о грядущем мыслишь — оглянись
На настоящее и на меня,
Певца твоей великой Лузиады.
Смотри, как я, в нечистом лазарете,
Отечеством презренный и забытый
Людьми, кончаю жизнь на том одре,
Где за два дня издох в цепях безумный.
Таков в своих наградах свет: страшись
Моей стези; беги надежд поэта!

Васко

Бежать твоих надежд, твоей стези
Страшиться? .. Нет, бросаюсь на колени
Перед твоей страдальческой постелью,
На коей ты, как мученик смиренный,
Зришь небеса отверзтые, где ждет
Тебя твой бог, тебя не обманувший.
Благодарю тебя, о Камоэнс,
За всё, чем был ты для моей души!
И здесь со мной тебя благодарят
Все современники и всех времен
Грядущих верные друзья святыни,
Поклонники великого, твои
По чувству братья. Пусть людская злоба,
Презрение, насмешка, нищета
Достоинству в награду достаются —
Прекрасней лавра, мученик, твой терн!
И умереть в темнице лазарета
Верх славы... О судьба! дай в жизни мне
Быть Камоэнсом! дай, как он, быть светом

Отечества и века моего
Величием! — и все земные блага
Тебе я отдаю на жертву!

Камоэнс

О!
Клянусь моей последнею минутой,
И всей моей блаженно-скорбной жизнью,
И всем святым, что я в душе хранил,
И всеми чистыми ее мечтами
Клянуся, ты назначен быть поэтом.
Не своелюбие, не тщетный призрак
Тебя влекут — тебя зовет сам бог;
К великому стремишься ты смиренно,
И ты дойдешь к нему — ты сердцем чист.

Васко

Дойду?.. О Камоэнс! ты ль это мне
Пророчишь?.. Повтори ж мне, буду ль я
Поэтом?

Камоэнс

Ты поэт! имей к себе
Доверенность, об этом часе помни;
И если некогда захочет взять
Судьба свое и путь твой омрачится —
Подумай, что своим эфирным словом
Ты с Камоэнсовых очей туман
Печали свеял, что в последний час,
Обезнадеженный сомненьем, он
Твоей душой был вдохновлен, и снова
На пламени твоем свой прежний пламень
Зажег — и жизнь прославил, умирая.
О, помни, друг, об этом часе, помни
О той руке, уж смертью охлажденной,
Которая на звание поэта
Теперь тебя благословляет. Жизнь
Зовет на битву! с богом! воссияй
Прекрасным днем; денница молодая!
А Камоэнсово уж солнце село,
И смерть над ним покров свой расстилает...

Васко

Ты не умрешь. На имени твоем
Покоится бессмертье.

Камоэнс

Так, оно
На нем покоится. Его призыв
Я чувствую; я был поэт вполне.
Неправедно роптал я на страданье;
Мне в душу бог вложил его — он прав;
Страданием душа поэта зреет,
Страдание — святая благодать...
И здесь любил я истину святую,
И голос мой был голосом ее;
И не развеется, как прах ничтожный,
Жизнь вдохновенная моя; бессмертны
Мои мечты; их семена живые
Не пропадут на жатве поколений.
Пред господа могу предстать я смело.

Васко

Что, что с тобой?..

В эту минуту совершается видение: над головою Камоэнса является дух в образе молодой девы, увенчанной лаврами, с сияющим крестом на груди. За нею яркий свет.

Камоэнс

Оставь меня, мой сын!
Я чувствую, великий час мой близко...
Мой дух опять живой исполнен силы;
Меня зовет знакомый сердцу глас;
Передо мной исчезла тьма могилы,
И в небесах моих опять зажглась
Моя звезда, мой путеводец милый!..
О! ты ль? тебя ль час смертный мне отдал,
Моя любовь, мой светлый идеал?
Тебя, на рубеже земли и неба, снова
Преображенную я вижу пред собой;
Что здесь прекрасного, великого, святого
Я вдохновенною угадывал мечтой,

Невыразимое для мысли и для слова —
То всё в мой смертный час прияло образ
твой
И, с миром к моему приникнув изголовью,
Мне стало верою, надеждой и любовью.
Так, ты поэзия: тебя я узнаю;
У гроба я постиг твое знаменованье.
Благословляю жизнь тревожную мою!
Благословенно будь души моей страданье!
Смерть! смерть, великий дух! я слышу
весть твою;
Меня всего твое проникнуло сиянье!
(Подает руку Васку, который падает на колени.)
Мой сын, мой сын, будь тверд, душою
не дремли!
Поэзия есть бог в святых мечтах земли.
(Умирает.)

Март 1839

НАЛЬ И ДАМАЯНТИ

Индейская повесть

В те дни, когда мы верим нашим снам
И видим в их несбыточности быль,
Я видел сон: казалось, будто я
Цветущею долиной Кашемира
Иду один; со всех сторон вздымались
Громады гор, и в глубине долины,
Как в изумрудном, до краев лазурью
Наполненном сосуде, — небеса
Вечерние спокойно отражая, —
Сияло озеро; по склону гор
От запада сходила на долину
Дорога, шла к востоку и вдали
Терялася, сливаясь с горизонтом.
Был вечер тих; всё вкруг меня молчало;
Лишь изредка над головой моей,
Сияя, голубь пролетал, и пели
Его волнующие воздух крылья.
Вдруг вдалеке послышались мне клики;

И вижу я: от запада идет
Блестящий ход; змеею бесконечной
В долину вьется он; и вдруг я слышу:
Играют марш торжественный; и сладкой
Моя душа наполнилася грустью.
Пока задумчиво я слушал, мимо
Прошел весь ход, и я лишь мог приметить
Там в высоте, над радостно шумящим
Народом, паланкин; как привиденье
Он мне блеснул в глаза; и в паланкине
Увидел я царевну молодую,
Невесту севера; и на меня
Она глаза склонила мимоходом;
И скрылось всё... когда же я очнулся,
Уж царствовала ночь и над долиной
Горели звезды; но в моей душе
Был светлый день; я чувствовал, что в ней
Свершилося как будто откровенье
Всего прекрасного, в одно живое
Лицо слиянного. — И вдруг мой сон
Переменился: я себя увидел
В царевом доме, и лицом к лицу
Предстало мне души моей виденье;
И мнилось мне, что годы пролетели
Мгновеньем надо мной, оставив мне
Воспоминание каких-то светлых
Времен, чего-то чудного, какой-то
Волшебной жизни. — И мой сон
Опять переменился: я увидел
Себя на берегу реки широкой;
Садилось солнце; тихо по водам
Суда, сияя, плыли, и за ними
Серебряный тянулся след; вблизи
В кустах светился домик; на пороге
Его дверей хозяйка молодая
С младенцем спящим на руках стояла...
И то была моя жена с моею
Малюткой дочерью... и я проснулся;
И милый сон мой стал блаженной былью.

И ныне тихо без волненья льется
Поток моей уединенной жизни.

Смотря в лицо подруги, данной богом
На освященье сердца моего,
Смотря, как спит сном ангела на лоне
У матери младенец мой прекрасный,
Я чувствую глубоко тот покой,
Которого так жадно здесь мы ищем,
Не находя нигде; и слышу голос,
Земные все смиряющий тревоги:
Да не смущается твоя душа,
Он говорит мне, *веруй в бога, веруй*
В меня. Мне было суждено своею
Рукой на двух родных, земной судьбиной
Разрозненных могилах те слова
Спасителя святые написать;
И вот теперь на вечере моем
Рука жены и дочери рука
Еще на легкой жизненной странице
Их пишут для меня, дабы потом
На гробовой гостеприимный камень
Перенести в успокоенье скорби,
В воспоминание земного счастья,
В вознаграждение любви земныя
И жизни вечныя на упованье.

И в тихий мой приют, от всех забот
Житейского живой оградой сада
Отгороженный, друг минувших лет,
Поэзия ко мне порой приходит
Рассказами досуг мой веселить.
И жив в моей душе тот светлый образ,
Который так ее очаровал
Во время оно... Часто на краю
Небес, когда уж солнце село, видим
Мы облака; из-за пурпурных ярко
Выглядывают золотые, светлым
Вершинам гор подобные; и видит
Воображенье там как будто область
Иного мира. Так теперь созданьем
Мечты, какой-то областью воздушной
Лежит вдали минувшее мое;
И мнится мне, что благодатный образ,
Мной встреченный на жизненном пути,

Попрежнему оттуда мне сияет.
Но он уж *не один,* их *два;* и прежний
В короне, а другой в венке живом
Из белых роз, и с прежним сходен он,
Как расцветающий с расцветшим цветом;
И на меня он светлый взор склоняет
С такою же приветною улыбкой,
Как тот, когда его во сне я встретил.
И имя им одно. И ныне я
Тем милым именем последний цвет,
Поэзией мне данный, знаменую
В воспоминание всего, что было
Сокровищем тех светлых жизни лет
И что теперь так сладостно чарует
Покой моей обвечеревшей жизни.

Дюссельдорф, 16/28 февраля 1843

Глава первая

I

Жил-был в Индии царь, по имени Наль. Виразены
Сильного сын, обладатель царства Нишадского, этот
Наль был славен делами, во младости мудр и прекрасен
Так, что в целом свете царя, подобного Налю,
Не было, нет и не будет; между другими царями
Он сиял, как сияет солнце между звездами.
Крепкий мышцею, светлый разумом, чтитель смиренный
Мудрых духовных мужей, глубоко проникнувший в тайный
Смысл писаний священных, жертв сожигатель усердный
В храмах богов, вожделений своих обуздатель, нечистым
Помыслам чуждый, любовь и тайная дума
Дев, гроза и ужас врагов, друзей упованье,
Опытный в трудной военной науке, искусный и смелый
Вождь, из лука дивный стрелок, наипаче же славный
Чудным искусством править конями — на них же он в сутки
Мог сто миль проскакать, — таков был Наль; но и слабость
Также имел он великую: в кости играть был безмерно

Страстен. — В это же время владел Видарбинским обширным
Царством Бима, царь благодушный; он долго бездетен
Был и тяжко скорбел от того, и обет пред богами
Он произнес великий, чтоб боги его наградили
Сладким родительским счастьем; и боги ему даровали
Трех сыновей и дочь. Сыновья назывались: первый
Да́мас, Да́нтас другой и Да́манас третий; а имя
Дочери было дано Дамаянти. Мальчики были
Живы и смелы; звездой красоты расцвела Дамаянти:
Прелесть ее прошла по земле чудесной молвою.
В доме отца, окруженная роем подружек, как будто
Свежим венком, сияла меж них Дамаянти, как роза
В пышной зелени листьев сияет, и в этом собраньи
Дев сверкала, как молния в туче небесной. Ни в здешнем
Свете, ни в мире бесплотных духов, ни в стране, где святые
Боги живут, никогда подобной красы не видали;
Очи ее могли бы привлечь и бессмертных на землю
С неба. Но как ни была Дамаянти прекрасна, не мене
Был прекрасен и Наль, подобный пламенно-нежной
Думе любви, облекшейся в образ телесный. И каждый
Час о великом царе Нишадской земли Дамаянти
Слышала, каждый час о звезде красоты благородный
Царь Нишадский слышал; и цвет любви из живого
Семени слов меж ними, друг друга не знавшими, скоро
Вырос. Однажды Наль, безымянной болезнию сердца
Мучимый, в роще задумчив гулял; и вдруг он увидел
В воздухе белых гусей; распустив златоперые крылья.
Стаей летели они, и громко кричали, и в рощу
Шумно спустились. Проворной рукой за крыло золотое
Наль схватил одного. Но ему сказал человечьим
Голосом Гусь: «Отпусти ты меня, государь, я за это
Службу тебе сослужу: о тебе Дамаянти прекрасной
Слово такое при случае молвлю, что только и будет
Думать она о Нале одном». То услыша, поспешно
Наль отпустил золотого Гуся. Вся стая помчалась
Прямо в Видарбу и там опустилася с криком на царский
Луг, на котором в тот час Дамаянти гуляла. Увидев
Чудных птиц, начала Дамаянти с подружками бегать
Вслед за ними; а гуси, с места на место порхая,

Все рассыпались по́ лугу; с ними рассыпались так же
Скоро и все подружки царевнины: вот Дамаянти
С Гусем одним осталась одна; и Гусь, приосанясь,
Вдруг сказал человеческим голосом ей: «Дамаянти,
В царстве Нишадском царствует Наль; и нет и не будет
Между людьми красавца такого. Когда бы его ты женою
Стала, то счастье твое вполне б совершилось; какой бы
Плод родился от союза с его красотою могучей
Нежной твоей красоты. Вас друг для друга послали
Боги на землю. Поверь тому, что тебе говорю я,
О тихонравная, сладкоприветная, чистая дева!
Много мы в странствиях наших лугов человеческих, много
Райских обителей неба видали; в стране великанов
Также нам быть довелось; но доныне еще, Дамаянти,
Встретить подобного Налю царя нам нигде не случилось:
Ты жемчужина дев, а Наль — мужей драгоценный
Камень. О, если бы вы сочетались! тогда бы узрели
Мы на земле неземное». Так Гусь говорил. Дамаянти,
Слушая, радостно рдела; потом в ответ прошептала,
Вся побледнев от любви: *Скажи ты то же и Налю.*
Быстро, быстро поднялся он, дважды рожденный, сначала
В виде яйца, потом из яйца, и в Нишадское царство
Прямо помчался и там рассказал о случившемся Налю.

II

После того, что сказал ей Гусь золотой, Дамаянти,
Словно как будто с собою расставшись, была беспрестанно
С Налем прекрасным. Объятая тайною думой, влачася
Шаткой, неверной стопою, как будто в каком расслабленьи,
То подымая к небу грустные очи, то в землю
Их потупляя, то с полною тяжкими вздохами грудью —
Временем щеки как жар, временем бледные, очи
Полные слез, засохшие губы и все в беспорядке
Мысли, как волосы, — день и ночь Дамаянти вздыхала,
Слабая, томная; не было ей ни сна на постели,
Ниже покоя на месте ином; и, тая в болезни,
Пищи она, ни питья принимать не хотела. Подружкам
Скоро стало заметно, что с их царевной прекрасной

Что-то случилось недоброе; скоро достигнул печальный
Слух и до Бимы-царя, что дочь его Дамаянти
Свой покой потеряла. Как скоро об этом проведал
Царь, то он весьма опечалился: «Видно, настало
Время любви для тебя, моя Дамаянти», — сказал он.
Вот и задумал Бима дать пир, чтоб отвсюду на выбор
Съехались к ней женихи. Гонцов разослал он по разным
Царствам индейским: царей приглашать на праздник в Видарбу.
Только к царям и царевичам весть об этом достигла,
Все снарядилися в путь; с востока и запада быстрый,
Шумный поток пути наводнил, наполняя всю землю
Смутным гулом слонов, коней, колесниц и до неба
Пыль густую подъемля. Сияя богатством уборов,
Множеством ратников, блеском оружий, пышностью броней,
Съехались гости в Видарбу; торжественно встретил их Бима. —
В это время странствовать вышел глава и светило
Всех отшельников, праведный старец Нера́да; избранный
Спутник его был Перва́та блаженный. Из пыльного мира
Темных гробов проникнул он в царство небесного света,
В оный предел, где сад веселий цветет, где великий
Властвует Индра. В светловоздушные сени вступили
Оба странника; их приветствовал радостно Индра;
Им поклонясь и воздав им обоим приличную почесть,
Царь небесныя тверди спросил гостей о здоровье
Их и целого света. «Владыка, — с поклоном Нерада
Индре ответствовал, — божеской милостью вашей здоровы
Мы, и весь свет наш здоров: благоденствуют люди и звери;
В каждой пылинке и в каждой былинке жизнь и веселье».
Слыша такой ответ Нерады, могучий правитель
Мира спросил: «Но где же мои любимцы, кровавых
Споров решители, крови своей проливатели в битвах,
Смерти презрители, храбрые мира защитники? Ими
Светлую область мою населять я люблю; но напрасно
Жду я на пир мой желанных гостей, не приходят
Гости мои уж давно. Скажи мне, святой, что случилось
С племенем храбрых?» На это ответствовал Индре Нерада:

«Я объясню, всемогущий, тебе, отчего так давно ты
Здесь никого не видишь из храбрых вождей: Дамаянти,
Дочь царя видарбинского Бимы, которой на свете
Нет ничего подобного, хочет по сердцу супруга
Выбрать, и все цари и царевичи едут в Видарбу;
Всякая ссора забыта, и вот почему так спокойна
Стала земля, почему и в твою светозарную область
Гости давно не приходят». Покуда их длилась беседа,
Прибыли к Индре его соучастники в миродержавстве —
Агнис, властитель огня, Варуна, воды повелитель,
Яма, бог-земледержец. Услышав сказанье Нерады,
Боги воскликнули с светлым лицом: «На выборе этом
Будем и мы». И на быстрых конях, предводимые Индрой,
Боги пустились в Видарбу, куда все цари собирались.
Тою порою и Наль, любовью сгорая, лишь только
Сведал о съезде великом в Видарбе, на быстрых
Крыльях желанья помчался; нужды в конях не имел он.
Боги, спустясь с высоты, на дороге увидели Наля:
Был красотою он светел, как день; и боги, пленяся
Той красотой, на него с изумленьем смотрели; четыре
Стихий властителя, в воздухе свой полет удержавши,
Вот что сказали: «Здравствуй, нишадец, войск истребитель,
Наль Пуньялока. Хочешь ли нам оказать ты услугу?
Нашим послом полномочным иди отсюда в Видарбу».

III

«Всё исполню, — ответствовал Наль; и, руки сложивши
В страхе невольном, с видом покорным спросил он их: — Кто вы,
Солнечным блеском одетые? С вестью какой повелите
Мне в Видарбу идти?» Ему ответствовал Индра:
«Знай, что мы боги бессмертные, сшедшие в мир для прекрасной
Дочери Бимы царя Дамаянти, к которой отвсюду
Сходятся ныне земные цари; я Индра, властитель
Воздуха; это Агнис, огня повелитель могучий;
Это Варуна, двигатель вод, а это великий
Тверди земной основатель Яма. Знай же, что ныне
Наш ты посол, и вот что ты должен сказать Дамаянти:
«Ведай, царевна, что боги стихий — бог воздуха Индра,

Агнис огня, Варуна воды и Яма земли — к нам
С неба сошли, чтоб из них одного избрала ты
в супруги!»
Руки сжав с умилением, Наль ответствовал Индре:
«Сам я за тем же в Видарбу иду; от других невозможно
Быть мне послом к Дамаянти; молю, от такого
посольства,
Боги, избавьте меня». На то ответствовал Индра:
«Разве не ты, благородный нишадец, сказал нам:
исполню?
Можешь ли слово нарушить? Иди ж и не смей
отрицаться».
Наль отвечал с замешательством: «Как же дойду я
к царевне?
Входы все заперты крепкою стражей». — «О том не
заботься, —
Боги сказали, — дойдешь свободно, иди без боязни».
Наль пошел, покоряся без ропота воле бессмертных.
Он во дворец свободно проникнул и там Дамаянти
Скоро увидел в кругу подружек; как с неба слетевший
Ангел, она прекрасна была, и прелесть любви окружала
Нежные члены ее, вожделенье любви пробуждая
В каждом сердце; и месяц и солнце не столь утешали
Светом своим, как ее пленительно-девственный образ.
Муку любви почувствовал Наль при виде волшебном
Стройного стана ее; но он пересилил стремленье
Силы мучительной. Все подружки царевны вскочили
С мест, изумленные входом нечаянным Наля; прекрасный
Образ его поразил их так, что им показалось
Небо отверзтым. Не смея его вопросить, меж собою
Тихо шептались они, повторяя: откуда пришел он?
Кто он? какой он породы? райской? земной?
исполинской?
Так вопрошали друг друга они, ослепленные блеском
Наля, очей на него поднять не смея (столь боги
Прелесть его, уж и так неземную, блеском небесным
Вдруг возвеличили). В это мгновенье пред ним Дамаянти
С сердцевластительным взором, с улыбкой, чарующей
душу,
Молча стояла, молча глядела и таяла тайным
Пламенем. «Кто ты? — она напоследок спросила. —
Кто ты, всё озаряющий, прелестью дышащий, душу

Радостной мукой объемлющий? Как ты проникнул в обитель
Царской дочери, всем затворенную, мимо царевой
Стражи, никем не замеченный? Кто ты? Какое ты носишь
Имя?» На этот вопрос видарбинской прекрасной царевны
Наль ответствовал: «Знай, Дамаянти, я Наль; я в Видарбу
Прислан, царевна, тебя известить, что великие боги
Индра, Агнис, Варуна и Яма спустились на землю
С неба затем, чтоб из них одного избрала ты в супруги.
Их могуществом мог и сюда неприметно пройти я;
Зная теперь, зачем я здесь, видарбинская дева,
Сделай сама, что найдешь для себя и благим и приличным».

Глава вторая

I

Весть такую услышав, сначала богам Дамаянти
Сердцем смиренным свою принесла благодарность; с улыбкой
Налю сказала потом: «Не боги, а ты мой избранный
Светлый жених; я твоя, и всё, чем я обладаю,
Всё, что люблю я, каждое явное, тайное чувство
Сердца, все мысли, желанья, и жизнь, и всё, мой прекрасный
Царь, владыка души, твое без остатка. Что белый
Гусь мне сказал, то сердце мое сокрушило; и были
Все цари и царевичи созваны мною на выбор
Только затем, чтоб привлечь и тебя: но ты уж заране
Избран; отдаться тебе поклялась я, и был ты
Здесь уж давно ожидаем; но только совсем для иного.
Сватайся ж сам за меня; тебе неприлично являться
Здесь послом от других; и знай, что если тобою
Буду отвергнута я, от которой приемлешь ты ныне
Почесть такую, то всё мне смертию будет: вода ли,
Яд ли, огонь ли, веревка ли, всё мне равно; нестерпимо
Женскому сердцу в любви безответно признаться».
На это

Наль видарбинской царевне ответствовал: «Как же ты можешь
Вечным богам предпочесть обреченного смерти? Как можешь
С теми, от коих жизнь истекает, кем держится зданье
Мира, ставить меня наряду, недостойного с прахом
Ног их сравниться? Идущий против воли бессмертных
Смерти навстречу идет. О пленительно стройная дева!
Будь мне спасеньем, избравши небесное вместо земного.
Легкость чистых, беспыльноэфирных одежд, неземные
Перлы, венки и повязки богов предпочти и блаженствуй.
Что желанней тебе? Благовонный ли воздух? Огня ли
Жертвенный пыл? Живая ли влага воды? Иль твердыня
Вечной земли? Один, лазурновоздушным пространством
Мир объемля, движеньем и светом его наполняет;
Искрою в каждой пылинке таяся, другой проникает
Всё, разрушая тела и духу даруя свободу;
Третий, кристальною цепию землю обвив и на зыбком
Пухе воды отдыхая, жемчужные нити вплетает
В кудри свои; четвертый дает живущему место,
Мертвому пристань и всё созданье на суд собирает —
Вот твои женихи, Дамаянти; богам ли бессмертным
Ты откажешь? Не делай того, послушайся друга».
С трепетом сердца и влагой печали затмивши сиянье
Светлых очей, отвечала ему Дамаянти: «Всесильны
Вечные боги; я чту их всем сердцем и им поклоняюсь
С верой; но ты мой жених; ты избран любовию; этой
Правды скрывать не хочу я». Так говоря, Дамаянти
Очи стыдливо склонила и руки прижала к дрожащим
Девственно чистым грудям с умоляющим видом. Вздохнувши,
Наль отвечал: «Не забудь, Дамаянти, что я пред тобою
В сане посла, нарушу ль святую доверенность? Буду ль
Ныне просить для себя того, что строго велит мне
Должность просить для других? Наступит мой час, и без страха
Стану за право свое. Ты сама об этом размысли,
Радость очей, видарбинская роза». Вздох утаивши,
Тихо в ответ Дамаянти шепнула: «О друг, мы согласны
В мыслях; ты путь прямой избери, чтоб упрека и тени
Пасть на тебя не могло. Приходи же, о ты, украшенье

Смертных людей, с богами ко мне на торжественный выбор;
Там, в присутствии сильных властителей мира, тебя я
Выберу, царь благородный, тогда и ты пред богами
Правым и чистым останешься». Этот ответ видарбинской
Девы принявши, Наль возвратился в то место, где были
Собраны боги. Посла своего издалека увидя,
Миродержавцы спросили его с живым любопытством:
«Что ты скажешь? Какой ответ нам принес от царевны?»
Наль сказал: «Посланником вашим проник я в жилище
Царской дочери, мимо стражей, невидимый стражам,
Видимый только царевне одной; конечно, то было
Так устроено вашею властью; с царевной нашел я
Много подруг; они вскочили, меня испугавшись;
Но Дамаянти, прекрасный светлосмеющийся месяц,
В то мгновенье, как вашу волю, бессмертные боги,
Я объявлял ей, меня самого в затменьи рассудка
Выбрала. Вот что сказала в ответ мне царевна: «Пусть придут
Боги вместе с тобою ко мне на торжественный выбор;
Там, в присутствии сильных властителей мира, тебя я
Выберу, царь благородный; тогда и ты пред богами
Правым и чистым останешься». Ваша воля святая
Мною исполнена, вечные боги; теперь, умоляю,
Должность посла снимите с меня и свободу мне дайте».

II

Вот с наступлением дня пригласил царь Бима на выбор
Всех своих знаменитых гостей. Собралися в обширной
Царской палате цари и царевичи; взоры их жаркой
Жаждой любви пламенели; они прошли сквозь златые
Своды высоких дверей, как львы сквозь расселину; в блеске
Свежих душистых венков, в серьгах драгоценных сидели
Там величавые гости на пышных, упругих подушках;
Тесно их сонмище было, как львиная грива густая;
Полная ж ими палата казалась разинутым зевом
Тигра, полным зубов. И было тут чем любоваться:
Крепкие бедра, как будто столбы, литые из меди,
Сильные мышцы и плечи, как будто могучие дубы,
С гибкими пальцами руки, как змеи с пятью головами,

Гордые шеи, светлым гранитным зубцам на вершинах
Горных подобные, в блеске прекрасных, весельем
горящих
Лиц, и пышных волос, и высоких бровей, и огнистых
Глаз. И в собранье гостей вошла Дамаянти, чтоб ум их
Взглядом одним помутить, чтоб глаза и сердца их опутать
Сетью любви. И все к ней очами прильнули, как птицы
К клейкой охотничьей жерди. Долго кругом Дамаянти
Взор свой водила; но тот, кто один был и в сердце и
в мыслях,
Ей не являлся. Вдруг видит царевна пять одинаких
Образов; были они перед нею; то к ней приближались,
То от нее отходили; и каждый ей представлялся
Налем, как скоро глаза на него она обращала;
Мысли ее помутились. Она подумала: «Что мне
Делать? Как четырех богов отличу я от Наля?»
Взоры ее напрасно божественных знаков искали.
«Знаков, о коих дошли к нам издревле сказанья,
не носит
Здесь на себе ни один из видимых мною», — царевна
Думала. Вот наконец, по долгом с собой размышленьи,
Так решилась она: «К богам подойду я с молитвой;
Боги молитвы моей не отринут». И с верой смиренной,
Руки сложив и к грудям богомольно прижав их, царевна
Так сказала: «Боги бессмертные, боги святые,
Мною избранного, сердцем желанного мне покажите;
Если пред вами я делом и мыслию правду хранила,
Если молюся вам с теплою верою, если вы сами
Мне, уж избранного мною самою, в супруги избрали,
Если его я любить поклялася и если должны быть
Клятвы священны, то мне вы его покажите, благие
Боги, и знаки свои мне откройте, чтоб вас я почтила».
Столь сердечную жалобу слыша из уст Дамаянти,
Видя ее чистоту, и любовь, и покорность их воле,
Видя правдивость ее, и кроткое сердце, и светлый
Ум, согласились немедля ее желанье исполнить
Боги и приняли знаки свои. Тогда Дамаянти
Их во мгновенье узнала по зоркоспокойному оку,
Лицам беспотным, светлонетленным венкам,
недоступным
Пыли белым одеждам, бестенному телу и дивной
Легкости быстрых движений, с какою они перед нею

Веяли с места на место, земли не касаясь ногами.
Рядом с ними, полуотененный, в венке уж завядшем,
Пылью и потом покрытый, стоял на земле с помраченным,
Грустно потупленным взором задумчивый Наль.
Дамаянти
Вызвала тотчас его из средины бессмертных и выбор
Свой изъявила обычным обрядом, смиренно коснувшись
Края одежды его и на кудри его наложивши
Свежий душистоблестящий венок. Совершился великий
Выбор; со всех сторон раздалися торжественно клики;
Все цари и царевичи, мужи святые и боги,
Выбор одобрив, воскликнули: *Слава!* счастливому Налю.
Он же, полный блаженства любви, своей нареченной,
Робко краснеющей, очи склонившей, дрожащей невесте
Так сказал с трепетанием сердца, но голосом твердым:
«Если могла при бессмертных богах ты смертного мужа
Так почтить, Дамаянти, то слушай: тебя я
Сам пред людьми и богами своею женой именую,
Весь на целую жизнь отдаюся тебе, и доколе
Будет дух жизни в теле моем, дотоле, о дева,
Роза Видарбы, я буду твоим; мое обещанье
С верой прими, на меня положись; отныне тебя я
Буду питать, защищать, и чтить, и хранить и останусь
Верен тебе всегда, во всем, и словом и делом,
Радость и горе, богатство и бедность и всё неизменно
В жизни с тобой разделяя». Обет такой произнесши,
Светлый жених перед всеми своей лучезарной невесте
Дал целомудренно первый любви поцелуй; и друг другом
Долго в блаженстве немом любовались они; напоследок,
Вспомнив, что боги близко, и царь и царевна пред ними
Пали с молитвой; и боги скрепили своей благодатью
Брак их; податели всякого блага, они даровали
Налю четыре великие силы: могучий властитель
Воздуха дал ему зоркость очей с способностью в каждом
Месте простор находить и везде освежаться прохладой;
Бог огня даровал обладанье огнем и возможность
Видеть без ужаса блеск мирозданья; правитель земныя
Тверди дал твердую поступь, чтоб был для него
безопасен
Всякий путь по земле, и тонкий вкус для разбора
Пищи; владыка воды наградил могуществом воду
Всюду творить и цветы рождать единым желаньем,

Так одаривши царя, и царевне все четверо вместе
Дали одно обещанье: что брака их радостью будут
Сын, как отец, и дочь, как мать, прекрасные. Милость
Им изъявивши такую, боги сокрылись; за ними
Вслед и цари и царевичи, выбор невесты одобрив,
В путь обратный пустились. Царь Бима, увидя, что схлынул
Этот прилив гостей, устроил свадебный праздник.
Наль, сочетавшись с своею царевною, пробыл в Видарбе
Первые дни в весельи и в радости сладкой; потом он
В царство свое, блаженный, прославленный, с милой женою,
Честию жен, звездой красоты и любви, возвратился.
Там в благовонных рощах, в роскошных царских палатах
Он благоденствовал, тихо и сладостно каплю за каплей
Жизни из чаши одной выпивая с ней вместе, вкушая
Мир и свободу, в молитве, в забавах, в труде и покое,
Правду творя и на счастьи народном свое утверждая.

III

Боги, покинув Видарбу и в небо свое возвращаясь,
Встретили адского бога Кали́. Провожаем Двепарой,
Странствовал он по земле. «Куда направляешь ты путь свой?» —
Индра спросил. «В Видарбу, — Кали отвечал, — Дамаянти
Будет моею женою; мне в мысли пришло, что я должен
Ею быть выбран». С улыбкой ответствовал Индра: «Уж выбор
Сделан; ты опоздал; при нас она поклялася
В верности Налю». Кали, услышав от Индры такую
Весть, воскликнул в кипении гнева: «Когда Дамаянти
Смертного мужа посмела богам предпочесть, то над нею
Страшно должна отмщена быть такая обида». На это
Боги света мрачным богам отвечали: «По воле
Нашей выбор свершился в Видарбе; и млад и прекрасен
Наль: лишь одною б лишенною смысла он мог быть не избран,
Он, непорочный, уставов святых постоянный блюститель,
Книг духовных внимательный чтец, своим правосудно
Правящий царством; он, у которого в доме усердно

Приняты с почестью, с сладкодушистыми жертвами боги;
Он, правдивый, твердый и кроткий, людьми и богами
Чтимый; он, строгий обетов хранитель, он, одаренный
Набожным сердцем, великой душою, смиреньем и силой;
Он, в котором терпенье, умеренность, благость в единый
Образ божественной прелести слиты... Кали, кто враждует
С праведным Налем, тот скройся в пропасти ада, на муку
Вечную». Так отвечав, удалилися боги на небо.
Видя богов удалившихся, с злобной усмешкой Двепаре
Молвил Кали: «Не прощу никогда я обиды; теперь же
В Наля вселюсь, чтоб его, ненавистного, ввергнуть в погибель;
Ты же, Двепара (ведь знаем давно мы, какой он горячий
В кости игрок), поселися в костях и будь мне помощник».

Глава третья

I

С замыслом злобным своим притаился в обители царской
Наля коварный Кали. Он всё выжидал, чтоб удобный
Случай открылся ему совершить предприятое; шесть лет
Ждал он напрасно; в седьмой год предстал наконец благосклонный
Случай: ко сну отходя, позабыл совершить очищенье
Царь, и в тело нечистое дух нечистый вселился.
В сердце Наля проникнул Кали, и святое жилище
Мирной невинности сделалось мутно от злых помышлений
Был у Наля сводный брат Пушкáра. Далеко
Жил он в своем городке, небогатым участком довольный;
Хитрый Кали, овладевши сердцем смиренного Наля,
Вот что сказал в сновиденьи Пушкаре: «Возьми ты скорее
Кости, и к Налю иди, и игру о царстве Нишадском
С ним заведи, и будет твоим Нишадское царство;
Весь проиграется Наль». Пушкара, прельщенный нечистым

Духом, взял кости, в которых уже скрывался Двепара,
К Налю явился и вызвал его на игру; загорелся
Бешеной страстию Наль, запрыгали кости, и смертный
Бой начался; и царь, как безумный, ставил на кости
Всё: драгоценные камни, золото, утварь, одежды,
Замки и земли, и всё, одно за другим, ослепленный
Хитрым врагом, он проигрывал. Тщетно его Дамаянти
Бросить игру умоляла; ее он не слушал. Смутились
Все приближенные, все вельможи, весь двор, все граждане;
Вот Дамаянти слышит, что все они собралися
В царском дворце, чтоб царю объявить, как сильно тревожит
Их злоключенье такое; и в горьких слезах Дамаянти
Так сказала царю: «В твоей обители весь твой
Верный нишадский народ собрался, и ждет, и желает
Светлые очи увидеть твои; покажися, ответствуй
Им на любовь их вниманием царским». И слезы бежали
Быстро из глаз Дамаянти; но царь не внимал ей, враждебной
Силою мрачного духа объятый. И двор и граждане,
Видя, что Наль их моленья отверг, разошлись, помышляя
С горем глубоким и тяжким стыдом: *он боле не царь нам!*
Кости же тою порой как живые летали; всё жарче
Бой разгорался, и царь проигрывал с каждым ударом.

II

Видя, что муж от игры был совсем без ума, Дамаянти
Стала думать о том, каким бы средством от близкой,
Им обоим грозящей беды защититься; но трудным
Ей показалось спасенье; безумный Наль поминутно
Область за областью брату проигрывал. Вот Дамаянти
С горем сказала кормилице старой своей Врихазене,
Чтимой всеми в доме царевом, советнице умной:
«Друг мой, кормилица, слушай; ко мне собери поскорее
Всех советников царских; мне должно с ними исчислить,
Сколько богатства проиграно, что еще нам осталось».
Вот собралися советники; их повела Дамаянти

К Налю, который играл беспробудно. К нему приступила
С ними царица и, плача, выслушать их умоляла.
Но очарованный Наль был глух, и слеп, и бесчувствен;
Он не взглянул на нее, не сказал ей ни слова,
Всё продолжал попрежнему с братом играть и стоявших
В горе и страхе пред ним вельмож не приметил. Утратив
Всю надежду, они с содроганьем оставили царский
Дом. Царица же долго в лицо безумному Налю
С страхом смертельным смотрела; а между тем роковые,
Налю враждебные, брату его благосклонные кости
Стуком своим беспрестанным и пуще ее ужасали.
«Слушай, кормилица (так наконец Дамаянти сказала
Верной своей Врихазене), беда наступила; скорее
Кликни Варшнею, правителя коней царевых». Когда же
К ней явился Варшнея, устами, сладчайшими меда,
Вот что ему Дамаянти сказала: «Варшнея, сопутник
Верный царя, послужи ему и теперь в наступившем
Бедствии: видишь, что каждый проигрыш с новой
Силой в нем страсть к игре разжигает, что кости как будто
Против него заодно с Пушкарой; мой царь обезумлен
Духом враждебным, забыл о народе, о ближних, не внемлет
Даже и мне; всему причиною кости; в них скрыта
Адская сила, а сам он невинен. Послушай, мой добрый,
Верный Варшнея, исполни мое повеленье: всечасно
Жду со страхом и трепетом я, что царь мой погибнет,
Всё проиграв; но еще не проиграны царские кони
Быстролетучие; сядь в колесницу его и немедля,
Прежде чем наша погибель вполне совершилась, в Видарбу
К Биме, отцу моему, детей отвези; поклонися
Сродникам всем и знакомым моим; когда же отдашь ты
Всё, и сироток моих и царских коней с колесницей,
Биме, тогда ты будешь волéн иль остаться в Видарбе,
Или идти в иную какую землю, куда ты
Сам пожелаешь». Варшнея, верный правитель царевых
Коней, выслушав то, что ему Дамаянти сказала,
Созвал советников царских; когда же и те согласились
С умным желаньем царицы, то, взяв детей, он поехал

С ними в Видарбу. Там, снявши детей с колесницы,
Отдал их Биме, потом родным и знакомым царицы
Всем от нее поклонился, потом, печалимый тяжкой
Участью Наля, пошел в свой путь и, в Айоду пришедши,
В службу вступил к царю Ритуперну правителем коней.

III

Был уж далеко Варшнея, когда у несчастного Наля
Выиграл злой Пушкара всё царство. С насмешкою колкой
Брату сказал он: «Ты весь проигрался; посмотрим,
Что ты теперь поставишь на кости; одна Дамаянти
Только и есть у тебя; твое же добро остальное
Всё мое; отведаем счастья. Чьею женою
Быть должна Дамаянти, твоею или моею?»
Это услышав, Наль содрогнулся, вздохнул и ни слова
Не был в силах промолвить; но, мрачно взглянувши на брата,
Снял с себя все уборы и, только одно сохранивши
Бедное платье, нищий, ограбленный, царь благородный
Вышел смиренно из царского дома, несметных сокровищ
Полного; следом за ним, без роптанья судьбе покоряся,
Также одно лишь платье сберегши, пошла Дамаянти.
Ночь они провели без ночлега; под смертною казнью
Их принимать запретил Пушкара гражданам Нишады;
Новый царь был страшен, и так ни единый из прежних
Подданных не дал приюта царю бесприютному. Близко
Города, голод и жажду терпя, одним безотрадным
Горем богатый, три дня и три ночи сряду скитался
Наль; потом он дале пошел, печальный, голодный;
Следом за ним пошла Дамаянти; для скудныя пищи
Ягоды рвали они и рыли коренья. Прошло уж
Несколько дней печального странствия; голод жестоко
Мучил однажды обоих. Вдруг две златокрылые птички
Сели на травке близ самого Наля. «Нам будет сегодня
Пища», — сказал он, тихонько подкрался к птичкам и, снявши
С плеч последнее платье свое, им поспешно накрыл их.
Что же? С ним вместе птички взвилися на воздух и, видя,
Как изумлен был Наль, совсем обнаженный, запели:

«Знаешь ли, кто мы, безумный? Мы кости, мы кости! нарочно
Мы сюда прилетали, чтоб взять у тебя остальное
Платье; нам было досадно, что ты, совсем проигравшись,
С платьем еще оставался. Прости, безрассудный; счастливый
Путь!» И птички исчезли. Наль сказал: «Дамаянти,
Те, от которых такую беду я терплю, кто лишили
Царства, покоя и счастья меня, от которых не смеет
Ныне меня принимать ни один из нишадцев, — под видом
Птиц златокрылых сюда прилетали, дабы остальное
Платье похитить мое. И теперь я, сил и рассудка
Горем лишенный, тебе самой, Дамаянти, на выбор
Всё отдаю. Та дорога ведет по горам Ришаванским
Прямо в Авантскую землю; здесь по склоненью Виндийских
Гор, вдоль излучистой светлошумящей Пайошни проникнешь
В те места, где отшельники в кельях святых обитают;
Здесь же дорога в Видарбу». Так Наль говорил; но рыданье
Грудь Дамаянти спирало, и слезы лились по прекрасным,
Бледным щекам. Она ему отвечала чуть слышным
Голосом: «Сердце мое замирает, и я от печали
Вся цепенею при мысли одной о том, что так сильно
В этот миг тебя, о возлюбленный друг мой, тревожит.
Царства лишенный, счастье утративший, голодом, жаждой,
Всякой нуждою томимый, царей красота, мой единый
Друг, как мог пожелать ты, как мог ты подумать, чтоб было
Мне возможно покинуть тебя, от тебя отказаться?
Нет, мой прекрасный, тебя, изнуренного голодом, жаждой,
Горем о счастье погибшем томимого, буду и в диком
Лесе и в знойной степи утешать я и словом и взглядом.
Знай, что нет для души и для тела вернее лекарства
Верной жены». — «О! правда твоя, Дамаянти, — с улыбкой
Наль ответствовал, — нет для несчастного лучше лекарства

Верной, любящей жены. Я с тобой не расстанусь; могло ли
В ум твой войти подозренье такое? Скорее с своею
Жизнью расстануся я, чем с тобою, сокровище жизни». —
«Друг, для чего же ты мне говоришь о дороге в Видарбу?
О, мне страшно! о свет мой прекрасный, останься со мною!
Будешь себя самого ненавидеть, меня потерявши.
Нет, мой друг, не указывай мне на эти дороги;
Вся душа во мне замирает от горя и страха.
Если же хочешь, чтоб к сродникам я возвратилась в Видарбу,
Вместе пойдем; видарбинский царь, родитель мой, Бима
Радостно примет тебя и твоим утешителем будет;
В почести будешь со мною ты жить под отеческой кровлей».
Наль отвечал: «Дамаянти, сомнения нет, что отец твой
Радостно примет меня и пристанище даст мне в Видарбе;
Но, бесприютный и нищий, туда не пойду я. Могучим,
Славным, богатым, подателем счастья тебе я оттуда
Вышел; могу ли туда возвратиться бессильным, бесславным,
Нищим, счастия жизни твоей разрушителем? Лучше
Вместе с тобою, о светлый мой ангел, пойду в одинокий
Путь по горам, по долинам, питаяся воздухом, жажду
Свежей росой утоляя, чтоб только лишь солнце и месяц
Ныне нас страждущих видели, прежде нас видев блаженных».

Глава четвертая

I

Так утешал сокрушенную спутницу Наль; Дамаянти,
Нежно к нему прижимаясь, одела его половиной
Скудной одежды своей; и так под одним покрывалом,
Голод и жажду терпя, дорогою трудной достигли
Оба к низенькой хижине, лесом густым окруженной;
Там, утомленные, пылью покрытые, царь и царица
Друг подле друга легли на голой земле без подушки.

Наль заснул, и скоро глубоким сном Дамаянти
Также заснула. Но сон царя злополучного длился
Мало; тяжесть лежала на сердце его; пробудившись,
Стал он думать о царстве своем, о потерянном счастье;
Странствие в диких лесах и степях его ужасало;
Ум его помутился. «Что за судьба! — про себя он
Так говорил, — не лучше ль мне смерть, чем изгнанье
и бедность?
Эта ж несчастная, мне себя посвятившая... должно ль
Ей без вины разделять мое заслужённое горе?
Розно со мною она к родным возвратится; со мною ж
Вместе уделом ей будет страданье одно; так не лучше ль
Нам расстаться?» Так он всё думал, думал, и скоро
В нем утвердилася мысль, что ему Дамаянти покинуть
Должно. «Где бы она ни была, — он сказал, — никакая
Вражья рука ей, небесно прекрасной, божественно
чистой,
Зла приключить не дерзнет; опасность может грозить ей
Только там, где буду с ней я, на беду обреченный».
Так он, врагом обуянный, знакомился с мыслью разлуки.
«Как же мне быть? — наконец он сказал. — Я наг; уж
не взять ли
Мне половину платья ее? Но могу ли то сделать
Так, чтоб она не проснулась?» И он бродил
в нерешимых
Мыслях около хижины; вдруг на земле он увидел
Ржавый кинжал без ножон; поспешно, с радостью дикой
Этот кинжал он схватил, и им половину отрезал
Платья у спящей жены, и той половиной покрылся.
После, как будто в испуге, зажавши глаза, побежал он
Прочь, но скоро назад возвратился и горько заплакал,
Глядя на спящую. «Та, на которую ветер холодный
Дунуть не смел, которую знойное солнце не смело
Жарким лучом потревожить, краса молодая, услада
Жизни моей, подобно безумной, в обрезанном платье
Здесь на жестком камне лежит. О ангел небесный,
Свет души, Дамаянти, что будет с тобою, когда ты
Боле меня не найдешь? О дочь прекрасная Бимы,
Как же ты будешь бродить, не имея защитника в диком
Лесе, где львы и тигры живут, где змеи гнездятся?
О вы, боги земные, боги воздушные, духи
Гор и пещер, охраняйте ее прекрасную младость!

Самый же верный ей щит — ее непорочность святая!»
Так сказав, опять удаляется Наль от беспечно
Спящей спутницы, снова приходит, снова уходит,
Плача, терзаясь, то сильным врагом, то любовью
влекомый.
Но наконец Кали одолел: трепещущий, бледный,
Тяжко стеная, чуть движа ногами, пошел он и скоро
Скрылся, и в диком лесу одна Дамаянти осталась.

II

Только что Наль удалился, очи свои Дамаянти
С ясной улыбкой открыла; ищет его, озираясь
Робко по всем сторонам... когда же нигде не нашелся
Друг желанный, то страх предвещательный душу
пронзил ей;
Вдруг она закричала отчаянно-жалобным криком:
«Наль!» — но ответа ей не было. «Царь мой, — она
возопила, —
Мой повелитель, защитник, мой спутник, ужели
Мог ты покинуть меня в такой бесприютной пустыне?
Я умру от страха в этом лесу; возвратися,
Наль, мой друг, мой желанный! Ужели меня обманул ты?
Мог ли ты слово нарушить свое и меня, беззаботно
Спящую, кинуть? О, где ты? куда ты, в какую
Сторону, милый, пошел? Подожди, возвратися; как мог ты
Бросить жену, полжизни твоей? Иль над нею, невинной,
Хочешь отмстить чужую вину? Но вспомни же, что ты
Ей обещал в присутствии вечных богов? О! теперь
я постигла
В горе моем, что нам умереть в не указанный свыше
Час нельзя — иначе могла ли б прожить я единый
Миг, потерявши тебя? О нет, ты только пугаешь
Шуткой меня; перестань же, мой друг; от шуток
подобных
Стынет кровь и мертвеет душа; я робка; воротися;
О! я знаю, ты близко, ты скоро покажешься; дай же
Светлые очи твои мне увидеть! О, где ты? В какую
Чащу лесную ты скрылся, чтоб душу мою растревожить?
Ах! но если ты вправду со мною расстался и если
Боле ко мне не придешь и мне не подашь в утешенье
Руку, то я не себя оплакивать буду; я буду,

Милый, скорбеть о тебе; ты один; что будет с тобою,
Всеми на свете оставленным, грустным, усталым,
голодным,
Жаждущим? О мой милый, что будет, что будет с тобою
В те минуты, когда ты, меня уж не видя очами,
Будешь видеть душою, и будешь звать, и нельзя уж
Будет дозваться меня, и уж боле меня ты
не встретишь?..»
Так говорила в печали своей Дамаянти, то плача
Горько, то падая с тяжким рыданьем на землю, то
с громким
Криком с земли подымаясь и лес наполняя стенаньем.
Вот после долгого плача, рыданья, крика и стона,
С чувством живого к нему сожаленья, она возопила:
«Кто бы ни был тот враг, чья зависть и злоба такое
Зло приключили царю моему, пускай испытает
Он, ненавистный, сугубое зло; пускай искуситель,
Чистую душу царя моего увлекший в такое
Дело, все муки мои в свою нечистую душу
Примет». Так проклявши врага, по дикому лесу,
Полному злых людей и чудовищ, пошла Дамаянти
Медленным шагом куда глядели глаза и твердила
Грустною горлицей: «Милый, возлюбленный, где ты?»,
и слезы
Градом катились из глаз, и грудь разрывалась от вздохов.
Вдруг на нее с высокого дерева кинулась с страшным
Свистом змея, голодная, длинная, жадно добычу,
В ветвях древесных склубившись, стерегшая. Сжатая
в крепких
Кольцах чудовища, только о милом своем Дамаянти
В час погибели думала. «Где ты? — она восклицала. —
Друг, поспеши на помощь ко мне, погибающей; горько,
Горько будет подумать тебе, когда возвратишься
Снова на царство, избегнув от бед, что меня ты покинул
Так беззащитно в лесу на погибель. Отныне кто будет,
О мой царь, тебя, одинокого странника, в темном
Лесе, в знойной степи, утомленного горем, болезнью,
Голодом, жаждой томимого, в зной полуденный,
в жестокий
Холод ночной утешать, ободрять и покоить? Меня уж
В свете не будет...» Но жалобный стон Дамаянти
услышал

Шедший вблизи звероловец. Он кинулся к ней и, нацелив
Метким копьем, змею умертвил. Спасена Дамаянти.
Выпутав нежные члены ее из губительных колец,
Он с удивленьем спросил: «Откуда, красавица, кто ты?
Дева с глазами живой антилопы, какою судьбою
В эту пустыню зашла ты и ввергласъ в такую опасность?»
С грустно-приветной улыбкой повесть свою Дамаянти
Всю простодушно ему рассказала. Ее пред собою
Видя полуобнаженную, с девственно полною грудью,
С стройно-воздушным станом, с устами цветущими, в пышном
Шелковых черных волос покрывале, с ярким блистаньем
Черных глаз под бровями, прекрасною, тонкой дугою
Их осенившими, он во мгновение зверской любовью
Вспыхнул; и взором бесстыдным ее пожирал он, и руки
Около гибкого стана обвить он хотел, и рвался он
К чистым устам, чтоб их осквернить поцелуем. Но гневом
Очи ее, как небесная молния, вспыхнули; грозно
Душу пронзающий взор на него она устремила.
«Если то воля бессмертных, чтоб мною владел без раздела
Данный мне ими супруг, то теперь же пади бездыханен,
Враг ненавистный, на землю!» — сказала она, и лишь только
Гневное слово язык произнес, как уже святотатец
Мертв перед нею лежал, убитый ее заклинаньем.

III

Чудом спасенная, снова пошла Дамаянти пустынным
Лесом вперед, и чем далее шла, тем мрачней становился
Лес; деревья сплеталися ветвями; мошки, густою
Тучей клубяся, жужжали; рыкали львы, и ужасный
В хворосте шорох от тигров, буйволов, рысей, медведей
Слышался ей; нигде дороги не было; всюду
Падшие гнили деревья; меж трупами их пробивались
Дикие травы, в которых, шипя, ворочались змеи;
Вправе и влеве, в кустах и в вершинах дерев раздавались
Крики орлов плотоядных, и хлопали крыльями совы.

Лес наконец уперся в высокую гору, где жили
С давних лет великаны и карлы, которой вершина
В небо вдвигалась, а темное чрево хранилищем редких
Камней было. Там чудно скалы на скалы громоздились;
Били живым серебром по бокам их ключи; водопады
Мчались, сверкали, кипели, ревели меж скал;
неподвижно
Черная тень лежала в долинах, и ярко блистали
Голые камни вершин; в бездонно глубоких пещерах
Грозно таились драконы и грифы. Такою дорогой
Шла Дамаянти, сама не зная куда, с неизменной
Верностью к другу, ей изменившему, с сердцем
смиренным,
С чистым в душе целомудрием, с верой, не знающей
страха;
Шла она, шла и пришла в пустынное место; и
в грустных
Мыслях о друге далеком младые уста растворила
К жалобе нежной и так, поминая его, говорила.
«Где ты, царь благородный, нишадец прекрасный,
могучий?
Где ты? Куда ты пошел, мой владыка, покинув
в безлюдном
Месте меня без защиты? Скажи мне, как мог ты,
усердный
Жертв приноситель богам, позабыть о нашем союзе?
Ведды читатель, как мог ты обет свой нарушить? Как
можешь
Добрым молиться богам, повелевшим тебе быть защитой
Данной ими жены, как и мне они повелели
Следовать в самую смерть за владыкой моим? О!
Зачем ты
Слово нарушил? Виной ли какою я то заслужила?
Или тебе не жена я? Скажи же, ответствуй: зачем ты
Так жестоко отрекся меня, обещав мне иное?
Или открой мне, где ты теперь веселишься, оставив
В горе меня безутешном? Ответствуй, куда ты,
нишадский
Царь, ушел? По тебе твоя видарбинка тоскует;
Сын Виразены могучего, дочь благодушного Бимы
Кличет тебя; о Наль мой, откликнись твоей Дамаянти;
Голос подай ей в этой пустыне; ей здесь угрожает

Леса властитель, кровавый, голодный тигр; неужели
Ты ответа не дашь мне, грустящей, плачущей, ждущей,
Брошенной, слабой, иссохшей от голода, пылью покрытой,
Ночью и днем бесприютной, одежды лишенной, бродящей
В страхе, как матки лишенная лань? Неужели ко мне ты,
Друг, не придешь? Я зову, но дозваться тебя не могу я;
Всюду с тобой лишь одним говорю, а ты безответен;
Ты, из людей благороднейший, блеском очей, величавой
Стройностью стана, лица красотою божественный, где ты?
Где ты? И где тот, кому б мне сказать: *не видал ли ты Наля?*
Кто б мне отрадное слово промолвил в ответ: *твой прекрасный,*
Твой желанный, о ком ты так плачешь, так сетуешь, близко! —
Вот бежит владыка лесов, острозубый, могучий
Тигр; я без страха к нему подойду и скажу: благородный
Тигр, владыка лесов, я царская дочь Дамаянти,
Светлого Наля жена, одинокая, сирая, в горе,
В страхе, в нужде, за ним безотрадно бродящая; где он?
Если ты знаешь об этом, зверей повелитель, скажи мне;
Если же нет, то скорее меня растерзай, чтоб от муки
Душу мою исцелить. Но, мои молящие вопли
Слыша, зверей повелитель к реке, впадающей в море,
Мимо, ответа не дав мне, из леса уходит. Я вижу,
Там подымается, в небо упершись вершиной, обвитый
Пышным венцом из дерев и кустов благовонных, цветами
Ярко пестреющий, солнечно блещущий, слитый из твердых
Скал, насквозь просиянный металлами, рек и потоков
Древний отец, лесов неприступная башня, пустыни
Сторож, владыка гор, — подойду и скажу: о владыка
Гор первозданный, спокойно-блаженный, прохладно-росистый,
Тучеподобный, земли подпиратель, тебе поклоняюсь;
Слезно тебя, о великий, молю, скажи: не видал ли
Наля? Я дочь благодушного Бимы-царя, Дамаянти;
Сын Виразены, Наль Пуньялока, супруг мой, Нишады
Царь богомудрый, глубоко постигнувший Ведду святую,

Чистый и мыслью, и словом, и делом, гонимых защитник,
Зла истребитель, сеятель благ, мне данный богами
Спутник, покинул меня, и, расставшися с ним, я рассталась
С жизнию. Ныне к тебе прихожу, многоглавный властитель
Гор, с высоты всё объемлющий оком, скажи: не видал ли
Наля? Ответствуй, могучий создания первенец; словом
Сладкой надежды утешь сироту, как отец утешает
Дочь сокрушенную: где мой возлюбленный? где мой желанный?
Где мой прекрасный, мой более жизни мне милый сопутник?
Где мой царь, мой владыка, мой вождь, мой ангел-хранитель?
Рвется сердце к нему; по нем душа унывает;
Очи ищут его, и голоса милого жаждет
Слух, и грудь сгорает желаньем прижаться ко груди
Жаркой его... О! когда же придется услышать мне снова
Милое слово из сладостных Налевых уст: *Дамаянти!*»
Так говорила в своем сокрушеньи с горою пустынной
Бедная царская дочь, но гора не дала ей ответа.

Глава пятая

I

К северу лесом пошла Дамаянти; три дня и три ночи
Шла она; вдруг перед нею явилась чудесно-густая
Роща из райских дубов; кругом живая ограда
Вся в цвету, и исполнена тихим небесным сияньем
Внутренность. Там обитали отшельники, мира отрекшись.
Строгие постники, чувств обуздатели, помыслов светлых
Полные, чистой душой на земле небожители, в этой
Роще жили они, с собою розно, с одними богами
В тесном союзе; им пищей роса и воздух, одеждой
Листья древесные были. Дивяся, смотрела на этот
В дикой пустыне сокрытый эдем Дамаянти; там было
Всё благовонно; цветы и плоды сияли меж темных

Листьев; сверкали ручьи; на их берегах антилопы
С легкими сернами прыгали; ветви обвивши хвостами,
С криком качались на них обезьяны; по сучьям деревьев
Ползали, перьями ярко блестя, попугаи. Свободно
Царская дочь вздохнула, святую увидя обитель;
Всё чаруя небесно-смиренною прелестью женской,
Темнокудрявая, сладостно стройная, тихо, как будто
Вея по воздуху, к старцам святым подошла Дамаянти;
Ласково приняли старцы ее, и она им сказала:
«Мир вам, угодники; трудное дело спасенья успешно ль
Вы совершаете? Жарко ль пылает огонь покаянья?
Звери и птицы спокойны ль в обители вашей? Самим вам
Всё ли во благо?» Они отвечали: «Всё нам во благо;
Будь равномерно во благо всё и тебе. Но скажи нам,
Кто ты, краса неземная? Чего ты желаешь? Нас светлый
Образ твой всех изумил; успокойся у нас и открой нам,
Кто ты? Богиня лесов, иль полей, иль потоков?»
На то им,
Тихо вздохнув, Дамаянти сказала в ответ: «Не богиня
Я лесов, полей и потоков, но слабая, тяжким
Горем гнетомая, смертная женщина; вам, благодушным
Старцам, я всё расскажу. Владыка Видарбы, могучий,
Славнодержавный Бима отец мой; властитель Нишады,
Грозный могуществом, в каждом бою победитель,
великий,
Светлый душою, неба достойный земли уроженец,
Правды защитник, правды вещатель, божественно-
царским
Блеском сияющий, градохранитель, градорушитель,
В светлых очах и солнца и месяца блеск совместивший,
Наль, мой супруг, игроком коварно-искусным был вызван
В кости играть; и ему всё царство свое проиграл он.
Имя мое Дамаянти; одна по лесам и пустыням
Вслед за Налем скитаюсь, крушимая горем, и ныне,
Старцы смиренные, к вам прихожу, чтоб узнать, не
встречался ль
Где-нибудь вам мой утраченный царь? Не видали ль
в эдемской
Роще своей вы его, за которым я следуя этот
Полный тиграми лес перешла? Скажите мне, старцы,
Встречу ль его? А ежели нет, то не лучше ль покинуть
Жизнь? О! на что мне она? одно нестерпимое бремя

Жизнь без него, усладителя жизни». На жалобы царской
Дочери, с нежным об ней сожалением, так отвечали
Старцы, читая пророчески в будущем: «Праведны боги!
Веруя им, не смущайся душою, прекрасная; светлы,
Тихи и чисты, как очи твои, невинности ясной
Полные, будут грядущие дни для тебя; то являет
Нам откровение свыше: ты снова увидишь супруга;
Снова он будет царем, от вины невольныя чистый,
Царски венчанный, грозный врагам, утешение ближним,
Скорби твоей исцелитель, жизни твоей украшенье,
Прежний твой друг, твой сопутник, советник, защитник — и всё то
Сбудется, если в тебе не ослабнет терпенье и верность. . .»
То сказавши, тихо исчезли пустынники; с ними
Вместе и утвари их, и жертвенный огнь, и молитвы
Место, и свежесть эдемски сияющей рощи исчезли. . .
В темном лесе одна Дамаянти осталась, и было
Всё пустынно кругом. Дамаянти сказала: «Не сон ли
Мне привиделся? Где святые отшельники? Где их
Роща? Где их живые ключи, их птицы, их звери?
Где их цветы благовонные?» Так в изумленьи подумав,
Снова печали своей предалась Дамаянти; но чудный
Призрак ее ободрил, и пошла с упованием дале.

II

По лесу долго скиталася в горе своем Дамаянти;
Вдруг попадается ей деревцо, одаренное чудной
Силою душу целить; у людей его называют
Дерево *Гореуслад,* у богов *Азока.* Царевна
К этому дереву, лес оживлявшему запахом сладким,
Цветом покрытому, с сенью густою, проникнутой звонким
Пением птиц голосистых, тотчас подошла и заводит
Речь с ним такую: «Блаженное дерево, чудный, прекрасный
Гореуслад, благовонный *Гореуслад,* услади ты
Горе мое; цветущий *Азока,* скажи, не видал ли
Ты моего супруга, царя нишадского, Наля?
Где он скитается? Помнит ли он обо мне? О! порадуй
Сердце мое доброю вестью о нем, цветоносный *Азока;*
Дай мне уйти от тебя с утешением; сам же в приюте

Леса цвети, никем не обиженный, чистый, душистый,
Сладостный *Гореуслад,* усладитель всякого горя».
Так говоря, сорвала Дамаянти с чудного древа
Ветку; потом, с ним прощаясь, примолвила: «С этою веткой
Скорбь, и печаль, и нужду, и заботу беру я с собою;
Ты же, свободный от скорби, печали, нужды и заботы,
Здесь оставайся, и если царя моего ты увидишь,
Молви ему, что отсюда печальное всё унесла я,
Дай ему тень и покой, чтоб под кровлей твоей беспечальной,
Гореуслад, он мог, отдохнув, усладиться от горя».
С сими словами прекрасная царская дочь удалилась;
Снова пустынным лесом пошла, и снова пред нею
Стали являться деревья с широкою сенью, крутые
Горы, скалы разновидные, темные дебри, потоки;
В ветвях деревьев гнездились, шумели, порхали и пели
Птицы лесные, и всюду ей в дикой глуши попадались
То кабан, то шакал, то буйвол, то рысь, то пантера.
Так Дамаянти скиталася долго. Вдруг на широкой,
Чистой поляне представился ей караван многолюдный;
Лес оглашался криком людей, скрыпеньем повозок,
Ржанием конским, топотом тяжким слонов и верблюдов,
Вдоль широкой реки, густым тростником опушенной
(Где укрывалися цапли и белые лебеди звучно
Голос свой подавали, где светлая влага кипела
Множеством рыб, черепах и змей), караван тот тянулся.
Кинулась к людям навстречу царевна; ее появленье
Всех поразило; полунагая, одним покрывалом
Шелковых длинных волос, по плечам и грудям в беспорядке
Вьющихся, чудно одетая, бледной подобная тени,
С горя иссохшая, вся в пыли, но всё как небесный
Ангел прекрасная — так им явилась в лесу Дамаянти.
В страхе одни от нее убежали, другие безмолвно
Ей смотрели в лицо, иные смеялись, иные,
Боле имея рассудка, приблизились к ней с состраданьем.
«Кто ты, образ небесный? — спросили они. — Для чего ты
В этом лесу? Земной ли ты человек, иль созданье
Высшее, горный, могучий дух, иль дева потока,
Или иная бессмертная? Будь нам встреча с тобою
Знаменьем добрым. Тебе мы себя предаем, чтоб дорогу

Наш караван совершил безопасно». На это, вздохнувши,
Царская дочь отвечала: «Не с неба сошла я; земная,
Бедная, жалкая странница я; мой отец — видарбинский
Царь; мой супруг — обладатель Нишады, Наль знаменитый;
С ним в разлуке, его я ищу и не ведаю, где он.
Если что слышали вы о владыке моем, то скажите,
Где мне с ним встретиться, где я найду прекрасного Наля,
Наля, царя львиносердного, грозно-отважного в битвах?»
Вождь каравана, богатый купец, по имени Зуччи,
Ей отвечал: «Нигде на путях, по которым давно уж
Странствуем мы, нам доныне никто не встречался, кто б имя
Наля имел; оленей, медведей, буйволов, тигров
Много в этом лесу; но до сих пор еще человека,
Кроме тебя, мы здесь не видали». — «Куда ж вы идете?» —
Снова спросила его Дамаянти. «Идем в знаменитый
Город Шедди, — ответствовал Зуччи, — им ныне владеет
Царь Сувегý, и в царском дворце его обитает
Вместе с ним его благодушная мать, драгоценный
Перл добродетели женской». Услышав о том, Дамаянти
В город Шедди решилась идти; пристать к каравану
Зуччи ее пригласил. С караваном пошла Дамаянти.

III

Долго с печалью одна бродив по лесам, Дамаянти
Спутников много имела теперь, но была и меж ними
Всё, как и прежде, с печалью одна. По горам, по долинам
Шумным потоком валил караван. Вот однажды с закатом
Солнца они очутились у тихого озера; в темном
Лесе скрывалось оно; берега облекались зеленым
Бархатом свежей травы; как стекло, неподвижно-прозрачны
Были воды; и в чистом зеркале их водяные
Розы и лилии ярко сияли, и бисером пены
Легкие струйки, ласкаяся к ним, осыпали их листья.
Берег кругом был излучист, и воды в него то глубокой
Бухтой входили, то он в их широкое лоно зеленым
Мысом вдавался. Усталые путники, в этом приютном

Месте ночлег учредив и снявши с слонов и верблюдов
Лишнее бремя, спокойно легли на траве под открытым
Небом и скоро заснули. Вдруг в полночь (когда в караване
Все как мертвые были от сна) с горы прибежала
С страшным храпеньем стая диких слонов, чтоб в потоке
Жажду свою утолить, пылая томительным жаром.
Но почуявши близость слонов каравана, с свирепым
Бешенством, пенясь и фыркая, кинулись все на заснувших
Смирных врагов; никакою силою грозных чудовищ
Было нельзя удержать; как в долину, сорвавшись с высокой
Горной вершины, катятся скалы, так, ломая деревья,
Вдруг слоны ворвались в караван и топтали лежащих
Сонных людей. Со стоном и криком все поднялися,
Все смешались — слуга, господин, старик и младенец;
Ночью, страхом и сном обуянные, сами не зная,
Что за беда и откуда, кто в лес, кто к воде побежали.
Слыша храпенье и топот, видя во мраке мельканье
Черных огромных теней, давимые тяжкой ногою,
Острым клыком пронзенные, сжатые хоботом сильным,
В диком беспамятстве, люди, верблюды и кони бросались
Друг на друга и сами в смятеньи друг друга губили,
Силясь спастися: те кучей на дерево лезли, цепляясь
Низшие за ноги высших, и падали вместе, другие
В яму свергались, или набегали на камень, иль в воду
Слепо кидалися: разом исчез караван многолюдный.
Многих в минуту всеобщей беды корысть обуяла;
Голос лукавый шепнул им: «Куда вы бежите? погибель
Общая — общим и всякое стало богатство; берите
Всё, что достанется в руки; вот куча рассыпанных перлов,
Вот драгоценные камни, вот золото, смело хватайте;
Нищий нынче — завтра будет богач. . .» и погибли
Все, кто, предавшись корысти, замедлили бегством спастися.
В это мгновенье, когда, как поток, разливалась повсюду
Гибель, проснулась хранимая силой богов Дамаянти.
Видя очами такой дотоле невиданный ужас,
Видя и слыша, как мчалася смерть над ее головою,
Вся трепетала она и, готовясь погибнуть, грустила

Только о милом, далеком, навек покидаемом друге.
Но когда миновалася буря и снова всё стало
Тихо в лесу, собрались понемногу спасенные. «Чем мы
Гнев несказанный такой на себя от богов обратили? —
Так рассуждали они. — Позабыли ль почтить мы дарами
Бога, сокровищ хранителя? Иль караваном был встречен
Кто-нибудь, дерзкий хулитель бога торговли? Иль птицы,
Нам враждебные, в эту ночь пролетели над нами?
Или то было влиянье зловредных планет? . .» Напоследок
Вот что сказали они: «Вся беда нам от встречи
С этой безумной, нагой, исчахлой и бледной бродягой.
Кто она? Чародейка, жена иль дочь великана,
Небом проклятая? Если опять на глаза попадется
Эта волшебница нам, то ее мы не добрым приветом,
Камнями встретим. Она своим колдовством погубила
Наш караван». Такие слова в темноте Дамаянти
Слыша, с печалью, стыдом и страхом в чащу лесную
Скрылась. «О горькая участь моя! — она говорила,
Тяжко рыдая. — О счастье, меня обманувшее! снова
Целым светом покинута я. Какою виною
Я на себя навлекла гоненье такое? Кому я
Делом, иль словом, иль мыслию зло приключила? Знать, в прежней
Жизни была я преступна; за то и в теперешней должно
Мне до гроба страдать, за то и гоненье такое
Мне от людей, за то и разлука с супругом, утрата
Царства, от милых детей и от милых родных отлученье,
Странствие по лесу, полному тигров и змей, бесприютность
В холод и зной, нищета, сиротство, и ужас, и горе».
Утро меж тем занялось; в небольшую толпу собралися
Все, не погибшие в страшную прошлую ночь, и в дорогу
Снова отправились, плача о горькой утрате богатства,
Плача о мертвых друзьях. Вот снова покинута ими
В диком лесу Дамаянти, и горе ее превышало
Все их страдания вместе. «О! чем же, чем (говорила,
Плача, она) такую беду на себя навлекла я?
Злая участь моя и слонов приманила на гибель
Этих несчастных, мне давших защиту; за то и должна я
Долгим страданьем свой выплатить долг; я чувствую в тяжком
Горе моем всю истину древнего слова: *без воли*

Неба никто не умрет, и моей истерзанной груди
Хобот слона не коснулся. Так! без судьбы совершиться
С нами ничто не может на свете; я за собою
С самых младенческих лет никакого не ведаю злого
Дела, не помню ни мысли худой, ни виновного слова —
В том ли мое преступленье, что я для прекрасного Наля
Светлых отвергла богов, и не мстят ли уж гневные боги
Мне за земную любовь безотрадной земною печалью?»
Так говоря, Дамаянти пошла по следам каравана
Издали, в чаще таяся лесной, как в облаке месяц.

Глава шестая

I

Вот наконец Дамаянти дошла до города Шедди.
Грустно стояла она у ворот, не входя в них, стыдяся
Бедной одежды своей, обрезанной Налем, и смятых
Долгих волос, в беспорядке ей грудь покрывавших.
Жители города Шедди, встречаяся с ней, удивлялись
Странному виду ее, а дети за нею бежали
С криком; их шумной толпою следимая, скоро к палатам
Царским пришла Дамаянти. Там, на площадке высокой
Кровли, мать царева стояла. Увидя идущую, старой
Мамке своей сказала она: «Поди, пригласи к нам
Эту жалкую странницу, чистый, дымом затменный
Огнь красоты, народом теснимую. Верно, приюта
Ищет она. Я вижу в ней нечто высокое; дом наш
Светом наполнит она благодатным». Представилась старой
Матери царской младая царская дочь. И царица,
Ласковым взором встретя ее, сказала приветно:
«В самом затменьи печали твой образ сияет, как в темной
Туче яркая молния. Кто ты? Куда и откуда
Путь твой? Лицо твое неземное, хотя и покрыто
Нищенским рубищем тело твое; одна, без защиты
Странствуешь ты по земле и людей не страшишься, как чистый
Ангел. Скажи ж мне, какое званье твое?» Дружелюбной
Речью такой ободренная, так Дамаянти сказала:
«Я не ангел, царица, я смертный простой человек; но породы

Я не простой. Огорченная тяжкой разлукой с супругом,
Вслед за ним, чтоб его отыскать, по земле я скитаюсь,
Женским себя рукодельем питая; плоды и коренья
Пища моя, а пристанище там, где укажут мне боги.
Доблестный, мудрый, прекрасный, богатый, сердцем избранный,
Милый супруг мой расстался со мною; царица, несчастлив
Был он; в игре роковой свои все богатства утратив,
Нищим он дом свой покинул и в лес с одною одеждой
Скрылся; за ним я пошла, чтоб имел он в печали отраду.
Там, изнуряемый голодом, он, на несчастье рожденный,
Платье последнее с плеч потерял: кто богами назначен
В жертву беде, у того похищает и ветер и птица
Платье; и днем и ночью я шла за ним, беспокровным.
Раз случилось, что я, утомленная, в лесе заснула...
Ах! он скрылся, он бросил меня, он унес половину
Бедной одежды моей. С той поры и денно и ночно
Вслед за ним, весельем и светом души, я по темным
Диким лесам, по широким степям, по долинам
Странствую; мне половину одежды моей возвратить он
Должен иль взять у меня мою половинную, сердцу
Тяжкую жизнь; как одной половине одежды другая
Надобна, так и мне другую себя половину
Должно найти иль жить перестать». С состраданьем царица,
Выслушав жалкую повесть ее, отвечала: «Останься
С нами, блаженно-скорбящая; радовать будет мне сердце
Светлая близость твоя. Не медля нимало, повсюду
Мы разошлем гонцов за супругом твоим; но случиться
Может, что он ненароком зайдет и сюда, где его ты
Будешь ждать в безопасно-спокойном приюте». На то ей,
Горе свое обуздав, сказала в ответ Дамаянти:
«Здесь я охотно останусь, если ты мне обещанье
Дашь, царица, условье исполнить такое: чтоб низкой
Должности я не имела, служа лишь тебе, чтоб объедков
В пищу мне не давали, чтоб доступ ко мне запрещен был
Всем мужчинам, чтоб каждый, кто мной овладеть пожелает,
Смертью наказан немедленно был, — такую дала я
Клятву богам, чтоб найти помогли мне супруга; видаться ж
Только с одними браминами буду. Когда ты, царица,

Примешь такое условье мое, то здесь с благодарным
Сердцем останусь». На то отвечала царица: «Исполню
Всё, и свят для меня твой обет». Потом приказала
Вызвать из внутренних царских покоев царевну Сунанду,
Дочь свою. Скоро царевна явилась, венком многоцветным
Резво-прелестных подруг окруженная. «Видишь, Сунанда,
(Мать ей сказала) эту пришелицу в бедной одежде?
Ей ты летами ровесница; но испытания жизни
Дали ей раннюю зрелость. Люби ты ее как подругу;
Ласково с ней обходись и ее уважай, чтоб с тобою
Сердце ее отдохнуло, чтоб ты в сообществе с нею
Пользу нашла для души». Сунанда, с веселостью детской
За руку взяв Дамаянти, ее увела. И осталась
С той поры Дамаянти подругой царевны Сунанды.

II

Наль, столь жестоко покинув свою Дамаянти, прискорбен,
Сумрачен, шел по пустыне и, сам пустыня, с собою
В горе расстаться желал. Когда раскаленное солнце
Зноем пронзало его, он ему говорил: «Не за то ли,
Солнце, ты жжешь так жестоко меня, что я Дамаянти
Бросил?» Он горько плакал, когда на похищенный лоскут
Платья ее глаза обращал. Изнуряемый жаждой,
Раз подошел он к ручью; но в водах увидя свой образ,
С ужасом кинулся прочь. «О! если б я мог разлучиться
С этим лицом, чтоб быть и себе и другим незнакомым!» —
Он воскликнул и в лес побежал; и вдруг там увидел
Пламя — не пламя в лесу, а в пламени лес — и оттуда
Жалобный голос к нему вопиял: «Придешь ли, придешь ли
С мукой твоей к муке моей, о Наль благодатный?
Будь мой спаситель, и будешь мною спасен». Изумленный
Наль вопросил: «Откуда твой голос? Чего ты желаешь?
Где ты и кто ты?» — «Я здесь, в огне, благородный, могучий
Наль. Ты будешь ли столько бесстрашен, чтоб твердой ногою
В пламя вступить и дойти до меня?» — «Ничего не страшусь я,
Кроме себя самого с той минуты, когда я неверен
Стал моей Дамаянти». С сими словами он прямо

В пламя пошел; оно подымалось, лилось из глубоких
Трещин земли, вырастая в виде ветвистых деревьев,
Густо сплетенных огнистыми сучьями, черно-багровый
Дым венчал их вершины. В сем огненном лесе
Наль очутился один — со всех сторон устремлялись
Жаркие ветви навстречу ему, и всюду, где шел он,
Частой травой из земли пробивалося острое пламя.
Вдруг он увидел в самом пылу, на огромном горячем
Камне змею: склубяся, дымяся, разинутой пастью
Знойно дышала она под своей чешуей раскаленной.
Голову, светлой короной венчанную, тяжко поднявши,
Так простонало чудовище: «Я Керко́та, змеиный
Царь; мне подвластны все змеи земные; смиренный
пустынник
Старец Нерада проклял меня и обрек на такую
Муку за то, что его я хотел обмануть. Ты, рассказ мой
Слушая, стой здесь покойно; стой покойно под страшным
Пламенем, жарко объявшим тебя, чтоб оно затушило
Бурю души, чтоб душой овладевший Кали был наказан,
Чтоб наконец ты, очищенный, снова нашел, что утратил».

III

«Слушай же повесть мою, — продолжал, задыхаясь
от жару,
Царь змеиный; и Наль, терпеливо снося нестерпимый
Пламень, внимательно слушал. — Нерада, смиренный
пустынник,
Чудный сад насадил вкруг кельи своей; и в саду том
Были все земные деревья и травы, и было
Много там светлых ручьев и сеней прохладно-тенистых.
В этот сад пригласил он всех незловредных животных,
Всех ходящих, летающих, скачущих, плавать иль ползать
Созданных; всех же зловредных, терзающих зубом,
когтями
Рвущих иль жалом пронзающих проклял и вход
запретил им
В сад свой. Из змей, мне подвластных, в него проникать
он дозволил
Только одним, не имеющим жала, безвредно по травке
Вьющимся, ро́су сбирая с цветов, иль из ягод сосущим
Сок благовонный. Из этих красивых, незлобно-веселых

Змеек одна, любопытно-отважная, резвая змейка,
Раз без всякого умысла злого в саду по деревьям
Ползала, ярко блестя чешуею на солнце; вдруг видит
Домик воздушный, сплетенный из тонких былинок и моха;
Он на ветке висел и качался, как люлька; то было
Гнездышко маленькой птички; самой же крылатой хозяйки
Не было в нем; она улетела за пищей; яички,
Легким прикрытые пухом, лежали в гнезде. Перегнувши
Тонкую шейку свою через ветку, в гнездо опустила
Голову змейка — и видит яйцо там лазурного цвета;
Каплей росы оно показалось, и змейке напиться
Вдруг захотелось; лизнула яйцо; яйцо раскололось.
В эту минуту птичка в гнездо прилетела; увидя,
Что там наделала змейка, бросилась с жалобным криком
Прямо к Нераде она. Нерада во гневе ужасен.
Тут же погибла бы змейка, когда б не успела проворно
Из саду скрыться. Она спаслася ко мне. Но блаженный
Старец потребовал строго, чтоб я преступницу выдал.
Я не посмел отказать; я спросил: «Чего ты желаешь?
Как повелишь ее мне казнить? Я царь; самому мне
Должно виновных наказывать подданных». — «Видеть хочу я
Завтра ж ее на заборе сада висящую, — строго
Мне отвечал Нерада, — потом, по прошествии трех дней,
Сам я ее перед всеми сожгу, чтоб вперед опасался
Кто бы то ни было сад мой тревожить зломышленным делом».
Был мне прискорбен такой приговор; как родную любил я
Эту милую змейку; поспешней других и вернее
Вести она приносила ко мне. Предо мной извиваясь
В страхе, с молитвой она ко мне подымала головку.
Я ей сказал: «Проворней вылезь из кожи». Не нужно
Было того повторять; в минуту в новой одежде
Змейка явилась моя, на земле предо мною оставив
Старую. Тотчас, двух сильных удавов призвав, я велел им
Кожу пустую с приличным обрядом повесить на тыне
Сада. Когда через три дня он снимет ее, то, конечно,
Станет думать, что солнце ее иссушило, — так мыслил
Я, уповая, что мой мне удастся обман. И доволен
Был Нерада моим послушаньем, увидя на тыне
Кожу висящую; ветер ее колыхал. «Как живая, —

Молвил Нерада, — она гибка и вертлява; но краски
Кожи потускли: бледная смерть ее обхватила».
Тем бы и кончилось всё, когда б на беду не пропела
Птичка. Она недовольна была законною казнью:
Собственным мщеньем себя ей хотелось потешить;
к висящей
Коже она подлетела, чтоб оба глаза у мертвой
Выклевать — что же? Их нет; сквозь пустые скважины
также
Видит она, что и внутренность кожи пуста. И к Нераде
Тотчас она полетела. «Тебя обманули; змеиный
Царь не змейку, а змейкину кожу повесил», — пропела
Птичка. Страшно Нерада разгневался; вдруг он явился
Здесь, где тогда я на этом камне лежал и на солнце
Грелся один — при мне ни ужа, ни змеи, ни дракона,
Стражей моих, тогда не случилось; я спал. На громовый
Голос Нерады проснувшись, хотел я вскочить, но, могучим
Взором его обессилен, не мог шевельнуться.
«Предатель, —
Старец сказал мне, — меня обмануть тебе удалося:
Призрак за сущность я принял; змеиную кожу пустую
Вместо змеи я предал огню, и виновную спас ты.
Сам за нее наказанье прими. Не сойдешь ты отныне
С этого камня; но будешь здесь не на солнечном свете
Греться — я пламя иное зажгу вкруг тебя; не сгорая,
Будешь гореть в нем, шипя и свистя от тоски и меняя
Кожу за кожей в напрасной надежде, что жар утолится.
Кончатся ж муки твои лишь тогда, как к тебе издалека
Некто придет, самому себе ненавистный и образ
Свой утратить желающий. Если его из средины
Пламени ты позовешь и он бесстрашной стопою
В пламень войдет, чтоб избавить себя от мучений,
сильнее
Муки твоей его раздирающих; если достанет
Твердости в нем, чтоб среди нестерпимого жара
спокойно
Выслушать повесть твою, — тогда ты спасен, прекратится
В ту же минуту твое наказанье, и сам, по исходе
Года со днем, он всё возвратит, о чем сокрушается
сердцем.
Но чтоб в страданьи своем ты мог к себе издалека
Звать своего искупителя, имя его я открою:

Он называется Налем». С сими словами Нерада
Скрылся, и муки мои начались. Окружала мой камень
Голая степь; вдруг услышал я шорох и треск;
озираюсь —
Всюду из трещин земли, как острые иглы, выходит
Пламя, всё гуще и гуще растет, всё выше и выше
Вьется, всё ярче и ярче пылает; прикованный к камню,
Чувствую я, как всё подо мною, как всё надо мною,
Камень, на коем лежал я, и воздух, коим дышал я,
Мало-помалу в пронзительный жар обращалось; сначала
Было то пламя как тонкая, гибкая травка; слилося
Скоро оно в кустарник густой; напоследок воздвиглось
Лесом широким, в котором каждое дерево было
Всё из огня; языками горящими листья шумели;
Ветви со всех сторон вилися как молнии; в вихорь
Огненный слившись, качались вершины; и дым
громовою
Тучей над ними клубился. Теперь на себе испытал ты,
Наль бесстрашный, муку мою. Напрасно я жался,
Пламень вытягивал тело мое до тех пор, покуда
Кожа на нем не лопалась; снова потом на минуту
Я сжимался, чтоб снова вытерпеть то же мученье.
Целых семь лет протекло с той поры, как лежу
я на этом
Камне в огне, а времени медленный ход замечал я,
Каждый час повторяя однажды: *придешь ли, придешь ли*
С мукой твоею к муке моей, о Наль благодатный?
Вот наконец и пришел ты. Но знай, что здесь о тебе я
Частые слухи имел; мне подвластные змеи, которым
Все на земле дороги известны, ко мне ежедневно
Змеек-гонцов присылали, и каждая, верно исполнив
Долг свой и весть передав мне, в огне предо мной
умирала;
Видишь, как много здесь собрано кож их истлевших.
От них-то
Мог я проведать о том, как ты полюбил Дамаянти;
Как цари и царевичи созваны были в Видарбу;
Как мой гонитель Нерада, пресытясь земными плодами,
Сад небесный богов посетил; как там он посеял
Сладостных слов семена, от которых мгновенно желанье
Выросло в сердце богов на землю сойти; как богами
Был ты послан в Видарбу. Я знаю, о Наль благородный,

Также и то, что тебе самому досель неизвестно:
Как закрался Кали в твое непорочное сердце.
Сведав, что царство свое ты утратил, что вместе
с супругой
Бродишь нагой по горам и степям, что ее, наконец, ты
Сам покинул, я был утешен надеждой, что скоро
Сбудется то, что теперь и сбылося. Благословляю,
Наль, и тебя и приход твой; уже мучительный пламень,
Жегший доныне меня, уступает сходящей от неба
Сладостной свежести. Наль, не страшись, приступи и,
на палец
Взявши меня, из пламени выдь». Керкота умолкнул,
Свился проворно легким кольцом и повиснул на пальце
Наля; и с ним побежал из пламени царь, и при каждом
Шаге его оно слабело и гасло и скоро
Всё исчезло, как будто его никогда не бывало.
Свежий почувствовав воздух, трепетом сладким спасенья
Весь проникнутый, быстро отвившись от Налева
пальца,
Змей бесконечной чешуйчатой лентою вдруг растянулся;
С радостным свистом пополз к тому он ручью, где,
увидев
Образ свой, Наль самого себя испугался, глубоко
Всунул голову в воду и с жадностью долгую жажду
После толь долгого жара стал утолять — истощились
Воды ручья, а змей попрежнему сделался полон.
Силы свои возвратив, он, блестя чешуею на солнце,
Налю сказал: «Подойди; перед нашей разлукой ты
должен
Зубы мои перечесть; в таком долголетнем от муки
Скрежете много зубов я мог потерять иль испортить».
Наль подошел; перед ним оскалились зубы; считать он
Начал: первóй, другой, четвертый. «Ошибся, ошибся, —
С гневом царь-змей зашипел, — ты не назвал третьего
зуба».
С этим словом кольнул он третьим, неназванным зубом
Наля в палец — и тут же почувствовал Наль, что
с собою
Он как будто расстался; сперва свой собственный
образ
В зеркально-светлом щите, на царевой шее висевшем,
Он увидел; потом тот образ мало-помалу

Начал бледнеть и скоро пропал; и мало-помалу
Место его заступил другой, некрасивый; и Налю
Стало ясно, что это был образ его же, и боле
Не был он страшен себе самому в таком превращеньи.
«Видишь, — Керкота сказал, — что желанье твое
совершилось;
Ты превращен, ты расстался с собой, и отныне никем ты,
Даже своею женою не можешь быть узнан. Простимся;
В путь свой с богами иди и не мысли, чтоб мог быть
опасен
Яд мой тебе; не в твое он чистое сердце проникнул,
Нет! а в того, кто сердцем твоим обладает: отныне
Будет он жить там и мучиться. Ты ж, превращенный,
с надеждой
Путь продолжай; ищи в чужих странах пропитанья;
Но не забудь о стихийных дарах, от богов полученных
В брачный день; они для тебя не потеряны; помни,
Наль, об этом; и также твое искусство конями
Править тебе сохранилось. В царство Айодское прямо
Путь свой теперь обрати; там увидишь царя Ритуперна;
Нет на земле никого, кто с ним бы сравнился
в искусстве
Счета и так бы в кости играл. «Я Вагука, правитель
Коней», — скажи ты ему про себя; и если он спросит,
Много ли можешь в день проскакать? «Сто миль», —
отвечай ты.
Он твоему научиться искусству захочет; за это
Сам научит тебя искусству считать; без него ты
В кости всё царство свое проиграл. И как скоро
искусство
Это получишь, страданья твои прекратятся, следа
не оставив;
В ту же минуту, когда, и жену и детей отыскавши,
Прежний свой вид возвратить ты захочешь, лишь
только об этом
Часе вспомни и в этот щиток поглядись; кто владеет
Этим щитком, того на земле все змеи боятся».
Так говоря, Керкота одну из зёркально-светлых,
Шею его украшавших чешуек снял и, подавши
Налю, примолвил: «Носи ее на груди; в роковое
Время эта чешуйка тебе пригодится». Потом он
Скрылся; а Наль остался в лесу один, превращенный.

Глава седьмая

I

Наль, разлучившися с змеем, пошел в Айодское царство
Службы искать у царя Ритуперна, который давно уж
Принял к себе и Варшнею, прежде служившего Налю.
Мудрый царь Ритуперн, великий конский охотник,
Лучших искусников править конями сбирал отовсюду.
Наль, через десять дней пришедши в Айоду, к царю Ритуперну
Тотчас явился. «Я конюх Вагука, — сказал он, — в искусстве
Править конями мне равного нет; сто миль проскакать их
В день я заставить могу. И во многом другом я искусен:
Пищу никто так вкусно, как я, не умеет готовить.
Всякое дело, для коего нужны и труд и уменье,
Взять на себя я готов и к тебе, царю Ритуперну,
В службу желаю вступить». Ритуперн отвечал благосклонно:
«В службу, Вагука, тебя я беру; ты будешь отныне
Главным конюшим моим; надзирай за моими конями,
К скачке проворной их приучая; за службу же будешь
Сто золотых получать. Товарищ твой будет Варшнея,
Конюх искуснейший в деле своем, с ним старый Джевала,
Мой заслуженный конюший, и много других; ты без скуки
Будешь с ними досуг свой делить; и свободен ты делать
Что пожелаешь. Будь главным моим конюшим, Вагука».
Вот и служит конюшим Наль у царя Ритуперна,
Царь без царства, муж без жены, изгнанник, лишенный
Даже лица своего, и Варшнея, ему так усердно
Прежде служивший, теперь уж товарищ ему: под одною
Кровлей они; но чужды друг другу, и вместе и розно,
Каждый своею печалью довольный, Варшнея о жалкой
Гибели Наля-царя сокрушаясь, а Наль по супруге,
Брошенной им, ежечасно тоскуя. И было то каждый
Вечер, что Наль, убравши коней, один затворялся
В стойле и пел там всё ту же и ту же печальную песню:

«Где, светлоокая, ты одинокая странствуешь ныне?
Зноем и холодом, жаждой и голодом в дикой пустыне
Ты, изнуренная, ты, обнаженная, вдовствуя бродишь.
Где утешение, в чем утоление скорби находишь?»
Так он пел. И однажды Джевала, подслушавши эту
Песню, спросил у него: «По ком ты, Вагука, тоскуешь?
Кто же та, о которой такую грустную песню
Так заунывно поешь ты?» — «Пою про жену сумасброда,
Ею избранного, ею любимого, ум и богатство
Вдруг потерявшего, ей изменившего, клятву святую,
Данную ей пред богами, забывшего. С ней разлученный,
Он уж давно в тоске, в раскаяньи, в страхе, не зная
Скорби своей утоленья ни днем, ни ночью, бездомным
Странником бродит. Но каждую ночь, об ней помышляя,
Эту песню поет он. Скитаясь, как нищий, с терпеньем
Пьет он свою, преступленьем налитую, горькую чашу,
Чашу разлуки, и горе свое с одним лишь собою
Делит. Она же, которая с ним и в беде не рассталась,
Им в пустыне забытая... Где она? Что с ней? Лишь чудо
Жизнь могло сохранить ей, со всех сторон окруженной
Смертью в лесах, где гнездится и дикий зверь и разбойник.
Эту повесть он сам рассказал мне. С тех пор и пою я
Песню его, как сам он поет, и об нем сокрушаюсь».

II

Бима, царь Видарбы, узнав о бедствии Наля,
Царство свое проигравшего в кости, немедленно созвал
Всех видарбинских брахманов и так им сказал: «Отыщите
Дочь мою Дамаянти и Наля-царя; кто узнает,
Где мои дети, и их ко мне приведет, тот получит
Тысячу самых отборных быков и деревню, как людный
Город богатую; тот же, кто, их не приведши, хоть с верной
Вестью об них ко мне возвратится, также получит
Десять сотен быков». Брахманы поспешно на север,
Полдень, восток и запад пошли отыскивать Наля;
Всюду, по всем областям, городам, деревням, по безлюдным

Диким лесам, по горам, по равнинам, по разным дорогам
Долго ходили они; но напрасно — ни слуха, ни вести
Нет ни о Нале-царе, ни о верной его Дамаянти.
Вот наконец один из брахманов, Суде́ва, достигнул
Города Шедди, и там во дворце, на празднике царском,
Он Дамаянти увидел. Подле царевны Сунанды,
В платье печальной вдовы, на лице покрывало, близ светлой,
Радостной девы она там стояла — жена, по супруге
Мрачно скорбящая, тень близ света, алмаз без сиянья,
День без солнца, краса, двойным покровом от взоров
Скрытая — черным платьем и черным горем. Увидя
Этот прекрасный, невидимо блещущий свет, догадался
Тотчас Судева, кто перед ним. Про себя он подумал:
«Тот же образ я вижу, который столь сладостно светел
Был в то утро, когда все земные цари и владыки,
С ними и вечные боги, в тревоге надежды смиренно
Ждали, кому из них благодатную руку подаст Дамаянти.
Это она, полногрудая, темнокудрявая, райским
Блеском очей веселящая душу, любовь и утеха
Мира; она, молодая лилея, лишенная корня,
Лотос, слоновой стопой сокрушенный, высокое в низком;
Это она, по супруге скорбящая, вместе с супругом
Всю потерявшая жизнь, как источник, ныне безводный,
Некогда быстро бежавший, как лунная ночь по затменьи
Полном луны, поглощённой внезапно небесным драконом;
Это она, достойная жить в перламутровом царском
Доме, живущая ныне в чужом сиротою бездомной;
Славная царской породою в горьком бесславном изгнаньи;
Счастья достойная, жарко любящая, чуждая счастью,
Чуждая сладкой любви. Ее измучено сердце
Страстным стремленьем к супругу, избранному сердцем; на свете
Муж — украшенье жены; потеряв сей небесно прекрасный
Перл, и блестящая тратит свой блеск. Но где ж он, могучий
Наль? Перенес ли разлуку с такою женою, иль мертвый
Пал, утратив ее? И мне всю душу пронзает
Горе при виде ее красоты сокрушенной, при встрече
Огненно-темных ее, в слезах угасающих взоров.
Скоро ль, скоро ль, весь мир исходив путем испытанья,

К цели желанной достигнет она и с желанным супругом,
С милым души, с властителем жизни встретится в мире,
Так, как звезда встречается с месяцем? Скоро ль
С трона низверженный Наль возвратит Дамаянти и трон
свой?
О! какое блаженство тогда для обоих, друг другу
Равных прелестью, доблестью, знатностью рода и славой
Предков! Мне должно теперь подойти с утешительным
словом
К ней, сокрушенной». Так говорил многомудрый Судева
Сам с собою; потом он к тому приблизился месту,
Где одиноко стояла среди многолюдства с печальной
Думой своей Дамаянти. «Здравствуй, роза Видарбы, —
Ей он сказал, — я Судева, брахман видарбинский; царь
Бима,
Твой родитель, жив и здоров и царствует мирно;
Здравствует с ним и твоя благодушная мать, управляя
Домом; здравствуют братья твои, здравствуют дети,
Мирно цветя под защитою деда и бабки. Но горе
Всех по тебе сокрушило. И ныне по целому свету
Ищут брамины тебя; отыскать же позволили боги
Мне». Дамаянти, узнавши его, залилася слезами;
Стала потом о родных, о друзьях, знакомых и ближних
Спрашивать. «Выросли ль дети?» — она напоследок
спросила.
С этим словом рыданье стеснило ей грудь,
и с прекрасных
Длинных ресниц покатилися крупными каплями слезы.
Видя, что плачет она в разговоре с брамином, Сунанда,
Сильно встревожась, сказала немедленно матери: «Наша
Гостья плачет; какой-то брамин говорит с ней, и, верно,
С ним знакома она, и его слова пробудили
Эту печаль». Тогда из покоев внутренних вышла
Мать-царица; увидя брамина, она повелела
К ней его привести; и его расспрашивать стала
Так: «Расскажи мне об ней что ведаешь. Кто и какого
Рода она? Чья дочь? Чья жена? И с родными какою
Странной судьбою рассталась? И здесь ты ее по какому
Тайному признаку мог распознать? Обо всем
откровенно
Мне расскажи». И, сев на ему указанном месте,
Так рассказывать начал Судева, брамин многомудрый.

III

«Царствует ныне в Видарбе царь Бима, до старости
поздней
В славе доживший; а странница эта есть Дамаянти,
Дочь видарбинского Бимы, жена нишадского Наля.
Наль же, сын Виразены, бывший владыка Нишады,
безумно
В кости всё царство свое проиграл недостойному брату.
С той поры, покинув Нишаду с женою, пропал он
Бе́з вести. Бима послал нас отыскивать дочь. И случайно
В вашем царском дворце в печальной, таинственной
гостье
Вашей узнал я ее... И кто не узнал бы? На свете
Нет Дамаянти другой, столь прекрасной душою и телом.
Есть притом и примета: на лбу под густыми
Кудрями светлая скрыта звезда, как за облаком месяц;
С нею она родилася; ее сам Брама заметил
Знаком святым благодати; но знак сей одним лишь
браминам,
Видящим здесь красоту неземную, служителям Брамы,
Может быть видим; и я очами брамина, как злато
В темной руде, как в пепле горячем огонь сокровенный,
Тотчас узнал Дамаянти, красы несказанной светило».
Кончив рассказ свой, Судева умолк. Тут царевна
Сунанда,
Тихо подкравшись к подруге, с ее головы покрывало
Вдруг сорвала и кудри волос, осенявших прекрасный
Лоб видарбинской царевны, откинула: ярко, как месяц,
Тучу пронзивший, блеснула оттуда звезда благодати.
То увидя, Сунанда в слезах умиленья припала
К сердцу ее; царица заплакала также; и все три,
Крепко обнявшись, слиянные сердцем, стояли безмолвно,
Слезы сливая с слезами. Вот напоследок сказала
Мать-царица: «Ты дочь моей сестры, Дамаянти.
Наш знаменитый отец был владыка дафернский Судеман;
Бима выбрал сестру, меня избрал Вирава́гу.
Я и тебя младенцем видала в то время, когда мы
Вместе с сестрой навестили в Даферне отца. И тогда уж
Эта звезда сияла на лбу у тебя. Догадалась
Тотчас я, кто ты, как скоро ты странницей грустной
явилась

Здесь, и дочерью сердце тебя нарекло. Оставайся ж
С нами, мой дом есть твой; и всё подвластное сыну
Царство также твое. Живи в любви и согласьи
С нами; будь дочерью мне, будь нежной сестрою
Сунанде». —
«Долго я здесь незнакомкой в довольстве жила, — отвечала
Тетке своей Дамаянти, — не знала нужды, под защитой
Верной была и в горе встречала веселье; но будет
Мне веселее в Видарбе с родным отцом и с родною
Матерью. С миром меня отпусти; я давно уж с своими
Ближними розно; отсюда слышится мне, как сиротки
Дети мои, по матери плача, ее издалека
Кличут и ей говорят: *без отца мы; на что ж нам*
Быть и без матери? Если свое благотворное дело
Ты довершить надо мною желаешь, то дай мне скорее
Средство в Видарбу к своим возвратиться». —
«Исполнена будет
Воля твоя, красота звездоносная», — так отвечала
Мать-царица; потом, с позволения сына, владыки
Царства шеддийского, в путь снарядила милую гостью;
Пищу с питьем на дорогу сама царевна Сунанда
Ей приготовила; дали коней с колесницею; дали
Также и стражей, дабы ее на пути охраняли;
С плачем расстались потом. И вот наконец возвратилась
К ближним своим Дамаянти. И много в Видарбе веселья
Было при встрече ее. Когда ж Дамаянти со всеми
Свиделась, с милою матерью, с добрым отцом и с родными
Братьями, сродников всех и знакомых увидела, к сердцу
В сладких слезах прижала детей, — то первой заботой
Было ее принести благодарность богам и браминов
Всех одарить. И Бима исполнил свое обещанье:
Тысячу жирных быков с селом, богатым как город,
Дал он брамину Судеве. Награду такую сначала
Он обещал лишь тому, кто найдет Дамаянти и Наля;
Но, блаженный свиданием с дочерью, он уж не думал
Боле о Нале. Зато не забыла о нем Дамаянти.
Ночь одну проведя в жилище отца, на другой день
Матери так Дамаянти сказала: «Если ты хочешь
Жизнь мне мою сохранить, возврати мне прекрасного Наля».

То услыша, царица заплакала горько и слова
Ей отвечать не могла от слез и рыданья. И вместе
С нею домашние все сокрушались, и громким стенаньем
Всё жилище ее наполнялось. И вот что царица
Биме, властителю многих народов, сказала: «Открыла
Сердце свое мне наша дочь Дамаянти; по милом
Нале тоскует она несказанно. А где он? Удастся ль
Так же найти и его, как найти удалось Дамаянти?»
Бима при этих словах опять вызывает браминов
Новую службу ему сослужить. «Святые брамины, —
Им говорит он, — идите по всем путям и дорогам
Наля отыскивать; с ним разлученная, гаснет от горя
Дочь Дамаянти». Брамины, немедленно в путь изготовясь,
Все собрались к Дамаянти услышать ее повеленье;
Их приняла, улыбаясь сквозь слезы, она и сказала
Так: «Куда б ни пришли вы и где бы его ни искали —
В городе ль, в царском дворце ли, в деревне ли, в хижине ль бедной —
Всюду одно повторяйте, вытвердив то, что скажу вам:
«Где ты, игрок? Куда убежал ты в украденном платье,
В лесе покинув жену? Она, почерневши от зноя,
В скудной одежде, тобою обрезанной, ждет, чтоб обратно
К ней ты пришел. По тебе лишь тоскует она и ни разу
Сна не вкусила с тех пор, как, себе на погибель, заснула
В том лесу, где тобой так безжалостно брошена. То ли
Ты обещал ей супружеской клятвой? Покров и защита
Муж для жены; а ты что сделал с своею женою,
Ты, величаемый мудрым, твердым, благим, благородным?»
Помните эти слова и их везде повторяйте.
Если же кто вам на них отзовется, то знайте, что это
Наль; и тогда немедля разведайте, кто он? Когда же
Словом каким он вам возразит, то скорее, скорее
Это слово мне передайте, брамины. Но будьте
С ним осторожны, чтоб он догадаться не мог, что за ним вы
Посланы мной, и чтоб снова не скрылся. Идите с богами
В путь свой, брамины, ищите Наля, везде повторяя
Грустную песню мою, воздыханья любви сокрушенной»

Данные им наставленья принявши, по разным дорогам
Все разошлися брамины отыскивать Наля; и всюду,
В людных, больших городах, в богатых палатах, в убогих
Хижинах, в темных лесах, по горам, по полям, по
долинам,
Где только был человеческий след, неусыпно искали
Наля они, везде повторяя слова Дамаянти,
Грустную песню ее, воздыханья любви сокрушенной.

Глава осьмая

I

Вот по странствии долгом один из браминов, Парна́да
Именем, с вестью такою пришел к Дамаянти: «Повсюду
Наля искав безуспешно, пришел наконец я в Айоду.
Там пред царем Ритуперном твои слова произнес я;
Царь ничего не сказал мне в ответ, и никто из
придворных
Также мне не дал ответа. Когда ж я, простясь
с Ритуперном,
Вышел из царских покоев, со мной повстречался
служитель
Царский с руками короткими, малого роста, Вагука
Именем; дело его смотреть за царевой конюшней;
Видом он некрасив; зато великий искусник готовить
Пищу; также чудесно править конями: он может
В сутки сто миль проскакать их заставить. И вот что
с глубоким
Вздохом, от слез задыхаясь, сказал мне этот Вагука:
«В бедности, в горести терпят безропотно с верой
смиренной
Неба достойные, долгу супружества верные жены;
Сердце их кроткое нежным прощением мстит за обиду.
Если в безумии все свои радости, свет и усладу
Жизни, расставшися с верной подругою, жалкий
преступник
Сам уничтожить мог, если, отчаянный, платья лишенный
Хитрыми птицами, голодом мучимый, он удалился
Тайно от спутницы, если он с той поры денно и ночно
Всё по утраченной плачет и сетует — доброй женою

Будет оплакан он; что б ей ни встретилось доброе, злое,
Нежному, верному сердцу покажется горе не горем,
Радость не радостью; будет лишь памятно бедствие мужа,
Тяжкой виной своей в горе лишенного всякой отрады».
Эти услышав слова, я решился немедля пуститься
В путь обратный. Царевна, сама теперь ты рассудишь,
С доброю ль вестью к тебе я пришел». Дамаянти,
Парнаду
Выслушав, тотчас к царице пошла и так ей сказала:
«Слушай, родная; о том, что я сделать хочу, мой
родитель
Бима ведать не должен; хочу я брамина Судеву
В царство Айоду послать; награды своей половину
Он заслужил, вот случай ему заслужить и другую:
Вам возвратил он меня, пускай возвратит вам и Наля».
Мать согласилась на просьбу плачущей дочери; тайно
Всё учредили они, и царь не узнал ни о чем. Одаривши
Щедро Парнаду, царевна сказала: «Когда возвратится
Счастливо царь мой желанный, получишь ты вдвое;
ты первый
След нам к нему указал». И доволен остался Парнада
Тою наградой. Тогда Дамаянти, призвавши Судеву,
Так сказала: «Судева, иди к царю Ритуперну
В царство Айоду; явися ему, но так, чтоб подумал
Царь Ритуперн, что зашел ты в Айоду случайно, и
вот что
Скажешь ему ты, как будто без всякого умысла: «Бима
Снова сзывает в Видарбу царей и царевичей, снова
Хочет супруга избрать Дамаянти: уж съехалось много
К ней женихов». И ежели знать пожелает он, скоро ль
Должен быть выбор, назначен ли день, отвечай ты:
«Я вижу,
Царь, что тебе одному неведомо то, что известно
Целому свету; день назначенный — завтра; и если
Сам ты отведать счастья намерен, то можешь в Видарбу
Нынче же к ночи поспеть; у тебя есть конюх, искусный
Править конями; он в сутки сто миль проскакать их
заставит;
Только не медли: завтра чем свет Дамаянти объявит
Выбор; о Нале ж ни слуха, ни вести; и, верно, погиб он.
Если же хочешь ты знать, от кого я о сказанном слышал,
Знай, государь, что я слышал о том от самой Дамаянти».

II

Вот и приходит Судева к царю Ритуперну. То было
Рано поутру. И только что ложную повесть брамина
Выслушал царь, как, с места вскочивши, воскликнул:
«Скорее
Кликнуть Вагуку сюда!» Когда же Вагука явился —
«Верный конюший, — сказал Ритуперн, — мне должно
в Видарбу
Нынче ж поспеть; Дамаянти опять выбирает супруга;
Завтра утром она объявит свой выбор. Искусство
Ныне свое покажи мне, Вагука, на деле; посмотрим,
Можешь ли в сутки сто миль проскакать на конях,
не кормивши?»
Царская речь наполнила ужасом Налеву душу.
«Что замышляет, — подумал он сам про себя, —
Дамаянти?
Или она от скорби лишилась ума? Иль какую
Хитрость задумала? Может ли быть, чтоб она на такое
Дело решилась, она, непорочная, верная, светлый
Ангел любви? Неужель, оскорбленная мной так жестоко,
Хочет отмстить мне она, смиренно-незлобный эдемский
Голубь? Но женское сердце изменчиво; я же пред нею
Слишком виновен; прекрасную младость ее погубил я;
В долгой разлуке со мной разлучилась она и
с любовью.
Но позабывши меня, как могла позабыть Дамаянти
Наших детей? Мне должно разведать, что ложь и что
правда
В этом слухе, и волю царя для себя я исполню».
Так он в мыслях решил и, покорно ко груди прижавши
Руки, царю отвечал: «Несомненно исполнена будет
Царская воля твоя; мы нынче ж поспеем в Видарбу
К вечеру». Вот на конюшню Вагука пошел, чтоб
надежных
Выбрать коней, и выбрал тощих, тяжелых, ноздристых,
Тонконогих, толстоголовых, с щетинистой шерстью,
С длинными шеями, с гривой встопорщенной, огненно-
диких.
Выбор такой царя изумил. «Ты шутишь, Вагука, —
С гневом сказал он, — как будто в насмешку из целой
конюшни

Выбрал ты самых негодных коней. В такую дорогу
Можно ль на клячах подобных пускаться?» — «То
добрые кони,
Царь-государь, — Вагука ответствовал, — вот и приметы:
Две на лбу, одна на груди и три на копытах;
Духом домчимся на этих конях до Видарбы; но если
Выбрать других ты желаешь, то сам укажи их; готов я
Волю исполнить твою». — «Пускай по-твоему будет, —
Царь отвечал, — тебя не учить мне; закладывай, едем».
Выбранных им четырех коней заложил в колесницу
Наль и сел в нее с Ритуперном; и с ними, по просьбе
Наля, сел Варшнея. Собравши в могучую руку
Вожжи и ими тряхнув, как браздами излучистых
молний,
Наль закричал: «Изготовьтесь вы, добрые кони;
чтоб нынче ж
Быть нам в Видарбе!» И, дрогнув, пред ним на колени
упали
Кони; легким движеньем руки опять он их поднял
На ноги, голос смягчил и, ласковым словом придав им
Жару, крикнул: «Вперед!» Они понеслися как вихри.
Царь Ритуперн на бег их смотрел с немым изумленьем.
В то же время, расслушав, сколь был таинственно-
звучен
Гром колесницы, и видя, что вожжи со свистом
и треском
Били коней по бокам и, как молнии, быстро сверкали,
Думу глубокую думал Варшнея: «Откуда Вагука
Мог получить такое искусство и кто он? Не сам ли
Ко́ней державного бога богов повелитель Мета́лис?
Или он Наль, сокрывший себя под личиной урода?
Налева образа нет здесь, но есть здесь Налева сила.
Кто же мне правду откроет? Давно из древних
преданий
Ведаем мы, что земные цари, по воле судьбины
Здесь на земле иногда превращенные, странствуют
тайно.
Этот уродливый конюх не может быть Налем великим;
Тот же, под кем, как гроза в небесах, гремит колесница,
Кто он иной, как не Наль, мой великий владыка?» Так
думал
Молча Варшнея и в бедном Вагуке угадывал Наля.

III

Кони, без крыльев крылатые, властию Наля как буря
Мчались вперед по горам, по долам, через реки, потоки.
Вдруг сорвалась с головы Ритуперна повязка. «Вагука,
Стой! — он сказал. — Пускай Варшнея подаст мне повязку». —
«Поздно! — ответствовал Наль-Вагука, — уж мы отскакали
Более мили; оставим повязку». Царь изумился;
Вдруг он увидел вдали Вибитаку, ветвисто-густою
Сенью покрытое дерево. «Слушай, Вагука, — сказал он, —
Здесь на земле никто не имеет всезнанья; в искусстве
Править конями ты первый; зато мне далося искусство
Счета, и знаю я тайну играть *наверное* в кости.
Видишь ли там вдалеке то ветвистое дерево? Много
Листьев на нем и много плодов; но много их также,
С ветвей упавших, лежит на земле. Так знай же: упало
Листьев четыреста три, и с ними свалилось сто десять
Спелых плодов; всех сучьев семьсот сорок девять; на сучьях
Листьев осталося пять миллионов и восемь; плодов же
Тысяча триста пятнадцать созревших, восемьсот сорок
Три созревающих, семьдесят восемь гнилых. Хоть поверку
Сделай, мой счет без малейшей ошибки». В эту минуту
Были они уж близ дерева. «Стойте, — воскликнул Вагука, —
Добрые кони; такому чудному счету нельзя мне
Прежде поверить, пока плодов, и сучьев, и листьев
Сам не сочту я на дереве этом. Варшнея подержит
Вожжи, покуда я буду считать». Ритуперн ужаснулся.
«Что ты задумал, Вагука? — сказал он. — Не время нам медлить».
Но Вагука (был умысел свой у него) непременно
Счет поверить хотел. «Подожди, — царю отвечал он, —
Или — если уж так ты поспешен — прямо, всё прямо
Этой дорогой ступай; Варшнея будет конями
Править». На то Ритуперн возразил, стараясь Вагуку
Лаской смягчить: «Не упрямься, добрый Вагука; в искусстве

Править конями тебе подобного нет, и в Видарбу
Только с тобою одним поспеть нам к вечеру можно.
Я (сам видишь ты это) во власти твоей; не держи же
Доле меня; я сделаю всё в твое угожденье,
Если только в Видарбу доедем прежде, чем сядет
Солнце». Вагука вместо ответа, коней удержавши,
С козел сошел и начал спокойно считать по порядку
Прежде плоды, за плодами сучья, за сучьями листья.
«Счет плодов без ошибки, — сказал он царю
Ритуперну. —
Вот поглядим, не ошибся ль ты в счете сучьев и листьев?»
Царь кипел нетерпеньем. «Будь же доволен, Вагука,
Разве мало тебе одного доказательства?» — «Мало,
Царь-государь, — Вагука сказал, — но если ты хочешь
Разом всё кончить, то сам объясни мне, как мог ты так
много
Счесть в такое короткое время?» — «Знай же, —
воскликнул
Царь (не от доброй души, а взбешенный упорством
Вагуки), —
Я одарен могуществом счета и тайным искусством
В кости играть наверное». — «Ежели так, то теперь же
То и другое мне передай; в замену искусство
Править конями получишь», — сказал Вагука.
«Согласен, —
С гневом ответствовал царь, — и могущество счета
и тайну
В кости играть я тебе отдаю; от тебя же, Вагука,
Дар твой приму, как скоро приедем в Видарбу». Лишь
только
Вымолвил слово свое Ритуперн, как у Наля открылись
Очи, и он все ветви, плоды и листы Вибитаки
Разом мог перечесть; и в то же мгновенье, когда он
Данную силу в себе ощутил, сокрытый дотоле
В сердце его искуситель Кали оттуда исторгся
Дымом, и мглою своей обхватил Вибитаку. При первом
Чувстве свободы Наль обеспамятел; скоро, однако,
Он очнулся и, видя лицом к лицу пред собою
Злого врага своего, хотел проклясть нечестивца;
Но Кали возопил, поднявши руки смиренно:
«Наль, воздержися от клятвы; уже довольно наказан
Был я проклятьем, в минуту страданья твоею женою

Против меня изреченным (хотя и был ей неведом
Общий ваш враг). С тех пор я, замкнутый в тебе, как в темнице,
Столь же был горем богат, сколь ты был радостью беден.
Мучимый ядом царя Змеиного, денно и ночно
Сам я себя проклинал. Пощади же меня, благодушный
Наль; я отныне бессилен; отныне каждый, кто повесть
Бедственной жизни твоей прочитает, тебя прославляя,
Будет от козней моих огражден и власти подобных
Мне зловредных духов недоступен». Смягченный молящим
Словом врага побежденного, Наль воздержался от клятвы.
Сам же Кали в Вибитаку вселился, и полное жизни
Дерево мигом засохло. При чуде таком изумился
Царь Ритуперн (того же, что с Налем в эту минуту
Делалось, видеть и слышать не мог он). Едва искуситель
Скрылся — от муки избавленный, радостно блещущий, новой
Жизнию пламенный, вдвое могучий, сел в колесницу
Наль, и кони помчались; а он, упредив их, душою
Был уж в Видарбе, там, где была Дамаянти, куда он
С сердцем, свободным от зла, но всё еще бедный, бездомный
Царь, возвращался под видом чужим, никому не знакомый.

Глава девятая

I

Солнце еще не угасло, когда до Видарбы достигнул
Царь Ритуперн. Немедля о госте нежданном царь Бима
Был извещен, и, им приглашенный, в сияньи вечернем
Въехал в Видарбу владыка Айоды. Как гром отзывался
Стук колесницы его с осьми сторон небосклона.
Налев стук и Налев скок почуяли тотчас
Налевы кони (которых, еще до изгнанья царева,
К Биме с детьми сама Дамаянти прислала);
Радостным ржаньем, как будто при Нале, они отвечали
Дружно на звук, им знакомый; и, вслушавшись в звук сей, подобный
Гулу глубокому грома, сама Дамаянти смутилась;

Что-то родное, бывалое, Налево в вещее сердце
Вдруг проникло — так и жена и кони узнали
Разом Наля по стуку его колесницы. И в стойлах
Царских слоны и на кровле дворцовой павлины,
расширив
Радугой пышной хвосты, при этом неслыханном стуке
Вдруг встрепенулись; подняли хобот слоны; закричали,
Вытянув шею, в радостном страхе павлины, как будто
Чуя грозы, обещающей дождь, приближенье. И с райским
Трепетом, вся обращенная в слух, про себя Дамаянти
Так говорила: «Мне этот стук колесницы и этот
Топот, тревожащий небо и землю, насквозь проникают
Душу. Это Наль, мой владыка, Наль, мой желанный!
Если его я нынче ж лицом к лицу не увижу,
Если нынче же в сладких объятиях Наля не буду,
Если это не он, столь чудно гремящий, не светлый
Наль, мой царь, мой спаситель; если меня обмануло
Сердце, то более жить мне не должно; и в жаркое лоно
Пламени брошусь, чтоб кончить тоску одинокия жизни.
О! теперь позабыто всё прошлое: жизнь обновилась;
Страх одиночества, стыд нищеты, бесприютность, разлуки
Тяжкая боль — из сердца изглажено всё; я не помню
Слова обидного, взгляда сурового; помню одно лишь
Счастье святое любви, лишь его, избранного сердцем,
Радость души, благородного, кроткого, сильного волей,
Тихого нравом, разумом мудрого, сердцем младенца,
Наля, мою надежду, спасение, жизнь. Непрестанно
Думать о нем и о прошлых днях неразлучности сладкой,
Думать о прелести взора его и улыбки, о сладком
Голосе, нежных речах, и, всею душой погружаясь
В думу любви, быть розно с ним, несказанно
любимым, —
Вот страданье, которому имени нет». В сокрушенных
Мыслях таких Дамаянти сидела тогда на дворцовой
Верхней площадке с служанкой своей молодою Кезиной.
Вот и видят они, что на двор широкий влетели
Кони, гремя и дымясь, с колесницей; и в той колеснице
Были трое: царь Ритуперн, Вагука, Варшнея;
Где же Наль? . . С томительным страхом глядит
Дамаянти;
Видит царя; Варшнею потом узнает: напоследок
Смотрит на их безобразного спутника — ей незнаком он.

Тою порой Рітуперн сошел с колесницы; Варшнея
Также; Вагука начал разнуздывать коней; и в это ж
Время вышел и Бима гостю навстречу. Друг другу
Оба царя поклонились учтиво, хоть оба не знали,
Что друг другу сказать. Рітуперн, осмотрясь, не приметил
В царском дворце ничего, что б канун означало большого
Праздника; он подумал: «Я был легковерно обманут
Ложною вестью»; и Биме сказал он: «Здравья и долгих
Лет тебе я желаю». Бима таким же приветным
Словом ответствовал. «Что, — потом он спросил, —
привело к нам
В нашу столицу Видарбу такого великого гостя?»
Слыша этот вопрос и не видя нигде никакого
Знака, чтоб были другие цари и царевичи в царском
Доме, владыка Айоды ответствовал: «Видеть хотел я,
Царь благодушный, тебя и, с тобой познакомясь,
проведать,
Всё ли в твоем благоденствует царстве?» Мудрому Биме
Странным ответ такой показался, и было ему непонятно,
Как могло прийти на ум царю Рітуперну
Путь такой предпринять лишь затем, чтоб проведать,
здоров ли
Царь Видарбы, ему незнакомый. «Тут есть, — он
подумал, —
Верно, другая причина. Узнаем мы после». И, руку
Ласково гостю подавши, сказал он: «Милости просим,
Царь Рітуперн; мы рады весьма твоему посещенью.
Но ты устал; войди к нам в палаты и там успокойся;
Что ни прикажешь, всё будет исполнено». Вместе
с Варшнеей
Царь Рітуперн вошел во дворец; а Вагука, отпрягши
Добрых коней, отвел их в конюшню; потом, возвратяся,
Сел на прежнее место свое в колеснице и скоро
В грустную думу весь погрузился. Его Дамаянти
Сверху увидя, вздохнула глубоко. «Ужель обманулось
Сердце мое? — сказала она. — Но стук колесницы
Был мне знакомый, был подлинно Налев... а Наля
не вижу.
Или Варшнея искусство его перенял? Или открыли
Боги его царю Рітуперну?» Так Дамаянти
Мучилась тяжким сомненьем; вот наконец, обратяся
К верной Кезине, служанке своей, она ей сказала:

«Слушай, Кезина, поди и проведай, кто в колеснице
Так угрюмо сидит один, лицом некрасивый,
Руки короткие? С ним заведя разговор, постарайся
Выспросить, кто он? Меня подозренье тревожит: не
сам ли
Наль таится под этим уродливым видом? Ты вот что
Сделай: с ним говоря, повтори, как будто случайно,
Те слова, которые всюду браминам велела
Я повторять; увидишь, не даст ли какого ответа
Он на них, и ежели даст, то всё, что ни скажет,
Ты заметь и мне передай». Кезина к Вагуке
Тотчас пошла; Дамаянти ж, на прежнем месте
оставшись,
Сверху смотрела на них. Кезина, приближась к Вагуке,
Так сказала ему: «Благородные гости, будь в добрый
Час вам приезд ваш в Видарбу; царская дочь
Дамаянти
Мне приказала узнать, зачем вы здесь и откуда?» —
«Мы из Айоды, царю Рритуперну подвластного
царства, —
Так Вагука сказал. — Узнав от брамина, что будет
Снова супруга себе выбирать Дамаянти, айодский
Царь на своих быстроногих конях, которыми правлю
Я, сюда прискакал, чтоб явиться с другими
на выбор». —
«Ты не один при царе; вас двое; кто твой товарищ?
Кто ты сам, и откуда, и как к царю Рритуперну
В службу вступил?» — «Мой товарищ Варшнея, бывший
конюший
На́ля; меня называют Вагука; что я не красавец,
Это ты видишь; служу у царя на конюшне, но мог бы
Также служить и на кухне, ибо я столь же искусен
Вкусную пищу готовить, как править конями». —
«Скажи ж мне, —
Снова спросила Кезина его, — не дошла ль до Варшнеи
Весть какая о Нале? И сам ты об нем не слыхал ли?» —
«Налевых бедных детей, — Вагука сказал, — проводивши
К деду и царских коней оставив в Видарбе, Варшнея
В службу вступил к царю Рритуперну. О участи Наля
Он не знает, и нет на земле никого, кто о ней бы

Что-нибудь знал; под видом чужим, в неведомом месте
Царь укрывается. Наль один на свете о Нале
Знает, да та лишь одна, кто с Налем *одно;* никому он,
Кроме ее, не открыл своих таинственных знаков». —
«Но (сказала Кезина) брамин, посетивший Айоду,
Встретясь с тобою, тебе повторил слова Дамаянти:
«Где ты, игрок? Куда убежал ты в украденном платье,
В лесе покинув жену? Она, почерневши от зноя,
В скудной одежде, тобою обрезанной, ждет, чтоб обратно
К ней ты пришел; о тебе лишь тоскует она и ни разу
Сна не вкусила с тех пор, как, себе на погибель, заснула
В том лесу, где тобой так безжалостно брошена. То ли
Ты обещал ей супружеской клятвой? Покров и защита
Муж для жены; а ты что сделал с своею женою,
Ты, величаемый мудрым, твердым, благим, благородным?»
Помнишь ли, что на эти слова отвечал ты брамину?»
Весь побледнев, неподвижно смотрел на Кезину Вагука;
Долго, пронзенный незапною болью любви, не имел он
Силы вымолвить слово; рыдающим голосом, очи,
Полные слез, опустив, напоследок тихо сказал он:
«В бедности, в горести терпят безропотно с верой смиренной
Неба достойные, долгу супружества верные жены;
Сердце их кроткое нежным прощением мстит за обиду;
Если в безумии все свои радости, свет и усладу
Жизни, расставшися с верной подругою, жалкий преступник
Сам уничтожить мог; если, отчаянный, платья лишенный
Хитрыми птицами, голодом мучимый, он удалился
Тайно от спутницы, если он с той поры денно и нощно
Всё по утраченной плачет и сетует — доброй женою
Будет оплакан он; что б ей ни встретилось доброе, злое,
Нежному, верному сердцу покажется горе не горем,
Радость не радостью — будет лишь памятно бедствие мужа,
Тяжкой виной своей в горе лишенного всякой отрады».
С этим словом вся Налева скорбь пробудилась в Вагуке;
Он застонал, и слезы из глаз полилися. Кезина
Тотчас ушла, спеша обо всем известить Дамаянти.

III

«Это Наль (Дамаянти сказала в слезах, с замираньем
Сердца Кезину выслушав), это мой царь, мой владыка,
В виде чужом. Ты должна к нему возвратиться, Кезина,
Снова. Вблизи притаись и внимательно следуй за каждым
Шагом и взглядом его, не откроется ль в том, что
заметишь,
Признака тайной, особенной силы. Я думаю, скоро
Ужин начнет он готовить царю Ритуперну — смотри же,
Так устрой, чтоб он ни воды, ни огня для варенья
Пищи не мог получить, и заметь потом, что начнет он
Делать; и всё другое, что в нем покажется чудным,
Также мне опиши». Кезина пошла и, исполнив
Волю царицы, явилася к ней с своим донесеньем:
«Нет! ни прежде видать не случалось, ни после увидеть
Мне не случится того, что теперь предо мною сбылося:
Этот Вагука не просто земной человек; он с богами
В явном союзе; ничто для него ни низко, ни тесно;
К низким дверям подойдет — головы не наклонит, а сами
Двери над ним приподымутся; тесное место просторным
Вдруг при его приближеньи становится. Всяких припасов
Вместе с посудой царь Бима велел приготовить, чтоб
ужин
Он для царя Ритуперна сварил; но воды, как тобою
Было приказано, не дали; он того не заметил,
Только взглянул — и водой все сосуды наполнились;
также
Он и огня под дрова попросить не подумал, а только
Взял соломы — и мигом сама собою солома
Вспыхнула. Много другого заметила я: без обжоги
Голой рукой разгребал он огонь; вода закипала,
Только что к ней он касался. Но чудо последнее боле
Всех других изумило меня: засохшую розу
Он увидел; в пыли она без листьев лежала;
Он ее поднял, взглянул на нее, и явилась живая
Роза в руке у него на месте прежней, поблекшей.
После такого неслыханно чудного дела, царица,
Я побежала немедля к тебе». Но уже Дамаянти
Боле сомненья иметь не могла: то явные были
Знаки Наля, то были дары, полученные в самый
день брака

Им от богов, и она уж, блаженствуя, видела сердцем
Наля желанного там, где еще для очей был Вагука.
«Сбегай опять ты к нему, — сказала Кезине царица, —
Запах от пищи, им приготовленной, чудно приятен;
Хочется знать мне, вкусна ли она? Попроси у Вагуки
Мяса жаркого кусок». Побежала Кезина к Вагуке
Снова и скоро назад возвратилась с дымящимся мясом.
Налев знакомый ей вкус Дамаянти узнала, отведав
Мяса. «Он здесь! он здесь! — в восхищеньи она повторяла
Мысленно. — Боле сомнения нет. Но долго ль он будет
Светлый свой образ таить от жаждущих взоров и мучить
Бедное сердце мое нестерпимым желаньем свиданья?»
Так сокрушаясь, она наконец приказала Кезине
Взять детей и вывести их из дворца, чтоб Вагуке
Их показать мимоходом. Лишь только Вагука увидел
Двух малюток, цветущих детей Дамаянти и Наля,
Столь давно потерявших отца, — в нем душа загорелась;
Кинулся к ним он навстречу, по имени назвал обоих,
К сердцу прижал, и заплакал, и долго, долго, слезами
Их обливая, от них оторваться не мог, но, опомнясь,
Вдруг отскочил и Кезине сказал: «Я также имею
Двух детей малолетных, сына и дочь; совершенно
С этими сходны они, и давно я с ними в разлуке.
Вот отчего я и был так сильно встревожен их встречей;
Но, послушай, люди заметят, что часто ко мне ты
Ходишь, и будет тебе оттого без вины нареканье;
С миром отсюда поди и боле ко мне не являйся».

Глава десятая

I

Всё, что было ей нужно, узнав, Дамаянти решилась
Сделать опыт последний и матери вот что сказала:
«Кликни Вагуку к себе; я тайну эту открою;
Наль отыскан; он здесь, я знаю, я верю». Царица,
согласно
С просьбою дочери, кликнуть велела Вагуку, и сколько
Волей, столько неволей царь с трепетанием тайным
Стал наконец пред лицом своей Дамаянти. Безгласен
Сделался он, увидя ее, прелестную в скорби,

Чистого ангела радости в платье печальном вдовицы.
Сердцу его несказанный упрек, перед ним Дамаянти
Молча стояла, пронзительный взор на него устремивши.
«Дай ответ мне, Вагука, — она напоследок сказала, —
Знал ли ты верного мужа, который был бы способен
Тайно покинуть жену и ее, заснувшую с твердой
Верой в защиту его, в лесу беззащитную бросить,
Бросить одну, без одежды, без крова, без пищи, дотоле
Нежно любимую им и ничем, ни делом, ни словом,
Ниже каким помышленьем пред ним не виновную? Вот что
Сделал со мною, Вагука, супруг мой Наль Пуньялока.
Чем я его оскорбила? Чем могла побудить я
Сердце его на такое предательство? Он пред богами
Выбран был мной, пред богами я с ним сочеталась, и боги
Слышали клятву, им данную мне, в любви неизменной.
Как же, Вагука, он мог изменить своей Дамаянти,
Радостным сердцем и горе, и бедность, и стыд, и изгнанье
С ним разделившей, той изменить, которой сказал он,
Руку ей дав пред святым алтарем: «Тебя я отныне
Буду чтить и любить, защищать и питать, и с тобою
Горе и радость, богатство и бедность и всё неизменно
В жизни делить обещаюсь?» Вагука, скажи мне, как мог он
Так измениться, так всё позабыть?» Сокрушенный и бледный,
Слушал в безмолвии Наль укоризны своей Дамаянти.
Очи ее, светозарные звезды, были покрыты
Облаком скорби, и быстрым ручьем сквозь густые ресницы
Падали слезы. Своею виной уничтоженный, тихим,
Трепетным голосом Наль отвечал: «Что Нишадское царство
Было проиграно Налем, не он в том, несчастный, виновен:
Злобный Кали обезумил его, и им же, коварно
Вкравшимся в сердце к нему, очарованный Наль в исступленьи
Спящую бросил тебя; когда же в лесу ты — не зная,
Кто он, — врага своего прокляла, твои поразили

Клятвы Кали, спокойно владевшего Налевым сердцем;
и с тех пор
Адски страдал он, как в пламени пламень горя,
заключенный
В страждущем Нале, как в мрачной тюрьме. От
нечистого духа
Наль избавлен, и будет от всякой он клятвы свободен,
Если, увидясь с женою, найдет, что ему сохранила
Верность она и любовь. Теперь отвечай, Дамаянти,
Что он найдет? Сохранила ль любовь, сохранила ль
ты верность?
По́ свету ходят гонцы от тебя и отвсюду сзывают
Новых к тебе женихов в замену погибшего Наля.
Вот что сюда привело и царя Ритуперна, и сам я,
Бедный конюший Вагука, его конями был должен
Править, чтоб мог он поспеть на сча́стливый выбор».
Услышав
Жалобы Наля, смиренно руки сложила и с чистым
Взглядом небесного ангела, ангел земной, Дамаянти
Так отвечала: «Тебе ль, мой избранный, тебе ль,
предпочтенный
Мною богам, меня оскорблять таким подозреньем?
Ведай: сама я послала брамина к царю Ритуперну
С ложною вестью о выборе новом в Видарбе. Узнало
Сердце мое, что Вагука был ты, и невинный обман мой
Был удачен — ты мне возвращен. И с клятвою правды
Здесь, государь, прикасаясь к коленам твоим, пред тобою
Сердцем спокойным, как будто пред небом самим,
говорю я:
Верность к тебе и любовь я во всей чистоте сохранила.
Ветер свободно играет, носясь по всему поднебесью;
Ведает всё он; пускай он моим обвинителем будет,
Если я что недостойное ве́рной жены сотворила;
Солнце в высоком блаженстве сияет, горит над водами,
Оком всевидящим ходит оно по всему поднебесью,
Пусть же, всё видя, оно моим обвинителем будет,
Если я что недостойное верной жены сотворила;
Месяц, светило покоя, во мраке ночном замечает
Тайное всё в небесах и тайное всё в поднебесье,
Пусть же он, тайны все зная, моим обвинителем будет,
Если я что недостойное верной жены сотворила.
Пусть и небесные силы, хранящие небо и землю,

Правду мою подтвердят иль смерть мне пошлют за неправду».
Так вызывала и небо и землю в свидетели чистой
Жизни своей Дамаянти; и вот ей откликнулся с неба
Ветер и так свой ответ из пространства лазурного свежим
Словом провеял: «Как небо мое, чиста Дамаянти,
Долгу верна, в любви неизменна, слова ее правда;
Верь ей и руку подай, как жене беспорочной; и будут
Снова меж вами союз, и покой, и любовь, и согласье».
Ветер умолкнул, и райской прохладой отвсюду повеял
Воздух весны, и упали цветы дождем благовонным
С неба при звуке воздушных тимпанов. Таким несказанно
Чудным свидетельством Наль исцеленный от всех подозрений
Вспомнил о том, что ему сказал царь-змей на прощанье,
В данный им зеркальный щит поглядел, и в минуту явился
Прежним Налем, и руки простер к своей Дамаянти.
С криком пронзительным кинулась в них Дамаянти, и этот
Миг единый стократ заплатил им за долгие муки.
Голову Наля прижавши к своей целомудренной груди,
В сладком забвеньи всего, в упоеньи любви Дамаянти
Долго безгласна была; она то сквозь слез улыбалась;
То трепетала, пронзенная радостью; то от избытка
Счастья глубоко вздыхала. И боги любви опустили
Тайную брака завесу на них, сочетавшихся снова
Дорого купленным браком. Так наконец отдохнули
Вместе они, до блаженства достигнув дорогой печали.
Память минувшей разлуки, радость свиданья, живая
Повесть о том, что розно друг с другом они претерпели,
Мыслей и чувств поверенье, раздел и слиянье,
Всё в одном заключилося чувстве: *мы вместе;* и память
Прошлых бед настоящею радостью, светом, от тени
Более ярким, печальныя были веселым рассказом
Сделалась. Так, по долгой в изгнаньи тоске, возвратился
Наль к Дамаянти, как солнце из зимнего, хладного знака
В знак весны возвращается; так Дамаянти, приникнув
К сердцу Наля, опять расцвела, как сияющий вешним
Цветом сад живей расцветает, дождем орошенный.
Тут пропели два соловья им песню такую:

«Снова Дамаянти с Налем неразлучна;
Сердце вновь покойно, горе позабыто,
Смолкнули желанья, так ликует в небе
Ночь, когда ей светит друг желанный месяц».

II

Рано, лишь только что день занялся на востоке, царица-
Мать разбудила царя неожиданно-радостной вестью.
«Наль возвратился, — Биме сказала она. — Дамаянти
С мужем опять, и снова с ними согласие». Бима
Поднял брови, незапною вестью такой изумленный.
Тут царица открыла ему, какой Дамаянти
Хитростью Наля-царя заманила в Видарбу, какою
Выдумкой царь Ритуперн был обманут. И ей, улыбаясь,
Бима ответствовал кротко: «Я вашу женскую хитрость
Вам прощаю за то, что она удалась». Тут явился
Наль с Дамаянти и с ними их дети. Приблизился к тестю
Наль, Дамаянти приблизилась к матери. Зятя, как сына,
Ласково принял царь благодушный Бима и нежным
Взглядом поздравил дочь с возвратившимся счастьем.
Скоро потом пришли и братья и подали руку
Налю и братски с сестрой обнялися; потом отовсюду
Стали сходиться сродники, ближние; вот напоследок
Вся Видарба наполнилась шумом торжественным; домы
В пышные ткани оделись; на кровлях явились знамена;
Площади, улицы все закипели народом, и в храмах
Жертвы зажглися. И вот наконец до царя Ритуперна
Слух дошел, что Вагука, конюх его, обратился
В Наля, что мужа нашла Дамаянти, что нового делать
Выбора ей не нужно. И царь Ритуперн дружелюбно,
К Налю пришедши, сказал: «Поздравляю тебя,
благородный
Царь нишадский, с благой переменой судьбы,
с возвращеньем
Прежнего вида и боле всего с обретением милой,
Верной жены. И если я что неугодное сделал,
Наль знаменитый, тебе тогда, как не в образе царском
Жил ты слугой у меня, то в том виноват без вины я;
Тайны твоей я не знал и прошу у тебя извиненья». —
«Царь Ритуперн, — ответствовал Наль, — оскорбленья
и тени

Я не видал от тебя; но когда б и обижен тобою
Был я, то Налю-царю обид, нанесенных Вагуке-
Конюху, брать на себя неприлично. Тебя же давно я,
Царь Ритуперн, и чту и люблю как царского брата.
Мне благосклонным ты был господином, когда под
твоею
Кровлею жил я слугою Вагукой, теперь благосклонным
Другом будь мне, царю нишадскому Налю. Ты видишь
Сам, что Вагуке конюшим твоим уж не быть; без
сомненья,
Также захочет в прежнюю службу вступить и Варшнея.
Но в убытке ты, царь Ритуперн, не останешься;
дар мой
Править конями тебе отдаю я рукою и словом,
Так же, как сам от тебя могущество счета с искусством
В кости играть получил, и ныне в Айоду ты столь же
Быстро приедешь один, сколь быстро приехал оттуда
Вместе с Вагукой в Видарбу. А я посмотрю, что
удастся
Выиграть мне с искусством, тобою мне данным». Друг
другу
Подали руку цари на любовь и союз; и в Айоду
Царь Ритуперн возвратился. Наль, горя нетерпеньем
Выиграть трон свой, также недолго остался в Видарбе.

III

Месяц проживши у тестя, с избранной дружиною
храбрых
Наль пошел наконец на свое Нишадское царство;
Сам он сидел в колеснице блестящей; могучие кони
Бешено прыгали, твердой руке его покоряясь;
Следом за ним шестнадцать слонов боевых
с крепостными
Башнями, полными ратников, шли; за слонами скакали
Конные, легкий отряд, пятьдесят копьеносцев; за ними
Пеших дружина, пятьсот отборных стрелков.
Не сражаться
Вел их Наль, а украсить свое вступленье в Нишаду.
Так снарядившись, царь на прощанье сказал Дамаянти:
«Ты оставайся под кровлей отцовской, покуда не
ввел я

Нового счастья в наш дом и его от врага не очистил,
Счастие прежнее в нем истребившего; с миром тогда ты
В нашу столицу с детьми возвратишься, как на небо
светлый
День возвращается, темную ночь прогоняя; живи же
В радости здесь, ожидая блаженной минуты возврата
В дом семейный, на новое счастье, на новую славу».
Взором одним Дамаянти царю отвечала, но в этом
Взоре, полном небесной души, была уж победа.
Быстрою бурею Наль полетел, и скоро достиг он
В грозном величии царства, из коего некогда вышел
Бедным изгнанником. Брату Пушкаре, владевшему ныне
Бывшим престолом его, он сказал: «Я тебя вызываю
К новой игре; я поставлю на кости жену; ты поставишь
Всё Нишадское царство — довольно ль с тебя? Но
сначала
Сделать мне должно с тобой уговор: когда проиграешь
Ты — то всё, чем владеешь, будет моим, и над самой
Жизнью твоею буду я властен; когда ж проиграю
Я — то всё, чем владею, возьмешь ты, ежели можешь:
Знай наперед, что тогда мы с тобою мечом разочтемся.
Полно же медлить; тебе по законам игры мне на вызов
К новой игре отказать невозможно; и властен теперь ты
Выбрать из двух любую игру: в железо иль в кости.
Хочешь отведать меча — выходи; я рад поединку;
Царство, наследье отцов, должны сохранять мы, покуда
Наше оно, когда же его мы утратили — силой
Должно уметь нам его возвратить; так учили нас предки.
Час наступил; принимайся, Пушкара, за меч иль
за кости
Или тебе живому не быть, иль я Дамаянти
С жизнью тебе уступлю». На этот вызов Пушкара
Так отвечал, усмехнувшись: «Готов я еще раз с тобою
В кости счастья отведать; то будет игра роковая;
Горя с тобой в нищете Дамаянти довольно терпела;
Власть и богатство со мною разделит она и забудет
Прошлое скоро; а я и на троне нишадском всечасно
Думал об ней и ждал, что придешь ты; и вот напоследок
Ты пришел, и будет моей Дамаянти, и боле
Мне ничего на земле желать не останется». Этим
Дерзким ответом разгневанный, меч свой хулителю
в сердце

Чуть не вонзил в запальчивости Наль, но, собой
овладевши,
Он сказал, трепеща, и кипя, и сверкая: «Безумец,
Полно хвастать, играй: проиграешь — заплатишь!»
И кости
Брошены — всё решено: обратно Нишадское царство
С первым ударом выиграл Наль у Пушкары. Со смехом
Он, победитель, взглянул на него, побежденного. «Что ты
Скажешь теперь? Мое законное царство, которым
Думал владеть ты, попрежнему стало моим и отныне
Будет в крепких руках; теперь меж царем и меж
царством
Третий никто не дерзнет протесниться. Мою ж Дамаянти
Ты и во сне недостоин увидеть; ты раб мой отныне;
Так решила судьба. Но слушай: не властью твоею
Некогда был я низвержен с престола; Кали-искуситель,
Враг мой, тебе помогал; ты об этом не знал,
безрассудный;
Знай же теперь, что отмщать на тебе преступленья
чужого
Я не хочу. Живи, и будь милосердие неба
Вечно с тобой, и вражды да не будет меж нами,
Пушкара,
Брат мой; живи, благоденствуя многие, многие годы».
Весь уничтоженный благостью брата, пред ним
на колена
Бросился, плача, Пушкара. «О Наль Пуньялока,
да будет
Милость богов и всякое благо земное с тобою!
В скромном уделе моем я, твой подданный, буду
спокойней
Жить, чем на троне твоем, где покой мой основан
Был на ударе неверных костей; и своими отныне
Буду я столь же любим, сколь был ненавидим твоими.
Прежде, однако, очищу себя от вины омовеньем
В Гангесе грешного тела; в его благодатные волны
Брошу, прокляв их, враждебные кости, которыми злые
Властвуют духи. А ты, сюда возвратив Дамаянти
В блеске прекрасного солнца, скажи ей, чтоб гнева
В сердце ко мне не питала и, прежнее горе забывши,
Вдвое блаженна была очищенным в опыте счастьем».

21 мая 1837—16 декабря 1841

МАТТЕО ФАЛЬКОНЕ

Корсиканская повесть

В кустах, которыми была покрыта
Долина Порто-Веккио, со всех
Сторон звучали голоса, и часто
Гремели выстрелы; то был отряд
Рассыльных егерей; они ловили
Бандита старого Санпьеро; но,
Проворно меж кустов ныряя, в руки
Им не давался он, хотя навылет
Прострелен пулей был. И вот, на верх
Горы взбежав, он хижины достигнул,
В которой жил с своей семьей Маттео
Фальконе; но, к несчастью, в это время
Один лишь мальчик, сын его, был дома.
Он у ворот стоял и на долину
Смотрел, прислушиваясь к шуму. Вдруг
Из ближних выбежав кустов, Санпьеро
Бросается к нему и говорит:
«Спаси меня, я ранен, егеря́
За мною гонятся, они уж близко!» —
«Да я один; отца нет дома; с ним
Ушла и мать». — «Что нужды! спрячь меня
Скорей». — «Да что отец на это скажет?» —
«Отец тебя похвалит; от меня ж
На память вот тебе монета». Мальчик,
Монету взявши, ввел на двор Санпьеро;
Он спрятался там в сено; Фортунато ж
(Так звали мальчика) проворно сеном
Его закрыл, и кровь втоптал в песок,
И вид спокойный принял. В этот миг
Вбежал на двор с своими Гамба (главный
Рассыльщик; он был родственник Маттео).
«Не попадался ли тебе Санпьеро? —
У мальчика спросил он. — Верно, здесь
Его ты видел». — «Нет, я спал». — «Ты лжешь;
Когда стреляют, спать нельзя». — «Да мой
Отец стреляет громче вас, а я
И тут не просыпаюсь». — «Отвечай же,
Куда ушел Санпьеро? Ты его
Здесь видел; правду говори, не то

Тебе достанется». — «Попробуй тронуть
Меня хоть пальцем; мой отец Маттео
Фальконе, знаешь?» — «Твой отец тебя
За то, что лжешь ты, высечет». — «Ан нет,
Не высечет». — «Да где же твой отец?» —
«Он в лес пошел за дичью; видишь сам,
Что я один». К товарищам тогда
В недоуменьи обратившись, Гамба
Сказал: «Кровавый след привел нас прямо
Сюда; он, верно, здесь; но этот дом
Обыскивать не стану я; с Маттео
Фальконе ссориться опасно». Гамба
Стоял нахмурившись и тыкал в сено
Своим штыком, не думая, чтоб там
Санпьеро спрятан был; а Фортунато,
Как будто без намеренья цепочкой
Часов его играя, неприметно
Его отвесть от места рокового
Старался. Гамба, вынув из кармана
Часы, сказал: «Я уж давно тебе
Подарок, Фортунато, приготовил.
Ведь у тебя до сих пор нет часов?» —
«Отец сказал, что мне их даст, как скоро
Двенадцать лет мне будет». — «А тебе
Теперь лишь только десять. Эта песня
Долга. Вот посмотри сюда, какие
Прекрасные часы». И он на солнце
Вертел их, и они сверкали ярко.
Глазами жадными за ними бегал
Встревоженный их блеском Фортунато...
Футляр с эмалью, стрелки золотые,
И голубой узорный циферблат...
«Ну что же, где Санпьеро?» — «А часы
Ты дашь мне?» — «Дам». И Гамба
поднял выше
Часы; как чаша роковых весов,
Над головой ребенка, раза два
Шатнувшися, они остановились.
Он искушения не вынес: в нем
Вся внутренность зажглась; как в лихорадке
Он задрожал и, правую тихонько
Поднявши руку, вдруг, как зверь когтями,

Схватил часы, а левою рукою,
Закинув за спину ее, в молчаньи
На сено Гамбе указал. Без слов
Был кончен торг кровавый. Фортунато,
Добычу взяв, о проданной им жертве
Забыл. Санпьеро из-под сена тут же
Был вытащен; с презреньем поглядел он
На мальчика и, в руки егерям
Отдавшися, сказал: «Друг Гамба, ты
Уж в этом мне, конечно, не откажешь:
Найди носилки; я идти не в силах;
Весь кровью изошел я; признаюсь,
Стрелять ты мастер и в меня так ловко
Попал, что уж теперь со мной конец;
Но видеть мог ты также, что и я
Не промах». И о нем, как о родном
(Любя за храбрость и врага), они
Заботиться усердно принялися.
Ему хотел монету Фортунато
Отдать назад; но молча оттолкнул
Он мальчика, который, уронив
Монету, отошел, краснея, в угол.
Маттео, в это время возвращаясь
С женою из леса, гостей незваных
Увидел в хижине; поспешно он
Свое ружье на выстрел приготовил
И подал знак жене, чтоб и она
С другим ружьем была готова. Смело
И осторожно он подходит. Гамба,
Его вдали узнавши, закричал:
«Маттео, это мы, друзья!» И тихо,
В его лицо всмотревшися, он дуло
Ружья нацеленного опустил.
«Маттео, — Гамба продолжал, к нему
Навстречу вышед, — мы лихого
Поймали зверя; но добыча эта
Нам дорого досталась: двое из наших
Легли». — «Кого?» — «Санпьеро, твоего
Приятеля; ведь он и у тебя
Украл двух коз». — «То правда;
но большая
Семья у бедняка, а голод, знаешь,

Не свой брат». — «Вот стрелок!
От нас бы, верно,
Он ускользнул, когда б не Фортунато,
Мальчишка твой, помог нам». —
«Фортунато!» —
Маттео вскрикнул. «Фортунато!» — мать
Со страхом повторила. «Да! Санпьеро
Здесь в сено спрятался, а Фортунато
Его и выдал нам; за это все вы
Получите спасибо от начальства».
Холодным потом обдало Маттео;
Он в хижину вошел. Там егеря
Вкруг старика, который чуть дышал,
От раны изнемогши, суетились;
И, чтоб ему лежать покойней было,
Свои плащи постлали на носилки.
Не шевелясь и молча он смотрел
На их работу; но как скоро шум
Услышал и, глаза подняв, увидел
В дверях стоящего Маттео, громко
Захохотал, и страшен был тот хохот.
Он плюнул на стену и, задыхаясь,
Глухим, осиплым голосом сказал:
«Будь проклят этот дом; иуды здесь
Предатели живут». Как полотно
Маттео побледнел и кулаком
Себя ударил в лоб; он был как мертвый;
Стоял безгласно. Вот уж старика
Уклали на носилки, понесли
Из хижины; вслед за другими Гамба,
Хозяину пожавши руку, вышел;
И вот уж все пропали за кустами...
Маттео ничего не замечал;
Он, губы стиснув, яростно и страшно
Смотрел на сына. Фортунато, робко
Подкравшися, хотел отцову руку
Поцеловать; Маттео взвизгнул: «Прочь!»
У мальчика подрезалися ноги;
Не в силах был он убежать и, бледный,
К стене прижавшись, плакал и дрожал.
«Моя ль в нем кровь?» — сверкнувши на жену
Глазами тигра, закричал Маттео.

«Ведь я жена твоя», — она сказала,
Вся покраснев. «И он предатель!» Тут
Рыдающая мать, взглянув на сына,
Увидела часы. «Кто дал тебе их?» —
Она спросила. «Дядя Гамба». Вырвав
С свирепым бешенством из рук у сына
Часы, ударил оземь их Маттео,
И вдребезги они разбились. Долго
Потом, как будто в забытьи, стучал
Ружьем он в пол; потом, очнувшись, сыну
Сказал: «За мной!» И он пошел; за ним
Пошел и сын. Неся ружье подмышкой,
Он прямо путь направил к лесу. Мать,
Схватив его за полу платья: «Он
Твой сын! твой сын!» — кричала.
Вырвав полу
Из рук ее, он прошептал: «А я
Его отец, пусти». Поцеловавши
С отчаяньем невыразимым сына
И руки судорожно сжав, в дверях
Осталась мать, чтобы хотя глазами
Их проводить; когда ж они из глаз
Вдали исчезли, плача и рыдая
Перед мадонною она упала.
Маттео, в лес вошедши, на поляне,
Деревьями густыми окруженной,
Остановился. Землю он ружьем
Копнул: земля рыхла. «Стань на колени, —
Ребенку он сказал, — читай молитву».
Став на колени, мальчик руки поднял
К отцу и завизжал: «Отец, прости
Меня; не убивай меня, отец!» —
«Читай молитву!» Мальчик, задыхаясь,
Пролепетал со страхом: «Отче наш»
И «Богородицу». — «Ты кончил?» — «Нет,
Еще одну я знаю литанею;
Ее мне выучить отец Франческо
Велел». — «Она длинна, но с богом!» Дулом
Ружья подперши лоб, он руки сжал
И про себя за сыном повторил
Его молитву. Кончив литанею,
Сын замолчал. «Готов ты?» — «Ах, отец,

Не убивай меня!» — «Готов ты?» — «Ах!
Прости меня, отец». — «Тебя простит
Всевышний бог». И выстрел загремел.
От мертвого отворотив глаза,
Пошел назад Маттео. На ногах он
Был тверд; но жизни не было в его
Лице; с подпорой старости своей
И сердце он свое убил. Он шел
За заступом, чтобы могилу вырыть
И тело схоронить. Ему навстречу,
Услышав выстрел, кинулась жена:
«Мое дитя! наш сын! что сделал ты,
Маттео?» — «Долг свой. Там он на поляне
Лежит. По нем поминки будут; он,
Как христианин, умер с покаяньем;
Господь его младенческую душу
Помилует и успокоит. Ты же,
Когда сберешься с силой, объяви
Паоло, зятю нашему, мою
Решительную волю, чтоб он нынче ж
К нам на житье с женой переселился».

17—19 марта 1843

СКАЗКИ

СКАЗКА О ЦАРЕ БЕРЕНДЕЕ, О СЫНЕ ЕГО ИВАНЕ ЦАРЕВИЧЕ, О ХИТРОСТЯХ КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО И О ПРЕМУДРОСТИ МАРЬИ ЦАРЕВНЫ, КОЩЕЕВОЙ ДОЧЕРИ

Жил-был царь Берендей *до колен борода.* Уж три года
Был он женат и жил в согласьи с женою; но всё им
Бог детей не давал, и было царю то прискорбно.
Ну́жда случилась царю осмотреть свое государство;
Он простился с царицей и восемь месяцев ровно
Пробыл в отлучке. Девятый был месяц в исходе, когда он,
К царской столице своей подъезжая, на поле чистом
В знойный день отдохнуть рассудил; разбили палатку;
Душно стало царю под палаткой, и смерть захотелось
Выпить студеной воды. Но поле было безводно...
Как быть, что делать? А плохо приходит; вот он решился
Сам объехать всё поле: авось, попадется на счастье
Где-нибудь ключ. Поехал и видит колодезь. Поспешно
Спрянув с коня, заглянул он в него: он полон водою
Вплоть до самых краев; золотой на поверхности ковшик
Плавает. Царь Берендей поспешно за ковшик — не тут-то
Было: ковшик прочь от руки. За янтарную ручку
Царь с нетерпеньем то правой рукою, то левой хватает
Ковшик; но ручка, проворно виляя и вправо и влево,
Только что дразнит царя и никак не дается.
Что за причина? Вот он, выждавши время, чтоб ковшик
Стал на место, хвать его разом справа и слева —
Как бы не так! Из рук ускользнувши, как рыбка нырнул он
Прямо на дно колодца и снова потом на поверхность
Выплыл, как будто ни в чем не бывал. «Постой же! (подумал
Царь Берендей) я напьюсь без тебя», и, недолго сбираясь,
Жадно прильнул он губами к воде и струю ключевую

Начал тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула
Вся его борода. Напившися вдоволь, поднять он
Голову хочет... ан нет, погоди! не пускают; и кто-то
Царскую бороду держит. Упершись в ограду колодца,
Силится он оторваться, трясет, вертит головою —
Держат его, да и только. «Кто там? пустите!» —
кричит он.
Нет ответа; лишь страшная смотрит со дна образина:
Два огромные глаза горят, как два изумруда;
Рот, разинутый, чудным смехом смеется; два ряда
Крупных жемчужин светятся в нем, и язык, меж зубами
Выставясь, дразнит царя; а в бороду впутались крепко
Вместо пальцев клешни. И вот наконец сиповатый
Голос сказал из воды: «Не трудися, царь, понапрасну;
Я тебя не пущу. Если же хочешь на волю,
Дай мне то, что есть у тебя и чего ты не знаешь».
Царь подумал: «Чего ж я не знаю? Я, кажется, знаю
Всё!» И он отвечал образине: «Изволь, я согласен».
«Ладно! — опять сиповатый послышался голос. —
Смотри же,
Слово сдержи, чтоб себе не нажить ни попрека, ни худа».
С этим словом исчезли клешни; образина пропала.
Честную выручив бороду, царь отряхнулся, как гоголь,
Всех придворных обрызгал, и все царю поклонились.
Сев на коня, он поехал; и долго ли, мало ли ехал,
Только уж вот он близко столицы; навстречу толпами
Сыплет народ, и пушки палят, и на всех колокольнях
Звон. И царь подъезжает к своим златоверхим палатам —
Там царица стоит на крыльце и ждет; и с царицей
Рядом первый министр; на руках он своих парчевую
Держит подушку; на ней же младенец, прекрасный, как
светлый
Месяц, в пеленках копышется. Царь догадался и ахнул.
«Вот оно то, чего я не знал! Уморил ты, проклятый
Демон, меня!» Так он подумал и горько, горько заплакал;
Все удивились, но слова никто не промолвил. Младенца
На руки взявши, царь Берендей любовался им долго,
Сам его взнес на крыльцо, положил в колыбельку и, горе
Скрыв про себя, попрежнему царствовать начал. О тайне
Царской никто не узнал; но все примечали, что крепко
Царь был печален — он всё дожидался: вот придут
за сыном;

Днем он покоя не знал, и сна не ведал он ночью.
Время, однако, текло, а никто не являлся. Царевич
Рос не по дням — по часам; и сделался чудо-красавец.
Вот наконец и царь Берендей о том, что случилось,
Вовсе забыл... но другие не так забывчивы были.
Раз царевич, охотой в лесу забавляясь, в густую
Чащу заехал один. Он смотрит: всё дико; поляна;
Черные сосны кругом; на поляне дуплистая липа.
Вдруг зашумело в дупле; он глядит: вылезает оттуда
Чудный какой-то старик, с бородою зеленой, с глазами
Также зелеными. «Здравствуй, Иван-царевич, — сказал он. —
Долго тебя дожидалися мы; пора бы нас вспомнить». —
«Кто ты?» — царевич спросил. «Об этом после; теперь же
Вот что ты сделай: отцу своему, царю Берендею,
Мой поклон отнеси, да скажи от меня: не пора ли,
Царь Берендей, должок заплатить? Уж давно миновалось
Время. Он сам остальное поймет. До свиданья». И с этим
Словом исчез бородатый старик. Иван же царевич
В крепкой думе поехал обратно из темного леса.
Вот он к отцу своему, царю Берендею, приходит.
«Батюшка царь-государь, — говорит он, — со мною случилось
Чудо». И он рассказал о том, что видел и слышал.
Царь Берендей побледнел как мертвец. «Беда, мой сердечный
Друг, Иван-царевич! — воскликнул он, горько заплакав.—
Видно, пришло нам расстаться!..» И страшную тайну о данной
Клятве сыну открыл он. «Не плачь, не крушися, родитель, —
Так отвечал Иван-царевич, — беда невелика.
Дай мне коня; я поеду; а ты меня дожидайся;
Тайну держи про себя, чтоб о ней здесь никто не проведал,
Даже сама государыня-матушка. Если ж назад я
К вам по прошествии целого года не буду, тогда уж
Знайте, что нет на свете меня». Снарядили как должно
В путь Ивана-царевича. Дал ему царь золотые
Латы, меч и коня вороного; царица с мощами
Крест на шею надела ему; отпели молебен;

Нежно потом обнялися, поплакали... с богом! Поехал
В путь Иван-царевич. Что-то с ним будет? Уж едет
День он, другой и третий; в исходе четвертого — солнце
Только успело зайти — подъезжает он к озеру; гладко
Озеро то, как стекло; вода наравне с берегами;
Всё в окрестности пусто; румяным вечерним сияньем
Воды покрытые гаснут, и в них отразился зеленый
Берег и частый тростник — и всё как будто бы дремлет;
Воздух не веет; тростинка не тронется; шороха в струйках
Светлых не слышно. Иван-царевич смотрит, и что же
Видит он? Тридцать хохлатых сереньких уточек подле
Берега плавают; рядом тридцать белых сорочек
Подле воды на травке лежат. Осторожно поодаль
Слез Иван-царевич с коня; высокой травою
Скрытый, подполз и одну из белых сорочек тихонько
Взял; потом угнездился в кусте дожидаться, что будет.
Уточки плавают, плещутся в струйках, играют, ныряют...
Вот наконец, поиграв, поныряв, поплескавшись, подплыли
К берегу; двадцать девять из них, побежав с перевалкой
К белым сорочкам, оземь ударились, все обратились
В красных девиц, нарядились, порхнули и разом исчезли.
Только тридцатая уточка, на берег выйти не смея,
Взад и вперед одна-одинешенька с жалобным криком
Около берега бьется; с робостью вытянув шейку,
Смотрит туда и сюда, то вспорхнет, то снова присядет...
Жалко стало Ивану-царевичу. Вот он выходит
К ней из-за кустика; глядь, а она ему человечьим
Голосом вслух говорит: «Иван-царевич, отдай мне
Платье мое, я сама тебе пригожуся». Он с нею
Спорить не стал, положил на травку сорочку и, скромно
Прочь отошедши, стал за кустом. Вспорхнула на травку
Уточка. Что же вдруг видит Иван-царевич? Девица
В белой одежде стоит перед ним, молода и прекрасна
Так, что ни в сказке сказать, ни пером описать, и,
краснея,
Руку ему подает и, потупив стыдливые очи,
Голосом звонким, как струны, ему говорит:
«Благодарствуй,
Добрый Иван-царевич, за то, что меня ты послушал;
Тем ты себе самому услужил, но и мною доволен
Будешь: я дочь Кощея бессмертного, Марья-царевна;
Тридцать нас у него, дочерей молодых. Подземельным

Царством владеет Кощей. Он давно уж тебя поджидает
В гости и очень сердит; но ты не пекись, не заботься,
Сделай лишь то, что я тебе присоветую. Слушай:
Только завидишь Кощея-царя, упади на колена,
Прямо к нему поползи; затопает он — не пугайся;
Станет ругаться — не слушай; ползи да и только; что после
Будет, увидишь; теперь пора нам». И Марья-царевна
В землю ударила маленькой ножкой своей; расступилась
Тотчас земля, и они вместе в подземное царство спустились.
Видят дворец Кощея бессмертного; высечен был он
Весь из карбункула камня и ярче небесного солнца
Всё под землей освещал. Иван-царевич отважно
Входит: Кощей сидит на престоле в светлой короне;
Блещут глаза, как два изумруда; руки с клешнями.
Только завидел его вдалеке, тотчас на колени
Стал Иван-царевич. Кощей же затопал, сверкнуло
Страшно в зеленых глазах, и так закричал он, что своды
Царства подземного дрогнули. Слово Марьи-царевны
Вспомня, пополз на карачках Иван-царевич к престолу;
Царь шумит, а царевич ползет да ползет. Напоследок
Стало царю и смешно. «Добро ты, проказник, — сказал он, —
Если тебе удалося меня рассмешить, то с тобою
Ссоры теперь заводить я не стану. Милости просим
К нам в подземельное царство; но знай, за твое ослушанье
Должен ты нам отслужить три службы; сочтемся мы завтра;
Ныне уж поздно; поди». Тут два придворных проворно
Под руки взяли Ивана-царевича очень учтиво,
С ним пошли в покой, отведенный ему, отворили
Дверь, поклонились царевичу в пояс, ушли, и остался
Там он один. Беззаботно он лег на постелю и скоро
Сном глубоким заснул. На другой день рано поутру
Царь Кощей к себе Ивана-царевича кликнул:
«Ну, Иван-царевич, — сказал он, — теперь мы посмотрим,
Что-то искусен ты делать? Изволь, например, нам построить
Нынешней ночью дворец: чтоб кровля была золотая,
Стены из мрамора, окна хрустальные, вкруг регулярный

Сад, и в саду пруды с карасями; если построишь
Этот дворец, то нашу царскую милость заслужишь;
Если же нет, то прошу не пенять... головы не
удержишь!» —
«Ах ты, Кощей окаянный, — Иван-царевич подумал, —
Вот что затеял, смотри пожалуй!» С тяжелой кручиной
Он возвратился к себе и сидит пригорюнясь; уж вечер;
Вот блестящая пчелка к его подлетела окошку,
Бьется об стекла — и слышит он голос: впусти!
Отворил он
Дверку окошка, пчелка влетела и вдруг обернулась
Марьей-царевной. «Здравствуй, Иван-царевич; о чем ты
Так призадумался?» — «Нехотя будешь задумчив, —
сказал он. —
Батюшка твой до моей головы добирается». — «Что же
Сделать решился ты?» — «Что? Ничего. Пускай его
снимет
Голову; двух смертей не видать, одной не минуешь». —
«Нет, мой милый Иван-царевич, не должно терять нам
Бодрости. То ли беда? Беда впереди; не печалься;
Утро вечера, знаешь ты сам, мудренее: ложися
Спать; а завтра поранее встань; уж дворец твой построен
Будет; ты ж только ходи с молотком да постукивай
в стену».
Так всё и сделалось. Утром, ни свет ни заря, из каморки
Вышел Иван царевич... глядит, а дворец уж построен,
Чудный такой, что сказать невозможно. Кощей изумился;
Верить не хочет глазам. «Да ты хитрец не на шутку, —
Так он сказал Ивану-царевичу, — вижу, ты ловок
На руку; вот мы посмотрим, так же ли будешь догадлив.
Тридцать есть у меня дочерей, прекрасных царевен.
Завтра я всех их рядом поставлю, и должен ты будешь
Три раза мимо пройти и в третий мне раз без ошибки
Младшую дочь мою, Марью-царевну, узнать; не узнаешь—
С плеч голова. Поди». — «Уж выдумал, чучела,
мудрость, —
Думал Иван-царевич, сидя под окном. — Не узнать мне
Марью-царевну... какая ж тут трудность?» —
«А трудность такая, —
Молвила Марья-царевна, пчелкой влетевши, — что если
Я не вступлюся, то быть беде неминуемой. Всех нас
Тридцать сестер, и все на одно мы лицо; и такое

Сходство меж нами, что сам отец наш только по платью
Может нас различать». — «Ну что же мне делать?» —
«А вот что:
Буду я та, у которой на правой щеке ты заметишь
Мошку. Смотри же, будь осторожен, вглядись хорошенько,
Сделать ошибку легко. До свиданья». И пчелка исчезла.
Вот на другой день опять Ивана-царевича кличет
Царь Кощей. Царевны уж тут, и все в одинаком
Платье рядом стоят, потупив глаза. «Ну, искусник, —
Молвил Кощей, — изволь-ка пройтиться три раза мимо
Этих красавиц, да в третий раз потрудись указать нам
Марью-царевну». Пошел Иван-царевич; глядит он
В оба глаза: уж подлинно сходство! И вот он проходит
В первый раз — мошки нет; проходит в другой раз —
всё мошки
Нет; проходит в третий и видит — крадется мошка,
Чуть заметно, по свежей щеке, а щека-то под нею
Так и горит; загорелось и в нем, и с трепещущим сердцем:
«Вот она, Марья-царевна!» — сказал он Кощею, подавши
Руку красавице с мошкой. «Э! э! да тут, примечаю,
Что-то нечисто, — Кощей проворчал, на царевича
с сердцем
Выпучив оба зеленые глаза. — Правда, узнал ты
Марью-царевну, но как узнал? Вот тут-то и хитрость;
Верно, с грехом пополам. Погоди же, теперь доберуся
Я до тебя. Часа через три ты опять к нам пожалуй;
Рады мы гостю, а ты нам свою премудрость на деле
Здесь покажи: зажгу я соломинку; ты же, покуда
Будет гореть та соломинка, здесь, не трогаясь с места,
Сшей мне пару сапог с оторочкой; не диво; да только
Знай наперед: не сошьешь — долой голова; до свиданья».
Зол возвратился к себе Иван-царевич, а пчелка
Марья-царевна уж там. «Отчего опять так задумчив,
Милый Иван-царевич?» — спросила она. «Поневоле
Будешь задумчив, — он ей отвечал. — Отец твой затеял
Новую шутку: шей я ему сапоги с оторочкой;
Разве какой я сапожник? Я царский сын; я не хуже
Родом его. Кощей он бессмертный! видали мы много
Этих бессмертных». — «Иван-царевич, да что же ты
будешь
Делать?» — «Что мне тут делать? Шить сапогов я
не стану.

Снимет он голову — черт с ним, с собакой! какая мне нужда!» —
«Нет, мой милый, ведь мы теперь жених и невеста;
Я постараюсь избавить тебя; мы вместе спасемся
Или вместе погибнем. Нам должно бежать; уж другого
Способа нет». Так сказав, на окошко Марья-царевна
Плюнула; слюнки в минуту примерзли к стеклу; из каморки
Вышла она потом с Иваном-царевичем вместе,
Двери ключом заперла и ключ далеко зашвырнула.
За руки взявшись потом, они поднялися и мигом
Там очутились, откуда сошли в подземельное царство:
То же озеро, низкий берег, муравчатый, свежий
Луг, и, видят, по лугу свежему бодро гуляет
Конь Ивана-царевича. Только почуял могучий
Конь седока своего, как заржал, заплясал и помчался
Прямо к нему и, примчавшись, как вкопанный в землю
Стал перед ним. Иван-царевич, не думая долго,
Сел на коня, царевна за ним, и пустились стрелою.
Царь Кощей в назначенный час посылает придворных
Слуг доложить Ивану-царевичу: что-де так долго
Мешкать изволите? Царь дожидается. Слуги приходят;
Заперты двери. Стук! стук! и вот из-за двери им слюнки,
Словно как сам Иван-царевич, ответствуют: *буду*.
Этот ответ придворные слуги относят к Кощею;
Ждать-подождать — царевич нейдет; посылает в другой раз
Тех же послов рассерже́нный Кощей, и та же всё песня:
Буду; а нет никого. Взбесился Кощей. «Насмехаться,
Что ли, он вздумал? Бегите же; дверь разломать и в минуту
За ворот к нам притащить неучтивца!» Бросились слуги. . .
Двери разломаны. . . вот тебе раз; никого там, а слюнки
Так и хохочут. Кощей едва от злости не лопнул.
«Ах! он вор окаянный! люди! люди! скорее
Все в погоню за ним! . . я всех перевешаю, если
Он убежит! . .» Помчалась погоня. . . «Мне слышится топот», —
Шепчет Ивану-царевичу Марья-царевна, прижавшись
Жаркою грудью к нему. Он слезает с коня и, припавши
Ухом к земле, говорит ей: «Скачут, и близко». —
«Так медлить

Нечего», — Марья-царевна сказала, и в ту же минуту
Сделалась речкой сама, Иван-царевич железным
Мостиком, черным вороном конь, а большая дорога
На три дороги разбилась за мостиком. Быстро погоня
Скачет по свежему следу; но к речке примчавшися, стали
В пень Кощеевы слуги: след до мостика виден;
Дале ж и след пропадает, и делится на три дорога.
Нечего делать — назад! Воротились разумники. Страшно
Царь Кощей разозлился, о их неудаче услышав.
«Черти! ведь мостик и речка были они! догадаться
Можно бы вам, дуралеям! Назад! чтоб был непременно
Здесь он!..» Опять помчалась погоня... «Мне слышится топот», —
Шепчет опять Ивану-царевичу Марья-царевна.
Слез он с седла и, припавши ухом к земле, говорит ей:
«Скачут, и близко». И в ту же минуту Марья-царевна
Вместе с Иваном-царевичем, с ними и конь их, дремучим
Сделались лесом; в лесу том дорожек, тропинок числа нет;
По лесу ж, кажется, конь с двумя седоками несется.
Вот по свежему следу гонцы примчалися к лесу;
Видят в лесу скакунов и пустились вдогонку за ними.
Лес же раскинулся вплоть до входа в Кощеево царство.
Мчатся гонцы, а конь перед ними скачет да скачет;
Кажется, близко; ну только б схватить; ан нет, не дается.
Глядь! очутились они у входа в Кощеево царство,
В самом том месте, откуда пустились в погоню; и скрылось
Всё: ни коня, ни дремучего лесу. С пустыми руками
Снова явились к Кощею они. Как цепная собака,
Начал метаться Кощей. «Вот я ж его, плута! Коня мне!
Сам поеду, увидим мы, как от меня отвертится!»
Снова Ивану-царевичу Марья-царевна тихонько
Шепчет: «Мне слышится топот»; и снова он ей отвечает:
«Скачут, и близко». — «Беда нам! Ведь это Кощей, мой родитель
Сам; но у первой церкви граница его государства;
Далее ж церкви скакать он никак не посмеет. Подай мне
Крест твой с мощами». Послушавшись Марьи-царевны, снимает
С шеи свой крест золотой Иван-царевич и в руки

Ей подает, и в минуту она обратилася в церковь,
Он в монаха, а конь в колокольню — и в ту же минуту
С свитою к церкви Кощей прискакал. «Не видал ли
проезжих,
Старец честной?» — он спросил у монаха. «Сейчас
проезжали
Здесь Иван-царевич с Марьей-царевной; входили
В церковь они — святым помолились да мне приказали
Свечку поставить за здравье твое и тебе поклониться,
Если ко мне ты заедешь». — «Чтоб шею сломить им,
проклятым!» —
Крикнул Кощей и, коня повернув, как безумный помчался
С свитой назад, а примчавшись домой, пересек
беспощадно
Всех до единого слуг. Иван же царевич с своею
Марьей-царевной поехали дале, уже не боясь
Боле погони. Вот они едут шажком; уж склонялось
Солнце к закату, и вдруг в вечерних лучах перед ними
Город прекрасный. Ивану-царевичу смерть захотелось
В этот город заехать. «Иван-царевич, — сказала
Марья-царевна, — не езди; недаром вещее сердце
Ноет во мне: беда приключится». — «Чего ты боишься,
Марья-царевна? Заедем туда на минуту; посмотрим
Город, потом и назад». — «Заехать нетрудно, да трудно
Выехать будет. Но быть так! ступай, а я здесь останусь
Белым камнем лежать у дороги; смотри же, мой милый,
Будь осторожен: царь, и царица, и дочь их царевна
Выдут навстречу тебе, и с ними прекрасный младенец
Будет; младенца того не целуй: поцелуешь — забудешь
Тотчас меня; тогда и я не останусь на свете,
С горя умру, и умру от тебя. Вот здесь у дороги
Буду тебя дожидаться я три дни; когда же на третий
День не придешь... но прости, поезжай». И в город
поехал,
С нею простяся, Иван-царевич один. У дороги
Белым камнем осталася Марья-царевна. Проходит
День, проходит другой, напоследок проходит и третий —
Нет Ивана-царевича. Бедная Марья-царевна!
Он не исполнил ее наставленья: в городе вышли
Встретить его и царь, и царица, и дочь их царевна;
Выбежал с ними прекрасный младенец, мальчик-
кудряшка,

Живчик, глазенки как ясные звезды; и бросился прямо
В руки Ивану-царевичу; он же его красотою
Так был пленен, что, ум потерявши, в горячие щеки
Начал его целовать; и в эту минуту затмилась
Память его, и он позабыл о Марье-царевне.
Горе взяло ее. «Ты покинул меня, так и жить мне
Незачем боле». И в то же мгновенье из белого камня
Марья-царевна в лазоревый цвет полевой превратилась.
«Здесь у дороги останусь, авось мимоходом затопчет
Кто-нибудь в землю меня», — сказала она, и росинки
Слез на листках голубых заблистали. Дорогой в то время
Шел старик; он цветок голубой у дороги увидел;
Нежной его красотою пленясь, осторожно он вырыл
С корнем его, и в избушку свою перенес, и в корытце
Там посадил, и полил водой, и за милым цветочком
Начал ухаживать. Что же случилось? С той самой
минуты
Всё не по-старому стало в избушке; чудесное что-то
Начало деяться в ней: проснется старик — а в избушке
Всё уж как надобно прибрано; нет нигде ни пылинки.
В полдень придет он домой — а обед уж состряпан,
и чистой
Скатертью стол уж накрыт: садися и ешь на здоровье.
Он дивился, не знал, что подумать; ему напоследок
Стало и страшно, и он у одной ворожейки-старушки
Начал совета просить, что делать. «А вот что ты
сделай, —
Так отвечала ему ворожейка, — встань ты до первой
Ранней зари, пока петухи не пропели, и в оба
Глаза гляди: что начнет в избушке твоей шевелиться,
То ты вот этим платком и накрой. Что будет, увидишь».
Целую ночь напролет старик пролежал на постеле,
Глаз не смыкая. Заря занялася, и стало в избушке
Видно, и видит он вдруг, что цветок голубой
встрепенулся,
С тонкого стебля спорхнул и начал летать по избушке;
Всё между тем по местам становилось, повсюду сметалась
Пыль, и огонь разгорался в печурке. Проворно с постели
Прянул старик и накрыл цветочек платком, и явилась
Вдруг пред глазами его красавица Марья-царевна.
«Что ты сделал? — сказала она. — Зачем возвратил ты
Жизнь мне мою? Жених мой, Иван-царевич прекрасный,

Бросил меня, и я им забыта». — «Иван твой царевич
Женится нынче. Уж свадебный пир приготовлен, и гости
Съехались все». Заплакала горько Марья-царевна;
Слезы потом отерла; потом, в сарафан нарядившись,
В город крестьянкой пошла. Приходит на царскую кухню;
Бегают там повара в колпаках и фартуках белых;
Шум, возня, стукотня. Вот Марья-царевна, приближась
К старшему повару, с видом умильным и сладким, как
флейта,
Голосом молвила: «Повар, голубчик, послушай,
позволь мне
Свадебный спечь пирог для Ивана-царевича». Повар,
Занятый делом, с досады хотел огрызнуться; но слово
Замерло вдруг у него на губах, когда он увидел
Марью-царевну; и ей отвечал он с приветливым взглядом:
«В добрый час, девица-красавица; всё что угодно
Делай; Ивану-царевичу сам поднесу я пирог твой».
Вот пирог испечен; а званые гости, как должно,
Все уж сидят за столом и пируют. Услужливый повар
Важно огромный пирог на узорном серебряном блюде
Ставит на стол перед самым Иваном-царевичем; гости
Все удивились, увидя пирог. Но лишь только верхушку
Срезал с него Иван-царевич — новое чудо!
Сизый голубь с белой голубкой порхнули оттуда.
Голубь по́ столу ходит; голубка за ним и воркует:
«Голубь, мой голубь, постой, не беги; обо мне ты
забудешь
Так, как Иван-царевич забыл о Марье-царевне!»
Ахнул Иван-царевич, то слово голубки услышав;
Он вскочил как безумный и кинулся в дверь, а за дверью
Марья-царевна стоит уж и ждет. У крыльца же
Конь вороной с нетерпенья, оседланный, взнузданный,
пляшет.
Нечего медлить; поехал Иван-царевич с своею
Марьей-царевной; едут да едут, и вот приезжают
В царство царя Берендея они. И царь и царица
Приняли их с весельем таким, что такого веселья
Видом не видано, слыхом не слыхано. Долго не стали
Думать, честным пирком да за свадебку; съехались гости,
Свадьбу сыграли; я там был, там мед я и пиво
Пил; по усам текло, да в рот не попало. И всё тут.

2 августа — 11 сентября 1831

СПЯЩАЯ ЦАРЕВНА

Жил-был добрый царь Матвей;
Жил с царицею своей
Он в согласьи много лет;
А детей всё нет как нет.
Раз царица на лугу,
На зеленом берегу
Ручейка была одна;
Горько плакала она.
Вдруг, глядит, ползет к ней
рак;
Он сказал царице так:
«Мне тебя, царица, жаль;
Но забудь свою печаль;
Понесешь ты в эту ночь:
У тебя родится дочь». —
«Благодарствуй, добрый рак;
Не ждала тебя никак. . .»
Но уж рак уполз в ручей,
Не слыхав ее речей.
Он, конечно, был пророк;
Что сказал — сбылося в срок:
Дочь царица родила.
Дочь прекрасна так была,
Что ни в сказке рассказать,
Ни пером не описать.
Вот царем Матвеем пир
Знатный дан на целый мир;
И на пир веселый тот
Царь одиннадцать зовет
Чародеек молодых;
Было ж всех двенадцать их;
Но двенадцатой одной,
Хромоногой, старой, злой,
Царь на праздник не позвал.
Отчего ж так оплошал
Наш разумный царь Матвей?
Было то обидно ей.
Так, но есть причина тут:
У царя двенадцать блюд

Драгоценных, золотых
Было в царских кладовых;
Приготовили обед;
А двенадцатого нет
(Кем украдено оно,
Знать об этом не дано).
«Что ж тут делать? — царь
сказал. —
Так и быть!» И не послал
Он на пир старухи звать.
Собралися пировать
Гостьи, званные царем;
Пили, ели, а потом,
Хлебосольного царя
За прием благодаря,
Стали дочь его дарить:
«Будешь в золоте ходить;
Будешь чудо красоты;
Будешь всем на радость ты
Благонравна и тиха;
Дам красавца жениха
Я тебе, мое дитя;
Жизнь твоя пройдет шутя
Меж знакомых и родных...»
Словом, десять молодых
Чародеек, одарив
Так дитя наперерыв,
Удалились; в свой черед
И последняя идет;
Но еще она сказать
Не успела слова — глядь!
А незваная стоит
Над царевной и ворчит:
«На пиру я не была,
Но подарок принесла:
На шестнадцатом году
Повстречаешь ты беду;
В этом возрасте своем
Руку ты веретеном
Оцарапаешь, мой свет,
И умрешь во цвете лет!»
Проворчавши так, тотчас

Ведьма скрылася из глаз;
Но оставшаяся там
Речь домолвила: «Не дам
Без пути ругаться ей
Над царевною моей;
Будет то не смерть, а сон;
Триста лет продлится он;
Срок назначенный пройдет,
И царевна оживет;
Будет долго в свете жить;
Будут внуки веселить
Вместе с нею мать, отца
До земного их конца».
Скрылась гостья. Царь грустит;
Он не ест, не пьет, не спит:
Как от смерти дочь спасти?
И, беду чтоб отвести,
Он дает такой указ:
«Запрещается от нас
В нашем царстве сеять лен,
Прясть, сучить, чтоб веретен
Духу не было в домах;
Чтоб скорей как можно прях
Всех из царства выслать вон».
Царь, издав такой закон,
Начал пить, и есть, и спать,
Начал жить да поживать,
Как дотоле, без забот.
Дни проходят; дочь растет;
Расцвела, как майский цвет;
Вот уж ей пятнадцать лет...
Что-то, что-то будет с ней!
Раз с царицею своей
Царь отправился гулять;
Но с собой царевну взять
Не случилось им; она
Вдруг соскучилась одна
В душной горнице сидеть
И на свет в окно глядеть.
«Дай, — сказала наконец, —
Осмотрю я наш дворец».
По дворцу она пошла:

Пышных комнат нет числа;
Всем любуется она;
Вот, глядит, отворена
Дверь в покой; в покое том
Вьется лестница винтом
Вкруг столба; по ступеням
Всходит вверх и видит — там
Старушоночка сидит;
Гребень под носом торчит;
Старушоночка прядет
И за пряжею поет:
«Веретенце, не ленись;
Пряжа тонкая, не рвись;
Скоро будет в добрый час
Гостья жданная у нас».
Гостья жданная вошла;
Пряха молча подала
В руки ей веретено;
Та взяла, и вмиг оно
Укололо руку ей...
Всё исчезло из очей;
На нее находит сон;
Вместе с ней объемлет он
Весь огромный царский дом;
Всё утихнуло кругом;
Возвращаясь во дворец,
На крыльце ее отец
Пошатнулся, и зевнул
И с царицею заснул;
Свита вся за ними спит;
Стража царская стоит
Под ружьем в глубоком сне,
И на спящем спит коне
Перед ней хорунжий сам;
Неподвижно по стенам
Мухи сонные сидят;
У ворот собаки спят;
В стойлах, головы склонив,
Пышны гривы опустив,
Кони корму не едят,
Кони сном глубоким спят;
Повар спит перед огнем;

И огонь, объятый сном,
Не пылает, не горит,
Сонным пламенем стоит;
И не тронется над ним,
Свившись клубом, сонный дым;
И окрестность со дворцом
Вся объята мертвым сном;
И покрыл окрестность бор;
Из терновника забор
Дикий бор тот окружил;
Он навек загородил
К дому царскому пути:
Долго, долго не найти
Никому туда следа —
И приблизиться беда!
Птица там не пролетит,
Близко зверь не пробежит,
Даже облака небес
На дремучий, темный лес
Не навеет ветерок.
Вот уж полный век протек;
Словно не жил царь Матвей —
Так из памяти людей
Он изгладился давно;
Знали только то одно,
Что средь бора дом стоит,
Что царевна в доме спит,
Что проспать ей триста лет,
Что теперь к ней следу нет.
Много было смельчаков
(По сказанью стариков),
В лес брались они сходить,
Чтоб царевну разбудить;
Даже бились об заклад
И ходили — но назад
Не пришел никто. С тех пор
В неприступный, страшный бор
Ни старик, ни молодой
За царевной ни ногой.
Время ж всё текло, текло;
Вот и триста лет прошло.
Что ж случилося? В один

День весенний царский сын,
Забавляясь ловлей, там
По долинам, по полям
С свитой ловчих разъезжал.
Вот от свиты он отстал;
И у бора вдруг один
Очутился царский сын.
Бор, он видит, темен, дик.
С ним встречается старик.
С стариком он в разговор:
«Расскажи про этот бор
Мне, старинушка честной!»
Покачавши головой,
Всё старик тут рассказал,
Что от дедов он слыхал
О чудесном боре том:
Как богатый царский дом
В нем давным-давно стоит,
Как царевна в доме спит,
Как ее чудесен сон,
Как три века длится он,
Как во сне царевна ждет,
Что спаситель к ней придет;
Как опасны в лес пути,
Как пыталася дойти
До царевны молодежь,
Как со всяким то ж да то ж
Приключалось: попадал
В лес, да там и погибал.
Был детина удалой
Царский сын; от сказки той
Вспыхнул он, как от огня;
Шпоры втиснул он в коня;
Прянул конь от острых шпор
И стрелой помчался в бор,
И в одно мгновенье там.
Что ж явилося очам
Сына царского? Забор,
Ограждавший темный бор,
Не терновник уж густой,
Но кустарник молодой;
Блещут розы по кустам;

Перед витязем он сам
Расступился, как живой;
В лес въезжает витязь мой:
Всё свежо, красно пред ним;
По цветочкам молодым
Пляшут, блещут мотыльки;
Светлой змейкой ручейки
Вьются, пенятся, журчат;
Птицы прыгают, шумят
В густоте ветвей живых;
Лес душист, прохладен, тих,
И ничто не страшно в нем.
Едет гладким он путем
Час, другой; вот наконец
Перед ним стоит дворец,
Зданье — чудо старины;
Ворота отворены;
В ворота въезжает он;
На дворе встречает он
Тьму людей, и каждый спит:
Тот как вкопанный сидит;
Тот не двигаясь идет;
Тот стоит, раскрывши рот,
Сном пресекся разговор,
И в устах молчит с тех пор
Недоконченная речь;
Тот, вздремав, когда-то лечь
Собрался, но не успел:
Сон *волшебный* овладел
Прежде сна *простого* им;
И, три века недвижим,
Не стоит он, не лежит
И, упасть готовый, спит.
Изумлен и поражен
Царский сын. Проходит он
Между сонными к дворцу;
Приближается к крыльцу;
По широким ступеням
Хочет вверх идти; но там
На ступенях царь лежит
И с царицей вместе спит.
Путь наверх загорожен.

«Как же быть? — подумал он. —
Где пробраться во дворец?»
Но решился наконец,
И, молитву сотворя,
Он шагнул через царя.
Весь дворец обходит он;
Пышно всё, но всюду сон,
Гробовая тишина.
Вдруг глядит: отворена
Дверь в покой; в покое том
Вьется лестница винтом
Вкруг столба; по ступеням
Он взошел. И что же там?
Вся душа его кипит,
Перед ним царевна спит.
Как дитя, лежит она,
Распылалася от сна;
Молод цвет ее ланит;
Меж ресницами блестит
Пламя сонное очей;
Ночи темныя темней,
Заплетенные косой
Кудри черной полосой
Обвились кругом чела;
Грудь как свежий снег
бела;
На воздушный, тонкий стан
Брошен легкий сарафан;
Губки алые горят;
Руки белые лежат
На трепещущих грудях;
Сжаты в легких сапожках
Ножки — чудо красотой.
Видом прелести такой
Отуманен, распален,
Неподвижно смотрит он;
Неподвижно спит она.
Что ж разрушит силу сна?
Вот, чтоб душу насладить,
Чтоб хоть мало утолить
Жадность пламенных очей,
На колени ставши, к ней

Он приблизился лицом:
Распалительным огнем
Жарко рдеющих ланит
И дыханьем уст облит,
Он души не удержал
И ее поцеловал.
Вмиг проснулася она;
И за нею вмиг от сна
Поднялося всё кругом:
Царь, царица, царский дом;
Снова говор, крик, возня;
Всё как было; словно дня
Не прошло с тех пор, как в сон
Весь тот край был погружен.
Царь на лестницу идет;
Нагулявшися, ведет
Он царицу в их покой;
Сзади свита вся толпой;
Стражи ружьями стучат;
Мухи стаями летят;
Приворотный лает пес;
На конюшне свой овес
Доедает добрый конь;
Повар дует на огонь,
И, треща, огонь горит,
И струею дым бежит;
Всё бывалое — один
Небывалый царский сын.
Он с царевной наконец
Сходит сверху; мать, отец
Принялись их обнимать.
Что ж осталось досказать?
Свадьба, пир, и я там был
И вино на свадьбе пил;
По усам вино бежало,
В рот же капли не попало.

26 августа — 12 сентября 1831

ВОЙНА МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕК

(Отрывок)

Слушайте: я расскажу вам, друзья, про мышей и лягушек.
Сказка ложь, а песня быль, говорят нам; но в этой
Сказке моей найдется и правда. Милости ж просим
Тех, кто охотник в досужный часок пошутить, посмеяться,
Сказки послушать; а тех, кто любит смотреть исподлобья,
Всякую шутку считая за грех, мы просим покорно
К нам не ходить и дома сидеть да высиживать скуку.

Было прекрасное майское утро. Квакун двадесятый,
Царь знаменитой породы, властитель ближней трясины,
Вышел из мокрой столицы своей, окруженный блестящей
Свитой придворных. Вприпрыжку они взобрались на пригорок,
Сочной травою покрытый, и там, на кочке усевшись,
Царь приказал из толпы его окружавших почетных
Стражей вызвать бойцов, чтоб его, царя, забавляли
Боем кулачным. Вышли бойцы; началося; уж много
Было лягушечьих морд царю в угожденье разбито;
Царь хохотал; от смеха придворная квакала свита
Вслед за его величеством; солнце взошло уж на полдень.
Вдруг из кустов молодец в прекрасной беленькой шубке,
С тоненьким хвостиком, острым, как стрелка, на тоненьких ножках
Выскочил; следом за ним четыре таких же, но в шубах
Дымного цвета. Рысцой они подбежали к болоту.
Белая шубка, носик в болото уткнув и поднявши
Правую ножку, начал воду тянуть, и, казалось,
Был для него тот напиток приятнее меда; головку
Часто он вверх подымал, и вода с усастого рыльца
Мелким бисером падала; вдоволь напившись и лапкой
Рыльце обтерши, сказал он: «Какое раздолье студеной
Выпить воды, утомившись от зноя! Теперь понимаю
То, что чувствовал Дарий, когда он, в бегстве из мутной
Лужи напившись, сказал: я не знаю вкуснее напитка!»
Эти слова одна из лягушек подслушала; тотчас
Скачет она с донесеньем к царю: из леса-де вышли
Пять каких-то зверков, с усами турецкими, уши

Длинные, хвостики острые, лапки как руки; в осоку
Все они побежали и царскую воду в болоте
Пьют. А кто и откуда они, неизвестно. С десятком
Стражей Квакун посылает хорунжего Пышку проведать,
Кто незваные гости; когда неприятели — взять их,
Если дадутся; когда же соседи, пришедшие с миром, —
Дружески их пригласить к царю на беседу. Сошедши
Пышка с холма и увидя гостей, в минуту узнал их:
«Это мыши; неважное дело! Но мне не случалось
Белых меж ними видать, и это мне чудно. Смотрите ж, —
Спутникам тут он сказал, — никого не обидеть. Я с ними
Сам на словах объяснюся. Увидим, что скажет мне
белый».
Белый меж тем с удивленьем великим смотрел,
приподнявши
Уши, на скачущих прямо к нему с пригорка лягушек;
Слуги его хотели бежать, но он удержал их,
Выступил бодро вперед и ждал скакунов; и как скоро
Пышка с своими к болоту приблизился: «Здравствуй,
почтенный
Воин, — сказал он ему, — прошу не взыскать, что без
спросу
Вашей воды напился я; мы все от охоты устали;
В это же время здесь никого не нашлось; благодарны
Очень мы вам за прекрасный напиток; и сами готовы
Равным добром за ваше добро заплатить: благодарность
Есть добродетель возвышенных душ». Удивленный такою
Умною речью, ответствовал Пышка: «Милости просим
К нам, благородные гости; наш царь, о прибытии вашем
Сведав, весьма любопытен узнать: откуда вы родом,
Кто вы и как вас зовут. Я послан сюда пригласить вас
С ним на беседу. Рады мы очень, что вам показалась
Наша по вкусу вода; а платы не требуем: воду
Создал господь для всех на потребу, как воздух
и солнце».
Белая шубка учтиво ответствовал: «Царская воля
Будет исполнена; рад я к его величеству с вами
Вместе пойти, но только сухим путем, не водою;
Плавать я не умею; я царский сын и наследник
Царства мышиного». В это мгновенье, спустившись
с пригорка,
Царь Квакун со свитой своей приближался. Царевич

Белая шубка, увидя царя с такою толпою,
Несколько струсил, ибо не ведал, доброе ль, злое ль
Было у них на уме. Квакун отличался зеленым
Платьем, глаза навыкат сверкали, как звезды, и пузом
Громко он, прядая, шлепал. Царевич Белая шубка,
Вспомнивши, кто он, робость свою победил. Величаво
Он поклонился царю Квакуну. А царь, благосклонно
Лапку подавши ему, сказал: «Любезному гостю
Очень мы рады; садись, отдохни; ты из дальнего, верно,
Края, ибо до сих пор тебя нам видать не случалось».
Белая шубка, царю поклоняся опять, на зеленой
Травке уселся с ним рядом; а царь продолжал:
«Расскажи нам,
Кто ты? кто твой отец? кто мать? и откуда пришел
к нам?
Здесь мы тебя угостим дружелюбно, когда, не таяся,
Правду всю скажешь: я царь и много имею богатства;
Будет нам сладко почтить дорогого гостя дарами». —
«Нет никакой мне причины, — ответствовал Белая
шубка, —
Царь-государь, утаивать истину. Сам я породы
Царской, весьма на земле знаменитой; отец мой из дома
Древних воинственных Бубликов, царь Долгохвост
Иринарий
Третий; владеет пятью чердаками, наследием славных
Предков, но область свою он сам расширил войнами:
Три подполья, один амбар и две трети ветчинни
Он покорил, победивши соседних царей; а в супруги
Взявши царевну Прасковью-Пискунью белую шкурку,
Целый овин получил он за нею в приданое. В свете
Нет подобного царства. Я сын царя Долгохвоста,
Петр Долгохвост, по прозванию *Хват*. Был я воспитан
В нашем столичном подполье премудрым Онуфрием
крысой.
Мастер я рыться в муке, таскать орехи; вскребаюсь
В сыр и множество книг уж изгрыз, любя просвещенье.
Хватом же прозван я вот за какое смелое дело:
Раз случилось, что множество нас, молодых мышенятоқ,
Бегало по полю взапуски; я как шальной, раззадорясь,
Вспрыгнул с разбегу на льва, отдыхавшего в поле, и
в пышной
Гриве запутался; лев проснулся и лапой огромной

Стиснул меня; я подумал, что буду раздавлен, как мошка.
С духом собравшись, я высунул нос из-под лапы;
«Лев-государь, — ему я сказал, — мне и в мысль
не входило
Милость твою оскорбить; пощади, не губи; неровён час,
Сам я тебе пригожуся». Лев улыбнулся (конечно,
Он уж покушать успел) и сказал мне: «Ты, вижу,
забавник.
Льву услужить ты задумал. Добро, мы посмотрим, какую
Милость окажешь ты нам? Ступай». Тогда он раздвинул
Лапу; а я давай бог ноги; но вот что случилось:
Дня не прошло, как все мы испуганы были в подпольях
Наших львиным рыканьем: смутилась, как будто от бури,
Вся сторона; я не струсил; выбежал в поле и что же
В поле увидел? Царь Лев, запутавшись в крепких тенетах,
Мечется, бьется как бешеный; кровью глаза налилися,
Лапами рвет он веревки, зубами грызет их; и было
Всё то напрасно; лишь боле себя он запутывал. «Видишь,
Лев-государь, — сказал я ему, — что и я пригодился.
Будь спокоен: в минуту тебя мы избавим». И тотчас
Созвал я дюжину ловких мышат; принялись мы работать
Зубом; узлы перегрызли тенет, и Лев распутлялся.
Важно кивнув головою косматой и нас допустивши
К царской лапе своей, он гриву расправил, ударил
Сильным хвостом по бедрам и в три прыжка очутился
В ближнем лесу, где вмиг и пропал. По этому делу
Прозван я *Хватом,* и славу свою поддержать я стараюсь;
Страшного нет для меня ничего; я знаю, что смелым
Бог владеет. Но должно, однако, признаться, что всюду
Здесь мы встречаем опасность; так бог уж землю устроил.
Всё здесь воюет: с травою Овца, с Овцою голодный
Волк, Собака с Волком, с Собакой Медведь, а с
Медведем
Лев; Человек же и Льва, и Медведя, и всех побеждает.
Так и у нас, отважных Мышей, есть много опасных,
Сильных гонителей: Совы, Ласточки, Кошки, а всех их
Злее козни людские. И тяжко подчас нам приходит.
Я, однако, спокоен; я помню, что мне мой наставник
Мудрый, крыса Онуфрий, твердил: беды нас смиренью
Учат. С верой такою ничто не беда. Я доволен
Тем, что имею: счастию рад, а в несчастьи не хмурюсь».
Царь Квакун со вниманием слушал Петра Долгохвоста.

«Гость дорогой, — сказал он ему, — признаюсь
откровенно:
Столь разумные речи меня в изумленье приводят.
Мудрость такая в такие цветущие лета! Мне сладко
Слушать тебя: и приятность и польза! Теперь опиши мне
То, что случалось когда с мышиным вашим народом,
Что от врагов вы терпели и с кем когда воевали». —
«Должен я прежде о том рассказать, какие нам козни
Строит наш хитрый двуногий злодей, Человек.
Он ужасно
Жаден; он хочет всю землю заграбить один, и с Мышами
В вечной вражде. Не исчислить всех выдумок хитрых,
какими
Наше он племя избыть замышляет. Вот, например, он
Домик затеял построить: два входа, широкий и узкий;
Узкий заделан решеткой, широкий с подъемною дверью.
Домик он этот поставил у самого входа в подполье.
Нам же сдуру на мысли взбрело, что, поладить
С нами желая, для нас учредил он гостиницу. Жирный
Кус ветчины там висел и манил нас; вот целый десяток
Смелых охотников вызвались: в домик забраться, без
платы
В нем отобедать и верные вести принесть нам.
Входят они, но только что начали дружно висячий
Кус ветчины тормошить, как подъемная дверь
с превеликим
Стуком упала и всех их захлопнула. Тут поразило
Страшное зрелище нас: увидели мы, как злодеи
Наших героев таскали за хвост и в воду бросали.
Все они пали жертвой любви к ветчине и к отчизне.
Было нечто и хуже. Двуногий злодей наготовил
Множество вкусных для нас пирожков и расклал их,
Словно как добрый, по всем закоулкам; народ наш
Очень доверчив и ветрен; мы лакомки; бросилась жадно
Вся молодежь на добычу. Но что же случилось? Об этом
Вспомнить — мороз подирает по коже! Открылся
в подполье
Мор: отравой злодей угостил нас. Как будто шальные
С пиру пришли удальцы: глаза навыкат, разинув
Рты, умирая от жажды, взад и вперед по подполью
Бегали с писком они, родных, друзей и знакомых
Боле не зная в лицо; наконец, утомясь, обессилев,

Все попадали мертвые лапками вверх; запустела
Целая область от этой беды; от ужасного смрада
Трупов ушли мы в другое подполье, и край наш родимый
Надолго был обезмышен. Но главное бедствие наше
Ныне в том, что губитель двуногий крепко сдружился,
Нам ко вреду, с сибирским котом, Федотом Мурлыкой.
Кошачий род давно враждует с мышиным. Но этот
Хитрый котище Федот Мурлыка для нас наказанье
Божие. Вот как я с ним познакомился. Глупым мышонком
Был я еще и не знал ничего. И мне захотелось
Высунуть нос из подполья. Но мать царица Прасковья
С крысой Онуфрием крепко-накрепко мне запретили
Норку мою покидать; но я не послушался, в щелку
Выглянул: вижу камнем выстланный двор; освещало
Солнце его, и окна огромного дома светились;
Птицы летали и пели. Глаза у меня разбежались.
Выйти не смея, смотрю я из щелки и вижу, на дальнем
Крае двора зверок усастый, сизая шкурка,
Розовый нос, зеленые глазки, пушистые уши,
Тихо сидит и за птичками смотрит; а хвостик, как змейка,
Так и виляет. Потом он своею бархатной лапкой
Начал усастое рыльце себе умывать. Облилося
Радостью сердце мое, и я уж сбирался покинуть
Щелку, чтоб с милым зверком познакомиться. Вдруг зашумело
Что-то вблизи; оглянувшись, так я и обмер. Какой-то
Страшный урод ко мне подходил; широко шагая,
Черные ноги свои подымал он, и когти кривые
С острыми шпорами были на них; на уродливой шее
Длинные косы висели змеями; нос крючковатый;
Под носом трясся какой-то мохнатый мешок, и как будто
Красный с зубчатой верхушкой колпак, с головы перегнувшись,
По носу бился, а сзади какие-то длинные крючья,
Разного цвета, торчали снопом. Не успел я от страха
В память прийти, как с обоих боков поднялись у урода
Словно как парусы, начали хлопать, и он, раздвоивши
Острый нос свой, так заорал, что меня как дубиной
Треснуло. Как прибежал я назад в подполье, не помню.
Крыса Онуфрий, услышав о том, что случилось со мною,

Так и ахнул. «Тебя помиловал бог, — он сказал мне, —
Свечку ты должен поставить уроду, который так кстати
Криком своим тебя испугал; ведь это наш добрый
Сторож петух; он горлан и с своими большой забияка;
Нам же, мышам, он приносит и пользу: когда
закричит он,
Знаем мы все, что проснулися наши враги; а приятель,
Так обольстивший тебя своей лицемерною харей,
Был не иной кто, как наш злодей записной, объедало
Кот Мурлыка; хорош бы ты был, когда бы с знакомством
К этому плуту подъехал: тебя б он порядком погладил
Бархатной лапкой своею; будь же вперед осторожен».
Долго рассказывать мне об этом проклятом Мурлыке;
Каждый день от него у нас недочет. Расскажу я
Только то, что случилось недавно. Разнесся в подполье
Слух, что Мурлыку повесили. Наши лазутчики сами
Видели это глазами своими. Вскружилось подполье;
Шум, беготня, пискотня, скаканье, кувырканье, пляска, —
Словом, мы все одурели, и сам мой Онуфрий премудрый
С радости так напился, что подрался с царицей и в драке
Хвост у нее откусил, за что был и высечен больно.
Что же случилось потом? Не разведавши дела порядком,
Вздумали мы кота погребать, и надгробное слово
Тотчас поспело. Его сочинил поэт наш подпольный
Клим, по прозванию Бешеный Хвост; такое прозванье
Дали ему за то, что, стихи читая, всегда он
В меру вилял хвостом, и хвост, как маятник, стукал.
Всё изготовив, отправились мы на поминки к Мурлыке;
Вылезло множество нас из подполья; глядим мы,
и вправду
Кот Мурлыка в ветчинне висит на бревне, и повешен
За ноги, мордою вниз; оскалены зубы; как палка,
Вытянут весь; и спина, и хвост, и передние лапы
Словно как мерзлые; оба глаза глядят не моргая.
Все запищали мы хором: «Повешен Мурлыка, повешен
Кот окаянный; довольно ты, кот, погулял; погуляем
Нынче и мы». И шесть смельчаков тотчас взобралися
Вверх по бревну, чтоб Мурлыкины лапы распутать,
но лапы
Сами держались, когтями вцепившись в бревно; а веревки
Не было там никакой, и лишь только к ним прикоснулись
Наши ребята, как вдруг распустилися когти, и на пол

Хлопнулся кот, как мешок. Мы все по углам разбежались
В страхе и смотрим, что будет. Мурлыка лежит и не дышит,
Ус не тронется, глаз не моргнет; мертвец, да и только.
Вот, ободрясь, из углов мы к нему подступать понемногу
Начали; кто посмелее, тот дернет за хвост, да и тягу
Даст от него; тот лапкой ему погрозит; тот подразнит
Сзади его языком; а кто еще посмелее,
Тот, подкравшись, хвостом в носу у него пощекочет.
Кот ни с места, как пень. «Берегитесь, — тогда нам сказала
Старая мышь Степанида, которой Мурлыкины когти
Были знакомы (у ней он весь зад ободрал, и насилу
Как-то она от него уплела), — берегитесь: Мурлыка
Старый мошенник; ведь он висел без веревки, а это
Знак недобрый; и шкурка цела у него». То услыша,
Громко мы все засмеялись. «Смейтесь, чтоб после не плакать, —
Мышь Степанида сказала опять, — а я не товарищ
Вам». И поспешно, созвав мышеняток своих, убралася
С ними в подполье она. А мы принялись как шальные
Прыгать, скакать и кота тормошить. Наконец, поуставши,
Все мы уселись в кружок перед мордой его, и поэт наш
Клим, по прозванию Бешеный Хвост, на Мурлыкино пузо
Взлезши, начал оттуда читать нам надгробное слово,
Мы же при каждом стихе хохотать. И вот что прочел он:
«Жил Мурлыка; был Мурлыка кот сибирский,
Рост богатырский, сизая шкурка, усы как у турка;
Был он бешен, на краже помешан, за то и повешен,
Радуйся, наше подполье! ..» Но только успел проповедник
Это слово промолвить, как вдруг наш покойник очнулся.
Мы бежать... Куда ты! пошла ужасная травля.
Двадцать из нас осталось на месте; а раненых втрое
Более было. Тот воротился с ободранным пузом,
Тот без уха, другой с отъеденной мордой; иному
Хвост был оторван; у многих так страшно искусаны были
Спины, что шкурки мотались, как тряпки; царицу Прасковью

Чуть успели в нору уволочь за задние лапки;
Царь Иринарий спасся с рубцом на носу; но премудрый
Крыса Онуфрий с Климом-поэтом достались Мурлыке
Прежде других на обед. Так кончился пир наш бедою».

. . . .

24 августа — 22 сентября 1831

КОТ В САПОГАХ

Жил мельник. Жил он, жил и умер,
Оставивши своим трем сыновьям
В наследство мельницу, осла, кота
И... только. Мельницу взял старший сын,
Осла взял средний; а меньшому дали
Кота. И был он крепко недоволен
Своим участком. «Братья, — рассуждал он, —
Сложившись, будут без нужды; а я,
Изжаривши кота, и съев, и сделав
Из шкурки муфту, чем потом начну
Хлеб добывать насущный?» Так он вслух,
С самим собою рассуждая, думал;
А Кот, тогда лежавший на печурке,
Разумное подслушав рассужденье,
Сказал ему: «Хозяин, не печалься;
Дай мне мешок да сапоги, чтоб мог я
Ходить за дичью по болоту — сам
Тогда увидишь, что не так-то беден
Участок твой». Хотя и не совсем
Был убежден Котом своим хозяин,
Но уж не раз случалось замечать
Ему, как этот Кот искусно вел
Войну против мышей и крыс, какие
Выдумывал он хитрости и как
То, мертвым притворясь, висел на лапах
Вниз головой, то пудрился мукой,
То прятался в трубу, то под кадушкой
Лежал, свернувшись в ком; а потому
И слов Кота не пропустил он мимо
Ушей. И подлинно, когда он дал
Коту мешок и нарядил его

В большие сапоги, на шею Кот
Мешок надел и вышел на охоту
В такое место, где, он ведал, много
Водилось кроликов. В мешок насыпав
Трухи, его на землю положил он;
А сам вблизи как мертвый растянулся
И терпеливо ждал, чтобы какой невинный,
Неопытный в науке жизни кролик
Пожаловал к мешку покушать сладкой
Трухи; и он недолго ждал; как раз
Перед мешком его явился глупый,
Вертлявый, долгоухий кролик; он
Мешок понюхал, поморгал ноздрями,
Потом и влез в мешок; а Кот проворно
Мешок стянул снурком и без дальнейших
Приветствий гостя угостил по-свойски.
Победою довольный, во дворец
Пошел он к королю и приказал,
Чтобы о нем немедля доложили.
Велел ввести Кота в свой кабинет
Король. Вошед, он поклонился в пояс;
Потом сказал, потупив морду в землю:
«Я кролика, великий государь,
От моего принес вам господина,
Маркиза Карабаса (так он вздумал
Назвать хозяина); имеет честь
Он вашему величеству свое
Глубокое почтенье изъявить
И просит вас принять его гостинец». —
«Скажи маркизу, — отвечал король, —
Что я его благодарю и что
Я очень им доволен». Королю
Откланявшись, Кот пошел домой;
Когда ж он шел через дворец, то все
Вставали перед ним и жали лапу
Ему с улыбкой, потому что он
Был в кабинете принят королем
И с ним наедине (и уж конечно
О государственных делах) так долго
Беседовал; а Кот был так учтив,
Так обходителен, что все дивились
И думали, что жизнь свою провел

Он в лучшем обществе. Спустя немного
Отправился опять на ловлю Кот,
В густую рожь засел с своим мешком
И там поймал двух жирных перепелок.
И их немедленно он к королю,
Как прежде кролика, отнес в гостинец
От своего маркиза Карабаса.
Охотник был король до перепелок;
Опять позвать велел он в кабинет
Кота и, перепелок сам принявши,
Благодарить маркиза Карабаса
Велел особенно. И так наш Кот
Недели три-четыре к королю
От имени маркиза Карабаса
Носил и кроликов и перепелок.
Вот он однажды сведал, что король
Сбирается прогуливаться в поле
С своею дочерью (а дочь была
Красавица, какой другой на свете
Никто не видывал) и что они
Поедут берегом реки. И он,
К хозяину поспешно прибежав,
Ему сказал: «Когда теперь меня
Послушаешься ты, то будешь разом
И счастлив и богат; вся хитрость в том,
Чтоб ты сейчас пошел купаться в ре́ку;
Что будет после, знаю я; а ты
Сиди себе в воде, да полоскайся,
Да ни о чем не хлопочи». Такой
Совет принять маркизу Карабасу
Нетрудно было; день был жаркий; он
С охотою отправился к реке,
Влез в воду и сидел в воде по горло.
А в это время был король уж близко.
Вдруг начал Кот кричать: «Разбой! разбой!
Сюда, народ!» — «Что сделалось?» —
подъехав,
Спросил король. «Маркиза Карабаса
Ограбили и бросили в реку;
Он тонет». Тут, по слову короля,
С ним бывшие придворные чины
Все кинулись ловить в воде маркиза.

А королю Кот на́ ухо шепнул:
«Я должен вашему величеству донесть,
Что бедный мой маркиз совсем раздет;
Разбойники всё платье унесли»
(А платье сам, мошенник, спрятал в куст).
Король велел, чтобы один из бывших
С ним государственных министров снял
С себя мундир и дал его маркизу.
Министр тотчас разделся за кустом;
Маркиза же в его мундир одели,
И Кот его представил королю;
И королем был ласково он принят.
А так как он красавец был собою,
То и совсем не мудрено, что скоро
И дочери прекрасной королевской
Понравился; богатый же мундир
(Хотя на нем и не совсем в обтяжку
Сидел он, потому что брюхо было
У королевского министра) вид
Ему отличный придавал — короче,
Маркиз понравился; и сесть с собой
В коляску пригласил его король;
А сметливый наш Кот во все лопатки
Вперед бежать пустился. Вот увидел
Он на лугу широком косарей,
Сбиравших сено. Кот им закричал:
«Король проедет здесь; и если вы
Ему не скажете, что этот луг
Принадлежит маркизу Карабасу,
То он вас всех прикажет изрубить
На мелкие куски». Король, проехав,
Спросил: «Кому такой прекрасный луг
Принадлежит?» — «Маркизу Карабасу», —
Все закричали разом косари
(В такой их страх привел проворный Кот).
«Богатые луга у вас, маркиз», —
Король заметил. А маркиз, смиренный
Принявши вид, ответствовал: «Луга
Изрядные». Тем временем поспешно
Вперед ушедший Кот увидел в поле
Жнецов: они в снопы вязали рожь.
«Жнецы, — сказал он, — едет близко наш

Король. Он спросит вас: чья рожь? И если
Не скажете ему вы, что она
Принадлежит маркизу Карабасу,
То он вас всех прикажет изрубить
На мелкие куски». Король проехал.
«Кому принадлежит здесь поле?» — он
Спросил жнецов. «Маркизу Карабасу», —
Жнецы ему с поклоном отвечали.
Король опять сказал: «Маркиз, у вас
Богатые поля». Маркиз на то
Попрежнему ответствовал смиренно:
«Изрядные». А Кот бежал вперед
И встречных всех учил, как королю
Им отвечать. Король был поражен
Богатствами маркиза Карабаса.
Вот наконец в великолепный замок
Кот прибежал. В том замке людоед
Волшебник жил, и Кот о нем уж знал
Всю подноготную; в минуту он
Смекнул, что делать: в замок смело
Вошед, он попросил у людоеда
Аудиенции; и людоед,
Приняв его, спросил: «Какую нужду
Вы, Кот, во мне имеете?» На это
Кот отвечал: «Почтенный людоед,
Давно слух носится, что будто вы
Умеете во всякий превращаться,
Какой задумаете, вид; хотел бы
Узнать я, подлинно ль такая мудрость
Дана вам?» — «Это правда; сами, Кот,
Увидите». И мигом он явился
Ужасным львом с густой, косматой гривой
И острыми зубами. Кот при этом
Так струсил, что (хоть был и в сапогах)
В один прыжок под кровлей очутился.
А людоед, захохотавши, принял
Свой прежний вид и попросил Кота
К нему сойти. Спустившись с кровли, Кот
Сказал: «Хотелось бы, однако, знать мне,
Вы можете ль и в маленького зверя,
Вот, например, в мышонка, превратиться?» —
«Могу, — сказал с усмешкой людоед. —

Что ж тут мудреного?» И он явился
Вдруг маленьким мышонком. Кот того
И ждал; он разом: цап! и съел мышонка.
Король тем временем подъехал к замку,
Остановился и хотел узнать,
Чей был он. Кот же, рассчитавшись
С его владельцем, ждал уж у ворот,
И в пояс кланялся, и говорил:
«Не будет ли угодно, государь,
Пожаловать на перепутьи в замок
К маркизу Карабасу?» — «Как, маркиз, —
Спросил король, — и этот замок вам же
Принадлежит? Признаться, удивляюсь;
И будет мне приятно побывать в нем».
И приказал король своей коляске
К крыльцу подъехать; вышел из коляски;
Принцессе ж руку предложил маркиз;
И все пошли по лестнице высокой
В покои. Там в пространной галерее
Был стол накрыт и полдник приготовлен
(На этот полдник людоед позвал
Приятелей, но те, узнав, что в замке
Король был, не вошли, и все домой
Отправились). И, сев за стол роскошный,
Король велел маркизу сесть меж ним
И дочерью; и стали пировать.
Когда же в голове у короля
Вино позашумело, он маркизу
Сказал: «Хотите ли, маркиз, чтоб дочь
Мою за вас я выдал?» Честь такую
С неимоверной радостию принял
Маркиз. И свадьбу вмиг сыграли. Кот
Остался при дворе, и был в чины
Произведен, и в бархатных являлся
В дни табельные сапогах. Он бросил
Ловить мышей, а если и ловил,
То это для того, чтобы немного
Себя развлечь и сплин, который нажил
Под старость при дворе, воспоминаньем
О светлых днях минувшего рассеять.

22—23 марта 1845

ПРИМЕЧАНИЯ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Предлагаемое собрание стихотворных произведений В. А. Жуковского ставит своей целью дать наиболее существенные и характерные из произведений поэта, представить читателю его художественный облик в историческом развитии, по возможности всесторонним и целостным образом. Размер издания заставил, однако, отказаться от включения в сборник некоторых значительных произведений, преимущественно большого размера. Таким образом, за пределами тома остались:

Трагедия «Орлеанская дева» (1821); поэмы и повести: «Красный карбункул» (1816), «Цеикс и Гальциона» (1819), «Пери и ангел» (1821), «Сид», «Неожиданное свидание», «Сражение с змеем», «Суд божий» (1831), «Рустем и Зораб» (1844—1847) и, наконец, перевод «Одиссеи» (1842—1848). Из числа сказок не помещены: «Тюльпанное дерево» и «Сказка о Иване-царевиче и сером волке» — обе 1845 года. Из баллад не вошли в сборник «Эльвина и Эдвин» (1814), а также «Покаяние», «Королева Урака и пять мучеников», «Доника» (1829) и «Братоубийца» (1833).

Что касается стихотворений, то и из их числа неизбежно пришлось исключить несколько значительных вещей: послания к Блудову (1810), к Батюшкову (1812), к Тургеневу, к Вяземскому (1814), идиллии Гебеля «Утренняя звезда» (1818) и «Воскресное утро в деревне» (1836) и др.; не вошли в издание почти все ранние переводы басен из Лафонтена и Флориана (1806—1807), некоторые из эпиграмм того же времени, ряд стихотворений интимно-дружеского характера. Не введены и почти все многочисленные стихотворения, связанные с придворной жизнью и службой Жуковского, что не является ущербом для характеристики творческого пути поэта, так же как и исключение религиозно-дидактических поэм и повестей, написанных Жуковским в конце жизни. С другой стороны, введены некоторые из ранних стихотворений Жуковского 1797—1805 годов, характерных для начальных этапов его творческого развития от классицизма к сентиментализму.

Построение сборника принято жанровое, по четырем разделам — стихотворения, баллады, поэмы и повести, сказки. Внутри каждого раздела произведения располагаются в хронологическом

порядке, насколько хронология их, в ряде случаев у Жуковского весьма неясная, может быть определена; в этом отношении большая работа проделана Ц. Вольпе, и наша проверка датировок по рукописям и другим источникам внесла сравнительно немного уточнений и поправок.

Даты произведений установлены по обозначениям самого Жуковского, по данным рукописей, первым публикациям и другим источникам. Предположительные даты сопровождаются вопросительным знаком. В угловые скобки заключены даты, *не позднее* которых, по имеющимся данным, могло быть написано произведение.

Что касается текста произведений Жуковского, то в большинстве случаев его установление не представляет значительных трудностей. В основу его кладется текст 5-го, последнего прижизненного издания (1849), подготовленного, повидимому, самим Жуковским. Свои ранние произведения и даже произведения 20-х годов Жуковский не раз перерабатывал; издание 1849 года является выражением его последней авторской воли. Те довольно многочисленные стихотворения, которые не вошли в 5-е издание, но были напечатаны при жизни Жуковского, даются по журнальным публикациям или по тексту предыдущих (I—IV) изданий. Произведения, не напечатанные при жизни поэта, даются по автографам или авторитетнейшим копиям из бумаг Жуковского, хранящихся преимущественно в Гос. Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (ГПБ) и описанных И. А. Бычковым в приложении к отчету библиотеки за 1884 год (Б) [1] и в Институте Русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский Дом) (ПД). [2] В некоторых, немногих, случаях текст опирается на авторитетные посмертные публикации. Источники текста указываются в примечаниях; там, где они не указаны, источником является 5-е издание 1849 года, с устранением его опечаток.

Орфография и пунктуация текстов приведены в основном к современным нормам.

В некоторых случаях, в отступление от указанного принципа, сохраняется разнобой, имеющийся у Жуковского в написании отдельных слов (елень и олень, олтарь и алтарь и т. п.), так как этот разнобой отражает изменения в стилистической системе автора.

Фамилия Жуковского везде в примечаниях обозначается сокращенно: Ж.

Иноязычные заглавия произведений, переводившихся Жуковским, в случаях полного их соответствия заглавиям в русском тексте (напр. «Erlkönig» — «Лесной царь»), даются без перевода на русский язык.

---

[1] Бумаги В. А. Жуковского, поступившие в имп. Публичную библиотеку в 1884 году. Разобраны и описаны Иваном Бычковым. СПб., 1887, 199 стр.

[2] Принятые нами в примечаниях сиглы (буквенные обозначения — см. стр. 833) введены в изд. Стихотворений Жуковского под ред. Ц. Вольпе; мы их сохраняем для удобства пользования изданиями.

ПРИМЕЧАНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Майское утро (стр. 53). Впервые — в журн. «Приятное и полезное препровождение времени», 1797, ч. XVI, стр. 286—288. В изд. С, I—V и V-п не вошло. Стихотворение является первым произведением Ж., появившимся в печати. Помещаемая в изданиях Ефремова и Архангельского на первом месте «Ода, благоденствие России, устрояемое великим ее самодержцем Павлом Первым» прочитана была на акте Университетского Благородного пансиона 19 декабря 1797 года, написана, повидимому, перед самым актом, а напечатана позднее «Майского утра».

Добродетель («От света светов луч излился») (стр. 55). Впервые — в изд. «Речь, разговор и стихи, читанные на публичном акте, бывшем в Университетском Благородном пансионе декабря 22 дня 1798 года», М., 1798. В изд. С, I—V и V-п не вошло. В изображении «яростного раздора» и «овеянного бурей века железного» Ж. отзывается на события французской буржуазной революции 1789 года. В последней строфе — обращение к товарищам по пансиону, перефразирующее слова Ломоносова в оде 1747 года.

Стихи на новый, 1800 год (стр. 57). Впервые — «Московские ведомости», 1800, № 1, 4 января. В изд. С, I—V и V-п не вошло.

К Тибуллу, на прошедший век (стр. 58). Впервые — в сборн. «Утренняя заря. Труды воспитанников Университетского Благородного пансиона», М., 1800, кн. I, стр. 16—17. В изд. С, I—V и V-п не вошло. Стихотворение написано под сильным влиянием од Державина, в частности оды «На смерть кн. Мещерского».

Мир (стр. 59). Впервые — в изд. «Речь, разговор и стихи, читанные на публичном акте, бывшем в Университетском Благородном пансионе декабря 22 дня 1800 года», М., 1800. Перепечатано с изменениями и с пропуском 7-й строфы в сборн. «Утренняя заря»,

кн. II, М., 1803, стр. 84—91. В изд. С, I—V и V-п не вошло. Печатается по тексту «Утренней зари». Стихотворение, написанное в конце 1800 года, отражает недавнее окончание войны России с Францией 1799 года. *Пифийский поэт* — Пиндар, знаменитый древнегреческий лирик (ок. 522—442 до н. э.).

Герой (стр. 62). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано Архангельским в Полн. собр. соч. Ж., т. I, СПб., 1902, стр. 10—11, по копии, сделанной неизвестной рукой, в рукописи ГПБ (Б. № 12, л. 1—4 — см. «Отчет имп. Публичной библиотеки за 1884 год». СПб., 1887, Приложение, стр. 17—18). Печатаем по этой рукописи. Стихотворение повторяет мысли, выраженные в прозаической статье Ж. «Истинный герой» («Утренняя заря», 1800, кн. I, стр. 160—162): военная слава — слава ложная, недостойная памяти потомства; подлинными героями являются не завоеватели, но деятели, прославленные заботами о мире. *Тит* (71—81 н. э.), *Антонин* Пий (138—161 н. э.), *Адриан* (117—138 н. э.) — римские императоры; *Александр* — Македонский (356—322 до н. э.).

Сельское кладбище (стр. 66). Впервые — «Вестник Европы», 1802, № 24, декабрь, стр. 319—325, под заглавием «Сельское кладбище, Греева элегия, переведенная с английского (Переводчик посвящает А. И. Т—у <Андрею Ивановичу Тургеневу>)». Вошло в С, I—V. За год до этой редакции, в 1801 году, Ж. написал другое (неоконченное) переложение «Сельского кладбища», оставшееся в рукописи (Б, № 12, л. 5—6); оно опубликовано Архангельским в Полн. собр. соч. Ж., т. I, СПб., 1902, стр. 13—15, точнее — Вольпе, т. I, 1939, стр. 334—337. По совету Н. М. Карамзина, бывшего тогда редактором-издателем «Вестника Европы», Ж. в 1802 году переработал элегию, и эта вторая редакция была напечатана в «Вестнике Европы». Здесь печатается редакция 1802 года по С, V. Впоследствии, в 1839 году, Ж. написал третью редакцию стихотворения (см. стр. 264). Перевод прославленной элегии английского поэта-сентименталиста Томаса Грея (Thomas Gray, 1716—1771) «Elegy written in a Country Churchyard» («Элегия, написанная на сельском кладбище»), переведенной на все европейские языки (в том числе и на русский — неоднократно, еще до Ж.) и ставшей одним из первых и основных произведений сентиментальной лирической поэзии. К ст. *Лишь слышится вдали рогов унылый звон* в «Вестнике Европы» сделано примечание: «В Англии привязывают колокольчики к рогам баранов и коров». *Гампден* (т. е. Гемпден, ум. 1643) — один из главных деятелей английской революции XVII века на первых ее этапах; *Кромвель* (1599—1658) — вождь английской революционной буржуазии в ее борьбе против короля и аристократии; *Мильтон* (1608—1674) — знаменитый поэт и публицист, автор поэмы «Потерянный рай» и политических памфлетов в защиту республики и свободы печати.

Стихи, сочиненные в день моего рождения. К моей лире и к друзьям моим (стр. 70). Впервые — в сборн. «Утренняя заря», кн. II, М., 1803, стр. 169—171. В изд. С, I—V и V-п не вошло.

К поэзии (стр. 71). Впервые — в изд. «Речь, разговор и стихи, читанные на публичном акте, бывшем в Университетском Благородном пансионе декабря 21 дня 1804 года», М., 1804, стр. 15—17. Перепечатано в сборн. «Утренняя заря», кн. III, М., 1805, стр. 91—94. В изд. С, I—V и V-п не вошло.

Дружба (стр. 73). Впервые — в С, I, 1815. Вошло в С, II—V, причем в С, V отнесено к 1805 году. *Перунами* — молнией.

Опустевшая деревня (стр. 73). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано Архангельским в Полн. собр. соч. Ж., т. I, 1902, стр. 22—24, по автографам ГПБ: беловому (Б, № 14, л. 23_2—24) и перебеленному (Б, № 12, л. 47_2). Мы печатаем по тем же рукописям. Стихотворение — вольный перевод отрывка поэмы английского писателя Оливера Гольдсмита (Oliver Goldsmith, 1728—1774) «Deserted village» («Покинутая деревня», 1770). Из 430 стихов поэмы Ж. переложил 103, передав их 116-ю стихами. (Сличение текстов Гольдсмита и Ж. и расшифровку черновых автографов стихотворения см. у В. И. Резанова «Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского», вып. II, Пг., 1916, стр. 302—316.) Ол. Гольдсмит известен более всего как автор романа «Векфильдский священник» (1766) — классического произведения английского раннего реализма. Переложенное Ж. стихотворение «Покинутая деревня» изображает явление, характерное для Англии XVII—XVIII веков: деревню, подвергшуюся так наз. «огораживанию», т. е. изгнанию крестьян-собственников, лишенных земли лендлордом, использующим опустелую землю под пастбища для овец и охотничьи дачи. Согнанные с земли крестьяне становились бродягами или поступали на мануфактуры.

Сафина ода (стр. 76). Впервые — «Вестник Европы», 1807, № 5, март, стр. 44. В прижизненные С не вошло. Включено в С., V-п, т. XII, стр. 19—20. В автографах Ж. (ГПБ) ода не раз перерабатывалась. В черновом автографе (Б, № 13, л. 22) она озаглавлена «Ода Сафы к Фаону, 1806 году в мае»; в беловом (Б, № 14, л. 11) — «Ода Сафы к Фаону (перевод)». Печатаем по тексту «Вестника Европы». Вольный перевод знаменитой оды древнегреческой поэтессы Сафо, или Сапфо (VII—VI вв. до н. э.) — «Кажется мне равным богам тот муж...» и т. д., обращенной в подлиннике от женщины к женщине. Ода получила широкую известность в мировой и русской литературах (см. у В. И. Резанова «Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского», вып. II, Пг., 1916, стр. 354—361). *Фаон* (в рукописях) — юноша, которого полюбила Сафо и который явился причиной ее гибели. В греческом подлиннике ода к нему не относится.

Идиллия (стр. 77). Впервые — «Вестник Европы», 1807, № 5, март, стр. 44—45. Вошло в С, I—V, причем в С, V отнесено к 1805 году. В стихотворении частично использованы и переработаны некоторые мотивы стихотворения Шиллера «An Minna» («К Минне»). Сопоставление их см. у В. И. Резанова «Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского», вып. II, Пг., 1916, стр. 352—353.

Вечер (стр. 77). Впервые — «Вестник Европы», 1807, № 4. февраль, стр. 278—281, с пометою: «Белев. 1806 года. В июле». Вошло в С, I—V, причем в последнем — с ошибочным отнесением к 1805 году. Стихотворение Ж. посвящено воспоминаниям о друзьях молодости — братьях Тургеневых и других участниках «Дружеского литературного общества», собиравшегося в 1801—1802 годах. *Один — минутный цвет — почил* — Андрей Ив. Тургенев, умерший в 1803 году. *Другой... о небо правосудно!..* — С. Е. Родзянко, товарищ Ж. и Тургеневых по Университетскому Благородному пансиону, вскоре после окончания пансиона сошедший с ума. *Минвана, Альпин* — условные элегические имена, почерпнутые из оссиановских поэм Д. Макферсона и его подражателей. Строфы 6—8 (*Уж вечер... облаков померкнули края...* и т. д.) использованы П. И. Чайковским в опере «Пиковая дама» для дуэта Лизы и Полины.

Мартышки и лев (стр. 80). Впервые — «Вестник Европы», 1807, № 8, апрель, стр. 278—280. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 37—39. Вольный перевод басни французского романиста, поэта и баснописца Флориана (Jean-Pierre Florian, 1755—1794) «Les Singes et le Léopard» («Обезьяны и леопард»). Ж. перевел в 1806 году девять басен Флориана и напечатал их в «Вестнике Европы», 1807; кроме того, незаконченный текст 10-й басни остался в рукописи. Из этих басен помещаем две: первая из них — «Мартышки и лев» — имеет наиболее ярко выраженный политический смысл, и перевод ее отражает оппозиционные настроения передовых дворянских кругов 1800-х годов, к которым тогда был близок Ж.

Кот и зеркало (стр. 81). Впервые — «Вестник Европы», 1807, № 14, июль, стр. 98—99. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 51—52. Вольный перевод басни Флориана «Le chat et le miroir», замечательный легким разговорным стилем и употреблением народных оборотов, еще до введения их Крыловым в его басни.

Каплун и сокол (стр. 82). Впервые — «Вестник Европы», 1807, № 15, август, стр. 176—178. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 47—50. Вольный перевод басни французского поэта-баснописца Лафонтена (Jean de la Fontaine, 1621—1695) «Le Faucon et le Chapon» («Сокол и каплун», как названа басня и в черновой рукописи Ж. — Б, № 12, л. 35). Ж. перевел в октябре—ноябре 1806 года девять басен Лафонтена и напечатал их в «Вестнике Европы», 1807 (кроме того, неотделанные и незаконченные черновые тексты еще двух басен сохранились в рукописях). Из этих басен помещаем две, имеющие наиболее ярко выраженный социально-политический смысл.

Похороны львицы (стр. 84). Впервые — «Вестник Европы», 1807, № 11, июнь, стр. 189—192. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 53—56. Вольный перевод басни Лафонтена «Les obsèques de la Lionne».

Эпиграммы (стр. 85). Из числа 18 эпиграмм, написанных Ж. в октябре—ноябре 1806 года и частично напечатанных в «Вестнике Европы» 1807 года, помещаем 11 наиболее интересных. Источники бо́льшей части из них определены В. И. Резановым («Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского», вып. II, Пг., 1916, стр. 472—478).

1. «Ты драму, Фефил, написал?» Написано 18 октября 1806 года. Впервые — «Вестник Европы», 1807, № 4, февраль, стр. 263. В прижизненные С не вошло; включено в С, V-п, т. XII, стр. 11. Вольное переложение французской эпиграммы неизвестного автора «Certain Pradon, bâtard de Melpomène» («Некий Прадон, незаконный сын Мельпомены») из сборника «Élite de poësies fugitives» («Сборник мелких стихотворений»), Лондон, 1769, т. 1, стр. 110. Ж. вдвое сократил эпиграмму и заменил вялый рассказ живой диалогической формой.

2. Эпитафия лирическому поэту. Написано 19 октября 1806 года. Впервые — «Вестник Европы», 1807, № 12, июнь, стр. 279. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 17. Вольный перевод эпиграммы французского поэта эпохи классицизма Ж.-Б. Руссо (Jean-Baptiste Rousseau, 1671—1741 — «Ci-gît l'auteur d'un gros livre» («Здесь покоится автор толстой книги»). Ж. заменил нейтральную «книгу» *надутыми одами* (в рукописи вариант *без толку од певец* — прямой намек на сатиру И. И. Дмитриева «Чужой толк»), направив эпиграмму против представителей классицизма.

3. «С повязкой на глазах за шалости Фемида!» Написано 25 октября 1806 года. Впервые — «Вестник Европы», 1807, № 2, январь, стр. 122. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 9.

4. «Для Клима всё как дважды два!» Написано 25 октября 1806 года. Впервые — «Вестник Европы», 1807, № 4, февраль, стр. 263. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 10. Вольное переложение эпиграммы Ж.-Б. Руссо «Chrysologue toujours opine» («Хризолог <Златослов> всегда возражает») из сборника «Nouvelle Anthologie Françoise, ou Choix des Épigrammes et Madrigaux de tous les poètes François depuis Marot jusqu'à ce jour» («Новая французская антология, или Избранные эпиграммы и мадригалы всех французских поэтов от Маро до наших дней»), т. II, Париж, 1769. К слову *Мирамонд* в «Вестнике Европы» примечание: «Старинный русский роман» (Ф. А. Эмина, плодовитого автора XVIII века).

5. «Трим счастия искал ползком и тихомолком». Написано 25 октября 1806 года. Впервые — «Вестник Европы», 1807, № 6, март, стр. 116. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 8.

6. Новопожалованный. Написано 25 октября 1806 года. Впервые — «Вестник Европы», 1807, № 2, январь. стр. 123. В прижизненные С не вошло. Включено в С. V-п, т. XII, стр. 71. Эпиграмма в рукописях носит заглавие «Баварский король»; направлена против курфюрста баварского Максимилиана IV, получившего 1 января 1806 года от Наполеона титул короля Баварии, за что он обязался перед Наполеоном, от имени объединения западногерманских князей («Рейнского союза»), предоставить императорской армии 30 тысяч солдат. *Злодей* — Наполеон I.

7. «Румян французских штукатура». Написано 25 октября 1806 года. Впервые — «Вестник Европы», 1807, № 6, март, стр. 116. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 8. Переложение эпиграммы незначительного французского поэта Ж.-О. Гомбо (Jean-Ogier Gombaud, 1570—1666), из указанного выше сборника «Nouvelle Anthologie Françoise...» Написание ее Ж. и публикация зимою 1806—1807 года явились выражением той борьбы против французского влияния на дворянство, которую в то же время, в связи с войной против Наполеона, вел И. А. Крылов и другие патриотически настроенные писатели.

8. «Скажи, чтоб там потише были!» Написано 1 ноября 1806 года. При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано И А. Бычковым в приложении к «Отчету имп. Публичной библиотеки за 1884 год». СПб., 1887, стр. 32 (два первые стиха); полностью — Архангельским в Полн. собр. соч. Ж., т. I, СПб., 1902, стр. 39, по рукописям — Б, № 13, л 50² (копия рукою А. А. Протасовой-Воейковой) и Б, № 14, л. 29. Печатаем по тем же рукописям. Вольный перевод широко известной эпиграммы французского поэта-эпиграмматиста конца XVII — начала XVIII века Баратона (Baraton — имя, годы рождения и смерти неизвестны) из указанного выше сборника «Nouvelle Anthologie Françoise...».

9. Новый стихотворец и древность. Написано 1 ноября 1806 года. Впервые — «Вестник Европы», 1807, № 2, январь, стр. 122. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 5. Переложение эпиграммы французского поэта-эпиграмматиста Д'Асейи (Jacques de Cailly, псевд. Chevalier D'Aceilly, 1604—1673), из указанного выше сборника «Nouvelle Anthologie Françoise...».

10. «Барма, нашед Фому чуть жива, на отходе». Написано 1 ноября 1806 года. Впервые — «Вестник Европы», 1807, № 2, январь, стр. 121. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 9. Вольный перевод анонимной эпиграммы из указанного выше сборника «Nouvelle Anthologie Françoise...».

11. У нас в провинции наряднеи нет Любови!» Написано в ноябре (?) 1806 года. При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликован 1-й стих И. А. Бычковым в «Бумагах В. А. Жуковского» (приложение к «Отчету имп. Публичной библиотеки за 1884 год». СПб., 1887, стр. 32) по автографу — Б, № 14,

л. 18; полностью, по тому же автографу, но с искажениями — Архангельским (Полн. собр. соч. Ж., т. I, СПб.. 1902, стр. 38, № XI); точнее — В. И. Резановым («Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского», вып. II, Пг., 1916, стр. 475). Печатаем по тому же автографу.

Тоска по милом (стр. 88). Впервые — «Вестник Европы», 1808, № 2, январь, стр. 39—40, под заглавием «Романс». Вошло в С, I—V. Вольный перевод стихотворения Шиллера «Des Mädchens Klage» («Жалоба девушки»), первые две строфы которого вошли, в качестве песни Теклы, в III действие трагедии «Пикколомини» (вторая часть трилогии Шиллера «Валленштейн»). Ж. усилил черты печали, ушедшей любви и воспоминания о ней. Песня, положенная в России на музыку М. И. Глинкою, стала одним из популярных русских романсов.

К Филалету (стр. 89). Впервые — «Вестник Европы», 1809, № 4, февраль, стр. 284—288. Вошло в С, I—V, причем в С, V отнесено к 1807 году; в С, I—III послание имеет посвящение Александру И. Тургеневу, снятое в С, IV; некоторыми комментаторами относилось и к Д. Н. Блудову. Но послание написано в столь общих выражениях, свойственных элегической поэзии Ж. этого времени, что конкретный адресат не имеет существенного значения.

Песня («Мой друг, хранитель-ангел мой») (стр. 91). Впервые — «Вестник Европы», 1809, № 9, май, стр. 33—35, с подзаголовком «(На голос: Je t'aime tant, je t'aime tant)» («Я так люблю тебя; так люблю тебя») и с подписью «Апреля 1. N. N.». Вошло в С, I—V, причем в С, II датировано 1808, в С, V — 1809 годом. Переложение стихотворения Ф. Фабра д'Эглантина (Philippe-François-Nazaire Fabre d'Églantine, 1750—1794), французского поэта, драматурга и политического деятеля эпохи французской буржуазной революции, последователя Дантона, казненного по приговору Революционного трибунала. Песни его (в том числе и «Je t'aime tant») были популярны в конце XVIII — начале XIX века.

Моя богиня (стр. 92). Впервые — «Вестник Европы», 1809, № 17, сентябрь, стр. 31, с подзаголовком «(Подражание Гете) ◡ — ◡◡ — ◡◡». Вошло в С, I—V с некоторыми сокращениями. Вольное переложение стихотворения Гете «Meine Göttin» («Моя богиня», из цикла «Оды и гимны»). Ж. почти вдвое увеличил количество стихов (151 вместо 78 у Гете) за счет сокращения их длины и унификации размера и несколько изменил тон стихотворения, придав образу *богини-фантазии* (творческого воображения) сентиментально-меланхолические черты, которых нет в подлиннике Гете.

На смерть фельдмаршала графа Каменского (стр. 96). Впервые — «Вестник Европы», 1809, № 18, сентябрь, стр. 145—148, под заглавием «Мысли над гробом Каменского», в составе 14 строф. Вошло в С, I—III в составе 8 строф (1—7 и 14 первоначального текста), в С, IV—V в составе семи строф (без 14-й), причем в С, V ошибочно датировано 1808 годом. Стихотворе-

ние написано по случаю смерти генерал-фельдмаршала гр. М. Ф. Каменского (1738—1809), который был убит ударом топора своим крепостным 12 августа 1809 года, в лесу во время прогулки. Причиною убийства была жестокость Каменского по отношению к крепостным (Н. С. Лесков в рассказе «Тупейный художник» вспоминает про это убийство и замечает, что «графов Каменских известно три»: убитый фельдмаршал и его два сына — «и всех их орловские старожилы называли «неслыханными тиранами»). Отброшенные в изд. С строфы 8—14 (из которых последняя сохранялась в С, I—III) читаются так:

Но будь утешен, вождь! Не скорбный твой удел!
Он удивление рождать в умах достоин!
Пускай, среди полков, в бою, на пепле сел,
Перунами низринут воин!

Пусть гибнет, от других концом не отличен!..
Презренной гибелью судьба тебя почтила!
То новый для тебя трофей сооружен
Сия внезапная могила!

Рекла: будь им урок и самой смерти след
Сего, протекшего чрез мир стезею правой!
О вождь! для нас твой прах есть промысла завет:
Лишь доброю пленяться славой!

Приближься, брани сын, и в думу погрузись,
На гроб могущего склоняя взор унылый!
От праха замыслов смиренью научись!
Прими учение могилы:

«Кончина дней — лишь миг! убийцы ль топором
Сраженный, распростерт на прахе, без покрова,
В блистающий ли гроб, средь плесков, под венцом,
Сведен с престола золотого —

Коль пользы с славою в делах не различал, —
Твоих священных дел не тронет разрушенье!
Здесь рок Каменскому конец презренный дал
Живым лишь только в устрашенье!»

Так ты, мечтающий вращать земли судьбой;
На счастья высоте, страшись, непобедимый!
Пусть сонмы грозных сил ничто перед тобой!
Страшись — не дремлет враг незримый!

Этими строфами в известной мере уравнивались «топор разбойника презренный» и смерть полководца в бою, что могло быть понято как моральное оправдание убийства Каменского. Между тем в памяти читателей живы были события войны с Наполеоном 1806—1807 годов, когда Каменский, назначенный главнокомандующим, сомневаясь в исходе кампании, самовольно оставил свой пост

и, сказавшись больным, уехал из армии, чем вызвал общее возмущение. Поэтому похвалы Ж. звучали двусмысленно и могли вызвать «нежелательные» толкования. Возможность таких толкований и явилась, повидимому, причиной исключения в С 8—13 строф. Последняя же, 14 строфа относилась явным образом к Наполеону, предвещая ему неизбежную гибель. Она была отброшена лишь в С, IV (1835), когда судьба Наполеона давно свершилась.

Путешественник (стр. 97). Впервые — «Вестник Европы», 1810, № 4, февраль, стр. 288—289. Вошло в С, I—V, причем в С, I—II датировано 1809 годом, а в С, V — 1813-м. Вольный перевод стихотворения Шиллера «Der Pilgrim» («Странник»).

Песнь араба над могилою коня (стр. 98). Впервые — «Вестник Европы», 1810, № 7, апрель, стр. 190—192. Вошло в С, I—V, причем в С, I—II отнесено к 1810 году, в С, V — к 1809. Перевод стихотворения французского поэта, представителя позднего классицизма Шарля Мильвуа (Charles Millevoye, 1782—1816) «L'arabe au tombeau de son coursier» («Араб у могилы своего скакуна»). Последняя строфа отсутствует в подлиннике и добавлена Ж. Размер «Песни» использовали позднее Пушкин в «IX Подражании Корану» и Лермонтов в «Трех пальмах», сокращая при этом каждую строфу на одно, последнее двустишие.

На прославителя русских героев... (стр. 100). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано П. А. Висковатым в «Вестнике Европы», 1883, февраль, стр. 809, по неизвестной теперь рукописи, с отнесением приблизительно к 1810 году. Архангельский (Полн. собр. соч. Ж., т. I, СПб., 1902, стр. 39) присоединил эту эпиграмму к эпиграммам 1806 года, что явно ошибочно. Эпиграмма Ж. имеет в виду, ближайшим образом, поэму кн. С. А. Ширинского-Шихматова (1783—1837) — «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия» в трех песнях, СПб., 1807, а также и другие подобные произведения. Автор поэмы — впоследствии член «Беседы» Шишкова, убежденный сторонник классицизма и архаико-библейского стиля, которым написаны его поэмы — указанная выше и «Петр Великий» (1810). Сочинения Ширинского-Шихматова не раз служили предметом насмешек для противников классицизма, включая Пушкина, написавшего в Лицее эпиграмму на ту же поэму «Пожарский, Минин, Гермоген».

К ней (стр. 100). Впервые — в альманахе «Памятник отечественных муз, изданный на 1827 год Борисом Федоровым», СПб., 1827, стр. 12. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 209, под 1810 годом. Вольный перевод немецкой песни, ошибочно приписанной Шиллеру в С, VII П. А. Ефремовым (см. П. Загарин. «В. А. Жуковский и его произведения. 1783—1883», издание Льва Поливанова, М., 1883, стр. 119); автор песни неизвестен. По свидетельству К. К. Зейдлица («Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. 1783—1852. По неизданным источникам и личным воспоминаниям», изд. 2-е, СПб., 1883, стр. 47), стихотворение посвящено М. А. Протасовой, в портфеле которой оно было найдено после ее смерти.

Песня («О милый друг! теперь с тобою радость!») (стр. 101). Впервые — «Вестник Европы», 1813, № 7 и 8, апрель, стр. 196—197, под заглавием «К моему другу». Вошло в С. I—V, причем в оглавлении С, I—II помечено: «Подражание немецк<ому>». Переложение стихотворения второстепенного немецкого поэта-романтика Христофора-Августа Тидге (Tiedge, 1752—1841) «Vergiss mein nicht (An Arminia)» («Не позабудь меня. К Арминии»).

Желание. Романс (стр. 102). Впервые — «Вестник Европы», 1813, № 7 и 8, апрель, стр. 197—198. Вошло в С. I—V, причем в С. V датировано 1810 годом. Перевод стих. Шиллера «Sehnsucht» («Томление»), с некоторыми отступлениями, усиливающими мечтательный и сентиментальный тон стихотворения. Последнее четверостишие, в немецком подлиннике, взято эпиграфом ко второй части «Двенадцати спящих дев» — балладе «Вадим».

Певец (стр. 103). Впервые — «Вестник Европы», 1813, № 7 и 8, апрель, стр. 200—201. Вошло в С. I—V, причем в С. V ошибочно отнесено к 1810 году. В стихах 3-й строфы: *Он дружбу пел...* — имеется в виду смерть Андрея Ив. Тургенева. *Он пел любовь...* — говорится о любви Ж. к М. А. Протасовой. Отражением стих. Ж. является лицейское стихотворение Пушкина «Певец» (1816). В 1824—1825 годах, когда в декабристских кругах отношение к Ж. стало критическим (см. вступительную статью), была написана (повидимому, А. А. Бестужевым) эпиграмма, пародически использовавшая стих. «Певец»: «Из савана оделся он в ливрею... Бедный певец!» (см. А. А. Бестужев-Марлинский. Собрание стихотворений. «Библиотека поэта», большая серия. Подготовка текста Г. В. Прохорова, редакция и примечания Н. И. Мордовченко. Л., 1948, стр. 16 и 195—196).

Пловец (стр. 104). Впервые — «Вестник Европы», 1813, № 7 и 8, апрель, стр. 195—196. Вошло в С. I—V, причем в С. I—II отнесено к 1811, а в С. V — к 1813 году. По свидетельству К. К. Зейдлица («Жизнь и поэзия В. А. Жуковского», изд. 2-е, 1883, стр. 49—50), Ж. исполнял стих. «Пловец», положенное на музыку его знакомым А. А. Плещеевым, на семейном празднике 3 августа 1812 года в усадьбе Плещеевых Муратове (Орловской губ.). Е. А. Протасова справедливо увидела в стихотворении намеки на отношения Ж. к ее семье (три ангела — Е. А., М. А. и А. А. Протасовы) и принудила Ж. уехать из Муратова.

Песня матери над колыбелью сына (стр. 105). Впервые — «Вестник Европы», 1813, № 11 и 12, июнь, стр. 185—187. В С. I—V не вошло. Перепечатано Ефремовым в С. VII, т. I, стр. 303. Перевод стихотворения французского поэта-сентименталиста Арно Беркена (Arnaud Berquin, 1747—1791) «Plaintes d'une femme abandonnée par son amant» («Жалобы женщины, покинутой ее возлюбленным»). Беркен — автор идиллий, романсов и дидактических стихотворений, из которых особенно популярно переведенное Ж. стих. «Жалобы женщины»; известен также как детский писатель,

Мечты (стр. 107). Впервые — «Вестник Европы», 1813, № 14, июль. стр. 81—84. Вошло в С. I—V, причем в С, II датировано 1812 годом, а в С. V — 1810-м. Вольный перевод стихотворения Шиллера «Die Ideale» («Идеалы»). Ж. начал работать над ним еще в 1806 году (незаконченный отрывок перевода по рукописи ГПБ напечатан Архангельским, Полн. собр. соч. Ж., т. I. СПб., 1902. стр. 26—27). Следы этого раннего обращения к теме Шиллера сохранились и в позднейшей обработке. Переводя стихотворение, Ж. не только изменил заглавие, но изменил и философскую мысль Шиллера соответственно своим понятиям поэта-сентименталиста и мечтателя. Мотив успокоения в дружбе и труде, данный в последней строфе и характерный для Ж., отсутствует у Шиллера.

Певец во стане русских воинов (стр. 110). Впервые — «Вестник Европы», 1812, № 23 и 24, декабрь. стр. 176—196, с подзаголовком «(Писано после отдачи Москвы перед сражением при Тарутине)». Два отдельных издания СПб., 1813: первое — в Морской типографии и второе, исправленное, — в Медицинской типографии, с виньетом по мысли А. Н Оленина (рис. И. Иванов. грав М. Иванов) и с примечаниями Ж. и Д. В. Дашкова, сохраненными в последующих изданиях. Вошло в С, I—V, причем в С. V отнесено ошибочно к 1811 году. Стихотворение написано Ж. во время пребывания его в армии, в лагере у с. Тарутина, когда Москва была еще занята Наполеоном. На это указывает и примечание во втором отдельном издании 1813 года: «Автор писал эти стихи после отдачи Москвы, перед сражением при Тарутине, находясь в Московском ополчении». Стихотворение еще до напечатания, в рукописи, широко распространилось в армии и в обществе, заучивалось наизусть, и отдельные строфы его «прикреплялись», так сказать, к тем, кому они были посвящены. Затем Ж. не раз перерабатывал его, в зависимости от хода военных действий и от судьбы тех или иных названных им военачальников: одни характеристики расширялись, другие сокращались, введены были многие новые имена, а некоторые исключены. Окончательная редакция, печатаемая и нами, утвердилась, начиная с С. I (ч. I, 1815). Стихотворение, после вступительной строфы, начинается воззванием певца к *чадам древних лет* — славным историческим предкам. Первый из них *Святослав*, князь Киевский (945—972): «Древние летописи сохранили нам краткую, но сильную речь великого князя Святослава Игоревича к его воинам, на походе против греков: «Не посрамим земли русския, сказал он, ляжем здесь костьми, мертвые бо срама не имуть!» Воины, одушевленные словами и примером вождя, устремились на многочисленного неприятеля и одержали победу» (примеч. Д. Дашкова) *Донской* — вел. князь Московский Дмитрий Иванович Донской (1359—1389), одержавший в 1380 году победу в Куликовской битве над татаро-монгольскими полчищами хана Мамая. *С четой двух соименных* — Ивана III, вел. князя Московского (1462—1505) и Ивана IV, царя Московского и всея Руси (1533—1584). *Наш Петр* — Петр I, победитель шведов при Полтаве (1709). Судьба Наполеона, погубившего себя походом на Москву, вглубь России, постоянно сравнивалась современниками с судьбою Карла XII, также мечтавшего овладеть Москвой (ср. в «Полтаве»

Пушкина: «Он шел путем, где след оставил. . .»). *Сарматом* Ж. называет изменника, украинского гетмана Мазепу; этим именем в литературе XVIII — начала XIX века обозначались также польские паны. *Сей рьяный великан* — А. В. Суворов (1730—1800). Следующее воззвание певец обращает к *отчизне*, а затем, после очень краткого обращения к царю, переходит к *ратным и вождям*, т. е. к деятелям современной войны. Это центральная часть стихотворения. *Наш бодрый вождь* — великий полководец М. И. Кутузов (1745—1813). *О, диво! се орел пронзил Над ним небес равнины* — в «Вестнике Европы», 1812, к этим стихам дано примечание: «Сказывают, что в самую ту минуту, когда главнокомандующий, приехавший к армии, выходил из своей кареты, орел показался на высоте; полководец снял перед ним шляпу; войска закричали: ура! Ж.» *Хвала сподвижникам-вождям* — далее перечисляются виднейшие участники Бородинского сражения. А. П. *Ермолов* (1772—1861) — генерал, сыгравший значительную роль при Бородине, командуя левым флангом, позднее главнокомандующий на Кавказе. Н. Н. *Раевский* (1771—1829) и его сыновья, А. Н. (1795—1868) и Н. Н. (младший, 1801—1843), принимавшие вместе с ним участие в войне; по рассказам современников, Раевский-отец в бою под Дашковкой повел в атаку перед войсками двух своих сыновей («С младенцами-сынами» — по редакции «Вестника Европы», позднее измененной, что и отметил Пушкин в послании к Н. Н. Раевскому-младшему: «Раевский, *молоденец* прежний, А там уже *отважный сын*. . .»); впрочем, сам Раевский-отец решительно отрицал этот факт. В Бородинском бою он командовал важнейшим пунктом русской армии — «Курганной» батареей («батареей Раевского»). М. А. *Милорадович* (1770—1825) — генерал, один из учеников Суворова, видный участник Отечественной войны и в частности Бородинского боя. Гр. П. Х. *Витгенштейн* (1768—1842) — в 1812 году командовал армией, прикрывавшей путь на Петербург против маршалов Удино и Макдональда (*Петрополя спаситель*). П. П. *Коновницын* (1766—1822) — один из ближайших помощников Кутузова, в Бородинском бою принял временно командование после ранения Багратиона. М. И. *Платов* (1751—1818) — знаменитый атаман донских казаков, в Бородинском бою совершил блестящий кавалерийский рейд в тыл левого фланга французов. Гр. Л. Л. *Беннигсен* (1745—1826) — начальник штаба Кутузова; *Нестором* (по имени старейшего и опытнейшего вождя греков в Троянской войне) Ж. называет его как одного из старейших генералов. *Остерман* — гр. А. И. Остерман-Толстой (1770—1857), А. П. *Тормасов* (1752—1819), Д. С. *Дохтуров* (1756—1816), гр. П. П. *Пален* (1777—1864) — генералы, участники Бородинского сражения. В редакции «Вестника Европы», 1812, все они, кроме Тормасова, не упоминались. К. Ф. *Багговут* (1761—1812) — генерал, участник Бородина. К стиху о нем *Средь копий безмятежный* сделано примечание Ж. и Дашкова: «Стихи сии сочинены прежде Тарутинского сражения. Багговут был первою его жертвою (6 октября 1812)». Гр. М. С. *Воронцов* (1782—1856) — генерал, был ранен в Бородинском бою; впоследствии — наместник Новороссии, известный своей враждой к ссыльному Пушкину в 1823—1824 годах. В редакции «Вестника Европы», 1812, ему было уделено всего два стиха. Кн. А. Г. *Щербатов* (1777—1848) — не-

задолго перед тем потерял свою жену, сестру поэта П. А. Вяземского, приятеля Ж., на что и намекает посвященная ему строфа. Гр. П. А. *Строганов* (1774—1817) — государственный деятель, вступил в военную службу из патриотизма в 1812 году. В тексте «Вестника Европы» имена Щербатова и Строганова отсутствуют. *Хвала бестрепетных вождям!* — «Вождями бестрепетных» названы здесь партизаны, которые в прошедшую войну, особенно в кампанию 1812, много способствовали к истреблению неприятеля» (примеч. Ж. и Дашкова). Вслед за этим певец возглашает хвалу виднейшим начальникам партизанских отрядов: А. С. *Фигнеру* (1787—1813), организатору партизанского движения, известному тем, что он, переодетый, не раз проникал в тыл врага, в его расположение *(старцем в стан врагов Идет во мраке ночи);* А. Н. *Сеславину* (1780—1858); Д. В. *Давыдову* (1784—1839), известному поэту, организатору и теоретику партизанского движения. К этим именам примыкают: кн. Н. Д. *Кудашев* (ум. 1813), зять М. И. Кутузова, партизан; А. И. *Чернышев* (1785—1857), также начальник партизанского отряда, впоследствии военный министр; В. В. *Орлов*-Денисов (1775—1844), казачий генерал, отличившийся в бою при Тарутине; *Кайсаров* или П. С. (1783—1844), генерал, видный деятель штаба Кутузова, или его брат — А. С. (1782—1813), товарищ Ж. по Университетскому Благородному пансиону, профессор Дерптского университета, добровольно вступивший в армию и позднее (14 мая 1813 года) убитый под Ганау. В редакции «Вестника Европы» все эти имена и все строфы, посвященные «бестрепетных вождям», отсутствуют. Следующие строфы посвящаются певцом *Вождям, сраженным в бое.* Здесь упоминаются генералы: Я. П. *Кульнев* (1763—1812), один из лучших кавалерийских начальников, убитый в бою с французами под с. Клястицы. *Где жизнь судьба ему дала,* и т. д. — «Кульнев убит в 30 верстах от местечка Люцина, где жила его мать и где провел он свое младенчество» (примеч. Ж.); А. П. *Кутайсов* (1784—1812) начальствовал артиллерией в Бородинском бою. «Кутайсов убит под Бородином. В нем погибла одна из блистательнейших надежд нашей армии. С великими дарованиями воина соединял он ум приятный и прекрасный характер нравственный. Он любил словесность и в свободное время писал стихи. После Бородинского сражения увидели его лошадь, обагренную кровию, бегущую без седока, и долго не могли отыскать его тела» (примеч. Ж.; почти то же в «Вестнике Европы», 1812); князь П. И. *Багратион* (1765—1812) — любимый ученик и помощник Суворова, герой походов 1799, 1805 годов и других, в Отечественную войну командующий 2-й армией, а при Бородине войсками левого фланга. «Багратион умер от раны, полученной в сражении под Бородином. Армия несколько времени надеялась на его выздоровление, но судьба решила иначе» (примеч. Ж.). Следующие «кубки» поднимаются певцом и воинами в честь *мщения, святого братства* (т. е. дружбы), *любви,* поэзии и поэтов. *О радость древних лет, Боян!* — «Автор соглашается здесь со мнением некоторых писателей, приемлющих Бояна за великого стихотворца, который процветал во мрачные времена истории нашей и подобно греческому Тиртею возбуждал песнями своими мужество славянских воинов» (примеч. Дашкова). Следуют упоминания о поэтах

XVIII века, воспевавших боевые подвиги русских полководцев: *Петру возник среди снегов Певец — податель славы* — М. В. Ломоносов (1711—1765), писавший о Петре I в одах и в неоконченной поэме «Петрида». *Честь Задунайскому — Петров* — одописец В. П. Петров (1736—1799) воспевал победы над турками ген.-фельдмаршала гр. П. А. Румянцева-Задунайского (1725—1796). Г. Р. Державин (1743—1816) неоднократно писал о подвигах Суворова, своего любимого героя. К нему и обращается Ж., ожидая, что престарелый поэт воспоет и подвиги 1812 года — как войны не захватнической, а освободительной и справедливой. «Певец во стане» вызвал множество подражаний, как серьезных, так и пародически его использующих. Сам Ж. в конце 1814 года написал стих. «Певец в Кремле» — своего рода продолжение «Певца во стане», где певец, вернувшийся из похода в Москву, обращаясь к народу, поет о победоносном окончании войны. К 1813 году относится стихотворение К. Н. Батюшкова «Певец в беседе любителей русского слова», где «Певец» Ж. пародически использован для остроумного осмеяния литературных врагов Карамзина, Ж. и Батюшкова — А. С. Шишкова и других участников «Беседы».

Вождю победителей (стр. 128). Впервые — отдельным изданием в походной типографии штаба Кутузова при главной квартире русской армии, в селе Романове, с пометой «1812 года, ноября 10»; это издание, повидимому, не сохранилось. Повторено в «Вестнике Европы», 1812, № 21 и 22, ноябрь, стр. 12—15, с примечанием: «С печатанного в селе Романове 1812 года ноября 10 в походной типографии», и в «Сыне отечества», 1813, ч. 3, № V, стр. 242—245, с примечанием: «Сие стихотворение напечатано при главной квартире Российской армии», а также отдельным изданием, СПб., 1813, под заглавием «Князю Смоленскому». Вошло в С, I—V, причем в С, V ошибочно датировано 1811 годом. Посвящено великому полководцу М. И. Кутузову, князю Смоленскому. *Сражение под Красным* происходило 3—6 ноября 1812 года. *И восстают могущие тевтоны, достойные Арминия сыны* — говорится иронически о германских государях, «потомках» Арминия, предводителя германского племени херусков, нанесшего поражение римлянам (I век н. э.), подчинившихся Наполеону и примкнувших к нему в войне 1812 года, так же как и итальянцы, некоторые славяне (богемцы), венгры, саксонцы, польские шляхтичи *(изменники сарматы)*. *Уж росс главу под низкий мир склонил* — Тильзитский мир 1807 года. *Еще вдали трепещет оттоман* — имеются в виду победы Кутузова над турками, обеспечившие мир с Турцией, заключенный в 1812 году. Поэт представляет себе будущее возвращение Кутузова на родину по окончании победоносной войны; но Кутузов умер 28(16) апреля 1813 года в г. Бунцлау (Силезия).

Узник к мотыльку, влетевшему в его темницу (стр. 131). Впервые — «Вестник Европы», 1813, № 3 и 4, февраль, стр. 209—212, с подзаголовком «Подражание Мейстеру». Вошло в С, I—V, причем в С, V отнесено к 1810 году. Перевод стихотворения гр. Ксавье де Местра (Xavier de Maistre, 1763—1852) «Le prisonnier et le papillon» («Узник и бабочка»). Кс. де Местр — поэт

и романист (автор известной повести «Параша Сибирячка»), французский аристократ, монархист, эмигрант в эпоху французской революции, бывший на русской службе.

К Филону (стр. 133). Впервые — «Вестник Европы», 1813, № 7 и 8, апрель, стр. 198—199. Вошло в С, I—V, причем в С, II помещено под 1813 годом, а в С, V — под 1809-м, что, очевидно, ошибочно. Перевод стихотворения немецкого поэта сентиментального направления Фр. фон Матиссона (Friedrich von Matthisson, 1761—1831) «Die Grazien» («Грации»). Третья строфа переработана Ж.: в ней «тартар» (смерть) подлинника заменен изображением творческого бессилия поэта, отвергнутого харитами (богинями красоты).

Тургеневу, в ответ на его письмо (стр. 134). Впервые — в С, I, с примечанием: «Сие послание посвящено воспоминаниям молодости; двух друзей, украшавших ее, нет уже на свете». Вошло в С, I—V. Послание адресовано Александру Ив. Тургеневу. В нем вспоминаются брат его Андрей Ив., умерший в 1803 году, и отец — Иван Петр., умерший в 1807-м.

Светлане (стр. 137). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано И. А. Бычковым в «Русском архиве», 1900, кн. III, стр. 194, по беловому автографу (Б, № 14, л. 125₂). Стихотворение посвящено А. А. Протасовой («Светлане») и представляет собою, по форме и по мысли, как бы комментарий к балладе «Светлана», продолжение ее заключительных строф. Написано по поводу предстоящего брака А. А. Протасовой с А. Ф. Воейковым, возбуждавшего в семье сомнения и недоверие к ее будущему.

К самому себе (стр. 138). Впервые — «Вестник Европы», 1814, № 4, февраль, стр. 286—287. В С, I—V не вошло. Перепечатано в С, VII, т. I, стр. 328.

К Воейкову. Послание (стр. 139). Впервые — «Вестник Европы», 1814, № 6, март, стр. 96—106, под заглавием «Послание к Воейкову» и с пометой «29 января 1814». Вошло в С, I—V, причем в С, V отнесено к 1813 году; в С, II сопровождается примечанием: «А. Ф. Воейков, известный наш стихотворец, объездив некоторые южные провинции России, посетил автора, жившего в деревне (в конце 1813). Он написал несколько стихов в похвалу поэмы его *Владимир*, существующей в одном только воображении. Свидание с приятелем и похвалы такой поэмы, *которой еще нет*, подали мысль сочинить это послание — В. Ж.» Последняя фраза («Свидание с приятелем...» и т. д.) в позднейших изданиях отсутствует. Послание обращено к А. Ф. Воейкову (1778—1839), товарищу Ж. по Университетскому Благородному пансиону, поэту-сатирику и переводчику, автору известных литературных сатир «Дом сумасшедших» и «Парнасский адрес-календарь», бывшему позднее профессором в Дерптском университете, а в 20-х годах — журналистом

и издателем. Совершая в 1813 году большое путешествие по югу России и Кавказу, Воейков написал послание к Жуковскому, напечатанное в «Вестнике Европы», 1813. На это послание и отвечает Ж. *Ты был под знаменами славы* — Воейков во время Отечественной войны поступил в армию, но вышел в отставку тотчас после изгнания врагов из России. *С певцом Тибурским* — римским поэтом Кв. Горацием Флакком (65—8 до н. э.), жившим в своем поместье Тибуре. *Шери-Сарай* — древняя столица Золотой Орды в устьях Волги (XIII—XV вв.). *Батыя новых дней* — Наполеона. *Сарепта* — приволжская колония немцев-евангелистов. *И се, идут в усопших сени* — «У евангелических братьев заутреню светлого Христова воскресения служат на кладбище» (примеч. Ж. в «Вестнике Европы»). *Ты зрел, как Терек...* — следующее далее описание Кавказа получило важное значение в истории русской поэзии. Оно основано в известной мере на строфах, описывающих Кавказ, в оде Державина «На возвращение графа Зубова из Персии» («О юный вождь! — сверша походы» и т. д.), а также на рассказах Воейкова и других очевидцев. Ж. сам не видал Кавказа — отсюда и отмеченные у него позднейшей критикой ошибки в описании, названия несуществующих кавказских племен и т. д. Но его описание, стремящееся к конкретности и живости, стало основою изображения Кавказа как экзотического русского Востока в романтической поэзии. Пушкин, в примечании к «Кавказскому пленнику» (1822), приводит оба описания — Державина и Жуковского — как своих предшественников. К стиху: *И чечереец и шапсук* в «Вестнике Европы» примечание Ж.: «Народы, обитающие в кавказских горах; по большей части магометане». *Жилищу Вихря-атамана* — М. И. Платова, атамана донских казаков. *Друг, оглянись... еще нет брата* — «Поэт говорит здесь о незабвенном Андрее Сергеевиче Кайсарове, убитом в сражении с французами в мае 1813 года» (примеч. Ж. в «Вестнике Европы»). *Но так и быть!.. здесь твой поэт...* — Отсюда и до конца послание Ж. является ответом на обращение Воейкова. Последний убеждал Ж. приняться за большую сказочно-богатырскую поэму из времен вел. князя Киевского Владимира, и Ж., принимая этот вызов, в своем послании перечисляет те «народные» сказочно-былинные образы, которые являются ему в качестве будущих элементов поэмы. Как указывает, однако, Ц. Вольпе (Стих. Ж., т. II, 1940, стр. 493—494), большая часть этих образов (конь Златокопыт, Зилант и Полкан, Дубыня, Горыня и т. д.) заимствованы Ж. из литературного источника — «Русских сказок» Левшина (1780—1783), а не непосредственно из русского народного творчества. Обращение «девицы-красы» к ветру — *О ветер, ветер! что ты вьешься?* и т. д. представляет собою вольное переложение второго отрывка «Плача Ярославны» из «Слова о полку Игореве», которое использовал и Воейков в своем послании к Ж. К стихам: *И кто, скажи мне, научил* и т. д. — в «Вестнике Европы» примечание Ж.: «Это место темно для тех, кто не читал сих осьми стихов, написанных на белой книге, в которой будет твориться русская поэма в роде Виландова Оберона». Стихотворное обращение Воейкова к Ж. в «белой книге», о котором говорит Ж., не сохранилось. Но его послание, напечатанное в «Вестнике Европы» (1813, № 5 и 6, март, стр. 26—29), имеет тот же смысл:

Напиши поэму славную,
В русском вкусе повесть древнюю:
Будь наш Виланд, Ариост, Баян!
Нам предметов не заимствовать
И за словом не за море плыть!
На Руси был свой Великий Карл,
Князь Владимир, солнце светлое...

Ж., как известно, поэмы на древнерусский сказочно-богатырский сюжет не написал: «Владимир» остановился на планах и сборе материалов.

Что такое закон? (стр. 146). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано в «Русском архиве», 1864, № 10, стлб. 1043—1044; существуют две рукописи (копии) в ГПБ (Б, № 15, л. 69 и л. 2). Печатаем по тексту «Русского архива». Написано во время пребывания Ж. в Долбине, имении А. П. Киреевской (рожд. Юшковой, по второму мужу Елагиной). Написанные тогда шутливые или сатирические стихотворения, известные под названием «Долбинских», были напечатаны П. А. Вяземским по рукописи, теперь неизвестно где находящейся, в «Русском архиве» 1864 года. Стихотворение процитировано М. Горьким в его лекциях 1908—1909 годов по русской литературе как «умные и меткие слова» Ж. (См. М. Горький. История русской литературы, М., 1939, стр. 62—63).

Эпитафии I—VI (стр. 146—147). Впервые напечатаны: II — «Хромому», III — «Пьянице», VI — «Завоевателям» — в «Российском музеуме, или Журнале европейских новостей, издаваемом Владимиром Измайловым», 1815, ч. II, апрель, № 4, стр. 13. Остальные при жизни Ж. не печатались и были опубликованы: I — «Моту» и IV — «Грамотею» в «Русском архиве», 1864, № 10, стлб. 1009—1010, в числе так называемых «Долбинских» стихотворений, с датой «8 окт.»; V — «Толстому эгоисту» — Архангельским в Полн. собр. соч. Ж., т. I, СПб., 1902, стр. 44. Печатаем по текстам «Российского музеума» и по копии в ГПБ (Б, № 15, л. 2 об.) (См. «Отчет имп. Публ. библиотеки за 1884 год», СПб., 1887, Приложение, стр. 41).

К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину (стр. 147). Впервые — «Российский музеум», 1815, ч. II, июнь, № 6, стр. 257—261, под заглавием «Послание к Вяземскому и Пушкину». Вошло в С, I—V. Послание Ж. обращено к двум видным тогда поэтам-карамзинистам, противникам реакционной «Беседы любителей русского слова» и во многом единомышленникам Ж. — кн. П. А. Вяземскому (1792—1878) и В. Л. Пушкину (1767—1830), дяде А. С. Пушкина, автору шуточной стихотворной повести «Опасный сосед» (1811), посланий, эпиграмм и проч., который одним из первых вступил в борьбу с реакционным литературным направлением А. С. Шишкова и — позднее — основанной им «Беседы». Послание Ж. написано по поводу нападок «шишковистов» на В. Л. Пушкина, к которым последний был очень чувствителен; Вяземский же, напротив, убеждал его относиться спокойно к нападкам и презирать

литературных врагов; точку зрения Вяземского разделял и Ж. *Один, среди песков, Мемнон* — колоссальная статуя одного из фараонов в Египте, близ Фив; обладала свойством при восходе солнца издавать жалобные звуки вследствие согревания и расширения воздуха в трещинах камней, из которых она была вытесана; греки считали ее статуей финикийского царя Мемнона, мифического участника Троянской войны. Мемнон не раз служил символом поэта, отзывающегося на внутренние движения души и независимого от земного мира. Статуя Мемнона была изображена на фронтисписе первого издания «Стихотворений Василия Жуковского», ч. I, СПб., 1815, по наброску А. Н. Оленина. *Увы! Димитрия творец* — В. А. Озеров (1770—1816), автор прославленной трагедии «Дмитрий Донской» (1807); после неудачи своей последней трагедии «Поликсена» (1809) Озеров сошел с ума — как говорили, вследствие литературных интриг своих завистников. *Моина* — героиня трагедии Озерова «Фингал» (1805), имевшей такой же успех, как и «Дмитрий Донской» и пытавшейся совместить требования классицизма к драматургии с чувствительностью карамзинистского направления.

Послания к князю Вяземскому и В. Л. Пушкину. 1. «Вот прямо одолжили». 2. «На этой почте всё в стихах» (стр. 151). При жизни Ж. не печатались. Впервые опубликованы в «Русском архиве», 1866, № 6, стлб. 863—869, с пояснениями П. А. Вяземского. Первое послание («Вот прямо одолжили») представляет собою стилистический разбор двух стихотворений: послания В. Л. Пушкина «К кн. П. А. Вяземскому» и послания П. А. Вяземского «К В. Л. Пушкину». Второе послание («На этой почте всё в стихах») содержит отзыв Ж. о его собственном послании к Вяземскому и Пушкину — «Друзья, тот стихотворец — горе», написанном накануне (см. выше). *Друг юности* — «Друг юношества», реакционный журнал религиозно-мистического направления, издававшийся М. И. Невзоровым в 1807—1815 годах. *Бог Пинда* — Аполлон. *Или напишутся одни иносказанья* — слово «иносказание» предложено было А. С. Шишковым взамен карамзинского слова «аллегория».

Императору Александру (стр. 156). Впервые напечатано отдельной брошюрой, СПб., 1815 (цензурное разрешение 15 января 1815). Включено в С, I—V. Как видно из писем Ж. к А. И. Тургеневу от октября—декабря 1814 года, Ж. писал свое послание Александру I строго обдуманно, с предварительным планом (находящимся в ГПБ, Б, № 78, л. 39), как обращение по поводу победоносного окончания войны против Наполеона. 1 декабря 1814 года Ж. послал оконченное стихотворение А. И. Тургеневу, причем просил его «прочитать вместе с Батюшковым, с Блудовым, с Уваровым и, если он состоит налицо, с Дашковым. Что найдете необходимым поправить, поправляйте; на меня в этом случае уже не надейтесь. Лучше написать новое, нежели поправлять. Пока пишу, по тех пор мараю сколько душе угодно, и могу марать, написал — всему конец!» (см. «Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу», М., 1895, стр. 130, а также ниже, примеч. к стих. «Ареопагу»). *Как троны падали под хищникову длань* — говорится о

войне Наполеона Бонапарта против Австрии в 1800—1801 годах, положившей начало завоеванию Западной Европы войсками Наполеона. *Хищник* — Наполеон. *Давно ль одряхший мир...* и т. д. — предреволюционное состояние Европы до 1789 года. *Лилий трон и галлов над главами* — французский королевский престол Бурбонов, свергнутый революцией. *Великан, питомец ужасов* и т. д. — Наполеон Бонапарт. *И к человечеству презреньем ополчен* — ср. у Пушкина в стих. «Наполеон» (1821): «В его надеждах благородных Ты человечество презрел». Многие положения послания Ж. отразились в этом стихотворении Пушкина, где, однако, осмыслены в духе декабристской идеологии. *Сцилла* — Сицилия, здесь в смысле Италия; *Бельт* — здесь в смысле Балтийское море. *Спасенья страшный год* — 1812-й. *Старец-вождь* — М. И. Кутузов. *Потухшими громами* — замолкнувшими пушками. *Вайи* — пальмовые ветви; по евангельскому преданию, народ приветствовал ими Христа при входе его в Иерусалим. *Вождь наш* — М. И. Кутузов, умерший в самом начале европейского похода, 16(28) апреля 1813 года. *И чуждый вождь* — французский генерал Моро, перешедший на русскую службу, чтобы бороться с Наполеоном, и убитый под Дрезденом 15 августа 1813 года. *Тевтонов племена* — здесь: южногерманские государства; *Герман* означает, повидимому, Пруссию, первой примкнувшую к антинаполеоновской коалиции 1813 года. *О славный Кульмский бой!* — сражение при Кульме (в Чехии), где русскими был разбит французский корпус Вандамма, произошло 17—18 августа 1813 года. *Уж видят тот рубеж* и т. д. — речь идет о сражении под Лейпцигом (16—19 октября 1813 года), получившем название «битвы народов» и выигранном союзниками, что предрешало исход кампании 1813—1814 годов. *И Реин восплескал* — переход через Рейн, т. е. через границу Франции, был совершен в декабре 1813 года. *Секвана* — древнеримское название р. Сены. *О незабвенный день!* и т. д. — после занятия Парижа был отслужен молебен в присутствии всей русской армии на площади Согласия — на том самом месте, где 21 января 1793 года был казнен Людовик XVI *И гордо по зыбям* и т. д. — говорится о возвращении из Англии («Альбиона»), где он был в эмиграции, Людовика XVIII, возведенного на престол силою оружия союзников. По настоянию Александра I Людовик XVIII принужден был обещать амнистию всем участникам революции *(наброшена порфира)*, но позднее изменил своему слову. *Предтеча в славе твой* — М. И. Кутузов, погребенный в Казанском соборе в Петербурге. *...тот усыпленный храм* — собор в Петропавловской крепости на Неве, где погребен Петр I.

Теон и Эсхин (стр. 168). Впервые — «Вестник Европы», 1815, № 5 и 6, март, стр. 27—32, под заглавием «Теон и Есхин». Вошло в С, I—V, причем в последнем — под 1813 годом. *Пенаты* — боги домашнего очага в римской мифологии; *возвращался к Пенатам своим* — возвращался домой, к родному очагу. *Алфей* — крупнейшая река на Пелопоннесском полуострове, на юге Греции. Имена Теона и Эсхина вымышлены и не встречаются в античной литературе и мифологии.

Плач о Пиндаре (стр. 172). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано в «Русском архиве», 1864, стлб. 1019—

1022, с подзаголовком «20 декабря. Быль», в числе «Долбинских» стихотворений (см. выше). Автограф в ГПБ(Б, № 15, л. 69). Мы печатаем по тексту «Русского архива». Сатира, направленная против гр. Д. И. Хвостова (1757—1835, *поэт Пестов*) и, вероятно, поэтессы А. П. Буниной (1774—1828, *какая-то ученая дама*) — бездарных, но ревностных участников «Беседы любителей русского слова», приверженцев Шишкова. *Пиндар* — величайший древнегреческий лирический поэт (ок. 522—442 до н. э.), последователями которого считали себя русские одописцы, участники «Беседы».

К Воейкову («О Воейков! Видно, нам») (стр. 174). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано в «Современнике», 1856, т. LX, № 11, Смесь, стр. 48, в «Библиографических записках» М. Н. Лонгинова (здесь раскрыты почти все фамилии, обозначенные у Ж. шутливыми прозвищами); затем — П. А. Вяземским в «Русском архиве», 1864, № 10, стлб. 1021—1028, в числе «Долбинских» стихотворений (см. выше), с подзаголовком «21 декабря». Рукопись (копия) в ГПБ (Б, № 15, л. 66); печатаем по тексту «Русского архива», с поправками по рукописи ГПБ. Послание представляет собою сатиру на членов «Беседы любителей русского слова». *Зрел обверткой пирогов я недавно Андромаху* — говорится о переводе гр. Д. И. Хвостовым трагедии Расина «Андромаха» (то же — в стихе *Как Расин кряхтел под тестом)*. В стихах о *Грее, Пиндаре, Сафо* — имеются в виду переводы этих поэтов одного из членов «Беседы» — П. И. Голенищева-Кутузова. *И Электрой и Орестом* — трагедия «Электра и Орест» бездарного поэта А. Н. Грузинцева; Ж. напечатал в «Вестнике Европы», 1811, № 22, резко отрицательную рецензию на нее. *Кто-то, грозный и унылый... внимающий старик* — А. С. Шишков. *Ик* — старинное название буквы У. Здесь и далее *(Феб — в ужасных рукавицах* и пр.) имеется в виду пристрастие Шишкова и «Беседы» к церковнославянскому языку и к русской «народности», понимаемой в реакционном духе. Под *Стариной,* возможно, разумеется поэтесса А. П. Бунина, член «Беседы» (см. «Плач о Пиндаре»). *Славянский перевод басен Дмитриева* — изысканно приглаженный стиль карамзиниста И. И. Дмитриева (1760—1837) вызывал недовольство членов «Беседы», пытавшихся привлечь Дмитриева на свою сторону. Далее: *Хлыстов* — гр. Д. И. Хвостов (см. «Плач о Пиндаре»); *Пустопузов* — кн. С. А. Ширинский-Шихматов (1783—1837), поэт, член «Беседы», автор поэм «Пожарский, Минин, Гермоген», «Петр Великий» и других произведений, постоянный предмет насмешек карамзинистов (см. выше, стр. 777); *Груздочкин-траголюб* — уже упоминавшийся выше поэт А. Н. Грузинцев; *Шлих* (или по другому тексту *Фирс) коротконогий* — один из членов «Беседы», вероятно — Ф. П. Львов, а может быть, и драматург кн. А. А. Шаховской (1777—1846). *Ты ж за то, что в переводе Очутился из Садов* — А. Ф. Воейков был известен как переводчик дидактико-описательной поэмы «Сады» французского поэта позднего классицизма Жака Делиля (1738—1813).

Максим (стр. 178). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано в «Русском архиве», 1864, № 10, стлб. 1045—1048,

в числе «Долбинских» стихотворений (см. выше). Неполная (без первых 8 строф) рукопись — в ГПБ (Б, № 15, л. 16). Печатаем по тексту «Русского архива». Перевод французского шуточного стихотворения-куплетов о «Monsieur de la Palice» — французском полководце XVI века де ла Палис, убитом в 1525 году при осаде Павии. После смерти де ла Палиса его солдаты сложили о нем песню, где, чтобы изобразить его боевой, неукротимый дух, было сказано, что «за четверть часа до своей смерти он был еще жив». Эти слова, лишившись своего первоначального смысла, стали означать всем известное, неоспоримое, тавтологическое утверждение («Лапалисовская истина»). На ряде таких утверждений основано и стихотворение Ж. *Максим* — имя старого слуги поэта, которого он в 1823 году отпустил на волю.

Ареопагу (стр. 180). При жизни Ж. не печаталось. Опубликовано впервые в «Русском архиве», 1864, № 10, стлб. 1035—1044, в числе так называемых «Долбинских» стихотворений. Рукописи в ГПБ (Б, № 15, л. 70 и № 26, л. 17). Печатаем по тексту «Русского архива», с поправками по рукописям ГПБ. Стихотворение обращено к друзьям Ж. — К. Н. Батюшкову, П. А. Вяземскому и др. — и является ответом на их критические замечания о послании Ж. «Императору Александру», прежде всего на замечания Батюшкова, выраженные в его письме к А. И. Тургеневу, пересланном последним Ж. (Сочинения К. Н. Батюшкова, т. III, 1886, стр. 299—302, с неверной датировкою «октябрь-ноябрь» вместо «декабрь»). Ж. отвечает также на замечания А. Ф. Воейкова, сделанные им, очевидно, устно. Замечания Батюшкова касаются лишь первой половины послания. «Вторая половина, — писал он Тургеневу, — вся прелестна, и рука не подымется делать замечания. Здесь Жуковский превзошел себя: его стихи — верьте мне! — бессмертные». Сличение цитат, приведенных в письме Батюшкова и в стихотворении «Ареопагу», с печатным текстом послания показывает, что Ж., согласившись на некоторые поправки, другие отвергнул, а в нескольких случаях дал в печатном тексте новую, третью редакцию.

Младенец (стр. 184). Впервые — «Российский музеум», 1815, ч. II, май, № 5, стр. 132—133, под заглавием «Стансы» и в составе 8 строф. Вошло в С, III—IV под заглавием «Младенец (В альбом графини О. П.)» (т. е. Ольги Станиславовны Потоцкой, в замужестве Нарышкиной), в составе 7 строф. Отброшенная 1-я строфа:

Можно ль в жизни молодой
Сердце мучить лживой тенью?
Нет, считай мечту мечтой,
Остальное ж — провиденью.

В С, V не вошло. Перепечатано в С, V-п (т. XII, стр. 109—110), по тексту «Российского музеума». Мы печатаем текст С, IV.

Славянка (стр. 185). Впервые — в С, I (ч. II, 1816, стр. 5—16). Вошло в С, II—V, причем в С, V отнесено ошибочно к 1816 году. Во всех изданиях С к элегии дано примечание, в кото-

ром говорится: «Славянка — река в Павловске. Здесь описываются некоторые виды ее берегов, и в особенности два памятника, произведение знаменитого Мартоса» и т. д. Первый из памятников (строфы 6—13) воздвигнут имп. Марией Федоровной в память ее мужа имп. Павла I; второй (строфы 34—36) — в память рано умершей вел. кн. Александры Павловны; в строфах 27—33 изображена березовая роща, называемая *семейственною,* «ибо в ней каждое дерево означает какое-нибудь радостное происшествие в семействе царском. Посреди рощи стоит уединенная *урна судьбы*».

Голос с того света (стр. 189). Впервые — в сборн. «Für wenige. Для немногих», 1818, № III, март, стр. 30—31, под заглавием: «Юлия. Голос с того света (Музыка: «Wo ich sei und wo mich hingewendet»)», т. е. «Где я и откуда я обращаюсь?» Вошло в С, II—V, причем в С, V датировано 1815 годом. Вольный перевод стихотворения Шиллера «Thekla. Eine Geisterstimme» (Текла. Посмертный голос») — обращение умершей Теклы, героини трагедии «Валленштейн», к ее матери, оставшейся в живых. Ж. значительно отступил от подлинника, сократил его, уничтожил всякие конкретные связи с трагедией, с судьбою Теклы и ее отца, Валленштейна, имеющиеся в стихотворении Шиллера, и превратил его в обращение умершей девушки к оставшемуся на земле возлюбленному.

Песня («К востоку, всё к востоку») (стр. 190). Впервые — в С, IV; вошло в С, V с отнесением к 1815 году. Перевод стихотворения немецкого поэта Фр. Г. Ветцеля (Friedrich G. Wetzel, 1779—1819) «Nach Osten» («К востоку»).

«Кто слез на хлеб свой не ронял» (стр. 191). Впервые — в сборн. «Для немногих», 1818, № II, февраль, стр. 26—27. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 201. Перевод стихотворения Гете «Wer nie sein Brot mit Tränen ass...» («Кто никогда не ел свой хлеб со слезами...»), входящего в его роман «Годы учения Вильгельма Мейстера» (гл. XIII второй книги) и в собрание стихотворений Гете как третья песня арфиста в цикле «Aus Wilhelm Meister» («Из Вильгельма Мейстера»).

Песня («Кольцо души-девицы») (стр. 191). Впервые — в сборн. «Для немногих», 1818, № I, генварь, стр. 20—25, откуда перепечатано в «Сыне отечества», 1820 ч. 63, № XXXIII, стр. 323—324. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 195—197. Вольный перевод немецкого стихотворения неизвестного автора «Lied» («Der Ring ist mir entfallen») («Песня» — «Кольцо у меня выпало»).

На первое отречение от престола Бонапарте (стр. 192). Впервые — «Сын отечества», 1816, ч. 29, № XIV, стр. 68—69, под заглавием «Стихи, петые на празднестве английского посла лорда Каткарта, в присутствии его и. в.» и с примечанием: «Сей великолепный праздник дан был ныне 28 марта, в день падения и отречения Бонапартова за два года перед сим (т. е. 28 марта 1814 года, в Фонтенбло. — *Ред.*). Все генералы, участвовавшие в той знаменитой кампании, были приглашены к оному».

В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 111—113. *Лютеция, Альбион* — древние (римского времени) названия Парижа и Англии.

Сон (стр. 193). Впервые в «Полярной звезде на 1823 год», СПб., 1823. стр. 287. Вошло в С, III—V; в С, V отнесено к 1816 году. Перевод стихотворения немецкого поэта-романтика демократического и прогрессивного направления Иоганна-Людвига Уланда (Johann Ludwig Uhland, 1787—1862) — «Sängers Vorüberziehn» («Промелькнувший певец»), с некоторыми отступлениями от размера подлинника. Это первый перевод Ж. из Уланда, почерпнутый из первого сборника его стихов (1815).

Песня бедняка (стр. 194). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения» («Труды Вольного общества любителей российской словесности»), 1820, ч. X, № VI, стр. 301—302. Вошло в С, III—V, в последнем отнесено к 1816 году. Перевод стихотворения Уланда «Lied eines Armens».

Весеннее чувство (стр. 195). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1821, ч. XIII, № 1, стр. 88—89. Вошло в С, III—V, причем в С, V отнесено к 1815 году.

Счастие во сне (стр. 195). Впервые — в «Полярной звезде на 1823 год», СПб., 1823, стр. 266. Вошло в С, III—V, причем в последнем отнесено к 1815 году. Перевод стихотворения Уланда «Der Traum» («Сон»).

«Там небеса и воды ясны!» (стр. 196). При жизни Ж не печаталось. Впервые опубликовано в речи С. П. Шевырева «О значении Жуковского в русской жизни и поэзии» и в примечаниях к ней (отд. изд., М., 1853, стр. 5 и 68; то же «Москвитянин», 1853, т. I, № 2, январь, кн. 2, стр. 79 и 142). Вошло в С, V-п, т. XII, стр. 115—116. Печатаем по этому тексту, но без заглавия, данного редактором С, V-п Д. Н. Блудовым, и с поправкою в ст. 8 по черновому автографу (Б, № 26, л. 25). Вольный перевод стихотворения французского писателя-романтика Р. Шатобриана (François René, vicomte de Chateaubriand, 1768—1848) «Combien j'ai douce souvenance...» («Как сладко мне воспоминание...»), входящего в роман Шатобриана «Последний из Абенсерагов». Стихотворение, написанное в Дерпте осенью 1816 года, было послано Ж. А. П. Елагиной в письме от того же времени (напечатано К. К. Зейдлицем — «Жизнь и поэзия В. А. Жуковского», изд. 2-е, СПб., 1883, стр. 5—6; первоначально и более полно — «Журнал Министерства нар. просвещения», 1869, ч. CXLII, апрель, стр. 377—378). Текст стихотворения в письме совпадает с напечатанным в С, V-п. Перекладывая романс Шатобриана, Ж. придал пейзажу черты любимого им с. Мишенского, Белевского уезда Тульской губ., принадлежавшего его отцу А. И. Бунину, на что указывают Зейдлиц и другие современники.

Овсяный кисель (стр. 196). Впервые — в сборн. «Для немногих», 1818, № II, февраль, стр. 2—17 и одновременно в «Тру-

дах Общества любителей российской словесности при Московском университете», ч. X, М., 1818, кн. XVI, стр. 64—70. Вошло в С, III—V, причем в С, III—IV включено в цикл, озаглавленный «Сельские стихотворения», вместе с другими произведениями Гебеля («Деревенский сторож в полночь», «Тленность», «Красный карбункул»). Перевод стихотворения «Das Habermuss» («Овсяный мус») И. П. Гебеля (Johann Peter Hebel, 1760—1826), немецко-швейцарского поэта, пастора и школьного учителя, писавшего рассказы идиллического характера из крестьянской жизни, в стихах и прозе, на местном аллеманском наречии. Поэзию Гебеля высоко ценил Гете за то, что Гебель, вместо мифологических существ, наполнявших природу у «древних поэтов и новейших их подражателей», видит «одних знакомцев своих — поселян», и изображает жизнь «смиренного земледельца и пастуха»; мнение Гете Ж. привел в примечании к «Овсяному киселю» в С, III. Изданию стихотворения в «Трудах Общества люб. росс. словесности» предпослано предисловие Ж., в котором он отмечает точность своего перевода и старание перенять у оригинала «привлекательный язык простодушия». В своем переводе Ж. заменил немецкие имена русскими и отбросил три последних стиха, говорящих об отправлении детей в школу.

Деревенский сторож в полночь (стр. 199). Впервые — в сборн. «Для немногих», 1818, № IV, апрель, стр. 8—19. Вошло в С, III—V, причем в С, III—IV включено в цикл «Сельских стихотворений» (см. примечание к «Овсяному киселю»). Перевод идиллии Гебеля, написанной на аллеманском наречии, «Der Wächter in der Mittelnacht» («Сторож в полночь»).

Явление богов (стр. 203). Впервые — в журн. «Славянин», 1827, ч. III, № XXXIII, стр. 268—269. В изд. С и С, V-п не вошло. Перевод стих. Шиллера «Dithyrambe» («Дифирамб»).

Протокол двадцатого Арзамасского заседания (стр. 204). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано в «Русском архиве» 1868, № 4 и 5, стлб. 829—838, по сообщению П. А. Вяземского. Перепечатано вновь М. С. Боровковой-Майковой в книге «„Арзамас" и арзамасские протоколы», изд-во писателей в Ленинграде, 1933, стр. 224—229, по авторизованной копии в тетради арзамасских протоколов (теперь в Центр. Гос. Архиве литературы и искусства в Москве). Мы печатаем по тексту «Русского архива», с устранением явных ошибок и описок по той же копии. По указанию М. С. Боровковой-Майковой, заседание «Арзамаса», описанное в протоколе, является не двадцатым (*двадесятым*, как пишет Ж.), а двадцать первым; оно происходило в июне 1817 года, на что указывает и Ж.; этим определяется дата протокола. Заседание это является продолжением двадцатого заседания, бывшего 22 апреля 1817 года. Речь Д. Н. Блудова *(Кассандры)*, начинающая протокол Ж., в некоторых чертах близко повторяет его же речь, произнесенную 22 апреля (*Сонное мнение* — см. «Арзамасские протоколы», стр. 67—68 и 220—223). Тема протокола — вопрос об основании журнала, волновавший тогда арзамасцев, и о его программе. После упразднения «Беседы» собрания «Арзамаса»

потеряли свой прямой смысл, и был выдвинут проект издания своего журнала. Проект в принципе не встречал возражений — за него высказывались представители и правой (Блудов) и левой (Орлов) частей «Арзамаса». Но вопрос о программе и направлении журнала вызвал разногласия между консервативной частью общества, к которой принадлежал и Ж., и прогрессивной, связанной с декабристским Союзом спасения. В сборнике, изданном М. С. Боровковой-Майковой, приведены и другие стихотворные протоколы, написанные Ж. (стр. 229—233). *Травный, Изок, Груде*нь — древнерусские названия месяцев: Травный (или Травень) — май, Изок — июнь, Грудень — ноябрь. На р. *Карповке* в Петербурге была дача С. С. Уварова. Здесь в беседке, посвященной бар. Г. *Штейну* (1756—1831) — немецкому государственному деятелю, который был изгнан из Пруссии по требованию Наполеона за свою патриотическую деятельность, — собирались заседания «Арзамаса». «Арзамасские» прозвища участников заседания, упоминаемые в «Протоколе», заимствованы из баллад Ж.: *Эолова Арфа* (из баллады того же названия) — А. И. Тургенев (1784—1845); *Рейн* («Адельстан») — М. Ф. Орлов (1788—1842, см. послание к нему, стр. 225); *Старушка* («Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне...») — С. С. Уваров (1786—1855); *Варвик* («Варвик») — Н. И. Тургенев (1789—1871, впоследствии декабрист); *Журка* (т. е. Ивиков Журавль из баллады «Ивиковы журавли») — Ф. Ф. Вигель (1786—1856); *Пустынник* («Пустынник») — Д. А. Кавелин (1778—1851); *Асмодей* («Двенадцать спящих дев», баллада первая «Громобой») — П. А. Вяземский (1792—1878); *Громобой* (из той же баллады) — С. П. Жихарев (1787—1860); *Светлана* («Светлана») — В. А. Жуковский; *Кассандра* («Кассандра») — Д. Н. Блудов (1785—1864). В протоколе упоминаются литературные враги «Арзамаса», члены «Беседы любителей русского слова» *(халдеи)*, к моменту этого заседания уже прекратившей свою деятельность: председатель ее А. С. Шишков (1754—1841), драматург А. А. Шаховской (1777—1846, *Шутовской)*, П. И. Голенищев-Кутузов (1767—1829), с реакционных позиций критиковавший Карамзина, несмотря на консерватизм последнего, гр. Д. И. Хвостов (1757—1835); под именем *Вздыхалова* разумеется кн. П. И. Шаликов (1768—1852), бездарный эпигон карамзинизма, примкнувший к «Беседе», или Е. И. Станевич (1775—1835), деятельный член «Беседы», друг и верный последователь Шишкова; Г. М. *Яценко* (ум. 1852) — цензор и журналист, издатель журнала «Дух журналов», где пытался проводить умеренно-либеральные взгляды. *Академия* — Российская Академия, основанная в 1782 году, оплот литературно-общественной реакционности, под председательством Шишкова игравшая роль, аналогичную «Беседе». *Демид-Арзамасец* — по мнению М. С. Боровковой-Майковой, Н. М. Карамзин — *важный маляр*, т. е. крупный художник, управляющий делами Словесности (Демид — имя управляющего имениями П. А. Вяземского). Впрочем, такое определение нельзя считать вполне убедительным. *Князь Тюфякин* П. И. (1769—1845) — директор имп. театров, крайний реакционер в вопросах театра и литературы. *Пиериды* — одно из названий муз (миф.). *Пушкина мысли* — иронический намек на известное легкомыслие В. Л. Пушкина. *Вести о курах с лицом*

человечьим — по объяснению П. А. Вяземского, книга Г. Фишера «Описание курицы, имеющей в профиле фигуру человека», М., 1815. *Письма о бедных к богатым* — под этим ироническим обозначением Ж., возможно, разумеет свои собственные статьи, помещенные в «Вестнике Европы», когда журнал выходил под его редакцией: «О новой книге: Училище бедных, сочинение госпожи Ле Пренс де Бомон...» (1808, № 21) и «Печальное происшествие» (1809, № 6). *Журнал состоялся* — речь идет о вынесенном решении издавать журнал, которое не было осуществлено.

Утешение в слезах (стр. 210). Впервые — в сборн. «Для немногих», 1818, № I, генварь, стр. 12—15. Вошло в С, III—V, причем в С, V — под 1818 годом. Перевод стихотворения Гете «Trost in Tränen». По словам К. К. Зейдлица («Жизнь и поэзия В. А. Жуковского», изд. 2-е, СПб., 1883, стр. 111), перевод был связан с недавним браком М. А. Протасовой с И. Ф. Мойером (в Дерпте, в конце 1817 года).

К месяцу (стр. 211). Впервые — в сборн. «Для немногих», 1818, № II, февраль, стр. 28—33. Вошло в С. III—V. В последнем отнесено к 1818 году. Перевод стихотворения Гете «An den Mond». В тексте «Для немногих» стихотворение имеет еще одну, 9-ю строфу, отброшенную в С:

Что в полночный тихий час
Слышимо душой,
Очаровывает нас
Тайною мечтой.

Жалоба пастуха (стр. 212). Впервые — в сборн. «Для немногих», 1818, № I, генварь, стр. 16—19. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 199—200. Перевод стихотворения Гете «Schäfers Klagelied» («Жалобная песня пастуха»), причем сохранен размер подлинника — дольник, единственный пример в лирике Ж.; размер этот позднее применялся Лермонтовым, Тютчевым, Фетом, переводчиками Гейне 60-х годов, впоследствии символистами.

Мина (стр. 212). Впервые — в сборн. «Для немногих», 1818, № I, генварь, стр. 26—29. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 193—194. Перевод стихотворения Гете — романса Миньоны из романа «Wilhelm Meisters Lehrjahre» («Годы учения Вильгельма Мейстера») «Mignon» — «Kennst du das Land...» («Миньона» — «Знаешь ли ты край...»), входящего также в раздел «Баллад» собрания стихотворений Гете. Ж. заменил вопросительные конструкции подлинника утвердительными.

Речь в заседании «Арзамаса» (стр. 213). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано — не полностью, с пропуском 25 стихов — И. А. Бычковым: «Бумаги В. А. Жуковского, поступившие в имп. Публичную библиотеку в 1884 году» (приложение к «Отчету» библиотеки за 1884 год), СПб., 1887, стр. 161—162, по черновому автографу ГПБ (Б, № 80, л. 10). Полностью —

Архангельским в Полн. собр. соч. Ж., т. II, СПб., 1902, стр. 123. Печатаем по тому же автографу — единственному источнику текста. Речь Ж. (вместо протокола) приготовлена была, вероятно, для последнего заседания «Арзамаса», которое состоялось лишь 7 апреля 1818 года (о заседании в январе—феврале мы не имеем данных); предыдущее заседание, насколько можно установить, было 2 октября 1817 года («Арзамасские протоколы», стр. 33—34 и 44). Но протоколов этих заседаний не сохранилось — быть может, они и не составлялись, но быть может также, они позднее были уничтожены, чтобы скрыть ведшиеся на них политические споры. *Беседа давно околела* — враг «Арзамаса», «Беседа любителей русского слова» прекратила существование вскоре после смерти Г. Р. Державина, в середине 1816 года. *Опасный сосед* — комическая поэма В. Л. Пушкина, высмеивающая литературных староверов, одно из любимых произведений арзамасцев, ценимое также и А. С. Пушкиным. *Чтенья* — «Чтения в Беседе любителей русского слова» — орган «Беседы», редактируемый А. С. Шишковым. *Рассужденье Деда седого о слоге седом* — сочинение А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (1803), основоположное теоретическое произведение литературной реакции. *Мы написали законы; Зегельхен их переплел...* — устав «Арзамаса», составленный Ж. и Д. Н. Блудовым и переплетенный петербургским переплетчиком Зегельхеном, хранится ныне в Гос. Историческом музее в Москве; напечатан по копии ГПБ в книге «Арзамасские протоколы», 1933, стр. 246—256. *Реин* — М. Ф. Орлов был в 1817 году назначен на службу в Киев; *нас взбаламутив* — Орлов был одним из инициаторов издания «Арзамасом» политического журнала. *Светлана* — Ж. с 1817 года преподавал русский язык вел. кн. Александре Федоровне, для чего составлял грамматические таблицы. *Асмодей, распростившись с халатом свободы* — П. А. Вяземский был в 1817 году назначен на службу в Варшаву и, написав перед отъездом стих. «Прощание с халатом» (на что и намекает Ж.), выехал 11 февраля 1818 года из Петербурга к месту службы (это отчасти определяет время написания речи Ж. — перед отъездом Вяземского). *Резвый Кот* (из баллады Ж. «Пустынник») — Д. П. Северин (1791—1865), женившийся вскоре, в 1818 году, на Е. С. Стурдза (она умерла через пять месяцев после свадьбы, 20 июня 1818 года). *Кассандра* — Д. Н. Блудов, назначенный в начале 1818 года сотрудником русского посольства в Лондон. *Челн Очарованный* (из баллады Ж. «Адельстан») — П. И. Полетика (1778—1849), дипломат, с 1817 года русский посланник в США. *Чу* (выражение, встречающееся во многих балладах Ж.) — Д. В. Дашков (1788—1839) — один из основателей «Арзамаса», в 1818—1820 годах служил в русском посольстве в Константинополе. *Ахилл* (из баллады Ж. того же названия) — К. Н. Батюшков (1787—1855), живший зимою 1817/18 года то в Петербурге, то в Москве, то в деревне. *Сверчок* (из баллад «Светлана» или «Пустынник») — А. С. Пушкин, во второй половине января 1818 года серьезно заболевший *(в щелку проказы)*. *Арфа* (из баллады «Эолова арфа») — А. И. Тургенев. *Вот-я-вас* (Вот, Вотрушка, Вот-я-вас-опять; слово «Вот» часто начинает собою строфу в «Светлане») — В. Л. Пушкин (1767—1830), автор «Опасного соседа» и сказки «Кабуд путешественник» (напеч. 1818).

Почетный наш баснописец — И. И. Дмитриев (1760—1837), «почетный гусь» «Арзамаса» (эмблемой которого был гусь); об участии Дмитриева, постоянно жившего в Москве, в заседании общества «под знаменем гуся» никаких сведений, однако, нет, и оно, вероятно, не состоялось.

Летний вечер (стр. 215). Впервые — в сборн. «Для немногих», 1818, № IV, апрель, стр. 24—33. Перепечатано в «Сыне отечества», 1821, ч. 73, № XLV, стр. 232—234. Вошло в С, II—V. Перевод стихотворения Гебеля «Der Sommerabend», с сохранением размера подлинника.

Верность до гроба (стр. 217). Впервые — в сборн. «Для немногих», 1818, № III, март, стр. 26—39. Вошло в С, III—V. Вольный перевод стихотворения немецкого поэта-романтика Теодора Кернера (Theodor Kerner, 1791—1813) «Der treue Tod» («Верная смерть»), состоявшего из трех строф, к которым другой поэт, друг Кернера Карл Шаль (1780—1833) прибавил, после гибели Кернера в бою с французами, заключительную четвертую строфу.

Горная дорога (стр. 218). Впервые — в сборн. «Для немногих», 1818, № IV, апрель, стр. 2—7, под заглавием «Горная песня». Вошло в С, III—V. Перевод стихотворения Шиллера «Berglied» («Горная песня»), представляющего точную картину Сен-Готардского перевала через Альпы. У Ж. конкретность описания несколько ослаблена и оно сделано обобщеннее.

Ответ кн. Вяземскому на его стихи «Воспоминание» (стр. 219). Впервые — «Дамский журнал», 1823, № 17, стр. 174. В изд. С, I—V и V-п не вошло. Стихотворение П. А. Вяземского «К воспоминанию», напечатанное также в «Дамском журнале», 1823, № 6, написано было в 1818 году, и Ж., написав ответ, послал его Вяземскому при письме от 17 апреля 1818 года, чем и определяется датировка («Русский архив», 1896, кн. III, стр. 205).

Государыне великой княгине Александре Федоровне на рождение в. кн. Александра Николаевича (стр. 219). Впервые напечатано отдельной брошюрой в двух изданиях, оба — М., 1818, цензурное разрешение 7 мая 1818, с датою: «Апреля 20 дня 1818 года». Перепечатано в сборн. «Для немногих», 1818, № V, май, стр. 1—10. Вошло в С, III—V. Послание вызвано рождением 17 апреля 1818 года в Москве вел. кн. Александра Николаевича, впоследствии — воспитанника Ж. и с 1855 — имп. Александра II, и обращено к его матери, которой в то время Ж. преподавал русский язык; для нее же издавались им, на немецком и русском языках, сборники «Für Wenige. Для немногих» (I—VI, 1818). Стихотворение продолжает мысли и образы послания «Императору Александру», но вводит их в интимно психологическую рамку. Исторические воспоминания обнимают прошлое Москвы: сборы Дмитрия *(Донского)* перед Куликовской битвой

(1380); освобождение Москвы ополчением Минина и *Пожарского* (1612); избрание царем Михаила *Романова* (1613); вступление в Москву *Петра I* после Полтавской победы (1709); празднование *Екатериной II* побед над турками — *Румянцева* на р. Кагуле и русского флота на Эгейском море (здесь неточно названном *Эвксином)* (1770); наконец, пожар Москвы в 1812 году во время занятия ее Наполеоном *(супостат)*. *Младый отец* — вел. кн. Николай Павлович, позднее — Николай I; *праматерь* — имп. Мария Федоровна, вдова Павла I.

Песня («Минувших дней очарованье») (стр. 224). Впервые — «Сын отечества», 1821, ч. 74, № IV, стр. 179, под заглавием «Прежнее время». Вошло в С, III—V, причем в С, V отнесено к 1816 году. Стихотворение посвящено Е. Ф. Вадковской, племяннице А. И. Плещеевой; последняя — родственница и приятельница Ж., умершая в 1817 году, которая прежде горячо поддерживала стремление Ж. жениться на М. А. Протасовой.

Листок (стр. 225). Впервые — в С, III, т. II, 1824. Вошло в С, IV—V, причем в С, V отнесено к 1818 году. Перевод стихотворения французского поэта А. В. Арно (Antoine Vincent Arnault, 1766—1834) «La feuille» («Листок»); в переводе Ж. размер удлинен, а количество строк уменьшено. Стихотворение «La feuille» написано было тогда, когда его автор, бонапартист, находился в изгнании во время Реставрации; судьбу листка читатели и критики сопоставляли с судьбой поэта и других политических изгнанников, гонимых деспотизмом. Пушкин, в статье 1836 года «Французская Академия», писал о «Листке» Арно: «Участь этого маленького стихотворения замечательна. Костюшко перед своею смертью повторил его на берегу Женевского озера; Александр Ипсиланти перевел его на греческий язык; у нас его перевели Жуковский и <Д. В.> Давыдов...» (Полн. собр. соч. в 10 томах, изд. АН СССР, т. VII, 1949, стр. 373—374).

<К М. Ф. Орлову> (стр. 225). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано И. А. Бычковым — «Бумаги В. А. Жуковского. Приложение к Отчету имп. Публичной библиотеки за 1884 год». СПб., 1887, стр. 61, по черновому автографу — Б, № 26, л. 93. Полнее — по тому же автографу в Полн. собр. соч. Ж. под ред. А. С. Архангельского, т. XI, СПб., 1902, стр. 133. Нами печатается по тому же автографу ГПБ. *Рейн* — «Арзамасское» прозвище М. Ф. Орлова (1788—1842), известного боевого генерала, участника войны 1812—1814 годов, видного деятеля Союза благоденствия, в 1822—1823 годах близкого к Южному тайному обществу. Орлов, вступив в «Арзамас» 22 апреля 1817 года (речь его при вступлении см. в изд. «„Арзамас" и арзамасские протоколы», Л., 1933, стр. 206—210), стал одним из инициаторов издания арзамасцами общественно-политического журнала (см. выше, стр. 792). В конце 1817 года Орлов был назначен на службу в Киев, что было замаскированным удалением из Петербурга за вольнолюбие, и здесь, в качестве начальника штаба корпуса, стал деятельно учреждать «ланкастерские» школы взаимного обучения для солдат; школы использовались для политической, антикрепостнической пропаганды, о чем,

повидимому, знал Ж. Под *милой красотой* Ж., возможно, разумеет самого себя — «Светлану» по арзамасскому прозвищу, так как всё послание выдержано в «арзамасском» тоне и могло быть отправлено без подписи. *Санктпетербургский Орлов* — вероятно, брат М. Ф. — Федор Ф. Орлов (1792—1835), позднее служивший и встречавшийся с Пушкиным в Кишиневе. Послание показывает желание Ж. оживить распадающийся «Арзамас». Было ли оно отправлено — неизвестно.

На кончину ее величества королевы Виртембергской (стр. 226). Впервые напечатано отдельной брошюрой, СПб., 1819 (цензурное разрешение 2 февраля 1819), с двумя эпиграфами из произведений Шиллера: первый — стих, заканчивающий монолог Теклы в трагедии «Смерть Валленштейна» (действие IV, явление 12): «Das ist das Loos des Schönen auf der Erde»; он повторен в переводе Ж. в конце первой строфы элегии: «Таков удел прекрасного на свете!»; второй — из стихотворения «Надежда» («Hoffnung», 3-я строфа; даем в буквальном переводе):

Это не пустая обманчивая мечта,
Рожденная в мозгу безумца!
В сердце раздается громко:
К чему-то лучшему мы рождены!
И то, что говорит внутренний голос,
То не обманет надеющуюся душу.

Вошло в С, III—V, причем в последнем отнесено к 1818 году. Написано по случаю внезапной кончины королевы Виртембергской Екатерины Павловны, сестры Александра I, в Штутгарте 28 декабря 1818 (9 января 1819) года. Стихотворение в изданиях снабжено примечаниями, разъясняющими его намеки на обстоятельства смерти королевы и на впечатление от нее в царской семье. Белинский писал об этом стихотворении: «Жуковского можно назвать певцом *сердечных утрат*, и кто не знает его превосходной элегии на «Кончину королевы Виртембергской» — этого высокого католического реквиема, этого скорбного *гимна житейского страдания и таинства утрат?* . . .» (Белинский, т. VII, М., 1955, стр. 185—186).

Цвет завета (стр. 231). Впервые — «Современник», 1837, т. V, стр. 113—117, под заглавием «Цветок» и с датою «1 июля 1819»; вторично в альманахе М. А. Максимовича «Киевлянин», 1840. Вошло в С, IV (т. IX, 1844) и С, V. Стихотворение было написано по желанию ученицы Ж. вел. кн. Александры Федоровны и содержит намеки на события в царской семье. Но поэт вместо заказного сентиментально-придворного мадригала создал глубоко лирическое произведение в духе своего романтического мировоззрения. Об этой замечательной способности Ж. воспринимать заданную тему как свою и наполнять ее чисто субъективным содержанием обменивались мнениями друзья Ж. — П. А. Вяземский и А. И. Тургенев — в письмах по поводу «Цвета завета», тотчас по его создании (Остафьевский архив, т. I, СПб., 1899, стр. 276, 284—285, 292).

К мимопролетевшему знакомому гению (стр. 234). Впервые — «Сын отечества», 1820, ч. 65, № XLII, стр. 86—87. Вошло в С, IV—V, причем в С, V отнесено к 1818 году. Переработка стихотворения «Lied» («Песня») немецкого философа-идеалиста, теоретика романтической эстетики Ф. В. Шеллинга (Friedrich-Wilhelm Joseph Schelling, 1775—1854).

К портрету Гете (стр. 235). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1821, ч. XIII, № 1, стр. 95. В прижизненные С не вошло. Включено в С, V-п, т. XII, стр. 205. Пушкин в письме к Ж. от 20—24 апреля 1825 года писал по поводу ряда стихотворений, не внесенных Ж. в С, III по совету Д. Н. Блудова: «Надпись к Гете, Ах, если б мой милый, Гению — всё это прелесть; а где она? Знаешь, что выдет? После твоей смерти всё это напечатают с ошибками и с приобщением стихов Кюхельбекера. Подумать страшно» (Полн. собр. соч. в 10 томах, изд. АН СССР, т. X, 1949, стр. 141). М. Горький в лекциях 1908—1909 годов по истории русской литературы писал о стихотворении Ж. «К портрету Гете»: «Здесь в четырех строках не только дан очерк Гете — это выше Гете. Здесь заключен общечеловеческий лозунг — Служи свободе, всё познавай, ничему не покоряйся! Таких строк немного в литературе мира» (М. Горький. История русской литературы. М., 1939, стр. 58; первоначально — «Литературный критик», 1937, № 6, стр. 100).

Невыразимое (стр. 235). Впервые — в альманахе «Памятник отечественных муз, изданный на 1827 год Борисом Федоровым», стр. 262—263. Вошло в С, IV—V, причем в С, V отнесено к 1818 году.

«Взошла заря. Дыханием приятным» (стр. 237). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано К. С. Сербиновичем в «Русском архиве», 1873, стлб. 1703—1704, под произвольным заглавием «Утро на горе». Автограф в ГПБ (Б. № 29, л. 30). Нами печатается по автографу. Перевод первых двух строф посвящения («Zueignung») Гете к собранию лирических стихотворений: «Der Morgen kam: es scheuchten seine Tritte den leisen Schlaf.. .» («Утро настало; его шаги изгнали чуткий сон.. .»). Ж. сохранил размер и строфику подлинника — пятистопный ямб в октавах.

Три путника (стр. 237). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, ч. X, № V, стр. 166—167; вторично — в альманахе «Полярная звезда на 1823 год», стр. 391. Вошло в С, III—V; причем в С, V отнесено к 1822 году. Вольный перевод стихотворения Уланда «Die Wirtin Töchterlein» («Дочка хозяйки»). Ж. ослабил простонародные черты подлинника и придал ему балладный характер, заменив при этом народно-немецкие бытовые черты чертами русского быта (светлица, икона).

Подробный отчет о луне (стр. 238). Впервые напечатано отдельной брошюрой под заглавием «Подробный отчет о луне, представленный ее имп. вел. государыне императрице Марии Федоровне 1820 июня 18 в Павловске», СПб., 1820 (ценз. разр.

22 июня 1820 года). Вошло в С, III—V, причем в последнем отнесено ошибочно к 1822 году. Стихотворение в изданиях С снабжено примечанием Ж., где рассказывается об обстоятельствах, вызвавших «отчет», написанный по желанию вдовы Павла I Марии Федоровны, жившей летом в Павловске под Петербургом. «Подробный отчет» представляет своеобразный обзор, в слегка ироническом тоне, разных изображений луны в прежних произведениях автора, т. е. различных аспектов романтического лунного пейзажа. Ж. вспоминает «Людмилу», 1808 *(Когда с усопшим на коне...)*, «Светлану», 1812 *(Когда ж в санях с Светланой мчался...)*, «Адельстана», 1813 *(Я помню: рыцарь Адельстан...)*, «Варвика», 1812 *(Но есть еще челнок у нас...)*, «Вадима» — вторую часть «Двенадцати спящих дев», 1817 *(Когда ж невидимая сила...)*, «Певца во стане русских воинов», 1812 *(Еще была воспета мною...)*, причем в последнем случае литературное изображение соединяется с личными воспоминаниями автора о ночи перед Бородинским боем; «Сельское кладбище», 1802 *(Еще я много описал Картин луны: то над гробами Кладбища сельского она...)*, «Эолову арфу», 1814 *(То вдруг, как в дыме, без лучей...)*, послание к гр. С. А. Самойловой, 1819 *(То вдруг на взморье, где волна...)*.

Песня («Отымает наши радости») (стр. 247). Впервые — «Сын отечества», 1822, ч. 77, № XV, стр. 35—36. Вошло в С, III—V, причем в С, V отнесено к 1822 году. Вольный перевод стихотворения Байрона (1788—1824) «Stanzas for music» («Стансы для музыки»). Это первый перевод Ж. из Байрона, которого Ж. много и с увлечением читал в 1819 и след. годах. Переводя стихотворение, Ж. изменил размер подлинника и внес в перевод несвойственные Байрону черты задумчивой меланхолии, далеко отклоняющиеся от оригинала, почему нужно рассматривать стихотворение не как перевод, но скорее как оригинальное произведение Ж. на мотив Байрона.

«Теснятся все к тебе во храм» (стр. 248). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано И. А. Бычковым («Бумаги В. А. Жуковского. Приложение к Отчету имп. Публичной библиотеки за 1884 год». СПб., 1887, стр. 10), по автографу в дневнике Ж (Б, № 4-в), под датой 4(16) февраля 1821 г., в Берлине. По очень вероятному предположению Ц. Вольпе (т. II, 1940, стр. 533), стихи обращены к вел. кн. Александре Федоровне.

Лалла Рук (стр. 249). Впервые — «Московский телеграф», 1827, ч. XIV, № 5, стр. 3—5, без подписи, с датою 1821 и в составе 9 строф. Вошло в С, IV—V, в составе 8 строф. Приводим откинутую 9-ю строфу:

Кто же ты, очарователь
    Бед и радостей земных?
О небесный жизнедатель,
    Мне знаком ты! для других
Нет тебе именованья:
    Ты без имени им друг!
Для меня ж тебе названье
    Сердце дало: Лалла Рук.

Непосредственным поводом к написанию стихотворения «Лалла Рук» послужил праздник, данный в Берлине 15(27) января 1821 года прусским королем по случаю приезда его дочери — вел. кн. Александры Федоровны и зятя — вел. кн. Николая Павловича, будущего царя Николая I. На празднике были поставлены живые картины на темы, заимствованные из вышедшей в 1817 году поэмы «Lallah Rookh» («Лалла Рук») английского поэта-романтика Томаса Мура (Thomas Moore, 1779—1852). Роль индийской принцессы Лалла Рук исполняла Александра Федоровна, роль ее жениха, бухарского принца Алириса, явившегося ей под видом певца Фераморза, — Николай Павлович. Ж., выполняя придворный заказ, написал романтико-философское стихотворение, к которому тогда же прибавил еще одно — «Явление поэзии в виде Лалла Рук» (см.) и, кроме того, в том же 1821 году перевел из поэмы Мура один из рассказов певца Фераморза «Рай и Пери», под названием «Пери и ангел». В 1831 году Ж. написал стихотворение «Пери», представляющее собою краткое изложение поэмы «Пери и ангел» и оставшееся ненапечатанным при его жизни. О берлинском празднике Ж. вспоминал и позднее, во введении к поэме «Наль и Дамаянти» (см. стр. 650). Образ Лалла Рук стал для него символом поэзии, поэтического вдохновения. Ж. хотел приложить к стихотворению философское рассуждение, написанное тогда же; оно, однако, осталось в рукописях, из которых самые ранние — запись в дневнике Ж. от 4(16) февраля 1821 года в Берлине (ГПБ, Б, № 4-в; см. «Дневники В. А. Жуковского, с примечаниями И. А. Бычкова», СПб., 1901, стр. 101—102) и текст, следующий за стихотворением «Лалла Рук» в письме Ж. к А. И. Тургеневу от 7(19) февраля 1821 года (ПД № 27810/CXCIXб 7; напечатано Вольпе, т. I, 1939, стр. 383—384); сокращенная копия с этого рассуждения, написанная А. С. Пушкиным, сохранилась в архиве последнего (см. в сборнике «Рукою Пушкина», М., 1935, стр. 490—492). Впоследствии Ж. включил текст рассуждения в «Письмо к Н. В. Гоголю» — «О поэте и современном его значении», напечатанное в «Москвитянине», 1848, т. II, № 4, февраль, кн. 2, стр. 14—15; вошло в С, V-п, т. XI, стр. 152—154. Благодаря стихам Ж. имя Лалла Рук сохранилось в творчестве Пушкина связанным с Александрой Федоровной: Пушкин назвал царицу «Лалла Рук» в одной из оставшихся в рукописи строф VIII главы «Евгения Онегина» (Полн. собр. соч. в 10 т., изд. АН СССР, т. V, 1949, стр. 553).

Явление поэзии в виде Лалла Рук (стр. 250). Впервые — в альманахе «Памятник отечественных муз, изданный на 1827 год Борисом Федоровым», СПб., 1827, стр. 4—5, под заглавием «Поэзия, в виде Лалла Рук». Вошло в С, IV—V. По словам Ж. в письме к А. И. Тургеневу от 6(18) февраля 1821 года из Берлина, при посылке ему стихотворения, последнее является переводом немецких стихов, которые «сочинены здесь одною молодою девушкою» (ПД, № 27810/CXCIXб 7). Автор стихов — вероятно, Гедвига Штегеман (Stägemann): «Стихи m-lle Stägemann» упоминает Ж. в дневнике от 1(13) февраля 1821 года («Дневники В. А. Жуковского, с примечаниями И. А. Бычкова», СПб., 1901, стр. 100).

Воспоминание (стр. 251). Впервые — «Московский телеграф», 1827, ч. XV, № 9, стр. 3, под заглавием «К N N». Вошло в С, IV—V, причем в С, V отнесено к 1822 году. Черновой автограф стихотворения записан в дневнике Ж. (ГПБ, Б, № 4-в) под 16(28) февраля 1821 года и дает такое первоначальное чтение двух последних стихов:

Не с грустью говори: на свете их уж нет,
Но с благодарностью: они на свете были, —

после чего следует прозаический текст рассуждения о воспоминании, развивающего тему стихотворения (см. «Дневники В. А. Жуковского, с примечаниями И. А. Бычкова», СПб., 1901, стр. 103—105). Тот же текст рассуждения напечатан в С, V-п, т. XI, стр. 74—79 и частично Вольпе — т. II, 1940, стр. 513—514).

Победитель (стр. 252). Впервые — в альманахе «Полярная звезда на 1823 год», СПб., 1823, стр. 376—377. Вошло в С, III—V. Перевод стихотворения Уланда «Der Sieger» («Победитель»).

Море (стр. 252). Впервые — в альманахе «Северные цветы на 1829 год», СПб., 1828, стр. 152—153. Вошло в С, IV—V, причем в последнем отнесено к 1822 году.

<19> марта 1823 (стр. 253). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано П. А. Ефремовым в С, VII, т. III, стр. 491, по списку П. И. Бартенева с неизвестного подлинника (вероятно, с автографа в альбоме А. А. Воейковой — см. ниже), с заглавием: «9 марта 1823» и с вариантом (ошибочным?) в ст. 4: «Был полон чувств». Беловые автографы в ПД: 1) на листке с записями религиозного содержания, сделанными М. А. Протасовой; на обороте ее подпись: «Marie de Pratassoff. 1813» и под нею — автограф стихотворения Ж. «Ты предо мною», без заглавия и заключительного двустишия (Р. I, оп. 9, ед. хр. 46); 2) в альбоме А. А. Воейковой (№ 22728/CLVIIIб. 3, л. 111), под заглавием (ошибочным?): «9 марта 1823», с заключительным двустишием и с вариантами лишь в пунктуации. Печатаем по этому последнему автографу, с исправлениями в заглавии и пунктуации. Написано, повидимому, в день получения известия о смерти М. А. Мойер, рожд. Протасовой, последовавшей 18 марта 1823 года в Дерпте, от родов. Источником текста стихотворения, по указанию В. М. Жирмунского («Религиозное отречение в истории романтизма», М., 1919, ч. 3, стр. 37), служит стихотворение немецкого романтика К. Брентано (Clemens Brentano, 1778—1842) «Wie war dein Leben» («Какова была твоя жизнь»).

Привидение (стр. 254). Впервые — в альманахе «Северные цветы на 1825 год», СПб., 1824, стр. 257—258. Вошло в С, IV—V, в последнем — под 1822 годом.

Ночь (стр. 254). Впервые — в альманахе «Северные цветы на 1825 год», СПб., 1824, стр. 286. Вошло в С, IV—V, причем в С, V отнесено к 1815 году, что противоречит положению в рукописи ГПБ

(Б, № 26, л. 42). Перевод немецкого романса неизвестного автора «Schon sank auf rosiger Bahn Der Tag in wallende Fluten» («Уже опускался по розовой дороге День в кипящие волны...»). Русский черновой текст в рукописи Б, № 26 написан Ж. карандашом между строками немецкого текста, записанного неизвестною рукою с датой (нем.): «Дерпт, 26 декабря 1823».

«Я музу юную бывало» (стр. 255). Впервые напечатано в С, III (часть III, 1824, курсивом, на вклейке после текста, между стр. 424 и 425). Вошло в С, IV (т. VI, СПб., 1836, стр. 262—263) как эпилог стихотворной части издания; в С, V отсутствует. Стихотворение является посвящением нового издания стихотворений — гению поэзии, вдохновившему их. Утверждение Ц. Вольпе (т. II, 1940, стр. 515), на основании указания К. К. Зейдлица, что это — посвящение издания вел. кн. Александре Федоровне, едва ли справедливо. Стихотворение написано, всего вероятнее, не перед прохождением С, III через цензуру (4—6 декабря 1822), а перед выходом его в свет (т. е. в январе—начале марта 1824). Выражение «Гений чистой красоты», повидимому, отсюда введено Пушкиным в стихотворение «К *<А. П. Керн>» (1825), имеющее тот же смысл — обращения поэта к своему творческому вдохновению, воплощенному в женском образе.

Таинственный посетитель (стр. 256). Впервые — в альманахе «Северные цветы на 1825 год», СПб., 1824, стр. 258—260. Вошло в С, IV—V; в последнем отнесено к 1822 году, что противоречит положению в рукописи. Одно из характернейших произведений медитативной лирики Ж.

Мотылек и цветы (стр. 257). Впервые — в альманахе «Северные цветы на 1825 год», СПб., 1824, стр. 357—359, с примечанием: «Стихи, написанные в альбоме Н. И. И., на рисунок, представляющий бабочку, сидящую на букете из pensées <анютиных глазок> и незабудок». Вошло в С, IV—V, причем в С, V помещено под 1822 годом.

К Гете (стр. 259). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано в изд. «Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу», Лейпциг, 1872, стр. 115; вошло в С, VII, т. II, 1878, стр. 412. Стихотворение написано во время пребывания Ж. в Веймаре у Гете, с которым Ж. виделся и беседовал 4, 5 и 6 сентября н. ст. 1827 года. Ж., написав свое стихотворение, перевел его на немецкий язык и преподнес Гете. См. также «Дневники В. А. Жуковского, с примечаниями И. А. Бычкова», СПб., 1901, стр. 203—204.

Homer (Гомер) (стр. 259). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано И. А. Бычковым в приложении к «Отчету имп. Публичной библиотеки за 1884 год». СПб., 1887, стр. 177, по рукописи ГПБ (Б, № 125, б., л. 4). Перевод стихотворения немецкого поэта и ученого Гердера (Johann Gottfried Herder, 1744—1803); немецкий текст помещен Ж. в его журнале «Собиратель», 1829, № 2, стр. 29

Замок на берегу моря (стр. 260). Впервые — в журн. «Муравейник», 1831, № IV, стр. 22. Вошло в С, IV—V, причем в С, V отнесено ошибочно к 1832 году. Перевод стихотворения Уланда «Das Schloss am Meere» («Замок при море»), в сокращении и с изменением размера.

Приход весны (стр. 260). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано К. С. Сербиновичем в «Русском архиве», 1873, № 9, стлб. 1701, под заглавием «Появление весны» и с разночтениями; мы печатаем по автографу ГПБ (Б, № 30, л. 49_2), находящемуся среди стихотворений 1831 года (И. А. Бычков. «Бумаги В. А. Жуковского. Приложение к Отчету имп. Публичной библиотеки за 1884 год». СПб., 1887, стр. 93). Вольный перевод стихотворения Уланда «Lob des Frühlings» («Похвала весне»).

К Ив. Ив. Дмитриеву (стр. 261). Впервые — в альманахе «Северные цветы на 1832 год», стр. 11—13, под заглавием «Ответ Ивану Ивановичу Дмитриеву». Вошло в С, IV—V, причем в последнем отнесено к 1822 году. Стихотворение является ответом на послание Дмитриева «Василию Андреевичу Жуковскому, по случаю получения от него двух стихотворений на взятие Варшавы», т. е. стих. «Старая песня на новый лад» и «Русская слава»; послание Дмитриева было напечатано в «Северных цветах» вместе с ответом Ж. Дмитриев, пользуясь конструкцией стихотворения Ж. «Русская слава» — «Была пора... Пришла пора...», — писал:

Была пора: питомец русской славы,
И я вослед Державину певал...

Пришла пора: увянул, стал безгласен,
И лиру прах в углу моем покрыл...

Взыграй же дух! Жуковский, дай мне руку...

Свои стихи, до их напечатания, Ж. послал Дмитриеву при письме от 16 октября 1831 года. Этот текст послания Ж. отличается от печатного: в нем 4 и 5 строфы читаются так:

В досужный час, венком из роз обвитый,
Касался им Эрот своей стрелой,
И резвые внимали им хариты,
Склоняся на руку главой.

Игривую шутливость пробуждала
Камена в них, согласная с певцом,
И баснями гостей его пленяла
Перед домашним камельком.

(«Русский архив», 1866, стлб. 1634). Называя себя одним из «питомцев» «вдохновений» Дмитриева и соединяя его имя с именем Карамзина, Ж. точно определял истоки своего творчества в начальный его период, а также свою идейную связь, сохранившуюся на всю жизнь с двумя основными представителями русского дворян-

ского сентиментализма. Строфа 4-я *(Ты нам воспел, как «буйные Титаны. . .»)* представляет собою цитату — слегка перефразированное (для соблюдения размера) начало стихотворения И. И. Дмитриева «Глас патриота на взятие Варшавы», 1794. Под названием *Титанов* (героев античной мифологии, восставших против Зевса и других богов) разумеются вожди Польского национально-освободительного восстания 1794 года — Т. Костюшко и другие. *Астрея* — древнегреческая богиня справедливости, правившая в «золотом веке», здесь разумеется Екатерина II.

Ночной смотр (стр. 262). Впервые — «Современник», 1836, т. I, стр. 14 (цензурное разрешение 31 марта 1836 года). Вошло в С, IV—V. Перевод стихотворения австрийского поэта И. Х. фон Цедлица (Joseph Christian von Zedlitz, 1790—1862) «Die nächtliche Herschau», без сохранения, однако, особенностей стиха и строфики оригинала. Первоначально Ж. перевел «Ночной смотр» иным размером:

В двенадцатом часу
Из гроба, каждой ночью,
Выходит барабанщик.
Идет он скорым шагом,
Сначала бьет он зорю,
Потом он бьет к молитве,
Потом он бьет тревогу —

и т. д. (ГПБ, Б, № 26, л. 48; см. Вольпе, т. I, 1939, стр. 344—345). «Ночной смотр» Ж высоко ценился Пушкиным, поместившим его в первом номере своего «Современника». Денис Давыдов писал об этом Ж.: «Мне Пушкин пишет, что ты в журнал его дал такие стихи, что мой белый локон дыбом станет от восторга». Белинский, в рецензии на пушкинский «Современник», отметил: «Ночной смотр» — «одно из тех стихотворений, которых у нас теперь в целый год является не больше одного или двух... Это истинное перло поэзии как по глубине поэтической мысли, так и по простоте, благородству и высокости выражения» (Белинский, т. II, М., 1953, стр. 179).

<Из альбома, подаренного гр. Растопчиной> (стр. 263). При жизни Ж. не печаталось. Впервые опубликовано М. П. Погодиным в газете «Русский», 1867, л. 11, 24 апреля, стр. 164, очень неточно, по подлиннику, теперь неизвестно где находящемуся. Ж. написал девять коротких стихотворений (и, кроме того, посвящение к «Ундине») в альбоме, заготовленном Пушкиным для записи своих стихов, но оставшемся пустым и после его смерти перешедшем к Ж. Записав стихи, Ж. подарил альбом поэтессе гр. Е. П. Ростопчиной при письме от 25 апреля 1838 года (см письмо Ж. в «Стихотворениях гр. Е. П. Ростопчиной», изд. 2-е, т. I, СПб., 1857, стр. 211, и стихотворный ответ Ростопчиной «Черновая книга Пушкина» — «Современник», 1839, т. XV, стр. 132). Текст, напечатанный в газете «Русский», вошел в С, VII, т. III, стр. 475—477. Исправления в него внесены Ефремовым в «Русской старине», 1880,

т. XXVIII, июль, стр. 532, и вторично, по списку П. И. Бартенева, в С, IX, 1894, т. III, стр. 135. Первые восемь стихотворений имеют общеморальный смысл, выраженный в формах греческой антологической поэзии. Девятое стихотворение, печатаемое нами, передает размышления Ж. у тела Пушкина и представляет переложение стихами отрывка известного письма Ж. к С. Л. Пушкину о смерти его сына-поэта.

«Ведая прошлое, видя грядущее» (стр. 264). При жизни Ж. не печаталось. Опубликовано впервые Вольпе, т. II, 1940, стр. 276, по автографу ПД (27769/CXCVIII б. 40). Помета на рукописи: «Стокгольм. 1838». Здесь же Ж. выписал шесть стихов неизвестного шведского поэта, послуживших оригиналом для перевода. Дата определяется записями в дневнике Ж. (изд. 1901, стр. 382—387).

Сельское кладбище (стр. 264). Впервые — «Современник», 1839, т. XVI, стр. 216—226, под заглавием «Сельское кладбище. Греева элегия» и с пометой в оглавлении: «Новый перевод В. А. Жуковского», с тремя рисунками кладбища в Виндзоре, описанного Греем, сделанными Ж. с натуры и литографированными на отдельных листах, с его же объяснениями к рисункам и со следующим примечанием: «Греева элегия переведена мною в 1802 г. и напечатана в *Вестнике Европы,* который в 1802 и 1803 г. был издаваем Н. М. Карамзиным. Это мое *первое напечатанное стихотворение.* [1] Оно было посвящено тогда Андрею Ивановичу Тургеневу. [2] Находясь в мае месяце 1839 года в Виндзоре, я посетил кладбище, подавшее Грею мысль написать его элегию (оно находится в деревне Stock-Poges <Сток-Поджс>, неподалеку от Виндзора); там я перечитал прекрасную Грееву поэму и вздумал снова перевести ее, как можно ближе к подлиннику. Этот второй перевод, почти через сорок лет после первого, посвящаю Александру Ивановичу Тургеневу в знак нашей с тех пор продолжающейся дружбы и в воспоминание о его брате». Вошло в С, IV—V, причем в С, V с подзаголовком «Второй перевод из Грея» и ошибочной датировкой 1838 годом. К словам примечания: «Этот второй перевод... посвящаю Александру Ивановичу Тургеневу... в воспоминание о его брате» — здесь добавлено: «И его уже нет» (Александр И. Тургенев умер в 1845 году). Этот вторичный перевод элегии Грея (первый перевод, 1802 года, см. выше, стр. 66) значительно точнее, чем первый, но отступает от размера подлинника, передавая его гекзаметром.

Бородинская годовщина (стр. 268). Впервые напечатано отдельной брошюрой (М., 1839, с датой: Бородино, 26 августа 1839: цензурное разрешение 28 августа, затем — в «Современнике», 1839, т. XVI, стр. 205—213, с пометою: «Бородино, 26 августа 1839» и с письмом Ж. к вел. кн. Марии Николаевне от 5 сентября 1839 года, где Ж. рассказывает о Бородинских торжествах и об

---

[1] Это указание Ж. ошибочно: первым напечатанным его стихотворением было «Майское утро» — см. выше, стр. 769 *(Ред.).*

[2] Он умер в 1803 году. *(Прим. Ж.)*

обстоятельствах создания стихотворения; также — в «Отечественных записках», 1839, т. V, отд. III, стр. 347—352. Вошло в С, IV—V. Время написания определяется записями в дневнике Ж. — изд. 1901, стр. 504. Стихотворение посвящено празднованию открытия памятника на Бородинском поле, приуроченному к годовщине Бородинского сражения, 26 августа 1839 года. В письме к вел. кн. Марии Николаевне Ж., вспомнив то, что было здесь за 27 лет, когда «две армии стали на этих полях одна перед другой: в одной Наполеон и все народы Европы, в другой — одна Россия», — писал далее: «Теперь на Бородинском поле была картина иная. Батареи на высотах исчезли, на них переливается жатва и один монумент бородинский ими владычествует...» В стихотворении Ж., как бы продолжая мотивы «Певца во стане русских воинов», поминает ряд деятелей Отечественной войны 1812 года, умерших до празднования годовщины и частью упомянутых в строфах «Певца»: М. И. Кутузова-Смоленского, умершего в 1813 году, М. Б. Барклая де Толли (ум. 1818), который, после назначения Кутузова главнокомандующим, остался под его начальством (почему он и *пример смиренья*), а в 1814 году был вновь главнокомандующим русскими войсками, занявшими Париж; П. П. Коновницына (ум. 1822), Н. Н. Раевского (ум. 1829), М. И. Платова (*Наш Вихорь-Атаман*, ум. 1818), М. А. Милорадовича (ум. 1825), Д. С. Дохтурова (ум. 1816), гр. П. А. Строганова (ум. 1817; сын его, молодой офицер, был убит на его глазах в битве при Кране в 1814 году; об этом вспоминал Пушкин в одной из черновых строф VI главы «Евгения Онегина» — см. в Акад. изд. соч. Пушкина, т. VI, 1937, стр. 412); Э. Ф. Сен-При (убит в 1814 году под Реймсом), С. Н. Ланского (убит в 1814 году под Краном), А. П. Тормасова (ум. 1819), Д. П. Неверовского (убит в 1813 году под Лейпцигом), А. Ф. Ланжерона (ум. 1831), Л. Л. Беннигсена (ум. 1826), Д. В. Давыдова — поэта-партизана (*Боец, сын Аполлонов*), умершего 22 апреля 1839 года, не дождавшись Бородинского торжества, где он должен был участвовать в качестве командира почетного конвоя при перенесении на поле битвы праха П. И. Багратиона, погребенного на месте его смерти во Владимирской губернии; Александра I, которого официально-монархическая легенда, выражаемая и Ж., считала «спасителем» России и Европы в 1812—1814 годах и который умер неожиданно для всех 19 ноября 1825 года, в далеком Таганроге; наконец, Наполеона, умершего 5 мая 1821 года на острове св. Елены. Далее Ж. вспоминает события позднейших лет: русско-турецкую войну 1828—1829 годов (*До Стамбула русский гром*... и т. д.; *северный Аякс* — И. Ф. Паскевич), Польское восстание 1830—1831 годов (*мятеж великий*), военно-морскую демонстрацию русского флота у Босфора весною 1833 года (*И, нежданная ограда*... и т. д.), приведшую к заключению выгодного для России договора с Турцией. Воспоминанием о смерти Багратиона, перенесенного в новую могилу — на поле Бородина, — заканчивается стихотворение. «Бородинская годовщина» Ж. послужила одним из предметов рецензии Белинского под тем же названием, напечатанной в «Отечественных записках», 1839, т. VI, № 10 (Белинский, т. III, М., 1953, стр. 240—260) и явившейся одним из первых и наиболее ярких выражений теории «примирения с действительностью»,

владевший тогда критиком; впрочем, Белинский в своей статье отнесся к художественной стороне стихотворения Ж. очень сдержанно.

Стихотворения, посвященные П. В. и А. В. Жуковским (стр. 273). Впервые напечатаны в отдельном издании — сборнике: «Стихотворения, посвященные Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуковским. Карлсруэ, 1852». Вошли в С, V-п. т. X, стр. 167. Дети Ж. от брака его в 1841 году с Елизаветой Рейтерн (1821—1856) — сын Павел (1845—1912) и дочь Александра (1842—1899) — по этим стихотворениям обучались русскому языку, которого они не знали, живя в Германии и в чисто немецком домашнем окружении. В сборнике, вместе с четырьмя «детскими» стихотворениями, были напечатаны «Царскосельский лебедь» и «Народная песня».

Царскосельский лебедь (стр. 276). Впервые — в сборн. «Стихотворения, посвященные П. В. и А. В. Жуковским», Карлсруэ, 1852. Вошло в С; V-п, т. X, стр. 160. На экземпляре сборника, подаренном Ж. священнику И. И. Базарову, слуга Ж. Василий Кальянов написал под диктовку Ж.: «Этот лебедь не выдумка, а правда. Я сам видел в Царском селе старого лебедя, который всегда был один, никогда не покидал своего уединенного пруда, и когда являлся в обществе молодых лебедей, то они поступали с ним весьма неучтиво. Его называли Екатерининским лебедем» («Русский архив», 1869, № 1, стлб. 98). 7 декабря 1851 года Ж. писал П. А. Плетневу: «Посылаю вам новые мои стихи, биографию лебедя, которого я знавал во время оно в Царском селе... Мне хотелось просто написать картину лебедя в стихах, дабы моя дочка выучила их наизусть; но вышел не простой лебедь; посылаю его вам; может быть, в его стихотворной биографии вы найдете ту же старческую хилость ее автора, какой страдал описанный им лебедь» (Сочинения Плетнева, т. III, СПб., 1885, стр. 723). Стихотворение было воспринято современниками как предсмертная исповедь престарелого поэта. В описании Царскосельского парка упоминаются памятники русским победам над турками в войне 1769—1774 годов: морской битве при Чесме в Эгейском море и битве при Кагуле под командованием П. А. Румянцева (обе — 1770).

БАЛЛАДЫ

Людмила (стр. 281). Впервые — «Вестник Европы», 1808, № 9, май, стр. 41—49, с подзаголовком «Русская баллада» и с примечанием: «Подражание Биргеровой *Леоноре*». В этом тексте к стиху: *Конь мой, конь, бежит песок* сделано примечание: «В песочных часах». Вошло в С, I—V, БП. Вольное переложение баллады «Ленора» («Lenore»), написанной в 1773 году немецким поэтом Г. А. Бюргером (Gottfried August Bürger, 1747—1794), одним из крупнейших представителей немецкого предромантизма. Бюргер, взяв тему из немецких народных преданий, написал свою балладу, сохраняя свежесть, порою грубоватую, народного языка, суровую

реалистичность обстановки и образов. Жуковский смягчил оригинал, сообщил оттенок меланхоличности и мечтательности, усилил религиозно-моралистический элемент, идею смирения перед «волей божией». Он изменил размер подлинника — четырехстопный ямб Бюргера передал хореем. Он придал балладе некоторые русские исторические черты: перенес место действия в древнюю Русь XVI—XVII века (упоминание о Литве и Нареве — Нарве, т. е. о Ливонских войнах), ввел русское литературное имя Людмилы, русские понятия (рать славян, дружина, терем), литературно-песенные обороты (надежда-сладость, борзый конь, ветер буйный). «Людмила» стала образцом русских баллад и может по справедливости считаться началом русского романтизма. По словам Белинского, она «явилась кстати», имела успех, подобный успеху «Душеньки» Богдановича и «Бедной Лизы» Карамзина, потому что «для русской публики всё было ново в этой балладе... «Людмила» в то время могла быть написана только Жуковским, — и стихи этой баллады не могли не удивить всех своей легкостью, звучностью, а главное — своим складом, совершенно небывалым, новым и оригинальным». «Все произведения, — заключал критик, — которыми таланты угадывали и удовлетворяли потребности времени, должны сохраняться в истории... К таким произведениям принадлежит и «Людмила» Жуковского» (Белинский, т. VII, М., 1955, стр. 167—169). Позднее Ж. еще два раза обращался к «Леноре» Бюргера — в балладах «Светлана» (1812) и «Ленора» (1831). О полемике вокруг «Людмилы» в 1816 году см. во вступительной статье.

Кассандра (стр. 288). Впервые — «Вестник Европы», 1809, № 20, октябрь, стр. 258—263, с примечанием: «Читателям известно, что Ахиллес, сын богини Фетиды и Пелея (почему и называется он здесь Пелидом), в ту самую минуту, когда он стоял перед брачным алтарем с Поликсеною, дочерью Троянского царя Приама, убит Парисом, которого стрелою управлял Аполлон. Кассандра, сестра Поликсены, будучи жрицею Аполлона, имела несчастный дар предвидеть будущее. В. Ж.» Вошло в С, I—V, БП, с примечанием, данным в новой редакции. Перевод баллады Шиллера «Kassandra», сюжет которой заимствован из мифов Троянского цикла, не вошедших в «Илиаду» и «Одиссею» (так называемых «киклических поэм»). Согласно мифу, пророческий дар Кассандры был ее проклятием, так как, по воле богов, она предсказывала лишь бедствия, и никто не верил ее предсказаниям. В словах *И моей любви открылся* Кассандра говорит о своем неосуществившемся браке с царем Фригии Корэбом, которому она же предсказала смерть. В последней строфе осуществляется предвидение Кассандры: Ахиллес убит, *машут Фурии змеями,* т. е. являются богини мщения — Фурии (римской мифологии), Эриннии (греческой), — с змеями вместо волос на головах; *боги мчатся к небесам,* т. е. покидают Трою (Пергам), предоставляя ее судьбе; *карающий громами* — Зевс, обрекающий гибели отягченный преступлением Пергам.

Светлана (стр. 291). Впервые — «Вестник Европы», 1813, № 1 и 2, январь, стр. 67—75, с подзаголовком «(Ал. Ан. Пр...вой)», т. е. Александре Андреевне Протасовой, по мужу

Воейковой, племяннице Ж., получившей в жизни и в поэзии Ж. прозвище «Светлана». Вошло в С, I—V, БП. Второе обращение Жуковского к сюжету «Леноры» Бюргера (см. «Людмилу» и позднейшую «Ленору») — переложение, еще более свободное, чем первое. «Светлана» продолжает путь «Людмилы», разрабатывая мотивы романтической народности, понимаемой как изображение русских народных обычаев, святочных гаданий и т. д. Вместе с тем «Светлана» является наиболее оригинальной из баллад Жуковского как по своему народному колориту, так и по своему, противоречащему балладной традиции, оптимистическому и даже шутливому характеру со счастливым концом и с отказом от фантастики путем введения реальной ее мотивировки в виде сна Светланы. Баллада имела успех не меньший, чем «Людмила». По позднейшему отзыву Белинского, она «была признана его (Жуковского) chef d'oeuvre (лучшим произведением), так что критики и словесники того времени... титуловали Жуковского певцом Светланы» (Белинский, т. VII, М., 1955, стр. 170). О широкой популярности баллады, вошедшей в быт русского общества 10—20-х годов, свидетельствует и то, что «Светлана» неоднократно вспоминается Пушкиным в его творчестве: в «Евгении Онегине» взят из нее эпиграф к пятой главе (ср. другой эпиграф из нее же в беловой рукописи — Пушкин, Акад. изд. в 16 томах, т. VI, 1937, стр. 602); гадание Светланы вспоминается поэту по поводу гадания Татьяны (глава пятая, строфа X); именем Светланы — в его привычном, бытовом употреблении — называет Ленский Татьяну, цитируя балладу («та, которая бледна и молчалива, как Светлана» — глава третья, строфа V); два отрывка из баллады взяты эпиграфом к повести «Метель». Критик и поэт-декабрист В. К. Кюхельбекер, жалуясь в 1824 году на однообразие, измельчание, несамостоятельность современной поэзии, главное — на отсутствие в ней народности, писал: «Печатью народности ознаменованы какие-нибудь 80 стихов в «Светлане» и в «Послании к Воейкову» Жуковского...» («О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» — альманах «Мнемозина», ч. II, 1824, стр. 38).

Пустынник (стр. 298). Впервые — «Вестник Европы», 1813, № 11 и 12, июнь, стр. 179—185. Вошло в БП и в С, I—V, причем в С, I—II отнесена к 1812 году, а в С, V — к 1813-му. Перевод баллады «The Hermit» («Отшельник») Оливера Гольдсмита (см. выше стр. 771). Ж. при переводе несколько изменил размер (вместо одних мужских рифм ввел перекрестные) и заменил имя героини Ангелина — Мальвиной.

Адельстан (стр. 303). Впервые — «Вестник Европы», 1813, № 3 и 4, февраль, стр. 212—218, с подзаголовком «Баллада (Перевод с английского)». Вошло в БП и в С, I—V, причем в С, V датировано 1813 годом. Перевод баллады «Rudiger» («Радигер») английского поэта-романтика Р. Саути (Robert Southey, 1774—1843), представителя консервативной «озерной» школы, разрабатывавшего в ряде произведений средневековые легенды. Ж. не раз обращался к его творчеству (см. ниже). Баллада Саути представляет собою обработку мотива, связанного с циклом сказаний о Лоэн-

грине, «рыцаре лебедя», сыне Парсифаля (давшем сюжет для оперы Р. Вагнера того же названия). На связь с Лоэнгрином указывает двукратное появление лебедя, влекущего по Рейну челн, в котором плывет рыцарь. Но Саути сделал героя баллады не защитником справедливости и правды, каким является Лоэнгрин, а грешником, за земное наслаждение обещавшим дьяволу жизнь своего первенца. При переводе Ж. изменил некоторые собственные имена: в подлиннике герой называется Радигером, его жена — Маргарет, замок — Вальдхерстом. Но в других, существеннейших, чертах перевод очень точен.

Ивиковы журавли (стр. 308). Впервые — «Вестник Европы», 1814, № 3, февраль, стр. 200—205. Вошло в С, I—V, БП, причем в С, II отнесено к 1813 году, а в С, V — к 1810-му. Перевод баллады Шиллера «Die Kraniche des Ibykus». Ивик — полулегендарный древнегреческий странствующий певец, живший в VI веке до н. э. В балладе использовано предание, сложившееся, впрочем, значительно позднее, о том, как Ивик был убит разбойниками и как убийство раскрылось благодаря свидетелям-журавлям, названным убийцами под впечатлением трагического хора на сцене. В текстах С. некоторые места баллады снабжены примечаниями Ж. К стиху *На Посидонов пир веселый* и дальнейшим: «Под словом «Посидонов пир» разумеются здесь «игры Истмийские», которые отправляемы были на перешейке (Истме) Коринфском, в честь Посидона (Нептуна). Победители получали сосновые венцы. Гела, Элла, Эллада — имена древней Греции». *Лишь Гелиос то зрел священный:* «Гелиос имя солнца у греков». *И тихо выступает хор:* «Хор эвменид (эринний, фурий). Сии богини, дщери Нощи и Ахерона, открывали тайные преступления, преследовали виновных и мстили им на земле и в аде». В интерпретации античного предания Шиллером убийцы присутствуют на представлении трагедии Эсхила «Эвмениды», хор которых, выступающий на сцене, напомнив о совершенном ими преступлении, поражает их мыслью о неизбежности отмщения. Отсюда — невольное восклицание одного из убийц при появлении журавлей — у Шиллера: «Смотри, смотри, Тимофей»; у Жуковского: «Парфений, слышишь? .. крик вдали».

Варвик (стр. 313). Впервые — «Амфион», 1815, апрель, кн. VI, стр. 59—66, с пометой «С англин.<ского>». Вошло в БП и С, I—V. Перевод баллады Саути «Lord William» («Лорд Уильям»). Ж. в переводе заменил четырехстопные стихи с женскими окончаниями — пятистопными; изменил имена: Эдмунда на Эдвина (в первоначальном наброске — Артур), лорда Уильяма (Вильяма) на Варвика, название реки Северн — на Авон; распространил пейзажные элементы баллады. С другой стороны, Ж. опустил диалоги между гребцом и толпой на берегу, гребцом и лордом Уильямом, заменив их строфами 24—26; вероятно, вся сцена показалась ему слишком бытовой и нарушающей общий мрачный колорит рассказа.

Баллада, в которой описывается, как одна старушка... (стр. 318). Впервые — Б и П. Вошло в С, IV—V. Перевод баллады Р. Саути «The old woman of Berkeley. A Ballad,

shewing how an old woman rode double and who rode before she». («Старуха из Беркли. Баллада, показывающая, как одна старуха ехала верхом вдвоем и кто ехал перед ней»). Баллада Ж. долго оставалась ненапечатанной из-за цензурных препятствий, неожиданно возникших в 1814—1815 годах. В середине 20-х годов Ж. вновь представил балладу в цензуру, чтобы поместить ее в «Московском телеграфе» под новым заглавием — «Ведьма», но она была вновь запрещена с такой мотивировкой цензора: «Баллада «Старушка», ныне явившаяся «Ведьмой», подлежит вся запрещению, как пьеса, в которой дьявол торжествует над церковью, над богом» («Русская старина», 1887, т. LVI, ноябрь, стр. 485). «Торжество» дьявола выражается в том, что он входит в самую церковь через разрушенные двери, побеждая все усилия духовенства задержать его. Чтобы провести балладу в печать, Ж. пришлось переделать конец — «ослабить» могущество дьявола и не допустить его внутрь храма. Эта цензурная переработка была, однако, связана и со стилистическим пересмотром всей баллады. Поэтому доцензурная редакция не может быть безоговорочно и полностью введена в основной текст, как это делает Ц. Вольпе (т. I, 1939, стр. 160—167 и 346—347); но нельзя не считаться также и с тем, что переделка строф 41, 42 и 45 была вызвана только цензурными соображениями. Поэтому мы, взяв за основу текста печатную редакцию Б и П 1831 года (по С, V, 1849), печатаем строфы 41, 42 и 45 в их последней доцензурной редакции, по беловому автографу ИРЛИ — ПД (Р. I, оп. 9, ед. хр. 8). Смягченная по цензурным соображениям редакция, вошедшая в печатный текст С, IV—V, такова (строфы 41 и 42):

И *Он* предстал весь в пламени очам,
Свирепый, мрачный, разъяренной;
Но не дерзнул войти он в божий храм
И ждал пред дверью раздробленной.

И с громом гроб отторгся от цепей,
Ничьей не тронутый рукою;
И вмиг на нем не стало обручей...
Они рассыпались золою.

Строфа 45:

Шатаяся, пошла она к дверям:
Огромный конь чернее ночи,
Дыша огнем, храпел и прыгал там,
И как пожар пылали очи.

Сюжет баллады некоторыми чертами — последовательным описанием трех ночных служб у гроба ведьмы — близок к соответствующим эпизодам повести Гоголя «Вий». Последняя написана прежде всего на основании украинских народных преданий и поверий; в этой связи следует отметить, что в беловой доцензурной рукописи Ж. (ПД, Р. I, оп. 9, ед. хр. 8) баллада носила заглавие: «Баллада о том, как одна киевская старушка ехала...» и т. д. — т. е. переносилась в украинскую обстановку и связывалась в какой-то степени с украинским фольклором.

Алина и Альсим (стр. 324). Впервые — «Амфион», 1815, июнь, кн. VI, стр. 100—108. Вошло в БП и в С, I—V. Перевод стихотворения французского поэта-классициста, автора романсов и песен, Фр. Ог. Паради де Монкрифа (Fr. Aug. Paradis de Moncrif, 1687—1770) «Les constantes amours d'Alix et d'Alexis. Romance: sur un air Languedocien» («Верная любовь Алисы и Алексея. Романс на Лангедокский напев»), представляющего собою стилизацию на мотивы старой провансальской поэзии. Ж. вложил в перевод автобиографические черты: история Алины и Альсима напоминает отношения Ж. к его племяннице М. А. Протасовой, а роль матери Алины подобна роли матери М. А. Протасовой — сводной (по отцу) сестры Ж. Е. А. Протасовой, рожд. Буниной. Отсюда — интимно-лирическое звучание баллады, несмотря на средневековый сюжет. Те же автобиографические черты сказываются и в другой балладе этого времени — «Эльвина и Эдвин», переложенной из английского поэта XVIII века Д. Маллета. В. Г. Белинский, отметив сентиментальность баллады, вместе с тем указал на «великое достоинство» ее «для своего времени» благодаря ее человечности: «ее содержание... исполнено смысла и должно было иметь самое разумное влияние на свое время» (Белинский, т. VII, М., 1955, стр. 170).

Ахилл (стр. 330). Впервые — «Вестник Европы», 1815, № 4, февраль, стр. 243—251. Вошло в БП и в С, I—V. Оригинальное произведение Ж., написанное по мотивам «Илиады» и других мифов Троянского цикла (в «Илиаде» нет эпизода, вполне соответствующего балладе), а также под воздействием баллад Шиллера на античные темы (ср. выше «Кассандру» и ниже «Торжество победителей»). Основной мыслью баллады является мысль о судьбе, господствующей над жизнью и делами людей и от которой невозможно уклониться; но вместе с тем мысль и о том, что мужество героя выше судьбы и если герой не может победить ее, то, по крайней мере, презирает во имя братского долга и воинской славы; можно думать, что эта последняя мысль подсказана была Ж. героическими событиями 1812 года, когда задумана баллада. Сюжет истолкован в примечаниях Ж. *К заглавию:* «Ахиллу дано было на выбор: или жить долго без славы или умереть в молодости со славою — он избрал последнее и полетел к стенам Илиона. Он знал, что конец его вскоре последует за смертию Гектора — и умертвил Гектора, мстя за Патрокла. Сия мысль о близкой смерти следовала за ним повсюду, и в шумный бой и в уединенный шатер; везде он помнил об ней; наконец он слышал и пророческий голос коней своих, возвестивший ему погибель». *С колесницею Приам:* «Приам приходил один ночью в греческий стан молить Ахилла о возвращении Гекторова тела. Мольбы сего старца тронули душу грозного героя: он возвратил Приаму обезображенный труп его сына, и старец невредимо возвратился в Трою». *И скрыпят врата Аида:* «Аидом назывался у греков ад; Плутон был переименован Айдонеем». *Ты не жди, Менетий, сына:* «Менетий — отец Патрокла». *Поплывет Неоптолем:* «Пирр — сын Ахилла и Деидамии, прозванный Неоптолемом. В то время, когда Ахилл ратовал под стенами Илиона, он находился в Скиросе у деда своего царя Ликомеда». Имена и названия

в балладе: *Ида* — гора близ Трои (*Илиона*); *Парка* — одна из трех богинь, исполнительниц судьбы, свивающих нить жизни человека; *Тенар* — место входа в загробный мир; *Сперхий* — река в Греции, на родине Ахилла, которой герой, по обычаю, обязался принести в жертву свои волосы в случае благополучного возвращения из-под Трои; *Стикс* — в греч. мифологии река, отделяющая мир живых от мира мертвых; перевозчик *Харон* через нее переправляет в Аид души умерших; *Ксант* и *Симоис* — реки, протекавшие под Троей.

Эолова арфа (стр. 336). Впервые — «Амфион», 1815, март, кн. III, стр. 61—71. Вошло в БП и в С, I—V. Оригинальное произведение Ж., написанное по мотивам поэм Оссиана, воспринятых с их лирико-сентиментальной, а не эпико-героической стороны. Баллада содержит и несомненные автобиографические черты: сюжет ее — трагическая любовь бедного певца и знатной девушки — напоминает отношения Ж. к М. А. Протасовой (ср. баллады «Алина и Альсим», «Эльвина и Эдвин»). Баллада замечательна сложной структурой строфы, состоящей из трех четырехстопных и пяти двухстопных амфибрахиев, полных и неполных. Собственные имена в балладе — Морвена, Ордал, Минвана, Арминий — вымышлены Ж., отчасти на основании имен Оссиановских поэм. Белинский писал об «Эоловой арфе»: «она — прекрасное и поэтическое произведение, где сосредоточен весь смысл, вся благоухающая прелесть романтики Ж.». «Надо живо помнить первые лета своей юности, . . . чтобы понять, какое глубокое впечатление должны производить на юную душу. . . прекрасные стихи последнего куплета баллады. . .» (Белинский, т. VII, М., 1955, стр. 171).

Мщение (стр. 343). Впервые — «Невский зритель», 1820, февраль, стр. 85. Вошло в БП и С, III—V. Перевод баллады Уланда «Die Rache».

Гаральд (стр. 343). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, ч. IX, № III, стр. 311—313. Вошло в БП и С, III—V, причем в С, V исключена строфа, следовавшая за третьей:

Чей сладко так приманчив глас?
   Что душу всю мутит?
Что прижимается и льнет
   К бойцам под твердый щит?

Перевод баллады Уланда «Harald», сюжет которой почерпнут из средневековых легенд о короле Дании и Швеции Гаральде Хильдетанде (конец VII века н. э.).

Три песни (стр. 345). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, ч. X, № IV, стр. 79—80. Вошло в БП и С, III—V. Перевод баллады Уланда «Die drei Lieder»; имя короля Зигфрид изменено Ж. на Освальда и немецкой балладе Уланда придан скандинавский характер.

Двенадцать спящих дев (стр. 346). Баллада первая — «Громобой» — «Вестник Европы», 1811, № 4, февраль, стр. 254—283 с подзаголовком «Русская баллада. Ал. Ан. Прат... вой» (т. е. А. А. Протасовой). Баллада вторая — «Вадим» — впервые, вместе с «Громобоем» — в отдельном издании всей повести: «Двенадцать спящих дев, старинная повесть, сочинение Василия Жуковского», СПб., 1817, с эпиграфом ко всей книге из Гете: «Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind» («Чудо — любимое дитя веры» — «Фауст», часть I). Вошло полностью в БП и С, III—V. В отдельном издании 1817 года появилось и общее посвящение к повести, представляющее собою перевод посвящения I части «Фауста» Гете. «Громобой» имеет эпиграф из «Орлеанской девы» Шиллера (Пролог, слова Тибо) и посвящение А. А. Воейковой (рожд. Протасовой — «Светлане»); вторая баллада — «Вадим» — имеет эпиграф из стихотворения Шиллера «Томление» («Sehnsucht»; см. выше, стр. 102, «Желание», 1811) и посвящение Д. Н. Блудову. Повесть в целом представляет переработку прозаического романа немецкого писателя предромантической эпохи Хр. Г. Шписса (Christian Heinrich Spiess, 1755—1799) «Die zwölf schlafenden Jungfrauen, eine Geister Geschichte» («Двенадцать спящих девушек, история о привидениях»), где использованы средневековые феодально-католические легенды о человеке, продавшем душу дьяволу, о его проклятии и искуплении через веру. Ж. значительно отступил от подлинника, сократив его и отказавшись от множества авантюрно-эротических эпизодов, как показывает подробное сопоставление обоих произведений, сделанное П. Загариным (Л. Поливановым) в книге «В. А. Жуковский и его произведения» (М., 1883, стр. 73—103, 195—203, и Приложение II, стр. IX—XXI). Ж. перенес действие повести в древнюю Русь XI—XII веков, на берега Днепра, в Киев и Новгород; герою первой баллады дал условно-народное, древнерусское имя Громобой, а герою второй баллады Вадиму — имя легендарного новгородского витязя IX века, по преданию боровшегося против княжеской власти Рюрика. Имя Вадима было широко известно в литературе конца XVIII — начала XIX века, и тема его борьбы с Рюриком изображалась писателями разного направления то в монархическом духе (Екатерина II, Херасков, Львов, отчасти Плавильщиков), то в республиканском или тираноборческом (Я. Б. Княжнин, отчасти Карамзин в «Марфе Посаднице», а также Ж. в незаконченной повести в прозе «Вадим Новгородский», 1803). В образе Вадима, каким он дан во второй части «Двенадцати спящих дев», вольнолюбивые черты исчезают, уступая место романтической идеализации. Вадим теряет свои реально-исторические (летописные) черты и становится носителем идеи мистического искупления грехов, морально-религиозного, а не политического освобождения. Повесть Ж. имела громадный успех, но, с другой стороны, вызвала критические замечания и пародии в среде писателей, связанных с образующимися декабристскими организациями. О дружеской пародии Пушкина в начале IV песни «Руслана и Людмилы» см. вступительную статью. Критик-декабрист В. К. Кюхельбекер в своей резко полемической и направленной против сентиментального романтизма статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» («Мнемозина», ч. II, 1824)

иронически использовал стихи первой строфы «Громобоя» («Окрест него дремучий бор...» и т. д.) для характеристики сентиментально-романтической поэзии: «Картины везде одни и те же: луна, ...скалы и дубравы, ...лес, ...в особенности же — туман: туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя».

Рыбак (стр. 395). Впервые — в сборн. Ж. «Для немногих», 1818, № I, генварь, стр. 30—33, откуда перепечатана в «Сыне отечества», 1820, ч. 64, № XXXVI, стр. 134—135. Вошла в С, III—IV; в БП и С, V отсутствует. Перевод баллады Гете «Der Fischer».

Рыцарь Тогенбург (стр. 396). Впервые — в сборн. Ж. «Для немногих», 1818, № I, генварь, стр. 4—11. Вошло в БП и С, III—V. Перевод баллады Шиллера «Ritter Toggenburg», в передаче Ж. ставшей одним из самых ярких выражений романтического «томления духа». Белинский, боровшийся против пережитков романтизма в русской литературе 40-х годов, отметив, что «Рыцарь Тогенбург» — «прекрасный и верный перевод одной из лучших баллад Шиллера», указал вместе с тем и на то, что баллада и ее герой представляют собою явный анахронизм — попытку воскресить средневековое мировоззрение так, как напрасно пытался это сделать уже Дон-Кихот в XVI веке (Белинский, т. VII, М., 1955, стр. 172—175).

Лесной царь (стр. 399). Впервые — в сборн. Ж. «Для немногих», 1818, № IV, апрель, стр. 20—23. Вошла в БП и С, III—V. Перевод баллады Гете «Erlkönig», сюжет которой заимствован из народных песен. Ж. отступил от размера подлинника, заменив паузник Гете — амфибрахием, почему и известная музыка Шуберта на слова Гете, для исполнения ее на слова Жуковского, была обработана А. Г. Рубинштейном.

Граф Гапсбургский (стр. 400). Впервые — в сборн. Ж. «Для немногих», 1818, № V, май, стр. 11—15. Вошло в БП и в С, III—V. Перевод баллады Шиллера «Der Graf von Habsburg». Граф Рудольф Габсбургский (1218—1291) был в 1273 году избран германским императором, и его избрание положило конец длительным феодальным междоусобиям и своеволию рыцарей-разбойников. Для Шиллера, патриота и сторонника объединения Германии в эпоху ее крайней феодальной раздробленности и слабости в конце XVIII века, образ Рудольфа был символом германского единства. Для Ж. же был важен моральный момент — образ смиренного и богобоязненного, «идеального» государя, что и подчеркнуто в его переводе. С другой стороны, в балладе содержится вложенная в уста Рудольфа декларация о свободе и независимости художественного творчества — одно из важнейших положений романтической теории искусства, имевшее для Шиллера столько же философское, сколько и общественное значение.

Узник (стр. 403). Впервые — «Невский зритель», 1820, февраль, стр. 79. Вошло в БП и С, III—V, причем в С, V отнесено к 1816 году. Баллада — оригинальное произведение Жуковского.

Замок Смальгольм, или Иванов вечер (стр. 407) Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1824, ч. XXV, № II, стр. 131—138, под заглавием «Замок Смальгольм. Шотландская сказка», без разделения на строфы и с заменою во всех случаях названия «Иванова дня» — «Дункановым днем»; одновременно — в «Новостях литературы», 1824, ч. VII, № VII, стр. 106—111, под заглавием «Дунканов вечер. Шотландская сказка» и с тою же заменою. Вошла в С, III (1824) по тексту «Соревнователя», с добавлением примечаний исторического и топографического содержания (заимствованных из Вальтера Скотта), а также — пояснительных, составленных по требованию цензуры. В БП и в С, IV—V озаглавлена «Замок Смальгольм» без подзаголовка «Шотландская сказка» (имевшего цензурное значение); название в тексте «Дунканов день» заменено «Ивановым днем», опущены все пояснительные цензурные примечания и оставлены в С, IV лишь историко-топографические, подписанные «Д. Б.», т. е., повидимому, Д. Н. Блудов. В С, V комментарии отсутствуют. Нами печатается по С, V, заглавие — по авторизованной копии ПД (27777/CXCVIIIб. 48). Перевод баллады Вальтера Скотта (Walter Scott, 1771—1832) «The Eve of St John» («Канун святого Джона»). Баллада вызвала нашумевшую и крайне неприятную для Ж. цензурную историю. Петербургская цензура нашла ее, как сообщал А. Ф. Воейков Жуковскому в письме от 10 августа 1822 года, «безбожною и безнравственною, распространяющею вредные предрассудки»; в ней, писал цензор, «трудно отыскать какую-нибудь нравственную и вообще полезную цель»; она оскорбляет «греко-российскую» (т. е. православную) церковь, изображает «соблазнительную» и недозволенную любовь героев, «выбранных из людей высшего состояния»; она «может более разгорячать и пугать воображение, нежели наставлять простых или малопросвещенных читателей, особливо молодых людей и женщин», и т. д. Основанием для этих обвинений было то, что в балладе свидание любовников назначается в «Иванов вечер» — т. е. в канун церковного праздника в честь Ивана (Иоанна) Крестителя, в ночь с 23 на 24 июня, а в дальнейшем упоминаются такие церковные понятия, как «панихида», «знамение» и проч., что, в соединении с любовным сюжетом, было сочтено неприличным. Цензурный комитет хотел, если не запретить балладу, то, по крайней мере, заставить переводчика переменить ее заглавие, переделать ряд мест, не оставив ничего, что могло бы напомнить об обрядах «греко-российской церкви», и снабдить текст пояснительными примечаниями. Ж. был глубоко оскорблен придирчивыми замечаниями, обвинениями и поучениями цензуры. Он отвечал на них письмом, полным достоинства, где указывал, что в таких условиях «благомыслящему писателю, при всей чистоте его намерений, надлежало бы отказаться от пера и решиться молчать, ибо в противном случае он не избежал бы незаслуженного оскорбления перед лицом своего отечества». Ничего не добившись в Петербурге, Ж. в 1823 году попробовал напечатать балладу в Москве, но и это не удалось. Баллада была разрешена к печати лишь в 1824 году (см. выше), после того как Ж. уступил некоторым требованиям цензуры: заменил «Иванов день» несуществующим «Дункановым» и соответственно переменил заглавие; переработал строфы 44 и 47 и снабдил

балладу длинными пояснительными примечаниями, внешне вполне «благонамеренными», но имевшими скрыто иронический характер по адресу цензуры. Лишь в 1831 году, в издании БП, вынужденные цензурою примечания были сняты и восстановлен (однако не в заглавии) «Иванов день». Строфы, переработанные Ж. ввиду требований цензуры (что, однако, не изменило их ни в смысловом, ни в художественном отношениях, почему в тексте и сохраняется позднейшее чтение), имели следующий первоначальный текст:

(44) И она, помолясь и крестом оградясь,
Вопросила: Но что же с тобой?
Дай один мне ответ — ты спасен или нет?
Он печально потряс головой.

(47) И ужасное знаменье в стол вожжено,
Напечатались пальцы на нем;
На руке обожженной чернеет пятно:
И закрыта с тех пор полотном.

Подробности цензурной истории баллады и относящиеся сюда документы см. в работах М. И. Сухомлинова «Исследования и статьи по русской литературе и просвещению», т. I, СПб., 1889, стр. 436—447; П. К. Щебальского «Материалы для истории русской цензуры, 1803—1825» — «Беседы в Обществе любителей российской словесности при Московском университете», вып. III, М., 1871, стр. 35—37; Н. Д. (Н. В. Дризена) «К истории русской литературы». I. В. А. Жуковский перед судом С.-Петербургского цензурного комитета» — «Русская старина», 1900, т. CII, апрель, стр. 71—89; в комментариях Ц. Вольпе, т. I, 1939, стр. 403—407, а также 1936 года (Библиотека поэта, малая серия). Баллада В. Скотта отражает некоторые исторические события XVI века. Действие ее происходит в Южной Шотландии, близ границ с Англией, в эпоху непрекращающихся феодальных войн между ними. Битва при *Анкрам-муре,* о которой говорится в балладе, произошла в 1545 году между вторгшимися в Шотландию английскими феодалами лордом *Эверсом* и Брианом Латоном (оба они погибли в битве) и шотландскими войсками под предводительством Арчибальда *Дугласа* и Вальтера Скотта-*Боклю* (упоминаемых в балладе). Развалины Смальгольмского замка были хорошо известны В. Скотту; обширные примечания, данные им и сохраненные Ж. в С, IV, содержат подробные описания местности и изложение исторических событий, упоминаемых в балладе. Пушкин в статье, посвященной разбору «Путешествия» Радищева (так наз. «Путешествие из Москвы в Петербург», 1833—1834), говоря о том, что в 20-х годах «наши писатели были преданы на произвол цензуры самой бессмысленной», привел в качестве примера цензурную историю «Иванова вечера»: «В славной балладе Жуковского назначается свидание накануне Иванова дня; цензор нашел, что в такой великий праздник грешить неприлично, и никак не желал пропустить баллады Вальтер-Скотта» (Полн. собр. соч. в 10 томах, изд. АН СССР, т. VII, 1949, стр. 647).

Торжество победителей (стр. 413). Впервые напечатано в альманахе «Северные цветы на 1829 год». Спб., 1828, стр. 3,

с подзаголовком — «(Из Шиллера)» и без ст. 129—140. Вошло в БП, Б и П, С, IV—V. Перевод баллады Шиллера «Das Siegesfest» («Победный праздник»), построенной на мотивах «Илиады» и троянского цикла мифов, не вошедших в гомеровский эпос (так называемых «киклических поэм»). Перевод Ж., превосходно передавая особенности античного мировоззрения и сохраняя дух подлинника, в некоторых случаях отступает от текста баллады Шиллера. В балладе мы видим всех главных греческих вождей, уцелевших после падения Трои; выступают, каждый с краткой речью: верховный жрец *Калхас* (строфа 3), Агамемнон (стр. 4), *Одиссей* (стр. 5), *Менелай* (стр. 6), Аякс (или Аянт) *Оилид* (стр. 7), Тевкр Теламо́нид, брат погибшего Аякса (стр. 8), *Неоптолем* (Пирр), сын Ахилла (стр. 9), *Диомед* (стр. 10), *Нестор* (стр. 11—12); заключительная речь, в строфе 13, принадлежит деве-пророчице, дочери Приама *Кассандре* (ср. выше балладу о ней). Белинский, по поводу «Торжества победителей» и некоторых других баллад Ж. на античные темы, писал: «Если что составляет истинный ореол Ж. как переводчика, — это его перевод следующих трех пьес Шиллера: «Торжество победителей», «Жалоба Цереры» и «Элевзинский праздник». Если бы, кроме этих пьес, Ж. ничего не перевел, ничего не написал, — и тогда бы имя его не было бы забыто в истории русской литературы» (Белинский, т. VII, М., 1955, стр. 200).

Кубок (стр. 417). Впервые в БП, Б и П. Вошло в С, IV—V, причем в С, V отнесено к 1829 году. Перевод баллады Шиллера «Der Taucher» («Водолаз»), сюжет которой (с большой переработкой) взят из средневековых преданий о пловце, проникавшем в таинственные глубины моря. Ж. сделал ряд частных отступлений от подлинника — например, заменил сказочных чудовищ, о которых рассказывает юноша у Шиллера, реальными рыбами.

Поликратов перстень (стр. 422). Впервые — в БП, Б и П. Вошло в С, IV—V. Первоначально баллада была названа «Поликратово кольцо». Перевод баллады Шиллера «Der Ring des Polykrates», источником которой был рассказ греческого историка Геродота о судьбе тирана Самосского Поликрата. Из дальнейшего изложения Геродота видно, что опасения Поликратова друга, египетского фараона Амазиса (не названного в балладе) оправдались: вскоре после того как боги отвергли дар Поликрата — перстень, персидский сатрап Оройт, по приказу царя Персии, заманил к себе Поликрата и, предательски его захватив, предал жестокой казни (522 год до н. э.).

Жалоба Цереры (стр. 425). Впервые — в БП, Б и П. Вошло в С, IV—V, причем в С, V отнесено к 1829 году. Перевод баллады Шиллера «Klage der Ceres», почерпнутой из античных (как греческих, так и италийских) земледельческих культов. В образе Прозерпины (греч. Персефоны), дочери богини плодородия Цереры (греч. Деметры), похищенной богом подземного мира Плутоном (греч. Аидом), символизируется производительная сила Земли, глубоко скрытая в ее недрах, но каждой весною соединяющаяся со своею матерью Церерой — плодоносящей силой, царствующей на

земной поверхности. *Ирида* — богиня радуги, вестница богов. *Ахерон, Стикс* и *Коцит* — реки подземного царства, отделяющие его от всего живого. — *Вертумн* — древнеиталийский бог времен года и их различных даров (римск. мифол.).

Суд божий над епископом (стр. 428). Впервые — в БП, Б и П. Вошло в С, IV—V, причем в С, V отнесено к 1829 году. Перевод баллады Саути «God's judgment on a bishop», источником которой послужило предание о скупом архиепископе города Метца Гаттоне, жившем в X веке. Предание было широко известно в средневековой и позднейшей литературе. Первое русское переложение его в стихах принадлежит Симеону Полоцкому, включившему его в сборник «Вертоград многоцветный» (1678) под заглавием «Казнь за сожжение нищих» (см. Симеон Полоцкий. Избранные сочинения. Акад. наук СССР. Литературные памятники. Ред. И. П. Еремина. М.—Л., 1953, стр. 51). Ж. сократил рассказ Саути и местами (например, в предпоследней строфе) сжал его даже в ущерб выразительности. Современная критика отмечает близость начала баллады («Были и лето и осень дождливы...») к ритмам и образности Некрасова («Поздняя осень. Грачи улетели...» — «Несжатая полоса», 1854).

Алонзо (стр. 431). Впервые — в БП, Б и П. Вошло в С, IV—V, причем в С, V отнесено к 1829 году. Перевод баллады Уланда «Durand» («Дуранд»). Ж. изменил имя героя, связал балладу с крестовыми походами (Алонзо возвращается из Палестины), усилил элементы романтического лиризма. Перевод Ж. написан четырехстопным хореем без рифм с одними женскими окончаниями — стихом, примененным в несколько иной форме (с чередованием женских и мужских окончаний) Карамзиным («Граф Гваринос», 1789) и ставшим каноническим для переложений народной поэзии, и в частности испанских романсов (ср. у Ж. отрывки из романсов о Сиде, переведенные из Гердера в том же 1831 году бесстрофным четырехстопным хореем, и у Пушкина романс о Родриге — «На Испанию родную», 1835).

Ленора (стр. 433). Впервые — в БП, Б и П. Вошло в С, IV—V. Перевод баллады Бюргера «Ленора», к тексту которой Ж. обратился здесь в третий раз — после «Людмилы» (1808) и «Светланы» (1812). В «Леноре» Ж., вместо прежних переложений, связанных с руссификацией сюжета, стремится дать перевод, возможно точнее передающий подлинник. Он сохраняет размер (сочетание четырех- и трехстопных ямбов, соединенных в восьмистишную строфу, подобную строфе «простонародной сказки» Пушкина «Жених», 1825); сохраняет имя героини, германский колорит и историческую локализацию: упоминания о короле Фридерике, т. е. Фридрихе II (1740—1786), и императрице, т. е. Марии-Терезии (1740—1780), воевавших между собою (имеется в виду война так наз. «за австрийское наследство» в 1741—1748 годах); стиль, сравнительно с «Людмилой», значительно снижен и упрощен, и близко передает «простонародность» и демократический юмор Бюргера (особенно, например, в строфе второй).

Роланд оруженосец (стр. 440). Впервые — в сборнике «Новоселье», ч. II, СПб., 1834, стр. 257, с пометой: «31 октября 1832. Верне́, на берегу Женевского озера». Вошло в С, IV—V. Перевод баллады Уланда «Roland Schildträger», сюжет которой взят (в свободной композиции) из старофранцузских сказаний о Карле Великом и его 12 пэрах и о славнейшем из них — Роланде, герое поэмы «Песнь о Роланде». Ж. местами вольно перекладывает Уланда, добавляя характерные детали, но вместе с тем он не всегда сохраняет «простонародный» юмор подлинника. *Артусов талисман* — волшебный талисман, принадлежавший королю Артуру (Артусу), легендарному герою цикла «романов Круглого стола».

Плавание Карла Великого (стр. 446). Впервые — в С, IV, вошло в С, V. Перевод баллады Уланда «König Karls Meerfahrt» («Морская поездка короля Карла»), созданной (как и «Роланд оруженосец») на основании сказаний о Карле Великом и его 12 пэрах, но вполне свободно, так как в этих сказаниях нет соответствующего эпизода. Автор поставил себе задачу — дать в каждой строфе характеристику одного из героев в произносимой им краткой реплике, обнаруживающей основную черту его характера, и эту задачу Ж. превосходно разрешил в своем переводе.

Рыцарь Роллон (стр. 448). Впервые — «Библиотека для чтения», 1834, т. II, стр. 93, с пометой: «Верне́, на берегу Женевского озера. 5 декабря 1832». Вошло в С, IV—V, причем в С, V отнесено к 1833 году. Перевод баллады Уланда «Junker Rechberger» («Юнкер <т. е. молодой дворянин> Рехбергер»). Баллада Уланда проникнута народным юмором и злой иронией над феодалом, «юнкером», потерявшим перчатку, а с ней и душу. Ж. в переводе сократил балладу, некоторые места свободно пересказал и не воспроизвел всего того, что придает ей в оригинале антифеодальный характер.

Старый рыцарь (стр. 451). Впервые — «Библиотека для чтения», 1834, т. II, стр. 17, с пометой: «8 декабря. Vernex» (Верне́). Вошло в С, IV—V, причем в С, V отнесено к 1833 году. Вольный перевод стихотворения Уланда «Graf Eberhards Weissdorn» («Боярышник графа Эбергарда»). Речь идет о Вюртембергском графе Эбергарде (1445—1496), который совершил в молодости путешествие в Палестину и вывез оттуда ветку боярышника; последний Ж. заменил оливой.

Уллин и его дочь (стр. 452). Впервые — «Библиотека для чтения», 1834, т. IV, стр. 31, с пометой; «Верне́, 10/22 Генваря 1833». Вошло в С, IV—V. Перевод баллады английского поэта-романтика Томаса Кемпбела (Thomas Campbell, 1777—1844) «Lord Ullins Daughter» («Дочь лорда Уллина»), почерпнутой из шотландских народных преданий. Ж. в переводе несколько сократил балладу и опустил или изменил имена.

Элевзинский праздник (стр. 453). Впервые — в сборн. «Новоселье», ч. II, СПб., 1834, стр. 107, с пометой «Из Шиллера. 1833. Верне́, на берегу Женевского озера». Вошло в С, IV—V.

Перевод баллады Шиллера «Das Eleusische Fest», написанной на основе древнегреческих мифов о богине земледелия и плодородия Деметре (римск. Церере), в честь которой ежегодно устраивались празднества в Элевзине (близ Афин). С именем Деметры и ее культом связывались представления о создании первого гражданского общества, о смене первобытного варварства материальной и духовной культурой древнегреческого общества. Эта мысль выражена Шиллером в форме торжественного гимна созидательным силам человека, воплощенным в образах греко-римских божеств. Поэтому гимн в конце концов прославляет человека, его разум, его развитие и созидательную деятельность, идеи гражданственности и гуманности. Белинский высоко ценил «превосходную поэму Шиллера», «превосходно» переведенную Ж. (т. VII, М., 1955, стр. 206). *Цианы* — васильки. *Ком* — бог веселья и дружеских пиров. У Шиллера он не назван. Ж. отождествил его с Гефестом, богом огня и кузнечного мастерства, научившим людей ремеслам (в римской мифологии — Вулкан). *Термин* — бог-покровитель границ (земельных владений) и пограничных знаков (римск. мифол.). *Ореады* — нимфы гор и пещер, сопровождавшие Артемиду *(Диану),* богиню охоты. *Бог, осокою венчанный* — Нерей, один из морских (и вообще водяных) богов. *Оры* — богини времен года и погоды, поддерживающие порядок в природе и среди людей. *Цибела* — Кибела, «великая матерь богов», см. примечания к «Разрушению Трои». *Юнона* — в римской мифологии соответствует греческой Гере, супруге Зевса (Юпитера), — покровительница супружеских союзов и домашнего очага. *Киприда* — Афродита (Венера), богиня любви.

ПОЭМЫ И ПОВЕСТИ

Слово о полку Игореве (стр. 463). При жизни Ж. не издавалось. Впервые опубликовано Е. В. Барсовым по копии, находящейся в архиве А. С. Пушкина (см. ниже), в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских при Московском университете», 1882, кн. 2; Барсов считал Пушкина автором переложения. Авторство Ж. установлено публикацией текста И. А. Бычковым по черновому автографу Ж. в ГПБ (Б, № 27; см. «Отчет имп. Публичной библиотеки за 1884 год». СПб., 1887, Приложение, стр. 80 и 182—199). С этого автографа была сделана писарская копия, переданная Ж. Пушкину и содержащая поправки и замечания последнего; копия находится в архиве Пушкина (быв. ЛБ № 2386-Г, теперь ПД, ф. 244. оп. 1, № 1093) и напечатана Т. Г. Зенгер в сборн. «Рукою Пушкина», М.—Л., 1935, стр. 127—145. С нее, после смерти Пушкина, были сделаны еще две писарские копии, текст одной из которых и был напечатан Барсовым как пушкинский. Текст Ж., как одно из лучших поэтических переложений «Слова о полку Игореве» на современный русский язык и притом одно из первых таких переложений в русской литературе, перепечатан во многих современных изданиях «Слова», например в изд. Академии наук СССР, под ред. В. П. Адриановой-Перетц, в серии «Литературные памятники» (М.—Л., 1950, стр. 102—118); в изд.

«Советского писателя», под ред. Д. С. Лихачева, в малой серии «Библиотеки поэта», Л., 1953; в изд. Гослитиздата, под ред. Н. В. Водовозова, М., 1954, и др. Мы печатаем переложение Ж. по автографу ГПБ. Перекладывая «Слово» на современную русскую ритмизованную речь, Ж. писал текст на двух развернутых страницах: слева — древнерусский подлинник, списанный с первопечатного издания 1800 года и разбитый на смысловые отрезки, справа — переложение, разбитое на те же отрезки, т. е. на одинаковое с подлинником количество строк-стихов. Вследствие того, что оригинал, служивший Ж. — первопечатное издание 1800 года, — содержал ряд ошибочных чтений, неразобранных мест и неточных переводов, в тексте Ж. также ряд мест отличается от современного понимания «Слова»; в иных случаях Ж. давал свое собственное толкование неясному тексту или переводил места, оставленные в издании 1800 года без перевода. Сопоставления подобных мест в переложении Ж. с отличающимися от них современными чтениями, а также с поправками, предложенными Пушкиным, см. в указ. выше изданиях «Слова о полку Игореве» — Академии наук СССР, 1950, и Гослитиздата, 1954. В диалоге Гзака с Кончаком Ж. ошибочно приписал Гзаку ответ Кончака.

Шильонский узник (стр. 478). Впервые напечатано отдельной книжкой: «Шильонский узник, поэма лорда Бейрона. Перевел с английского В. Ж.», СПб., 1822 (цензурное разрешение 14 апреля 1822), с посвящением: «Князю П. А. Вяземскому. От переводчика». Вошло в БП и в С, III—V. Перевод поэмы Байрона «The Prisoner of Chillon». Вступительная заметка представляет отчасти перевод 3-го примечания Байрона к его поэме, отчасти же составлена самим Ж. на основании личных впечатлений. В черновой рукописи (Б, № 29, л. 57_2) заметка кончается словами: «Переводчик с поэмою Бейрона в руке посетил сей замок и подземную темницу Боннивара: он может засвидетельствовать, что описания поэта имеют прозаическую точность». Вместе с тем Ж. опустил «Сонет к Шильону», предпосланный Байроном поэме, в котором восхваляется свобода и осуждается тирания. В той же рукописи Ж. (Б, № 29, л. 58_1) написан вчерне текст другого предисловия к «Шильонскому узнику», представляющий собою сокращенный перевод 1-го примечания Байрона к поэме, заимствованного из книги Жана Сенебьера «Histoire littéraire de Genève» («Литературная история Женевы»), 1786, т. I. Оно представляет биографическую справку о Бонниваре на французском языке. Это предисловие не было, однако, включено Ж. в издание перевода поэмы, быть может по цензурным соображениям, как содержащее слишком вольнолюбивые и республиканские тенденции. Ж. посетил Шильонский замок во время путешествия по Швейцарии, 3 сентября 1821 года. Об этом он писал немного позднее вел. кн. Александре Федоровне: «В тот день, в который я оставил Веве, успел я съездить на лодке в замок Хильон; я плыл туда, читая The Prisoner of Chillon («Шильонского узника» Байрона. — *Ред.*), и это чтение очаровало для воображения моего тюрьму Бонниварову, которую Байрон верно описал в своей несравненной поэме» («Русская старина», 1902, т. CX, май, стр. 350). Обращение Ж. к творчеству Байрона в одном из значительнейших его

произведений нашло горячий отклик у литературных друзей переводчика. Познакомившись с переводом Ж., Пушкин 27 сентября 1822 года писал Гнедичу: «Перевод Жуковского est un tour de force <чудо мастерства>. Злодей! В бореньях с трудностью силач необычайный![1] Дóлжно быть Байроном, чтоб выразить с столь страшной истиной первые признаки сумасшествия, а Жуковским, чтоб это перевыразить. Мне кажется, что слог Жуковского в последнее время ужасно возмужал, хотя утратил первоначальную прелесть. Уж он не напишет ни Светланы, ни Людмилы, ни прелестных элегий I части Спящих дев. Дай бог, чтоб он начал создавать» (ПСС в 10 т., т. X, 1949, стр. 46). В переводе «Шильонского узника» Ж. точно передавал основной размер подлинника (не сохраняя, однако, некоторых отступлений от него в виде сокращенных двустиший, перекрестных рифм и т. п., встречающихся у Байрона); он впервые в русской поэзии применил четырехстопный ямб с одними мужскими парными окончаниями, отличающийся особой сжатостью и силой. Белинский, отметив неудачный перевод Ж. пьесы Байрона «Отымает наши радости. . .» (см. стр. 247), «так что байроновского в ней ничего не осталось», писал далее: «Но — странное дело! — наш русский певец тихой скорби и унылого страдания обрел в душе своей крепкое и могучее слово для выражения страшных подземных мук отчаяния, начертанных молниеносною кистью титанического поэта Англии. «Шильонский узник» Байрона передан Жуковским на русский язык стихами, отзывающимися в сердце как удар топора, отделяющий от туловища невинноосужденную голову. . . Каждый стих в переводе «Шильонского узника» дышит страшной энергиею. . .» (Белинский, т. VII, М., 1955, стр. 209). Лермонтов использовал стих «Шильонского узника» в ряде юношеских и зрелых поэм («Исповедь» и «Последний сын вольности» — 1830, в несколько измененном виде; «Боярин Орша» — 1835—1836, «Мцыри» — 1839).

Разрушение Трои (стр. 490). Впервые напечатано: отрывки — в альманахе «Полярная звезда на 1823 год», стр. 173—176 (стихи 501—551, под заглавием «Смерть Приама. Отрывок из II песни Энеиды. С латинского») и на 1824 год, стр. 308—312 (стихи 432—500, под заглавием «Приступ к чертогам Приама. Из II песни Энеиды»), полностью — в С, III. Вошло в БП, С. IV (под заглавием «Разрушение Трои, опыт перевода Энеиды. Книга II») и С, V. Перевод II песни знаменитой эпической поэмы «Энеида» («Aeneis») крупнейшего римского поэта эпохи конца республики и начала империи П. Вергилия (или Виргилия) Марона (Publius Vergilius Maro, 70—19 до н. э.). Переведенная Ж. II песнь поэмы содержит рассказ Энея, после ночного пира во дворце карфагенской царицы Дидоны, в обстановке, напоминающей рассказ Одиссея на пиру у царя Алкиноя («Одиссея», песни IX—XII), о последних часах, падении и разрушении Трои. Перевод сделан с латинского подлинника и представляет значительное литературное явление, так как римский эпос Вергилия передавался до того александрийскими рифмованными ямбами; таков был перевод «Энеиды», выполненный

[1] Стих из послания П. А. Вяземского к Жуковскому (1821).

В. П. Петровым в 1781—1786 годах. Ж. дал в общем очень точный перевод «Энеиды», но местами сжал текст, отчего в его переводе 794 стиха вместо 804 подлинника. Соблюдены встречающиеся в 9 случаях неполные стихи, вызванные тем, что Вергилий умер, не закончив обработки поэмы; соблюден римский колорит, довольно заметный у Вергилия. Однако тонкие звуковые и ритмические оттенки гекзаметров Вергилия (аллитерации, замены дактилей спондеями в зависимости от смысла и характера текста) Ж. не сохранены, и его гекзаметры унифицированы. Даем пояснения к отдельным стихам: 7 — *мирмидоны, долопы* — греческие воины Ахиллеса и Патрокла. 24 — *данаи* — греки. 27 — *дорийский* — греческий. 41 — *Лаокоон* — троянский жрец Посейдона (у Вергилия — Нептуна). 49 — *Что здесь ни будь .. я данаев страшусь и дары приносящих.* — Стих, ставший поговоркой. 60 — *ахеяне* (и далее ст. 82 — *пелазги)* — греки. *Илион* (как и *Пергам)* — название Трои. 114 — *дева закланная* — Ифигения, дочь Агамѐмнона, принесенная в жертву Фебу-Аполлону при отплытии греков к Трое. 162 — *Сын Тидеев* — Диомед, вместе с Одиссеем *(Улиссом)* похитивший из троянского акрополя, по наущению Афины-Паллады, ее изображение, *Палладиум,* присутствие которого в храме охраняло Трою от гибели; этим они якобы оскорбили Палладу *(Тритону).* 250 — *тевкры* — троянцы. 273 — *в Ахилловой броне* — Гектор, убив в поединке Патрокла, надел по обычаю снятое с него вооружение, данное Патроклу Ахиллесом для сражения с ним. 291—293 — *Троя Пенатов своих* и т. д. — пророческое указание на основание Энеем в будущем нового государства, т. е. Рима. *Пенаты* (так же как и *Веста,* 295) — римские понятия, перенесенные Вергилием на греков и троянцев. 308 — *Деифоб* — сын Приама. 318 — *лики богов побежденных* — вместе с троянцами побеждены и их боги-покровители, в том числе Феб-Аполлон, и покидают троянские храмы. 323 — *мы были трояне, был Илион* — слова, ставшие поговоркою. *Эриннис* (Эриннии, лат. Фурии) — богини мщения. 351 — *Други! спасенья не ждать — одно побежденным спасенье* — стих, ставший поговоркою и часто цитируемый. 394 — *Оркус* — (лат.) то же, что греческий Аид — подземное царство мертвых. 411 — *Оба... Атрида* — Агамѐмнон и Менелай. 413—414 — *Нот* — южный ветер, *Зефир* — западный, *Эвр* — восточный. 435 — *Марс* — латинская форма вместо греч. Ареса. 464 — *Пирр* — второе имя Неоптолема, сына Ахиллеса. 496 — *сто невесток ее* — у Приама и Гекубы было 50 сыновей; но здесь «невестки» в смысле вообще молодых женщин в доме Приама. 555 — *Креуза* — жена Энея. 556 — *Иул* — их сын, от чьего имени произошло родовое имя Юлиев (другое его имя — Асканий). 562 — *Тиндарова дочь* — Елена, жена Менелая, похищение которой Парисом стало причиной Троянской войны. 582 — *мать* Энея — Афродита (Венера), покровительница Елены и троянцев. 602 — *Ира* — Гера, у Вергилия лат. Юнона. 606 — *страшной Горгоной блистая* — голова Медузы-Горгоны, имевшая свойство обращать в камень всякого, кто на нее смотрел, отрубленная героем Персеем, укреплена была на щите Паллады. 607 — *Сам Вседержитель,* у Вергилия — pater, отец — Зевс (лат. Юпитер). 633 — *Зреть и однажды погибель своих* и т. д. — Троя была уже однажды, при отце Приама Лаомедонте, взята и сожжена Гераклом. 670—688 — вновь

предсказание богов о великой судьбе, ожидающей Иула (т. е. его потомство, род Юлиев). 687 — *Ида* — гора в окрестностях Трои, путь спасения Энея и его спутников. 767—779 — вновь пророчество богов о судьбе Энея: *Гесперия* — западная страна, т. е. Италия; *Лидийский Тибр* — указание на страну, где будет основан Рим; Эней должен стать царем Лациума и взять в жены Лавинию, дочь царя Латина *(невесту-царевну)*. 778 — *великая матерь бессмертных* — фригийская богиня Кибела, олицетворение матери-природы; в Греции и позднее в Риме распространился ее культ под названием «великой матери богов»; говоря о том, что Креуза — мать Иула — взята была после смерти в святилище Кибелы, Вергилий связывает потомство Энея, помимо Венеры, также и с «великой матерью». 791 — *Люцифер* — утренняя звезда, посвященная Венере.

Перчатка (стр. 513). Впервые — в журн. «Муравейник, литературные листы, издаваемые неизвестным обществом неученых людей», 1831, № III, стр. 13—14. Вошло в БП, Б и П, С, IV—V, причем в С, V отнесено к 1829 году. Перевод стихотворения Шиллера «Der Handschuh», где изображен двор французского короля Франциска I (1515—1547). Шиллер назвал свое стихотворение рассказом («Eine Erzählung»), почему оно и написано не в балладной песенно-строфической композиции, а в форме повествования, изложенного вольным метром и говорным стилем. Вследствие этого Ж. включал «Перчатку» в число повестей, а не баллад. Белинский, однако, считал ее балладой, как и некоторые современные редакторы. Мы оставляем ее в отделе повестей и поэм прежде всего потому, что ее стиль и композиция резко отличаются от стиля и композиции баллад. Ж., переводя «Перчатку», несколько сократил ее, опустил имя дамы — Кунигунда, заменил тонический размер подлинника ямбическим. «Перчатка» до Ж. была переведена дважды: первый перевод — Михаила Загорского — напечатан в «Северных цветах на 1825 год» (стр. 326—329); второй сделан М. Ю. Лермонтовым в 1829 году, но напечатан только в 1860-м.

Две были и еще одна (стр. 515). Впервые — в журн. «Муравейник», 1831, № IV, стр. 1—16, под заглавием «Две были». Вошло в БП в отдел «Дедушкины рассказы», Б и П — в отдел «Повести», в С, IV—V, причем в С, V отнесено к 1832 году. Повесть, состоящая из трех эпизодов, представляет вольное переложение и сочетание трех разных произведений. Первый эпизод — рассказ об Эми — является переложением баллады Саути «Mary the Maid of the inn» («Мэри, служанка из гостиницы»). Ж. перенес действие из северной Англии в Германию, заменил строфический амфибрахий гекзаметром, добавил или изменил ряд деталей, сделав из баллады бытовую повесть. Второй эпизод — о Каспаре — пересказывает другую балладу Саути «Jaspar» («Джаспер»), в которой Ж., как и в первой, переменил балладный стих и строфическую форму на гекзаметрическое повествование, заменил английские имена немецкими и усилил элемент религиозной морали. Третий эпизод — «Каннитферштан» — представляет очень близкое переложение стихами прозаического рассказа И. П. Гебеля (см. выше) «Kannitverstan», переведенного Ж. с немецкого (а не аллеманского,

как в других случаях) подлинника. Ж., объединив эти три новеллы, ввел пролог — сцену между дедушкой и внуками, летним вечером, на берегу Рейна — и соответствующие прологу связки между эпизодами, всё это — в духе сельских идиллий Гебеля, стилю и тону которых подчинены все три «были».

Суд в подземелье (стр. 525). Впервые — «Библиотека для чтения», 1834, т. III, стр. 1—19, с подзаголовком: «Последняя глава недоконченной повести», с пометой: «Верне́, на берегу Женевского озера. 1832» и с примечанием: «Первая глава еще не написана; сия же последняя заимствована из Вальтер Скоттова Мармиона». Вошло в С, IV—V, без подзаголовка, пометы и примечания, причем в С, V отнесено к 1829 году. Перевод II главы поэмы Вальтера Скотта «Marmion, a tale of Floddenfield» («Мармион, рассказ о <битве при> Флодденфильде», 1808). В поэме рассказывается об английском рыцаре Мармионе, который полюбил и соблазнил монахиню Клару, затем покинул ее, изменив для другой женщины — Констанции, и наконец погиб в битве между англичанами и шотландцами при Флодденфильде (1513). Жуковский взял лишь эпизод суда над Кларой и ее казни, изменив при этом имя Клары на Матильду, опустив все упоминания о Мармионе и дав, вместо исповеди Клары перед судом, авторский сжатый рассказ о преступлении Матильды (строфа XIV). Таким образом, весь эпизод приобрел самостоятельное значение, не связанное с судьбою Мармиона. Вместе с тем Ж. изменил композицию поэмы, разделив ее на 16 строф вместо 33-х у В. Скотта. Поэма привлекла внимание Белинского достоинствами перевода и как обличение «невежественных и дико фанатических средних веков» (Белинский, т. VII, М., 1955, стр. 210).

Нормандский обычай (стр. 541). Впервые — «Библиотека для чтения», 1834, т. I, стр. 4—13. с пометою: «8 ноября 1832. Вернѐ, на берегу Женевского озера». Вошло в С, IV—V. Перевод драматической повести Уланда «Normännischer Brauch». Ж. передал подлинник с замечательной, почти буквальной точностью, кроме песни Торильды, представляющей вольное переложение.

Ундина (стр. 549). Впервые напечатано: отдельные отрывки из первых трех глав в «Библиотеке для чтения», 1835, т. XII, стр. 7—14; главы IV—X — там же, 1837, т. XX, стр. 5—32; полностью — отдельным изданием под заглавием «Ундина, старинная повесть, рассказанная в прозе бароном Ламот Фуке, на русском в стихах В. Жуковским, с рис. Г. Майделя», СПб., 1837, изд. А. Смирдина. Вошло в С, IV—V. В отд. издании, кроме стихотворного посвящения, обращенного к вел. кн. Александре Николаевне, было и прозаическое предисловие, обращенное к ней же. «Ундина» — переложение стихами, гекзаметром, прозаической повести немецкого писателя-романтика (французского происхождения) Фридриха де Ламот-Фуке (Friedrich de La Motte-Fouqué, 1777—1843) «Undine» (1811), где использованы в очень свободной интерпретации средневековые предания о стихийных, природных духах и их отношениях к людям. Действие поэмы происходит в XIII—

XIV веке, на северном берегу Адриатического моря и на берегах Дуная, в Австрийских владениях. Ж. познакомился с «Ундиной» в 1816 году и тогда же задумал перевести ее прозой, но оставил это намерение. Перевод Ж. был сочувственно встречен современниками и положительно оценен критикой. «В стихах Ж., — писал Белинский, — обыкновенная сказка явилась прекрасным поэтическим созданием. «Ундина» одно из самых романтических его произведений. Основная мысль ее — олицетворение стихийной силы природы... Нельзя довольно надивиться, как искусно наш поэт умел слить фантастический мир с действительным миром, и сколько заповедных тайн сердца умел он разоблачить и высказать в таком сказочном произведении. По красотам поэтическим «Ундина» есть такое создание, которое требовало бы подробного разбора...» (Белинский, т. VII, М., 1955, стр. 199).

Камоэнс (стр. 621). Впервые — «Отечественные записки», 1839, т. VI, отд. III, стр. 1—30, с подзаголовком: «Драматический отрывок». Вошло в С, IV—V. Вольный перевод драматической поэмы немецкого писателя-романтика Ф. Мюнх-Беллингхаузена, писавшего под псевдонимом Фридриха Гальма (Franz-Josef Münch-Bellinghausen—Friedrich Halm, 1806—1871). Драматическая поэма Фр. Гальма вышла в 1838 году. Луис *(Лудвиг)* Камоэнс (ок. 1524—1580) — крупнейший португальский поэт эпохи Возрождения, автор эпической поэмы «Лузиады», где описывается путешествие Васко да Гамы и открытие им морского пути в Индию вокруг Африки (в 1498 году). Поэма после смерти автора приобрела значение национальной эпопеи португальского народа, но сам Камоэнс, преследуемый придворными и литературными врагами, умер в нищете и одиночестве. *Мантуанский певец* — Вергилий, автор «Энеиды», служившей в значительной мере образцом для «Лузиад». *Алькассарская битва* — в 1578 году, у гор. Альказар-Квивира в Марокко, где португальский король Себастиан был разбит маврами и погиб в бою, вследствие чего Португалия попала в зависимость от Филиппа II Испанского. *Васко*-Монзиньо Кеведо (ум. 1630) — крупнейший из последователей Камоэнса (см. примечание Ж. о нем в тексте).

Наль и Дамаянти (стр. 650). Впервые напечатано отдельною книгою под заглавием «Наль и Дамаянти. Индийская повесть В. А. Жуковского. Рисунки по распоряжению автора выполнены г. Майделем». Изд. Фишера, СПб., 1844. Вошло в С, IV (т. IX, СПб., 1844, с подзаголовком «Индийская повесть, с немецкого. 1841») и С, V (под 1840 годом). Поэма представляет собою вольное переложение отрывка древнеиндийской поэмы «Махабхáрата», сделанное по немецким переводам — прозаическому, выполненному ученым лингвистом, санскритологом Францем Боппом (1791—1867) и вольному стихотворному, принадлежащему ученому востоковеду и поэту Фридриху Рюккерту (Friedrich Rückert, 1788—1866), переложение которого, выпущенное в 1819 году, служило основным источником Ж. Последний писал в примечании к изданию: «Наль и Дамаянти» есть эпизод огромной индейской поэмы Магабараты. Этот отрывок, сам по себе составляющий полное целое, два раза пере-

веден на немецкий язык: один перевод, Боппов, ближе к оригиналу; другой, Рюккертов, имеет более поэтического достоинства». Далее Ж. приводит отзыв А. В. Шлегеля, по словам которого «повесть о Нале и Дамаянти есть самая любимая из народных повестей в Индии, где верность и героическое самоотвержение Дамаянти так же известны всем и каждому, как у нас постоянство Пенелопы». Поэма «Махабхáрата», создававшаяся в течение многих столетий, включила в себя ряд вставных эпизодов, мифов, поэм, легенд и т. п. Одним из древнейших по происхождению эпизодов является включенная в III книгу поэмы повесть о Нале и Дамаянти. На древность этого эпизода указывает то, что почти все упоминаемые в нем названия царств и городов не имеют реальных соответствий и принадлежат к сказочно-мифологическому миру, а из богов индийской мифологии в повести являются лишь древнейшие ведийские стихийные божества — Индра, бог грома и войны, Агни, бог огня, Варуна, бог неба, и Яма, бог земли. Злой дух (демон) Калú известен как в древние, так и в более поздние времена (не следует его смешивать с Кали, супругой Шивы, значительно позднейшей кровожадной богиней смерти). Переложение Рюккерта написано старонемецким коротким стихом с вольно расставленными ударениями и парными (иногда и тройными) рифмами (так наз. книттельферсом, каким написан, например, «Лесной царь» Гете). Ж., задумавший свой перевод еще в 1832 году, начал его тогда вольным стихом, передающим дольник Рюккерта почти в форме ритмической прозы:

Жил царь, сильный, могучий и славный,
Нала, сын Виразены державный,
Был он создан людям на радость;
Всё он имел: красоту, мужество, младость.
Он возвышался над всеми земными царями,
Словно как бог богов над всеми другими богами

и т. д. (Б, № 37, л. 13; см. Вольпе, т. II, 1940, стр. 462). Отказавшись в самом начале труда от этого размера, Ж. позднее перешел к гекзаметру, как наиболее подходящему стиху для плавного эпического повествования. Перевод Рюккерта разделен на 30 песен; Ж сохранил это строение, разделив повесть на 10 глав по три главки в каждой. Предшествующее повести посвящение обращено к вел. кн. Александре Николаевне, ученице Ж., и написано, как показывает помета под ним, значительно позднее остального текста. В начале посвящения (первая часть сна) Ж. вспоминает праздник, данный в Берлине 27 января 1821 года (см. стих. «Лалла Рук»). *Невеста севера* — вел. кн. Александра Федоровна, изображавшая на празднике индийскую принцессу Лаллу Рук. Вторая часть сна имеет в виду дочь Александры Федоровны, Александру Николаевну; о них обеих вместе говорится далее *(Но он уж не один, их два)*. Третья часть сна рисует дом Ж. над Рейном, его жену (с 1841 года) Елизавету Рейтерн и дочь Александру. *...на двух родных... могилах* — Ж. поставил одинаковые надгробные плиты на могилах двух сестер Протасовых — М. А. Мойер (ум. 1823 в Дерпте) и А. А. Воейковой (ум. 1828 в Ливорно).

Маттео Фальконе (стр. 720). Впервые — «Современник», 1843, т. XXXII, стр. 218—225, с подзаголовком: «Корсиканская повесть (из Шамиссо)». Вошло в С, V, с указанием в оглавлении: «Корсиканская повесть (из Мериме)». Переложение белым пятистопным ямбом прозаической новеллы французского писателя Пр. Мериме (Prosper Mérimée, 1803—1870) «Mattéo Falcone» из корсиканской народной жизни. Повесть Ж., однако, основана не на французском подлиннике, несомненно, впрочем, ему известном, но на вольном переводе новеллы на немецкий язык немецкого писателя-романтика французского происхождения Адальберта фон Шамиссо (Adalbert von Chamisso, 1781—1838).

СКАЗКИ

Сказка о царе Берендее (стр. 729). Впервые — в сборн. «Новоселье», СПб., 1833, стр. 37—68. Вошло в С, IV—V. Сказка написана была в то время, когда Ж. и Пушкин, летом и осенью 1831 года, жили оба в Царском Селе и «состязались» в создании сказок в народном русском стиле. Об этом поэтическом состязании Н. В. Гоголь писал 2 ноября 1831 года А. С. Данилевскому: «Всё лето я прожил в Павловске и Царском селе... Почти каждый вечер собирались мы — Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей. У Пушкина... сказки русские народные — не то что «Руслан и Людмила», но совершенно русские... У Жуковского тоже русские народные сказки, одни гекзаметрами, другие просто четырехстопными стихами и, чудное дело! Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэт, и уже чисто русский. Ничего германского и прежнего. А какая бездна новых баллад!..» (Гоголь, ПСС, изд. АН СССР, т. X, 1940, стр. 214). Сюжет «Сказки о царе Берендее» сообщен был Ж. Пушкиным. Последний записал его со слов Арины Родионовны в Михайловском, осенью 1824 года, одновременно с сюжетом «Сказки о царе Салтане» и «Сказки о попе и о работнике его Балде». Все эти сюжеты и были разработаны в 1831 году совместно обоими поэтами. Некоторые детали сказки Ж. показывают, однако, что, помимо основного материала — записи Пушкина, — Ж. пользовался и другими источниками: по указанию Ц. Вольпе, это, во-первых, немецкая народная сказка из сборника известных собирателей германского народного творчества братьев Гримм, Якова (1785—1863) и Вильгельма (1786—1859), — «Kinder- und Haus-Märchen» («Детские и домашние сказки»), — переведенная Ж. прозой еще в 1826 году и напечатанная в журнале «Детский собеседник», 1826, ч. I, № 2, стр. 116—119 под заглавием «Милый Роланд и девица ясный цвет» (отсюда, например, превращение Марьи-царевны в камень, потом в цветок); во-вторых, бывальщина «Садков корабль стал на море» из сборника Кирши Данилова «Древние российские стихотворения» (отсюда — образ Кощея бессмертного как царя «подземельного», поддонного или подводного царства, не совпадающий с традиционной для русских сказок трактовкой Кощея, обработанной в позднейшей сказке Ж. «Об Иване-царевиче и сером волке», 1845). При этом если Пушкин для «Царя Салтана» использовал

близкий к народно-песенному стиху речитативный четырехстопный хорей, а для «Сказки о попе» — раёшный говорной стих, то Ж. для «Царя Берендея» применил гекзаметр, мало подходящий для русского народно-сказочного стиля.

Спящая царевна (стр. 741). Впервые — в журн. «Европеец», 1832, январь, № 1, стр. 24—37, под заглавием «Сказка о спящей царевне». Вошло в С, IV—V. Переложение стихами старинной народной сказки, известной в Германии и во Франции. Ж. пользовался текстом, опубликованным братьями Гримм (см. выше) под заглавием «Dornröschen» («Царевна-шиповник»). Эту сказку Ж. в 1826 году перевел прозой под заглавием «Колючая роза» и напечатал в «Детском собеседнике», 1826, ч. I, № 1, стр. 106—110. Дополнительным источником служила Ж. сказка «La belle au bois dormant» («Спящая в лесу красавица») французского писателя Ш. Перро (Charles Perrault, 1628—1703), литературно обработавшего ряд народных сказок в сборнике «Contes de Fées» («Волшебные сказки»). Ж., перекладывая сказку стихами, ввел русские имена и обстановку, изменил некоторые детали, применил «сказочный» стих — четырехстопный хорей с парными мужскими рифмами (кроме заключительного двустишия), близкий к стиху пушкинских сказок.

Война мышей и лягушек (стр. 750). Впервые — в журн. «Европеец», 1832, январь, № 2, стр. 143—164, с подзаголовком «Отрывок из неоконченной поэмы». Вошла в С, IV—V. Основой для сказочной поэмы Ж. послужила древнегреческая сатирическая поэма «Батрахомиомахия» — «Война мышей и лягушек», в древности и до недавнего времени приписывавшаяся Гомеру, который якобы в ней пародировал сам себя. Теперь считается наиболее вероятным авторство поэта конца VI—начала V века до н. э. Пигрета Карийского. Однако близость сказки Ж. к древнегреческой поэме ограничивается несколькими отдельными местами. Смысл «Батрахомиомахии» как сатирической пародии на гомеровский эпос остался чужд сказке Ж. Поэтому другими ближайшими ее источниками следует считать широко известную поэму немецкого писателя XVI века Ролленхагена «Froschmäusler» («Лягушкомышатник»), изданную в 1595 году, и ее позднейшие переработки, в особенности — как указывает Ц. Вольпе (т. II, 1940, стр. 474) — книгу К. Лаппе, изданную в 1816 году; некоторые эпизоды заимствованы из басен Крылова, Дмитриева и др. При этом элементы социальной сатиры, имеющиеся во всех обработках темы, в поэме Ж. очень ослаблены, а выдвинуты сказочно-анекдотические, комические моменты и отчасти дидактические тенденции. Но в сказке Ж., несомненно, есть элемент если не социально-политической, то литературной сатиры. Кот — *Федот Мурлыка* — в черновом автографе (Б, № 34) был назван Фаддеем Мурлыкой, что прямо указывало на Ф. В. Булгарина. Мыши изображают собою группу литераторов, против которой Булгарин вел борьбу, не гнушаясь никакими средствами — доносами, шантажом и пр. *Премудрая крыса Онуфрий* — сам Ж. (это можно утверждать с большой уверенностью); поэт мышиного царства — *Клим, по прозванию Бешеный Хвост* — воз-

можно, намекает на Пушкина, а ученик Онуфрия, мышонок *Петр Долгохвост* — на племянника Ж., издателя «Европейца» И. В. Киреевского. Литературная сатира в «арзамасском» духе, направленная против Булгарина, именно в это время со стороны Ж. вполне объяснима: 1830—1831 годы были моментом усиленной борьбы «пушкинской» литературно-журнальной группы, к которой близок был и Ж., против монополии Булгарина и Греча в журналистике. против «торгового». мещанско-полицейского направления деятельности Булгарина. Второй из памфлетов, подписанных «Феофилакт Косичкин» — «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», — Пушкин писал в начале сентября 1831 года, как раз в пору наиболее тесного общения его с Ж., одновременно с созданием последним «Войны мышей и лягушек». Но сатира в сказке Ж. оказалась очень затушеванной, и осталась лишь шутливая пародия на эпическую поэму вообще, без конкретных применений.

Кот в сапогах (стр. 758). Впервые — в «Современнике», 1846, т. XLIV, стр. 5—12, с подзаголовком «Сказка» и с пометой: «1845, в марте». Вошло в С, V. Стихотворный пересказ известной прозаической сказки Ш. Перро «Le maître Chat, ou le Chat botté» («Дядюшка Кот, или Кот в сапогах»), представляющей литературную обработку народной сказки. Ж. в общем точно следовал Перро, но местами развивал его сжатый текст, добавляя кое-где черты юмора или легкой сатиры, несвойственные французскому оригиналу.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ЖУКОВСКОГО

Стихотворения Василия Жуковского. Часть I, СПб., 1815; Часть II, СПб., 1816.

Сокращенно: С, I

Стихотворения Василия Жуковского. Издание второе. Части I—III, СПб., 1818; Часть IV (Опыты в прозе), М., 1818.

С, II

Стихотворения В. Жуковского. Издание третье, исправленное и умноженное. Тома I—III. СПб., 1824.

С, III

Баллады и повести В. А. Жуковского. Части I—II (изд. книгопродавца А. Смирдина). СПб., 1831.

БП

Баллады и повести В. А. Жуковского. СПб., 1831 (в одном томе).

Б и П

Стихотворения В. Жуковского. Издание четвертое, исправленное и умноженное. Тома I—V, СПб., 1835; Т. VI, СПб., 1836; Т. VII (Сочинения в прозе), СПб., 1835; Т. VIII, СПб., 1837; Т. IX, СПб., 1844.

С, IV

Стихотворения В. А. Жуковского. Издание пятое. СПб., 1849. Тома I—V (стихотворения 1802—1842); Т. VI (Новые стихотворения, 1841—1849); Т. VII — Сочинения в прозе; Тома VIII и IX — «Одиссея».

С, V

Сочинения В. Жуковского. Издание пятое (посмертное, под ред. Д. Н. Блудова). СПб., 1857. Тома X и XII — Стихотворения; Тома XI и XIII — Сочинения в прозе.

С, V-п.

Собрание сочинений. Издание шестое (под ред. К. С. Сербиновича). Тома I—VI. СПб., 1869 (очень небрежное и с произвольными искажениями текста).

Сочинения. Издание седьмое, исправленное и дополненное, под ред. П. А. Ефремова. Тома I—VI. СПб., 1878 (лучшее по научной обработке из дореволюционных собраний сочинений Жуковского:

повторялось, но с ухудшениями, как издание восьмое — в 1885; девятое — в 1894—1895, десятое — в 1901, в одном томе).

С, VII

Полное собрание сочинений в 12 томах, под ред. А. С. Архангельского. СПб., 1902 (пополнено по сравнению с прежними, но неудовлетворительно в смысле текста и комментария; повторялось неоднократно, последний раз в трех томах — Пг., 1918; другие издания, вышедшие в 1902 году, к пятидесятилетию со дня смерти Жуковского, и позднее, не имеют научного значения).

Стихотворения. «Библиотека поэта», малая серия. Вступительная статья, редакция и примечания Ц. Вольпе. Л., 1936.

Стихотворения. «Библиотека поэта», большая серия. Вступительная статья, редакция и примечания Ц. Вольпе. Том I, Л., 1939; Т. II, Л., 1940. (Здесь проведена большая редакторская работа и даны ценные текстологические и историко-литературные комментарии.)

Вольпе, I, 1939; II, 1940

Стихотворения. «Библиотека поэта», малая серия, второе издание. Вступительная статья, подготовка текста и примечания В. Петушкова. Л., 1952.

Сочинения (в одном томе). Вступительная статья Г. Н. Поспелова, подготовка текста и примечания В. Петушкова. Гослитиздат, М., 1954.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ[1]

[1] По заглавию или — когда заглавие отсутствует или повторяется несколько раз — по первому стиху.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ [1]

СТИХОТВОРЕНИЯ

---

[1] Первая цифра означает страницу текста; вторая, курсивом, страницу примечаний.

БАЛЛАДЫ

ПОЭМЫ И ПОВЕСТИ

СКАЗКИ

ПРИМЕЧАНИЯ

ЖУКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор *И. Д. Гликман*

Художник *И. С. Серов*

Техн. редактор *С. И. Брусиловская*

Корректор *З. Н. Петрова*

Сдано в набор 22/II 1956 г. Подписано к печати 25/V 1956 г. М-22358. Бумага 84×108 $^{1}/_{32}$. Печ. л. 53,0+6 вклеек (43,46+6 вклеек). Уч.-изд. л. 45,26. Тираж 25 000. Цена 14 р.
Заказ № 42

Ленинградское отделение
издательства «Советский писатель».
Ленинград. Невский пр., 28.

Типография № 3
Управления культуры Ленгорисполкома.
Ленинград. Красная ул., 1/3.